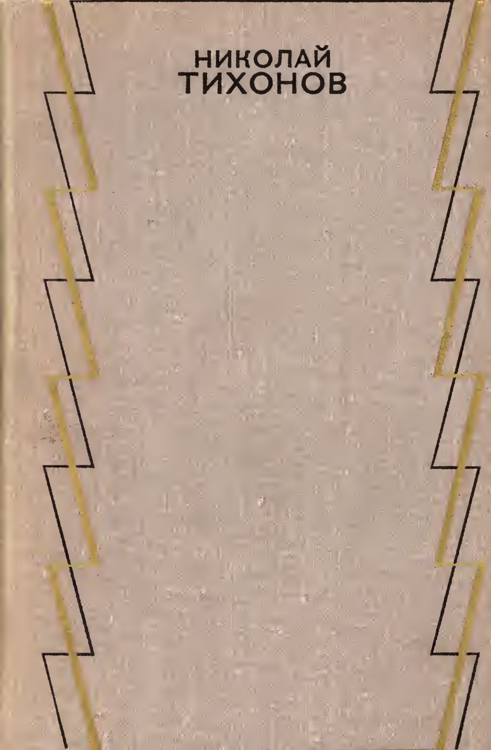

НИКОЛАЙ
ТИХОНОВ



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1974

НИКОЛАЙ
ТИХОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В СЕМИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

НИКОЛАЙ
ТИХОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ТРЕТИЙ

РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1974

Р2
Т46

Примечания
И. ГРИНБЕРГА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Т $\frac{70302-095}{028(01)-74}$ подписное

ПУТИ
ВОСТОКА

КОЧЕВНИКИ

Быт далекой Туркменской республики почти неизвестен широкому читателю, а между тем эта страна, превосходящая площадью Германию, имеющая миллионное население, ответственную границу с Афганистаном и Персией, играет колоссальную роль в Средней Азии. Эна иезаслуженно забыта советской литературой. Со времен Каразина и Верещагина никто не писал о ней подробио.

Сейчас нужно написать об этой стране, очень суровой, любопытной и богатой, рассказы поучительные и занимательные. Одной из главных задач ударной писательской бригады, исследовавшей Туркмению весной тридцатого года, было как раз подробнейшее озиакомление с ее современным бытом.

Мои короткие очерки, несмотря иа разиообразие материала, далеко ие исчерпывают современную Туркмеиию. Эти очерки, написанные без всякой примеси вымысла, без всякой игры воображеиия, заключают одни сухие факты, потому что пришло время, когда советский Восток, сбросив покрывало легендарной косности, так же по-деловому вступил на путь завоеваиия социализма, как и остальные территории Советского Союза. Картины измеияющегося быта, борьба с дикостью первобытного кочевья, процесс перерождения кочевника заслуживают самого пристального внимания.

ДЖЕМШИДЫ

ДЖЕМШИДСКИЙ КОЛХОЗ

Женщина весело трясет старыми дырявыми кошмами, похожими на пятнистый тиф. Трясет своей грязной, запыленной одеждой, указывает на внутренность шалаша, где на земле сидят полуголые дети у груды потухающих углей.

— Смотри, какие мы бедные, смотри, какие мы... А! Есть на свете беднее нас? А, скажи...

Трахомные глаза ее мутны, ее веселый гортанный крик в странном противоречии с больным, исхудалым лицом. Ветер, издеваясь, проходит насквозь жалкое жилище джемшида, ночной холод скрючивает тела кочевников, рыжие псы воют от голода и злости, обегая невеселое скопление кочевничьих шалашей.

Солнце. Джемшиды выходят из сонного оцепенения. Они хохочут, они прыгают, они становятся почти детьми. Такой у них веселый характер. Они идут толпой в Чимин-и-бит. Председатель колхоза джемшидов Азис Мамедов идет впереди. Он со всеми европейцами здоровается за руку. Его спрашивают:

— Что будешь делать в Чимин-и-бите?

Он смеется, скаля громадные зубы.

— Спасибо, спасибо,— говорит он, не понимая вопроса. Он не говорит ни на каком языке, кроме своего.

Сегодня джемшиды, дети темного, как пустыня, народа, пробуют сесть твердо на землю. (Они принесли из пустыни кучу темных привычек; так, например, они любят попрошайничать, чаще всех слов они говорят слово «дай». Они толпятся в кооперативе: «Дай гвозди, дай хлеб, дай керосин. Советская власть все дает. Дай!»)

Сегодня они в колхозе. Им построили белые домики на берегу Кушки, но они живут еще в своих вековых шалашах и маленьких юртах, где земля кишит паразитами. Одежды их темные и грязные.

Единственная вещь джемшида потрясает своей белизной. Это — чалма на его голове. Джемшидские женщины стирают чалмы своим мужьям два раза в неделю. Эта чалма служит и саваном. Когда джемшид умрет, его узкое, испепеленное трудом и нищетой тело завернут в этот длинный кусок свежевыстиранной материи. В джемшид-

ском колхозном поселке богачей нет. Богачи увели свои стада далеко в пустыню.

Эпоха дошла до джемшидов, произведя властный пересмотр их инвентаря. Что может быть убедительнее вещи, которую можно осязать? Рядом с первобытным кетменем — бидон из-под керосина, цинковое ведро звенит рядом с верблюжьим седлом, кооперативный ситец натянут на плечи кочевника под старой, разлезшейся по швам жилеткой афганского происхождения.

Веселые лица с туманными глазами трахомных вспыхивают от удивления и радости: трактор идет по полю с уверенным рычанием машины, упрекающей людей в невежестве. Джемшиды толпой идут за ним. Им страшно, что ни один из них не может соперничать с этой могучей выдумкой колхоза. Им удивительно, что они будут жить в домах,— до сих пор четыре стены казались им ловушкой. Скот будет стоять в сарае. В сарае? Они на закате бегут навстречу скоту, идущему из пустыни. Его так немного, что можно сосчитать по пальцам. Его страшно оставить снаружи, на открытом воздухе есть и волки и воры, а спрятать его некуда. И все-таки они его прячут. В земле вырыты ямы; овец и коз берут за ноги и ставят в яму, слишком глубокую, чтобы они оттуда выпрыгнули. Быка и коров ведут поодиночке узким наклоненным земляным коридором в большую яму, где животные с трудом поворачиваются. Если ночью будет дождь, ямы закроют старой кошмой или рогожей. Псы сядут рядом и будут выть всю ночь, карауля.

Итак, отныне джемшид стал земледельцем. Правда, он раньше служил в батраках, но это совсем другое дело. Теперь у него свои поля, свое хозяйство. Колхозники наперечет, их всего двадцать восемь семейств, и они не знают толком, что такое иметь свое поле, свой плуг, свой скот. Кушкинские красноармейцы привели им трактор, с песнями прошли поля, с песнями засеяли хлопок и пшеницу. Нищета и одичание остановились. Джемшиды не знают языка своих великих братьев — русских пролетариев. Русские — не знают джемшидского, и, однако, дело идет. Нужно перестраивать жизнь джемшида. Новый джемшид сознает, что он должен как-то резко изменить свою жизнь. Старые обычаи тяготеют над ним. К председателю колхоза приходят судиться двое. Они поспорили из-за ишачьего седла. Что делать? Председатель спрашивает организатора колхоза туркмена-партийца со своей веселой улыбкой:

— Что я знаю?! Я советский. Да, но ты меня извини. Я прошу позволения судить их по шариату. Я еще не знаю советских законов. Что такое советский закон — это большое дело!

— Нет больше шариата,— говорит организатор, и все вокруг смеются. Это им кажется очень забавной шуткой.

— А, слышал? — говорит один другому.— Нет больше шариата!

Они хохочут, будто им сказали ловкий каламбур. Они сегодня за бесчисленными пиалами жидкого чая без сахара будут без конца повторять: нет больше шариата, есть колхоз, а?! И все слышащие будут поражены этой новостью.

НОЧЬ В ЧИМИН-И-БИТЕ

Ворота пункта по охране животноводства широко раскрыты. В углу двора по-ночному топчутся привязанные кони. В воротах каждые полчаса слышны крики и рев большого животного, которому наступили на ногу. Это ревет пес Булат. Его называют собачкой, выходящей из берегов. Из берегов он выходит каждые полчаса. Он хозяин ночного двора, он стаскивает с седла всадника, он швыряет пешехода оземь, он может перегрызть горло волку. Из темноты летят исступленные ругань и вопли пострадавших. Сторож пункта, зевая, подымается с места и идет во двор, сокрушенно бормоча:

— Говорил, говорил сколько разов, не трепещи перед ним, не трепещи, видишь, собачка из берегов вышла, стой и кричи мне спокойно и не шевелись, а то затрепещешь ногой и рукой, он тебе и покажет.

— Сволочи, бродяги, дьяволы,— кричит пострадавший,— чего ж зверя на людей пускаете?

— А ты не греми, не греми,— говорит сторож.— У меня, может, в конторе на двадцать тысяч каракуля сложено. Кто будет хранить?

На этом странном дворе привыкли к ночным рассказам, потому что здесь собираются проезжие люди, у которых жизнь всегда переходит за полночь. В этот раз сторож не нашел пострадавшего. Всадник отбился от пса нагайкой и благополучно отъехал от ворот, испробовав тщетно все средства попасть во двор. Все стихло. Потом сквозь новый приступ собачьего бешенства в сопровождении сторожа проходят два человека.

— Слыхали,— говорит один,— всадника-то? Бегут, бегут людишки! Как их задержишь? Фельдшера бегут, доктора бегут. За короткий срок сбежало из окрестностей трое, и без объяснения причин, без бумажных пояснений бегут. А чего им бумагу портить зря, когда сам человек не выдерживает. Джемшидской тяжести человек не выдерживает...

Джемшидская тяжесть велика для свежего советского человека. Фельдшер обязан ехать во всякое время дня и ночи, если за ним приедут из аула джемшиды, а у джемшидов есть аулы километрах в сорока от фельдшера. Они же приезжают тогда, когда больной уже испробовал все ухищрения своего знахаря и ему терять в этой жизни больше нечего. Или же вдруг, вспомнив о «дохтур-баба», джемшиды среди ночи подымают человека, и он скачет, загоняя коня, объясняясь знаками, в глушь и там находит кочевника, не умеющего вытащить пустяковую занозу.

Один из местных упорных работников, с дрожью думая, что он когда-нибудь подхватит у джемшидов трахому или сифилис, решил научить их мыться с мылом. Скопив денег из своих собственных средств, он приобрел несколько десятков полотенец и кусков мыла и роздал это самым, по его мнению, понятливым людям в аулах, объяснив через переводчика, что это за вещи и как ими нужно пользоваться. Радостно оскалив зубы и закатив довольные глаза, они хлопали его по плечу, благодарили и показывали друг другу подарки.

Через два месяца он произвел неожиданную проверку. Все его клиенты, восторженно приветствуя его приезд, брали его за руки, вели в свои насквозь антисанитарные жилища и, подмигивая ему, раскрывали сундуки. Под невероятным хламом, на самом дне лежали совершенно чистые, завернутые в тряпку, не тронутые ни разу полотенца и куски мыла. Они свято хранили подарки, как амулеты. Человек не знал что сказать. Он выбежал из аула в гневе и гнал по пустыне несколько километров карьером, пока его кровь оскорбленного организатора несколько не успокоилась.

Если же джемшиду понравилось вообще лечение, он изведет фельдшера тем, что будет ходить за ним неотступно, как призрак. Фельдшер сядет обедать, и джемшид в углу комнаты, сев на пол, будет с большим любопытством следить за трапезой. Фельдшер пойдет в аптечку готовить

лекарства, и джемшид сядет в дверях на корточки, следя за колдовскими порошками. Фельдшер ляжет отдохнуть после трудов дня на кровать, и джемшид сядет у кровати, любопытствуя, как спит его покровитель. Он будет ходить на все ежедневные приемы, показывая вне очереди и уши, и глаза, и грудь, и ноги. Он стал уже неутомимым любителем. Однажды во время обеда, когда фельдшер, страдая от пронзительного и покорного взгляда вечного пациента, взялся за кусок мяса, джемшид, издав неясный быстрый звук, выскочил как ошпаренный из дому и больше не приходил. Фельдшер недоумевал только первую минуту. Он забыл, что он ел свинину — мясо, запрещенное даже для лицезрения правоверному джемшиду...

...Тьма висела над джемшидскими юртами. Тьма перемешалась с ревом Булата — собачки, выходящей из берегов. О Чимин-и-бит, сколько усилий нужно тебе сделать, чтобы из сынов этого призрачного бродячего народа создать стойких борцов за свободную разумную жизнь! Я боюсь, что болезни пожирают их со слишком большой быстротой, что остатки племени уменьшаются с каждым годом. Правда, их незначительное количество вообще, но в песках этой стороны Мургаба и Кушки других людей, кроме них, нет. Советская власть взяла на себя труд последнего и решительного врача. Пусть будет колхоз Чимин-и-бит первой благодетельной ванной этому увядающему в адской грязи племени.

ВЕРБЛЮЖИЙ БОЙ

У меня большой соблазн описать верблюжий бой, который так любят джемшиды. Если я наделаю непростительных ошибок, свойственных случайному зарисовщику нравов, я буду помнить, что у великого Шекспира корабли отплывают из портов Богемии, а у классика Гюго — циклон в «Человеке, который смеется» кружится не в ту сторону, как бывает в действительности. Немногие заметили это, и, как видно, это не так важно.

Десятки джемшидов сидят на земле перед площадкой. Джемшиды шумно переговариваются и делятся впечатлениями. Это уже не те робкие, хотя и увешанные оружием, люди, которых русские бабы на полустанках хлещут по щекам широкими блинами в пылу ссоры,— теперь это спортсмены, яростные, горячие, готовые рычать от удовольствия, кусаться и кричать оскорбления трусу во весь голос.

Странное животное, именуемое верблюдом, когда-то было, несомненно, красивым, оно было задумано легким и сильным, со скульптурно-правильными волнообразными изгибами горба и ногами, похожими на палицы Геркулеса, покрытые мохом. Животное потом отдали в такой трудовой переплет, люди и невзгоды так поработали над ним, что превратили ладного верблюда в облезлое бурчащее чудовище со злыми сальными глазками.

Два верблюда — два борца становятся друг против друга. Поодаль помещается самка. Она смотрит совсем не вызывающе, но поднимает голову с таким презрительным видом, что оба верблюда сразу раздувают языки, выкатывая их, как красные шары. Потом они приходят в ярость. Потом они начинают подходить друг к другу боками, как боксеры, осматривая противника и непрерывно бурча.

Зрители волнуются. Они хватают себя за рукава рваных халатов, всплескивают руками, плюются, шипят и бурчат, как верблюды. Звери раздувают ноздри, шерсть на них делается колючей и зловещей, языки вбираются обратно, шеи изгибаются все быстрее и быстрее, глаза суживаются, кривые судороги потрясают нелепые тела. Наступает пауза, такая, какую применяют в японской борьбе.

Среди зрителей лишние слова исчезают, наступает молчание. Горловой звук, издаваемый одним из верблюдов, похож на всплески кипящей воды в огромном чайнике. Вдруг один из противников швыряет свою длинную шею вперед и подымается на дыбы. Он обрушивается на противника всей тяжестью, но соперник выдержал удар и вырвался, заревев и отскочив в сторону. В свою очередь, он кусает врага в бок и прыгает ему на шею, так что слышен глухой шум столкнувшихся тел. Джемшиды начинают хлопать по халатам и свистеть, подражая борющимся. Верблюды сшибались уже три раза безрезультатно. Теперь они стоят рядом, следя друг за другом ненавидящими глазами. Тонкие струйки крови бегут по шее у одного и по боку у другого, но звери не чувствуют боли. Они раскачиваются, как сомнамбулы, они шатаются, как пьяные.

Неожиданный прыжок одного из верблюдов — и удар погубит кого-нибудь из них. Зрители начинают ругать их, свистят и осыпают их разной бранью. Верблюды топчутся на месте, наблюдая друг за другом. Они будут биться до

тех пор, пока один из них не упадет. Так и происходит. Еще один дикий прыжок — как допотопное чудище рушится; сильнейший, хватаясь зубами за шею своего слабейшего соперника, рвет его, закидывает ноги ему на спину, подминает его под себя. Два тела кружатся серым ревущим клубком, и кочевники, вскочив, вопят так, как они никогда не позволяют себе вопить в своей повседневной жизни. Халаты распахнулись, от напряжения при виде варварского зрелища, джемшиды дрожат, руки хватаются за пояса, ища оружия, неудержимое движение битвы захватило их... Я понимаю теперь, почему в тусклый и неудачный день Таш-Кеприйского сражения четыреста джемшидов под начальством Елантуш-хана, задыхаясь от возбуждения, сдерживали своих коней, пожирая русских глазами и ожидая приказа к атаке. И, когда сам Наиб-Салар на своей серой лошади закричал им: «Подвизайтесь во славу божию!» — они ринулись, как этот верблюд, чувствуя только яростное сладострастие сшибки, в которой им не повезло.

Побежденный верблюд возбужден сейчас не меньше победителя. Их разнимают палками и бичами. Победитель лягает упавшего, и, когда ураган палок доходит до его сознания, он становится надменным, обнажает большие, как клавиши, зубы, озираясь, он готов кланяться, как борец, вспотевший и подтягивающий трико. В этом бедном, но сильном зрелище вся душа маленького племени. Нет, джемшид не похож на испанца. Бой быков показался бы ему смешным.

КЛАССОВЫЙ ВРАГ

Джемшиды, как правило, неграмотны. У них есть мелкие ханы и есть ишан[1], живущий где-то около Ислим-Чешме и разбирающий самые запутанные родовые дела без особой проволочки, помогая значительности приговора значительным тоном голоса и хмурым выражением лица.

Советский суд далеко, на верблюде нужно ехать до советского суда, на поезде нужно ехать, пока разберут твое дело. Джемшид по мелочам не будет гонять верблюда, и он не совсем доверяет поезду, да и до́рог этот ящик на колесах для безденежного кочевника.

[1] **Ишан** — мусульманское духовное лицо, фанатик, реакционер. *(Это и последующие примечания автора.)*

Правосудие песков так просто, что понятно и верблюду. Волки хватают за горло последних овец, и от них прячут овец в яму, и на волков короток суд. Вот стоит охотник-джемшид, член кооперации; он ходит зимой на водопой к Кушке, куда собираются волки, и бьет их до десятка в ночь, принося их шкуры в Госторг. Госторг любит серую шерсть хищника, и чем больше этой шерсти, тем лучше. Таким образом, нет овцы, но нет и волка. Закон пустыни прост.

Но бывают волки, которых не поймаешь на водопое так просто. На улице Мерва стоит между милиционеров рослый джемшид-бай, получивший три года исправдома. Но, когда он ехал на суд из кочевья, он твердо верил, что его право делать то, что он сделал. Как смел бедняк пастух тянуть руки к его единственной дочери! Несколько лет служил в его стаде пастух-батрак, получавший за труд тридцать баранов в год, и эти тридцать баранов он вносил безропотно как калым за дочь бая. Хозяин его усмехался про себя, но принимал калым во всех видах. Все, что зарабатывал пастух, возвращалось к хозяину, и все, что он добывал на стороне или случайно, все шло отцу его невесты. Так трудился он несколько лет на пользу своему хозяину, как Иаков зарабатывал Рахиль тяжелым трудом, и когда он захотел наконец убедиться в том, что не напрасна его работа, и пришел к баю увидеть его дочь и взять ее себе в жены, бай со смехом ввел его в пустую юрту. Девушка исчезла.

Пастух узнал здесь, что дочь хозяина ему не пара, что отец ее презрел его скромный калым и перепродал дочь в четыре раза дороже сыну такого же, как он сам, бая из дальнего аула. Все это он сказал пастуху отечески-поучительным тоном, а затем он взял пастуха за ворот и вывел его из юрты и показал ему тропинку, идя по которой можно сократить путь, возвращаясь к оставленному им байскому стаду. Но пастух выбрал другую тропинку, ту, что вела в Чимин-и-бит; она начиналась в пустыне, заметаемая песками, шла через рельсовый однообразный гром на добрые двести верст к северу и оканчивалась домом, называвшимся советский суд.

Раньше суда пастух пошел к ишану. Он долго шел, обдумывая всю сложность и безвыходность своего положения. Он пришел к ишану, и ишан, скосив на него из-за очков свои лисьи глаза, сказал, что он не прав, он не прав, простой пастух пустыни, решающий взять на свою нищету

дочь бая, и что бай мудро дал ему понять, что не следует так горделиво испытывать совесть людей сильнее тебя. Что значат погибшие деньги перед тем уроком мудрости, который был преподан ему, черному бедняку песков!

Тогда пастух оставил ишана и пришел в Чимин-и-бит и в Совете спросил, где помещается советский суд. Он помещался далеко, но пастуха выслушали, и он, захлебываясь, рассказал историю своей любви.

— Бывает и не так,— сказали опытные джемшиды, слушавшие его показания.— В другие времена один бай трем пастухам обещал трех своих дочерей и, выжав из пастухов все что мог, накануне обещанного срока прислал в пустыню своих джигитов, и они перерезали горло всем трем пастухам и бросили их тела шакалам. Вот какова справедливость этих людей. И ты напрасно верил им. А впрочем — дело твое...

Так говорили его земляки. В милиции составили акт, в милиции сказали просто, не обращая внимания на пустыню:

— Усматриваем три дела: дело о незаконном калыме, дело об обмане и эксплуатации пастуха, дело о торговле женщиной, как скотом.

В этих трех пунктах была мудрость сильнее ишанской, ибо бай через некоторое время стоял среди милиционеров Мерва, заработав себе три года изолятора, а пастух джемшид возвращался в пустыню с исполнительным листом на возвращение калыма.

Когда он слезал с ишака перед юртой Азис Мамедова, к нему подошел человек и сказал:

— Бай кланяется тебе и просит передать, что ты умрешь нехорошей смертью!

Пастух засмеялся по-джемшидски, обнажая цинготные свои десны, и, ударив человека в грудь, оттолкнул его и вошел в юрту председателя.

НЕНУЖНЫЙ ВОЖДЬ

Социализм пришел на реку Кушку со своими колхозами и тракторами решительно и неотвратимо. Социализм вошел храбро в пустыню, где он нашел джемшидов — странников, гонимых судьбой из страны в страну. Ученые не сильно распространяются насчет этого племени. Попробуем обойтись без них. Джемшиды измерили огромные

пустыни Азии из конца в конец. Однажды они осели надолго в Афганистане, но через столетие у них вышла большая свара с афганцами, и они неожиданно снова подняли кочевые шатры. Джемшиды последний раз пришли на землю Туркмении с помпой самой воинственной и даже кровавой.

В 1908 году комендант Кушки был встревожен внезапной пальбой по всему горизонту и донесениями пограничной стражи, что большие толпы всадников, ведя бой с афганцами, прорываются на русскую территорию. Это и были джемшиды, теснимые со всех сторон; джемшиды, окружившие свои юрты, жен, детей, стариков, скот тремя рядами бойцов; джемшиды, бросавшие навсегда негостеприимный Афганистан.

Делегация их повергласъ перед кушкинским комендантом и принесла ему слезную просьбу не выдавать их афганцам. Афганцы нападали, беспощадно отбивая скот, имущество, женщин. Пламя бесчисленных костров ночью стояло вокруг Кушки, и частая стрельба мешала спокойному пищеварению комендантского желудка. Комендант запросил срочно Петербург.

Ему ответили, что джемшидов можно пропустить на русские земли, но обессилить — боялись, что за ними скрывается какой-то непонятный еще козырь английской политики на Востоке. Комендант пропустил джемшидов и поселил их по течению Кушки, на землях пустых и выжженных, и запретил им удаляться из этого района. Он отказал им и в продуктах. Голод обессилил джемшидов. Они продавали за бесценок лошадей, ковры, драгоценности и скот. Иные с горя, лишившись всего отбитого афганцами имущества, шли в батраки к колонистам русского Моргуновского поселка. Другие сплачивались вокруг мелких ханов, делаясь их рабами, слепо доверяя на чужбине им, как своим единственным защитникам. Царское правительство имело для племени только одну кличку: разбойники. Дружбы не существовало. Когда в 1918 году Кушка опустела, царское офицерство бежало через Персию и Афганистан на закавказский фронт, казаки ушли в Россию,— крепость ждала новых хозяев, каких угодно. Афганцы в то время украли с границы узкоколейку, два паровоза и несколько вагонов, запрягли в них слонов, слоны потащили этот груз до Герата, а потом и до Кабула, но рельсов они украли мало, всего на несколько верст. В крепость афганцы войти не решились.

Тогда на Кушку пошел вождь джемшидов Саид-Батыр. Джемшиды вспомнили Таш-кепри, «подвизайтесь во славу божию!» — и сели на коней, и, когда они подходили к безмолвной пустой Кушке, где лежали богатейшие запасы вооружения и продовольствия, в теснине реки раздался ужасный выстрел, такой громадный, толстый и единственный, что кони остановились. Это в первый и последний раз по-боевому совершенно случайно ударило шестидюймовое орудие на одном из кушкинских фортов.

Поселенцы Моргуновского поселка, занимавшиеся исподволь военным делом, решили сохранить крепость за собой. Они вошли в нее и заперлись. Смельчаки стали пробовать стрелять из пушек, но у них ничего не выходило. Один любитель, немного сведущий в артиллерийском деле, зарядил, по воспоминаниям своего учителя-наводчика, шестидюймовку и выстрелил. Эхо этого выстрела спасло Кушку от Саид-Батыра.

Этот день убил Саида как полководца. Он остался мелким вождем, не имеющим решающего влияния. Потом он не раз прибегал на взмыленных конях, иногда в Ислим-Чешме или другой пост, и просил патронов, чтобы отбить у афганцев угнанные джемшидские стада. Ему обычно не давали, и он исчезал в Кушку. Из Кушки он ночью налетал на афганцев и вместо семисот баранов приводил обратно полторы тысячи. Тогда афганцы приходили на Ислим-Чешме или другой пост, и среди черной бараньей массы шла сортировка, мена, торг и спор.

Так Саид-Батыр учил афганцев, как нужно чисто делать неприхотливое разбойничье дело.

Теперь он сидит по вечерам на пороге кушкинской комендатуры, где тихо служит по разным делам, и мечтательно смотрит на крупные звезды над рекой, на которой вырос первый джемшидский колхоз. Конечно, баи не слишком рады ни службе Саида, ни колхозу. Их не приняли в колхоз, и они ушли в горы, уведя свои стада; конечно, бедняки джемшиды, хорошо помнящие своих вождей, обиравших их до нитки и водивших на предприятия, исполненные кровавых и трагических переживаний, не сразу расстанутся, несмотря на весь трагизм переживаний, с доверием к таким вождям, как Саид-Батыр,— но время пришло другое.

И вожди кочевий, гордые сыновья набегов, могут зайти в кооператив и посмотреть, как воинственные их дружин-

ники покупают керосин для лампы и мечтают о примусе, или могут увидеть, как трактор спокойно взрезает вековые пласты и скакуны пустыни испуганно прядут ушами перед этим высоким и властным зверем.

БЕЛУДЖИ

НАРОД НА РУБЕЖЕ

Они очень красивы, стройны, необыкновенно сильны. Цвет кожи у них темный, лицо суровое и благородное, нос могуч и широк. Лоб низкий, крепкий. Волосы густые и жесткие, что обличает воинов. Ноги чрезвычайно велики. Когда они ездят в набег, то садятся по двое на верблюда, спина к спине, чтобы озирать окрестности. Выше Магомета признают они Пирра-Кишри, выше коего один всемогущий аллах. Они им клянутся, когда говорят правду, что случается очень редко...

Тут мой знаток замолчал и указал вниз с холма. Там копошились толпы белуджей, торопливо и неумело выбрасывающих кетменями глину, чтобы заделать прорыв в канале. Исхудалые руки взлетали и опускались с неубедительной поспешностью легко запыхивающихся людей. Черные лица, овлажненные потом, и сгорбленные спины. Их труд не имел ничего общего с воинственной характеристикой, преподнесенной моим спутником. Они трудились через силу, даже как землекопы они были слабосильны.

— По-моему, они работают хуже европейцев,— вежливо сказал я.— Они гораздо физически слабее, и приписанная им благородная худоба относится просто к недоеданию.

— У них нет выхода,— отвечал знаток.— Вспомните, что в свое время говорил Бонвалло о людях Самарканда: «Его жители не умеют больше строить. Они тупы и ленивы. Их ученье заключается в развитии памяти, а наука — в игре слов». Белуджи попали в еще худший переплет. Нужно сейчас пересмотреть всю схему внутрикочевничьих отношений. У них когда-то было одно большое испытанное ремесло — грабеж. Они питались им до 1922 года. Ну, знаете, гоняться за ними в Персию или выставлять их из Персии надоело всем и им самим. Их перевели на оседлый

спокойный образ жизни, а это немиого скучно и немиого тяжело. Геройство отпало, и в колхозе больше верят работам иа поле, чем красивой и могучей позе перед шатром. Оии же трудиться привыкли не сильио, и ие далее как третьего дня, когда я иа едииствеииом гнусном фаэтоие районa объезжал окрестиости, оии отказывались чииить жалкие мосты, говоря моему возице: «Ты везешь, тебе платят, ты и чиии. Мы-то ведь иичего за это ие получаем». Хороший урожай 1927 года понравился им, одиако, и оии взялись за хлопок под иаблюдеиием своих представителей в аулсоветах в этом году серьезио. Правду сказать, им здорово помогли тракторы и плуги, от которых верблюды садились иа землю в страхе, а белуджи — от изумлеиия.

— Мы происходим от Амир-Саата,— говорили они,— а от кого происходит это?

— Что такое Амир-Саат? — говорили мы.— Легеида. А трактор — вот ои и происходит от рабочей революции. Но сами белуджи иемиого поиимают в хлопке. За ними иужеи глаэ да глаз. Земледельческий опыт кочевиика, прямо сказать, иезиачителеи. И догадала же их судьба поселиться этакими иовичками земледелия в райоие, где самые мощиые ирригациоииые сооружеиия Туркмеиии! Ведь одиа плотииа Султаи-Беита — древияя, и та так велика, что с ией может коикурировать только создаиие Джоиа Эрда — Ассуаиская плотииа в Египте иа Ниле, я ие говорю, коиечио, о иовых советских плотинах. Потом, здесь русло Мургаба перегорожеио плотииой со щитовым водосливом по системе Пуаре: сто восемь кубических метров воды в секуиду. Благодаря этой плотиие воды реки могут быть подняты иа шесть метров выше ордииара. Из этой запруды вода выпускается через щитовую плотину по каиалу в особое водохраиилище, образуемое старым руслом Мургаба и земляиой дамбой, соединяющейся с глубоким оврагом, по которому в древиости протекал Мургаб. Вода между двумя щитовыми плотииами этого оврага, делящими его иа две части, имеет три миллиоиа кубических метров иаполиеиия. Да выше этого места, у плотииы Беидер-и-Нарыр, имеется еще бассейи до двадцати километров длииой. Вы запутаетесь прямо в этих сооружеииях. И вот сюда, в эту инжеиерную сложиость, посадили белуджей. Ничего, сидят...

Одиообразиый стук доиосился иэ чериых шатров вчерашних кочевииков. Это жеищины перемалывали иа ручных мельиицах пшеиицу. Горсть за горстью измельчалась

она с изводящим душу каторжным стуком, худшим, чем пронзительный визг чигиря, потому что чигирь как-никак обходился верблюдом, а здесь женщины за два часа непрерывного труда едва-едва набирали два-три кило муки.

От толпы работающих отделился старый белудж. Он шел, как патриарх, на фоне библейского желтого пейзажа, с кетменем, закинутым за плечи. Огромная чалма обвивала его бритую голову. Черные щеки блестели над белой, полной пыли бородой. По-молодому горели только глаза, а жилистые руки устало сжимали толстенную палку кетменя, как посох. Он не мог быть Моисеем, ибо заповеди уже даны. Они написаны на машинке и висят в аулсовете, в Иолотани в районном Совете, и известны председателю колхоза. Там сказано и о земле, и о почитании урожая, и о мерах повышения качества хлопка, и о работе тракторов, и о наказании нерадивых, и об ударности, и о тракторных грехах, малых и больших — об «огрехах», и о многом другом, о чем Моисей не догадывался.

Со стариком рядом шел человек, с рукой, завязанной в свежую баранью шкуру и неимоверно опухшей. Змея укусила его в ладонь, и первое средство белуджей в таком случае заключается в том, что они всовывают руку в свежую баранью шкуру, шерстью наружу, на несколько недель. Я думаю, что после такого лечения рука превращается очень просто в одну сплошную рану. Но, если белудж пользуется всю жизнь водой только для питья и приготовления пищи, то не удивителен и этот способ лечения.

— Они искренне сейчас привязались к трактору,— сказал мой знаток,— потому что он сильнее их и освобождает от работы, приближает урожай. Ведь они почти никогда не едят мяса, даже чай пьют далеко не все. У них за душой имущество — пара камней, которыми растирают зерна, кувшин, бурдюк для воды да две чашки, из которых едят все руками. Их поэтически черные шатры — это же скопище болезней. Туберкулез косит этих «могучих», если верить историку, «богатырей». Стада у них жалкие, по двадцати голов. Зимой они не могут вынести холод в своем разорванном шатре. Они внутри его выкапывают гробы, форменные земляные гробы, стелют туда солому, и муж с женой забираются в эту солому, в этот гроб, где так тесно, что нельзя пошевелиться. Холод загонит и в собачью нору, не правда ли?

— Каково же их будущее? — спросил я. Белуджи закончили работу и, рваные, загорелые, изможденные, тихо

подымались из оврага, перекидываясь гортанными своими фразами.— Что они социализму и что им социализм?

Мой знаток немедленно отвечал:

— Социализм — единственный выход. Будь ты распробандит, конец тебе не за горами. С этим не проживешь. Им нужно или стать как все, научиться работать, тяжело работать, но с увлечением, со рвением, со сверхзаданием, почуять землю, что называется,— или погибнуть. А нищенство их видеть без конца уже надоело. Пусть, дьяволы, хоть теперь поедят досыта через свой труд.

Старый патриарх подошел к нам и попросил папиросу. Он оказался вовсе не стариком. Он просто зарос волосами и был худ, как Иов. Он был человеком средних лет, состарившимся раньше времени.

ПРИЗРАЧНЫЙ КОЛХОЗ

Прежде чем говорить о романтическо-неустойчивом характере белуджей, нужно сказать два слова о фисташках. В местности, отстоящей от Кушки на семьдесят пять километров, в стороне Пуль-и-Хатума лежит фисташковая роща глубиной от восьми до тридцати километров, где стоят до пятисот деревьев на гектар. Роща никем как следует не охраняется, никому не нужна. Если считать, что с одного дерева можно снять бедно-бедно двенадцать кило фисташек, то это даст не менее полутора миллионов рублей дохода. Фисташковые деревья в этой роще достигают толщины обхвата. Принимая во внимание, что годичный слой древесины не толще листа оберточной бумаги, попробуйте сказать, сколько столетий этим героям! Там же есть соленое озеро, куда за солью, взяв соответствующее разрешение, пускаются мервские караваны. Прибыв в край благословенной фисташки, никем не собираемой и не охраняемой (проектов написаны холмы, резолюций вынесено вполне достаточно, но сделано пока очень мало), люди Мерва, будучи практичными от природы, собирают в свои мешки известное количество фисташки и отправляются в обратный путь, предварительно, конечно, забрав основной свой продукт — соль, чистую крепкую соль Ойрандузгеля. У них спрашивает таможня пропуск на соль, и они его предъявляют. У них спрашивают пропуск на фисташки, и они тщетно его ищут в халатах. Они могут и не искать.

Они его не имели и не имеют. Тогда фисташки конфискуются и поступают в распоряжение Госторга. Госторг отправляет их на внутренний или на внешний рынок, не спрашивая их происхождения.

Так вот, к слову сказать, местность около границы Персии и около границ фисташкового изобилия имеет почву столь благодатную, что на ней произрастают ячмень, пшеница, дыни, арбузы и прочие, не менее занимательные для хозяйства украшения природы.

В этой местности белуджам предложили сесть на землю и основать колхоз. Собрали собрание. Много раз белуджи оглаживали бороды и просили слова для разъяснений и задавали вопросы, и наконец, к общему удовольствию, все уладилось, и колхоз был основан. Подчинен он был Серахскому рику, и восемьдесят семейств установили свои шатры с наивозможной прочностью и приступили к трудному и благодарному делу — обрабатыванию земли впервые за свою странническую жизнь.

Конечно, на первых порах все было не совсем стройно, но им достали европейские плуги, присылали инструкторов, советовали, указывали, контрактировали, и в конце концов кочевники почувствовали себя настолько колхозниками, что, собираясь по вечерам у стен своих прочно стоявших шатров, они пили чай и наслаждались двойной тишиной: тишиной их мирного поселка и тишиной возделанных полей, обильно политых их трудовым потом. Скота у них было много, скот отъелся, пожирнел, арбузы и дыни на громадной бахче в тридцать га разлеглись, как тяжелые кабаньи головы, саману для скота было заготовлено тысяча с лишним пудов, хлопок чувствовал себя превосходно, уже свисала его белоснежная нежность вдоль стенок лопнувших коробочек, среди изумрудно-темной зелени,— как в один из таких вечеров среди других проезжих оказался фининспектор.

Он осмотрел все и остался всем доволен. Остался он особо доволен состоянием скота, который в лучшем виде проходил перед его восхищенным взглядом. Уезжая, он благодарил за прекрасный плов и ночлег. Потом пришла бумажка финотдела на имя председателя аулсовета, и там было сказано, в этой бумажке, что с аула, за его великое множество прекрасного скота, следует двенадцать тысяч рублей налогу, что́ необходимо внести в оговоренные в бумаге сроки.

Тут на колхоз надвинулась ночь, и председатель аул-

совета, мудрый кочевник, живший с мыслью, что утро вечера мудренее, оставил дело до утра.

Через две недели проезжавший через колхоз пограничник был поражен необычайной тишиной. Всюду лежали груды собранных спелых дынь и арбузов, аккуратно сложенные стены самана возвышались между дувалов, плуги стояли степенно, начищенные, в глиняной клети, и ни одного человека, ни одного животного не было во всем колхозе. Молчаливые постройки угнетали всадника. Он покричал людей, удивился и поехал наводить справку. Оказалось, что в ту же ночь, перед которой прибыла бумага финотдела, весь аул откочевал в Персию, предварительно наведя полный порядок на свое удивительное хозяйство.

КЕРИМ-ХАН

Говорят, его возвышение началось с двух винтовок русского образца, снятых с убитых белогвардейцев. Есть другая версия, по которой две винтовки заменяются вагоном разнообразного оружия. Так или иначе, но, когда Керим-хан, общепризнанный глава белуджей, идет среди своих соплеменников, к его одежде почтительно прикасаются и даже целуют его руки. Когда его шатер стоял на границе около Серахса, белуджи с персидского берега молитвенно следили за его черными стенами, и только что шатер исчез, они переходили реку вброд и брали в мешочек горсть земли, на которой сидел большой человек племени. По ним стреляли, принимая их за контрабандистов. Правда, сам Керим — тоже любитель мешочков. Его громадный шатер подымают с места в разобранном виде пять верблюдов. В этом шатре стена, сложенная из ковров, паласов, сюзане, кусков материи и чувалов, отделяет часть семейную — интимную, с очагом, женами, детьми, постелями — от части официальной — громадной площади, устланной кошмами, с местом для костра посередине. В углу отгороженной стороны стоит бунчук с выцветшими конскими волосами — древний знак кочевничьей власти. На бунчуке висит корджум, в одной сумке которого редкий Коран, в другой — два мешочка с землей: землей из Мекки и землей его родины — Белуджистана.

В штате его двора есть телохранители, сытые веселые сметливые парни, есть личный секретарь (мирза), есть мулла, тихий и хитрый молчальник, кажется — бывший

турецкий офицер, есть конюхи, повара и мелкие ханы, имеющие право входить без доклада и делить с ним плов или чай.

Отца его повесил Абдурахман в Кабуле. Абдурахман слыл великим мужем меча, вождем Дурани, и у него всегда были серьезные счеты с людьми, живущими за Гельмендом. Керим-хан не любит афганцев. Зато когда из далекого Келата пришли к нему белуджи — музыкант, певец и плясун,— и шаар (певец) под звуки скрипки и свирели спел ему о большом орусе (пире, на котором все едят до отвала), а потом ударили зурна и барабан и в танец сабель вошли его телохранители, Керим растрогался, подарил пришедшим по верблюду, по куску материи и дал много разных мелочей на память. Артисты объехали все кочевья, восхваляя имя сильнейшего из вождей. У него есть сильный враг, и зовут его Ассадула-хан. У кого нет врагов? Керима не сильно почитают в Персии, но что делать, если белуджам пришлось волей судьбы знакомиться не раз с бытом персидских городов и деревень не совсем принятым в мирной обстановке способом. Сейчас, когда племя сидит на земле, разводит хлопок, имеет национальные аулсоветы и хочет во что бы то ни стало казаться земледельческим, Керим-хан отдыхает, но уши и глаза его видят и слышат довольно хорошо. Кроме того, он говорит по-русски и, несомненно, читает газеты.

Керим-хан встретил нас перед шатром, окруженный собаками. Громадные овчарки с отрезанными ушами, молодой сеттер Марс, волкодав Гурх, тазы — ярко-рыжие гончие с черными концами волос на спине и на ушах, поджарые, тонконогие, в смешных толстых попонках, множество щенков, валившихся на бок от собственных прыжков,— составляли его свиту. Ни один человек не задержал нас на пути к нему, и пастухи, приподнимаясь со своих мест среди саксаула, одним глазом глядели на передового всадника и умилительно продолжали дремать. Мы подъехали к самому шатру, потому что впереди нас ехал Шкильтер — сожженный пустыней латыш, знаток Керима и знаток многих известных и неизвестных вещей. Безлюдье длилось недолго.

Керим-хан хлопнул в ладоши, и выбежали люди, принявшие от нас коней. Мы вошли в шатер, где четыре жены вождя хлопотали над очагом за невысокой стеной, делившей, как я указывал, шатер. Верблюжьи седла стояли по краям шатра, как дикой формы складные кресла.

Керим сел, равнодушно оглядывая нас. Он уже знал, кто мы, и не был особенно потрясен. Врожденное искусство актера преодолело, однако, его равнодушие, и хан стал играть обычную игру человека, на которого привыкли смотреть как на не совсем обычного. Надо сказать, что среди поджарого голодного грязного племени он, несомненно, выделялся своим барственным видом. Простой пастух, дошедший до власти вождя собственным трудом, поражал упитанностью своей действительно воинственной фигуры и плавными сильными движениями; роскошные усы султанского образца, как черный жгут, пересекали его бронзовое лицо.

Тончайшей шерсти халат был накинут с некоторой небрежностью, белые шаровары величиной с Белое море и серая с черным шелковая чалма дополняли его костюм.

Вокруг него простиралась Азия. Она кончалась у того места перед очагом, где стоял латышский сапог Шкильтера, простой рабочий сапог интернационального большевика. Если бы не было Шкильтера и нас, все можно было принять за кавказскую сцену из времен Ермолова. Как рабы, стояли телохранители, собаки прыгали, заискивая перед своим повелителем. В разрез входных ковров виднелись черные рваные шатры кочевников, и вековой рисунок верблюжьей спины темнел над кустами пустыни. Трубил ишак. Время остановилось.

Я смотрел на свои спортивные туфли и думал о том, как мало знаем мы у себя на Севере, какими путями идет революция на Востоке — на Востоке, где будут еще величайшие события и пустыни потрясут мир откровениями.

Недаром старый коммунар Элизе Реклю предсказывал с упорством географа-историка, что судьба мира решится когда-нибудь в четырехугольнике, образуемом Гератом, Кандагаром, Газни и Кабулом. За ним лежат ворота в Индию.

Мы опустили ложки в котел, и кто-то спросил:

— Кажется, это пти? [1]

Тугие щеки Керима обтянула усмешка.

— Это не пети,— сказал он медленно.— Это не пети. У меня не чайхана. У меня есть просто кушанье...

Первая жена Керима принесла чай. Красивое лицо ее не выражало никакого смущения. Синее кольцо было вы-

[1] Пти — татарское блюдо, мясо в бульоне, с овощами, особым образом приготовленное.

татуировано на правом крыле носа и усеяно синими точками. Странно, но оно не безобразило ее. Сын вождя, маленький Джан-Ага, мальчик с лицом Тимура и с сжатыми крепкими желтыми кулачками, привалился к отцу сбоку. Он немного болезнен на вид, он сам знает это. Он старается быть старше своих шести лет. Он угрюмо озирается, с достоинством отвечает взрослым. Он сын Керим-хана. Он не должен быть смешным. Он не должен плакать от боли. Он не должен быть слабым. На него смотрит все племя. Мальчики ему завидуют. Его дядька — белудж — один из телохранителей хана. Джан-Ага выпрашивает у отца патроны к мелкокалиберному ружью, но держать его в руках он не может. Ружье слишком тяжело и велико. Телохранитель становится на четвереньки, ему на спину кладут ружье, и мальчик, расставив ноги, крепко охватив приклад, старательно целится. Он не смеет промахнуться. Он должен быть достойным отца сыном. Прежде чем нажать курковый спуск, он пыхтит, сжав губы, странный и злой, как маленький Тимур. У него делается почти монгольский вид. Выстрел. Он сбивает бумажку, попав в центр черного кружка. Лицо его становится другим. Оно все светлеет, и зубы, острые зубы степного мышонка, блестят под плоскими губами. Отец доволен. Он гладит его по руке и, пошарив в кармане, бросает ему еще два патрона. Мальчик трется головой о его бок.

Керим любит водку. Всюду в Туркмении в простом быту водку называют блондинкой. Он дал ей прозвище по своему вкусу — персидская вода. Водку пьют из пиал. Подходит вечер. Фисташковый весенний вечер наполняет пустыню зелено-лиловым светом. Кусты саксаула стоят как нарисованные — «не то они художники, не то они священники», как сказал о кактусах Маяковский. Холмы громоздятся в пьяном беспорядке. У самого неба на дюне стоит верблюд. Под черными шатрами ползает серый дым костров. Цветы перебегают под ногами по земле с быстротой ящериц. Ломкие кусты трещат под прыжками собак. Гурх гоняется за ослом, стараясь схватить его за длинные уши и повалить. Он поймал ухо, повис всей тяжестью на нем и, ударяя ногами в плечо пленника, валит его на землю, весь извиваясь от восторга. Керим рад. Древний номад проснулся в его сытом теле.

— Я лишенец? — громко говорит он.— Кто называет меня лишенцем? Я чекист с восемнадцатого года.

И он велит принести ружья. Их приносят. Они разных

систем и калибров, будто где-то неподалеку только что разгромили охотничий магазин.

Какая же здесь охота? Неужели вот тут, рядом с шатрами, в этих низких пустых кустах появляются звери? Собаки, однако, бегут вперед с самым вызывающим лаем. Люди весело разбредаются по кустам, и уже первые клочья порохового дыма зацепились и раскачиваются на ветвях гребенчука. Между кустов появляются зайцы. Они появляются совершенно неожиданно. На их оранжевых боках торчит похожая на губку шерсть. Уши положены, как ложки. Оранжевые зайцы на фисташковом закате пустыни кажутся вымышленными. Этого не бывает. В них невозможно стрелять. Они смешны. Они похожи на игрушечных.

Собаки гонятся в разных направлениях. Они мечутся, как зайцы. Они молоды и, кроме того, чувствуют, что это не настоящая охота, а та обязательная забава, шутка ради шутки, ради приезжих, что Кериму неохота стрелять и не с кем соперничать. Взлетают утки, чирки трепыхаются в камышах, какие-то синие птицы взлетают под носом у Марса. Он падает в воду на пустой выстрел. Телохранители заставляют его вытаскивать палку вместо птицы, и он понимает, что это унижение ради практики, и подчиняется не сразу.

Крик и шум будят пустыню. Верблюды подымаются отовсюду, как ожившие шатры, и плюют на собак зеленой слюной. Джан-Ага сидит на плечах у своего дядьки. Его глаза полны оранжевых огоньков. Он ударяет дядьку, как лошадь, ногой, и тот бежит рысью.

Керим оглядывает лагерь и пустыню. Он вспоминает, как плачут в этих черных шатрах женщины, когда он уезжает из кочевья. По традиции они бьют землю и воют на всю окрестность. Он вспоминает, как он загнал своего бегуна-верблюда, животное белой шерсти и неслыханной поступи, долгий день гоня его карьером. Сердце его наполняется горечью, нужно облегчить его. Он подымает ружье и целится в птицу, серую, незаметную, маленькую. Она взлетает. «Нет, ты не уйдешь!» — кричит он про себя. Гурх приносит ему окровавленное тельце без головы. Пуля отстригла голову, как ножницами.

— Раз ночью,— говорит Шкильтер,— я люблю наблюдать за животным миром, раз ночью в камышах на Теджене наклеил бумажку на мушку, чтобы увидеть, куда целить, кабан выскочил неожиданно,— откуда-то сбоку, и

сбил меня с ног, а пуля убила змею, ту змею, что если укусит человека, то из ушей и из глаз идет кровь, и он кончается, не сказав, чего он хочет.

— ...Есть зверь карабала,— продолжает он,— я много знаю животных, я много наблюдал их, карабала всегда идет и трубит впереди тигра, потом доедает остатки его пищи, потом ластится к нему, хочет играть. Если тигр его обидит очень, он мочится тигру в ухо, когда тот спит, и тигр околевает.

Невероятность вечера, блеск ружей среди саксаула, летящая куда-то вдаль фисташковая пустыня, тусклая свинцовая вода между камышей, толстые зайцы, пробегающие среди собак, черные шатры и пылающее небо — говорят одно: читайте Марко Поло, читайте путешествие Марко Поло. Как же велик фронт нашей борьбы — от усовершенствованных игл небоскребов, вонзившихся в индустриальное небо, до потного средневекового феодализма пустыни!

Железный латыш Шкильтер, ты прошел в пролетарских легионах путь от Вольмара и Вендена до Гиндукуша, за тобой осталась еще битва на Инде, и ты введешь свои пыльные сапоги в теплые воды Индийского океана.

...За нашей спиной стоит керосиновая лампа. Она ощущается как деталь бреда. Закутанные в белое, сбежавшие с картин молодого и бешеного Делакруа марокканцы, назвавшиеся на сегодняшний вечер белуджами, сидят, зажав между колен винтовки. Так они будут сидеть всю ночь, охраняя нас. На коврах чайники и пиалы. Зеленый чай охлаждает рот. Керим, развалившись совершенно свободно, на жуткой смеси фарси, русского и туркменского, быстро-быстро говорит, по-видимому, о многих любопытных предметах. Мы улавливаем в интерпретации Шкильтера основное; многое остается музыкой ночных сфер.

Керим спрашивает, вытягиваясь на ковре:

— Ты знаешь, сколько стоит Керим? Он стоит двести тысяч кран!

— А, я уже слыхал эту историю в Иолотани: и о том, как его покупала Персия, и о том, как Троцкий был согласен продать Керима Персии, и только Дзержинский защитил его. Я все это уже слыхал. Эту историю сочинил он сам во время поездки в Ташкент. Он так любит путешествовать в вагоне. Он был в Ашхабаде, в Чарджуе, в Самарканде, в Ташкенте.

Керим проводит по лицу рукой. Глаза его смотрят в дальний угол шатра.

— В Пуль-и-Хатуме,— говорит он (а, это уже интересней),— есть старые города, старые-старые города висят на скале, идти надо по веревке через колодец и подъемный мост. Большие богатства лежат в старых городах, в мертвых городах Пуль-и-Хатума...

Вот это, кажется, правда. Особенно если он сам положил их туда, эти богатства. Недаром он живет в треугольнике, обращенном к пустыне, к Теджену, к Персии. Большие богатства могут лежать в Пуль-и-Хатуме.

Он, неожиданно встрепенувшись, говорит очень бодрым голосом о Надир-шахе персидском, не победившем белуджей, потому что он клал верблюда и разрубал его ударом меча, а белудж клал на верблюда палку и разрубал верблюда вместе с палкой...

— Керим-хан, скажи, вернется ли в Кабул Амманула?..

— Не вернется, Амманула не вернется,— отвечает он как сквозь сон,— на Востоке не любят людей, которые бегут и потом возвращаются. На Востоке любят хитрых...

Шкильтер перебивает его:

— Курды крали у персов скот, догола раздеваясь, и так подходили к стаду. Собаки выли от страха, и все бежали. Им не за что было хватать курдов, и при луне они походили на мертвых. Так они крали скот...

Керим хохочет. Шкильтер, сам того не подозревая, сыграл роль минутной Шехерезады. Он развеселил султана. Чем оправдан этот апофеоз пустыни? — думаю я и выхожу из шатра.

Пустыня уже темна. Если ехать от шатра, у которого я стою, неделю в одну сторону, Парапамиз сменится Гиндукушем; если ехать месяц и другой, увидишь Сулеймановы горы, и за ними лежит Индия. По всему горизонту расположился фронт, исторический фронт борьбы: Афганистан — Индия — Персия. Может быть, вчера днем на голом полустанке мимо меня, в разорванном белье, с пеной факира на губах и невидящими глазами прошел Лоуренс? Времена Хаджи-Мурата далеко; проходят времена Керимхана. Что думает аулсовет о своем вожде, состоящем у него членом ревизионной комиссии?

Керосиновая лампа коптит. Не зазвенев винтовкой, черная рука тянется к лампе и прикручивает фитиль. Пусть горит лампа всю ночь. Пусть гость видит, что пре-

дательства нет и не будет, что он проспит спокойно ночь и, если ему повезет, утром увидит, как придут к Кериму белуджи, получившие деньги в счет контрактации от Хлопкома.

Он возьмет от них деньги и будет делить между теми, кому он считает нужным дать по степени их бытовых затруднений. У этого волки порвали овец, у этого вторую неделю больна жена, у того пропал сундук со всем барахлом. И, если спросить каждого получившего деньги от Хлопкома, куда он девал их, он скажет, что он истратил все на себя, все на себя и ни на кого другого.

Посты белуджей не пропустят без опроса ни одного приезжего к громадному черному шатру, в котором сидит человек, думающий о том, что Риза-шах был когда-то неизвестным конюхом, и о том, что нельзя доверять никому: его отца повесил в Кабуле Абдурахман, а на его родине сидят персы вперемежку с англичанами. И самый известный хан среди всех белуджей, брахои и ламри сегодня — он, Керим. Мы проехали прямо к его шатру, не встретив никого. Часовые стали невидимыми, потому что впереди нас ехал Шкильтер. Тихий тяжелый человек, знающий пустыню, как свой карман; неизвестно еще, кто лучший стрелок по движущейся мишени: он, Керим, или этот «кочевник» пролетарской революции.

В ровном утреннем трезвом свете шатры стоят, как на сцене. Земля между ними вытоптана, словно для танцев. Одиноко стоит Керим у входа в шатер, озирая свои владения. Вокруг пасутся верблюды, ишаки, лошади. Кое-где ходят куры на высоких ногах, бойцового типа петухи с гребнями, загнутыми назад, ярко раскрашенные.

Стая играющих псов проносится мимо. Они сговорились с Гурхом разделить его забаву. Они налетают на ишаков, отделяют двух из них и гонят к Гурху. Гурх летит, подпрыгивая, но ишаки принимаются кричать так раздражающе-жалобно и злобно и так крутятся, что Гурху не допрыгнуть до их завидных толстых бархатных ушей. Ишаки прорвали цепь псов и умчались к шатрам.

Тут псы видят своего повелителя. До земли висит темный плотный конец его чалмы, и Гурх, забыв все на свете, хватает со всей силы этот заманчивый, похожий на опущенное ослиное ухо конец. Псы бросаются с радостным визгом на Керима. Они шутят, как настоящие азиаты. Ему остается или сорвать чалму, позволить собакам сорвать его чалму, или принять все за шутку. Он оглядывается. По-

близости, казалось бы, нет никого. И он начинает кружиться, как в танце сабель, разматывая чалму, на конце которой висит радостно урчащий Гурх со всей своей бандой. Он кружится, как толстый волчок, пока не размотает всю длинную широкую черно-серую ленту. Тогда он пинком отгоняет собак и медленно накручивает чалму снова на голову.

Теперь он пошутит с собаками по-своему. Он берет ружье и открывает пальбу по птицам, по кустам, по шатрам, и оглушенные псы наперебой несут ему сбитые головы, окровавленные перья, сломанные ветки. Он отдает ружье телохранителю. Он доволен. Утро начато хорошо.

Лагерь проснулся. В черных шатрах стучат камни ручных мельниц; дым из костров поднимается, как уходящий к небу последний сон. Кузнец звенит молотком по заплатам медного таза, женщины проходят мимо него, накрываясь черным покрывалом. Белуджи-пастухи целуют конец его мягкого халата.

Он провожает нас через свой средневековый табор, исполненный противоречий. Он говорит, и притворные слезы дрожат у него в голосе:

— Какие они бедные, мои белуджи, им надо много, много давать. Хлеба давать, материю давать, сахар давать. Эй, эй, какая нищета, когда они будут сыты, ай, что же это за бедность! Когда им будет жить лучше?..

Когда?

СВЕЖИЙ БЕЛУДЖ

Тоненький смуглый человек во всесоюзной форме милиционера, сложно объясняясь по-русски, чрезвычайно убедителен, когда, торжественно загибая пальцы, говорит:

— Во-первых, нас взяли от семейств, и семейства плакали. Во-вторых, мы учились многому, что нужно знать человеку. И в-третьих, семейства не будут плакать, потому что мы вернулись и будем работать. Наш народ, а! Наш народ. Вот он...

Он указал на едва прикрытое лохмотьями тело, сидевшее в сонном оцепенении в тишине нескольких деревьев.

— Он так ходит и зимой. Это велел пророк. Видите, мусульманские месяцы не обозначают времени года, потому что каждый год начинается одиннадцатью днями раньше. В некоторые эпохи это составляет важные препятствия для путешествия, скажем, в Мекку; в течение главно-

го страннического времени Дуль-Хаджи надо носить одежду Ирама, то есть ходить в очень легкой одежде, а месяц этот по круговому исчислению времени иногда приходится среди зимы, а иногда — среди самого лета... Так они готовы ходить всю жизнь в этих легких лохмотьях, будто они всю жизнь идут в Мекку. Ха, они даже не знают, где она расположена. Они даже не знают, что она такое. Они не веруют ни во что, кроме демонов. Они празднуют только покупку жены и рождение первого сына, а то и другое бывает раз в жизни и не у всех...

Он замолчал. Между красных полос тюльпанов и маков желтели странные желтые ромашки, толстые, круглые...

— Я учился, и шестьдесят товарищей ехали тоже со мной. Мы должны брать еще шестьдесят и посылать еще учиться. Довольно жить так, лежа в тени случайного дерева. Я видел Москву, как живут там, а как живут в Ташкенте! Вот как надо жить, а тут ударил один раз кетменем и занес второй раз, и уже прошла жизнь. Девятьсот хозяйств мы поставили на колхоз. Пусть работают...

Три всадника прошли мимо нас. Вооруженные, легкие, как птицы, смуглые, как фисташки, они поочередно оглянулись на моего спутника, и один закричал насмешливым голосом длинное приветствие. Молодой человек коротко прокаркал ему в ответ и недовольно посмотрел в сторону.

— Это ханы,— сказал он.— Скажи, пожалуйста, что ясней тебе говорит в глаза? Красные тюльпаны или этот желтый цветок? Ты скажешь — красный, и я скажу — красный. Аулсовет сейчас у хана ничего не значит. Председатель сидит и ест плов, если ему дадут, а если не дадут, он уйдет и так. А человек хана на хошарных работах камчой стегал тех, кто, ему казалось, плохо копал. Дехканин подставил ему кетмень, он разбил руку до крови, жаловался хану. Это дело, товарищ. Ты видал, они скакали и смеялись, потому что я белудж и на мне красная с желтым форма. Если бы я сказал: я один — они бы смеялись громко, но они смеялись тихо — нас шестьдесят человек учатся всему, и мы уведем от ханов наши семьи...

Неожиданно за нами раздался крик. Мы оглянулись. Белудж, спавший в тени деревьев, догонял нас, разметав по ветру лохматые свои одежды. Догнав нас, он спросил:

— Тарелками землю пашут здесь, а меня забыли, поле мое забыли.

— Что значит тарелками? — спросил я.

— Он называет тарелкой дисковую борону. Темный человек. Дайте, я ему сейчас все объясню, почему трактор сегодня не пришел. Не пришел трактор, а ты мост чинил, а? «Не чинил»,— сказал он мне, переводя свой разговор с отошедшим в раздумье поселянином.— Нет моста, так как же он пройдет? Поставь завтра мост, будет и трактор.

Белудж погрузился в свои сложные думы.

— Послушай, иолдаш[1], ты говорил давеча про ханов, а что ты думаешь о Керим-хане? Ты знаешь Керим-хана?

Он поднял брови, но лицо его не отразило ничего особенного.

— Керим-хан...— протяжно и не сразу ответил он.— Керим-хана я знаю, конечно, знаю. Керим-хан — он нам немного нужен. Он пусть чуть-чуть останется. Он уйдет последним, иолдаш!

КАРА-КАЛА

КАРА-КАЛИНСКИЙ ДИАЛОГ

Разговор происходит на площади, похожей на блюдо, ибо вся Кара-Кала состоит, как лопнувший воздушный пирог, из громадной желтой площади и узкой зеленой полоски, намазанной по желтым краям. В этой полоске белеют дома и живут люди.

Каракалинец. Ну, как вы добрались?

Приезжий. Благодарю вас, замечательно. Из Кызыл-Арвата через Скобелевские ворота и разные ущелья, через Хаджи-Калу. По дороге только раз меняли шину, и это делается так, если у вас нет домкрата: вы набираете камней и подкладываете под каждое колесо спереди и сзади, чтобы оно не двигалось. Затем вы подкладываете горку камней под переднюю ось с таким расчетом, что, когда выкопаете яму под тем колесом, на которое необходимо надеть шину, кузов машины навалится на груду камней, и надо, чтобы эти камни выдержали вес всей машины. Затем вы углубляете яму, берете шину, смотрите, чтобы она входила свободно в яму, надеваете ее на колесо и начинаете выколачивать камни из-под передней оси. Они с трудом, но вываливаются, и вы можете ехать дальше. Спали

[1] Иолдаш — товарищ.

мы чудно, в необитаемом доме, где на окне кто-то забыл ящик с засохшими акварельными красками и мертвого стрижа.

Каракалинец. А не говорили ли вам, когда вы собирались сюда: если вы не видали Кара-Калы, вы не видали Туркмении?

Приезжий. Говорили. Но мы, признаться, не сильно верим этому. Здешние горы все же не выше двух тысяч пятисот метров, а зелени в них до обидного мало.

Каракалинец. Что вы! Вы не видали Арпаклена, не видали Сумбара, не видали Ай-Дэрэ.

Приезжий. Я ничего не видал пока, кроме вашей избы-читальни. Большая комната, туркменские газеты с приличным опозданием, история компартии на туркменском языке в плакатах. Сидит человек и пишет заявления дехканам. Еще я узнал, что в Кара-Кале, в районе, из девятнадцати учителей только один кончил партийную школу, а все остальные пришли из старых мектеб или, в лучшем случае, из школ ликбеза, так что иные учителя не имеют за своей спиной даже школы первой ступени. Чему они могут научить и кого, если зимой снег завалит горные долины и не пройти из одного аула в другой даже взрослому? Как же придет в школьную кибитку ребенок, если до нее несколько километров расстояния?..

Каракалинец. Наш район весь в будущем. Он очень трудный район, очень сложный район. Если вы были на собрании в райкоме, вы убедились, как запутаны бытовые особенности.

Приезжий. Простите меня, но на собрании на меня произвел исключительное впечатление только председатель. Когда вставали агрономы и ирригаторы и рычали, как нервные леопарды, он единственный был на своем месте, уверенно говоря: «Товарищи, не надо истерики»,— и они, как школьники, кончали свою речь возгласами: «Разрешите выйти, выпить стакан воды!» Причем агроном уверял, что он не сможет отвечать за посевы, потому что ирригатор не даст столько воды, сколько обещал, а ирригатор клялся, что он снимает с себя ответственность за посевы, потому что все равно агроном не засеет столько, сколько он выпустит драгоценной воды, нужной для посевов, и она уйдет даром. Кое-как все же распутали эти узлы, и это сделал председатель, и никто иной. Теперь я понимаю, почему туркмены любят решительных людей. В иных случаях они говорили: «Не присылай человека просто по

делу, чужого человека. Посылай человека, которого мы знаем, что он сказал «да» — есть «да», сказал «нет» — есть «нет». Присылай наш человек, присылай ГПУ».

Каракалинец. Дело не в этом. Наш район весь в будущем. Земледелие в нем не слишком рентабельно, а хлопководство не представляет ничего особенного. Но вы должны видеть витерит, барит, миндаль, орех, инжир, гранат, гвайюлу, все возможности.

Приезжий. Я выезжаю завтра же.

Каракалинец. С кем вы поедете?

Приезжий. Мы поедем со старшим милиционером Нури. Кстати, помещение милиционеров в Кара-Кала, по-моему, единственное в мире. Они живут, как девушки. Шелковые занавески, шелковые одеяла, шелковые наволочки, ковры, блеск и чистота. На дворе клумбы, розы, голуби сизые, синие, белые, коричневые, фруктовые деревья, огород, виноград, свежая вода, тень — это милицейский рай.

Каракалинец *(пропуская мимо ушей слышанное)*. У нас трудный район, необычайное дробление родов. Население делится на сто двадцать восемь отдельных единиц, причем преобладают гоклены, за ними идут теке, ата, шиихцы, мерчали и другие. Хороших путей сообщения, кроме шоссе Кара-Кала — Дузлу-Тепе и Кара-Кала — Кызыл-Арват, больше нет. Вьючные тропы преобладают. Как вы нашли дорогу Кызыл-Арват — Кара-Кала?

Приезжий *(в восторге)*. Она стоит отдельного описания.

Каракалинец. Вот видите! Я думаю, недалеко то время, когда мы будем зарабатывать на туристах, беря специальные деньги за эту дорогу. Не правда ли?

Приезжий. Я видел ущелья Куначхира, Ингура, Ланжануры, Бомбака, Гарничая, Зеравшана, но это совершенно особое явление.

Каракалинец. Товарищ Луговской не пробовал положить это на стихи?

Луговской. Нет, это очень трудно. Это ощущается всем существом, а по существу писать об этом чрезвычайно сложно. Легко впасть в фальшивый тон.

Приезжий *(смеясь)*. Об этом написано уже у Эдгара По: «Через ад, через рай все вперед поезжай, и найдешь ты страну Эльдорадо».

Каракалинец *(не знающий, кто такой Эдгар По)*. Совершенно верные слова. Ай-Дэрэ и будет наше Эльдора-

до, «адом», скажем, может называться дорога от Кызыл-Арвата до Кара-Кала, а «раем» — ну, хоть сама Кара-Кала, с Сумбаром вдобавок. Непременно поезжайте на витерит, барит, миндаль и орех, а сегодня идите обязательно смотреть гвайюлу.

В БОРЬБЕ ЗА ГВАЙЮЛУ

В красноватом вечернем свете из бумажных стаканчиков, поставленных в невысокий ящик, не шевелясь смотрели бледно-зеленые растеньица с длинным листиками, концы которых походили на копья с маленькими выступами у самого острия. Растеньица были тщедушными и мелкокровными и казались бы не жильцами на белом свете, если бы не острая, почти надменная бодрость их листиков, тянувшихся к вечернему солнцу.

Мы смотрели с особым вниманием на эту детскую породу, так старательно разделенную, получившую особую жилплощадь, теплейший уход и любовь, граничившую временами действительно с ненавистью.

Но что значило наше внимание, внимание случайных путников и любителей необычного, когда такие главковерхи науки, как Эдисон, и такие хозяева главковерхов, как Форд, поставили задачей своей жизни подчинить себе это растеньице с острыми злыми листиками или придумать, да, придумать, создать нечто ему подобное.

— Нам нужно найти растение,— сказал Эдисон,— один фунт резины от которого обходился бы нам хоть в два доллара. Мы не стоим за ценой. Нам нужен каучук.

Откуда такая расточительность, такая зависимость между опытной станцией Кара-Кала и Детройтом? Почему наш провожатый тоже повторяет слова «Великого Мастера», но несколько по-иному?

— Мы должны иметь это растение у себя. Мы в десяти — двадцати местах устроим его на туркменской земле и посмотрим, и я думаю, что через пять-шесть лет мы что-нибудь скажем положительное, не хвастаясь. Требовать от людей — необыкновенного — обычное дело. Но заняться всерьез изысканием способа культивирования растения, подобного этому, и сразу же на огромной посевной площади,— это дело вполне необычное и серьезное.

Да, я согласился с этим вечерним голосом, объяснявшим мне среди недавно дикой туркменской глуши новые

истины чрезвычайно авторитетной и храброй науки. Выхода иного нет.

Мы ввозим ежегодно пятнадцать тысяч тонн каучука и гуттаперчи на сумму в двадцать четыре с половиной миллиона рублей. Какое это имеет отношение к бледно-зеленому растению? В громадном фолианте, изданном к столетию открытия Америки, можно видеть индейцев, играющих в черные небольшие мягкие шары, отскакивающие от земли. Эти мячи и Эдисон, и Форд, и наш Внешторг, платящий миллионы за гуттаперчу и резину, имеют к этим бумажным мешочкам-стаканчикам самое прямое отношение, ибо это скромное растеньице есть могущественнейшая поставщица каучука — гвайюла.

Вот оно высажено из стаканчика в особо приготовленное поле. Земля в Кара-Кала крепкая, трескающаяся от полива и действия солнца. Ее нужно смешать с навозом и песком. В поле гвайюла уже выше ростом. Она чем-то напоминает нашу полынь, подсолнечник, но чем-то неуловимым. Чужое растение смотрит, как гость, который ждет, что будет дальше. Оно забыло, что на своей родине, в Мексике, им долго с благодарностью топили печки, ибо взрослая гвайюла — это до метра вышины смолистый кустарник, великолепно горящий, как саксаул или терескен.

Казалось бы, взять американские семена, состав почвы, излюбленный гвайюлой, найти подходящее климатическое место в нашем Союзе, в его субтропических областях, подобное нагорью Чихуахуа, и дело сделано. Увы, это далеко не так просто. Эрнст Ллойд, первый научный крестный папаша каучуконоса — гвайюлы, сидел годы над ее изучением и передал это дело ботанику Мак-Калламу, и этот последний шестнадцать долгих лет изучал его тайну — и изучил. Но он, вернее — Междуконтинентальная каучуковая компания, от лица коей он работал, не очень-то хочет поделиться своим открытием со всем миром, отчего в трудах Мак-Каллама есть темные, как египетские иероглифы, места, нарочитые умолчания. Так, например, очень важный момент в плодоношении гвайюлы то, что американцам удалось довести процент завязывания семян почти до девяноста и выше, он, к сожалению, покрыл гробовым молчанием и способы, какими достигается такое полное плодоношение, предоставил разыскивать всем желающим.

Тогда началась борьба за гвайюлу на нашей почве.

Гвайюла дает на гектар тонну каучука. Это итог, к которому следует стремиться. Но до этого еще далеко. Опыт-

ная станция находится сейчас в описательно-изыскательном периоде, если можно так сказать. Она могла бы, конечно, заняться кунжутом, люфой, бомией, дающей семена, подобные кофейным и превосходящие по качеству в поджаренном виде знаменитое мокко, или соей, растением оригинальным и почти философским, но задача освобождения советского рынка от заграничного каучука слишком выгодна и любопытна, слово осталось за ней.

Первые семена гвайюлы, полученные из-за границы, были с примесями сорняков. Их отсеяли. Применение инфильтрации при всходах гвайюлы в грунте результатов положительных не дало. Гвайюла капризна, как настоящая мексиканка. Она боится избытка влаги в почве, она боится ветра, холода, неравномерных осадков, семена ее очень мелки, всходят они у самой земли, как будто особая осторожность держит их на привязи. Размножение гвайюлы приходится основывать исключительно на посеве семян, говорят авторитеты. Поэтому часть гвайюлы в Кара-Кале обращена на семена путем вызывания повторных цветений при поливах. В прошлом году, согласно опубликованным сведениям, семенник дал урожай в четыре тысячи граммов семян. Десять тысяч рассады, выращенной за зиму, и десять тысяч рассады с лесокультурной станции Наркомзема и пять тысяч из Ташкента — это созданный семенной фонд для развертывания борьбы за гвайюлу в широком плантационном размере.

Обращение с этим растением требуется очень осторожное. Семь месяцев однажды у Ллойда лежали семена в унавоженной почве без движения — и дали обильные всходы. Всякое же органическое, например, удобрение, кроме чилийской селитры, убивает гвайюлу, как и зола. Кроме того, она живет по закону: чем меньше воды, тем толще кора, и обратно. Зрелость гвайюлового куста достигается в природе, как уверяет Мак-Каллам, к концу пятого не то седьмого года. Но сами американцы достигли того, что получают готовое растение к концу четвертого года. Гвайюла выбирается с плантации вся, вместе с корнями. Американцы построили все на полной механизации производства и заявляют, что ведутся работы по засадке шестисот пятидесяти тысяч акров земли в Южных штатах, с таким расчетом, чтобы в ближайшие годы покрывать четвертую часть нужд своей каучуковой промышленности отечественными продуктами.

Все это узнал я, стоя над бледными, так и не желающими изменять цвета кустами гвайюлы, переходя от немощных стаканчиковых малышей до взрослого населения, отростки коего укутаны в бумажные мешочки уже сверху, чтобы не было излишнего воздействия солнечных лучей и произвольного опыления. Опыление производится искусственно.

Перезимовавшая рассада держится бодро, как и ее воспитатели, верящие, что выживающий, прошедший сквозь зиму сорт при этой селекции будет основателем каучуконосных полей Туркмении.

Выделенная рассада брошена в десять разных пунктов, в разные почвы, в разные климатические условия и находится под постоянным надзором. Существует специальный инструктор, непрерывно разъезжающий по этим гвайюловым владениям от аула Кеши до ущелий Верхнего Сумбара, записывающий все ее жизненные изменения, вероятно, не без трепета.

Кроме того, переписка с Сухуми, Ташкентом, Азербайджаном дает возможность следить за опытами в тех краях, где также заинтересованы в этом индустриальном растении. За свою поездку по Туркмении мы привыкли к неожиданным людям и контрастам, о которых понятия не имеют на Севере, вообще плохо представляющем, что такое советский Восток сегодня. Надо сказать прямо, что скромные тихие люди, в тиши субтропической станции следящие за каждым вздохом вверенного им дикого и такого ответственного растения, не менее героичны, чем исследователь пустынь, остающийся с несколькими бутылками воды в безводной шири, или пограничник, отбивающий вшестеро превосходящего его врага.

Первоначальный путь пересадки гвайюлы на советскую почву был ознаменован одними неудачами. Мы знаем из истории, как часто великие неудачи терзали людей, поставивших себе целью во что бы то ни стало добиться истины. Добиться гвайюлы так, чтобы, как в Америке, она засела бы у нас не гостьей, а постоянной жилицей на тысячах гектаров,— это значит не пить, не спать, не есть без особого волнения за маленький жалкий кустик, то страдающий от жары, то захлебывающийся в излишней влаге, то помороженный по капризу местной зимы, которая в этом году, несмотря на то что району приписывается климат Южной Испании, дала двадцать пять градусов ниже нуля.

Я обошел еще раз эти молчаливые поля, между которыми, как на теннисных площадках, стоят белые столбы с лесенками, только вместо рефери на них водружены рядовые метеорологические службы: дождемеры, флюгера, термометры. Поля, на которых вымерзла гвайюла, темнели пустыми полосами, как сровненная с землей братская могила.

Кусты гвайюлы, перезимовавшей благополучно, медленно поднимались от земли, точно удивляясь незнакомому пейзажу. Как я ни всматривался в их легкую и острую одежду, не говорили они ни о чем близком. Я бы сказал даже, что эти кусты смотрели с некоторой враждебностью.

Я думаю, и хотя эта мысль смешна с точки зрения научной, но я думаю, что мы должны переделать эту чужую гвайюлу так, чтобы она превратилась, не теряя своих качеств, в растение какого-то советского стандарта, отличное как от каучуконоса Чихуахуа, так и от каучуконоса Техаса. Может быть, через семь лет я увижу где-нибудь под Ашхабадом громадное вечернее поле, пересеченное прямыми линиями гвайюловых кустов, шпалерами будущих советских шин, или, наоборот, на задворках Кара-Калы, в глуши около дувала, притаится единственное заблудившееся выжившее уродливое растение, от которого отказались все.

Так около отхожих мест Хосты и Гагр стоят огромные, никому не нужные агавы, изрезанные всевозможными надписями. Мне почему-то кажется, что начатая с огромным напряжением борьба за гвайюлу кончится картиной первого порядка, и новое слово «гвайюла» войдет в быт наравне с иными заслуженными словами века индустриализации.

АРПАКЛЕНСКИЙ ВИТЕРИТ

Ты проедешь Сумбар,
И в полуночный пар
Ты минуешь рудник,
Арпаклен.

Рано утром на скалах, высоко громоздящихся над темной щелью Гебе-Сауда, можно видеть одинокого человека, медленно, но уверенно прогуливающегося по горе. Большой соблазн принять его за тролля туркменских гор, охранителя горных богатств, обходящего свои владения. Это и есть, если хотите, тролль, но тролль проле-

тарский, вполне осязаемый и действительно охраняющий богатства, да еще первые в мире.

Желтые камни, которые он трогает, совершенно особые желтые камни. Для того чтобы увидеть их братьев в другом месте, нужно пересечь Европу, и только в Норфольке, в Англии, вы встретите еще один рудник по добыче витерита. Витерит похож на окаменевший мед. Он густо-желт, с белыми застывшими, как бы сахарными жилами. Путь его до человеческих рук лежит из самых далеких недр земли.

Газовые вещества, подымавшиеся с раскаленными массами при перерождениях мира, заняли трещины земной коры. Пары сернокислого и углекислого бария и ртутных солей — барита и витерита — пришли вместе с ними. Миллионами тонн залег тяжелый шпат — барит и его драгоценный родственник — витерит. Местами он изогнулся кристаллами причудливых рисунков, походя на белый коралл, усеянный серебряными блестками...

Витерит дает хлористый барий, совершенно необходимый в сельском хозяйстве, в фарфоровом деле, в деле изготовления редких ядов и еще кое-где.

Пролетарского тролля, каждодневно со всем знанием дела проникающего в тайны витеритовых залежей, зовут Сидоровым. Он — донбасский горнорабочий. Если партийцы — будапештский садовник Сабо прекрасно командует войсками в ущелье Кушки, если берлинец Ватолла с итальянской живостью и немецким упорством внедряет социализм в труднейший округ этой страны — Красноводский, если великолепный латыш Найнис стоит на страже трудовых колхозов перед лицом басмаческого Афганистана, если неистовый Куперשток, первый из советских могикан, влюбленный в огромную желтизну Каракум, держит пространство между Тахта-Базаром и Ширамом в своих молодых руках ревкомовца, то почему бы старому партийцу, активному работнику товарищу Сидорову не прийти в глухую щель Арпаклена? И он пришел. Он, никогда не бывавший в горах, пришел без всякого удивления к белым скалам. Месторождение витерита было найдено горным инженером В. П. Соколовым в 1928 году. Рудник был заложен трудами энергичного Н. И. Деева.

По его указанию поставили четыре юрты, сделали глиняную халупу для конторы, подвал, где хранятся гулкие силы аммонала — глиняные громадные чашки, в них насыпается сено для лошадей. Ему пришлось подать торжественный сигнал к началу работ на склонах Арпаклена.

Помощник его, младший десятник Сидоров, о котором была речь выше, остается хозяином рудника в его отсутствие. Ему пришлось основать даже какое-то подобие особых курсов по подрывному делу, где он был единственным преподавателем, потому что привезенные забойщики сбежали с рудника, оказавшись людьми нервными и мелкими, а туркмены-рабочие, не знающие русского языка, с трудом постигали внезапное могущество взрыва, и если им не объяснять подробно всю сложность и ответственность этой специальности, они раскололи бы витеритовые глыбы на тысячи бесполезных кусков, а от себя на память оставили бы несколько образчиков обугленного мяса в изорванных остатках старых халатов. Надо было научить туркмен-рабочих работать с ломом и киркой. Это тоже не очень просто. Увлекающийся туркмен, сбросив халат, подставив спину беспощадному солнцу (очень тяжело работать в узком квадрате забоя в необычную жару, доходящую до сорока градусов), ожесточенно рубит сравнительно нетвердый витерит, не обращая внимания на то, что он подрубает куски, образующие выгиб свода, и готовые к оползню глыбы обрушатся на его же голову через несколько часов. Другой его товарищ, убирающий отбитые куски наверх, так занят своим делом, что, потея и тяжело дыша, не видит, да и, видя, не сразу соображает, что надо товарищу остановиться и перенести свои удары в другое место. Сколько бы было изранено и перекалечено народа, если бы не бдительный глаз старика десятника, терпеливо проверяющего каждый жест рабочего, каждую выемку капризного залегания витерита.

Пятнадцать туркмен-рабочих с утра рассыпаны по ущелью. Жилы витерита очень изворотливы и непостоянны. Когда начинается сбоку белый блеск, сплошная белая, как мрамор, стена и желтизны нет, значит, витерит кончился, значит, нужно искать его выше, ниже, идти в сторону. В этом месте Арпаклена единственное слово, с которым люди живут, едят, спят, с которого начинают разговор,— это витерит. Туркмены окрестных ущелий поражены этим словом, как заклинанием. Когда товарищ Сидоров едет на дальние осмотры возможных витеритовых залежей, к нему подходят в дороге туркмены и говорят, что они нашли тоже какие-то камни, и очень просят приехать посмотреть. Они говорят только «витар-витар» и гладят любовно камень, похожий по цвету на их сожженную кожу.

Места эти были совершенно пустынны и не исследованы. Путей, кроме узких тропинок, не было никаких, да и сейчас нет. А между тем вторые в мире залежи витерита заслуживают очень большого внимания. Они, может, в данном месте не так велики, как хотелось бы; может быть, на глаз подсчет запасов не превзойдет двух тысяч тонн (неизвестно, сколько его не открыто еще), но уже те двадцать два вагона, что были доставлены в Кызыл-Арват на спинах верблюдов, почти за двести верст от Арпаклена, есть уже приобретение, если принять во внимание, что Англия отказалась делиться с нами своим витеритом.

Кроме того, залегания барита в ущелье (и какого барита, если принять во внимание, что в довоенное время мы ввозили из-за границы свыше миллиона пудов в год) тоже не разрабатываются из-за отсутствия путей сообщения.

Желто-белые груды витерита насыпаны по уступам горы, как фундаменты будущих домов. Дома, несомненно будут. Сейчас внизу у ручья, гремящего по ущелью, стоит деревянный маленький домик, банька; перед ним на дворе ванна, и когда ее берут три европейца, коих мы застали на руднике, то они бросают туда пучки мяты и чабреца как дань азиатской колоритности этого места.

Рудник работает с января 1930 года. Сорок восемь вагонов витерита добыто за пять месяцев; не вся эта выработка доставлена в Кызыл-Арват, но уже одна цифра говорит сама за себя. Доставка затрудняется фантастически плохим состоянием путей и недостатком верблюдов. Эти причины очень удорожают материал.

Горы вокруг Арпакленской стоянки исследованы со стремительным упорством преданных своему делу людей. Не забудем, что на них, на этих горах, в иных местах не ступала нога европейца. Они делают открытия на каждом шагу, недоумевая и становясь подчас в тупик. Разрыв в одном месте почву, на глубине четырех метров, обнаружили помещение с древним сводом и почернелым дымоходом. В другом месте натолкнулись на кости непонятного захоронения, старые монеты, истлевшие тряпки. Туркмены заверяют, что ни один из них не помнит, чтобы здесь жил кто-нибудь на их памяти.

Рядом с этими находками обнаружены залежи странного блестящего синевато-стеклянного камня, откалывающегося длинными узкими пластинами при ударе, похожего на свинцовый блеск и на слюду. Очень любопытно бродить по такому, только что начавшему трудовую жизнь

месту. Еще люди заметны на горе только как случайные точки; еще витеритовые глыбы окутаны таинственным дымком счастливой находки; еще юрты, стоящие на горе, походят на лагерь путешественников, огонь костра — на бивуачный, еще люди, отходящие от бивуака во тьму ущелья, могут внезапно встретить барса или волка, фаланги падают с круглых решеток юртных крыш, тяжело шлепаясь о земляной пол, змеи убегают из-под ног рабочих, ручей внезапно цветет по неизвестной причине и становится негодным,— тогда находят родник, змей и фаланг сжигают, облив керосином.

Уже первый период робинзончества прошел. Откуда-то на свет костра прибежал пес и остался у Сидорова. Его назвали Боб. Пришел из ущелья, вызывающе мяуча, большой кот с какой-то словно обрубленной мордой и остался жить с людьми Арпаклена. Единственная женщина-туркменка исполняет обязанности кухарки.

В траве по колено бродит погруженный в витеритные думы любитель одиночества, рудничный бухгалтер и мечтатель Сизов. С ним идет играющий травами Боб. Сизов срывает цветы и собирает букет. Туркменская Швейцария окружает его поэтическую душу лучшими видами горных лугов, гранатовыми деревьями, кустами шиповника и барбариса. Ветер бежит по серебряным рядам ковыля, чудесный горный ветер. Сизов мечтательно вздыхает, нюхает травы и оглядывается. Он знает все эти вершины, все ущельные новости.

— Гранатовое дерево померзло в эту зиму,— говорит он меланхолически.— Вот там живет змея, истребляющая только желтых ящериц. Самый большой колокольчик вон на том склоне, а самый мягкий ковыль будет за этой горкой, внизу. Я гулял раньше с десятником Климовских, но он не любит так гулять. Я для компании беру Боба, и мы собираем с ним цветы. Потом у меня большая коллекция камней и кристаллов витерита. Таких не имеет ни Горный институт, ни Геолком.

Молчание ночи нисходит на ущелье. Костер горит, как сигнальный маяк на самом краю света. Внизу одиноко гремит ручей. Прохладная тишина гор подходит вплотную. Люди Арпаклена сидят все вместе за горячей кастрюлей с пышными макаронами: Сидоров, Сизов, Климовских. Входят кот и собака. На стенах висят винтовки. Лошади жуют сено из высоких глиняных чаш. Сидоров кладет ложку и своей бодрой походкой горняка идет к костру. Он

стоит лицом к главным забоям витерита, невидным в ночном тумане, но я знаю, что для него туман не существует. Завтра рано утром он возьмет свою тоненькую палочку и, похожий на горного тролля, пойдет снова мерить вверх и вниз по узким тропинкам ущелье и, презирая свою одышку от непривычки к горам, будет лазить на белые уступы, чтобы какому-нибудь заезжему человеку с довольной тихой улыбкой сказать, указывая на огромный, уходящий в пропасть утес, с виду не представляющий ничего особенного:

— Какие я тут забронировал кусочки! Посмотрите-ка, как дадут мне знак, такой барит пойдет, не нарадуетесь. Исключительная чистота!

Вы смотрите на этого исключительного человека, хранителя исключительных вещей, и вся трудность дороги к этому месту и вся легкая усталость испаряются из головы. Я вспоминаю кара-калинский разговор и сам хочу сказать всем едущим в Туркмению:

— Побывайте в Арпаклене! Обязательно, во что бы то ни стало побывайте в Арпаклене! Кто не видал Арпаклена, тот не видал Туркмении.

УЩЕЛЬЕ АЙ-ДЭРЭ

Если бы некоторые ущелья Копет-Дага могли превратиться, как в сказке, в каких-нибудь там богатырей или пастухов, это не важно, вообще в движущиеся и говорящие фигуры, вполне человекоподобные, они бы пришли в Ашхабад и загремели огромными, как громкоговорители, голосами:

— Какого черта вы не обращаете на нас внимания! Мы вам не нужны? Вы загордились? Или разбогатели так, что вы знать нас не хотите? Ну, что ж, через десять лет в Копет-Даге нечего будет делать по части рощ и всякого растительного добра. Стада сожрут последние молодые кусты и побеги, а кочевники вырубят последние плодовые деревья из того мирового запаса дикорастущих кустарников и плодовых деревьев, о которых расписывают вдохновенные ботаники. Если же вы хотите нас спасать, поторопитесь, товарищи,— где кустарники и леса полуострова Дорджа, где саксауловые рощи между Анау и Ашхабадом, где кызыл-дагский горный клен и арча, где фисташковые леса под Кушкой? Много их осталось? Вот вам историче-

ская пометка: в 1879 году свежий человек пришел в Хаджи-Калу и записал на память потомству: «Хаджи-калинская долина показалась нам после пустынных степей настоящим эдемом. Здесь мы нашли превосходную холодную ключевую воду, какой уже не пили с Кавказа. Тут мы нашли и тень, и прохладу, и лес, и траву, и если прибавить к этому изобилие дров, всевозможной дичи, нами настрелянной, и дынь, арбузов и винограда, то не трудно себе представить, с каким удовольствием отряд наш отдыхал здесь, широко пользуясь всеми земными благами...»

Где эти земные блага в нынешней Хаджи-Кале? Где эти леса, переполненные фазанами и куропатками? Нет их, и такова будет судьба незащищенных рощ и лесов Копет-Дага в самом недалеком будущем.

Так говорили бы эти ущелья, если бы они имели голос, доходящий до Ашхабада. Правда, в Ашхабаде им ответили бы спокойным разъяснением столичных людей, привыкших разъяснять провинциалам:

— Мы знаем это, успокойтесь, граждане. Мы наметили на 1930 год проведение работ по Кара-калинскому району. В долине Порхая: а) посев пробкового дуба с подгоном из местных пород (гранат, инжир, виноград и сумах) — площадь 10 *га*; б) закладка дендрария для наблюдения за другими акклиматизируемыми субтропическими растениями — площадь 1 *га*; в) закладка питомника для выращивания необходимого посадочного материала — площадь 0,5 *га*; г) опыты облесения предгорий ценными местными породами (фисташка, миндаль, гранат, унаби) — площадь 10 *га*. Ущелья Ай-Дэрэ: посев и посадка на склонах ущелья пробкового дуба, миндаля, фисташки, можжевельников, сосен, площадью в 3,5 *га*. Ущелье Кол-Дэрэ, Гузы и другие: посев пробкового дуба, можжевельников — площадь 1 *га*.

— Лучше поздно, чем никогда,— вздохнули бы на это аллегорические наши великаны и снова превратились бы в молчаливые темно-зеленые рощи, подобные рощам Ай-Дэрэ. Когда въезжаешь в это ущелье вечером и пересекаешь его бесчисленные ручьи и родники, то хочется говорить обязательно стихами про него, и очень простыми и наивными, потому что здесь действительно: травы брата родней, в темножильях камней родников отчеканена дрожь — лучше рощ, гибче вод, драгоценней пород ты в Туркмении, верь, не найдешь.

Эти фотографические строки, бедные со стороны звуковой, именно и вызваны тем, что внешний облик ущелья вызывает в мыслях самый употребительный для таких мест в литературе образ «Эльдорадо». Этот образ живет здесь заново. Богатства, сосредоточенные вокруг, бушуют, так же приливая к ногам путника, как бушевала золотая горячка, сводя с ума испанцев в горных провинциях Перу и Мексики.

Да, нужно быть окончательно слепым, чтобы не видеть, что здесь могут пропасть действительно драгоценные природные сады, единственные в своем роде. Я не говорю о красоте ущелья, о некоей привлекательности, романтической, начиная с огромной скалы у входа, похожей на мертвого пастуха, вокруг которого, как овцы, пасутся деревья по горе, про блеск и тончайшую пену зелено-синих вод ущелья, живописные скалы, ждущие туриста и фотографа, поляны, где, по Джеку Лондону, нужно ставить палатку, иметь девушку, винтовку и мула. Я уверен, что его Лунная долина ничем не лучше, да, может, и хуже, этого ущелья Ай-Дэрэ. Я не говорю про все это, как равно и про тот странный и богатый впечатлениями путь через Лунные горы, Долину смерти, Арпаклен и хребет Дузлу-Тепе, опьяняющую роскошь садов Куруджея, Уиджи и Дурдыхана. Само собой разумеется, что все это проделано во благовремении, и вот мы в ущелье. Отказавшись от всей литературной картины и впечатляемости, я хочу сухими и скучными словами нарисовать хозяйственный, практический пейзаж ущелья, чтобы читатель понял, что я не кормлю его одним лирическим салатом. Нет, я дам ему честный питательный бульон, где будут плавать некоторые цифры. Они не будут похожи на мух, их можно не вытаскивать брезгливо, а глотать, ибо это очень питательные цифры для хозяйственника и для организма общественного полезны в высшей степени.

Вы найдете здесь фисташку, дикую фисташку; это дерево так долго напрашивалось в друзья человечества и так обидно было отвергнуто и подвергнуто безжалостному истреблению. А между тем оно, как опытный житель здешних мест, росло там, где никакое другое дерево не в состоянии жить без полива. Оно не только доставляет каждые два года прекрасные плоды желтого цвета с розовым румянцем. Кроме плодов, орешки, образуемые па нижней стороне листьев, окрашены, подобно свежей фисташке, и очень похожи на ее плоды, так что туркмены говорят, что

фисташковое дерево один год приносит съедобные плоды на ветках, а другой год — несъедобные плоды на листьях. Вот эти-то орешки имеют громадный ход в красильном деле. Отвар их, смешанный с отваром марены или кашенили, дает вам возможность любоваться сочными изумительными малиновыми и глубоко-красными тонами на старых текинских коврах и шелках. Они сохраняют свою прочность до конца мира. Анилиновые краски перед ними — детская мазня.

Если вы вспомните, что Копет-Даг стоит на первом месте по числу плодовых пород, встречающихся только в данном участке, имея одиннадцать видов диких плодовых деревьев, свойственных только ему, и за ним, отступая, идут даже такие богатейшие области, как Тянь-Шань и Таджикские горы (Восточная Бухара), то вы проникнетесь уважением к его ущельям, героически отстаивающим от бессмысленного топора кочевника и чрезмерного аппетита животных свое существование.

Тысячи килограммов горькоминдального масла ввозим мы ежегодно из-за границы, не зная, видимо, что в ущелье Ай-Дэрэ стоят двенадцать тысяч миндальных деревьев, что десять тонн миндаля собраны только на первых пяти километрах его, а ущелье тянется на целых двадцать пять километров.

Двести тысяч кило эфирных масел пришли к нам из Европы за наше трудовое золото, когда целыми заброшенными, глухими участками по ущельям разбросаны такие эфирно-масличные растения, как сумбул.

Биолог Шон нашел недавно, что излишняя доза ультрафиолетовых лучей задерживает рост растений. Я не знаю, есть ли в Копет-Даге эти излишки, но там, где скот и люди не успели сделать свое дело уничтожения, чаща залита прекрасными растениями, нашими союзниками и друзьями в борьбе за существование.

Я назову одну хорошую цифру. Хотите вы иметь па вывоз сто пятьдесят тонн грецкого ореха? И какого ореха! Экспортного, лучших сортов, того ореха, что называется каракос, размером пять сантиметров; тонкая скорлупа его не уступает ни американским, ни французским сортам. Пойдите в Ай-Дэрэ, выгоните из ущелья стада трех аулов, запретите порубку, и вы будете иметь эти сто пятьдесят тонн, если не приложите никаких особых усилий к расширению добычи ореха. Если приложите — собирайте без счета свыше.

Дикий виноград, обвивающий арчу, если его сортировать, откроет свою принадлежность к лучшему винному и столовому сорту. Его можно легко собрать до трех тонн в этом славном полузабытом ущелье.

А колоссальные залежи туркменской ежевики, никому здесь не нужной и не собираемой вовсе, а дикая груша, гранат, который не столько ради вкусового удовольствия, сколько ради корки, дающей краски и дубильные вещества,— очень пригодился бы.

Разве пересмотришь все богатства этого ущелья? Джида, ясень, клен, карликовая черемуха, рябина, притаившаяся в густых зарослях, айва, растущая только в ущелье Ай-Дэрэ и у моста Пулисанг на реке Вахш, боярышник, скромные серые листья которого, войлочные и пушистые, пусть ничего не стоят, но ягоды его продавались в вольной продаже случайно на базаре Ашхабада по шестьдесят копеек кило, кизил, дикая алыча — слуга вареньев и компотов, колючий губчатолистный барбарис, дикорастущая слива на щебяных склонах щели Шалкос, черная шелковица (шахтут) и — на самом краю обрыва — инжир простирает свои жестко-шершавые листья, гордясь плодами, которые превосходят все прочие дикие инжиры, какие когда-либо были обнаружены в Средней Азии.

Над всем этим изобилием как предостережение висят сухие склоны полустепи и жесткий скептик — трагонитовый астрагал. Полынная степь выше этих склонов выжжена и высушена так, что почва превратилась в легкую безжизненную пыль.

По ущелью бродят коровы, и козы, и овцы и сладострастно обжирают кусты и деревья. Гоните их к черту, дорогие товарищи, пока они не сожрали всего!

Возможно, что все эти фруктовые богатства остались от исчезнувших неизвестно когда людей, населявших ущелье. В нем имеются развалины фундамента каких-то древних построек, но самый старый житель соседних с ущельем мест, стопятнадцатилетний туркмен Сабар Бахар, сидя под двухсотлетним тутовым деревом, меланхолически говорит, что помнит отлично, что даже его отец и дед не знали никого, кто бы населял ущелье при них. Значит, жили тогда, когда не было еще этого,— и он трогает рукой, похожей на корень саксаула, благородную морщинистую грудь тута.

Товарищ Бессонов, хранитель ущелья, сегодня живет в юрте у самого входа в Ай-Дэрэ. Когда мы приблизились

к его местопребыванию, он ловил змей. Ловить змей — обычное занятие в этом месте. Жители сожгли густые заросли ежевики, так как все равно нельзя было посещать их из-за громадного количества змей, нашедших приют в их уютной прохладе. Змеями полны все кусты. Они лежат между камней, они залезают в воду ручья, они катаются по поляне. Ужас хозяйки перед ними был столь велик, что она в темноте боялась сидеть на камнях, отгораживавших от дороги маленький загон.

— Но вы же их родственница,— сказал один из присутствующих.— Вы происходите от змеи, как и все люди, как и обезьяны. Это путь от моллюска к пресмыкающимся и от пресмыкающихся к млекопитающим...

Хозяйка в испуге уставилась на него.

— Что вы говорите, да чтоб я да от змеи! Да вы напугать меня хотите, я вижу. Да как же это — от змеи! Да почему же, если мы родственницы, она меня покусает, я помру?

— А если б вы ее покусали, еще неизвестно, выжила ли бы она,— сказал спорщик.— У вас в слюне яд. Это доказано учеными.

— Ну, уж вы скажете,— расстроилась женщина и плюнула себе на ладонь.— Какой же это яд? — Она стала разглядывать свою ладонь. Все засмеялись.

В юрте было прохладно и чисто. Желтый самовар блестел. Голубой граммофон наставил на ущелье огромную трубу. В ней лежали старые письма. Хозяин говорил по-туркменски лучше туркмена, так как обладал знанием всех наречий и, когда нужно, признавался он, превращался в туркмена, так что его ни за что не принимали за русского. Он родился в окрестностях Ай-Дэрэ, и отец его был лесником тут же.

— Все не могут мне построить дом, и деньги есть, и земля есть, а с домом марудят,— сказал он.— Дали б мне самому разрешение, а то зима придет, что я с этой юртой буду делать? У меня семья. А то вон прошлая зима была крепкая, гранат померз кое-где, не выдержал. Миндаль не увезли. Мыши полевые съели, одни корочки оставили. Госторг платил по три рубля за пуд орехов, собранных в ущелье, а на рынке по шесть рублей давали частники. Ну и таскали люди, разве уследишь? Тут надо поскорее совхоз делать и все на учет брать. Место наше богатое, да заброшенное. Сами видите.

Нури

Впереди нас гарцует веселый старший милиционер Нури. Роза, заткнутая под красно-желтую фуражку, треплется около его загорелого уха.

— Нури, поедем! — кричим мы.

— Поедем! — это значит карьер. Нури любит карьер, но бережет свою лошадь. Она размашисто раскачивается несколько саженей и только потом бросается влет. Распластавшись над дорогой, идут наши лошади и у каждого пригорка поддают скорости. Наконец переходят, удовлетворенные, на обычную свою тропоту. У моей кобылки шея перехвачена желто-черным шнурком с бирюзинкой для защиты от дурного глаза. Лошади, не привычные к горным тропам, всегда в горах, раньше чем ступить, ощупывают копытом землю и ударяют по ней, прежде чем поставить ногу. Но наши кони здешние, они летят не оглядываясь.

Нури знает весь район. Он его знает, и его все знают. К его коню подходят, смеясь, женщины и просят папирос для мужей, работающих в поле. Он, подмигивая им, дает пяток папирос. К его коню, плача, подходят женщины и спрашивают о муже или брате, арестованном в Кара-Кале. Лицо Нури делается задумчивым, он объясняет, что незачем было их мужчинам снюхиваться с контрабандистами. В аулсоветах Нури просят захватить письма в Кара-Калу, так как не скоро дождешься оказии.

У Нури есть свои веселые дела, его молодое сердце полно весны, туркменской, фисташковой, он оставляет нам коня и исчезает. Он появляется во дворе, сияющий, как молодой месяц, и спрашивает: «Чай пил?» — «Пил»,— отвечаем мы. «Ну, пей еще десять минут!» — и исчезает, чтобы через полчаса появиться уже похожим на полную луну, такую, какая отражается в Сумбаре.

Он рассказывает районные новости, анекдоты, принимает прошения, наводит справки, покупает чай и папиросы, которых нет в Кара-Кале, для себя и для приятелей, скачет здоровый и веселый, как молодой розовый олень, редкое животное, почти исчезнувшее в Копет-Даге.

— Нури! Почему все селения называются Кала, что ни имя: Хаджи-Кала, Кара-Кала, Тутлы-Кала, Махтум-Кала, Иван-Кала?

— Кала — значит крепость,— отвечает он страшно на-

учным голосом (мы отлично знаем, что значит Кала, нам интересно его объяснение).— Воевал, воевал все время, теперь больше не воюет, не может воевать. Один Нури воюет, если захочет. Больше никто не может.

И он качает винтовку, которую снял с плеча и прикрутил к вьюку. Неожиданно он осаживает коня и едет рядом. Он осматривает нас довольными глазами.

— Прямо кавалеристы мы. Очень хорошо едем, а то зовут меня, я, знаешь, всю ночь не спал, устал, зовут, говорят: Нури, приехали люди, иди аул, достань лошадей; я тогда ехал ночью, обратно ехал, искал, искал, все в поле лошади, нашел, когда ехать, рано утром, в шесть часов ехать. Э, Нури, спать совсем нет. Думал, какие такие приехали, сердился немного про себя. Один такой ехал со мной раз, скакали два версты. Он говорит — не могу ехать, задница болит. Я сердился, никак назад нельзя, едем, ударил камчой его коня, он помчался, помчался, плачет, кричит — сейчас упаду, сейчас упаду! Потом ночевать стали, я поехал в сторону от него. Утром смотрю — нет никого, он лошадь в кочевье бросал, шел пешком назад, одеяло, мешок на голове, обратно в Кара-Кала. Я не могу, говорит, аул искать. Зачем меня партия на работу посылала, если средства двигаться нет? Ха-ха, лошадь ему не средство. Какие люди есть! Загадочный прямо человек. С одеялом цельный день на голове шел в Кара-Кала. Хо-хо!

Нури жует лепестки своей розы и садится боком на седло. Дым его папиросы необычайно легкомыслен. Темные туты оживлены толкучкой дехкан. Люди двигаются в разных направлениях, точно на базаре. Впечатление только что кончившегося любопытного события, не слишком важного, но достаточно интересного. Дехкане пользуются случаем и занимаются вполне общественной болтовней. Нури встречает знакомого и вступает с ним в длительный разговор. Потом мы отъезжаем оттуда и продолжаем путь, хотя у нас было большое желание спешиться и окунуться в эту массовку.

Мы забрасываем Нури вопросами.

— А,— говорит он, выплевывая изжеванные лепестки,— знаешь, есть такой Каль?

— Каль — значит дурак,— кричим мы, потому что разговор происходит на рыси.— Каль плешивый герой всяких сказок и глупостей, Калю всегда не везет.

— Не везет, дурак! — кричит Нури.— Он хотел с товарищем идти в Персию, в бандиты. Товарища убили, он

испугался, бежал назад, сказал: никогда не буду это грязное дело делать, как это я спасся? Приходите все радоваться, что я спасся. Он колол овцу, делал плов, всех звал и рассказывал, чего он видел в Персии и как лучше дома. Вот собрали народ, «тамаша» праздник вышел вроде...

Вечером среди розовых клумб и шелковых милицейских одеял и занавесок, между пестрых персидских голубей, бродивших по двору, Нури сокрушенно говорил:

— Не уезжай сегодня, подожди завтра, я тебе принесу камчу. Ах, какая камча, достану такую камчу — любоваться будешь.

Но мы с товарищем не обладаем временем.

— Через год приедем, Нури, ты большой начальник будешь, вот тогда воз камчей соберем!

— О, воз,— говорит он, довольный, как ребенок,— едем в Мескев, Ленинград, да?

— Да, Москва, да, Ленинград!

— Знаешь что, скажи там, в случае что, скажи, что в Кара-Кала есть Нури, очень красивый Нури, веселый Нури, двадцать пять лет, жена и ребенок.

— Обязательно скажем, Нури,— будь спокоен. Это мы обязательно скажем!

Полдень в Арабата

Теснясь, сидят и стоят дехкане колхоза Арабата, смотря на приехавших во все глаза. Уже трижды опустошились пиалы с зеленым чаем, разговор ведется непрерывно, но несколько церемонным образом. Переводчиком служит школьный учитель из Кара-Калы, направленный в район. Простая экономика маленького колхоза налицо. Только что отъехал трактор, храбро залезающий в самые глухие горные щели, стада ушли на гору, перерыв — полдень — беседа. Никто из туркмен не говорит по-русски, хотя это неизвестно. Иногда, по особой азиатской врожденной недоверчивости, все собрание стоит-стоит человек, упорно отказывающийся понимать по-русски, и вдруг он оборачивается и ясно говорит: «Разрешите пройти, товарищи»,— и, любуясь вашим недоумением, уходит.

Русские обычно по-туркменски не говорят. Знают десять — двадцать слов, необходимых для самых обиходных вещей, и все. Сейчас дехкане Арабата спрашивают, и обязательно каждый хочет, чтобы все его вопросы были

записаны в книжку. Когда записная книжка после вопросов не раскрывается, они не продолжают беседы, а учитель-переводчик говорит по-русски: для виду запиши, это вопрос ненужный, но покажи, что записываешь.

Приходится делать вид, чтобы не затягивать беседы.

— Почему,— спрашивает один, и учитель переводит,— равные членские взносы в колхоз не учитывают многосемейность? Вносят все одинаково. Справься в Кара-Кале. Почему сахар и чай получили мы восьмого мая последний раз, а теперь двадцать третье и больше ничего нет, и чай у нас вышел. Что делает Туркмен-Сауда? Узнай в Хлопкоме, как они считают при выдаче продуктов семью в три — пять — восемь человек или отдельно выдают на десять человек сразу?

— Если человек опоздал вступить в колхоз и работает сейчас на шоссейной дороге, как ему попасть в колхоз?

— Почему Агил-Нияс Бекмурадова живет у брата мужа, старуха, и ей не выдают пайка, не считают ее за работницу?

— Мы делали дорогу Кара-Кала — Дузлу-Тепе. Все делали селения, повинность была, чтобы автомобиль мог ходить. Автомобиль ходит, и все мимо, а нам говорили — будет дорога, будете ездить на машине, а машина не берет нас. Мы никогда в жизни никто не катался на машине. Пусть хоть председатель колхоза, когда дело есть, едет в Кара-Калу на машине, а то мы чиним дорогу и никакой не видим пользы себе, шофер все машет мимо и гудит. Скажи, пожалуйста, в Кара-Кале, что мы раз в жизни хотим ездить на машине. Запиши, пожалуйста.

Действительно, это несправедливость: в Ново-Артыке мы говорили с человеком, проложившим эту стопятидесятикилометровую дорогу в три месяца. Все селения, мимо которых она прошла, выставили на свой участок рабочих в порядке повинности, и дорога была сделана. У нее есть недостатки: мосты должны будут перестраиваться, принимая во внимание селевые потоки, так, чтоб быть заливаемыми и служить сообщением, даже оставаясь покрытыми мелкой водой, не подвергаясь размыву. При бедности транспорта автомобилей ни пассажирских, ни грузовых не хватает, но учесть желание дехкан во что бы то ни стало получить автомобильное крещение все-таки стоит.

— Почему,— спрашивают дехкане,— в колхоз не принят Алаверды? Он бедняк, это у него родственники баи, а он батрак, дробит камни и голодает. Это надо разобрать.

Он ходит после своей работы на дороге работать в поле, а ему ничего не платят!

Тут я вспомнил случай, рассказанный в одном из районов сплошной коллективизации. Там был старик, которого как родственника бая не приняли в колхоз. Он это исключение из трудовых списков воспринял как оскорбление и как гибель. С тех пор не было такого усердного работника в колхозных полях, как он. Его гнали, ему говорили: что ты стараешься, все равно ничего тебе не будет! Он молчал и работал больше и дольше всех. Он отрекся самыми последними словами от каждого из своих байских родственников. Он плакал последними слезами и шел в поле. Весь колхоз говорил о нем, так он работал два месяца и начал сдавать. Невероятное упорство его оставалось, здоровье же было все-таки стариковское. И все-таки он не шел никуда, кроме как в поле. Ближайшее общее собрание приняло его в колхоз. Он ходил и смеялся от радости.

Я смотрю на тесные ряды дехкан Арабата. Сколько таких маленьких колхозов рассеяно по огромной Туркмении! В каждом из них есть такие старики, стоящие иных молодых. Полдень в Арабата — настоящий азиатский. Четвертая перемена чая стоит перед нами. Слышится тяжелый шаг возвращающегося трактора. Трактор пришел. Беседа кончена. Все обступают трактор. Тракторист обтирает тряпками машину. И тут маленький ишак, стоявший поодаль, скосив кочевничий свой глаз, лягает трактор задними ногами со всех сил и, от звонкого удара сам испугавшись, прыгает далеко вперед.

ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ КАРА-КАЛЫ В КЫЗЫЛ-АРВАТ В НОЧЬ С ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО НА ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ МАЯ СЕГО ГОДА НА ПОЛУТОНКЕ СИСТЕМЫ ФОРД

Я знал человека, который, что бы ни рассказывал, всегда рассказывал с преувеличением. Так как это выходило местами очень убедительно, ему верили. Силой обстоятельств я сейчас поставлен в такое ложное положение: что ни напиши — все покажется преувеличением. И, однако, во всем описании не будет ничего лишнего, только то, что я сам видел и ощущал.

Надо сказать, что горы в этих местах, особенно на закате, представляют какую-то битву цветных скал. То ли

особое падение солнечных лучей, то ли особое устройство каменных выступов и скал, но трех разных цветов скопища камней сходятся друг с другом одновременно, а в провалах по горизонту лежит цепь, от которой будто только что отступило море Великого Потопа, и ковчег вот-вот пристанет к высочайшей вершине этой цепи, подчеркнутой и перечеркнутой какими-то огненными росчерками заката. Другой вид этих мест — это горы, белые до тошноты, на глаз мягкие, лунные, какие-то с кратерами и и треугольными вершинами, стоящие отдельно, всевозможных величин. Между ними шныряет дорога, то проваливаясь, то взлетая и поминутно поворачивая.

По такой вот дороге и должны были ехать мы ночью двадцать пятого мая. Ни один столичный литератор не описывал этой дороги, и все же она литературна настолько, что потребовала целого отступления, прежде чем могла быть введена в очерк.

Грузовик-полутонка не заключает в себе ничего особенного. Стенки платформы, достаточно расшатанные непрерывными рейсами по горной дороге, были схвачены веревками. Рядом с шофером поместился я; в этом узком помещении необходимо было особо спасаться от толчков и не мешать управлять шоферу, потому что иной толчок под руку в опасном месте грозил нам аварией. Кроме того, по сиденью все время перекатывались чьи-то громоздкие часы, которые мы везли в починку в Кызыл-Арват и которые не влезали ни в один карман, и спрятать их было решительно некуда. В. А. Луговской, мой спутник, завладел всей пустой платформой и, сев прямо на пол, отдал себя на растерзание бешеным броскам машины, причем единственное, что он предпринял в защиту себя,— это пропустил под руки веревки, охватывающие стенки грузовика, и стал похож на спускающегося на парашюте человека, запутавшегося в веревках парашюта и прыгающего безостановочно с дерева на дерево. Я положил правую руку на раму дверцы, стекло которой было опущено, и шофер, очень невеселый парень с измученным лицом, пустил мотор. Нас сразу тряхнуло основательно и понесло в темноту. Все эти приготовления не были вовсе комическими, ибо дорога ожидала нас самая серьезная.

Итак, мы отправились. Впереди машины шли две белых полосы света от фонарей и освещали окрестность очень приблизительно. Скоро тряска стала неимоверной. Мы въехали в белые лунные скалы. Они все превратились

в меловой зверинец, показав такое громадное количество скошенных морд, лап и падающих решеток, что я не удивился, увидав, что мы мчимся прямо в черный ров, взявшийся неизвестно откуда посреди дороги. Я хотел схватить шофера за руку, но справился с этим обманом зрения и удержался на месте. Это была просто черная тень, походившая на канаву, как нарисованная. Этих канав-теней, пересекавших дорогу, становилось все больше. Иногда автомобиль пробовал перепрыгнуть их, иногда замедлял ход, и тут я заметил, что шофер не столь спокоен, как я думал. Наконец прыгающая дорога, на которой уклона нельзя было разобрать из-за бледно-цветной и обесцвеченной окончательно светом наших фонарей почвы, пересеченная не фантастическими, а очень обыкновенными рытвинами и тенями, так вошла в глаза, что их стало ломить от бесконечного однообразия, рассеянного света и скачущих в нем тысяч мелких меловых песчинок.

Тут я увидел, как от стены утеса отделились два человека в высоких шапках и шагнули нам навстречу. Не поддавшись на удочку галлюцинации, я только притаил дыхание, и вовремя, потому что люди эти появились только в моем воображении, а утес, призраком возникший неожиданно слева, был самым настоящим белым утесом, о который мы едва не разбились. Наш форд рвануло вправо с громадной силой, и шофер, миновав это место, вытер пот рукавом. Ночь была довольно прохладная, и жара тут, конечно, ни при чем.

«Пожалуй, так, виляя вниз и вверх часами, мы не дотянем до конца»,— подумал я, и сразу что-то серое упало со скалы перед автомобилем, и так как он не убавлял ходу, то и серый клубок не останавливал своего бега. Я видел ясно, что это заяц; большой заяц плясал перед автомобилем, именно плясал, не страшась летящего на него чудовища.

— Заяц,— сказал шофер, впервые за всю дорогу промолвив слово.— А раз я барса спугнул от ручья. Он пил, а я наехал. Он как махнет назад, чуть в машину не попал. Ушел по уступу. Они ночью все шляются.

Заяц потанцевал, ему надоело, и он исчез в стороне. Нас качало все больше.

— Черт его знает, болен я совсем,— сказал шофер,— мотает меня, и живот болит. А эту дорогу ночью ехать хуже не надо. Вот сейчас будет еще спуск на повороте. Вы слушайте, пожалуйста, не скрипят ли тормоза.

Нас кидало с ужасной непоследовательностью. Как я ни прислушивался, не скрипят ли тормоза, я ничего не слышал, кроме длинного непрерывного свиста. Этот свист шел за нами от самой Кара-Калы и до самого утра. Была ли то настойчивая ночная птица или ветер, но свист был упорный и сильный. Присматриваясь к шоферу, заметил я, что он нервничает больше, чем ему полагается в нашем положении. Все это очень комично выглядит теперь, но тогда мы боялись опоздать на поезд в Кызыл-Арват, и глупая непонятность этих мест нас расстраивала. Снова что-то длинное и узкое возникло из-под автомобиля и начало мчаться впереди, и тут я, как ни рассматривал, не мог признать зайца в этом новом плясуне.

— Кто это? — спросил я шофера.

— Это тушканчик,— ответил он изнемогающим голосом, и как только он сказал «тушканчик», зверек провалился, точно мы его рассеяли в пыль, а я увидал, что мы едем по улице, где окна закрыты ставнями и тени от дверей ложатся на дорогу. Я закрыл глаза в страшной злости на собственное никчемное переутомление. Мне казалось, что это переутомление. Может быть, я так устал от бесконечных дорог Туркмении? Я открыл глаза. Улица насмешливо отбрасывала тени оконных ставней и дверей, а плоские черные люди жались к стенкам домов от нашего автомобиля.

Я оглядел шофера сбоку. Глаза его были полузакрыты, и руки ездили по рулю. Я взял его за плечо, стараясь не смотреть на дорогу. Он очнулся, вздохнул, и мы выругались оба. От ругани улица исчезла на минуту, но снова появилась у меня перед глазами. Тогда я решил спать, спать во что бы то ни стало, что бы ни случилось. По моим расчетам, мы проехали долину, которую с Луговским окрестили Иосафатовой за ее причудливый безмолвный конгломерат одиноких скал, изрезанных и выбеленных, проехали Лунные горы — тоже наше название — и были где-то в направлении на Хаджи-Калу. Цифры километров на счетчике накапливались так медленно, что я решил лучше спать. Толчок почти выбил меня из сиденья, и я снова увидел темную тень, бежавшую к автомобилю, на этот раз нам навстречу, открыто.

Шофер чуть затормозил на повороте, тень добежала до нас и возникла на подножке.

— Это литература,— сказал я про себя.— Этого не бывает.

Тень стояла на подножке и что-то кричала шоферу. Шофер задержал машину, убавил ход и совсем остановил ее. На подножке стоял вполне осязаемый человек.

— Ну, как едешь? — спросил он.

— Ничего. Тормоза гудят, по-моему, посмотрим немного.

Он вылез из автомобиля, полазил, пошарил под колесами и после совещания со встретившимся незнакомцем закурил.

— А я,— сказал незнакомец,— здесь ночую с автомобилем. Я снял с того, знаешь, с первого — колеса...

Тут вспомнил я разбитые и брошенные по дороге автомобили, жуткие в своем одиночестве, как трупы странных животных, исклеванных неизвестными птицами. Их разбирали по мере возможности. Поэтому у одного не хватало колес, у другого мотора, у третьего были выломаны бока,— встреченный и занимался этой разборкой автомобильных мертвецов, оттащенных в сторону от дороги. Он и возник, как некий гробокопатель.

Попрощавшись с ним, помчались мы дальше. Улица, виденная мной так ясно, больше не пробовала появляться, но шофер бледнел все больше. Видел ли он что-либо, сбивавшее его с толку, или он серьезно заболел в дороге, но он бросал автомобиль, как лошадь, подымая его на дыбы или отбрасывая назад одним ударом руки в местах, где, казалось бы, в этом не было никакой надобности.

Белый утомительный свет летел перед нами, и дорога эта самыми прямыми путями шла в ад, вполне поэтически обставленный и психологически подготовленный.

Тут я увидел стыдное по авантюрности зрелище и ничего не мог понять. Гоголь, Николай Васильевич Гоголь, знаток шабашей украинских ведьм, мог быть постановщиком этой сцены. Если я уже дошел до кошмаров такой низкой степени, то я, несомненно, выпал из XX века в век мне неизвестный, не похожий на наш век с тракторами и социальной революцией, если я вижу среди ночи скачущих голых людей, освещенных,— что освещенных! — залитых с ног до головы пламенем костров, ярким, как арбузное мясо, людей, скачущих с самыми дикими криками вокруг огня и обмахивающихся громадными головнями. Изредка они в бешенстве ударяли этими головнями по земле. Дым костров обволакивал этих литературных демонов и летел по земле, гонимый ветром.

— Это самый глупый сон из всех виденных мной,—

сказал я вслух, и шофер остановил снова машину. Луговской недовольно заворчал на своем дьявольском плацдарме, а к нам подошел голый человек с головней, от которой отлетали мохнатые, как пчелы, угли.

Подошедший оказался шофером, а черная груда его автомобиля меняла свою окраску ежеминутно в блуждающем пламени самым безобразным образом.

— Ну и дороги,— ругался он,— брошу все и уеду к себе. То ли дело приморское шоссе, Гагры — Хоста или Сочи — Мацеста. А тут от этой сволочи едва головней отобьешься. Сколько ее на огонь, гадины, стремится, не сосчитать.

— Кого на огонь? — спросил я.

— Фаланг, дьявол их разрази! Скорпионов, фаланг целые полки. Так всю ночь и скачи. Спать нельзя. Раз я ехал, пить захотелось, один был, остановил автомобиль, к ручью пошел, фонарей не погасил, иду назад, а ими дорога полна: желтые, громадные, прыгают под ноги. Чуть не заплакал. А ты что? — спросил он моего шофера. Шофер сказал что-то очень невеселое, и мы распростились. Снова, поражая дорогу белыми лучами фар, мы швырялись из стороны в сторону. Наконец руки моего автомобилиста упали, и он сказал:

— Не доедем. Не могу. Столько набилось в глаза муры, спать хочу. Будем спать в Хаджи-Кала...

Я помню только угрожающе-протестующий шум Луговского, падающий на шофера, пляску колес, снова белые скалы, безжизненные и прыгающие, изменяющиеся перед каждым поворотом, и сонную, выбежавшую по обеим сторонам дороги четырьмя огоньками Хаджи-Калу.

Мы завезли автомобиль в какое-то подобие двора, и нелепая бестолочь ночи обступила нас. Шофер, шатаясь, сполз с сиденья, загасил фонари и ушел, тотчас же растаяв во мраке. Я попробовал следовать за ним и наступил сразу на три спящие тела в скомканных простынях, похожие на распоротые тюки, и вернулся к Луговскому. Он сошел со своего мрачного ложа, разбитый и зеленый, и мы курили папиросы, как демоны глухонемые, гадая, что за предметы вокруг. Все тонуло в сером тумане. Все равно ничего нельзя было понять. Шофер не появлялся.

— Он умер,— сказал я.

— Он хитрит,— сказал Луговской.— Мы должны быть в Кызыл-Арвате, и мы будем. Я сейчас найду его. Подумаешь, Художественный театр.

И он ушел на поиски и вернулся через пять минут. В ночном киселе люди тонули, как иголки.

— Я испорчу ему сон,— сказал Луговской, и мы немедленно задремали сами, не успев привести в исполнение свою мысль.

Но спать мы не смогли. Я думаю, что и шофер наш не успел заснуть, ибо Луговской инстинктивно нажал грушу сигнала, и рев разнесся по всей Хаджи-Кале. Ему это понравилось. Он нажимал грушу, и та стонала и ревела, пока тьма не родила мятой и молчаливой фигуры шофера. Он не сказал ничего нам и влез в автомобиль. И тогда мы помчались с неслыханной скоростью в рассветном тумане, ползавшем по горам. Временами в его прорывы я видел, как у дороги спят люди, как дома, завернувшись в одеяла и оставив газету рядом с подушкой. Собаки, положив лапы в остывшую золу костра, равнодушно провожали нас. Сонные автомобили паслись на лугах около дороги. Их хозяева спали под кустами, накрывшись брезентом. Дорога была захвачена воинственным племенем шоферов.

Силы наши кончились. Я видел сквозь стекло вверху полосатое лицо Луговского. Шофер все тише и тише бросал автомобиль. Я не помню, как заснул. Я проснулся от порыва свежего ветра. Было совсем светло.

Автомобиль стоял в горном проходе. Скалы нависли над нами. Луговской спал, повиснув на веревках, как древний разбойник, умерший на кресте. Шофер храпел с открытым ртом, похожим на широкое отверстие взломанной копилки. Дорога была пустынна. Хорош был со стороны наш сомнамбулический автомобиль, и как был любезен наш шофер, все-таки остановивший автомобиль на дороге, а не в обрыве под насыпью, где наш сон был бы неизмеримо крепче.

Ночь кончилась. Птицы пели. Мы приехали в Кызыл-Арват. Гигантская фигура человека, испытанного в этих местах, нашего старого знакомого, возникла перед нами. Этот ответственный работник дорог и автомобилей дружески приветствовал нас.

— Спали в дороге, спали, да не выспались. Я так и думал. Никто не проезжает ее залпом. Ну, каково ехалось в Лунных горах?

— Как в Лунных горах? — сказали мы.— Да мы это придумали для литературы — Лунные горы.

— Какая же литература? Официальное название.

Плохие места, плохие. А долину Смерти проехали как? Трясло?

— Позвольте! Долина Смерти — это уже из бульварного романа. Знаменитые строки: серебристый смех зазвенел в долине Смерти.

— Да вы не шутите. И долина плохая. На семьдесят шестой версте... там поворот убийственный, зверский поворот. Туда недавно завернул наш Амо, так мы его оттуда и не доставали. Четверо убиты, а двое свалились, пролетели все ужасы и уцелели. Дорога тут ночью скверная, одни коридоры, да спуски, да повороты. Машину не развернешь. А улицу,— сказал он, подмигивая,— видели улицу? Сознайтесь, улицей ехали.

— Ну, ну,— запротестовал я,— это уже слишком. Вы же человек серьезный.

— Да я серьезно и говорю, а вы не волнуйтесь, вы же меня знаете. Я и на острове Диксона зимовал, и в Индии под горячим солнцем парился. Мне чего ж хвастаться серьезностью. Я сам там однажды измучился, так что говорить. Ну, так сознавайтесь, улицу видели?

— Честное слово — видел, чего мне лгать, ну, видел.

— Так вот я так же машину вел и встал в тупик. Не могу ехать. Дома, народ. Плюнул, остановил машину, вышел, погулял, покурил, сел за руль, поехал дальше, и пошло, знаете, что вместо улицы — шахматная доска. Будь ты проклята — на всю дорогу! Черная и белая. Квадрат черный, квадрат светлый. И все в квадратах, куда ни погляжу, и бежит моя машина по квадратам, а куда бежит, не знаю, не могу сообразить. Остановил опять, вылез, посидел, погнал снова, до поворота видел — дорога дорогой, завернул за угол — началась улица. Ну, знаете, бросил я это дело к чертям, не доехал, лег спать у дороги и проспал до рассвета.

— Чем же вы это объясняете? — спросил я.

— Чересчур скалы прихотливо изрезаны и как-то барельефно, не в вышину, а вглубь, потом чересчур белые они все, одинаковые — барит, говорят, наружу. Таких скал нигде в мире нет. Свет от фонарей беловатый, мутный, и от скал свет беловатый, мутный, нейтральное освещение получается, и глаз отдохнуть не может, а все утомляется. И сам утомляешься, потому что все повороты, все спуски и подъемы. Следишь руль, следишь тормоза, следишь ход, и не хватает целости сосредоточения. Дробится человек по частям от однообразия, и мозг уже работает на сторону,

в область воображения, а скалы сами подсказывают такое первое впечатление. Вот так и выходит. Плохая дорога. Ну, вы не выспались, значит,— перебил он себя,— ну, ничего. В поезде выспитесь. Часов десять ехать вам.

ТУРКМЕНСКИЕ ЗАПИСИ

САМОВАР И УДАВ

У чистенькой юрты, в которой живет лесничий-русский, стоит самовар, желтый, толстый, как водолаз, полный жара и бытовой простоты. Через площадку против него распластался только что убитый удав — резиновое, тропическое, необычайное животное. Над ними уступы ущелья, очень знакомые и совершенно чужие деревья. Кто сильнее в этом пейзаже: самовар или удав? Кто вам больше нравится? Этот лукавый вопрос вы должны решить, не сходя с места, приняв желтое дымящееся сооружение и длиннохвостую неподвижную кишку за некие знаки, принципиально равные. Такие сочетания вы найдете повсюду в Туркмении. Бытовая простота будет граничить с предметами чрезвычайной, почти книжной обостренности. Я ничего не скажу пока о самоваре, но — довольно удавов. Я знаю некоторых, они предпочли бы, чтобы в этом ущелье висели с диких деревьев бесконечные удавы, и тигры ходили бы вперемежку с барсами по густым травам, и тишина одиночества наполняла бы воздух, и у входа в ущелье лежали бы обглоданные черепа несчастных путешественников.

В такое ущелье стоило войти и содрогнуться. Когда-то Вамбери обошел далеко Мерв, ибо слишком страшная слава шла про его обитателей. Одна легенда потрясала сердца слышавших ее, и великий путешественник потрясся тоже. Прошло какое-то время. Я ходил по скучному базару Мерва, как по Ситному рынку, где все знакомо и все обычно. И я думаю, что тихий совхоз в ущелье, из коего выгоняют аульную скотину, чтобы она не жрала плодовых деревьев, вполне подходит к нашему сегодня. Совхоз нисколько не оскорбит зеленой красоты ущелья; соседство его, правда, переносит удава в другой словарь, делает его не героем из мира приключений, а скучной ненужной змеей, путавшейся под ногами совершенно зря и поплатившейся

за это. Рассказывают, в Бразилии удавы живут под лестницами в домах, и ночью, когда все спят, они выходят и жрут крыс. Когда у лесничества в Ай-Дзрэ будут свои дома, возможно, тогда удавы приобретут профессиональную ценность. Их будут звать Васьками и Мишками. Будут кричать под лестницу: «Васька, вылазь!» — и этакий гигант природы покажет свою треугольную голову и засвистит; пока же я стою за вещи скромного, но прямого назначения; что касается самовара, то я предпочитаю электрический чайник.

ВАТТОЛА

Ваттола посмотрел в окно: над заливом стоял белый пар, словно выпаривалась вода на сковородке. Жара выжимала залив и сжигала горы вокруг. Весь Красноводский район удручал своей бесконечностью и ненаселенностью. Он был больше любого европейского государства средней руки, и люди, уезжая по служебным надобностям в глубь его, казались из города путешественниками, отправившимися в Лхассу. Ваттола состоял секретарем райкома. Председатель, хозяин района, уже три недели находился в песках, и за все три недели от него не пришло никакой весточки. Ваттола взял лошадь и поехал в пески. Ни одного ручья, ни одной речки. Мертвая страна лежала вправо и влево от его седла. В редких колодцах горько-соленая, похожая на слабый раствор английской соли, вода разъедала рот. В аулах Ваттола разговаривал с туркменами.

— Когда здесь бывают люди из города? — спрашивал он.

Скотоводы переглядывались. Потом один из них отвечал с упреком:

— Когда нужно собирать налог, тогда приезжают,— больше не видали людей. Вот ты приехал, но не знаем зачем...

— Сколько у вас грамотных? — спрашивал Ваттола.— Я привез газеты и плакаты.

— Грамотных у нас нет,— ответил старый скотовод,— в другом ауле, день пути, есть мулла, но он не едет к нам, говорит: далеко ехать.

Ваттола вспотел от ярости. Он был бессилен. Он вышел из юрты. Ни одной зеленой точки на желтом изломе пустыни, ни одного поля. Единственное достоинство кли-

мата — мокнущие раны от сухого воздуха заживают сами через самое короткое время. Ваттола усмехнулся. Он вспомнил постоянный мираж этих мест: река, висящая в воздухе, с отрубленными концами. Его жизнь походила на этот мираж. Мать из Милана, отец из Берлина. Сам он попал в плен в Россию и десять лет работал в революции. Революция научила его не останавливаться перед труднейшим.

Его рвали на части. На Кара-Бугазе люди, обалдевшие от соли, вечной соли вокруг, потеряли связь с городом. Пустыня не давала возможности сообщаться с необходимой быстротой. Ваттола взял Амо и в семь адских часов пересек песчаный барьер. Связь установилась.

На Челекене стала исчезать нефть. И не то чтобы она исчезала, а из леса вышек действовало всего десять. В чем дело, Ваттола? На черной туркменской шхуне, внучке «викингов Каспийского моря», Ваттола пришел на Челекен. Он нашел весь инвентарь промыслов пришедшим в негодность за давностью лет: канаты сгнили, вышки развалились, как тут доставать нефть? Надо было бить тревогу.

Ваттола возвращался в город, зная, что и там его караулит тьма первостепенных дел. Этот район был недоступен простому человеческому пониманию. Каждое дело влекло за собой тысячи сложностей. В городе надо было поднимать порт, устанавливать темпы, пароходы брали тысячи транзитников, рискуя утонуть от перегрузки. В городе не было деревьев; у привычных людей от жары синие круги скакали перед глазами. Надо было сажать тополь, карагач, арчу, джиду, черт знает что, чтобы получить сто метров тени. Жителей становилось все больше. Надо было доставать им воду из родников на горе...

Он метался от песков к морю и от моря к пескам. Революция не миновала даже верблюдов. Большого одногорбого верблюда «системы» аруано и двугорбого «типа» бугро она придумала смешать и получить помесь сильного крупного инера. Это практиковалось и раньше, но не в таких крупных размерах. Человек из Москвы, приехавший наблюдать этих новых представителей верблюжьей республики, сообщил Ваттоле с тревогой, что на дальних колодцах он нашел не туркмен, а киргизов, между тем он не переходил границы Казахстана. Проводники-туркмены увели его и отказались быть в тех местах.

Вечером к юрте, где сидел Ваттола, прибыла толпа туркменов.

— Воды но хватало, иолдаш,— нам не хватало всегда воды, а теперь пришли еще другие.

— Но ведь они кизыл-баши,— сказал неопытный москвич, наблюдавший инеров,— уговорите их уйти обратно.

— Они не трусы,— отвечали туркмены, потупившись,— их больше, и они не уйдут. Если будет так дальше, уйдем мы: нам нечего делать на пустых колодцах, и у скота нет травы,— у них с собой приведены все стада...

Ваттола сказал, что все будет улажено. Туркмены ушли. Он знал, что это за гости и сколько их. Тысяча сто киргизских семейств, вооруженных до зубов, перекочевали из района Мангышлака в Туркмению. Он сел на лошадь и с тремя милиционерами из иомудов поехал на их кочевья. И когда он увидел их костры и одиночных всадников в скошенных шапках с крыльями, он вспомнил еще, что это бежали от революции на юг готовые на все киргизские баи, не желавшие социализма.

Ваттола стоял на холме и смотрел на дым, поднимавшийся из юрт иного образца, чем иомудские. Громадное солнце горело на его лице германо-италика. Разве он не распутал столько азиатских узлов до сих пор благополучно? Он тронул коня камчой и поехал тихо к вечерним кибиткам. Милиционеры следовали за ним в некотором отдалении.

В городе Ваттола сказал нам:

— Я получил бумагу — ехать учиться в Москву — мне! — вы понимаете — мне! учиться! Я стал азиатом, я забыл, как выглядит Европа. Я даже не знаю, как я буду жить без пустыни.

ХРАНИТЕЛИ ГРАНИЦ

«...Старший дозора из заставы Кара-Тепе, Хотабской комендатуры, товарищ Степанов показал своему спутнику на мягкие впадины, сделанные верблюжьими ногами, и на глубокие ямки от лошадиных копыт.

— Догоним,— сказал он,— а ну, догоним...

Они проверили оружие и пошли. Они прошли тридцать километров по следу. Холмы не выдавали никого. В саксауле бегали равнодушные ящерицы, шипя и клокоча. Прошли еще раз тридцать,— никого. Пот уже не стекал. Он выступал и застывал клейкой, тяжелой сеткой на лице и на теле. Прошли еще пятнадцать — и задержали лоша-

дей. На песчаной сопке сидели люди и отдыхали. Чалмы их показались пограничникам райскими цветами, а лошади и верблюды — прямо сказочными животными. Люди приняли пограничников за демонов пустыни, раскрыли рты, издавшие горький вопль, и подняли худые руки людей, не годных к физическому труду. Товарищ Степанов собрал их пожитки и товары и, как воспитатель, подгоняя нужными словами, привел на заставу. Здесь он заодно подсчитал свои километры: их было сто пятьдесят, сделанных в двадцать два часа...»

— Ха,— сказал стрелок с юго-запада, услыхав прочитанное письмо,— у нас контрабандисты на Теджене старее, хитрее. Донесли раз, что пронесено через границу четыре мешочка жемчуга. А черт знает ему цену. Пошли в то место, взяли мешочки. Снесли в таможню — будьте добры — радуйтесь, получайте на память — наложили на жемчуг народные печати...

Вечером сижу один, приходит тех мест бородатый такой шайтан, ничего не боится — скупщиком у нас на счету состоит. По-русски, по-фарси говорит, как святой.

— Можно,— говорит,— с тобой беседовать один на один?

— Ну, можно...

Подходит вплотную, оглядывается на дверь.

— Завтра я тебе принесу четыре мешочка с жемчугом и четыре тысячи рублей...

— А ты помнишь, где ты это говоришь?

— Э, помню, все помню. Ты — начальник — взрослый человек. А! Решай сразу...

Я помолчал, думая, как его, черта, уколупнуть.

— Что,— говорит,— думаешь, не выйдет? Решай сразу. Да! А что думаешь, не выйдет?..

— Не выйдет,— говорю,— катись...

— Ну, так прости меня, я старый человек, но ты дурак...

— Что ты сказал? Ах ты, сукин сын! Повтори...

— Не волнуйся, зачем волноваться? Ты верно слышал: я так и сказал — ты дурак, начальник...

Повернулся и ушел. Я плюнул ему вслед, а наутро нарочно узнал на таможне, что за жемчуг. Оценили в четырнадцать тысяч рублей. Такие дела...

— Наша граница трудная, лихая наша граница,— сказал третий,— поедешь на линию, где проволока оборвана, починить, включиться нельзя никак — не заземлить, хоть

ты лопни: влажности в земле никакой. Ну, шомполом ямку устроишь, помочишься и лошадь приведешь подбавить, тогда еще можно дело сделать, а так пропадай — пыль сухая-пресухая, а не земля. У нас в пещерах кое-где, в палатках посты стоят. Заблудился один парень у нас, от поста до поста шестьдесят километров, украинец был, дали ему компас, а он взял как милый, а ни черточки в нем не понимает. Заблудился он, блуждал, блуждал, ездил, ездил — не найти дороги. Слез он с седла, показал свой компас маштачку своему: «Мишка, подывысь!» Посмотрел Мишка, ушами повел — мол, соображу как-нибудь — и к вечеру вывел его на пост. Вот уж хохотали над ним! «Мишка, подывысь» — так и говорим теперь к слову...

— Держал раз бой,— вступил в беседу татарин-кавалерист,— большой бой держал с басмач. Сто тридцать восемь басмач было. Отбили всех, урон считали свой: сдохли три лошак,— он помолчал немного, выпустил дым изо рта и добавил: — И старшина сдох один... хороший был старшина...

— За десять патронов афганцы овцу дают,— спросил я,— правда ли это?

— Бывает,— сказали сидевшие у коновязи,— их хлебом не корми, дай оружия, а стреляют меж тем неважно. Солдаты у них на постах в одних подштанниках караул держат. Начальник заставы, сами видали вы, в женском пальто ходит. Персы только одеты чище, а насчет храбрости не герои. Завелся у них разбойник на самой границе, так они пришли со своего поста на наш и говорят: «Если он нападать будет, вы уже не гоните нас,— мы к вам прибежим».— «Ну, что же, говорим, прибегайте, спрячем куда-нибудь, сохраним существование, так сказать...»

СТРАННОСТИ ТУРКМЕНИИ

— Конечно, вы можете смотреть на меня, как на копилку курьезов,— сказал белобрысый, северного склада человек с выгоревшими от долгого пребывания на юге бровями и усами,— но я вам сообщу некоторые странности Туркмении.

Посмотрите, пустыня вокруг увеличивается именно при проникновении в нее человека. Нет человека,— пески закрепляются, на них появляются деревья, они становятся крепкими. Пустыню сделал человек. Он вырубил леса сак-

саула и вообще леса, его скот пожрал траву, дороги углубили колею — ушли в почву, распылили ее, и пески стали двигаться. Вырубите леса в Копет-Даге, и много холмов, твердых как камень, пойдут с места,— они песчаные по натуре...

Возьмите другую странность, Мургаб и Теджен — наши артерии водяные. На Мургабе огромные гидросооружения, а воды с каждым годом все меньше. Мургаб и есть по-фарси — куриная вода. Верховья их в руках афганцев, они и разбирают воду на свои поля, а нам — остаточки. А если им придет в голову свою пятилетку изобрести да в четыре года ее исполнить, по Мургабу будут куры бегать, и куда мы тогда денемся со своим хлопком? О расширении хлопковых полей в этом районе думать уже не приходится. То же самое и на Теджене. Может прийти такое великое запустение, что ахнете. Транскаракумский канал так и остается мечта мечтой. Вы были на Келифском Узбое, вы знаете, как там дела...

Дальше — приходит туркмен: «О иолдашляр, чего я видал».— «Ну, что ты видал?» — «Шли мы, шли около Унгуза, видим колодец — никогда не знали такой колодец. Обрадовались. Опустили ведро: вода черная, густая, переливается — совсем не вода. Бросили огонь — вспыхнуло все — ой, какой пожар был! Мы бежали оттуда прочь».

— Так это, значит, нефть?

— Выходит — нефть, а добейтесь, где он ее нашел,— он только рукой махнет. В пустыне, говорит. Да, чудес здесь сколько угодно... В колодцах пустыни — нашли ученые недавно — живут простейшие организмы, известные в науке до последнего времени лишь как аборигены Средиземного моря... Вот и объясните сие явление. Таких случаев в мире не было. А скафарепгус-рыба с крысиным хвостом водится в Аму-Дарье, подобная ей есть лишь в Миссисипи. Что тут за родство — непонятно, пока что и никто того не знает. А на Красноводской косе видел я другое чудо — песчаное. Как-нибудь вечером, если зарыть в песок, так на полсажени, водонепроницаемый брезент, чтобы он имел скат в небольшой колодец, и туда поставить ведро и закопать брезент песком, то утром ведро полно свежей воды...

— Позвольте, но это уже непонятно... Над вами подшутили.

— Извиняюсь,— это непонятно только на первый взгляд. Нет такого сухого воздуха, в коем бы не было хоть

самого малого количества воды. Если почва, над которой этот ток воздуха проходит, твердая, то он проносится над ней бесследно, но если она пориста, как песок, то нагретый воздух проходит в толщу почвы и, охладевая, выделяет из себя избыточное количество воды, а так как это происходит непрерывно, то в конце концов вода уже оседает каплями, а капли переходят в струйки, до тех пор струящиеся, пока не встретят водонепроницаемый слой. Здесь и скопляется вода, питающая колодцы или стекающая в более низкие слои... Вы заметьте: на глине ничего не растет, а в песках — и саксаул, и гребенчук, и селим, и все что хотите...

— Отчего же это явление неизвестно местному населению?

— Ну, я не авторитет. Я сказал уже, что я копилка курьезов и научных странностей, а от другого увольте. Обратили ли вы внимание, какое количество имен здесь турецких, повторяющихся в Турции, ближе именно к Средиземному морю? Здесь Ушак и в Малой Азии — Ушак, большой город, здесь Узун-су, Казанджик, Айдин и в Турции Айдин, центр бывшего Айдинского вилайета. Колодцы Ушак имеются. Большие и Малые Балханы все называют здесь Балканы. Странное явление. Оно, конечно, объяснимо и свидетельствует, что здесь жили турки когда-то...

Вы не смейтесь, что я вроде отрывного календаря. Оторвал листок — и научные сведения на каждый день. Нами, старожилами, край держится. А вы попросили особых случаев. Вот вам и странности. Есть такие сборники рассказов, где, скажем, одни страшные рассказы, кровь в лед превращать, написаны. А я вам всю правду рассказываю с научным обоснованием. Можете где угодно распространять, подрыва науке не будет. Заметили вы, что туркмены никогда не снимают своих тельпеков, или папах? Если бы они сняли и вы увидели бы их головы, вы бы испугались: они все разной и фантастической формы...

— Почему же?

— Да потому, что они с детства в каждом племени посвоему затягивают голову младенцу, сдавливая ее по особому образцу... Вы простите меня, но тут и природа и люди с сумасшедшинкой. Та же Аму-Дарья — в эту зиму она взяла да и замерзла, а течет она по десять верст в час — течение не малое для такой реки. И вода ее — драгоценнейшая, словно вода реки Нила, содержит благословенный ил,

так эта вода хулиганит как: в одну ночь как снимет головы арыков, что будешь делать? Сплошной урон сельскому хозяйству. Так в этом году у Керков она возьми да и замерзни, а на правом берегу остались дрова, и никак их не переправишь,— для верблюдов и лошадей лед тонок, а город без дров. Догадались тонко-тонко, прямо по-азиатски. Расставили батальон красноармейцев цепью от берега до берега, передавали, как по конвейеру, поленья. И так восемь вагонов перегнали из рук в руки в Керки. Никто, конечно, Аму за врага не считает, но таит она в себе одну опасность, такую, что, вроде последнего дня Помпеи, может уничтожить по речному течению все города, и притом в один день.

— Что же она — вулкан, что ли?

— Вот, выходит, вроде вулкана. Течет она с огромнейшей высоты, и вливается в нее несколько рек, пока она станет Аму. Так на одной из таких рек, на Мургабе (Мургаб этот Памирский, конечно, не Пендинский), стояли в ущелье таджикские селенья Усой и Сарез. В тысяча девятьсот одиннадцатом году возьми да от неизвестной причины и обвались стены этого ущелья, так крепко, что от кишлаков не осталось ни пылинки, ни скота, ни людей, а Мургаб встретил такую каменную баррикаду, что пробиться не мог и остановился бурлить, как бы поднятый на воздух. Образовал озеро в шестьдесят пять верст длины, на высоте-то на какой,— на высоте в одиннадцать тысяч футов! Теперь представьте, если эта плотипа где-нибудь раскроется — камень подмоет или упадет где уступ — и это озеро со своей высоты ринется в Аму-Дарью. Какая волна пройдет и каких бед она наделает! Озеро это в опеку взяли, туда нет-нет да и странствуют на просмотр гидрогеологи, блюдут его... и висит эта опасность день и ночь, хотя мало кто о ней знает.

Ну, а чтоб закончить чем-нибудь политически интересным, напомню вам, а если не знали, сообщу, что именно из-за Кушки, из-за самого южного пункта бывшей империи, в тысяча девятьсот пятом году началась всеобщая железнодорожная забастовка, ибо там приговорили к расстрелу одного железнодорожника, и как протест все дороги в России встали...

— Сомневаюсь, чтобы было так, как вы рассказываете...

— Сомневаетесь, можете проверить в архивах...

Столицу Туркмении хотят перенести из Ашхабада в Чарджуй. Об этом можно только сожалеть. Ашхабад — хороший, благоустроенный, трезвый город. Чарджуй — город, где электричество горит, когда захочет, нужного количества домов для размещения правительственных учреждений нет, а по количеству пьяных он возьмет все рекорды: пьяные встречают вас при въезде в город, они же, шатаясь, стоят в очереди за вином во всех кооперативах, ночью валяются на улицах и хватают прохожих за ноги. Не переносите столицы из Ашхабада! Ашхабад лучше. Ашхабад не зависит от капризов Аму-Дарьи, улицы его тенисты и вполне просторны, жители гостеприимны и радушны. Здесь положено начало новому туркменскому искусству, театру, литературе. В прошлой своей истории город представляет переход от аула с кибитками к русскому военному лагерному городку, от лагерного плана — к городу провинциальному общего типа,— но что это значит? Вена была лагерем, и Лондон был римским лагерем, и далеко не гвардейским. Ныне Ашхабад превращается в индустриальный и культурный центр всего Закаспия.

В Чарджуе туркмены-эрсари носят чалму, и у них узбекские халаты и обычаи. В Ашхабаде туркмены ходят в пиджаках и ездят на велосипеде. В Ашхабаде нашли секрет древней мозаики и облицевали памятник Ленину так, точно он встал из «Тысячи и одной ночи». В Ашхабаде уйма научных учреждений, Госплан и Туркменкульт.

Конечно, иногда в нем проступают черты провинциализма, но здесь я предоставляю слово постоянному жителю его. Приводимое ниже описание весны в Ашхабаде принадлежит перу двенадцатилетнего мальчика.

Этот фельетон написан не из желания мальчика заняться литературой. Нет, это просто классная проверочная работа под названием «Весна в Ашхабаде». Со своей стороны могу добавить, что автор довольно верно изобразил картину апрельского Ашхабада.

Весна в Ашхабаде

Весна в Ашхабаде начинается рано. Уже в конце марта месяца появляется трава и идут теплые дожди. В солнечные дни можно ходить без пальто. На улицах, особенно немощеных, грязь непролазная. Все устремляются в Туркменсауда за галошами, но

таковые, к сожалению, отсутствуют. Появятся они только летом. Прошлогодние овощи кончились. Новых нет. За мясом стоят очереди. По городу носятся нытики и паникеры и отравляют настроение. В начале апреля распускаются листья на деревьях, и муравьи появляются в неограниченном количестве. За ними появляются и мухи. Ученики начинают бешено хулиганить, наверстывая потерянное в течение двух предыдущих четвертей.

— Теперь конец года, не исключат,— говорят они.

Предкласскома чахнет на глазах у всех, зато распускаются тюльпаны.

С двадцатого апреля весь город на ногах, городская общественность готовится к Первому мая, а паникеры и старухи — к землетрясению.

Растительность, особенно травяная, пышно распускается. Но в конце мая трава желтеет. Грязь на улицах превращается в пыль, и в Туркменсауда появляются галоши. Весна кончилась. Начинается лето.

ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

Девяносто пять процентов туркменской территории представляют земли неорошенные и не годные для оседлой жизни, и только пять процентов занимают поселения и сельскохозяйственные культуры сегодняшнего дня. Земельная реформа, ликвидировав байские, феодальные, родовые пережитки, наделила землей в первую голову безземельных, потом — малоземельных и наконец всех дехкан, кои не имели самостоятельного хозяйства и изъявили желание сесть на землю. Так было ликвидировано 2289 хозяйств и урезано 15 271. Почти каждое новое бедняцкое хозяйство получило по одной голове рабочего скота и по комплекту местного инвентаря.

По сведениям с мест, земельная реформа не добила кулака. В сильно потрепанном виде, но он остался в сети родовых отношений. Его спасли бедные родственники. Вопрос коллективизации должен учесть то обстоятельство, что до семидесяти процентов всего дехканства имеют по одной десятине посева. Подъем этих хозяйств без соединения в колхозы невозможен, замена омачей и азалов европейскими плугами — тоже. Внедрение европейской техники может идти только через колхоз, разрушение дувалов (глиняных оград), разъединяющих поля, создание пахотных массивов, урегулирование и развитие ирригационной сети.

Контрольные цифры предусматривают динамику развития культур на поливных землях как увеличение площади с 327 000 гектаров 1927 года до 402 000 гектаров в

1933 году. Этот рост площади возможно удастся, но расти бесконечно площадь, даже при полном благополучном развитии Туркмении, не может. Ей расти некуда. Самые смелые умы видят прирост земли до пятидесятого года. После этого земли больше нет. Начинается пустыня или величайший риск — постройка плотины на Аму-Дарье, превышающей Днепрострой, но не дающей никакой гарантии в окончательном успехе.

Расчет прост и страшен: на гектар посева требуется 1800 кубометров воды, а взять ее неоткуда. Вопросы, связанные с тракторизацией, тоже разрешаются по-разному. В иных местах из-за слишком дробного деления полей и удивительно крепкой почвы трактор не пригоден вовсе или необычайно дорог, показывая стоимость обработки гектара от тридцати трех до сорока восьми рублей, что недоступно беднейшим объединениям. Кроме того, тяжелым тракторам в этом лабиринте дувалов, канав и ям негде даже развернуться, и они нередко рушат шаткие мосты своей тяжестью. Сложность самого хозяйства выдвигает триумвират, единственно необходимый и неразделимый. Три силы — ирригатор, техник и агроном — могут решить проблему полей.

Трактору техника мешают чересполосица, арыки, система орошения, плохие дороги, плохие поля.

Ирригатору мешает непостоянство Аму-Дарьи, смывающей сооружения, необходимость тщательной разработки слишком мелкой сети арыков.

Агроному мешает неодинаковость наклона полей, разность крепости почв, особенности климата, отсутствие вовсе воды или неожиданный ее излишек, чрезмерные внезапные дожди, неодновременная просыхаемость полей.

Выходит, что и пять процентов хорошей жизни нужно завоевать настойчивым трудом. Несомненно, что в давние времена населенность современной площади Туркмении была огромна. Древний Мерв имел до миллиона жителей, и система орошения была доведена до блеска. Что стоит одна плотина Султан-Бенда; но века войн, уничтожавших систематически всякую жизнь на этой земле, вызвали в конце концов пустыню, и она пришла со своими песками и безводьем. Полоса культурной земли очень узка, даже на Аму-Дарье она не превышает двадцати километров.

Единственным спасением для поднятия хозяйства яв-

ляется коллективизация и ирригация, усиленная ирригация. Колхоз означает поднятие культурности обработки, расширение площади и появление на сельской арене всех трех сил одновременно: ирригатора, техника и агронома.

Из них особо нужно выделить ирригатора.

Вопрос водяной — самый жуткий. Едва он не урегулирован — приходит пустыня. Из земли выступает соль, поле становится солончаком. Белый блеск солончаков имеет не только сходство, но и родство с лежащими в пустыне костями,— это одинаковые знаки смерти. Я понимаю туркменов, которые встречали в старое время воду с молитвой и благоговением. Теперь они могут отложить молитвы, ибо вода стала советской, и обратиться к ирригатору, но благоговение у них осталось. Тут ничего не поделаешь.

Пять процентов хорошей жизни лучше, чем ничего, но это не так много.

ЧТО ТАКОЕ ПУСТЫНЯ

Прямо передо мной, на дворе, возвышалась груда беловато-голубых, как мне показалось, палок или сломанных и высушенных солнцем с ободранной корой деревьев. Я подошел ближе. Это лежали скелеты сотен верблюдов, овец, лошадей. Луна играла ими, входя в черепа, роясь в них.

— Утильсырье,— небрежно сказал хозяин.— Пособирали в пустыне!

Я долго не мог отвести глаз от голубого холма, от этого конца стад, прошедших пески вдоль и поперек, чтобы на фактории Госторга сойтись на всеобщий митинг костей в лунную апрельскую ночь.

Я вышел из фактории и прошел сто шагов. Очертания первых барханов закрывали горизонт. За ними начиналась пустыня. На другой день мы въехали в барханы на прекрасных, достойных всяческой похвалы конях. Они шли «юргой», странным аллюром, похожим и на тропоту, и на широкую рысь. Барханы вздымались над нами с двух сторон. Можно было ехать только по узкому коридору между ними. С боков подымались огромные песчаные стены, верхний край их дымился. Змееобразные тени от оползающих несчетных песчаных поясов утомляли глаза. Мы вывели лошадей на вершину. От края до края стояло желтое однообразие барханов. Буря переставляет целые ряды их, но и без бури в них заблудиться ничего не стоит.

Японский художник Хиросиги сказал когда-то: «В моих картинах даже точки живут». Такими точками в пустыне рассеяны люди. Одна медицинская работница около Пальварта призналась совершенно откровенно: «Я заплакала, когда въехала в пески в первый раз, мне стало так жалко свою жизнь, оставленных на родине детей и так мутно на душе, что я ревела, как сумасшедшая, целыми часами».

Мой хозяин, закаленный пустыновед, рассказывал, как он, впервые пересекая пески до колодца Ширама, не мог удержаться от страха. «Страх охватил,— рассказывал он,— все мое существо. «Ты никогда не вернешься назад,— говорил я сам себе,— ну, ты прожил сегодняшний день, а завтра к вечеру, наверное, погибнешь. Разве можно остаться живым в этих местах? И какая смерть: без пищи, без воды». А теперь пошел уже пятый год, как я здесь, я ночью один шлялся в пустыне — ничего, только всякий раз, когда, с барханов возвращаясь, вижу культурную полосу, как-то легче дышится».

Пастухи же в пустыне проводят всю жизнь. Может быть, они от одиночества и однообразия выработали в себе привычку ничему не удивляться и ничего не желать? Вряд ли. У них желаний не меньше, чем у горожанина. Но поговорку: «Знакомый дьявол лучше незнакомого человека» — придумали, несомненно, они.

«Пустыня ужасна!» — стоит воскликнуть одному европейцу, как тотчас же другой закричит из своего угла: «Не лгите. Мало мест прекраснее пустыни». Я знаю людей, влюбленных в ночи пустыни, саксауловые леса, в ночные костры, в блуждание среди барханов, и знаю таких, чьи волосы в пустыне стали белей солончаков. Ощущения, несомненно, многообразны и противоречивы.

В иных местах тропа, по которой вы приехали на колодец, наутро уже не существует. Песок съел ее. Выкопать колодец в двенадцать метров обходится в двести рублей. Есть места, где колодцы удалены друг от друга на тридцать километров. Есть колодцы глубиной в сто метров.

Если проехать мрачные стены барханов, то увидишь степь, слегка холмистую, наивную и грубую. За ней будут чередоваться случайные пастбища, солончаки, саксауловые леса и такыры — глиняные выходы. Овцы едят мягкую траву, не пренебрегая самой мелкой. Верблюд предпочитает колючку, и он пасется без надзора, уходя, куда ему вздумается в сторону от кочевья. Особенно он любит

бродяжничать зимой, когда всюду есть вода, и он шляется, не давая о себе знать месяцами. К весне он вернется на свой колодец, даже если ему придется бежать сто километров, ибо в пустыне исчезнет с поверхности вода, а пить ему не дадут из других колодцев ни за что. Как правило, заблудившихся верблюдов не поят, чтобы они возвращались волей-неволей к своим хозяевам.

Их пастухи живут сами, как тихие отшельники. Что бы ни говорили об их полнейшей независимости, о жизни, в которой они нагуливают себе здоровье и миросозерцание философов, это — сказки. Пустыня кормит их туго, они едят обыкновенно яг-шурпу — воду, залитую салом, в которую накрошен чурек, и запивают зеленым чаем без сахара, с лепешкой. Пустыня посылает на них цингу и туберкулез, а на их детей — рахит, и тех и других награждая катарами.

Дети черны, как черти, и худы, как палки. От рабской тяжести головного убора у женщин в кочевьях развивается туберкулез позвоночника. Грязь в юртах не поддается описанию. На кошмах едят, спят, сидят, по ним ходят целый день.

Животные забегают в юрту. Ожоги лечат так: кипятят мочу с рисом, гребенчуковой корой и солью и этой смесью смазывают ожог; при гнойных нарывах на пальцах надевают на пальцы распоротую заживо ящерицу; простуду лечат верблюжьим молоком с красным перцем. Женские болезни не лечатся вовсе, так как женщина никогда, из гордости, или из скромности, или из страха, не признается в них. Если ребенок сильно кричит, то решают, что этот крик от пупка, и начинают вертеть пупок пальцем до тех пор, что образуется пупочная грыжа. Мрачные люди живут в песках, и мрачна сама пустыня, владычица их жизни.

В весеннее время, во время «окота» каракуля появляются и басмачи, чтобы воспользоваться плодами «окота» и снова с добычей удрать за границу. Число самих стад сильно уменьшилось со времени революции. Наконец, не достигнуто еще полной ясности в методах преобразования скотоводческого хозяйства, и, может быть, только решительная национализация пастбищ и колодцев и передача их скотоводческим объединениям послужат к развитию скотоводства в пустыне.

В пустыне имеются сейчас «единственные» в Советском Союзе ревкомы: ревкомы северных и южных Кара-

кумов. Северный помещается на серном заводе (холмы Чемерли), южный — на колодце Ширам (сорок километров от афганского Андхоя).

Каракумы никак нельзя сравнить с Сахарой. Они не имеют ни оазисов, ни пальм, ни прохладной райской воды. Воздух в них чистый, это верно; полюбить их можно по формуле: сколько людей — столько сортов любви на свете, но легенду как об особой смертоносной романтике песков, так и легенду о прелестях существования в песках следует разрушить.

Для самих туркмен пески — то же, что леса для северного человека. Непривычному путнику в лесах, как и в песках, будет одинаково неуютно. Песчаные бури, как и лесные пожары, равно невеселы. Природа песков и лесов сама по себе полна торжественности, и солнце почти самовлюбленно закатывается в барханах. Волк, выходящий на холм и медленно, не боясь выстрела, идущий по песчаному выступу, и очковая змея, лежащая поперек тропинки, от которой в испуге отскакивают лошади,— явления примитивные и любопытные.

К пустыне можно привыкнуть: к постоянным блужданиям в ней, и ночлегам у подножья барханов, и к тропинкам еле заметным,— ведь среди них есть тропы, по коим с XIII века по XIX ходили караваны из Багдада в Хиву. В пустыне есть свой этикет и своя мораль, свой суд чести, свои особенности: так, персидский серебряный кран коегде предпочитается червонцу, ибо иной кочевник не понимает бумажных денег и любит только звонкое золото или серебро. У пустыни есть свои банкиры, герои и знатоки. Славнейший из людей Каракумов, Иншихов-Ташауэский, имеющий орден Красного Знамени за походы против Джунаида, не собьется с пути ни днем ни ночью. Никакого компаса или карт у него нет. Про Иншихова говорят удивленные соплеменники, что он потому так уверенно водит караван, что впереди него всегда идет шайтан, которому он продался, и несет в руке свечку, огонь ее никогда не гаснет и бывает днем красного, а ночью белого цвета. Возможно, что это так и есть. «Знакомый дьявол лучше незнакомого человека»,— сказано впервые не вчера; в этой фразе вся мудрость пустыни, только думаю, что этот шайтан живет не впереди старика, а в нем самом. Кто сто раз прошел путь из Ташауза на Мерв и Ашхабад и обратно, тот в сто первый раз не собьется...

Перед нами туркменский колодец со всеми его составными частями, чайник, штопаный, как сапог, в заплатках, в протезах, гапыз — губной музыкальный инструмент, бронебойный нож с утолщенным острием, трубки, шашки, тельпеки, ткацкие станки, прялки, колыбели — словом, весь бытовой инвентарь страны, и все это совершенно крошечного размера, и все это умещается на одной стене.

— Мне надоело давать вечные объяснения,— говорит владелец этих вещей,— я велел сделать мне эти предметы во избежание лишних описаний и теперь ограничиваюсь только показом.

Узкое коричневое лицо хозяина полно иронии, когда он говорит, слегка поблескивая глазами:

— Вы интересуетесь туркменами? Это славный народ. Это верный и храбрый народ. Вы, вероятно, знаете или вам, вероятно, рассказывали о люцернском льве, работы Торвальдсена. Он лежит с копьем в боку, умирая на камне в Люцерне, как память о швейцарских воинах, погибших на чужбине... А сколько туркмен, швейцарцев Востока, продали дорого свою жизнь, умирая на чужбине! Они достойны десятков львов — они с Чингисханом ходили на Москву, они загнали кавказцев из равнин в горы и сделали их навсегда горцами, они защищали Иерусалим под славными знаменами Саладина, они бились за культуру против варваров Европы — крестоносцев, они были гвардией и любимцами халифов. Русские дрожали перед ними от ненависти. Гродеков называл их в бессилии черным пятном на карте, позором человечества, Скобелев сделал все, что мог, чтобы раздавить туркмена, «этого скорпиона в пустыне». Миллион пленных персов прошел через руки туркмена за одно столетие. Омар Хайям был туркменом. Мало народов Азии имеют таких поэтов, как Махтум Кули...

Хозяин начал незаметно волноваться, но, сразу взяв себя в руки, продолжал уже обыкновенным голосом:

— Я собираю и записываю рассказы старых людей, пословицы и поговорки моего народа. Я даже опубликовал часть из них, и одну запись, относящуюся к борьбе за Денгиль-Тепе, или, как вы говорите, Геок-Тепе, я напечатал в «Туркменоведении».

— Дорогой товарищ, разрешите вам сделать маленькое замечание, в порядке познания истины. Там в статье

есть примечание, что за давностью времени у излагавшего историю борьбы произошло, может быть, за ослаблением памяти, смешение фактов, путаница событий; так это совершенно не так. Он рассказывает все правильно, но почему-то редактор думает, что это относится к завоеванию Денгиль-Тепе 1881 года, когда все описания с абсолютной ясностью изображают события похода Лазарева и Ломакина 1879 года, особенно это видно по поведению Токма-Сердара, занимавшего в те времена странную выжидательную позицию.

— А! — хозяин дернулся узким и костистым плечом, лицо его сразу заострилось.— Это же разве я? Это примечания сделала редакция. Русские всегда верны себе: они вечно ошибаются. Англичане в Индии никогда не перевирали местных названий, они учились со всей старательностью индийским языкам. А много вы знаете русских, знающих туркменский язык? Перевирать все имена — это они умеют. Они подарили нас каким-то Кзыл-арватом, когда это место было всегда Кзыл-рабатом, рабатом, а не арватом. Арват значит женщина, а рабат — двор, караван-сарай, а если они начнут переводить, то выходит тоже плохо. Какой-нибудь неграмотный топограф постарается и увековечит. Вы были в Красноводске, а видали вы там Красную воду? Я тоже не видал, но видел там аул, который назывался и называется Кзыл-су, потому что туркмены поселились там, где больше всего хорошей воды, и у нас слово «кзыл» имеет несколько переносных понятий, как «золотой», «прекрасный» и другие, но переводчик, конечно, схватил первое попавшееся с размаху, и осталось недоразумение под названием «Красноводск».

— Вероятно, скоро ваш музей на стене станет собранием действительно музейных предметов; все эти омачи, халаты, тельпеки, шашки, домашние прялки и ручные мельницы исчезнут из быта в связи с советизацией и приближением к индустриальному периоду Туркмении.

Собеседник наш сделал узкие глаза свои чрезвычайно вежливыми.

— Я буду только жалеть об этом,— сказал он,— легко потерять накопленное веками и не приобрести нового своего. Что останется от туркмена, если он снимет с себя веками продуманное и приспособленное к нему одеяние? Не будет ли он похож на пальму, перевезенную из Африки на мороз? Вы не боитесь, что слишком поспешное приближе-

ние аула к социализму примет для него вид простудного заболевания и все начнут кашлять? Я против зачеркивания вековой культуры одним росчерком. Уже исчезло искусство ковра, стало подделкой, ремеслом, грубым и неубедительным, люди из-за куска хлеба ткут жалкие узоры, не связанные ни живописной, ни исторической зависимостью. Я стою только за одно необходимое и совершенно свежее слово: колхоз. Но в колхозе не нужно обязательно сразу снимать халат. Его дело гораздо глубже и важней. Оставьте туркменов носить то, что они хотят. Это великая вещь. Что бы вы сказали, если бы в Ленинграде заставили всех надеть в двадцать четыре часа халаты и папахи? Я думаю, вы бы не сильно обрадовались...

— Кто вас научил так хорошо говорить по-русски?

— Я кончил в свое время русский кадетский корпус. Я был последним аманатом [1] свободного оазиса Теке. Отец умер беглецом в Индии, а сын стал тем, чем он есть...

КОЕ-ЧТО О БАСМАЧАХ

На севере часто спрашивают: «Ну, кто же эти басмачи? Разбойники? Если разбойники, почему их так много и почему они все разные?»

Сначала отвечу, почему они все разные. Они резко распадаются на басмачей бухарских и басмачей туркменских. Первые базируются на эмигрировавшего в Афганистан бывшего эмира бухарского, на Ибрагим-бека и Файзулу Максума и других басмаческих вождей Восточной Бухары, Локая и Ферганы. Вторые признают своим избранным вождем Джунаид-хана и его приспешников. Ишан Мазари Шерифа, вероятно, духовный отец и тех и других.

Состав басмачей разнообразный — от бежавшей верхушки бухарской бюрократии и чиновничества до простых профессиональных бандитов и обманутых дехкан. Задачи самые различные — от вредительского рейда до случайного бандитского налета на стадо каракулевых овец, на кооператив с мануфактурой — до мстительного, всегда неудачного набега на пограничный пост. Английская разведка иногда пользуется ими для своих специальных целей. В далеких и темных окраинах Ташауза у Джунаида кое-где остались маленькие теплые гнезда сочувствующих. Сам же маститый «старец», неудачный «король Иомуди-

[1] Аманат — заложник.

стана», живет около Герата, изгнанный из пределов Туркмении.

О борьбе с басмачеством написаны десятки документальных и мемуарно-очерковых книг.

Новый Пушкин, пожелавший написать «Историю басмачества», должен будет знать узбекский и туркменский языки, и тогда он напишет книгу, поражающую неожиданностями, ибо самые любопытные материалы можно получить путем личного опроса свидетелей басмачества или чтением подлинных документов. Что стоит одна прокламация Джунаида, где он в числе прочих благ, кои будут отпущены погибшим в борьбе с большевиками — джадидами, обещает каждому умершему пост председателя райкома (!) в раю. Борьба с Джунаидом потребовала больших усилий, она происходила в пустыне, где пехота действовать не может, автомобили бесполезны, и только кавалерия и отчасти авиация могут соперничать с быстрым, неуловимым и ловким, знающим все местные условия противником.

Недавние кровавые набеги Файзулы Максума на Гарм и Калаи-Вамар и сына Джунаида на один из постов говорят о том, что противник не сложил еще оружия. Появлению в пустыне отдельных шаек очень трудно воспрепятствовать, граница проходит по пустыне на протяжении тысячи верст, вооружение у них преобладает английское, а лошадей они иногда, нисколько не жалея, кормят терьяком (опием) так, что лошади идут как стрелы; — попасть в них или догнать их на этом безумном карьере нет никакой возможности.

Иногда басмачи становятся оригинальными.

Так, они увели в плен фельдшера и держали его у себя около года, возили его с собой и заставляли лечить их и перевязывать раненых. Через восемь или девять месяцев они дали ему верблюда и около тысячи рублей советскими деньгами и вывели на наши посты. Этот мирный неожиданный исход чрезвычайно удивил фельдшера, не мечтавшего уцелеть среди своих диких пациентов.

Когда в бою была захвачена семья брата Джунаида, шестилетний племянник своего дяди, сидя на верблюде, отворачивал лицо, если к нему подъезжал, чтобы заговорить с ним, кто-нибудь из красноармейцев. Он сжимал кулачки и отказывался разговаривать. Когда его мать устала, идя рядом с верблюдом (животных не хватало, жара одолевала людей), он уступил ей место и слез, чтобы молча

шагать жалкой упрямой фигуркой рядом с громадным мохнатым зверем.

Другой мальчик был сыном Курбаши Аннабалы. Когда Аннабалу сильно ранили в пустыне и басмачи собирались бежать, они решили, что Аннабала скоро умрет и что спасать его не стоит; чтобы обеспечить ему тихую смерть, отвезли его за барханы и, оставив немного воды и пищи около, а также его сына, двенадцатилетнего мальчика, умчались от красноармейцев.

Мальчик перевязывал раны отца и со спартанской доблестью ходил за восемь километров в аул, расположенный на такыре, за водой. Он приносил пищу, воду и хлеб, делал под палящим солнцем переходы в шестнадцать километров ежедневно, пока его отец не отлежался и не выяснилось, что рана его неопасна для жизни.

Тут они были захвачены нашим патрулем, и старика водворили в больницу в Ашхабаде. Мальчик не покидал своего места у постели отца. Он сидел и не сводил глаз с раненого.

— Иди играть,— говорили ему,— отец спит, ты ему не нужен. Его кормят, и поят, и лечат...

— Не уйду,— говорил мальчик,— если я уйду,— добавлял он наивно,— вы его убьете, вы его отравите.

Мальчик был беспощаден, как взрослый басмач.

Басмач не жалеет ни себя, ни врага никогда. Застигнутые в узких улицах кишлака басмачи иногда поступают так. Задние снимают с себя оружие и передают передним, чтобы оно не досталось окружившим их красноармейцам. Передние стараются пробиться, а задние, безоружные или с одним ножом, кидаются на преследователей, чтобы задержать их и погибнуть.

Раз Джунаид случайно сбил наш аэроплан. Он сжег летчиков вместе с машиной. Захваченный басмач показал, что летчиков допрашивали хорошо, но что они были ранены.

— Что значит хорошо?

— Не знаю,— отвечал он.

— Но ведь их сожгли. Это рассказывал пастух, который все видел.

— Они уже умерли тогда,— отвечал басмач,— люди говорят так. Кто знает?..

Действительно, кто знает? Басмач жесток по природе, как жестока по природе и сегодняшняя его покровительница, имя которой — Англия.

Чудесное изобретение — автомобиль, это истинное дитя века, наглое, уверенное и насмешливое. Наше сокровище звали мы товарищеским особым именем, хотя официально он был фордом-полутонкой. Мы же всегда представляли его так: автомобиль системы «Опрокидонт-Руайяль» по прозвищу «Обезьяна». И правда, он падал с нами в арыки, застревал в песках, разламывал мосты, влезал на деревья, тонул в грязи, в воде, завывая, несся по глиняным и песчаным дорогам, откидывая верблюдов и ишаков к стенам и презрительно гудя в их громадные уши.

Машину, подобную нашему «Опрокидонту», нельзя никаким способом убить до конца. Какая-нибудь часть, а то и несколько перекочевывают на другую машину, и честь спасена. Я видел, как собирали одного такого храбреца из тридцати семи старых машин, и, когда новый «Опрокидонт» рявкнул, точно здороваясь со своими сборными костями, все части задребезжали, ответив ему: «Служим республике».

И как прекрасно они служат республике! Так машина Амо без единой поломки, неся на себе ответственный груз из хороших людей Туркмении, сделала пробег в четыреста километров, если не больше, по пустыне, не имевшей даже караванных дорог. Она чуть не наехала на кобру, знаменитую пыльную чешуйчатую гадину, вставшую при виде такого зверя на хвост, смертельно зашипев и засвистав, раздув свое демонское горло. Она думала, что один вид ее, обращающий в бегство все живое, заставит вспотеть пыльный автомобиль. И он остановился, потому что кто-то закричал «кобра!» и всем захотелось стрелять. Но, соскочив с машины, стрелки подняли сами такую пыль, что кобра исчезла в этой пыли при оглушительном салюте трех винтовок. Ее искали, но не нашли.

Самое забавное в этом путешествии было то, что на борту машины находился старый знаток песков — проводник караванов. Он стал настоящим штурманом на одном из первых кораблей пустыни. Как в свое время русские первые проложили железную дорогу в сыпучих песках, когда вся Европа твердила, что это «блеф» и не верила и посылала людей удостовериться, так и теперь случится, что автомобильное сообщение пройдет раньше по линии Хива — Чарджуй, Тахта-Базар — Керки и Ташауз — Ашхабад, чем по линии Фец — Тимбукту или Триполи — Чад.

Кочевник, разъедаемый страшной болезнью, сжавшийся, исхудавший, с хрипом в горле, отрезал голову громадной стодвадцатисантиметровой ящерице и положил ее сушиться. Когда она высохнет, он с отчаянием измелет ее в порошок и набьет им чилим, к которому не советуется прикасаться никому. Хозяину его нечего терять. Странный синий горький дым пойдет из погибшей головы ящерицы, и, взглянув на труп ее, знающий человек с сожалением воскликнет: «Какой замечательный варан!»

— Нет варан,— скажет сифилитик, глотая едкий и чешуйчатый дым,— зем-зем, касаль...

Да, это варан, именуемый зем-зем и касалем (больным), хотя он более здоров, чем его пациенты. Кочевники верят в целебную силу его измолотой и выкуренной головы. Они же боятся, чтобы он не пробежал между ног. Это лишает мужчину мужской силы.

Варан бегает по пустыне, как заведенная модель крокодила, и жрет своих меньших собратьев. До наших дней на свободу и жизнь этой удивительной полосатой ящерицы никто особенно не покушался. Раз экскурсия москвичей привезла в Москву в Зоологический сад несколько экземпляров, но большинство спокойно и независимо жило, не чувствуя над собой беды.

Недреманное око Госторга давно приглядывалось к безработному животному и наконец отдало приказ по своим отделениям — заготовить как можно больше варанов. Что значит заготовить? На местах недоумевали. Призвали мальчишек и сказали на одном из пунктов:

— Ну-ка, сообразите варанов, да побольше...

Наутро сорок варанов, упиравшихся всеми ногами, бивших хвостами, шипевших всякие пустынные ругательства, были притащены на веревках, как собаки, смелыми охотниками. Вараны никогда не видели на одном месте такого количества соплеменников. Они попытались вступить в битву тут же со своими мучителями, но их били по головам камчами, и тогда они решили всласть полакомиться друг другом. Свист, шип и треск хвостов наполнили всю факторию. Растерявшиеся служащие не знали, что с ними делать. Саженные ящерицы вставали на дыбы и плевались. Куда было девать их, чем кормить, как сохранять — инструкции не было.

Мальчишки требовали денег и грозили бросить своих

пленников во дворе и уйти. Запросили центр. Вараны неистовствовали. Они отравили жизнь всем. Наконец вышел радостный заведующий, получивший по телеграфу разъяснение, и объявил:

— Режьте их, сволочей, и снимайте осторожно с них шкуру. Чтобы я умер, если знаю, как это делается...

Все с радостью приступили к великому избиению. Госторг продал кожи варанов за границу на дамские сумочки и туфли — и опомнился, ибо он зараз в медовый месяц вараньего своего увлечения истребил до десяти тысяч этих животных. Варан же размножается чрезвычайно медленно, как животное почти философское и ироническое.

НОЧНОЙ ОМАЧ

Знающий человек уверял нас, что омач или азал — тяжелейший деревянный плуг, изобретение рабской культуры — изгнан навсегда из его района, сожжен и прах его развеян.

Он показывал нам хартии, на которых была начерчена вся система жизни района, через общее собрание колхоза до МТС — машинно-тракторной станции, шутка сказать, в шестьдесят шесть тракторов. Мы списывали в свои записные книжки удивительную лестницу труда, предусматривающую особую роль каждой ступеньки. Затем мы пили чай. Затем наступила ночь, теплая, опьяняющая, благоуханная лунная ночь. Мы разнежились, нам захотелось видеть ночную пахоту тяжелыми тракторами «валлис», мы хотели упиться зрелищем индустриализации. Нужно было найти тракторы. Мы пошли сначала по дороге, прислушиваясь, откуда донесутся их победные ночные шипы. Мы услышали их очень близко и с разных сторон одновременно. Потом сверкнули где-то в низких кустарниках их фонари, и шипенье их перекрыло крик лягушек и цикадный лязг. Мы бросились по следу.

Мы избродили множество полей, сваливаясь не раз в арыки, упираясь в дувалы, в чащу деревьев, в глинобитную стену, и всякий раз, когда нам казалось, что мы уже достигли цели, шум тракторного дыханья долетал с противоположной стороны. Всю дорогу за нами шла собака, которая садилась в стороне, когда мы останавливались, и бросалась за нами, как только мы уходили дальше. Может быть, она хотела рассказать нам дорогу, но у нее не хватало смелости.

Во всяком случае, мы видели огни, слышали рев машины,— мы отказались от возможности приблизиться вплотную. «Ничего,— сказали мы,— мы видели их днем достаточно». Повернули обратно и сразу в мягком полусвете луны натолкнулись на маленькое поле. На нем бродил одинокий дехканин с тяжелым деревянным древним омачом. Мы подошли к нему и спросили: как найти трактор? Он понял только слово «трактор» и испугался, что его поймали, спрашивают, почему не трактор, а омач на его поле. Он остановился в недоумении, испуганно озирая нас, маленький ночной сельский контрабандист, слепо доверяющий своему старому ветхому другу, окруженный дыханьем драконов. Мы посмеялись над уверениями человека, что все омачи превратились в прах в его районе, и вернулись на базу.

Мы рассказали о ночном омаче человеку с хартией.

— Эх, вы,— сказал он,— не сообразили, что несколько омачей оставлены нарочно, чтобы запахивать огрехи, знаете, огрехи, углы их собачьих площадок, именуемых полями, величиной с кошму,— вот откуда и омач...

Так объяснял он, но мы ему не поверили.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Все скамейки полны детей, русских и туркменских. Большие тайны скрыты широкими ширмами. Оттуда поминутно вылезают кривобокие фигурки и лихо движутся навстречу друг другу, крича какими-то боковыми голосами, потому что за них кричат люди. С затаенным дыханием смотрит маленькая публика, как папочный бай крадется к маленькому трактору, чтобы его испортить. Худой ватный ишан стоит на страже. Пухлый краснощекий пионер следит за их действиями и в решительный момент кричит, и с ним кричит вся маленькая публика. Бай прячется за юрту. Вбегают встревоженные куклы, ищут его.

— Вон он где! Вон он! Стоит! Не туда! Не туда! Он там! — кричат зрители, подымаясь с мест. Бай посрамлен. Аудитория рукоплещет. Ее спрашивают, что она поняла из показанного. Она поняла все. На двух языках дети пересказывают пьесу. Правда, она несложна, в жизни так не бывает. За детскими спинами возвышается вечерний Копет-Даг.

Туда бы, в аулы следовало направить этот легкий и по-

нятный театр, все кулисы которого и актеры укладываются в три чемоданчика. Я знаю, что медицинский отряд при обследовании в Чикишлярском районе пользовался кукольным театром для пропаганды первых правил гигиены и медицинской помощи. Взрослые игнорировали поучительность спектакля. Эта сторона не сильно задевала их, с детства избегавших всякого знакомства с чистотой одежд и жилищ, но они радовались зрелищу больше детей, потому что дети по счастливой конституции детства могут считать занимательным любое незначительное происшествие; взрослый кочевник раскачивается и возбуждается трудно. Его ничем не удивишь. Кукольный театр захватил его сразу своей особой новизной.

В Европе есть страна, насыщенная тысячами кукольных театров. Это Чехословакия. В кукольных театрах она сохранила древний героический эпос, под видом шутки и драматической сказки — национальный дух, борясь с германизацией школ в свое время. Туркменский кукольный театр гораздо счастливее в своих заданиях. Он может научить зрителей мыться, употреблять мыло, чистить зубы, ликвидировать неграмотность, научить обращаться с примусом, с керосиновой лампой, а заодно меткой шуткой разоблачить ишана или бая. Он хитрый и умный, туркменский Петрушка, и он многое сделает, если захочет, а суметь он всегда сумеет,— ибо зрители — народ неискушенный. Они будут рады всему.

НАДО ЗНАТЬ ВОСТОК

В свое время во Франции долго не знали, что Аму-Дарья переменила направление. Одному знатному иностранцу академики показывали достижение своих наук, хвастались точностью и всеобщностью знаний. Ему показали подробную карту России и Азии, и на ней значилось, что Аму-Дарья впадает в Каспийское море.

Огромный детина пренебрежливо усмехнулся, взял карандаш и со свойственной ему резкостью начертил новое направление реки и заодно обрисовал берега неизвестного французам Аральского моря.

— Ваша карта зело не верна,— сказал он в свое оправдание.

Так царь московитских дикарей Петр преподал урок точности ученым географам. Ему ли было не знать направления Аму-Дарьи, когда он отдал свой славный и легко-

мысленный приказ: идти в Хиву и повернуть в Каспийское море Аму-Дарью. Я не знаю, куда девался барабан, обтянутый кожей несчастного начальника этой экспедиции Бековича-Черкасского, но такой барабан был.

Этот случай, так сказать,— повод к рассуждению.

Я застал в Туркмении работников, прекрасно знающих Восток, даже говорящих по-афгански, по-персидски, по-туркменски,— не о них я забочусь. Они будут украшением страны и сделают много полезного для нее; но есть товарищи, занимающие ответственные посты, которые не имеют ни малейшего желания к изучению окружающего и находятся во всех случаях жизни во власти переводчиков, что иногда приводит к недоразумению печального свойства.

Сами туркмены бывают очень предупредительны. В одном ауле ждали приезда двадцатипятитысячника. Об этом приезде шли долгие разговоры. Говорили дехкане о том, что он человек не привычный к условиям их быта, ему будет очень трудно, он может заболеть в юрте. Они сговорились и построили приезжему среди своих юрт глинобитный уютный домик и обставили его простой, но европейской мебелью.

Тут ничего не скажешь. Но когда видишь приехавшую из какого-нибудь небольшого северного города девушку-работницу, никогда в жизни не подозревавшую о существовании Туркмении, девушку, для которой никакого домика не построено, и она недоумевает на каждом шагу, начиная с вечного лета (каждый день жарко и солнце) и кончая фалангой, бегающей по одеялу (ее она принимает за безобидного паука и в то же время смертельно дрожит при виде черепахи), девушку, рекомендованную как инструктор, но обладающую познаниями слишком слабыми для деловой и практической работы,— тогда становится жалко эту девушку, неминуемо запутавшуюся в сети непонятностей. Да, есть выдвиженки, тоже не знающие географии, но практически годные для кочевой жизни среди неизвестного им доселе народа.

Они садятся на лошадь, едут по аулам, дружат с женщинами, находят среди них переводчиц и помощниц, умеют поговорить просто и ничего не боятся. Есть женщины, с ворохом плакатов и листовок переходящие вброд разлившиеся арыки, женщины, принявшие на себя обязанности в колхозных советах, объединяющих до тысячи хозяйств. Следует произвести необходимую проверку личного соста-

ва этих приехавших издалека товарищей для их же собственного блага. Нечего скрывать, работники на местах в иных случаях сознательно отводили приехавших от работы, объясняя это тем, что при особой специфичности работы на данном участке новичок неумелым поведением может погубить с трудом достигнутое равновесие.

— Надо знать страну,— говорили они.— Какое доверие будет у туркмена, если лицо, приехавшее ему помочь в трудном деле, само беспомощно, как ребенок? Разобраться в родовых отношениях аула, или в сложном порядке водяного снабжения, или в плане хошарных работ, неизвестных европейцу, можно далеко не сразу.

Наконец, первичные сведения о Туркмении и ее быте совершенно необходимы. Я сам видел товарищей, ретиво стучавших о стол и создававших колхозы в три дня, и в три дня они же разваливались, дискредитируя важное дело.

— Мало стучать кулаком по столу,— говорили тут же в ауле такому неудачнику товарищи,— надо знать страну, и когда вы усвоите, что такое туркмен, когда узнаете, что ишан значит больше муллы и есть худший враг Советов, хотя по бедности не платит налога вовсе, и что бедняк иногда держит сторону бая, потому что это родственники (одного рода), и что не безразлично гонять дехканина за десять километров от аула на работу в поле, руководствуясь тем положением: не все ли равно, где ему работать, что женский вопрос не исчерпывается выдачей мануфактуры или чая,— вот тогда вы будете работником на месте, за которым пойдут дехкане.

А иначе туркмены будут смеяться над тем, кто, не понимая их языка, думает, что он все знает и всех убедил.

КОМЕТА ГАЛЛЕЯ

Незадолго до мировой войны один странствующий натуралист описал в незатейливых словах прохождение кометы Галлея, которое ему довелось видеть во время пребывания под Кушкой.

Комета в виде шара засияла перед ним своим фосфорическим бледным светом и далеко отбросила за собой все более и более расширяющийся к концу хвост, производя во всех подробностях впечатление сильно движущегося тела. Местные авторитеты Алексеевского поселка в лице нескольких старых баб клятвенно уверяли, что такая

звезда не может долго продержаться на небе и непременно свалится на землю. Кричали в это время птицы-сплюшки (Noctua Bactriana), и вдали прорезал воздух звук русской вечерней кавалерийской зори...

Земля меняет свое лицо с быстротой завидной, и если подумать, что Галлеева комета появляется над Кушкой раз в семьдесят пять лет, то, отложив эти десятилетия назад от срока, указанного натуралистом, мы получим эти места в виде довольно пустынном и, прямо сказать, жалком.

Битвы кочевников рождают единственный грохот среди пустынь, в воздухе висят унылый крик караванщиков и топот туркменских орд, летящих на Персию. Картина одичания и основательного беспросветного средневековья.

Сейчас мы имеем под Кушкой колхозы русские и кочевничьи, железную дорогу, аэропланы, хлопковые поля, фруктовые сады и приближающуюся индустриализацию Паропамиза.

Отложив от Галлеевой кометы семьдесят пять лет вперед, мы превратимся в предсказателей довольно рискованных, но если скажем, что в восьмидесятых годах нашего столетия над Кушкой снова пройдет далекая небесная гостья, что она увидит?

Может быть, она найдет в Кушке узловой пункт (небоскребы, склады, заводы) трансазиатской железной дороги, вагоны с надписями: Париж — Москва — Дели, Ташкент — Герат — Сингапур, увидит громадные станции использования солнечной энергии, огромный канал, пересекающий Каракумы, с барками и электрическими лодками, тучи каракулевых стад, плантации каучуконосов, темные тела дирижаблей, летящих за Гиндукуш,— полный расцвет человеческой жизни.

Кто может что сказать? Мы можем только бросить эту записку в бутылку и пустить ее в темный океан времени. Пусть ее выловит наш потомок и прочтет ее так же случайно, как я случайно прочел записку натуралиста.

ОГОНЬКИ В ПОЛЯХ

Ночью — а дехкане обычно работают на полях ночью — сквозь ветви джиды или низкий кустарник можно видеть мигающие огоньки. Это курят работники на полях. Они делают трубку тут же, из глины, которая у них под нога-

ми. Пропустив через нее веревку и вынув ее, получив отверстие, они набивают свежую трубку табаком и с удовольствием затягиваются.

В пустыне пастухи, за неимением глины и дерева, делают трубки из человеческих костей, прожигая в них дыру. Курить из таких трубок могут только простые сердцем и разумом люди.

В стране, где нищему подают милостыню щепоткой зеленого табака — «насса», глиняные и костяные трубки, примитивно сделанные, понятны. Страшней люди с зеленоватым отливом лиц и трубки с зеленоватым темным дымом, трубки терья-кешей — курильщиков опия. В Персии, где опий распространяется правительством, где существуют на каждом шагу дома для курения, где люди-призраки — явление обычное, этот зеленый отлив лиц не примечателен.

Но туркмен, употребляющий опий, громадный, плечистый нарядный молодец, постепенно превращающийся как бы исподтишка в соответствующе громадный скелет с выкаченными мрачно глазами, потухшими и слюдяными,— явление единичное, но запоминающееся.

Такие отъявленные терья-кеши на учете в маленьких городах. При постоянной контрабанде кое-какой опий перепадает в их руки. Если их арестовывают и, продержав без опия неделю-другую, выпускают на улицу, они без денег, то есть без возможности добыть предмет своей страсти, устремляются обратно в арестовавшее их учреждение и, валяясь в ногах, умоляют дать во имя жизни кусочек смертоносного лакомства. Иногда им дают.

Они шатаются в трущобах и все меньше и меньше походят на людей. В один день их хватятся случайно и не найдут. Они исчезли с лица земли, как тот зеленоватый клуб дыма, который они так любили.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ОХОТА

Белая цапля никак не хотела согласиться, что это ее последний вечер на земле. И она оказалась права. Напрасно мы подбирались к ней, прячась за выступы сухих арыков и распластываясь в высокой траве; она переносилась, как бы танцуя, с места на место, необыкновенно быстро оглядываясь и определяя расстояние до подозрительных шорохов.

Наконец нам надоело это бессмысленное преследование, мы поднялись на ноги и пошли по высокому краю водоема. Внизу у воды подымались камыши, тугайные заросли, шуршали змеи; изредка, совсем не тогда, когда нужно, вылетали гуси, куропатки, утки.

Мы вышли на чистое место и увидели афганского генерала. Водоем загибался вправо и далеко врезался в афганскую территорию, и по его краю против нас шел афганский генерал. Он охотился. Он шел, болтая длинными руками. Он не держал в руках ничего, кроме платка, им он изредка обмахивался. За ним шли двое слуг. Один нес ружье, необычайно почтительно вздрагивая. Другой шел с пустыми руками. Может быть, он заменял собаку и доставал дичь вплавь из водоема, куда она падала пораженная. Собаки у генерала не было.

Изредка вся группа останавливалась. Генерал замечал птицу. Группа замирала. Оказывалось, что генерал ошибся и принял причудливую тень за гуся. Тогда они трогались дальше в свой трудный охотничий путь.

Наконец настоящий гусь появился перед взорами высокого охотника. Он остановился и протянул руку назад, не оглядываясь. Слуга вложил ему в руку ружье, а второй ловко поймал сброшенный одним движеньем плеч плащ. Генерал выстрелил, не целясь. Гусь нагло пролетел над ним. Генерал протянул назад ружье. Слуга принял его, перезарядил, другой — накинул плащ на генеральские плечи, и группа двинулась дальше. Потом они спугнули утку, потом стайку чирков. Вдруг наша белая цапля направилась к водоему. У нас забилось сердце. До сих пор генерал стрелял, придерживаясь своего ритуала с плащом и ружьем — и все мимо. Вся группа двигалась в неестественном молчании. По-видимому, генералу дьявольски нравился этот церемониал охоты. Может быть, в Европе, в свите Амманулы, в английских парках он научился бить ручных голубей, но в Азии — мы свидетели — у него ничего не выходило.

Наша цапля летела прямо на генерала. Если вскинуть ружье, этот вечер в жизни цапли был бы последним. Но генерал смотрел как зачарованный, подняв голову, его слуги тоже. Они решали, стоит стрелять или не стоит. Решили — не стоит. Слишком близко, легко промахнуться. И, когда цапля пролетела над их головами, язвительно махая им крылом, мы тоже помахали рукой издали вельможному охотнику и ушли.

Первая в мире, единственная статуя, изображающая туркменку, стоит у входа в Туркменкульт. Туркменка занята невероятным делом: она читает книгу. Рядом с ней на равной высоте по другую сторону лестницы сидит туркмен. В жизни пока туркменской женщине не так часто приходится видеть книгу или быть на равной высоте со своими мужчинами. Но туркменка завоюет себе свободу, по-видимому, очень скоро, и это будет неожиданная туркменка.

Она имеет много героических родственниц в прошлом своего народа. Стоит только вспомнить женщин, сражавшихся на стенах Геок-Тепе, или известную Хелей-бакши — женщину-музыканта, победительницу всех бакши. На состязание с ней приехал знаменитый Кер-Кеджали.

— Посмотрим, какова кобыла в скачке,— сказал он перед началом состязания.

Хелей-бакши была беременна, на последних часах беременности. Она приняла вызов.

Долго длилось небывалое состязание, и около полуночи она спросила мужа:

— Чего ты хочешь: победы или ребенка?

— Победы,— отвечал верный своему прямому взгляду на вещи супруг.

Тогда Хелей-бакши на время покинула состязание, родила сына, оставила его родственникам и вернулась победить. И она победила старого и славного Кер-Кеджали, и он уехал с позором.

Я вспомнил эту героиню, когда в одном месте столкнулся со спором женщины-мираба с дехканином. Она победила, совершенно уничтожив его.

Эта современная, говорящая, а не поющая Хелей-бакши, не музыкант, а колхозный деятель, была красива и никому не давала пощады. Она била ленивых камчой и клялась политграмотой. Ее все боялись. Ее высокий пост мираба — распределителя воды — всячески уважался.

Ей редко прекословили. Она была настоящим современным работником аула.

Природная грация туркменки очень выигрывает от европейского платья. В Ак-тере, в несусветной глуши, мы увидали неожиданно иностранку. Француженка или аме-

риканка шла медленно по пыльной пустой площади Актере, в тени похожих на гигантские зеленые губки карагачей. Как она сюда попала, эта красавица, эта европеянка, и что она здесь делает?

Наш спутник засмеялся.

— Это здешний организатор женотдела...

Женщина обернулась. Мы увидели смуглое строгое тонкое туркменское лицо с узкими длинными черными бровями. Мы поняли, что эта женщина скорей умрет, чем наденет на себя снова халат и длинные безобразные штаны.

ИСТОРИЯ ВРАЖДЫ ОДНОГО БАЯ И ОДНОГО ПАСТУХА, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТАВШЕГО БАЕМ

У одного бая были пастухи. Когда приходил срок платить им, он посылал джигитов, и они убивали пастухов поодиночке.

Один из пастухов перехитрил бая, он уцелел, разбогател и стал соперником, стал сам баем. Их вражда длилась бесконечно. Они избегали встречаться целые десятилетия. Они встретились случайно на вокзале: их обоих отправляли в Соловки в одном вагоне.

НЕОЖИДАННЫЙ БРЭМ

Базарные ишаки, стоявшие и бродившие между деревьев, затрубили все сразу, выражая страшное недовольство. Лошади смотрели равнодушно. Верблюды презирали происходившее. Туркмены не обращали внимания на поведение своих животных.

У заболоченного хауса была привязана на длинную веревку молоденькая ослица. Большой ишак с раздутыми ноздрями и ушами бросался ей на шею, стараясь повалить ее на землю. Он кусал ей шею, уши, спину, ноги, бил ногами, борол изо всех сил, волочил за уши по земле, таскал и бил ее смертным боем. Она валялась в пыли, и слезы стояли у нее в глазах. Она жалобно хрипела, он отскакивал и снова бил ее и трепал, кусая и шипя. Вся ишачья толпа ревела в негодовании. Ишак терзал несчастную ослицу прямо как работорговец.

— В чем дело? — спросили мы.

— Он ничего не может,— сказал ближайший туркмен,— он — каль, паршивый. Тьфу...

Ишак в четвертый раз волочил за ухо мученицу. Из уха бежала кровь. Тогда мы взяли камни и камнями отогнали неудачливого разъяренного инквизитора от его жертвы на другой конец базарной площади.

Ишаки замолкли. Ослица, всхлипывая, пила мутную воду и вздыхала.

«СВЯТАЯ» МАНУФАКТУРА

Мечеть в Астанабаба испытанной древности. Она посерела от старости, и купола ее похожи на великанские страусовые яйца, вмазанные в глину. Молитвенные дома окрестных аулов запущены, стены покрыты арабскими надписями не священного содержания, мулл нет, обряды не соблюдаются, запустение могил бросается в глаза. Рассказывают, что трупов в могилах нет. Их украли и съели гиены. Ислам умирает на глазах, кое-где окаменев, кое-где рассыпаясь пылью.

Мечеть в Астанабаба относится к первому случаю. Она каменеет. У входа в нее сидели женщины, охотно взявшие у нас двугривенные за право входа. Серая пустота стен не поражает глаз ни величиной, ни изяществом. Сама гробница святого отгорожена решеткой, ужасно похожей на ту, что стоит в любом почтовом отделении, имея дверь с надписью: «Посторонним вход запрещен». Такая дверь была и тут. Надпись подразумевалась. Мы вошли. Гробница была серая и пустая. Пыль и грязь захватили помещение. Пятипалые светильники и подарочные рога разных животных лежали вперемежку. Смотреть было нечего. Мы повернули к выходу. Проводник нам сказал: это единственная чтимая мечеть во всем округе. Мы усомнились. Один из товарищей поотстал; он закричал, чтобы мы вернулись. Мы возвратились, не ожидая ничего интересного. Он показал пролом в стене, неискусно замаскированный. Мы пробрались по узкому коридорчику, огибавшему здание, в укрытую от глаз посторонних посетителей залу. Она была еще больше первой, еще серей. Прохлада и сумрак. Между голых стен стоял огромный глиняный гроб, далеко превышающий размеры общечеловеческого гроба. На этом гробу во всю ширину его, свисая по концам па листы грудой наваленных ветхих книг, лежала мануфактура: халаты, одея-

ла, покрышки, ткани всех цветов, рисунков и размеров. Внизу были старые, почерневшие, пропыленные, изъеденные молью ткани прошлого столетия. Сверху яркими цветами сияли материи, только что взятые из кооператива. В пол-аршина толщины лежала «святая» мануфактура, принадлежавшая мертвецу из Астанабаба. Она была неприкосновенна,— и мы действительно не прикоснулись к ней.

ПРИМИТИВ

Мы садились в автомобиль, чтобы ехать в район.

— Подождите, сейчас с вами поедет секретарь аулсовета.

Открылась дверь, и вышел на балкон секретарь — молодой высокий туркмен в европейском платье. За ним выбежала очень милая девушка. Он хотел идти к автомобилю. Она загородила ему дорогу, повисла на шее, целуя его щеки, лоб, губы. Мы приняли это за шутку. Секретарь мягко отстранил девушку и хотел идти. Она бросилась на него снова. Ее руки соскользнули с его плеч, и вдруг она упала, как срезанная, перед ним, прижалась головой, обняла ноги, целуя их.

Мы в недоумении увидели, что девушка обливается горючими слезами. Молодой человек хранил полное самообладание. Он поднял ее с земли и прислонил к балкону. Она неудержимо рыдала, закрыв лицо руками. Он пошел, она побежала за ним. Он влез в наш автомобиль и сел рядом с шофером. Шофер дал гудок. Девушка стояла в воротах, открыв заплаканное красивое лицо. Она шаталась от горя. Глаза, огромные и распухшие, извергали слезы, целые ручьи слез.

— Что это такое? — спросили мы местного человека, ехавшего с нами.

— Они недавно поженились,— ответил он.

— Ну так что?

— Так он уезжает на два дня в район...

— Не понимаем.

— Ну, так она его любит, и больше ничего. Ей жалко, что он уезжает. Ну, вы понимаете, она его очень любит...

— Ага,— сказали мы хором,— только и всего... Удивительно!

Анна Джамаль из аула Янгалак, как все туркменки, до изнеможения молола зерна на каменных ручных мельницах, пряла, ткала, разбирала и устанавливала юрту, таскала воду, работала в поле. Вечный платок закрывал ее рот,— как хорошая жена она должна была молчать и работать. Тяжелый саммок давил ее голову, неуклюжая одежда безобразила ее фигуру. Она шла сквозь жизнь как привидение.

Она видела, как продают в жены девятилетних девочек, как семилетние девочки, вместо кукол, игр, сидят согнувшись рабынями, приучаясь за ткацкими станками, или учатся валять кошмы, до крови растирая маленькие руки о грубую шерсть. Такая же судьба подстерегала и ее детей.

Это были первые времена советской власти, когда старых туркменок приходилось за пять рублей уговаривать быть членами аулсовета, и то таких старух набралось всего три, так трудно было туркменкам разбираться в советских порядках, и так недоверчиво смотрели они на все новое, не ожидая от него ничего хорошего.

Анна Джамаль много дней и ночей думала о той бесконечной тьме, в которую посажена она и ее соплеменницы и которая называется жизнью. После долгих раздумий она пошла в город и записалась в партию.

Через некоторое время в Ашхабаде был съезд, первый съезд женщин Туркмении, и на этом съезде говорила большие слова туркменка Эне Кулиева, и многие женщины видели в ее словах правду. В далеких юртах начали они борьбу иногда с целым аулом за свободное существование.

Анна Джамаль была из первых. Она ездила по аулам и говорила с женщинами, только с женщинами, как друг и агитатор. Откуда она брала слова для агитации? Сами вещи агитировали за нее. Она только указывала на них. Нелепые одежды, ручные мельницы, грязные колыбели, рабские платки, тяжелые омачи — первобытные плуги — одним своим видом говорили больше слов. Аульные люди стали шипеть за спиной Джамаль. «Капыр» — называли ее насмешливо и обидно. Она перед всеми изменяла вере, изменяла адату, она оскорбляла свой род, она ходила в городе в Джинотдел (отдел дьявола), дьявол вошел в нее. Избегайте ее, женщины!

Но женщины ее не избегали. Они тайком приходили в юрту, где сидела она, и слушали. Джамаль говорила торопливо и сбивчиво, но все было ясно и так. Она говорила как раз те слова, каких давно ждали туркменки. Она не забросила хозяйство и детей. Труд каждого дня не страдал от ее поездок и речей.

Кечели, муж ее сестры, оказался дурным человеком. Она ездила утешать сестру три раза. Кечели косо смотрел на ее приезды. Однажды он послал ее сестру за водой. На скользкой глине у колодца сестра поскользнулась, упала и сломала ногу. Анна Джамаль поехала ее навестить. Тут Кечели потерял терпение. Он выхватил кинжал и закричал: гит! (вон!). Он натравил на нее собак. Со слезами на глазах вернулась Джамаль в свою юрту, а в юрте ее ждал брат. Смотря тяжелыми глазами, он сказал:

— Уходи из Джинотдела, уходи, или ты не будешь жить с нами. Вообще не будешь жить. Довольно позора!

Она так взглянула на него, что он вышел, посерев. Тогда подошел к ней брат мужа и сказал:

— Ты прогнала Ораза Вели, но я тебе скажу, ты стала безбожницей. Ты отлично знаешь, что мы по закону издавна покупаем себе девушек в жены. Зачем ты об этом говоришь всякий раз в своем Джинотделе? Берегись!

...Ночная пустыня лежала вокруг юрты. Взошла луна. Огромные пески забелели. Старуха Пухта Ханау услышала конский топот. Всадники крикнули Хаджем Кули, и когда она вышла из юрты к ним, спросили корму для лошадей. Их было четверо, и низ лица у них был закрыт.

— Куда вы едете в ночное время? — спросила Пухта Ханау.

— Мы едем убить жену Ак Мамед Бурунова,— ответили они.

— Что она сделала вам плохого? — сказала Пухта и вдруг испугалась ночи и всадников.

— Молчи! — воскликнули они и ударили коней.

Маленькая Кичи, дочь Анны Джамаль, проснулась оттого, что со звоном упало ведро в юрте. Она открыла глаза и увидела людей, вошедших в юрту, и услышала шум лошадей, топтавшихся у самого порога. Один из вошедших погасил ночник, и на минуту стало темно. Люди толкались по кибитке, наклоняясь к спящим, и старались в темноте нащупать женский головной убор. Они не могли отыскать в темноте Джамаль, потому что она, нару-

шив обычай, спала без убора. Тогда Кичи закричала в ужасе и разбудила мать.

— Что случилось? — спросила Джамаль, вскакивая с постели.

Боковой полог юрты был откинут. Черная борода Ораза Вели висела у входа. Луна вошла в юрту. Один из туркмен схватил девочку за плечи, поставил на ноги и кинжалом надрезал ей кожу на лбу. Кровь стекала на глаза, и Кичи не могла видеть хорошо, что происходит. Самого Ак Мамеда держали на постели и не давали ему подняться. Брат Кичи плакал, потому что кровь стекала ему на глаза, как и у сестры, но он был меньше и плакал только от боли, не сознавая происходившего.

Всадники убили Анну Джамаль кинжалами и ускакали. Дети лежали у трупа матери до утра. Утром пришли соседи со всех сторон, и мужчины пошли искать следы.

Растоптанный ячмень, конский навоз и следы коней вели от колодца до колодца. Тогда созвали много людей рода и совещались. Родственники убийц предлагали мужу деньги и скот, предлагали мировую. Кечели, Джемал, Шаган, Курбан-Шаган и другие уговаривали Ак Мамеда, но он сидел мрачный, и глаза его не смотрели ни на кого.

Приехали Нари, Овсар-оглы со старухой Тойдже. Он говорил: «Брат и меня может убить»,— и настаивал на мире. Ак Мамед взглянул на маленькую Кичи, и она сказала: «Отец, я знаю всех, кто убил, а ты тоже знаешь?»

Тогда Ак Мамед искривил рот и сказал: «Да»,— и он отказался от мировой.

Убийц судили в Ашхабаде и расстреляли. Когда их судили, весь город ходил смотреть на черных ночных всадников пустыни, убивших непокорную женщину. Убийцы спокойно сидели и думали, что они сделали большое дело и великий испуг охватит туркменок. Однако хоронить Анну Джамаль пришло так много женщин, что аульные туркмены смутились. И когда они услышали, что говорят женщины над могилой, многим стало стыдно за себя. Они разошлись по юртам, оставив женщин одних. И тогда женщины плакали об Анне Джамаль и говорили речи, такие же, какие говорила она. Смерть Джамаль стала известна повсюду.

Прошло много времени. В Туркмению приехал товарищ Калинин, Михаил Иваныч, председатель ВЦИКа. Туркменки подарили ему женский костюм — тяжелый саммок, яшмак, закрывающий рот, грубый халат, рабские

туфли, длинную рубашку и большие штаны, завязывающиеся ниже пояса.

Калинин удивился и спросил:

— Да я же не собираюсь жениться на туркменке, я женат, а многоженство запрещено. Зачем мне все это? Да у меня и жалованья на калым не хватит!

Тогда туркменки ему ответили:

— Возьми себе эти одежды, и пусть они тебе всегда напоминают о рабском положении женщины-туркменки и о том, что советская власть должна уничтожить это рабство и сделать туркменку свободной.

ЗАБЫТЫЕ ЦИТАТЫ

Забавно, что Анатоль Франс следил за постройкой Закаспийской дороги, и в романе своем «Красная лилия», когда героиня собирается ехать в Италию, он устами своего героя предлагает ей другое заманчивое путешествие. «Я думаю,— говорит он ей,— что хорошо было бы весной побывать в Закаспийском крае. Вот интересная и малоизвестная страна. Генерал Анненков предоставит в наше распоряжение вагоны, целые поезда на выстроенной им железной дороге. Он мой приятель, он даст нам эскорт из казаков. Это будет весьма внушительно».

Но если Анатолю Франсу поездка в Туркмению казалась интересной и заманчивой, то доктор Гейфельдер отчаянно напугал французов, в том числе и путешественника Буланже.

Буланже читал книгу доктора по дороге в Туркмению, к «диким туркменам, которым я хочу нанести визит», как писал он друзьям. Буланже в книге доктора Гейфельдера с ужасом неприкрытым читал следующие строки о жизни в Закаспии:

«Как только европеец высаживается в Красноводске, он начинает испытывать влияние жары и сухость воздуха и почвы. Он страшно начинает потеть, быстро теряет в весе, худеет, чахнет. Появляется хрипота, постоянный жар во рту и в дыхательном горле, и применение пищи в это время страшно мучительно.

На открытых частях тела солнце вызывает раздражение кожи (эритему), она трескается и шелушится. А купанье в море производит мокнущую сыпь (экзему), часто сопровождаемую гнойными нарывами. Прекрасная страна!

Органы пищеварения тоже страдают: принятие большого количества воды или даже малого, но нечистой воды, вызывает поносы и катары желудка и кишок, сопровождающиеся дизентерией. Появляются кишечные кровотечения, упадок сил постепенно увеличивается, пока наконец вы не умираете от прободения кишок. Но часто болезнь принимает форму брюшного тифа, который прекращает наконец все ваши мучения. Прекрасная страна».

Так, Туркмения, говорили о тебе знатные иностранцы. Сейчас они не найдут ни «диких» туркмен, ни генерала Анненкова, ни казаков, ни болезней, так страшно обязательных для каждого приезжего. Все гораздо проще в этом мире, чем кажется.

1930

ВАМБЕРИ

Глава первая

Незнатный серый воробей
Учился сам летать.
От себя и к себе, от себя и к себе.
Он крыльями начал махать.
И так он махал, и так он хотел
Летать и видеть свет,
Что не заметил, как взлетел,
И прозевал обед.
Он всюду был, он был везде,
На что ему обед,
Когда он видел всех людей
И всем кричал привет.

I

То был маленький хромой еврейский мальчик. Звали его Герман Вамбери. Семья его ютилась в глухом венгерском городке. Вокруг города лежали болота, а в доме Вамбери во все окна и двери стучала нищета. Чтобы не умереть с голоду, нужно было работать всем: взрослым и малышам.

Работу давали окружавшие городок болота. В них водились длинные и тощие пиявки. На этих маленьких чудовищ был большой спрос в те времена. Их ставили больным, и они высасывали больную кровь. Их охотно покупали в аптеках. Они требовались во множестве. Семья Вамбери продавала пиявок и кормилась этим.

Каждое утро Вамбери, его братья и сестры собирались у большого стола, на котором копошились груды пиявок.

Мальчик отбирал их по длине и толщине, очищал от слизи и купал в свежей воде. Разобрав, выкупав и разложив пиявок по холщовым мешкам, дети мыли руки и шли обедать.

Мать подавала большой горшок с горячим рассыпчатым картофелем.

— А что будет еще, мама? — спрашивали дети.

— Съешьте это, а на второе будет еще картофель,— отвечала мать,— его сегодня много.

Но не всегда она отвечала так. Иногда ни куска хлеба и ни одной картофелины не было в доме.

Заглядывать на кухню было бесполезно. Плита не топилась. Тогда дети бежали из дому на городской пустырь.

Там на смятой траве, между косых кустов и мусорных куч толпился самый вольный и рваный народ: цыгане с огромными пуговицами, скреплявшими их лохмотья, нищие, безработные, ремесленники и просто бродяги.

Тряпичники продавали свои находки: бутылки, сломанные чашки, лампы, гребенки. Фокусники из прогоревших цирков глотали горящую паклю и ходили колесом.

Цыганки гадали на картах и плясали, звеня широкими поясами из медных колец.

У шарманщиков прыгали на ящиках зеленые попугаи и просили сахара. Дети хохотали и дразнили их.

На пустыре было тесно от людей.

Босой Вамбери, подпрыгивая со своим костылем, пробирался между ними и просил у этого сброда чего-нибудь поесть. Ему давали со смехом или с издевкой. Ему кидали куски хлеба, остатки колбасы, лепешки.

Раз к нему подошел худой старик инвалид, седой и одноногий. Они сели на жесткий желтый камень и заговорили. Малый и старый были оба в лохмотьях и оба калеки. Их глаза встретились.

— Ну, что? — спросил старик.— Эх, брат, что же ты будешь в жизни делать? Смолоду на одной ноге скачешь. Кем же ты хочешь быть?

— Я часто хожу сюда,— отвечал мальчик,— здесь много людей, и все они говорят по-разному. И многие говорят так, что я их не понимаю. Я хочу знать все языки, я хочу всех понимать, кто бы что ни говорил.

Инвалид отодвинулся от него с удивлением:

— Хо-хо, клоп! Посмотри на него: он хочет знать все языки — это недурно!

Старик закашлялся и встал, качая головой.

II

Вечером Вамбери снова мыл пиявок, сжимая их двумя пальцами и потом сажая их в мешки. Спали дети на полу в ряд. Под рваным одеялом они скатывались в комок и при-

жимались друг к другу, чтобы согреться. Почти каждую ночь кто-нибудь из них просыпался и кричал:

— Пиявка, пиявка!

Все шумели, искали свет,— вспыхивал огонь и освещал ногу или руку, на которой примостилась пиявка, удравшая из мешка. Беглянку, а то и трех-четырех беглянок сразу, ловили и снова водворяли на место.

...За городком поля стали серыми, гуси не шлепали по лужам, а гоготали у ворот, деревья сделались больными и тонкими,— пришла осень.

Вамбери отвели в школу, и он сидел вместе с другими мальчиками и заучивал букву за буквой. На ночь мать клала под его подушку учебники.

— Это нужно, Герман,— говорила она,— чтобы знание само проходило через подушку тебе в голову.

Вамбери учился с таким жаром и радостью, как будто у него было четыре руки, чтобы писать, и две головы, чтобы запоминать.

Но бедность, стучавшая в окна, вошла теперь и в дом.

Снег лежал на крышах, а в печи не было дров. Мальчик бежал в школу, засунув руки в карманы, грея их горячим картофелем, занятым у соседей.

Сестра Вамбери поступила прислугой к старой чиновнице на другом конце городка.

Мать отвела Вамбери к одной знакомой женщине. Это была портниха. Она должна была выучить его шитью.

Вамбери сидел в неуютной комнате, засыпанной обрезками материй и наполненной лязгом ножниц и шорохом разрываемых тканей.

Иголка колола ему руки, а нитка непослушно убегала. Хромая нога мешала свободно двигаться, а руки не умели резать правильно.

Над ним издевались и били по рукам аршином. Он плакал по ночам и вытаскивал из угла учебники. Но школа была далеко. В праздники он бежал к матери и жаловался.

Дома сидели братья, худые, как зайцы, и дрожали от холода, и мать говорила ему:

— Потерпи еще, милый, потерпи хоть до весны, а там увидим.

И весной Вамбери положил ножницы и иголку и сказал портнихе:

— Я больше не буду шить. Я еду учиться.

Рыжая портниха от изумления уронила наперсток и подушку с булавками, а мальчик встал и ушел.

III

По длинным дорогам большие, сильные быки и лошади везут возы с сеном, с дровами, с углем и с соломой.

Долго ехал Вамбери с матерью через низенькие бедные деревушки, рощи и леса, луга и речки, пока не приехали к шлагбауму города Ниска у подножия лесистых всклокоченных гор.

Темные своды школы, которая содержалась монахами-пиеристами, поглотили Вамбери.

Перед тем как отвезти Вамбери в эту школу, его мать выдержала большой бой со своими знакомыми.

— Он знает Библию,— говорили они,— в Библии есть все. Зачем учить тому, чего в ней нет? Это только погубит мальчика. Пусть он лучше станет сапожником — это богатое ремесло.

Но она настояла на своем:

— Мне трудно расстаться с ним. Мне очень тяжело отдать его чужим людям, но мой сын имеет хорошую голову. Для этой головы Библии мало. Пусть он учится всему, что знают люди.

И Вамбери учился в монастырской школе.

Первый год учения прошел, как ветер по роще,— неожиданно и быстро. Латынь звенела в ушах мальчика с утра до вечера, мороз на улице щипал его за нос, но сытный обед редко был гостем его желудка. По ночам ему снилось, что он странствует по диким странам и говорит на неведомых языках. Он просыпался в поту и вскакивал. Спал он где придется,— у разных случайных благотворителей на мешках в передней или где-нибудь за плитой на кухне.

Зато, когда он увидел в первые каникулы ивы своего родного городка, он торжественно показал им, развернув так, чтобы видел весь пустырь, свой похвальный лист, где было написано золотыми буквами его имя.

— Золотом, вы понимаете, совсем золотом, посмотрите,— хвасталась его листом мать, показывая соседкам.

И все удивлялись. Такой маленький и такой умный!

Ее материнское сердце кипело от гордости. А Вамбери говорил:

— Это еще немного, мама! Я должен знать все, все...

С первыми полосами сентябрьских дождей костыль Вамбери снова застучал по коридорам монастырской школы.

Толстый новый преподаватель позвал его к себе и оглядел с головы до ног; потом презрительно спросил:

— Ты еврей, Вамбери?

— Да,— ответил мальчик, смотря ему в глаза.

— Скажи мне, Мошеле, зачем тебе учиться? Не лучше ли тебе стать резником и продавать мясо?

Вамбери звали не Мошеле, и он вспыхнул, но вспомнил сейчас же ножницы и иголки портнихи, голодных братишек, старый согнувшийся их домишко, и мать с заплаканными глазами, и ночи, отданные книгам.

— Учитель,— ответил он,— я нищ и мал. Я буду слушать вас, как отца. Но я не хочу быть мясником.

Монах усмехнулся и сказал:

— Хорошо, я верю, иди в класс.

IV

Этот год упал на мальчика, как черное облако. Знакомые его, у которых он получал обед и ночлег, разъехались из города. Карман Вамбери не знал, что такое деньги. Мальчишки на улице хватали его за костыль, подставляли подножки, бросали камнями в спину, кричали:

— Урод, трус, калека!

Он шел и дрожал от ярости.

Горбун шапочник дал ему угол в своем чулане. Но есть было нечего. Тогда он попросил в школе работы. Ему сказали:

— Приходи по утрам до уроков чистить учителям сапоги и платье.

Едва зимнее солнце начинало трогать окна, Вамбери уже сидел с сапогом в руке у печки в большом школьном коридоре и одним глазом следил за щеткой, бегавшей по сапогу, а другим глядел в книгу.

Печка сделалась его другом — она грела и успокаивала его. А потом — в нее всегда можно бросить полдюжины картофелин, случайно сохраненных от вчерашнего дня.

Кроме печки, книги были его верными товарищами. Зачитываясь, он забывал голод.

Однажды весной школьники дурачились и играли на дворе. Листья яблонь летели им навстречу. Воробьи прыгали по забору.

Веселье кружило мальчикам руки и ноги.

— А ну, Вамбери,— подзадоривал один из них,— побежим, ну, побежим, кто скорее.

— Куда нам с ним,— кричали другие,— он на трех ногах, он нас всех сразу обгонит.

Вамбери побледнел от гнева и вскочил. И он бежал вместе со всеми. Но они далеко обогнали его и, столпившись на другом конце двора, показывали ему языки и строили носы.

Он стоял одиноко, запыхавшийся от усилий. Мальчики смеялись.

Тогда он отвернулся и пошел прочь от школы и от своих мучителей. В этом городе было одно место, куда он ходил плакать, когда ему было тяжело. Это была могила его отца. Туда он пришел и теперь.

На могиле он сел и оглядел себя. Рваная куртка одевала его плечи, костыль протер ее, и под мышкой зияла дыра. Из одного сапога торчали пальцы. Морщины выросли на маленьком лбу после этого осмотра.

— А, проклятый,— сказал он, хмурясь, дергая костыль из-под руки,— ты долго еще будешь делать меня посмешищем? Кто сильнее, я или ты,— сейчас увидим. Отец, отец, будь свидетелем!

И Вамбери ударил изо всех сил костылем по дереву, росшему на могиле. Костыль переломился и упал.

Опираясь на палку, ступая с болью, Вамбери пришел домой и собрал свои книги. Собрав, он завернул их в одеяло. Больше вещей у него не было.

— Куда ты? — спросил шапочник.

— Я ухожу,— сказал он,— здесь мне больше нечему учиться. Я пойду дальше.

V

Старый и мрачный город Пресбург впустил Вамбери в свои холодные, как пещеры, улицы.

Он долго ходил от дома к дому, и ему казалось, что дома отворачиваются от него, а лавки играют в прятки. Так неожиданно выскакивали перед ним окна, в которых лежали колбасы, окорока, сладкие пироги и конфеты.

Люди бежали вокруг, но никто не хотел взглянуть на него. Никому не было дела до хромого мальчика.

Он был чужим в этом большом и мрачном городе.

Вамбери остановился на одном углу. Над ним качалась вывеска: обеды. Он вошел. Человек с синим шрамом на подбородке спросил, что ему нужно.

— Я хочу есть,— сказал Вамбери.

— Здесь едят только те, кто может заплатить за съеденное,— ответил ему хозяин,— а кто ты такой?

— Я приехал учиться, но могу и учить...

— Ну-ну,— сказал хозяин,— у меня есть оболтус-сын, которого следовало бы подучить.

— Что ж,— сказал Вамбери,— я готов. Я могу показать свое свидетельство.

И он показал его.

И Вамбери получил ученика и одну половину складной кровати у господина Леви — так звали хозяина столовой.

Еду он должен был добывать сам. Он садился с книгой в углу столовой и наблюдал за обедающими. Это были бедные и тихие люди, такие же, как и он. Они платили медными монетами за жидкие супы и жесткое мясо. Вамбери подбирал остатки от кушаний. Иногда ему протягивали и целый кусок. Потом он уходил опять в угол и раскрывал французскую грамматику. Он уже знал языки: латинский, немецкий, венгерский, еврейский.

Теперь его страстью был французский язык. Он заговаривал по-французски со всеми, толкаясь по улицам,— с крестьянином, идущим в погребок, с кухаркой, продающей молоко, с немцем, часовым мастером, с собаками, сидевшими у дверей.

У него было дикое произношение и честное упорство.

Его ученик блистал совершенным невежеством. В тусклый вечер, когда Леви, подсчитав кассу, пришел в комнату к Вамбери, мальчик раздевался, чтобы лечь спать.

— Погоди,— сказал Леви,— мой сын сказал, что у тебя появилась сыпь. Что это такое?

— Это, вероятно, лихорадка,— отвечал Вамбери,— не больше.

— Ну-ну,— сказал Леви,— повернись-ка к свету. Эге, а тебе придется, паренек, убираться отсюда. Таких мне не надо. Ты еще перезаразишь весь дом.

Вамбери встал, чувствуя, что удушье схватывает его за горло.

— Ничего, мы сейчас сосчитаемся. За три обеда, что ты мне должен, можешь не платить. Я оставлю у себя твою подушку и одеяло. А теперь иди — я тебя не держу.

Вамбери исходил все бульвары и переулки: он был отверженным и не мог постучать ни в одну дверь, он не мог показаться ни одному человеку.

Мрачный чужой город окружал его.

Тогда он сел на скамью в глухом углу улицы. Но и тут

раздались шаги ночного сторожа. Мальчик залез под скамейку в кусты, лег на землю и свернулся клубком.

— Ничего,— говорил он себе,— крепись, Вамбери!

И он на память читал про себя стихи по-латыни и по-французски, пока не уснул.

VI

Наутро он пришел в монастырскую больницу и постучал в железную дверь. Его впустили и уложили на жесткую, скрипучую кровать. Книг он не отдал. Он их положил под изголовье и только тогда успокоился.

Железная дверь выпустила его обратно только через две недели. К нему на улице подошел тонкий, как гвоздь, старик с кусками белой щетины на скулах. Он слышал, что Вамбери разговаривает с водосточной трубой по-французски, и спросил:

— Ты хочешь работать, мальчик?

— Еще бы!

Вамбери даже подпрыгнул на одной ноге.

— Идем со мной в таком случае.

И старик, который занимался ростовщичеством, привел его в свою квартиру. То была холодная низкая комната с большим сундуком и двумя черными шкафами. К ней сбоку примыкала прихожая, где лежали остатки ковра и пустые бутылки. Это было все.

— Что ты знаешь? — испытующе спросил старик.

— Я знаю пять языков.

— Это меня не касается. А сколько тебе лет?

— Четырнадцать лет,— отвечал Вамбери.

— А ну, скажи что-нибудь по-немецки.

Вамбери сказал.

— А ну, скажи что-нибудь по-латыни.

Вамбери сказал.

— Ты не совсем дурак, мне кажется,— сказал старик.— Ну так слушай: я стар, и мне трудно готовить себе обед и подметать комнату, а потом — меня могут ограбить, так как я не держу собаки. Если ты будешь смотреть за мной и охранять квартиру, этот ковер к твоим услугам.— И он жестом султана, дарящего гостю провинцию, указал Вамбери на остатки ковра в углу прихожей.— Ну, и кое-какой кусок хлеба тебе обеспечен.

— Хорошо,— согласился Вамбери,— я буду служить вам за слугу и за собаку.

Но старик даже крошки не оставлял подчас после себя на тарелке, и Вамбери мстил ему тем же. Он забывал заводить ему часы, убирать комнату и спал ночью так, что его хозяина могли сто раз пронести туда и обратно, и Вамбери не проснулся бы.

VII

Шел 1848 год. Стены тихого Пресбурга затряслись от грохота пушек. Венгрия восстала против угнетателей — австрийцев. Огонь войны перекидывался с кровли крестьянской хаты на крыши замков и стены крепостей. Вена свергла императора. Студенты и рабочие укрепляли город. Битвы перекатывались по краю. Венгерские революционеры собирали отряды.

Но борьба была неравной. Начались казни. Трупы висели на площадях, и грохот барабанов заглушал вопли разоренных семейств.

Вамбери ненавидел насилие. Он бегал по улицам и на всех языках ругал австрийцев палачами. Тогда его стала ловить полиция.

Вамбери должен был бежать из Пресбурга.

В поле у Дуная он встретил нескольких венгерских солдат, спасшихся от плена.

Они были запылены, и поражение читалось на их лицах.

— Все кончено,— говорили они,— будем ложиться и умирать. Пропадай наша свобода!

Тогда поднялся один старый пастух и прохрипел им шатающимся от старости голосом:

— Стойте, дети! Всегда, когда с нами беда, приходят нам на помощь старые мадьяры из Азии: ведь мы их братья,— будьте спокойны, они и теперь нас не забудут.

Это было откровением, которое поразило Вамбери. Его всегда тянуло на Восток. Ему всегда снились пустыни и пальмы. Не там ли он найдет многое множество языков и племен? Там он научится понимать всех, на каком бы языке ни говорил человек. Там он найдет этих старых мадьяр из Азии.

И он ушел потрясенный.

Когда звезды встали над его головой, он сел у канавы при дороге и дал слово, что больше не будет толкаться в учебные заведения. Судьба загнала его в Будапешт. Тогда еще он назывался просто Пешт.

VIII

Самое грязное и самое шумное кафе в Пеште — кафе Орчи. Там собираются приехавшие из провинции кулаки и фермеры. Там стояла особая скамейка. На эту скамейку, как невольники, садились учителя, ждавшие, чтобы их наняли куда-нибудь в отъезд.

Много раз сидел на этой скамейке Вамбери, много раз уходил он с нее и возвращался снова. Иногда у него оказывались деньги. Тогда была передышка. Он покупал себе потрепанные брюки и даже раза два сходил в театр.

Ученье он не прекращал ни на минуту. Он учился языкам днем и ночью, в поле, в сарае — везде, где можно было раскрыть книгу и положить бумагу. Он заучивал по сто слов в день. Как самоучка, он коверкал слова, приходилось их переучивать снова,— он переучивал по два, по три раза.

Он читал Пушкина по-русски, Андерсена — по-датски, Данте — по-итальянски, Хайяма — по-персидски, Сервантеса — по-испански.

При таком терпении ничто ему не было трудно. Слова чужих стран входили в его голову как бы играя. Он забавлялся их пестротой и музыкой. Он видел их, как видят картины или статуи. Они прыгали перед ним, и каждое означало что-нибудь новое, еще не известное ему.

Если ему удавалось ненадолго получить себе комнату, он увешивал ее плакатами, на которых писал кратко по-турецки или по-персидски, чтобы никто не мог прочесть: «Работай, всегда работай, будь настойчив — стыдись!»

Он сам задавал себе уроки и, если не приготавливал их к сроку, оставлял себя без обеда.

Но жить становилось все труднее. Люди вокруг него жили в тяжелой, безвыходной нищете. Он решил ехать на Восток.

Деньги не любили его. Ему удалось в Вене достать угол на улице Трех Барабанов, где он переходил с хлеба на воду и худел, как котенок.

Квартирная хозяйка благоволила к нему. Она приходила к нему иногда, и становилась перед ним с заложенными за спину руками, и тихими овечьими глазами смотрела на него.

— Когда вы встанете на ноги, Вамбери? — спрашивала она.

— Я уже стою на них,— отвечал он,— и ничто не сможет меня сбить с них.

Он вспомнил сломанный свой костыль и улыбнулся.

— А это что у вас? — допытывалась она, заглядывая в тетрадь, испещренную заметками в клетках.

— Я отмечаю всякий день, дорогая фрау Шенфильд, все, что я должен сделать. Если я не сделаю в течение месяца всего, что я должен сделать, я первого числа объявляю себе выговор.

— Вы странный человек, Вамбери,— говорила хозяйка и уходила недоумевая.

И снова шатался Вамбери всюду, собирая гроши на жизнь. Время шло.

Однажды весной он вошел к фрау Шенфильд. Она обрадовалась ему и хотела угостить его кофе, но он отказался.

— Вы торопитесь, Вамбери? — спросила она.— Может быть, приехала ваша матушка?

— Она давно умерла, фрау Шенфильд.

— Тогда вы, может быть, спешите к своей невесте? — спросила она с улыбкой.

— Нет,— отвечал Вамбери,— я еду в Турцию, в Константинополь.

Глава вторая

Когда тоскует конь,
Он бьет копытом пол —
Он непонятно зол;
Но ты коня не тронь.
Но ты коня не бей,
А выведи на луг.
А ты возьми седло
И выбери страну,
Дай шпоры скакуну —
Увидишь, что болезнь,
Что всю болезнь его
Как ветром унесло.

I

Громадным многоцветным лагерем раскинулся Константинополь. На холмах подымались похожие на шатры мечети. Как копья, в небо торчали белые минареты.

Ржанье вьючных животных наполняло улицы. Их было так много, что казалось, будто вся страна куда-то переселяется.

Рядом с толстыми раззолоченными людьми жили голые грязноволосые нищие, покрытые рубцами и ранами. У ног прохожих дымились жаровни.

Проходили красные, как раки, и синие, как павлины, солдаты. Дворцы султана были отгорожены от всех золочеными решетками. По зеленой воде Босфора бежали, обгоняя друг друга, остроносые лодки. Под их веслами в прозрачной воде играли диковинные рыбы.

Стук копыт, крики торговцев, приветствия и брань оглушали новичка.

В маленькой прохладной кофейне сидели греки, турки, арабы и персы.

На возвышение поднялся худой смуглый хромой человек. Наступила тишина. Не слышно было даже шороха передаваемых наргиле и чашек.

Человек читал нараспев с гортанными ударениями обрывки «Ашик-Гариба» («Влюбленный иностранец»).

Слушатели вскрикивали от удивления и восхищения.

— Кто это? — спрашивали они хозяина.— Кто это?

И тогда хозяин кофейни говорил с улыбкой:

— Это один венгерец, он только что приехал в Стамбул и уже говорит по-нашему, как эфенди. Это не человек, а чудо.

Вамбери кончил стихи. Ему поднесли кебаба и пастирмы (жареного и копченого мяса).

Вамбери съел и ушел в соседнюю кофейню. Он жил, как хромая смуглая птица, перелетая из одной улицы в другую, с базара на базар, и так же, как птица, зарабатывал себе на хлеб пением.

Потом он шел к венгерцу Песпеки, своему другу, в разрушенный домишко, на пустырь. У них на двоих был один ободранный диван.

— Одна половина ваша,— предложил ему Песпеки,— другая моя. Это называется царьградской роскошью.

— Но здесь очень холодно,— сказал Вамбери,— нет ли у вас какого-нибудь старого тряпья?

Песпеки с грустной улыбкой вытащил из угла большое пыльное знамя.

— Накройтесь этим — это вас, наверное, согреет. Под этим знаменем мы дрались за свободу Венгрии... Больше у меня ничего нет.

Но знамя, согревавшее когда-то сердца, больше не грело. Оно уже стало простым куском материи.

С первыми лучами солнца Вамбери вскакивал и шел в город. Здесь перед ним лежал Восток, и он был нужен этому Востоку.

Слава об иностранце, говорящем по-турецки лучше турка, облетела город. С ним искали знакомства. Вамбери зазывали к себе чиновники и паши, чтобы у него учиться языкам Европы.

Прошло четыре года.

Казалось, колесо судьбы круто повернулось. Из худого, скромного молодого человека Вамбери превратился за это время в здорового, сытого турка. С ним говорили писатели и министры.

Мидхат-паша, всесильный зять султана, рассуждал с ним о падении ислама, о происках французов и англичан, об истории Турции. За его знание турецкого языка и турецкого быта он дал ему имя Решад-эфенди, что значит «верный».

— Почему вы не хотите поступить к нам на службу? — спрашивали его.

— Не для этого я боролся, чтобы после десяти лет голода и холода, обладая знанием десяти языков, засесть в кабинете чиновником. Я не могу принять службу султана — я состою на службе у человечества. С каждой новой главой о Турции я вписываю главу в историю человечества. Я привык бегать, и от сидения у меня затекают ноги. А потом я еще не видал Востока...

Турки качали головами и говорили, что он лукавей шайтана.

II

Однажды он шел по берегу Босфора через высокую зеленую рощу. Под деревьями сидел старый турок и сжимал в одной руке трубку с опиумом, а в другой держал чашку с кофе, размахивая ею по воздуху, чтобы охладить.

За деревьями прятались уличные мальчишки, следя за ним с хохотом.

Турок накурился опиума так, что ничего не понимал. Мальчишки подбирались к нему, втыкали в чашку длинные соломинки и высасывали кофе.

Живой скелет смотрел в чашку, убеждался, что она пуста, и, думая, что он выпил ее, кричал слуге:

— Кафеджи, дольдур (подлей еще)!

Ему подливали, а мальчишки снова высасывали кофе через соломинку.

И Вамбери понял, что вся Турция такова. Опьяненная смутными ядами прошлого, она спит и не видит, кто за нее пьет ее кофе.

Ему стало грустно. Он окинул мыслью весь Стамбул. Он видел десятки богачей, у ног которых влачили жизнь тысячи бедняков. Нищета и рабство были хозяевами Стамбула. Чашка кофе или трубка опиума — и день прошел.

Кто-то сказал над его ухом арабскую пословицу:

— Все несчастья в жизни от желудка!..

Перед ним стоял лохматый человек в рубчатой чалме. Четки целыми рядами обвивали его шею, а глаза блестели, как куски меди.

— Кто ты? — спросил его Вамбери.

— Я дервиш, эфенди,— отвечал он,— я был в Бухаре, Самарканде, в Мешхеде и Куте. Я был всюду, где лежит тень плаща пророка. Там, где ни разу не ступала нога неверного.

И он прошел мимо, повторяя арабскую пословицу:

— Все несчастья в жизни от желудка!..

Вамбери долго не ложился спать в эту ночь.

— Так я буду там,— сказал он себе,— я буду там, где не ступала нога европейца. Назло всему исламу и всем дервишам я приду в те места и взгляну своими глазами, чтобы знать, что это такое.

Через месяц пароход «Прогресс» вез Вамбери в Трапезунд, город на Черном море, откуда можно караванным путем попасть в Персию.

III

Вамбери высадился в Трапезунде. Он пересек страну курдов, где высокие дикари, нищие и храбрые, хвалятся конями и оружием.

Нападая на караван, они стреляли с коня так метко, что могли отстрелить пуговицу, не задевая всадника.

Вамбери проехал желтый Тавриз, где на базарах галдят четыре страны света, проехал голубое Урмийское озеро, Казвин, похожий издали на свадебный шоколадный торт, и приближался к Тегерану.

Ему было не по себе. Он думал, что Восток — это зем-

ной рай, где под пальмами живут красивые и веселые народы, а здесь перед ним лежала или соленая пустыня, или пустыня без соли; развалины городов и каналы, полуобвалившиеся и запущенные, походили на кладбища. Башни и крепости торчали, как досадные придатки к скалам.

Персы, между которыми он жил это время, постоянно осыпали его ругательствами, так как он выдавал себя за турка. Они были шииты и к туркам-суннитам питали нестерпимую вражду.

Даже на его осла, как на суннитское животное, сыпались удары бичей.

Рядом с Вамбери постоянно шел злой фанатик в смушковой шапке, длинном халате и в зеленых туфлях и кричал, точно ему платили золотом за этот крик:

— Ты думаешь, эфенди, что Омар, этот паршивый пес, эта дьявольская скотина, эта вонючая гадина, не поступил вероломно? Отвечай сейчас же!

Вамбери мог бы ответить персу: «Друг мой, я не заинтересован в этом, ты можешь успокоиться...»

Но этот ответ был бы равносилен объявлению войны. Его убили бы, приняв за дьявола. Вокруг были темные и бешеные люди. Многие из них никогда не видали европейца.

И Вамбери делал строгое лицо и спорил, как суннит, спорил, как турок, спорил до седьмого пота. Он изучил в Стамбуле все штуки мулл, и его трудно было заподозрить в обмане.

Так было на каждой остановке, на каждом перекрестке, на каждом ночлеге.

Наконец они увидели ряды тополей и фруктовые сады. Между ними белело что-то большое и бесформенное. Это был Тегеран.

Вамбери загорел и закалился. Его звали Решад-эфенди. Вся его прошлая жизнь, казалось, была отрублена от него. У него завелись новые друзья.

В прекрасные синие ночи Тегерана он сидел с ними, читал им стихи Омара Хайяма и Гафиза. Красное вино — хуллари — темнело в их бокалах. Звучали непрерывные тосты. Они придумывались тут же, на лету.

— Пью за избавителя караванов! — кричали одни.

И все пили за избавителя караванов.

— Пью за Бинат-ул-Нашша (Дочь Мертвеца)! — кричал другой.

И все пили за Большую Медведицу, называемую в Персии Дочерью Мертвеца.

Так пировали всю ночь под синим небом Персии.

Потом кричали совы и лаяли собаки предутренним лаем. Звезды бледнели и уходили с неба. Тогда шли спать.

IV

Вамбери пришел к своему приятелю — турецкому послу в Тегеране, Гайдар-эфенди, и развернул перед ним карту.

— Что хочет сказать мой друг? — Турок посмотрел вопросительно.

Он сам был человек свободный, без предрассудков, и уважал Вамбери.

— Немного внимания, господин,— сказал Вамбери,— взгляните сюда: вот здесь лежит Бухара, а здесь Хива,— там, где тянется великая водяная жила, называемая Оксусом или Аму-Дарьей. Туда пойдет Вамбери с вашего разрешения.

— Не шутите, такого разрешения не будет.

— Тогда Вамбери пойдет без разрешения.

— Никогда! — вскричал его друг.— Оттуда не возвращаются европейцы. Вы хотите быть разрубленным на куски или повешенным за ноги! Куда вы пойдете? Вы хромаете. Чтобы попасть туда, надо пройти сотни верст пути, и какого пути! Пески, горы, ямы... Терпеть холод и голод. У вас не хватит силы.

— О,— сказал Вамбери,— в Персии мне делать нечего. Я не археолог,— развалины меня не занимают. Что касается голода — я голодал пятнадцать лет, это не так мало. Что касается выдержки, то я вскакиваю на лошадь на полном ходу и взбираюсь на верблюда, как акробат. Общество бродяг и разбойников только развлечет меня.

— Но один вы не сделаете и трех шагов.

— А кто вам сказал, что я буду один? Я пойду со своими друзьями.

— Кто же они? Могу ли я видеть их?

— Для этого стоит только подойти к окну.

Гайдар-эфенди взглянул и вздрогнул. Во дворе посольства сидели паломники, возвращавшиеся из Мекки в Центральную Азию. Совершенно истощенные, покрытые

грязью и пылью, как загнанные животные, с четками и посохами сидели дервиши.

— С ними, с этими фокусниками и ханжами, пойдете вы, Вамбери? Я не допущу этого.

— Увы, господин, я уже решил.

— Я ничего не понимаю, Вамбери. Что вам нужно в Бухаре? Зачем вы ищете плохого и только плохого?

— Дорогой эфенди, я человек науки. Пословица говорит: не входи в дом с дурной дверью. Я хочу войти, я хочу увидеть Бухару. Может, всю жизнь я должен был положить именно на то, чтобы попасть в Бухару. Это упорство ученого, меня не остановит ничто. Почему я пойду с дервишами? Я говорю по-турецки лучше любого турка, профессия этих людей — обман. Я знаю, что простых людей обманывают с одинаковым успехом и в Азии и в Европе. Эти люди торгуют молитвами, и четками, и водой из Мекки. Они берут эту воду в любом колодце. С ними легко поэтому ладить. А если я погибну — потеря не очень большая. Родина моя далеко, семьи у меня нет. Поэтому не держите меня, мой друг.

V

Потом к Вамбери заглянул доктор Бимзенштейн. Он был похож на камбалу, которой приделали неожиданно ноги. Он трудно дышал и немного заикался.

— Вамбери, я слышал, вы идете в Бухару?

— Да, иду.

— Слушайте, старина, майор Конолли был там...

— Ну и что же?

— Его голова висит на зубцах эмирской башни. Стоддарт пошел по его дороге. Его пробили копьем, как лист картона.

— Были и другие, доктор, были и счастливее этих.

— Да, были; Блоквилль сидел передо мной, как сидите вы, и рассказывал о том, как туркмены жгли ему пятки и ломали руки. Вайсберн — крепкий англичанин — смеялся со мной над опасностями. Спросите ветер, Вамбери, спросите ночь, спросите дорогу, Вамбери,— где Вайсберн? Никто не ответит, потому что никто не знает, что стало с ним.

— Я скромней их, доктор. Я никогда не искал славы мученика. Я пройду незамеченным, как блоха на дервише.

— Незамеченным, Вамбери? Сто глаз будут следить за вами день и ночь. Будете ли вы есть, спать, притворяться молящимся — сто сторожей будут стоять за вашей спиной. При каждом шаге вы будете наступать на шпиона. В степи, в монастыре, на базаре, на улице стоит одному человеку сказать: «Это френги» (европеец),— и вы погибли. Вы никак не сможете защищаться. Дрогнувший взгляд, оступившаяся нога, неверное ударение в слове выдадут вас.

— Все так, доктор, но у меня есть одно, за что я ручаюсь.

— Что же это, Вамбери?

— Сила воли, сила воли, доктор.

— Хорошо,— сказал Бимзенштейн,— тогда накануне вашего пути вы зайдете ко мне.

Была теплая южная ночь. Доктор сидел в своей комнате и курил. В дверь постучали. Он отворил ее и отшатнулся.

— Кто это? — спросил он.

— Не пугайся, эфенди,— отвечал человек,— я простой дервиш Хаджи-Махмуд-Решад-эфенди, я иду ко гробу Богаэддина.

И Вамбери со смехом бросился в кресло.

Суконный черный колпак стоял на его голове; плащ его оканчивался лохмотьями. Пояс из разноцветных веревок перетягивал стан. За пояс был засунут маленький топор с короткой ручкой. С рук свешивались черные зерна длинных четок.

— Ну, мой друг, я хочу вам сделать маленький подарок...

— Я жду, доктор.

— Здесь три пилюли стрихнина. Когда вы увидите, что все кончено, эти шарики сыграют для вас роль последних друзей.

— Спасибо,— сказал Вамбери, беря шарики и уходя. На пороге он остановился и пристально взглянул в лицо доктора.

— Доктор, я думаю, что все же, несмотря ни на что...

Стук двери заглушил его голос и оборвал конец фразы. Бимзенштейн бросился к двери и распахнул ее.

Никого не было. Одна теплая ночь глядела в глаза доктору.

— Тише шаг, тише шаг,
Шаг, шаг — тише! —
Так поют пески,
Засыпая кишлаки —
Стены, окна, крыши.
Звон и гам, гром и гам,
То не ветер бродит —
Караван по городам,
Караван по городам,
Весь гремя, проходит.
А один в нем человек,
Точно конь и воробей,
Всех быстрей и всех скромней,—
Настоящий человек.

I

Взад и вперед вдоль каравана разъезжали купцы, кричали и переругивались между вьюков. За ними ездили писцы и записывали, как в лавке, заключаемые сделки.

Чиновнику подавали чай на ходу и знатному персу набивали трубку. Он курил в седле так ловко, точно лежал на диване. Тут же на ходу били провинившегося раба. Часть ударов попадала по лошади. Караванный шут становился головой на седло и рассказывал анекдоты.

Так двигался этот странствующий базар, который назывался караваном.

Ослы, на которых сидели дервиши, не смели брыкаться и шли с постными мордами. Лошади стражи вставали на дыбы и дико вращали глазами. Верблюды купцов качали шеями, точно подсчитывая барыши.

Дервиши пристраивались как могли. Иные сидели на вьюках, держа в руке склянки со священной водой из Мекки. Склянки были сделаны в Европе, и, значит, одно прикосновение к ним делало любого мусульманина нечистым, но они не думали об этом. Иные шли пешком, иные трусили на собственных ослах.

Дервиши эти были мошенник на мошеннике. При Вамбери одному из них в драке выбили два зуба, и, когда благочестивые персы спрашивали его в дороге, где он потерял их, он отвечал:

— У горы Огод в битве с неверными пророк лишился двух передних зубов. Как же я мог не подражать ему?

И слушатели дарили ему деньги.

К ним приходили люди с больными глазами и просили помощи. Дервиши, приняв подарки, посыпали их глаза грязной землей, якобы привезенной из Мекки. Когда вся земля из этих мешочков, висевших на груди у каждого дервиша, выходила, они наполняли мешочки тут же, на месте стоянки, новой землей.

Вамбери закусывал губы и бормотал проклятия.

На остановках в селениях хозяева расстилали скатерти на земле и выносили блюда с едой. Грязные руки засовывались в мясо или рис и тащили, сколько могли захватить. Желая уважить товарища, скатывали ему куски жира в комок и предлагали с улыбкой.

Вамбери давился, но ел. С каждым днем ему становилось тяжелее.

Пыльный, обросший волосами, усталый, он глядел и запоминал все, проходившее перед ним. Мир, неизвестный европейцу, впустил его в свои владения.

Он смотрел на диковинные вещи. Вот отрядом командует десятилетний перс. У него карманные часы усыпаны рубинами, и в шелковом мешочке на груди висит его печать, заменяющая подпись. Он ходит с кнутом и подгоняет слуг и животных. Он произносит проклятия и молитвы, как взрослый. Слуги не смеют поднять на него глаза. Он ведет караван с кунжутным маслом.

«Так вырастают деспоты»,— думает Вамбери.

II

Вамбери знал уже всех своих товарищей-дервишей по именам. И они знали, что он идет в Бухару, в город, о котором пророк сказал, что всюду с неба видно, как нисходит свет на города, и только от Бухары свет столбом стоит в небе.

Дервиши били себя кнутами, чтобы иметь раны на плечах и на груди.

Они торговали ими, показывая их в городах. Они растравляли порезы на лбу так, чтобы получилась восьмиугольная язва. За это особенно хорошо подавали, потому что это значило, что человек усерден в молитве и, молясь, прижимает свой лоб к восьмиугольному кирпичу.

Вамбери было не до смеха. Среди этих полупомешанных негодяев и бесноватых трудно было притворяться равнодушным. И он пел суры Корана, и хватал себя за голову,

точно хотел оторвать волосы, и говорил гнусавым голосом, как они, и закатывал глаза. Он от природы имел талант подражания.

В Мешхеде все пошли поклониться в мечеть Имам-Риза. Купол мечети, покрытый золотом, сиял на голубом небе. Стены мечети блистали эмалью. Неграмотные темные люди толпились, задавленные этим тяжелым блеском, и плакали и вопили, следя с жадным вниманием за словами мулл.

За прочтение молитв нужно было платить деньги.

Один неграмотный скряга подошел к Вамбери.

— Брат,— сказал он,— у меня нет денег, прочти за меня молитвы, а я буду сзади повторять их за тобою.

Вамбери встал в позу и добросовестно отчитывал ему арабские стихи.

Вдруг он услышал, что голос за его спиной говорит как будто не молитву. Он остановился и прислушался.

— Больше пяти дукатов твоя кляча не стоит.

— Клянусь святым Абасом, ты жулишь. Я сам заплатил за нее двенадцать.

— Не ври, не ври, дорогой...

Вамбери обернулся с притворным гневом, едва подавляя смех.

— О, о,— закричал скряга,— мы немножно отвлеклись от молитвы!

Так, немножко отвлекаясь, молились и прочие паломники у могилы Имама.

Персия кончилась домом у длинного моста и холодной рекой с непонятным именем.

Караван изменился в составе. Присоединились афганцы и люди из Индии.

Вамбери запаршивел. Вамбери кусали насекомые.

Их было столько, что складки одежды шевелились, как живые.

Одежду расстилали над горячей золой, и она трещала, точно палка. Если не было огня, одежду кидали на раскаленный песок, и все насекомые переползали наверх. Если не было огня и песка, отыскивали муравейник. Муравьи поедали всех вшей дочиста.

На ночевках кричали, как дьяволы, бухарские ослы.

Они кричали так, точно их поливали горячей смолой.

Лошади бросались в сторону от верблюдов, потому что верблюды наедались жестких колючек и, не получая достаточно воды, пахли, как зачумленные.

Люди садились группами и беседовали у костров.

Персы хвастались сапогами, на подошвах которых было написано имя Омара. Они хотели непрерывно попирать ногами своего врага.

Индусы держались отдельно. Они были поклонники индийского бога Вишну и на ночь расставляли вокруг себя и своих тюков небольшие палочки, соединяя их тонкой веревочкой, и считали, что теперь они отгорожены от всех и не могут оскверниться.

Афганцы показывали зарубки на рукоятках кинжалов и прикладах. Сколько было ими убито неприятелей — каждый мог видеть.

Дервиши плясали в кругу, вопили и просили подаяния. Им бросали остатки пищи и медь.

Вамбери чувствовал, что он сходит с ума.

Когда все засыпали, он начинал упражняться. Он запоминал выражения лиц своих спутников, их улыбки, их гримасы, их жесты. Он учился передразнивать их каждую ночь. Через два месяца его нельзя было отличить от других.

Он наружно растворился в караване.

Все считали его ученым дервишем, идущим в Бухару. Тревога иногда сжимала его плечи. Начинали дрожать руки. Смех звучал фальшиво.

«Неужели,— думал он,— я не вернусь?»

И он снова осматривался.

Желтые скалы толпились перед ним. Пыльные кусты выходили из трещин. Бегали широкие ящерицы.

Потом перед караваном раскрылись пески. Они шли во все стороны и нигде не кончались.

Появились кочевники. У них нельзя было отличить мужчин от женщин. У тех и у других были одинаковые шаровары, куртки и рубашки. Те и другие закрывали лицо от песка. Ноги их представляли какие-то колбасы из парусины. Собаки пользовались у них особым почетом. Если у кочевника спрашивали: «Не продашь ли жену?» — он только слабо злился, но если спрашивали: «Не продашь ли собаку?» — он бросался на обидчика с ножом. Это была кровная обида.

За Вамбери шла слава святого хаджи с Запада. Он плясал, как никто, и читал на стоянках длинные, звучные поэмы.

Все слушали благоговейно.

Туркмены с оттопыренными от бараньих шапок ушами,

с косыми глазами соскакивали с маленьких крепких коней и садились перед ним, прося благословения или позволения дотронуться до его одежды.

Вамбери смотрел на их широкие красные лбы, слушал их странный говор и ничего не смел записывать. Он только смотрел и слушал.

День за днем он только смотрел и слушал. Он стал губкой, которая впитывала все окружающее, как воду. Он думал, что он или ничего не запомнит, или голова его лопнет от множества мыслей.

Кочевники трогали его одежду, его пояс и шептались.

Они приводили жен и детей, и те падали ниц перед Вамбери и простирали к нему руки. Если бы они узнали, что он обманщик, они закопали бы его живого в песок.

III

Однажды их толпу растолкал старик, голова которого была как изрубленный кочан капусты. Караван уже ушел так далеко, что вокруг были только одни пески и небо. Этот старик всю жизнь провел в грабежах и убийствах. Все замолчали. Он протянул жилистую, почти черную руку и заговорил:

— Шейким (мой шейх), почему бы тебе не начать большое дело? Ты святой человек — ты все можешь. Давай нападем на персов. У меня пять тысяч всадников, молодец к молодцу. Благослови их волей аллаха, и они пойдут за тобой. Подумай, шейким.

Вамбери не смеялся. Он думал. Он думал о том, что Персия — нищая, разоренная страна, о том, что войско шаха разбежится, как овечий гурт, о том, что европейские авантюристы в Тегеране поддержат его, о том, что туркмены отнимут у персов последнее добро в деревнях и выжгут поля,— а потом что?

Он думал, и все смотрели на него. Солнце закатывалось за их спинами, как громадное колесо войны.

Вамбери повернул лицо к старику. В его руках были жизнь и смерть тысяч людей. Жалкий мальчик, умиравший от голода в Венгрии, мог бросить народ на народ. Глаза его блестели.

— Я слушал тебя, шейх,— слушай и ты меня.

Старик наклонил изрубленную, как кочан, голову.

— Шейх, пока я не окончу обещанного аллаху пути

в святую Бухару, я не могу начать другого дела. Подожди.

— Я подожду,— ответил старик,— я подожду, пока ты вернешься. Воля божьего человека — закон.

И он встал, прошел между рядов, затаивших дыхание, и вскочил на лошадь.

На другой стоянке появился афганец. Черные ремни его одежды пугали детей. Он ступал мягко, как кошка. На первом же ночлеге он устроился около Вамбери.

— Хотя мы сидим криво, но будем говорить прямо. Кто ты? — спросил он без всякого выражения, но глаза его скосились, как у подбитого ястреба.

— Я иду из Стамбула.

— Зачем ты пришел сюда?

— Воля аллаха движет людьми,— отвечал Вамбери, зная, что он не сможет смотреть прямо на этого человека.

— Видал ли ты когда-нибудь френги?

— Я не смотрю на неверных, брат.

— Они смотрели на меня,— закричал афганец,— пусть горы упадут на их головы! Они убили моих братьев и отца в Кандагаре. Почему ты опускаешь глаза, дервиш?

— Если бы ты знал, сколько я терпел от них на своей родине,— медленно сказал Вамбери, взглянув на сросшиеся брови афганца,— ты бы давно ослеп от ярости.

Афганец шумно поднялся и ушел к костру.

На другой день он подъехал к Вамбери и, толкая его осла своим конем, закричал:

— Как тебя зовут, дервиш?

— Хаджи-Махмуд-Решад зовут меня.

— А как тебя звали раньше?

— Раньше меня звали мальчиком, потом эфенди, теперь я — хаджи, брат.

Афганец усмехнулся углом губ и поднял коня на дыбы.

В тот же вечер Вамбери, застыв на молитве, а на самом деле прислушиваясь, слышал от слова до слова все, что говорил афганец начальнику каравана.

— Керван-баши,— говорил он,— это русский шпион. Он высматривает все дороги, а потом придут русские. Они отнимут у вас жен и детей. Но я не дурак. В Бухаре есть эмир, а у эмира есть каленое железо для таких людей.

— Не спеши, друг,— отвечал керван-баши,— сначала убедись в этом.

И они пришли утром убеждаться.

Но Вамбери молился. Он стоял, как столб, и глаза его не видели ничего. Он стоял, как камень. Губы его шептали что-то.

Афганец, указывая на него, громко повторял керванбаши свои обвинения.

Начальник каравана смотрел на Вамбери. Вамбери слышал все, он чувствовал, что одно движение лица может выдать его.

Он стоял, как камень. И начальник каравана отвел афганца, и до уха Вамбери долетел его шепот:

— Я не верю,— ты ошибся, афганец. Так не стоят френги.

IV

Афганец стал ужасом Вамбери. Он рад был всякому пустяку, чтобы придраться. Увидав у Вамбери одну случайную золотую монету, он подошел и спросил с угрозой:

— Разве ты, дервиш, не принял обета бедности? Или у тебя особые правила на этот счет?

— У меня особые правила,— сказал Вамбери.

— Я хочу знать их.

— Узнай — это не тайна. Золото помогает от желтухи. Я лечу этой монетой от желтухи. На прошлой неделе я исцелил двоих...

Афганец скрежетал зубами. Он был дик, как уступы гор его родины, и хитер простой хитростью. Здесь он чувствовал себя одураченным. Вамбери казался ему колдуном. Караван ночевал теперь у колодцев в маленьких жалких рощах, между громадных песчаных холмов.

Вамбери не спалось. Он повернулся на локте, и холодок пробежал по его спине.

Прямо перед ним лежал афганец и в упор смотрел па него. Но глаза у него были круглые и желтые. Он курил опиум и прихлебывал чай. Искры из трубки освещали его лицо. Сейчас он не был человеком. Он, обессиленный, лежал, как тюк.

Вамбери вздрогнул от неожиданной мысли. Он вспомнил о стрихнине. Одна пилюля, брошенная в чашку с чаем,— и этого человека не станет. Человека, который, может быть, завтра убьет его.

Он достал пилюлю и держал ее у края чашки. Афганец ничего не видел, ничего не чувствовал. Руки его дрожали. Он лежал, как тюк.

Тогда из облаков вышел молодой месяц. Лучи его упали на руку Вамбери. Жгучий стыд ударил ему в виски. Он отдернул руку и спрятал пилюлю.

...И снова тянулись пустынные холмы. Жара убивала животных. Люди стали падать от солнечных ударов. Лихорадка бродила по каравану. Воды не было. Вамбери упал. Глаза его ушли в красные круги, вертевшиеся повсюду. Над ним прыгали дервиши, кричали ослы.

Он приподнимался и стонал. Песок залепил глаза и уши. Горячий песок сыпался на грудь и жег руки.

Над ним наклонился кто-то, и Вамбери услыхал запах воды.

Он собрал последние силы и сказал:

— Пить, дайте пить!

Первый раз за все время он не помнил, на каком языке он сказал. Над ним стоял с кувшином воды афганец.

«Что я сказал,— подумал Вамбери,— это конец».

— Пей,— проговорил афганец, наклоняя кувшин,— в Бухаре ты уже не будешь пить, дервиш.

В эту минуту караван пришел в смятение. Люди, и вьюки, и животные смешались. Просвистали пули, две стрелы упали у ног Вамбери. Шум все рос.

— Нападение! — кричали со всех сторон.— Кладите верблюдов!

Отдельные всадники выскакивали из толпы и скакали навстречу разбойникам. Их легко отбили после небольшой стычки.

Потом все встали в круг. Посредине круга положили трех убитых.

Вамбери подошел с толпой дервишей. Прямо перед ним лежал афганец. Струя крови выбегала изо рта. Вамбери отвернулся.

Через неделю караван вошел в Бухару.

V

Вамбери сидел на ковре в одном из караван-сараев у дворцовой площади Регистана и смотрел вокруг усталыми глазами. Цель была достигнута.

До всего запретного можно было касаться.

Он видел дворец эмира, одиннадцать ворот Бухары, закрытых для европейца, канал Шахруд с зеленой водой,

пересекающий город, Меджид-Каян — мечеть с голубой головой и зелеными стенами.

Вот Мирхараб — башня из жженого кирпича, откуда сбрасывают преступников. Его не сбросили. Вот двор пыток, где его не пытали, вот рынок невольников, где он не был продан в рабство.

Все окружающие его люди считали его своим. Перед ним они занимались своими обычными делами: жарилось мясо у мясника, публичный писец писал под диктовку закутанной женщины любовное письмо, цирюльник плевал на щеки клиента, сбрасывая с пальцев мыльную пену на спину уличной собаки, оружейник стучал по клинку, крича о доброте сабли.

Все вертелось, как колесо, делающее одни и те же повороты.

В эту ночь Вамбери приснилось, что он мальчиком сидит на пустыре в Дуна-Сердагели и перед ним одноногий инвалид. Инвалид говорит ему: «О, ты хочешь знать все языки — это недурно!»

Вамбери посетил бухарского ученого. Ученый принял его как брата. Он дал ему чаю и трубку с лучшим табаком.

— Пей больше, хаджи,— советовал он ему,— кури больше, хаджи. Чай расширяет наши жилы и разжижает кровь, а табак освежает и мозг.

Сам ученый не курил — у него на поясе висела маленькая тыква, набитая буро-желтым табаком. Он запускал в нее руку, набирал табаку и всовывал в рот между языком и небом и потом выплевывал. Табачные брызги летели в лицо Вамбери, но он не замечал их.

Он держал в руках рукописи, драгоценные пожелтевшие страницы, написанные черными и красными буквами, горбившимися, как кошки и птицы. Таких рукописей не было ни у кого в Европе.

— Хаджи,— говорил ученый, сплевывая табак через плечо Вамбери,— ты очень любишь книги?

— Очень люблю.

— Я тоже — они совсем живые, хаджи. И потом они все знают. Ты еще придешь к нам, хаджи?

— Приду,— отвечал Вамбери,— я еще не раз приду.

— Ты принеси мне из Стамбула что-нибудь тогда из книг. Принеси мне Саадэддина и других, хаджи.

Вамбери вспомнил, как перед отъездом в Персию один доктор просил его привезти из Азии несколько татарских

черепов, чтобы сравнить их с мадьярскими, и как ему возразили:

— Пожелаем лучше нашему другу привезти в целости свой собственный череп.

Вамбери вспомнил это и улыбнулся.

— Я принесу,— сказал он.

— А любит хаджи стихи? — допытывался ученый.

— Больше, чем свет дня,— отвечал Вамбери.

— Это хорошо. Как сказано у Гафиза: за одно родимое пятно красавицы можно отдать два персидских города. Это очень верно, хаджи.

И он заплевался табаком так, что стал кашлять.

VI

Потом Вамбери был у гробницы Богаэддина и плясал и кричал с дервишами до утра. Как его ноги выдержали эту пляску, он и сам не знал. Но страх смерти стоял здесь ближе, чем где бы то ни было.

Он видел эмира, толстую золотую куклу. Эмир опирался на саблю и тряс бородой.

Перед приемом у эмира один из его придворных взял Вамбери за затылок и сказал в сторону:

— К несчастью, я забыл сегодня свой нож дома.

Что он хотел этим сказать, Вамбери не узнал никогда. Он стоял, как дерево. Его можно было резать, и он не закричал бы.

Он видел самаркандские сады и зеленый камень Тамерлана.

Потом он ушел из Бухары. Перед выступлением в пустыню сделали оракул из палок и камней и гадали на нем. Толкования Вамбери были лучше всех. Ему принесли подарки.

Когда же караван окружили страшные пески Адам-Крылгана, что значит: место, где погиб человек,— необозримые горы песка, разбитые бурями, белеющие кости между них,— Вамбери сразу повеселел.

С каждым шагом обратного пути у него становилось легче на душе. На стоянках он наблюдал странную жизнь. Богатый туркмен сидел с широко раскрытым ртом. Его раб затягивался дымом крепчайшего табака и, удерживая самую острую часть дыма, полной грудью вдувал остаток в горло своего господина. Это было дико и смешно.

Иногда невольник лукавил, и туркмен получал солидную порцию яда. Тогда глаза его вылезали на лоб, и он хватался за плетку.

Вамбери пил чай, приправленный салом и солью, и он ему очень нравился после тяжелого перехода.

Он видел людей, обмывавшихся песком, и сам мылся песком. Никто не может сказать, что он узнал быт Азии за письменным столом. Он был пропитан им, как его одежда — запахом верблюда.

Глава четвертая

— Кто это там,
Кто это там,
Кто это там? —
Спросил барабан.—
Кто пришел в наш край?
— Гость пришел из диких стран,
Друга старого встречай,—
Так ответил караван,
Караван-сарай.—
Что ты там ни говори,
Он вернулся в Тегеран,—
Он аовется Вамбери
Вамбери, Вамбери.

I

Начинался Афганистан. Тянулись обнаженные скалы и черные ущелья. В Афганистане дело дервишей было плохо. Афганские пастухи в полотняных плащах, с длинными ружьями вместо посохов, и купцы, носившие на себе целый арсенал, не хотели знать никакой святости. Они злобно смеялись и бросали камни.

Шпионы шныряли вокруг отряда. Особенно им не нравился Вамбери. Они крались за ним по пятам, и если он открывал их, то набрасывались и били. Есть было почти нечего. Холод пронизывал до костей.

Вамбери вспоминал молодость и улицу Трех Барабанов и туже стягивал пояс.

В холодный день они пришли в Герат.

Город «ста тысяч садов» напоил его лучшей водой в Азии. В садах можно было есть сколько угодно фруктов. Посетителей взвешивали при входе в сад и при выходе. Плата взималась с разницы в весе.

Сын афганского эмира Якуб-хан сидел в своем дворце и смотрел на площадь, где происходил парад. Прямо перед его окном играли музыканты. Толпа дервишей стояла в своих лохмотьях поодаль. Между ними был человек с диким и упрямым лицом. Он отбивал такт ногой.

— Это европеец,— сказал Якуб-хан,— никто в Азии не делает так, слушая музыку.

И он позвал его к себе.

И он говорил с ним долго о разных святых местах, о науке дервишей, об Афганистане, что это — улей, где есть пчелы, но нет меда; потом дотронулся рукой до плеча Вамбери и сказал, понизив голос:

— Ты ученый, хаджи. Ты много ученей всех хаджи, кого я видел. Ты — френги.

Вамбери понял, что этот человек видит его насквозь.

Делать было нечего, но он сказал:

— Нет.

Якуб-хан откинулся назад и задумался.

— Нет,— пусть будет так. Я не хочу тебя губить. Иди с миром. Я ошибся.

Вамбери не помнил, как он вышел из дворца, как он ушел из Герата.

Он мерз по ночам, и афганцы не скрывали злорадства.

Он походил теперь на грязный мешок, в котором стучали кости.

Однажды он приподнялся в седле и засмеялся.

Он смеялся беззвучно и трясся всем телом. Перед ним были темные глиняные стены Мешхеда. Он вернулся в Персию.

II

Проезжая по дорогам Персии, Вамбери чувствовал себя вновь родившимся; тут он мог выпрямиться, говорить каким угодно голосом, есть что хочет.

Он громко запел веселую итальянскую песню.

Узбек, его спутник, поразился необычайной перемене. Дервиш с Запада на его глазах стал другим человеком. Наивному кочевнику было очень приятно такое просветление. Все люди равно любят радость.

— Ты говоришь на чудном языке, дервиш,— сказал он,— я не понимаю ни одного слова. Но это язык ангелов. Это — молитвы?

— Конечно, молитвы,— отвечал Вамбери,— это особая молитва на хороший случай. Подпевай, и ты ускоришь спасение своей души.

Песни становились все легкомысленней. Узбек подпевал как мог. Пот градом катился с него, но он не хотел пропустить случая помолиться на чудном языке.

В одном селении, проснувшись утром, они услышали однообразный звук трубы.

— Что это? — спросил узбек, не знавший Персии.

— Это зовут в баню,— сказал Вамбери,— идем.

Они пошли в баню. Перед баней лежал конский навоз. Стены раздевальни были покрыты картинами битв эпоса Фирдуси, а вокруг лежала грязная одежда. В соседнем помещении они нашли маленький бассейн, полный теплой воды, где сидело десять человек сразу. Вамбери мылся и радовался теплой воде, как ребенок.

В третьей комнате им предложили выкраситься хной. Этой краской красили бороду, подошвы, ладони и ногти, и они становились красными.

Выйдя из бани, Вамбери громко смеялся.

— Чему ты смеешься? — спросил узбек.

— Я смеюсь мудрости. Ты знаешь, узбек, что дервиши должны держаться собачьих правил — всегда голодать, довольствоваться самыми неудобными местами, проводить ночи без сна...

— Я не знал этого,— сказал узбек.

— И все это я делал до сих пор — я был хорошей грязной собакой. А теперь, черт возьми, я вернулся в человеческую шкуру, мой друг,— докончил он по-венгерски.

Потом они зашли в школу.

Увидев дервиша, малыши обступили его со всех сторон.

— Вы знаете географию?

— Знаем,— ответили они.

— Ну, скажите, во сколько времени можно обойти всю землю?

— В пятьдесят пять лет,— хором ответили они.

— На чем стоит земля? — спросил он еще.

— На ангеле.

— А ангел на чем?

— На рыбе.

— А рыба на чем?

Тут никто из них не мог ответить. Но один закричал:

— Я знаю. Рыба стоит опять на ангеле.

В другом городе Вамбери увидел у караван-сарая европейца-путешественника.

Он был одет с иголочки и блестел, как новый наперсток. Ругался он по-шведски очень сильными словами:

— Как сказать этим ослам, что они упаковали мой багаж не так, как нужно?

Смущенные персы, не понимая, чего он хочет от них, молчали.

Вамбери подошел к европейцу и сказал по-шведски:

— Вы ошибаетесь, сударь, такой вид упаковки самый лучший. Ему тысяча с небольшим лет. Он проверен на опыте.

Швед забыл закрыть рот от удивления.

Наконец он пролепетал:

— Кто вы такой?

— Я дервиш, сударь, и не более того. Но я знаю все языки мира.

И он прочел шведу два стиха из саги о Фритьофе.

Швед отскочил от него в ужасе.

— Видишь теперь,— сказал Вамбери узбеку,— аллах дает дервишам великую власть слова.

— Вижу,— сказал узбек,— по аллах очень высоко, а наше дело маленькое. Поедем дальше, дервиш.

Так они приехали через месяц в Тегеран.

III

Худой, черный, как уголь, обросший волосами, со шрамами на руках и ногах, Вамбери вошел в турецкое посольство.

Друзья окружили его с удивлением и радостью. Поднялась суматоха. Люди обнимали его и расспрашивали о путешествии; любопытные толкались, чтобы одним глазком взглянуть на человека, который отважно прошел столько тысяч верст по нелюдимым местам. Ему предлагали деньги и дружбу. Вамбери стал героем города.

Европейцы устраивали обед за обедом в честь его. Целый месяц Вамбери не обедал дома.

Перед отъездом в Европу он зашел посидеть к Гайдар-эфенди.

Они засиделись за полночь. Турок спросил его:

— Ну, а теперь скажите: нашли ли вы то, что искали, Вамбери?

— Нет,— ответил Вамбери,— я не нашел, и сейчас скажу почему. С детства я хотел узнать как можно больше языков и людей. Я узнал. Я хотел найти в Азии старых мадьяр, о которых живо предание в Венгрии. Я искал их и не нашел. Что делать! Никто мне не заплатил за мои лишения и седые волосы. Но у меня душа исследователя.

— А почему, Вамбери, вы вернулись живым,— вы не думали об этом?

— Думал,— сказал Вамбери.— Я вернулся живым потому, что пошел с чистым сердцем к диким народам, привыкшим видеть нож даже в руке друга. Если бы я хитрил из корысти и шпионил в самом деле, я попался бы. Но я мог смотреть в глаза этим людям, и в этом была моя сила.

— Теперь вы видели Восток и видели Запад, Вамбери. Что они такое?

— Я скажу вам. Я любил Азию давно и издалека. Может быть потому, что мне плохо жилось дома. Но чем дальше я входил в Азию, тем больше я находил там однообразия и лени. Это в Турции и Персии. Средняя Азия старше их на восемьсот лет. И Средняя Азия — склеп. Я с радостью вырвался оттуда. Там только рабы и деспоты. Нищета и пустыня. Подождем лучших времен... Я думаю, что через сто лет из Венгрии можно будет на поезде проехать в города, где я дрожал от страха смерти. Я пойду спать, эфенди.

...Перед отъездом Вамбери зашел к доктору Бимзенштейну.

— Доктор,— сказал он, стоя в аптеке Бимзенштейна,— я должен вам вернуть обратно ваш подарок.

И он протянул Бимзенштейну три пилюли стрихнина.

— Вспомните, вспомните, пожалуйста, что вы хотели сказать мне, когда приходили ко мне перед путешествием ночью,— закричал доктор,— я не слышал конца фразы.

— Я могу докончить сейчас, и пусть это будет к слову. Я крикнул вам тогда: доктор, я думаю, что все же, несмотря ни на что, жизнь — хорошая штука.

1925

ДРУГ НАРОДА

I

Над большой китайской рекой стоял шум и гам трудового дня. У берега виднелись маленькие, жалкие лодчонки китайской бедноты. Одни из них прижимались к берегу, как собрание досок, соломы и грязи, другие пускались в путь, выезжали на середину реки и там сбрасывали тонкую аккуратную сеть... Соломенные шалаши на их корме продували все ветры, и все дожди заглядывали в них.

Худой желтолицый рыбак Тзе Лу только что съел свой рис палочками, быстро бегавшими в его руках, потом сполоснул их в воде и прислонил к чашке сушиться. Он сидел на корточках перед женой в своей сальной, затасканной кофте и молчал. Жена видела, что он молчит не зря.

Младший сын их Ян Цзы, только что научившийся ходить, бродил по лодке, привязанный за ногу к кольцу в каютной стенке. Когда малыш вываливался за борт, его поспешно вытаскивали за веревку обратно, и дело кончалось без лишнего крика. А падал в воду он несколько раз за длинный летний день.

Обыкновенно Тзе Лу играл после обеда с мальчуганом, но сегодня он думал о чем-то другом. Наконец он нарушил молчание.

— Жена,— начал он, приставив ладони ко рту, как трубу,— жена, Сун Ят-сен[1] опять здесь. Он опять при-

---

[1] Сун Ят-сен (1866—1925) — великий китайский революционер, крупнейший представитель китайского национально-освободительного движения. В 1894 году Сун Ят-сен основал революционную организацию «Синчжунхой» («Общество возрождения Китая»). В 1905 году «Синчжунхой» объединился с двумя другими антиманьчжурскими союзами в новую революционную организацию «Тунмэнхой» («Союзная лига»). Программой «Тунмэнхой» стали три принципа, разработанные Сун Ят-сеном: национализм (свержение маньчжурской династии Цин и возрождение Китая), народовластие (учреждение республики) и народное благоденствие (уравнение прав на землю.)

Наш рассказ относится к 1907 году.

шел, и он ходит тайно; говорят, что он переодевается то малайцем, то японцем. И он все говорит и пишет день и ночь, и у него тысяча друзей.

— Чего хочет этот человек, Тзе Лу? Зачем он ходит вверх и вниз по реке, как рыба, и все ему не нравится?

— Он хочет сбросить императора и императрицу и всех мандаринов выгнать из страны. Он ругает их так, как ругают свиней и собак. Если выдать его властям, можно получить за его голову много-много серебра, котел серебра, воз серебра и еще лодку серебра...

— Его никто не найдет. Раз у него тысяча друзей, они его спрячут, и никто не получит это серебро...

— Как знать, жена, как знать. За ним ходят сыщики. Их очень много. Я сам видел одного. Его зовут недаром Ма Куай — быстрая лошадь. Он неутомим и подкован, как лошадь, серебром губернатора. Он сказал мне сегодня: «Ты беден, как улитка, что несет свой домишко на своей спине, и больше у нее нет ничего. И ты, кроме горя, ничем не торгуешь...» Жена, подержи Ян Цзы, он упадет сейчас в воду... Потяни веревку к себе... Так. Малыш опять на ногах... Что? Веревка оборвалась? Проклятая бедность... Нет даже двух мелких монет купить порядочную веревку, чтобы привязать хорошо собственного сына... Да, и вот Ма Куай сказал мне еще: «Сун скрывается среди торговцев и рыбаков. Если ты хорошо посмотришь, ты увидишь его... И тогда награда не заставит себя ждать и небо твоей жизни прояснится...»

— Не знаю, что сказать тебе, Тзе Лу,— ответила жена.

Она была женщина неутомимая в работе, но измученная нищетой и скупая.

— Конечно, счастье приходит раз в жизни, но глупцы упускают и этот случай. Наши двое детей умерли от голода, трое других тощи, как мыши, отец твой получил язву желудка, и мать в земле от худой жизни. Попробуй поставить свои глаза так, чтобы увидеть Суна,— может быть, твоим детям будет житься лучше...

Тогда Тзе Лу вынул из-за пазухи рыжий платок и осторожно развернул его. Жена нагнулась, чтобы лучше видеть. На ладони Тзе Лу лежало желтое с пятнами яйцо. Тзе Лу надломил скорлупу,— под скорлупой оно было черное с белыми жилками. Такие яйца составляют особое китайское лакомство.

— Ему шесть недель,— с гордостью сказал Тзе Лу,—

это подарил мне в знак дружбы Ма Куай... Поделимся, жена...

— И что же ты ему ответил? Неужели ты был таким бесчестным, что взял этот дивный подарок и ушел молча?

— Нет, жена, я сказал ему, что сегодня я не заброшу сеть в воду, сегодня мои глаза будут смотреть хорошо и найдут Суна...

II

Сун Ят-сен хорошо знал, что будет с ним, если он попадет в лапы мандаринов. Поэтому он призвал всю свою ловкость и выдержку, чтобы не выдать себя как-нибудь глупо и случайно. Он отрастил себе волосы и длинные узкие усы. Так он стал похож на японца, и много шпионов были обмануты этим превращением.

Сейчас он шел по грязным улицам города, смешиваясь с шумной, громкой толпой. Он глядел вокруг и видел, как бедно одеты эти люди. У многих одежда никогда не знала стирки, у многих она была в заплатах одинакового цвета и одинаковой изношенности.

У лавок сидели важные купцы и смотрели, как дрессированные кузнечики сражаются друг с другом; иные из купцов курили трубки и играли в домино. Продавцы вареного риса, кипятка для чая и засушенных ящериц во все горло хвалили свой товар. Пробирались рикши — люди, запряженные вместо лошадей в легкие коляски,— прибивая пыль своими маленькими, почти женскими ногами. Проходили женщины с черными, похожими на грибы, прическами. Все это было знакомо Суну с детства, и это его не привлекало сейчас.

Немного в стороне за столом сидел бывший студент с осунувшимся, нездоровым лицом. Оловянным голосом он читал о древних героях, о драконах, о том, как эти герои жили, сражались, часто погибали. Читал он без всякого выражения, привирая от себя и не обращая внимания на окружающих. Слушатели толпились вокруг него и настороженно смотрели ему в рот, боясь пропустить слово. Они были неграмотны и с удовольствием слушали чтеца. Студент поднял голову, дал глазами знак, что он узнал Суна, и сказал, обращаясь к слушателям:

— Все в порядке. Это замечательные сказки, но завтра я вам почитаю еще лучшие: о драконах, которым скоро поотрубают хвосты!

Сун усмехнулся и прошел дальше. Его спутник зорко оглядывался по сторонам. Сун остановился перед уличным цирюльником. Цирюльник растирал голову своего клиента горячей водой, не трогая только самой макушки, откуда росла коса. Это место никогда не брилось. Потом он взмахнул железным обломком, точно хотел перерезать горло сидящему, и начал брить. Когда он растер своему клиенту спину, расчесал волосы и стал аккуратно заплетать косу, он заметил Суна. Ни малейшего удивления не отразилось на его лице. Сун слегка качнул левой рукой, и цирюльник сказал ровным голосом:

— Все в порядке... Что может остановить тебя! Ты — как это железо...

Он приподнял бритву.

— Ни один волос не будет жить, когда ты обрушишься.

Сун усмехнулся и прошел дальше. При скрещении улиц толпа напирала отовсюду, и только в одном месте было пусто. Там сидел рядом с сундучком уличный писец — находка для безграмотных. Перед ним стоял прибор для туши и лежала кисть, которой пишут в Китае письма.

Перед писцом плакала женщина и не скрывала своих слез.

— Сердце мое тоскует,— говорила она.— О, как тоскует мое сердце! Сына моего забрал мандарин, он бил его бамбуком по ногам, и ноги распухли, как губки, полные воды. О, если бы я умерла! Что мне делать, как не писать матери, чтобы она пожалела меня... Сердце мое тоскует. Возьми кисть и пиши, ты, умеющий писать...

Сун Ят-сен внимательно слушал слова женщины.

Уличный писец взял кисть, обмакнул ее в тушь и, прежде чем приступить к письму, сказал:

— Не плачь, мать, Сун вездесущ, точно ветер; мандарин уже кусает свой хвост, как собака. Недолго твоему сыну питаться палками. Ты еще попляшешь на его свадьбе.

И, обратясь к спутнику Супа, он добавил шепотом:

— Вторая лавка налево, где продаются сорго и саго... Все в порядке!

Сун, закрывшись широкополой соломенной шляпой, хотел пересечь улицу в указанном направлении, но послышались удары гонга и пронзительные крики:

— Дорогу, дайте дорогу! Расступитесь, собаки, дайте дорогу знаменитому сыну Славы, Красоты и Мудрости...

Люди расступались на обе стороны, прижимались

к стенам и почтительно склоняли головы. Середина улицы сразу опустела. Показались бегущие китайцы с хлыстами, которыми они били всех, не успевших посторониться. За этими хлыстарями несколько человек несли в руках цепи и устрашающе звенели ими. Кто вызовет гнев мандарина, тот узнает, что такое цепи и сколько они весят. Люди, несшие цепи, сами были одеты в лохмотья и питались подачкой. Самого мандарина, знаменитого сына Славы, Красоты и Мудрости, несли в богатом паланкине, занавески которого были откинуты. Он самодовольно щурил глаза и обмахивал веером жирные желтые щеки. Его большой живот колыхался, как пузырь, завернутый в шелк.

Сун побледнел от ненависти. Он стоял суровый и мрачный, и, только когда мандарина пронесли, он вытянул ему вслед руку, выбросив вперед средний палец. Этот жест в Китае — жест высшего презрения и оскорбления. Китаец в гневе никогда не сжимает кулаков, а Сун был верен привычкам своего народа.

— И эта жирная обезьяна. хочет бороться со мной! Я вытоплю все сало из этой туши, я выброшу из нее кости! — сквозь зубы сказал Сун.

Потом они вошли в темную прохладную лавку. Им поднесли по чашке душистого чая, прикрытой сверху узорным блюдечком. Ящики с сорго и саго подымались к потолку, а черные конторки обступили людей снизу. Кроме хозяина, в лавке никого не было. Хозяин с глубоким поклоном сказал Суну:

— Все в порядке. Сыщик Ма Куай вчера выслеживал тебя, но мы сбили его со следа. Туанг уже здесь. Хочешь ли ты видеть его, небеснорожденный?

— Хочу,— сказал Сун.

Маленькая незаметная дверь в конце лавки распахнулась. Вошел широкоплечий и тяжелый, точно борец, китаец. Длинные рукава его куртки были закатаны вверх. Он оглядел Суна с головы до ног и спросил:

— Ты ли это, Сун, сказавший, что императорам довольно владеть нашими душами, и кошельками, и трудами рук наших?

— Я тот самый,— ответил Сун.

— Ты ли тот Сун, который обрек смерти мандаринов за то, что они украли у нас свободу слова, обложили налогами наш труд, и рвут языки за то, что мы смеем говорить, и рубят головы за то, что мы смеем думать?..

— Я тот самый,— сказал Сун.

— Ты ли это, Сун, что дважды взмахнул знаменем восстания, и дважды был в плену, и бежал, и обещал не отсылать рук своих на покой, пока не доведешь дела до конца и не освободишь нас от рабства?..

— Я тот самый,— сказал Сун и взглянул на Туанга.

Их глаза встретились. Туанг отступил назад, вынул из-под полы полотняный мешок и бросил к ногам Суна. Мешок зазвенел тяжелым и гулким звоном.

— Здесь,— сказал Туанг,— в этом мешке все, что я скопил за двадцать лет большого и хорошего труда. Бери это, Сун, бери на дело свободы, на этом золоте и серебре нет ни одной нечестной пылинки. Я ехал восемь дней, чтобы увидеть тебя. Все...

И он вышел в маленькую дверь, такой тяжелый и широкоплечий, как борец.

III

— За нами следит какой-то шпион — неужели это опять проклятый Ма Куай? — сказал спутник Суна, когда они выбрались из квартала лавок и направлялись к берегу.

Сун огляделся. Стараясь не попадаться на глаза, за ними шел то быстрыми, то мелкими шагами невысокий человек, сгорбленный или старавшийся казаться сгорбленным. Лицо он закрывал краем своего плаща.

День клонился к вечеру. Накрапывал дождь. Вода в реке темнела, и золотая рябь бежала от джонок к берегу. Рыбачьи лодки возвращались с ловли.

— Пропустим этого человека вперед,— предложил Сун, становясь за дерево.

Прохожих в этом месте было немного, и незнакомец так или иначе должен был обнаружить свои намерения. Вдруг он принял какое-то решение и быстро направился прямо к Суну.

Спутник Суна сказал взволнованно:

— Они подослали убить тебя...

— Нет,— ответил Сун,— так не ходят убийцы. У него широкий и спокойный шаг.

Горбун подошел вплотную и ясно произнес:

— Где ты живешь, Сун?

Сун чуть вздрогнул. Он не испугался. Сун никогда не пугался. Он вздрогнул от неожиданности, потому что вопрос был предложен очень тихим и значительным голосом.

— Я живу там, где живу,— сказал он.

— Я хочу посидеть с тобой минутку,— ответил незнакомец.

— Тогда пойдем...

Они миновали сараи набережной, шалаши на берегу и пристани, проскользнули по доскам между барок и лодок и поднялись на палубу светлой и новой барки.

Тут незнакомец сел и снял плащ. На теле слабого горбатого человека сидела прекрасная голова с высоким лбом и огромными глазами.

Спутник Суна нагнулся к уху вождя:

— Я знаю, кто это. Я тебе объясню потом. Послушаем, что он скажет.

Незнакомец заговорил уверенным и сильным голосом:

— Сун Ят-сен, я не хочу дожидаться, когда ты будешь президентом Китая. Я хочу работать сейчас, я тебе нужен, как ветер из Печилийского залива для джонки, идущей в Чифу. Вы не можете бороться без армии. Я сделаю из китайцев солдат. Я научу их стрелять, и окапываться, и ходить в атаку, и отступать по правилам. Тысячи лучших бойцов возьмут Пекин на свои плечи и отнесут его в лагерь народа...

— Я слушаю,— сказал Сун.

— Это нельзя откладывать. Я знаю, что не сегодня-завтра, но вы победите. Подумай, Сун, и дай свой ответ... Без армии революция — только ветер, раздувающий костер, с армией она — искусный угольщик, заготавливающий впрок уголья для тысячи костров...

Горбун натянул свой плащ и протянул руку Суну. Сун пожал ее горячо и почтительно. Этот маленький человек внушал ему странное уважение.

— Да,— сказал горбун,— за вами следят, Сун. Один из сыщиков, Ма Куай,— самый опасный. За мной все время шел человек, и я сейчас вижу его, лежащего вон на той джонке. Он прячется за мачту и следит за вами. Будьте осторожнее...

— Я буду осторожен,— сказал Сун, провожая гостя.

Горбун исчез среди толпящихся лодок и людей.

— Кто этот человек? — спросил Сун.— Кто этот маленький горбун, дерзающий, как первый храбрец, на великие дела?

— Это полковник Хомер Ли, дорогой учитель. Это лучший знаток военного дела. И он пришел к нам, чтобы работать с нами. О, мы победим!

Сун отвернулся. Глаза его блестели. Он скрестил руки и смотрел на реку, одевавшуюся вечерним туманом. Зарево фонарей в городе казалось ему заревом великих наступающих битв.

IV

Сун сидел задумавшись у входа в каюту, когда шорох около него заставил его поднять голову. Перед ним стоял китаец, каких десятки тысяч проходили перед Суном каждый день. Он стоял, наклонив голову вперед, как бы кланяясь, и вместе с тем разглядывал Суна. Руки его слегка дрожали, а глаза сощурились в две черные палочки ванили. Он дышал прерывисто и хрипло. Сун сначала подумал, что перед ним больной. Он взял китайца за руку, но тот испуганно отдернул руку и заговорил:

— Я рыбак, Сун, меня зовут Тзе Лу, я нищий рыбак, я как улитка, что тащит свой дом на спине, и другого дома у нее нет. Я торгую одним горем, так говорит Ма Куай, и это правда. У меня много детей, но они умирают от голода, как мыши. Мой маленький Ян Цзы ходит на веревочке, чтобы не упасть в воду. Ему нет места на земле. Моя жена бьет меня, но нищета бьет меня еще сильнее и забьет до смерти.

Он остановился и взглянул робкими и страшными глазами на Суна. Сун видел насквозь этого трепетавшего человека. Но он слышал также призыв великого дела — дела, от которого у него уже поседели виски и руки стали сухими и крепкими.

— Я понимаю тебя,— сказал Сун, наклонившись к самому лицу Тзе Лу,— я понимаю, тебе предложили сто долларов за то, чтобы ты меня выдал?

— Больше,— ответил рыбак, и желтая кожа на его щеках натянулась, как на барабане.

— Значит, тысячу,— медленно сказал Сун.

— Больше,— прошептал Тзе Лу,— Ма Куай — быстрая лошадь — сказал, что я получу пять тысяч долларов. Он боится тебя, и он ленив, и он послал меня... Сун,— зашептал Тзе Лу, бросаясь на колени перед Суном.— Сун, ты великий человек, ты одинокий человек. Ты стоишь больше тысячи таких нищих, как Тзе Лу! Послушай меня милостиво. Многие тебя ненавидят. У тебя больше врагов, чем у меня волос в косе. Если они тебе отрубят голову, то это никому не принесет пользы. Если же ты теперь отдашь ее

мне, я буду богат, я буду счастлив: Ян Цзы не будет ходить на веревочке, как козленок над рекой, жена сошьет себе новое платье, и все мы поедим рису вдоволь. Сун, послушай меня!..

И он ползал и обнимал Суна за ноги своими корявыми, покрытыми мозолями руками. Сун смотрел на него, и кровь стучала у него в жилах.

— Тзе Лу, встань,— наконец сказал он медленным, глубоким голосом.— Ты прав, Тзе Лу. Я посвятил себя борьбе за освобождение таких, как ты, угнетенных и нищих людей. Я не знаю, когда мы победим. До тех пор многие умрут, как ты, от голода. Это правда. Я отдал свою кровь своему народу. Значит, ты имеешь на нее право, Тзе Лу. Хорошо, ступай и скажи твоему начальнику, что я здесь, на этой джонке. Я не двинусь с места, ступай. Спеши, пока мои друзья не пришли сюда. Я не хочу лишней крови. Спеши, товарищ!..

Тзе Лу ушел спотыкаясь, неверными шагами, и спина его дрожала.

Сун Ят-сен сидел у входа в каюту, курил и думал. Он вспомнил, как китайский посланник в Америке натравил на него шпионов, и они охотились за ним, как за волком, из города в город, из страны в страну; как китайский посланник в Англии захватил его в плен и запер в комнате, откуда не было выхода, и все-таки Сун ушел, оставив посланника в дураках; он вспомнил, как первый раз поднял оружие за свободу в Кантоне, как к нему пришли ученики, как он учил их делу революции. Он вспоминал и курил...

Ночь наступила незаметно. Кое-где пели песни, с ресторанных барок доносилась музыка, и вода в реке шипела под ловкими ударами весел... Он задремал. Если бы этот Тзе Лу успел прийти раньше, чем придут его друзья... Если бы сказать последнее прощальное слово Хомер Ли...

Сун Ят-сен устал за день. Глаза его закрылись сами собой. Он уснул. Он не помнил, как долго он спал. Его разбудил странный всхлипывающий звук, точно у его ног скулила побитая собака. Он открыл глаза. Правда, на палубе лежал какой-то жесткий мешок, ворочался и стонал. Потом мешок поднял голову. Перед Суном моталось залитое слезами лицо Тзе Лу. Он бил себя кулаками в грудь, и в разорванную синюю куртку просвечивало старое, изношенное тело рыбака, изъеденное ветрами, водой и солнцем.

— Это ты, Тзе Лу? — спросил он, осторожно трогая корчащегося за плечо.

— Сун,— сквозь стоны бормотал Тзе Лу,— я не мог, я не мог донести на тебя, Сун. Прости меня, что я пошел против тебя, как дикий пес идет против хозяина. Я все обдумал, отец мой, убей меня, или я не успокоюсь. Я потерял лицо. Я виноват, Сун, виноват до последней своей кишки, делай со мной что хочешь. Но я не мог предать тебя. Пусть кости мои прорвут мою кожу от голода, но я не могу предать тебя...

И он стонал и извивался как угорь.

Сун встал — спокойный и большой, Сун встал и поднял дрожащего рыбака.

— Не будем говорить об этом. Иди домой, Тзе Лу. Иди домой, а то твоя жена ждет тебя, и маленький Ян Цзы плачет и спрашивает, почему ты не идешь...

V

На другой день вечером Сун шел с двумя товарищами на военное совещание к полковнику Хомер Ли. Темные узкие улицы, оживленные вечерней толпой, гудели, как перѐходы улья.

На повороте в неожиданный переулок он сшиб с ног какого-то человека. Сейчас же Сун вынул восковые спички и зажег, чтобы увидеть пострадавшего.

Человек барахтался на земле и вопил:

— Где у тебя глаза?! У тебя вовсе нет глаз! Что ты лезешь прямо на меня? Разве ты не видишь моего фонаря?

Сун Ят-сен и его спутни́ки при бледном сиянии восковых спичек действительно увидели, что у человека в руке висит большой зеленый бумажный фонарь. Они подняли упавшего на ноги...

— Кто ты? — спросили они.

— Я Паир Чан, и я всегда хожу по вечерам с фонарем, чтобы меня не толкали. И только невежи вроде вас...

— Постой,— перебил его Сун,— это верно, что ты ходишь с фонарем, но твой фонарь давно потух, и от него света, как от старой подошвы. Разве ты сам не видишь?

— Как же я могу видеть, когда я слеп с рождения! Я слеп, как курица, наевшаяся темноты, и ношу фонарь, чтобы все мне уступали дорогу, но если он потух, то это

негодный фонарь, и его надо бросить. Хорошая пара: слепой человек и слепая бумага...

И слепой, ругаясь, побрел дальше.

Пройдя несколько шагов, спутник Суна захохотал.

— Что ты хохочешь над несчастьем? — сказал Сун.

— Сун,— ответил ему спутник,— этот слепец с потухшим фонарем так похож на китайского императора! Ему кажется, что он все еще излучает свет и все сторонятся, а на самом деле его фонарь давно потух, а сам он давно ослеп, чтобы заметить это, и мы дадим ему хорошего толчка, Сун. Вот почему я хохотал...

Они шли вдоль канала, густо усыпанного барками и лодками. Луна шла по небу рядом с ними, как желтая собака с разинутой пастью. Облака, похожие на драконов, сопровождали ее. Вдруг они увидели, как от сарая на берегу отделилась нескладная фигура и бросилась к воде.

— Этот человек хочет утопиться,— закричал Сун,— спешим к нему!

Прежде чем китаец разбежался, чтобы прыгнуть в канал, Сун и его спутники окружили человека. Человек испуганно закричал и сел наземь. Сун узнал Тзе Лу.

— Тзе Лу,— спросил он строго,— что ты здесь делал?..

— О, Сун,— отвечал Тзе Лу, дрожа всем телом,— душа моя не находит покоя, я хотел утопиться, чтобы подлость моя утонула вместе со мной...

— Тзе Лу,— сказал Сун, указывая ему на барки и лодки,— вчерашний день ты звал смерть ко мне, а сегодня сам пришел играть с ней в кости. Стыдись, Тзе Лу! Что сказал бы маленький Ян Цзы, если бы ты подплыл к нему грязный и распухший, как прошлогоднее бревно? Я успокою твою совесть, Тзе Лу. Клянись, что будешь делать так, как я прикажу тебе, и тишина снова войдет в твой ум и в твое сердце. Собери последние силы и отдай их мне, я позабочусь о том, чтобы маленькому Ян Цзы было хорошо жить, когда он вырастет.

— Пусть будет по-твоему,— пробормотал Тзе Лу,— я вижу теперь, что ты истинный сын света, и друг народа, и восстановитель душ. Дай мне твои спички, я буду беречь тебя, я буду идти впереди и освещать дорогу, чтобы ты не споткнулся и не ушибся о камень, как ушибся этот проклятый лентяй Ма Куай — дохлая лошадь, которого я утопил в канаве сегодня вечером...

1926

ХАЛИФ

I

Вице-генералиссимус турецкой армии, убийца Назим-паши, зять халифа, наместник Магомета, «главнокомандующий всеми войсками ислама», друг эмира, контрреволюционер и авантюрист Энвер-паша погибал в каменных расщелинах, как последний дезертир.

Пленный красноармеец без шлема стоял перед ним. Щека его была рассечена прямым ударом нагайки. Мутные глаза его дымились от усталости. Его так быстро гнали по тропе вверх, что его грудь равнинного жителя ходила ходуном. Штаны и гимнастерка были разорваны. Кроме всего, он струсил и непрерывно переступал ногами, точно стоял на угольях.

Энвер вспомнил свой старый жест, который он называл маршальским.

— Хасанов,— сказал он, дотрагиваясь до пленного концом маузера,— такие люди хотят задержать меня? Жалкий народ. Отпустите его вниз — дайте ему моих прокламаций.

Человек в серой маленькой шапочке закрыл левый глаз. Он негодовал:

— Это ошибка. Зачем оставлять лишнего бойца? Паша...

— Этот солдат — плохой солдат: он не много причинит нам вреда. Дайте ему прокламаций и отпустите... Я сказал...

Энвер отошел в сторону и прекратил разговор. Он поднял бинокль и обвел весь горный ералаш внимательнейшим взором. Он остановился на фигурке пленного, прыгавшей под гору, становившейся все меньше и меньше. Потом он

увидел, как около этой фигурки мелькнуло что-то похожее на голубиную стаю. Это взлетели брошенные красноармейцем прокламации. Сейчас же он отвел глаза, и горы восточной Бухары стали подсовывать ему в двойные стекла бинокля многообразие своих троп, и пятна осыпей, и оврынги, и балконы, и переправы внизу в густых тенях ущелья, жующего воду и швыряющего камни.

И вот двойные стекла бинокля стали нащупывать легко скользившие серые комочки стрелков. Желтые, кое-где одетые можжевельником, точно в ужасе цеплявшимся за камни, эти горы мучительно походили на Триполитанские горы. Перед ним мелькнуло презрительное лицо Кемаля и ястребиное — Джемаля. Они смеялись. Они называли его великим неудачником.

Да, это было так, но не сейчас. Разве не сейчас? Разве не бежит он по каменным коридорам из одного в другой, и серые комочки катятся за ним, как заведенные? Он поднял снова бинокль, и сердце солдата стало ударять в ребра. Там над осыпями, оврынгами и балконами всплывали дымки. Сильное эхо удесятерило звук, и нельзя было понять, с какого расстояния бьют. Изредка, словно набрав злости, ударяла пушка. В бинокль он видел даже винтовки, просунутые между камней, и одного неудачного наблюдателя, высунувшегося до пояса и махавшего кому-то рукой.

Он прикидывал цифры: взвод держит тропинку, три пулемета, несомненно, у переправы, два горных орудия — спешенная кавалерия в ущелье. Красноармейцы сбегают вниз, нарочно показываясь. Значит, начался обход. Пушки берут высоко, перелетами, развлекая басмачей.

Они обходят. Цифры цеплялись одна о другую. 35—50—75 метров они пройдут в полчаса, подъем — час без тяжести: двигаться, нападать бессмысленно. Он вспомнил ночные рестораны Берлина, заряженные гулом толпы, песнями и криками. Наступал ли в них когда-нибудь час молчания? Позиция была пустынна. Басмачи прятались, как волшебники. Одни тюбетейки можно было найти на месте стрелков, даже подойдя незаметно на несколько метров. Локайцы изменили, будь они прокляты! Изменил Ибрагим-бек, будь он проклят! Изменил Тугай-Сарры, будь он... Но звезда Энвера должна же наконец вспыхнуть ослепляющим пожаром...

— Нас обошли,— сказал человек в барашковой шапочке.— Паша, нас обошли!

Два дарвазца держали коней.

Сверху сыпались камни, и две гранаты, ахая, лопнули на скалах. Энвер увидел, как ожили склоны. Пестрые халаты один миг трепетали на виду. Затем раздался свист, и все исчезли. Все обратились в невидимое бегство.

II

Человек в барашковой шапочке лежит на старой кошме. Ему все равно. Он прожил жизнь. Все меньше кишлаков, стоянок — тем лучше; все меньше патронов и пищи — тем лучше; все отвеснее горы и безвыходнее ущелья — тем лучше.

Энвер вечным пером пишет, тщательно расставляя буквы, письмо эмиру бухарскому:

«Прославленный и многоуважаемый брат Газы!

Сегодня Ободжа-Лашафи получил Ваше письмо, узнал о Вашем здоровье, обрадовался. Сообщали мы Вам, что Ибрагим-бек — изменник и желает всех обмануть. Мирахир-баши, еще раз подтверждаю, воистину честный человек и везде и всюду, как я, готов жертвовать своими интересами для Вашего величества. Посему прошу избавить меня от этих горных и степных недоразумений. Пришлите мне, пожалуйста, для того патроны и винтовки Джермэни. Я думаю, что русские скоро не будут мне помехой...»

Энвер курит анашу, и усы его дергаются, как пиявки. Он кончает письмо и говорит:

— Хасанов, ты не веришь, что я одержу победу? Ты не веришь, что я буду халифом? Я бегу, да, но и пророк бежал... Ты не веришь, что я создам халифат от Волги до Инда — татары, кавказцы, киргизы, узбеки, таджики, туркмены, турки, сейки, афганцы,— ты не веришь... Если поднять их, могущество Европы лопнет, как бычий пузырь под копытом... Ты не веришь...

— Нет,— говорит человек в барашковой серой шапочке,— это план из «Тысячи и одной ночи», а у нас осталось ночей столько, сколько пальцев на одной руке, если закрыть четыре... Может быть, я ошибаюсь... Тогда это счастье... Халифата не будет... Дорогой халиф, скажите мне что-нибудь другое... Как жаль, что у нас вышел коньяк...

— Я послал русским предложение, но оно не исключает первого плана...

— Мой друг паша,— говорит Хасанов,— я был с вами, Гази, под Эдирне и под Саракамышем. Я видел два лица войны. Я видел все.

— Я предложил русским, чтобы они отдали мне Бухару. Я обещал им собрать армию и идти с ними за общие цели на Востоке... Ты опять не веришь?

— Накрой беглеца концом плаща, и он будет отдыхать. Мы отдыхаем, паша, но не слишком ли короток наш отдых... У нас нет силы...

— Русские завоевали Туркестан, за пятьдесят лет борьбы потеряв убитыми тысячу человек. Смешно! Неужели мы не сделаем того же...

Они вышли из дому. Кучка людей стояла на горной площадке, обвеваемая холодным ветром. Курбаши шел к ним, дико раздвигая ноги и спотыкаясь. Весь зад был сбит у него в кровь от беспрерывной езды. На поясе качался маузер, украшенный серебром, сбоку висел наган, за плечами винтовка, две ручные гранаты выглядывали из мешка, шашку он придерживал рукой. Из-под шашки торчала ручка ножа. Английский патронташ освещен был луной как неоспоримое доказательство его воинственного характера. Этот ходячий арсенал смутно пролаял приветствие.

Человек в барашковой шапочке разглядывал спутников курбаши. Все они были горцы в оборванных халатах, удрученные и шатающиеся. Они слезли с лошадей, и только один всадник возвышался над ними. Он был очень юн. Голову его обвивала чалма из тончайшей кисеи, большие черные глаза остановились неподвижно. Веревки сбегали, извиваясь, с плеч к поясу и, охватывая ноги, скользили под брюхо лошади. Мертвец сидел с оскаленным ртом, полным пыли. Седло слегка скрипело под ним. Пуля прошла около виска. Расшитые одежды и тонкие руки в кольцах были одинаково мертвы.

— Что это? — спросил Энвер.

Курбаши коснулся своей черной бороды, полной пыли, как и рот мертвеца.

— Это сладкая любовь, таксыр. Русские убили его вчера. Я зарежу за него сто голов, но я не могу расстаться с ним. Пусть тень его молодости едет за мной. Он приносил мне счастье, э, таксыр,— это правда...

Он сел на камень и застонал.

Энвер и Хасанов шли мимо спящих и проверяли часовых. Спящие были совершенно неподвижны. Так могут

спать бревна и камни. Даже лошади не чесались и не стучали ногами. Ущелье ясно являло собой дыру, в которую побросали этих людей за ненадобностью, как мертвых.

Заунывный крик часового послышался вверху, ему ответил другой, похожий на плач птицы.

Хасанов заговорил, точно сам с собой:

— В Персии я встретил караван с мертвыми. Их везли в Кербелу. Я ночевал вместе с караваном. В садах, во мраке, в запахе жасмина и миндаля, лежали мертвецы рядами, и вокруг них кричали сторожа и пели песню пути. «Вы спите, сторожа?» — спрашивали одни. «Мы не спим,— отвечали другие,— мы сторожим мертвых Кербелаха. Сладко спите, мертвые, сладко будете вы спать в Кербелахе». Мы бодрствуем, мы сторожим! Разве это не похоже,— сказал он, указывая на лагерь,— мы сторожим, но мы скоро уснем. Кто будет кричать о нас, паша?

Энвер выхватил маузер. Визгливые голоса часовых пересеклись хлопаньем винтовочных прикладов о камни и черепа. Рукопашная осветилась багровым трепетанием гранаты.

— Вайдот! — кричали дарвазцы.— Вайдот!

Курбаши держал за повод лошадь мертвеца и размахивал шашкой. Энвер увидел, как рядом с Хасановым выросло отчаянное круглое потное лицо, пересеченное шрамом от нагайки. Человек внезапно отпрянул. Из-под его рук откуда-то неожиданно выбежал штык. Энвер узнал красноармейца, ушедшего из плена. Энвер проклял его и стал разряжать маузер. Тут его подхватили телохранители, и все провалилось во мрак.

III

— Ты думаешь, настало время защитных рубах и красных звезд? — спросил Энвер, слезая с коня у старого мазара — гробницы, приткнувшейся у скалы.

Хасанов с забинтованной головой указал вниз. Там, внизу, далеко, как будто в другом мире, стоял сигнальный костер, и далеко к северу блуждал он, и еще на тропе, и еще внизу, у переправ.

— Они нарочно зажгли костры, чтобы сбить нас,— сказал Энвер.

— Нас загоняют,— ответил Хасанов,— нам осталась дорога в Афганистан.

— Никогда,— закричал Энвер. Черные пиявки над его высокомерными губами вздрогнули.— Мы должны найти хоть одну искру настоящего мужества — и все обернется по-другому.

— Мертвые Кербелаха не всегда доезжают до Кербелаха,— сказал Хасанов,— отдохнем у мазара.

Отряд остановился. У стены гробницы сидел старик. На впалых щеках его, лиловых при заходящем солнце, гнездились клочья ржавых волос. При виде вооруженных людей им овладела необычайпая радость. Он царапал землю ногами, похожими на спицы. Головокружение охватывало горцев, когда они встречались с его глубокими, скользящими глазами. Точно ужаленный, он подскочил на месте и простер руки, желая обнять оружие всего отряда. Шапка его ощетинилась, глаза закрылись. Гнусавый голос ударился в узкую дверь ущелья. Он танцевал как безумный, кружась и подпрыгивая.

— Он молится,— говорили дарвазцы.— Он — «дивана».

— Он танцует мою жизнь,— шептал Энвер.

— Анахронизм,— сказал Хасанов.— Пляшущий мертвец. Ислам умер.

Пена текла по сизой бороденке старика, обнажились неровные длинные зубы, один глаз полуоткрылся и обегал сидевших. Ужаснее всего жили его руки.

Они то выпрямлялись, как палки, над головой, то складывались, будто ломались надвое, то извивались, потрескивая, то летели в стороны; сейчас — касались земли, сейчас — отделялись от тела, точно плясали рядом со стариком.

Он шумно выдохнул воздух, кончил пляску и, согнувшись, почти рухнул к ногам Энвера, закричав ужасным голосом:

— Халифат, халифат — Ияхуа — халифат — Ай-Ем — Ияхуа — халифат!

Когда они стали разговаривать, все почтительно отодвинулись от них. Энвер рассказывал старику свою жизнь. Через кровь слуги султана, через постель дочери султана, через трупы солдат султана, через пески Триполи, кровавые виноградники Турции, горы Кавказа, пустыни Бухары шел рассказ. Аллах избрал Энвера грозой неверных. Энвер погружался в бездонные глаза «диваны». Он ощущал себя заново, как тогда, когда вскочил на коня, чтобы завоевать Адрианополь, или вошел на палубу «Гамидиэ», чтобы мчаться в Африку. Этот старик встанет за него. Вся исто-

рия ислама пестрит такими стариками. А кто были первые халифы? Безумные, взявшие меч. Этот старик поедет рядом с ним под зеленым знаменем. Еще не все погибло.

— Халифат,— сказал, вздохнув, старик,— ты отдашь мне халифат. А ты кто?

— Как?.. тебе? — спросил Энвер.— А кто ты?

Тогда старик выпрямился, и лиловая маленькая грудь его надулась, как зоб у жителей Пянджа.

— Я халиф! Ай-Ем. Я халиф,— сказал он,— подлинный и настоящий. Я покажу тебе мой халифат...

— Где же он? — сказал тихо Энвер.— Твой халифат да будет и моим.

Старик, подмигивая и морщась, потащил его внутрь мазара. Энвер вступил в комнату, слабо освещенную последними лучами солнца. Между голых стен валялись трухлявая солома и несколько кирпичей. Совсем в углу в полу он увидел черное углубление, похожее на незакрытый гроб.

— Пристальней смотри. Смотри — вот это мой халифат,— кричал старик, прыгая от радости,— и ты будешь иметь такой...

Он радовался своему голосу, как ребенок новому колокольчику.

«Он настоящий пророк,— подумал Энвер,— он хитер, как Магомет. Он притворяется, как актер. Тем лучше...»

Он нагнулся и сделал вид, что целует руку старика с сыновней почтительностью.

Он не слышал, как басмачи говорили Хасанову, что старик сумасшедший, уже лет двадцать назад он провозгласил себя халифом и требует почестей. Больше всего на свете он любит оружие и всегда пляшет перед вооруженными людьми.

Энвер вышел из мазара, сияя, как победитель. Все будущее казалось ему великолепным. Не может быть, что он жил затем, чтобы погибнуть в безвестной каменной дыре! Грудь его вздымалась яростью первых халифов. Страны, лежащие внизу, казалось, умоляли о пощаде. Он введет своего коня в волны океана, чтобы сказать: дальше некуда...

Он пошел к басмачам, прямой, со светящимися глазами, а они закричали: «Бас á бас!» — и ударили по рукояткам сабель. Победа витала над ним.

На другой день к вечеру его убили красноармейцы.

1927

ЧАЙХАНА У ЛЯБИ-ХОУЗА

Вечерний поезд должен был явиться через полчаса. Люди на станции Старая Бухара изнемогали от жары. Дорога в город как будто была устлана необычайно белыми сухими простынями. Такой же белизной пугали станционные постройки, и совсем уже ослепительно вспыхивали изоляторы, острые камешки и рельсы, сложенные в стороне. В станционном зале слышно было медленное дыхание сидящих на полу со своими мешками и корзинами незатейливых пассажиров, медленные шаги дежурного, звяканье винтовки милиционера и сухой стук телеграфного аппарата.

На дворе извозчичьи лошади лизали теплые уздечки и скучно отряхивались. Каменная лестница была заполнена множеством людей в разноцветных халатах. Поджав ноги, они смотрели в душный простор ночи и ждали поезда. Среди них на самом углу поместился один из тех, кого в этой стране называют чайрикерами — безземельными. Сидящий чайрикер вспоминал об удивительных вещах именно в этот час молчания и ожидания.

Он знал только кетмень — тяжелую мотыгу — и тяжелую работу. Молодость его уходила, как вода, засасываемая песком. Сухое обезьяноподобное тело никогда не жило погосподски. Когда не стало эмира в Бухаре, муллы и старшины с раскрашенными бородами потребовали, чтобы чайрикер стал резать джадидов — большевиков, врагов ислама.

Чайрикер, недалекий умом и сильный молодостью, сделался разбойником, басмачом.

Вспомнив об этом сейчас, чайрикер вздрогнул. Кто-то швырнул через его голову пустую зеленую бутылку, и она

разбилась о камни станционного садика, просияв толстыми тупыми осколками.

Среди басмачей чайрикер подружился с узбеком из Бухары, еще не старым, но с лицом старика. Он рассказал чайрикеру, что у него в Бухаре есть дом и дочь такой поразительной красоты, что она все время стоит у него перед глазами. Он описывал эту девочку подробно, часами, не забывая ничего, останавливаясь на всех удивительных богатствах ее тела; и чайрикер слушал, потускнев от отчаяния и страсти. Он решил разбогатеть, бросить разбой, поехать к бухарцу и купить его дочь в жены. Он не говорил ничего об этом своему другу, но просил рассказывать еще и еще о его дочери. Бухарец, причмокивая языком, дружески хлопал его по плечу. В набегах они ездили рядом.

Чайрикер снова тяжело вздохнул и оглядел неподвижное скопище халатов на лестнице. Оно не было таким неподвижным. Кто-нибудь ежеминутно вставал и шел в сад, в тень черных, словно жестяных, деревьев, кто-нибудь усаживался удобнее, иной закуривал папиросу, и дым ее не таял в воздухе, а висел у губ ватным облачком...

Да, басмачи резали людей и жгли дома за то, что жители считали себя советскими. Басмачи разоряли караваны и грабили незадачливых путников. Купцы на коленях просили сохранить им жизнь, люди, у которых отняли калым, когда они ехали жениться, выли по-волчьи и хватали за стремена. Пояс чайрикера наполнялся деньгами.

«Увы,— говорит великая книга,— они творили бесчинства и не понимали этого».

Бухарец открыл ему, что он ремесленник и умеет делать блюда и кувшины такой редкости, что богатые люди покупали их у него для украшения жилищ в старое время; он открыл также, что только ради дочери стал басмачом, потому что благоухание ее красоты не может существовать во мраке нищенства. Когда он разбогатеет, он вернется в Бухару и примирится с джадидами. Он повторил в ту ночь шесть раз рассказ о прелестях своей дочери, и на глазах чайрикера дымились слезы от неожиданных мыслей.

Чайрикер был прост и темен, и кипение молодости ослепляло его. Он развязал свой пояс, гулко звеневший, и передал его бухарцу. Он сказал, что это выкуп за его дочь.

— Мало,— отвечал бухарец.— Хай, пусть это будет часть выкупа.

Они побратались с бухарцем, и тот рассказал, как найти его в славном старом городе Бухаре. Пусть бухарец бежит

домой, он останется, чтобы еще раз наполнить свой пояс богатством.

Недалекий свисток пронесся в духоте. Люди на станции стали подыматься на ноги. Зазвенел колокол, ловкая круглая медь ударила в уши. Чайрикер прислонился к стене и закрыл глаза. Пусть спешат другие на поезд, он вовсе не собирается уезжать. Он должен, не торопясь, собрать все прошлое, чтобы отправиться сегодня пешком в последнюю дорогу. Ночь будет душной, как Чамбайская степь.

У кого чайрикеру было учиться мудрости? Он знал, что лучшее в жизни — трубка анаши и плов. Облизать руку с жирными наростами риса и взять в рот облако зеленоватого дыма — вот высшие чудеса, доступные его душе. Теперь другое чудо полонило его. Тонкое пламя страсти сжигало сердце. Лицо неотразимой нежности стояло перед глазами. Дочь бухарца закрывала ему уши своими прозрачными руками, ее белые ноги он видел скользящими над меловой пылью в тяжелой белизне ночи. Зачем женщинам дана такая сила ослеплять даже на расстоянии?

Чайрикер продолжал кружить в воспоминаниях, но они подходили к концу. Вот он оставил жизнь басмача и взялся за кетмень, но труд не радовал его. Последний жир слез с его костей, и лицо посерело и обуглилось. Ему нужна была дочь бухарца. Он описывал ее сам себе вслух и каждый раз прибавлял новые подробности. Он заучил наизусть приметы, по каким он должен был найти дом бухарца в городе среди равнины, в котором он сам бывал много раз. И вот он сидит на вокзале, на ступенях лестницы, и не знает, на что решиться.

Рев оглушающего чудовища приветствовал станцию. Пестрая толпа ворвалась в двери. Вечерний поезд, отдуваясь, стоял у платформы. От паровоза несло нестерпимым жаром, он был похож на вспотевшее животное, вода тонкими блестящими струйками сбегала по его черным бокам. Снова ловко и кругло зазвонил колокол.

Итак, чайрикер сидел на вокзале недалеко от города, и вокруг него гремели извозчики. Он набирался сил для подвига. Сознание, что он скоро увидит счастье своей жизни, срывало его с места и толкало к городским воротам. Когда же он вспоминал, что он был басмачом, ему казалось, что сидящие в воротах милиционеры возьмут его за руки и отведут в тюрьму. Он боялся днем проникнуть в город. Теперь он рассеянно обозревал движение людей перед вокзальным садиком. Из вокзала вышел очередной

русский, белая одежда его колыхалась в темноте. Извозчик повернул к нему с козел птичью голову и ждал.

— Ляби-хоуз, сорок копеек,— сказал русский и, не оглядываясь и не торгуясь, забрался в экипаж.

Извозчик ждал, извозчик глядел по сторонам. Раз русский не гонит сразу, не кричит — значит, он новичок, в экипаж к нему можно посадить еще другого.

— Что же ты не едешь? — спросил русский.

Белая полоса его руки протянулась к плечу извозчика. Чайрикер с непонятной ему самому решимостью прыгнул в экипаж и сел, качнув русского.

Экипаж покатился, резко подпрыгивая. Русский, рискуя откусить язык от частых толчков, спросил соседа — кто он. Чайрикер ответил ему насмешливой пословицей, переполненной скрежещущими звуками. Русский не знал местного языка. Он был новичок из России, первый год работал в этой стране и каждую минуту нуждался в переводчике. В Старой Бухаре он еще ни разу не был. Ему сказали, что лучше всего остановиться в чайхане у Ляби-хоуза, потому что русские номера полны клопов и блох.

Для него не было новостью приезжать ночью в чужой город, но все же приближение больших городских стен с необычайными башнями и воротами волновало его поночному; кроме того, душная ночь удручала его. От ее света все на земле казалось черным или белым, промежутков не было, белые стены проваливались в черноту или подходили так близко к экипажу, что он мог рукой свободно достать их. Пешеходы шарахались в сторону, прижимаясь к домам, чтобы дать дорогу.

Русскому посоветовали не удаляться от Ляби-хоуза — королевского пруда — никуда в сторону, не задевать женщин, закутанных в черные покрывала, не заводить ссор в кривых переулках. Кроме того, сказали ему, смеясь, что женщины, сидящие на улице с тюбетейками на коленях, не торговки, а проститутки, и прицениваться к их тюбетейкам не стоит. Многое другое рассказывали ему еще, но он забыл.

Он помнил только, что в чайхане его встретит джигит, с ним они должны завтра выехать в окрестные кишлаки для обследования; он думал о том, как видоизменить анкеты, каким лучшим способом разговаривать с жителями. Он был из тех людей, что приобщали эту дикую страну к настоящей жизни, изучали ее ремесла, быт, ее леса, поля и сады, измеряли ее реки, дороги, пустыни, горы, ставили

радио, учили читать газеты и объясняли тысячу вещей, которых здешние люди не знали и без которых жили всю жизнь. Русский дрог от сырости в камышах Арала, трясся по горам Ферганы, задыхался без воды в пустыне, где лошадь его пала от солнечного удара, а в Самарканде его чуть не убили, приняв за другого.

С той минуты, как он бесполезно заговорил со своим соседом, он не интересовался им больше. Экипаж продолжал мчаться. Улицы никак не расширялись, черная листва перегибалась через белые глиняные ограды. Русский почувствовал усталость от вагона, от духоты, от однообразия тряски. Пыль хрустела у него на зубах, ее налет лежал на его шее, лбу и руках. Духота висела над городом, будто он был закутан в тонкое черное покрывало, сквозь него просвечивали звезды.

Извозчик неожиданно осадил лошадей в каком-то ярмарочном квадрате зданий и деревьев.

— Что это? — спросил русский.

Чайрикер соскочил, молча сунул монету извозчику и пошел не оглядываясь.

— Ляби-хоуз,— сказал извозчик и ткнул куда-то вправо кнутом.

Русский вышел из экипажа не спеша. Друзья начертили ему план этого места на крышке папиросной коробки. Он вынул ее и стал рассматривать. Серые ломаные карандашные линии на крышке превращались в немного нелепую картину, когда он проверял их на окружающем пейзаже.

Ляби-хоуз — королевский пруд — мерцал перед ним под огромными широкоствольными деревьями. Какие-то мечети или дворцы с лестницами, арками и колоннами окружали пруд, но, приглядевшись, он увидал на одном из них высокую доску с надписью «Казино». За мечетями дома понижались и растворялись в лунном тумане. Русский улыбнулся; он пошел, согласно плану, вперед. Аптека выстроила свои разноцветные бессмертные склянки на окнах, за аптекой начиналась улица, накрытая крышей, улица, переполненная людом и бесчисленными лавочниками. Всюду желтели электрические лампы. У самого начала улицы он нашел возвышения, одетые коврами, и продавца винограда. Блестящий самовар, как божество, восседал в глубине помещения. По плану это и была чайхана у Ляби-хоуза.

Чайрикер в это время уже далеко отошел от Ляби-хоуза. Он оставил улицы, переполненные джадидами. Женщи-

ны в розовых чулках, показывавшие ноги до колен, и мужчины в белых и цветных рубашках, расстегнутых до пояса, раздражали его. Он не стал глядеть по сторонам. Перед ним кричали газетчики, водоносы и гулко катились экипажи. Человек продавал в бумажных трубочках жареные орехи. Люди обступали его, съедали тут же орехи и тут же бросали бумажные трубочки... Продавец наклонялся, подымал бережно из пыли жалкие кусочки свернутой бумаги и снова наполнял их орехами из мешочка, висевшего у пояса.

«Я более безрассуден, чем он,— подумал чайрикер на ходу.— Страсть опустошает человека больше, чем болезнь или голод».

Он начал блуждать в тесных и глухих переулках, совсем пустых и душных. В этих переулках можно было петь и кричать, никто не услыхал бы. Изредка над ним хлопал ставень, иногда он натыкался на груду мусора, крысы перебегали дорогу, на крышах слабо перекликались голоса. Он вышел на канал Шахруд и сел на выступ. Сердце его помещалось теперь у горла. Еще несколько шагов — и он возьмет свое счастье. Он вспотел, как лошадь, над которой взвился нож мясника.

Ноги его стали такими горячими, что он сбросил туфли, и пятки его ступили на теплый песок. Ночь превращалась в палящее марево. Казалось совершенно непонятным, как желтое, холодное поле луны может посылать такие теплые душные волны. Звезды перегорали от неистовой духоты и скатывались вниз. Дома стояли плотно покрытые горячей пылью. Казалось, в них все умерли от жары. Чайрикер поднялся и пошел дальше.

Он столько раз во сне видел это место, что ошибиться было невозможно. Разломанный глиняный дувал открывал внутренность двора. Прямо перед чайрикером встала комната без передней стены, заставленная сундуками и ломаными стульями. В углу шипел примус, окруженный маленьким венчиком синего пламени, щипцы, странные палки и ручки висели на стене, зубы разных размеров лежали в коробках, прислоненных друг к другу. Помойное ведро, швабра и разорванная кошма дружили с кухонным столом, на столе валялись изрезанные остатки арбуза.

Человек со всклокоченной серой бородой, с изнуренным лицом и высохшими руками не шевельнулся, увидев чайрикера. Чайрикер закрыл глаза, думая, что это дурной сон, наваждение, ошибка, что он видит горного беса, издевающегося над ним. Но бес не исчезал. Трухлявая, покрытая

липким потом рука человека помешала пенное снадобье, варившееся на примусе, и вернулась на колени к хозяину. Тут он стал отвратительно кашлять, раскрыв рот, роняя слюни, тряся бородой.

«Что случилось? Это же дом его друга! Здесь живет его счастье!»

Он не мог говорить от презрения к старику. У него стали дрожать колени. Наконец старик увидел его и грубо спросил:

— Эй, ака, зубы болят? Что, болят зубы? Что?

Он встал во весь рост, но это движение сейчас же лишило его последних сил. Он упал обратно в дырявое плетеное кресло и схватился за грудь. Отойдя немного, он потряс воздух проклятиями, недостойными его старых губ: он проклинал Бухару, и жару, и людей, и свою жизнь, и того, кто затащил его в этот город. Потом он обругал примус, зубы, себя и спросил, задыхаясь:

— Что тебе, эй, глухой? Чего пришел? Так себе пришел? Что?

Тогда чайрикер, собрав все мужество, рассказал этому старику, умиравшему от жары и недуга, все, что случилось с ним. Но он рассказывал на своем прекрасном узбекском языке, со всеми подробностями, плача и смеясь и завывая так, что старик застыл в кресле с гипсовой челюстью в руке.

Чайрикер открывал ему душу до конца. Он молил его уйти со своей огненной машиной и зубами в другое место, он молил сказать, где его друг и где дочь его друга. Если он заколдовал их, то пусть вернет снова в людей,— чайрикер пойдет опять в басмачи и принесет ему гору драгоценностей, и ему не нужно будет на старости торговать зубами мертвых людей.

Старик испуганно смотрел в его лицо и бормотал:

— Это не ко мне... Эй, что ты, товарищ! Ты болен-таки? Эй, приятель, ты ошибся! Я не лечу сумасшедших!

Старик ни слова не понимал из его речи, но чайрикер знал, что он должен убедить старика во всем. И только когда он издал последний вопль, вознесшийся до самой вершины соседнего тополя, чайрикер понял, что он пропал, что его друга нет и нет той, ради которой билось его сердце. Он никогда не увидит ее. Пропало все. Он упал и плакал на ступенях, у ног старого дантиста, сжимавшего гипсовые зубы.

«Мусульмане! Джадиды! Слушайте! Что же такое день

неизбежный? Открой книгу и прочти: «И обозрел он армию птиц и сказал: почему же не вижу я здесь удода? Или он отсутствует? Удод отсутствовал».

Чайрикер увидел, что старик умрет, но ничего не скажет. Тогда он встал, мокрый от пота, и обошел полуразвалившийся дом. Он поговорил со сторожем, вышедшим к нему. Сторож сказал, что человек с дочерью, дряхлый обманщик, собака со ржавой бородой, задолжал ему, оскорбил и уехал отсюда, куда — неизвестно, что он дом запустил, и дожди весной размыли его, а осенью он упадет совсем.

Чайрикер сидел под деревом долго. Молчанием безразличия отвечало дерево. Синий огонь плясал в машине дантиста, старик кряхтел, плевался и боязливо смотрел в сторону чайрикера. Из пыльной дыры вышла ящерица. Она потрогала туфлю чайрикера и побежала, приподымаясь на лапках. Чайрикер оставил дерево и побрел по тем же переулкам, где одна луна сопровождала его. Она жгла его плечи и голову, от нее не было спасения. Неожиданный плеск говора и шагов окружил его. Он вышел на улицу, в конце которой мерцал Ляби-хоуз, неподвижная масляная вода его доводила человека до головокружения. Как призрак, вошел чайрикер в чайхану у Ляби-хоуза.

Десять возвышений, крытых коврами, великанский самовар, горы чашек и приятель, торговец виноградом, у входа радовали сердце хозяина. Он был еще молод, у его ног русская женщина из деревенских, бог весть как закинутая сюда, перемывала чашки. Русский собрал несколько слов и, стараясь придать им разнообразный смысл, заговорил:

— Эс селям-алейкум,— ака,— э — здравствуй, добрый вечер, спать здесь, ака,— э — можно? Одеяло — курпа, кок-чай — спать...

Хозяин понял. Гость просил о ночлеге.

— Мандат барма — милиция,— так же ломая язык, сказал хозяин,— распоряжений спать... бумага спать...

— А где же милиция? — спросил русский.

Тут ему на помощь пришла уборщица. Она вытерла из вежливости полосатым передником руки и встала.

— Пойдете сейчас прямо, потом налево, потом спросите зеленый базар, там и милиция.

Русский оставил свой чемоданчик и вышел из чайханы. Жара на улице под крышей угнетала. Разнообразные люди

гуляли по этой улице, шумя и толкаясь. Мальчишки совали ему в руки желтые бумажки — рекламы кино. Он взял рассеянно и прочел: «3000 трюков. Остров тайн. Рай зверей, 6 серий, 36 частей. Для удобства зрителей по две серии в вечер. Зероблит 349».

— Зероблит,— говорил он сам себе.— Зероблит — что это такое? Ах, это зеравшанский областной...— Дальше ему додумать было лень. Он углубился в город эмиров, древнейший город Азии, не помнивший дня своего рождения.

Он свернул в переулок, как было указано, и наступил на подкову. Он не поднял ее и пошел дальше медленными шагами по белым и черным коридорам. Людей не было. У стен шуршали бесчисленные ночные зверушки. Клубы пыли взвивались до колен. Он долго шел, и теснота и бесконечность белых и черных стен становились угрожающими. Вдруг стали попадаться освещенные трещины. В проломах стен вырастали люди, сидевшие за шитьем сапог или за оттачиванием серпа, считавшие деньги или просто беседовавшие. Их мирные лица казались разбойничьими от блеска жаровен, глаза — мутными от жары. Он спросил дорогу. Наконец переулок расширился.

Русский вышел на уснувший базар. По-видимому, это и был зеленый базар. Лавки наглухо закрыты ставнями. У одной стены спали вперемежку с тюками люди. Они лежали и не храпели. Он перешагнул через одного, заснувшего на животе и выбросившего ноги на дорогу. Рядом с ним чесался осел, нюхая воздух огромными разрезанными ноздрями. За базаром стояла мечеть. Из ее черной груды подымались два полуразрушенных минарета.

У дверей мечети дремал человек. Русский задел его, проходя; дремавший шумно задвигался и заворчал. Туземный милиционер протирал глаза. Русский вспомнил, что милиционер обязан понимать по-русски. Он спросил, где милиция. Человек молча указал ему на мечеть. Со странным чувством русский шагнул в неосвещенный двор. Ему в лицо пахнуло прохладой, но сырой и неприветливой. Верно, где-нибудь рядом гнила вода. Главное здание мечети неизбежной аркой воздвигалось перед ним. Сбоку на лестнице молчали два человека в белом, похожие на покойников, вылезших из гробов. Русский, ощущая вялость во всем теле, поднялся по ступенькам и попал в узкую комнату. За треногим столом, прислоненным к стене, сидели два милиционера. У стола стояла заплаканная женщина с узки-

ми красными глазами, простоволосая, оглядывавшая с испугом костлявого человека в разорванном чесучовом пиджаке, неряшливого и небритого.

— Нет, пиши! Нет, ты пиши! — говорил человек, стуча по столу рукой.— Так прямо и пиши — сказала: собачье ремесло — я собака. Да, я собака!..

— Я не говорила так,— захныкала женщина.— Я про собаку не говорила.

Люди за столом устало зевали. Свеча, воткнутая в бутылку, догорала. Один из милиционеров вынул другую свечу из стола, заострил кончик ее ножом и молча укрепил взамен старой. Мундиры их были расстегнуты, и на лицах застыли капельки мелкого пота.

— Что вы хотите, товарищ? — спросил тот, что менял свечку.

Русский, не торопясь, положил на стол свои документы.

— Ночевать мне нужно. Чайханщик требует разрешения из милиции.

— Рост,— почему-то по-афгански сказал милиционер,— нет ли у вас бумаги?

Русский не понял его сразу. Милиционер обернулся к стене, оторвал от обоев порядочный клок и снова заерзал на табурете.

— Нет ли у вас карандаша?

Русский достал химический карандаш. Милиционер начал оплевывать бумагу; оплевав бумагу, он долго и старательно, любуясь знаками своего производства, покрыл бумагу справа налево, сверху вниз арабскими письменами. Избороздив ее всю, он подал ее с улыбкой русскому:

— Целый мандат...

Женщина молчаливо плакала. Вдруг небритый сказал:

— Ну, вычеркивай все. Черт с ней! Пусть я буду собака. Я передумал. Чего давить тараканов, я и так отомщу.

Он вышел, шатаясь не то от жары, не то от скуки, не то от водки...

Русский вернулся в чайхану и отдал бумагу. Джигита еще не было; тогда он прошел на Ляби-хоуз. Хозяин же, взяв бумагу, долго читал ее по складам. Его заинтересовал самый процесс складывания букв, и он только тогда очнулся, когда уборщица попросила у него сахару.

Какая длинная, безвыходная ночь! Неужели есть страны, где идет радостный весенний дождь, падает снег белыми холодными хлопьями или просто широкий ветер качает деревья? Ляби-хоуз словно наполнен до краев тяжелой

смолой, лишь кое-где белые языки неслышно блистают на поверхности. На скамейках, под неподвижной листвой огромных деревьев, душный шепот и шуршание белых одежд. Тихие и визгливые звуки вонзаются в густой воздух, как иголки.

На другом конце террасы, в открытом павильоне, десятки людей сидят за столами: лото. Они потеют от ожидания, страха, жары. На щеках русских женщин пудра и краски тают и текут полосатыми ручейками. На них одни платья, они не носят рубашек. Намазанные губы блестящи, как жесть. Русские в испарине бродят по краям террасы, дымя папиросами, и громко разговаривают, размахивая руками. В углах улиц собаки дерутся из-за отбросов, иные из них лежат с высунутыми языками на ступеньках у самой воды.

Из аптеки глядит разноцветная унылость склянок. Огромные стенные часы привлекают внимание. В них есть что-то холодное.

Люди дышат, широко раскрыв рот, они ходят мелкими шагами и едят фрукты, но от теплого сока липко во рту и сладкая пена покрывает язык.

Какой-то дервиш ищет насекомых в своей одежде, сидя совершенно голый перед входом в запертое казино. Муэдзин, неслышно ступая, идет к минарету, перекатывая четки в руках. Стены мечети грозят рассыпаться от жары. Перед этими стенами эмир рубил головы пленным. Игроки в лото положили локти на стол. Под локтями на столе пятна от пота. Пот стекает с людей, будто они переворачивают камни. Муэдзин поднялся на минарет, он кричит над городом, никто не откликается. Может быть, на крышах и молятся, но здесь, внизу, все неподвижны.

Русский забыл о предосторожности. Он углубился в переулки. Они безжизненны и глухи. Кто скупил весь ветер и всю прохладу? Воздух превращается в молоко. Неужели эта духота потеряла конец?

Русский прошел путь чайрикера. Он увидал в проломе дантиста, и ему захотелось обменяться с ним хоть двумя словами. Старик наливал в примус керосин. На худых плечах мотался облезлый, рваный халат. «Еврей»,— подумал русский, глядя на его желтые узкие пальцы.

— Жарко,— сказал он, подходя,— не правда ли, жарко?

Дантист кончил наливать керосин. Он встряхнул воронку, и его руки схватились за кресло.

— Жарко! — закричал он.— Вы сказали — жарко! Хе! Разве это жизнь?! Дышать днем нельзя, вечером нельзя, ночью нельзя. Когда, я могу вас спросить, можно дышать? Я уже высох, вот я! — Он распахнул обрывки халата и обнажил свою коричневую впалую грудь.— Э, товарищ, как мы живем здесь! Я работаю по ночам — так прохладней. Прохладней, хе! Видали вы такую прохладу? — Он отер руками пот.— А что будете пить? Воду из тех ям, что тут кругом, с червями, пауками, с гадостью? Разве можно пить такую воду? Я вас спрашиваю, можно, а?

Русский молчал. Он сидел на разорванной кошме и смотрел на примус.

— Кто вас сюда посадил, спросите вы? Да, кто посадил? — говорил старик, обращаясь в темноту.— Нищета. Я пью боржом, а то бы давно умер. А знаете, сколько стоит здесь боржом? Так он стоит семьдесят копеек бутылка. Где я на свой тощий карман найду денег?

Он протянул руку к горлу и начал кашлять.

— Может, вам починить надо что? Пломбу? Ночью! Ну так что, мы живем ночью. Восточная фантазия,— сказал он, сплевывая в сторону.

Русский сидел неподвижно. Вокруг белели разнообразные зубы, странно сверкали металлические щипцы. Он передвинулся ближе к старику.

— Невесело вам живется,— произнес он равнодушно.

Старик нагнулся к нему, свертывая папиросу:

— Тут весело живут. Будет весело, жить негде. Квартирный кризис. Я нашел эту развалину до осени. Осенью нас дождями размоет. Живу на юру, стены нет, передал мне это заведение,— он закурил папиросу и сейчас же стал спокойнее,— басмач один, говорят, басмач с дочкой. А! Они все басмачи... Сюда сумасшедшие забегают. Сегодня один был, от жары с ума сходят. Не верите? Вы откуда? Из Ташкента, нет? Тут даже умирают от жары. Глина, грязь, весело, невежество, что?

Он задохся. Кашель осилил его, он бросил папиросу, протянул руку под кресло, достал бутылку боржому, треснувший стакан, открыл пробку, налил полстакана и с жадностью выпил.

Щетина на его шее дыбилась пучками.

— Хотите? — сказал он подозрительно, указывая подбородком на бутылку.— Теплая, выдыхается,— вдруг сказал он.— А что делать, что делать? Я один сразу выпить бутылку не могу, не по карману...

Русский отказался и встал. Он вынул папиросу, хотел закурить и раздумал, положил обратно в коробку и медленно пошел переулками. Воздух был неподвижен, и в то же время казалось, что все предметы вокруг начинают струиться. Ночь длилась, белая и неживая. Узкий горячий туман лентой охватывал голову.

Джигит дожидался его в чайхане. Он разговаривал с чайханщиком и заигрывал с уборщицей, наливая зеленый чай в толстую чашку. Два пустых чайника стояли возле. Русский поздоровался с ним за руку, сел и стал потягиваться. Ему не хотелось говорить. Чайханщик принес еще одну чашку, для него.

У стены на полках стояли сорок круглых чашек без блюдец, двадцать чайников подняли, как маленькие слоны, свои белые хоботы, чтобы затрубить. Десять возвышений, крытых коврами, были заполнены народом.

Ночь перешла за вторую половину. Светлые лунные полосы продолжали нести удушье. Ляби-хоуз сверкал почти электрическими искрами. Люди, как тени, толпились на улице. Стало меньше русских. Одиннадцать ворот Бухары закрылись в полночь, и русские уехали к себе в Новый город.

Звуки музыки еще слышны внизу, у пруда, и вывеска «Лото» горит над коричневыми лицами игроков. Индус, сидевший в углу, достал из маленькой коробочки грим и подправляет знак на лбу, как женщина, заглядывая в зеркальце. Туркмен снимает громадную баранью шапку и начинает есть теплый, сладкий до приторности виноград.

Джигит кончил пить, обтер рукавом усы и короткую бороду и приготовился говорить.

— Ну как, едем? — спрашивает русский.— Достал лошадей?

— Почему не достать! Достал в хоули, знаешь, двор? Когда едем?

— Часов в девять не жарко будет?

— Девять — зачем жарко. Не хочешь раньше? Хай будем ехать в девять.

Джигит достает из кармана местную газету.

— «Коммунист»,— говорит он, подмигивая,— хочешь, поучу по-нашему читать, умным будешь.

— Потом,— отвечает русский,— ты ел, пил?

— Пил, слава богу, ел — не хочу есть. Душно!

— Почему же ты не женат, а, джигит?

— Женат! О, женат! — Джигит смотрит в пространство чайханы.— Знаешь, у нас жениться — денег надо. Много денег. Тогда жена хорошая, красивая, жена — прямо жена. Я собирал, две тысячи рублей собирал. Моя спина собирала, рука собирала,— он зло усмехается,— где они... Какой был девочка, как ночь черный, как ночь белый. Далеко, там, где Шахрисябс, знаешь? Я ехал к ней, калым вез, тысячи рублей. Большие деньги, да... Басмач, знаешь, будь он проклят, отнимал. Я говорил, я кричал — он отнимал. И все. И я стал джигит. Ха! Халды-балды...

Джигит замолкает. Он приглаживает бороду трясущейся от гнева рукой.

— Я, знаешь, искал басмача. Все не тот. Все не тот. И все не тот. Я их так стрелял, знаешь, но все это не тот.

— Разве ты его помнишь в лицо? — спрашивает русский и вынимает папиросы.— Я сегодня совсем не курил. Не могу. Душно, на...

— А я курю,— говорит джигит, бережно беря папиросу,— спасибо. Я лицо помню, как воробья. Муравья от муравья не отличишь, а воробья можно. Я совсем русский, вот курю, вот пью, вот читаю «Коммунист». Вот теперь женюсь на русской, на Маруське. Ей денег не надо. Очень хорошее дело.

Он обводит чайхану блуждающими глазами. Русский оглядывает чайхану тоже. В углу сидит с печальным лицом узбек, что ехал с ним на извозчике, поникший, усталый. Русский спрашивает:

— Джигит, где это было?

— Что было, а?

— Где тебя ограбили?

— А-а,— тянет джигит.— Ак-Рабат. Перевал Ак-Рабат — знаешь, а?

— Ага! Будем спать! — говорит русский.

Джигит докурил папиросу, плюнул на нее и бросил в проход.

Уже совсем поздно, народу все меньше и меньше, хозяин ушел спать, пересчитав чашки и чайники. Русская женщина вытряхнула самовар, подмела пол и тоже ушла. Чайхана покрыта спящими телами. Только у самого входа ковры пустуют. Лавочник уложил виноград в корзину, его костлявая фигура исчезла за углом. В чайхану заходит скучающий милиционер и разговаривает с туркменом. Они находят общих знакомых и завязывают беседу. Индус спит съежившись, как обезьяны его родины.

Русский с удовольствием снимает сапоги, ложится на спину, закидывает руки за голову и смотрит прямо перед собой. Лавчонки на той стороне улицы запирают. Часовщик, мясник и фруктовщик уходят друг за другом, как в процессии. Скользят последние прохожие. Несколько пьяных требуют чаю. Им никто не отвечает. Чилимщик, накурившись анаши, с безнадежным лицом проходит, спотыкаясь, угнетаемый видениями.

— Я ищу быка! — кричит он по сторонам.— Я ищу быка!

— Бык дальше,— говорит ему милиционер.

Русский постепенно засыпает. Ему уже видны таблицы, опросы, анкеты, доклады,— сверху падает что-то мягкое. Он открывает глаза.

Перед ним сидит большой синевато-черный кот. Он вылез из чулана и начал свою ночную жизнь. Он обходит всех спящих, приседая, как танцор, и ныряя, как рыба; он трогает спящих лапой и обнюхивает. Потом он садится перед горой чашек и мурлыкает. Он считает чашки. После каждого десятка он вертит хвостом. Чашки на месте все.

С улицы входят две собаки, облезлые, затасканные, задумчивые, они ищут объедков. Их лысые головы тянутся поверх ковров. Кот одним прыжком бросается к ним. Он гонит их по проходу, награждая оплеухами. Он прыгает на спину одной из них и рвет молчаливо ее худую шерсть своими беспощадными когтями. Собака визжит и, втянув уши, выбегает на улицу.

Кот садится и начинает умываться. Жара на него не действует. Он оглядывает спящих. Спят все? Нет, не все. Русский еще не совсем заснул. Джигит его явно притворяется спящим, а чайрикер в углу и вовсе не спит. Это непорядок, да, это непорядок.

Чайрикер лежит с открытыми глазами, и память выдувает чудовищные образы. «Ты напьешься воды кипящей»,— грозит ему неведомый голос. Он сжимается, как в тисках; духота полна безнадежности; он видит сквозь улицы, как горит странный синий огонь в машине у человека, окруженного зубами; он видит, как его любовь проходит по улице под покрывалом, и он, безумный, срывает его, но под ним чужое лицо, искаженное страхом. Он вскакивает со стоном. Никто не шевелится. Он опускается снова на ковер. Сомнение охватывает его, как цепи, зубы его начинают скрипеть. Друг обманул его: он продал свою дочь за дорогую цену, унес его деньги, его будущее, его подку-

пили русские. Русские — джадиды. Вот он среди них, у каждых ворот стоят милиционеры, вот лежит один из джадидов и спит. Как могли взять они такую власть? Говорят, что их комиссар один пришел к самому Султан-Ишану, и сам Султан-Ишан заплакал и бросил свою винтовку к его ногам, и все его басмачи заплакали и бросили оружие. Как могли они взять такую власть? Вон лежит человек бумаги. Они ходят или с оружием, или с бумагой. От них не убежишь. Он, чайрикер, выбирает... В голове его ходят теплые волны. Он устал; может быть, он даже плакал сегодня... Он засыпает.

Город уснул. Луна прячется, потом настает тоскливый серый рассвет. Где-то кричит осел; захлебываясь, ему подвывают собаки. Кот уходит по лестнице на крышу. Крыша — собрание дранки, досок, щепок, рухляди. Сквозь дыры видно небо. Крыша спит. Свисток проносится вдали.

Чайрикер на дне сонной пропасти. Летучая мышь задевает его голову. Едва заметная свежесть появляется в воздухе.

Чайрикер раскрывает глаза, над ним стоит человек с оскаленными зубами. Джигит русского касается его халата.

— Басмач,— говорит он тихо, очень тихо,— перевал Ак-Рабат, басмач. Перевал Ак-Рабат.

Чайрикер видит залитый шумом грабежа караван, толкотню, взвивающихся на дыбы лошадей, толпу ограбленных.

— Ты украл у меня жену,— говорит еще тише джигит,— иди за мной.

Чайрикер встает, как лунатик. Души идут в Магометов рай по острию бритвы. Чайрикер чувствует, как он вступил на это острие. Он идет, почти не разжимая глаз.

«Разве так много времени протекло над головой человека, пока о нем вспомнили опять?» — говорит книга.

За громадным серебряным, холодным в сумерках утра, самоваром — узкий закоулок, уставленный рухлядью. Глиняные стены безвыходны. Джигит жарок, как выспавшийся человек, но он не спал. Он угадал врага. Его страшная память, отличающая воробья от воробья, не изменила ему. Он вынимает из-за пояса нож и пробует его остроту. Белая полоса ножа — единственная прохладная линия во дворе. Русский просыпается от того, что кот прыгает в ды-

ру с крыши прямо на соседний ковер. Кот садится на задние ноги, качается и оглядывается. Все спокойно. Нет, не все спокойно. Русский видит, как его джигит подходит к тому незнакомцу, что ехал с ним на извозчике, они шепчутся и уходят, но как уходят! Лица их мало похожи на человеческие. Они — темнее рассвета, и губы их искривлены. Он уже опытен в таких делах. Русский соскакивает тихо с ковра и в одном белье идет за ними.

На узком дворе джигит точит нож. Время есть, времени хватит. Не каждое утро убиваешь врага.

— Тохта! — кричит русский.— Стой! Тохта!

Джигит подымает невидящие глаза. Русский загораживает чайрикера.

— Эге,— говорит он,— я не дам его резать.

— Басмач! — шипит джигит.— Басмач! Я узнал его. Я вынул нож, уйди!

— Джигит! — говорит русский. Он в одном белье, но он не смешон.— Я не хочу, чтобы тебя сажали в тюрьму. В девять часов, не забудь, мы должны ехать. В девять часов нас ждут лошади. Работа, черт возьми! Провались все твои басмачи. Я буду кричать, придут люди. Есть советский закон. Знаешь советский закон?

— Нет советский закон,— кричит джигит,— есть мой закон.

Он краснеет, будто захлебнулся кипятком.

— Нет твоего закона,— спокойно говорит русский.— Убирай нож.

Он свистит, как только может. Чайрикер стоит, прислонившись к стене. Ему все равно. Сонный милиционер входит в закоулок. За ним двое-трое случайно проснувшихся и ночной сторож.

Джигит говорит, указывая на чайрикера:

— Басмач — собачья душа, басмач, вор, пыль,— и добавляет русское ругательство.

Чайрикера уводят. Джигит идет сзади и плюет ему в спину.

Ночь кончилась. Сквозь доски потолка проходят розовые потоки. Чайханщик разогрел первый самовар. Из ушей чудовища идет пар. Русская женщина подметает пол.

Индус молится про себя, прикасаясь неслышно ко лбу. На глади Ляби-хоуза круги и рябь. Водоносы пришли за водой, и вереницы бурдюков висят на деревьях, дожидаясь очереди. Прогремел первый экипаж.

Пришли мясник, часовщик, фруктовщик. Они гремят замками, откидывают ставни у своих лавок, открывают двери. Каждый из них погружается в темноту своего владения. Каждый появляется снова на улице, держа по мышеловке. В каждой мышеловке бегает мышь — серая, шустрая, испуганная.

Они несут их коту. Кот сидит у чайханы и хмурится. Сейчас он пойдет спать, его дежурство окончилось. Воздух наполняется прохладой, но тепло стелется где-то сбоку и прорывается из-за углов.

Мышеловки зачаровывают кота. Его раздражает мышья беготня. Первая мышеловка раскрыта. Мышь выкатывается, как катушка серых ниток, и кот глотает ее почти на лету и с радостью облизывается. Она слишком мала для утреннего завтрака.

Вторая мышеловка блестит перед ним рядами металлических прутьев. Мышь выходит осторожно, она хитрит. Хитрит и кот. Он берет ее зубами за шею и сейчас же бросает. Она идет тихо от него. Он догоняет ее и лапой опрокидывает на спину. Он возится с ней до тех пор, пока она не решается на отчаянный прыжок. Тогда он ловит ее на лету и ест медленно, задумываясь, пружиня хвост.

Третья мышеловка ему не нужна. Мышь может уйти. Он не хочет на нее смотреть. Мышь бьют метлой. Она падает на бок, ее подкатывают к коту, он смотрит беззлобно загадочными огромными глазами и уходит. Она ему противна. Он ушел не оглядываясь. Мышь поддают метлой, и она летит в пыль на дорогу.

Русский смотрит на часы. Какая досада: восемь часов. Наверно, этот джигит задержится в милиции. И зачем он пустил его конвоиром?.. Нужно через полчаса выходить. Там, за городом, ждут лошади, кишлаки, работа. По улице уже зачастили прохожие. Три халатника ведут человека в чесучовом разорванном пиджаке. Он хрипит и, равняясь с чайханой, просит:

— Дайте пить!

У него исцарапана щека и подбит глаз.

— Куда это ведут? — спрашивает русский.

Один из проводников отвечает:

— Женщину убил — чиркнул ночью.

Русский узнает человека, которого видел в милиции, когда брал разрешение на ночлег. Пиджачнику выносят чашку воды. Он пьет не отрываясь. Его уводят с мокрым

подбородком. Один из провожатых садится на край ковра и кричит:

— Ака — чай!

— За что убил? — спрашивает русский.

Ему вспоминается плакавшая женщина с красными узкими глазами. «Ах, так это та самая!»

— Жара,— отвечает халатник,— такой ночью кровь, знаешь, шипит. Нельзя человека дразнить такой ночью.

— Кошка,— говорит русский сам себе,— кошка. Одного ест, другим играет, третьего не хочет. Третий, выходит, я; рассказать дома, в России,— не поверят, романтика.

Мимо проходят служащие. Они в белых и клетчатых брюках на голое тело, в одних рубашках, без шляп, ноги в сандалиях. Прохлада уже исчезла, начинается горячий день. Русский вспоминает женщину, оставленную в Самарканде, и начальника, что ждет его. В нем вспыхивает необходимость рассуждения.

— Если бы не мы,— говорит он,— если бы не революция, здесь ничего бы с места не сдвинулось.

Он с удовольствием закуривает папиросу у проходящей советской барышни. Он с удовольствием думает о статистических таблицах, которые привезет в Самарканд. Не забыть проверить стремена, они всегда их делают длинные, и обязательно после поездки переменить джигита.

Хозяин несет ему чайник свежего чаю и мягкие лепешки. Неожиданно кот вспрыгивает ему на колени и трется головой о грудь.

Внезапная брезгливость пробуждается в нем. Он сбрасывает кота, говоря:

— Уйди прочь!

1927

БИРЮЗОВЫЙ ПОЛКОВНИК

Длинный пес по привычке рванулся к хозяину, не дочесав бока. Цепь, укрепленная на проволоке, перелетавшей через весь двор до самой калитки, ответила визгом и скрежетом на его прыжок.

Бывший полковник Ведерников шел через двор умываться. Полотенце с вышитыми петухами обвивало его шею. Шагал он по-военному, как на смотру,— черные туфли шлепали в такт, руки равномерно взлетали, ровный огонек дисциплины мигал в глазах.

— Здорово, Кубилай! — приветствовал он пса, опуская руку на его курчавую спину. Кубилай, как всегда, задохнувшись от рабского восторга, закрыл глаза и, сгибаясь, ловил языком рукав полковничьей рубахи. Но водопровод тоже имел право на внимание.

Полковник всегда умывался с удовольствием. Он старательно смывал ночное расслабляющее тепло, он смывал свою заметную старость. Холод горной воды давно был союзником его шафранного, высохшего тела. Он вздрагивал, как от укола, когда представлял себя лежащим в соломенном кресле ненужной, тощей грудой костей, ломаемых всеми болезнями. Голый до пояса, стоял Ведерников, слегка раскачиваясь, обтираясь мокрым полотенцем.

У террасы ждала его коза, тыча в разрезы досок белую морду,— она зашевелила ушами, когда полковник взял ее за подбородок и сказал: «Смирно!»

Федосья Родионовна, полковничья экономка, кухарка и работница, принесла эмалированную кастрюльку. Полковник сел на корточки, подоил козу и отпустил ее. Самовар шумел на столе, полковник начал бриться. Выбрив

одну щеку, он сделал перерыв и посмотрел, нет ли порезов, прыщиков или маленьких красных пятнышек — он боялся пендинской язвы, обычной болезни Туркмении; он всю жизнь провел в этих горах и пустынях и всю жизнь боялся пендинки. Щеки, как всегда, желтели ровно; может быть, морщин за ночь прибавилось, но кто может учесть их незаметный рост и затейливость их мелких изгибов?

После чая полковник подмел двор и сад, медленно и задумчиво. Он не вел дневника, но за утренней уборкой вошло у него в привычку думать о мелких работах дня, о старых знакомых и даже о бессмертии души. Он остановился у калитки огорода, поставил метлу в угол, вернулся и вошел в дом.

На террасе возник вынесенный с неестественной предосторожностью почти квадратный ящик, зашитый в холст. Полковник оглядел ящик со всех сторон, проверил, плотно ли он обшит, покачал его — не трясется ли содержимое, принес веревок и начал перехватывать ящик крепкой веревочной сетью. Уже и веревки были исчерпаны и на смену им явился молоток,— тонкие серые гвозди легко вонзились в мягкое дерево, и молоток отчетливо отстучал свои удары,— но полковник все не мог отвести глаз от ящика, он ощупывал его со всех сторон. Он, отходя и приближаясь, смотрел на него так, точно в ящике сидел фокусник, который должен был разорвать холст, освободиться от веревок, вырвать гвозди и выйти наружу. Долго полковник созерцал ящик необычайно нежными взорами. Ничего не случилось, из ящика никто не появился.

Ведерников еще раз оглядел ящик и закричал нестрого:

— Товарищ Гурий, а ну-ка, товарищ Гурий!

Из кухни выбежал босой туркменчонок в синей рубахе и широких штанах.

— Амалякми! — закричал он.— Я тут, Денис Васильич!

— Поищи-ка Махмуда, да поживей, товарищ Гурий, одна нога здесь, другая там.

Махмуда не надо было искать. Махмуд ждал со своей арбой на улице. Он никогда не опаздывал, это не его привычка. Он охотник,— охота любит правильный глаз и проворные движения, он крестьянин и балагур,— поле обожает порядок, а в рассказах даже демоны подчиняются чувству меры. Махмуд уважительно поклонился полков-

нику, как человек другого племени, и неуклюже подал руку. Полковник ввел его в комнату, они, не торопясь, выпили по две чашки чая, потом оба осмотрели ящик еще раз.

— Пиши адрес там, кому надо,— сказал Махмуд.

— Адрес здесь,— указал полковник на край холста.— Ты вези осмотрительно, не тряси, ради бога, не тряси. Брод обойди лучше по ручью, там дальше ехать, зато ничего не попортишь, а в городе ты уж знаешь, куда его направить.

— Мы все знаем,— сказал, самодовольно топорща усы, Махмуд.

Они перенесли ящик на арбу с деловитостью санитаров, ступая не в ногу, обложили его соломой, будто он был из сплошного стекла, посмотрели, хорошо ли он лежит, и только тогда Махмуд щелкнул языком и взял в руки кнут. Полковник перекрестил ящик, и арба двинулась. Облака пыли сразу же взметнулись за ней. Казалось, Махмуд возносится на небо вместе с невероятным грузом.

Полковник смотрел вслед, все морщины на его лице помягчели, рот ребячески полуоткрылся, седые подстриженные усы сочувственно блестели. Потом он захлопнул калитку, и ящик уехал из его жизни навсегда.

Морковь, лук, красный перец и баклажаны жили и размножались вполне достойно и благополучно. Ведерников нагнулся над грядой толстых томатов, встал на колени и нахмурился. Он сорвал томат и разглядывал его глазами знатока. Верх томата был захвачен темной, жесткой, ржавой полосой.

— Бактериоз,— сказал полковник, обращаясь к яблоне.— Видала ты, томаты-то заболели,— бактериоз.

Он стал осматривать плоды один за другим. Его сердце успокоилось. Темной опухолью страдали только несколько штук. Он отобрал их, сложил в стороне, нарвал веток и развел костер. Зараженные томаты сгорали, шипя на свое несчастье, красная сердцевина их бунтовала в огне. Кубилай щелкал зубами мух и лаял на костер.

Тогда пришел Ревко, похожий на гнома с немецкой кружки,— лукавый Ревко с кривыми ногами. Ревко — большевик, мудрец и садовод; он смотрел, как полковник поливает огород и сад.

— Я не зря пришел,— сказал он, ударяя себя по колену: — Опять провели душу на муке. Ну что ты скажешь?

Где отруби из просяной, джугарной и где пшеничной — не отличаю.

— Я тебя научу, Макарыч.— Полковник поставил лейку на скамью и сам сел.— Возьми в рот горсть, попробуй языком. Будет колоть десны — значит, джугара есть, не будет колоть — вроде манной каши,— пшеничная. Просяная же мука пахнет пшенной кашей.

— Я тут живу, знаешь сам, без году неделя, непонятностей много. Ну, а у тебя что?

— Томаты заболели, вот пожег,— отвечал полковник.

Они сидели на скамье и курили; торопиться было некуда, в мирном порядке между деревьев за чужими заборами свисали черепичные и железные крыши домиков. Поселок Бирюзовый переживал величественный ленивый послеобеденный час. Назывался он Бирюзовым за отчетливое голубое небо, стоявшее над ущельем. Голубые горы шли в разные стороны от него, и только рыжая мгла дальнего хребта указывала на страну другого цвета. Там лежала Персия. Голубые бычки ползали по скатам гор, голубая пыль вдалеке окутывала овечьи спины, голубые голуби сидели под крышами или бегали по дворам, уступая дорогу петуху. Голубыми прозрачными шарфами хвастались девушки-колонистки. Голубые глаза северян, пришедших сюда и поселившихся в ущелье, переходили по наследству с немного скучной аккуратностью. День проходил, незатейливый и голубой, огород, сад и двор — на такие части распадался голубой день,— и, как их не тасуй, они не становились разноцветнее.

Когда же вечер зажигал желтизной лампы столовую, Гурий — малый, воспитанник Ведерникова,— приносил с собой кожаную тетрадку, и полковник учил его, как люди складывают цифры, умножают цифры, делят и вычитают цифры и что из этого получается. Он объяснял Гурию, как движется луна, подобная старому дивизионному генералу, ушедшему в отставку, как рассыпным строем падают звезды, как формируются полки облаков, и Гурий любил чуждую неожиданность ведерниковских образов, потому что тогда самые обыкновенные предметы теряли свою устойчивую внешность и делались страшными. Гурий от этих уроков впадал в восторженый страх и начинал писать справа налево по-туркменски и мазал и чертил в тетрадке, пока полковник не отсылал его спать.

Потом полковник, как всегда, стелил постель, снимал гимнастерку и вынимал из стола тяжелый альбом, испи-

санный наполовину. Со стен нагло улыбались полуголые красавицы, приложения вымерших журналов, рядом с ними пестрели виды живописных мест. Полковник брал перо, обтирал его суконкой и приготовлялся работать. Но иногда его ночное творчество прерывалось в самом начале. Дверь скрипела, и высокая Федосья Родионовна, качая желтой распущенной косицей, говорила резким раздельным шепотом:

— Если идете ко мне, так идите сейчас, я вас ждать не буду. В какую рань встаешь-то ведь, с петухами.

— Слушаю. Иду,— покорно отвечал он.

Лишенное всякого своеобразия шоссе имело прямое назначение: приводить из города в поселок Бирюзовый, закинутый на самый глухой конец Советского Союза. Ущелье, по которому ведет шоссе, еще не исчерпало свою природную ненависть к порядку. Каждую весну оно объявляло новую войну — скалы падали внезапно, как взорванные бастионы, и заваливали дорогу холмами мусора: ручей, раздув свои голубые мускулы, ломал шоссе, и сотни тонн утрамбованного, примерного, казенного песку возвращались к беспорядку своих собратий. Джунгли сопровождали шоссе до самого поселка; они набегали зелеными ямами, холмами, выступами, они заметали все следы, готовы были на самое дерзкое, рвали колючками одежду, поражали глаз ослепительной путаницей ветвей, царапали руки. Неожиданная страстность этой зеленой державы ошеломляла. Огромные пчелы, присев на берегах единственного ручья, как пилигримы пили воду. Их брюха раздувались, они не могли лежать от тяжести. Тысячи жуков бегали между ними, сражались, хоронили друг друга и пировали над трупами. Племена птиц шумели, каждое по-своему, кабаны ломились, не спрашивая дорог, козы по-цирковому прыгали с утеса.

Что касается растений, то золотой сияющий зверобой, рабочие ветви арчи, веселый странствующий актер — звездный фиолетовый касатик; красный тюльпан, добряк, страдающий ожирением сердца; белые султаны ковыля, марширующие вразброд; розовый, как щеки на севере, чертополох; угрюмец астрагал, одетый в хаки — чиновник джунглей; белый и желтый шиповник; тополь и клен, аяксы ущелья; крушина, розовый горошек, дикий виноград, желтые шарики лука и все бесчисленные безымен-

ные кусты и травы — были свидетелями великой жизни ущелья.

Среди них вставали скалы, редуты, гостиницы, базары из камней. Они входили в чащу, братаясь с ней. Мягкие очертания их были исполнены предательства.

Их крайний выступ низок и доступен любому любопытному. Если человек вступал в джунгли, глушь садилась рядом с ним у костра ночью, она же будила его утром первым криком птицы, она врывалась в его уши днем во время неторопливого празднования ежедневного трущобного действа. Джунгли ненавидели шоссе. Джунгли считали его палачом зеленой свободы.

— За тем ли вы пришли сюда, полковник, чтобы отвести душу или просто рассеяться?

Он шел не один. С ним рядом шагал бывший ротмистр Бакланов. Хлопая себя веткой можжевельника по сапогу, он просил у полковника полтинник на выпивку.

— Все пьешь, брат? — укоризненно говорил полковник.— Куда в тебя льется?

— Сам не знаю. Как в Панамский канал. Не могу не пить. Ну, дай полтинник.

— Что же ты пьешь? — допытывался полковник.

— Что придется. Керосин не пью, до ханши доходил. Русскую горькую больше употребляю. У тебя дома, наверное, есть?

— Из лекарственных соображений пью рюмку перед обедом. Запасов не держу. А тебе пить нужно перестать. У тебя вид, посмотри, что у летучей мыши.

Ротмистр недоверчиво наклонился над ручьем. В полосатом стекле возникло лицо нового Нарцисса из бывших пограничников. Но струйки воды мутили очертания, и выражение лица менялось, переходя из синевато-серого в черный и наоборот.

— Я в папашу,— сказал ротмистр, отворачиваясь от ручья,— старины держусь. А ты что — не пьешь, не ешь, на воздухе гимнастику ломаешь? Сто лет жить хочешь? Зачем? Философический вопрос: зачем? В партию запишись.

— Был,— сказал с достоинством полковник.— Выключили.

— Знаю. Еще попробуй раз. Ну, дай полтинник. Томаты продашь,— получишь барыши. Ты ведь купец, а я безработный.

— Будет,— отвечал полковник,— посидим лучше.

— А сколько дашь, чтобы посидеть?

— Двугривенный дам.

Они сели у ручья. Ротмистр, помахивая веткой, продолжал:

— Нет, ты все-таки скажи: зачем стараешься? Мы здесь одни. С каждым днем ты ближе к смерти. Детей у тебя нет. Туркменчонка завел, бачей, что ли. Так нет, у тебя Федосья Родионовна есть. Пороков ты не имеешь.

— Я имею задачу жизни,— сказал значительно полковник.

— И я имею,— сломав ветку, молодцевато ответил ротмистр,— я мечтаю десятого барса убить. Девять штучек — вот таких желто-серых с пятнышками, боже мой, жизни мною лишены. Девять шкур дома валяются, то есть простите, ваше благородие, больше их, конечно, нет, ушли-с, со временем, а сколько я из-за них крови попортил, тропок, берлог, ям излазил,— будь им пусто,— а десятого все-таки кокнуть хочется. Башибузук — зверь, царственный призрак власти этот зверь носит в себе вместо царя, которого нет.

— Постой,— сказал полковник,— это не то. Я хочу, понимаешь, это все вот,— он обвел ущелье рукой, как пророк иудеев страну обетованную,— это все...

— Не понимаю,— зевнув, сказал ротмистр.

— Это все,— продолжал полковник,— иначе говоря, леса, ручей, горы, дичь, глушь, барсов твоих и прочее — истребить, уничтожить, а здесь взамен того развить промышленно-культурный угол.

— Как угол? — сказал обиженно ротмистр.— Ты не серди меня.

— Кустарничество природы заменить электричеством.

— Лавочку открыть здесь? — ответил ротмистр.— Не позволю.

— Тебя не спросят,— громко и строго ответил полковник.— Я разработал уже проект.

— Ну это, знаешь, мошенничество. Не ты это ущелье делал,— обидчиво сказал ротмистр.— Еще посмотрим.

Полковник, не отвечая, поднялся с камня.

Ревко пил с блюдечка, стараясь не попадать пальцами в чай. Бакланов сидел против него, качаясь на стуле, размахивая красными руками, а Федосья Родионовна, усмехаясь ротмистру, отодвигала от него пустую рюмку. Пу-

стота рюмки уязвляла его, и он начинал снова поход на Ведерникова.

— Ну, расскажи, расскажи, как это тебя выставили из партии. У тебя это в красках выходит. Реформатор! Природу уничтожить хочет. Подождешь! Ну, расскажи.

— О чем говорить? — вступился Ревко.— Партия знает людей. По нашим дебрям, тут полковник старой службы — это прямо сама контра.

— Ну, вот сказал,— захохотал ротмистр.— А его проект знаешь? Америка? А все-таки его выставили.

— Бакланов, ты не шуми.

Полковник оставил стакан, желтые щеки его сузились. Он подвинулся так, точно хотел взлететь, увял и быстро заговорил:

— Восстановим истину. Когда меня позвали на суд Пилата, то спрашивали: «Чем занимаетесь?» Тебя бы так спросили, а? Побоялись бы. Да. Так я читаю политграмоту красноармейцам. Не поверили, но это был факт доскональный. Я политграмоту в ту пору знал наизусть. Например, каково было поведенье буржуазии?

— Положение ее было подлое,— сказал ротмистр.

— Я говорю — поведение.

— Ваше благородие, еще рюмочку соблаговолите,— просил ротмистр, и стул под ним скрипел так, точно присоединялся к просьбе.

— Дать, что ли? — подмигивая, сказала Федосья Родионовна.— Уж напоследок.

Полковник махнул рукой, поймал комара и швырнул его в лампу.

— Чудак же ты, Бакланов, как я посмотрю,— сказал Ревко,— служил хорошо в погранохране, а и тебя выставили. За что, спрашивается? За пьянство, за несоблюдение сознательного образа. Служака ты ситцевый, когда пьешь.

— Поведение буржуазии было подлое,— проговорил ротмистр, опрокидывая рюмку в рот,— а я — последний буржуазный огрызок.

— Иди к черту! — спокойно сказал Ревко.

— Слушай, Бакланов, спрашивали меня происхождение, потом чин,— полковник. А до революции? — Полковник. А до войны? — Полковник. Да вы что, говорят, товарищ, родились, что ли, полковником? Нет, говорю, друзья-товарищи, но прошу принять во внимание: я старик и мне шестьдесят четыре года. Профессия? — Управ-

лял областью, помощник самого Фазанчаева. Культурнейший был человек, деспотического слегка нрава.

— Они, поди, посмеялись?

— Бакланов, осади! — сказал Ревко.

— Они удивились очень, что я такой чин имею и остался недорезанным. Говорят: «Четыре сбоку, ваших нет, а вы политграмоту преподаете. Где же смысл современной жизни? Это вы показываете вид, глаза отводите, и мы поверить вам не можем. Дайте что-нибудь от чистого сердца». Тогда я встал и говорю: прошу занести эти слова в протокол и проверить меня предметно. Три часа проверяли, единственная неосведомленность была в политической газетной жизни, но московских газет здесь не найдешь вовремя. В остальном коллективный дух мой восторжествовал, поправ прошлое. Они смутились и исключили меня только за происхождение, но без ссоры, очень извинялись: не можем не исключить, потому что здесь кругом пустыни, людей нет стойких, а вы слишком большой обломок — это я-то — большой обломок старого строя, я.— Он подавился чаем.

— Не волнуйся, Ведерников,— вмешался Ревко, перевернув чашку и кладя на нее кусок сахару.— Ты пиши себе про то, что знаешь, проект будущего. Действуй на мирном фронте, обиды тут нет, а здесь в самом деле пустыня. Я сам потерпел по службе однажды за дело. Нужно было сотворить окоп кольцом. Стали мы рыть. Мать честная! Кости пошли, камень дикий, глядим — гробница обнаружена в кургане. Позвали из резерва сейчас людей, целый день возились, подрыли, чтоб целиком, значит, гроб поднять, а в самую тонкую минуту все плиты возьми да и рухни. Покойник костями как брызнет в стороны, едва их пособирали. Хорошо. Отрядили отряд и в штаб дорогого покойничка, в дивизию послали. Ходим и думаем, как благодарность будем делить. И приходит на третий день из штаба дивизии приказ, и в том приказе дорогим товарищам и Ревку в том числе выговор за отклонение от служебных обязанностей без особой цели и при том приказе дорогой покойничек уже в виде безобразной груды костей для возвращения в первобытное состояния. Вот какова история.

— Я всеми силами прошу меня использовать,— возгласил Ведерников,— я удивительно умею людей в руках держать. Я хивинского хана в руках держал, даже закричал раз на него. Бухарский эмир умывальник мне пода-

рил, что из Парижа привезли ему. Я знаю эту пустыню, как никто.

— Я, отец, лучше знаю,— сказал ротмистр, делая ужасное лицо,— я все тропы здесь ногами обтоптал. Девять барсов все-таки уконопатил. Сейчас бы свеженького под пулю, спустил бы его в городе, дали бы монету, неделю гуляй — не хочу. На финьшампань перейти можно.

— Так-то вы свою жизнь и прогуляли,— заметила Федосья Родионовна, убирая чашки в буфет.

— Вы не можете понимать меня, Федосья Родионовна. Вы женщина, философический вопрос для женщины лежит не в этом.

— Посмотрю я на вас,— сказал, вставая, Ревко,— два ребенка, блохи вас кусают. Но одного я за ученость старости могу уважить, а ты — мужик золотые руки, а рот дерьмо. Ну что с тобой делать в свежем обществе?

— Поставить к стенке,— заревел ротмистр, ударив кулаком по столу.— Пусть я за барса для тебя пойду, я его, а ты меня, идет!

— Дойдешь до ручки — поставим,— тихо сказал Ревко.

— Дикость во мне бродит — не приведи бог,— успокоившись, говорил Бакланов,— а мало я пользы принес? Контрабанду ловил караванами целыми, что, скажешь, нет? — Ловил. Гнезда их открывал? — Открывал. Ходил на них, на крохолей или фазанов? — Ходил. Кто все это делал? Ты, что ли?

— Да что я,— отвечал Ревко,— я здесь новый человек. А что ты — алкоголик,— видно с трех шагов.

— Ты — городской человек, храбрость у тебя не настоящая. Погубите вы божий дар — пустыню. Вон он первый,— кивнул он на полковника,— а мне пустыню жалко. Что она вам сделала?

— Не задирай меня,— сказал Ревко,— не задевай мою фамилию, а насчет храбрости, может, мы одну соску сосали.

— Идет,— закричал ротмистр,— вдвоем на десятого барса, а? Даешь десятого барса? Другом будешь на всю жизнь.

— Горячий ты пес, Бакланов,— сказал Ревко.— А почему мне на барса не идти? Кошка как кошка, только громкая.

Ночь. Окурки лежат уже рядом с переполненной пепельницей. Большой альбом полковника раскрыт. Записки требуют исправления — примечаний. Тени великих художников стоят за спиной Ведерникова.

Один только первый лист свободен от сплошного текста. Он несет на себе тяжесть эпиграфа: самое дорогое существо в мире — рабочий коммунист, самое дорогое вещество здесь — вода; посмотрим, что могут сотворить эти две силы за сравнительно короткий срок. Над эпиграфом название: *Схема в виде рассказа, или Будущее Бирюзовского поселка через двадцать пять лет.*

Полковник откидывается в кресло. Творчество не пускает его ко сну. Барышня с олеографии соблазняет его розовой грудью, но барышня сегодня не имеет успеха. Ведерников трепещет. Он перечитывает тексты, еще далеко до конца. Как трудно быть пророком в своем ущелье! Здесь живут всего двести человек, гремят джунгли, ущелье на сорок верст грозит обвалами и наводнениями, кабаны точат деревья, волки нападают на пастухов, нижние выступы скал доступны любому любопытному. По этим выступам он уже провел трамвай, он уже выселил всех рабочих на вершины гор, он уже уничтожил зеленую империю джунглей, но является вопрос — откуда достать людей? Людей? Он ощущает в себе ярость Саваофа.

«Население поселка,— пишет он,— путем поднятия средств рождаемости достигнет десяти тысяч человек. Будут пущены в ход все научные способы. Значит, с этим покончено...»

Он закончил неделю назад водопроводы, огромные дома-общежития; электрификация близится к концу,— можно идти дальше; важно предусмотреть мелочи. Рабочие одеты в одинаковые шелковые блузы, постройка блуз и штанов производится механическими портными в коммунистических швальнях. Ни одного бранного слова, всюду чистота, электрические веера-опахала, устроенные под потолком, плавно качаются.

«...А водочки-то и нет».

Откуда взялось это в тексте? Освежить главу. Ах, это вспомнился Бакланов. «Это надо пресечь в корне. Чего ты, брат ротмистр, захотел?» Полковник макает перо в самую гущу чернил и пишет начисто.

«В 1932 году был последний случай неорганизованного пьянства. Один зав праздновал годовщину службы, засиделся, ведь это редкость. Ну, с радости и напился...

Вино и спирт можно достать только в главной коммунистической аптеке...»

— Отомстил,— говорит полковник. Он отсидел ногу, вытащил ее из-под стола и начал растирать. По ноге ходили мурашки, нога была старая, сухая, слабевшая с годами. «Это надо принять во внимание».

«В будущем люди будут ходить без ног. Пневматические колеса, привязанные к ступне, обладают скоростью 25 верст в час. Пока достаточно. Кроме того, омолаживание доступно любому из товарищей, независимо от пола и возраста. А как они будут умирать — это можно переработать в примечаниях,— думает полковник,— смерть не такой важный вопрос, если люди живут нормально до ста лет...»

Теперь само ущелье. Озеро. Да, конечно, необходимо широкое озеро,— озера вообще нет в ущелье, воды вообще в ущелье маловато, кроме ручейка, ничего нет. Потому-то озеро и должно быть. Хорошая свежая лужа, ее нужно населить.

Он пишет на полях для памяти:

«Рыба в озере: лопато-зуб,
сазан,
караси (пожирнее),
форель.

Желательны моторные лодки. На выступе над озером научное кино, по коммунистическим праздникам конкурс ораторов».

Лунная тишина лежит в доме. Какая-то мошка бродит по голове полковника и смущенно звенит. Он тщетно ловит ее.

«Ущелье сейчас — очаг малярии. Болезни — они очень живучи. Необходимо оговорить: малярия как болезнь редко, но еще бывает, так как причиной тому служит слишком долгое пребывание товарищей коммунистов в садах вне рабочего времени».

Следующий параграф — шелководство. Блузы и штаны строятся из шелковых материалов. Здание уже готово у него, но упущена техника. Он пишет: бараки для выкармливания родовитых червей снабдить лифтами, чтобы доставка в третий этаж коконов происходила незамедлительно.

О, тяжелая и сладкая ночь организатора! «Если еще эта девица будет дразниться на картинке, я пущу в нее

чернильницей»,— думает полковник, поднимая глаза от страниц будущего.

Малейшее упущение потом скажется как бедствие. Должен человек есть рационально или нет? Должен. А почему об этом нет нигде указаний, как будут люди есть через двадцать пять лет? Здесь не Европа, он прожил здесь шестьдесят лет с лишним, и местные жители все шестьдесят лет ели руками и руками едят сейчас.

«Оставить этот вопрос открытым»,— пишет он.

Распределение меню — дело легкое. Рабочие-коммунисты получают от шести до восьми чай, кофе, молоко, яблочный сидр, разные холодные закуски. От двенадцати до двух обед из двух блюд и фрукты. От шести до восьми то же, что и утром. Прохладительные напитки отпускаются во всякое время с шести утра до девяти вечера как в столовых, так и на квартирах.

Но ведь они избалуются, они захотят спать до десяти часов. Шалишь! Он думает минуту и записывает: все кровати снабдить пружинами, в пять часов утра свертывающимися автоматически, несмотря на положение спящего.

— Это резон,— говорит он, закуривая. Он медленно перечитывает страницы. Ущелье за стенами его дома дрожит от ярости. Ничего, оно будет посрамлено. Тут глаза полковника встречают вызывающую красоту олеографической девушки снова. Он пускает три кольца дыма: все люди, нельзя их лишать прелести существования. Закон размножения требует тоже уважения. В какой параграф это можно вставить? Ах, вот! Есть! Общественный сад — что загс. Загс — это акт регистрации, уважаемые люди, сейчас,— он сам читал в газетах,— и те требуют приятной обрядности и уютной красоты. Полковник вооружается снова пером.

«...В общественном саду сделать три аллеи: аллею встреч из кипарисов, аллею вздохов из самшитов и аллею свиданий из мимоз».

Вопрос урегулирован.

Ведерников становится строгим и неподкупным. Как трудно одному, какой штат сотрудников имел старый бог, когда он сооружал вселенную. Как раз кстати: вопросы управления, на этом можно закончить ночь. Уже рассветает. Кубилай на дворе звенит цепью.

«...Высший совет работает шесть часов в день. Секретов ни от кого нет. В главной конторе имеется жалобная книга, где все могут писать что угодно. Жалобы решаются

большинством голосов. Несправедливости места нет. Случайные злоупотребления (тут приложить список: кражи, убийства из ревности, неприличная брань и прочее) незначительны. Ими ведает верховный суд Республики». Точка.

Лихорадка творчества кончилась. Ущелье уничтожается все больше с каждой ночью. Но разве эта глушь поймет полковника? Ветки стучат в окна, точно говорят: погоди, погоди... Он бережно закрывает альбом и гасит лампу.

Откуда началось невероятное увлечение полковника Ведерникова? Почему понадобилось ему изменить лицо земли до неузнаваемости, истребить покой пустыни и гор, с которыми он прожил всю жизнь, проводить ночи в легкомысленном растрачивании собственных фантазий, похлопывая по плечу неподвижность, окружавшую его? Переворот в душе полковника совершился не в октябре, но много позже. Была сделана внезапная ревизия души. Оказалось, что до революции пустыни были пустынями, тишина — тишиной и ничего не предвиделось, не от чего было даже вести счет времени. К политграмоте он плыл через океан скучной обыденности, и вдруг все ветхие законы мира оказались сдвинутыми в этой бумажной Америке, что появилась в его столе. Он нашел мост, на котором устроил встречу сначала с солдатами, им он говорил всю жизнь: поправь фуражку, подбери живот, вычисти сапоги, говорил не грубо, но строго, и больше ничего. И это кончилось. Теперь он раскрывал красноармейцам книгу, которая перетряхнула его самого. Политграмота вернула ему покой и равновесие. Два года тому назад пустыню осматривал товарищ из центра. Было у него простое, круглое лицо и большие глаза. Он осматривал все спокойно, не нуждаясь в почете, но полковник видел, как все тянулись к нему, и он отвечал на все сейчас же и очень уверенно.

Товарищ из центра спросил человека в кавалерийских штанах, следовавшего за ним, почему он не взял в штаб такого спеца, как Ведерников.

Бригадный ответил почтительно, что полковник стар, по слухам, имеет геморрой и одышку, и служба была бы для него обременительной.

— Как вы смотрите на это, товарищ Ведерников? — спросил его большой большевик.

— Товарищ командир,— отвечал полковник,— это

верно, одышка у меня есть, слух о геморрое пока не соответствует действительности, но ездить верхом мне трудно. Разрешите мне сделать доклад о будущем этих мест в категорической форме...

Тут товарищ из центра пошел с ним рядом, и за ними шла толпа любопытных и сопровождающих лиц. Они проходили как раз мимо исполинского платана, семь стволов коего уходили в зеленую тайну листвы, и если поднять глаза к его вершине, то листва целым зеленым взрывом летела в небо. Там, где разветвлялся ствол, на высоте человеческого роста темнела природная беседка. Ведерников указал на нее.

— Покойный губернатор Фазанчаев садился здесь лет двадцать назад с дамочками пить чай наедине, и дерево было закрыто парусиной с шумящим кумачовым верхом. Там стояли стулья и был даже устлан пол.

— Любопытно,— сказал товарищ из центра, задерживаясь у дерева.

— Теперь дерево вернулось к естественной жизни. По старости лет оно нуждается в музейном охранении. Надо следить, чтобы вырубались ветви, снималась гнилая кора...

— И что же? — спросил товарищ из центра.

— Кто освободил дерево от дамочек и излишеств губернатора? Освободила пролетарская революция, многоуважаемый товарищ командир.

Большой большевик поднял брови.

— Разрешите, чтобы не занимать вашего времени, представить вам доклад о будущем этого места в письменной форме.

— Хорошо,— сказал товарищ из центра, прощаясь с ним, и, увлекаемый служебной толпой в другую сторону, отошел от платана.

Через два дня, когда товарищ из центра уже занес ногу в автомобиль, полковник, раздвинув ряды служебных и любопытных людей, подошел к автомобилю.

— Я прочел ваш доклад,— сказал ему товарищ из центра.— Доклад любопытный. Может, что и сделаем. Спасибо.

— Служу Республике,— ответил Ведерников, прикладывая руку к фуражке.

Приезжий товарищ не был брехуном. В поселке спустя немного времени появились два инженера. Они ежедневно совещались с полковником и лазили по горам, доб-

росовестно показывая пограничникам мандаты совершенного образца.

Каждый параграф полковничьего сочинения они снабжали комментариями, состоящими большей частью из ругательств, сооруженных на ходу при помощи терминов технического словаря и слов народной мудрости. Перед отъездом Федосья Родионовна наварила им галушек.

— Что же,— сказал полковник,— что вы скажете мне на прощанье?

— Я скажу вам на прощанье,— начал один из них, помоложе,— все, что вы написали, сделать можно, но какими средствами? Форда из Америки выписать, что ли? Вы говорите — трамвай, а тут жителей сто человек.

— Двести,— поправил полковник.

— Разве что в смысле учета будущего природного инвентаря...

— Конус ему в гиперболоид! — мрачно сказал второй.— Нас вчера чуть кабан не зарубил. Ничего не поделаешь, товарищ. Птичка треплется на ветке, такова природа.

Они уехали, выпив два самовара и съев все галушки. Кубилай охрип от лая и устал гоняться за ними.

— Это первые ласточки,— сказал полковник,— кабана испугались. Городские люди. Я буду писать подробнейше. Я сделаю все сам.

С тех пор редкая ночь не была творческой для Ведерникова. Даже Федосья Родионовна стала обижаться, что он пренебрегает ею ради чернильницы, и зло подсмеивалась за обедом и ужином над его бумажной любовью.

Он заключил договор с Ревко, открыл ему тайну своего альбома, и единственная машинистка Совета перепечатывала сокращенный труд полковника, не задумываясь над непонятными словами, и писала вместо: «паллиатив» — «локомотив» и вместо «баллон» — «бульон»... Потом рукопись отправилась в Москву к тому товарищу из центра, что осматривал пустыню со всех точек зрения, и там она исчезла безответно.

Двухлетний юбилей со дня отправки ее полковник праздновал, беседуя с Ревко. Ревко убеждал его, чтобы он не волновался, что рукописи в Москву шлют со всей России, и там установлена очередь на чтение.

— И я так думаю,— говорил полковник,— каждому охота свой медвежий угол поскорее привести к красоте ближайшего будущего.

Бакланов и приезжий метеоролог Сарычев сидели в ущелье у ручья. Ручей равнодушно гнал свою полосу. Сарычев мешал палкой в котелке, поставленном на два плоских камня. В котелке варилась черепаха. Вода кипела ключом.

— Ничего не выйдет,— сказал, плюнув, Бакланов.— Попробуйте-ка вылить.

Сарычев слил воду и положил черепаху на песок. Она высунула голову, огляделась и поползла в ручей. Ротмистр перевернул ее палкой на спину.

— Видали? Так третий раз.

— Отказываюсь понимать,— пробормотал Сарычев, вытянув нижнюю губу.— Что это за механика?

— А вот и механика,— ответил ротмистр.— Не варится — да и все, такая порода. Бросайте ее! Тут еще и не то бывает.

Сарычев поднял черепаху двумя пальцами. Она спрятала голову, отверстие закупорилось почти герметически. Он раскачал ее и зашвырнул в кусты. Ротмистр взял котелок. Они пошли, рассекая безжалостно джунгли.

— Товарищ Сарычев, я раз забрался в Персию, черт ее знает как: охотился ночью, незаметно границу перешел, все по щелям, с туркменом одним,— молод еще был,— за козами гонялся. Ну, заночевали в такой, значит, чертовой дыре. Утром просыпаюсь, смотрю: чернющий кабан стоит в кустах и глядит на меня. Я винтовку, бац,— промазал. Стоит он как невредимый. Я другой раз — бац! — хоть ты што. Промах, а он не шевелится. Неужели, думаю, с первой пули хватил, и только сомневаюсь. Подхожу осторожно, что б вы думали: камень. Умереть сейчас, из черного камня кабан, здоровенный...

— Я где-то про это читал,— говорит метеоролог, прыгая через камни.

— Да не могли вы читать, что вы мне рассказываете?

Ротмистр обиделся. Они молча пришли в поселок. Тихий плеск летней жизни имел свою звуковую таблицу. На вершине ее помещались редкие удары топора, неотчетливые голоса хозяек, кричащие петухи и ослиный рев, потом шли шаги, скрипение деревьев, разнообразная музыка дворов, и уже где-то совсем внизу таблицы пели комары и отряхивались листья. Над палисадниками свисали ветви ореха, клена, лоха. Кубилай подкатился к ногам гостей, над его пыльной шкурой играли мухи.

Полковник пил молоко с черным хлебом.

— Тебе пакет с почты,— сказал Бакланов.

Пакет был из города, куда Махмуд отвозил в свое время полковничий ящик.

У Ведерникова, отвыкшего от писем, выработалась привычка придавать каждому пакету особый сверхобычный смысл. Поэтому он не сразу читал письмо, а относил его себе в спальню и читал под вечер, когда все утихнет и он подготовится долгим дневным раздумьем к восприятию известия.

— Товарищ Ведерников,— сказал метеоролог,— вы человек культурный, о вас хорошая слава идет, современные запросы жизни вы верно ощущаете. Не хотите ли согласиться на одно предложение?

— Слушаю, с удовольствием слушаю,— протянул полковник.

— Он у нас вроде профессора,— сказал Бакланов.

— Слыхали вы, конечно, об облачности, о ветрах, об осадках. Мы вам поставим здесь дождемер, если вы согласитесь вести наблюдения. Ну, жалованье, конечно, ну скажем, восемь, девять рублей. Так как?

— Всей душой, всей душой,— заволновался полковник.— Гурий, попроси Федосью Родионовну самовар поставить. Единственное наше удовольствие и развлечение — самовар. Поговорить ли, посидеть ли — самовар... Это скучно, но что же поделаешь? Если бы здесь жили писатели из самых пишущих — и они бы только писали про самовар. Какой это быт... Вот, скажем, лет через двадцать пять...

Позже, когда стемнело и Гурий разложил свои тетрадки, полковник велел ему убрать их.

— У нас сегодня урока не будет, повтори старое.

Гурий, обрадовавшись, убежал на двор играть с Кубилаем. Полковник принес свой заветный альбом, но, прежде чем раскрыть его, заговорил о поселке:

— Живут люди, конечно, везде, но у нас скудность воображения особенная: молоко, коровы, хлеба немного, дыни жрут, дети бегают. А рядом ущелье видали? Богатейшая вещь! Воды нет — врете, друзья мои, а ручей, весной — такая силища, не знаешь, куда спасаться. Летом пересыхает, сделайте, чтобы не пересыхал; людей нет, постарайтесь — народятся. Так, в общем, я позволил себе в подмогу центральным органам собрать все свои знания и, простите за неточное слово, свою фантазию в общих чертах. Разрешите, я оглашу...

Тут полковник откашлялся и начал читать высоким голосом свою схему в виде рассказа. Он читал ее как декрет, впадая в пафос, указывая глазами на особый смысл того или иного параграфа.

Сарычев слушал внимательно, удивляясь убежденности фанатика, жившего в этом старом и сухом человеке.

Ротмистр вмешался, воспользовавшись паузой.

— Что ты все понаписал: завод, производство, а где же охота? Я без охоты сдохну. К чему мне твой яблочный сидр, от него только в животе булькает. Это ты про пьянство меня поддел, что ли, что водку стал в аптеках продавать? Я знаю. Ты, пока не поздно, об охоте что-нибудь сочини.

— Сочинил,— сказал полковник,— вот фазанов будет в парке видимо-невидимо. Их бить запрещается круглый год. Они почти ручные, подходят и берут у желающих пищу из рук. Общая охота на них производится раз в год, в праздник годовщины Октября. И есть еще специально для тебя... Вот: благодаря запретительному закону вокруг северных прудов образуется густая специальная чаща, куда будут приходить барсы и даже тигры парами из Персии. Окружное общество охотников устраивает облавы во всесоюзном масштабе, на кои имеет пригласить всех лучших охотников республики.

— То-то же,— заметил ротмистр.— А все-таки, знаешь, скука будет желтая. Ну, я всех барсов перебью, а потом и сам застрелюсь от нечего делать.

Сарычев сказал:

— Знаете, у вас гладкий слог, очень свободный. Вы, верно, много читаете.

— Да,— отвечал Ведерников,— только писатели общегражданские меня не привлекают. Я читал политграмоту, но это слог сухой и научный. Мне писать им трудно. Я же искал мужественного и простого слова почти военного порядка.

Тут он встал и вышел.

Возвратясь, он положил на стол книгу в черном переплете.

«Неужели Библия?» — подумал Сарычев, ища крест на крышке, но креста не было.

— Я вам прочту отсюда несколько примеров образного слога. Первый пример: «Я заметил несколько лошадей, жалующихся на ноги. Приписываю это отчасти безобразному полу...» Как сказано, ни с чем не спутаешь! — Пол-

ковник вдохновился.— Или дальше: «При езде по улицам,— читал он,— казаки бьют жителей нагайками, сбивают с голов продавцов корзины с лепешками и фруктами, пьянствуют, приводят женщин и после зари производят в помещениях своих бессмысленный шум». Какая проза! Так только Гоголь писал. Вы посмотрите, как это внушительно и легко. А вот дальше: «Лошади должны быть наскаканы, а так называемую джигитовку, то есть чрезмерное нагибание тела, подымание с земли руками разных предметов и всякое бесцельное кувыркание как вредное акробатство воспретить!!»

— Да что вы читаете? — спросил Сарычев, но полковник гремел дальше:

— «Когда раздастся священный бой к атаке, в эту великую святую минуту артиллерия должна забыть себя. Артиллерия должна беззаветно лечь вся, точно так же, как беззаветно ляжет вся пехота, атакуя противника». Какая стихия! Это Шекспир, как я еще с детства помню, так писал.

— Да что же вы это читаете, черт возьми?! — воскликнул Сарычев.

— Приказы Скобелева,— ответил полковник.— Возвышенный организаторский был ум, слог его приказов послужил предметом моего подражания и ставится у военных за образец.

— Что же сделали вы с вашей рукописью?

Полковник рассказал ее историю. Ответа из Москвы не было. Ведерников поник. Буря, сотрясавшая его воображение, погасла. Самовар уже похолодел, нужно было ложиться спать. Ротмистр лег на террасе. Гостю полковник постелил в комнате, рядом со спальней. Сарычев долго не мог забыть декламирующего полковника, ротмистра, перевертывающего черепаху, потом все стало смешиваться, дерзкая нагота девушки, висевшей в комнате полковника, смешалась с удивительной сказкой о будущем поселка, написанной языком приказов. Его ухо зацепил странный лязг и визг на дворе. Ставни единственного окна были закрыты со двора, ничего нельзя было рассмотреть.

«Неужели полковник пилит дрова ночью с ротмистром? Вот уж парочка!» — подумал он. Заснуть было трудно. Наконец он все-таки ушел в сон, вдоволь наерзавшись в постели, но и сквозь сон он до утра слышал скрип пилы, то удалявшийся, то приближавшийся.— Что за

чушь,— говорил он сам себе, просыпаясь на секунду,— с ума они сошли, ночью пилят дрова!

Утром, идя умываться, он снова поймал этот звук охрипшей пилы. Он недоуменно выглянул из-за угла. Кубилай бегал на цепочке, цепочка была прикреплена к толстой проволоке, и, когда собака натягивала ее, проволока ныла, как пила.

Сарычев выругался с досады и подставил голову под струю воды.

Бирюзовое небо над поселком не омрачалось ни единой тучей. Высоко над грядами томатов, моркови, лука, над широкими листами табака стоял на серых ногах серый цилиндр. Это и был дождемер. Внутри его изогнулась перегородка, защищавшая воду от испарения. Он одиноко торчал, обреченный на полное бездействие, ибо дождей не было и не предполагалось в ближайшие месяцы.

Засуха давно уже выпила последнюю мутную воду из тощих канав; ручей в ущелье местами превратился в нитку; в фруктовом саду листва стояла слегка металлическая. Всюду носилась пыль. Ведерников заботился о дождемере, как о ребенке. Ежедневно утром в семь часов он шел к нему с табуретом, осторожно снимал цилиндр, ставил на его место запасное ведро и уносил дождемер в комнату. Дождемер был сух, как полено, состарившееся на теплой кухне.

Ведерников опрокидывал его над стеклянной коробкой, стены которой были изборождены делениями, выражающими высоту водяного слоя. Но так как никакого водяного слоя не было, то опрокидывать дождемер вообще не стоило. Тогда, качая укоризненно головой, Ведерников заносил в ведомость особые печальные знаки, удостоверяющие отсутствие дождя. Он обтирал дождемер и снова относил его на старое место. Он не виноват, что дождей нет, не мог же он лить туда воду сам. Жалованье 8 рублей 10 копеек он получал аккуратно. По истечении недели он собирал бюллетени, говорившие в один голос о безводии, и, сведя их в один трагический список, отсылал его в город. Он заставил Гурия и Федосью Родионовну проникнуться уважением к науке, но они снова потеряли его.

— Вот уж эта наука,— ворчала экономка,— ни за что деньги получать? Если так везде, то видать, куда парод-

ные денежки уходят. Пустое ведро под солнце ставить, это я и сама сумею.

— У тебя, Федосья Родионовна, не голова, а кастрюля,— отвечал раздраженно полковник и шел в сад собирать упавшие яблоки. Сад, покрытый пестрой сеткой теней, походил на зеленую беседку. Слегка похрустывая коленями, наклонялся Ведерников за ярко-румяными плодами, подымая их, нюхал тонкий аромат, шедший от свежей кожуры, сдувал с них пыль и землю и складывал в корзину. Приподнявшись еще раз, он взглянул вверх и вздрогнул. Перед ним стоял подошедший с беззвучностью призрака Ревко. Полковник знал хорошо все изменения лица этого большевика и садовода и сейчас удивился чужому и злому его выражению. Ревко сказал очень холодным голосом:

— Товарищ Ведерников, положь-ка яблоки, я до тебя имею дело. Нужда поговорить особым образом.

С этими словами он подошел к нему вплотную, положил руку ему на плечо и сказал, пристально глядя в глаза полковника:

— Эх, ты, а мы-то тебе верили!

Полковник выпрямился. Он почти надменно смерил Ревко. В правой руке он сжимал яблоко, левую он положил в карман старого серого френча и спросил:

— Что я сделал?

— Да вот, говорят,— холодным шепотом начал Ревко,— говорят, что у тебя богатство большое скрыто где-то...

— У меня богатство? — полковник пожал плечами.

— Драгоценная ваза, прямо сказать, ей цены нет, а ты ее утаил от всех про запас. Это дело, а?

— Ваза,— полковник выговорил это слово легко, оно было воздушное, немного теплое, продолговатое, как яблоко из его сада.— У меня нет вазы. У меня была, а теперь нет.

— Где ж она? — спросил Ревко, темный от волнения.— Ты знаешь, так не шутят. Мать честная, это народное достояние, а здесь, хотя и глушь, мы обманывать себя не дадим.

— Пойдем,— решительно сказал полковник, бросая яблоко в корзину и забывая ее в саду. Он, взволнованный, провел Ревко в свою спальню.

— Садись! — предложил он почти дружески.— Вот тебе ваза.

Полковник распахнул шкаф, раздвинул книги и вынул огромную фотографию. Ревко увидел бронзовую вазу

китайской работы, блистающего дракона, охватившего ее, лодки с четырехугольными парусами, китайцев, фигурные ворота, изогнутых животных, цветы, похожие на животных.

— Про это идет речь? — спросил полковник, садясь напротив Ревко.

— Дым-то не без огня,— пробормотал тот, удивляясь немного спокойствию полковника.— А где же она? — Он обвел комнату, думая увидеть вазу тут же, где-нибудь на столике.

— Эту вазу,— медленно и страшно волнуясь, говорил полковник,— мой сослуживец старой армии полковник Николай Романов, более известный под названием Николая Второго, получил лично в числе других подарков из рук японского императора как извинение за то, что один японец случайно ударил Николая Второго при его неправильном поведении в одной кумирне по голове тупым тесаком. Николай Второй, не имея природного дара ценить хорошие вещи, подарил эту вазу свитскому генералу Кособрюхову. Генерал Кособрюхов, умирая, завещал ее своему сыну Григорию, прозванному «Горчицей» за грубость и злость своего языка. Горчица проиграл ее мне в карты в тысяча девятьсот четвертом году при отправлении в Маньчжурию, где японский снаряд разорвал его на три части.

Ревко слушал, поворачивая фотографию во все стороны. Лицо его выражало недоверие. Узкие глаза его сверкали, он стал походить на лису.

— Означенная ваза стояла в моем кабинете тринадцать лет, и я изучил ее, как самого себя. Это была очень прекрасная и вдумчивая вещь. Человек, который ее сделал, много думал над собой и над жизнью. У него, несомненно, было здоровое сердце, а мозг работал, как у начальника генерального штаба. Французский археолог Кане давал мне за нее пятнадцать тысяч франков в тысяча девятьсот восьмом году и соблазнял меня всей роскошью Парижа, но я не отдал ее. В тысяча девятьсот семнадцатом году мой дом в городе подвергся исторически справедливому нападению вооруженного народа. Дом разнесли по кирпичу в порыве энтузиазма. Я лежал больным здесь, в поселке, и не знал, какая участь постигла вазу. Встав с кровати, я очень жалел, что такая редкость разрушена и исчезла, вместо того чтобы учить искусству новое, молодое пролетарское поколение. Я поехал в город и нашел мою вазу в мусоре с отбитыми частями. У двух

китайцев упали головы, и дракон потерял лапу. Я вазу увез сюда...

— Так,— сказал Ревко.— Налицо, милый человек, полное признание и полное сокрытие ценности. Вот она где — контра.

— Я не скрыл ничего, отвезя вазу сюда, я починил ее, я еще несколько лет наблюдал ее и все-таки вернул трудовому народу. Я стар, и мне некому оставлять ее.

— Знаем мы этот трудовой народ,— пробормотал Ревко.— Так где же ваза?

Полковник порылся в ящике и достал прямоугольный твердый конверт, тот самый, что привез ему Бакланов из города.

— Вот она,— сказал он.

Ревко развернул бумагу, и лицо его стало постепенно светлеть.

«Областной музей посылает благодарственный лист товарищу Ведерникову, Денису Васильевичу, за пожертвованную им древнюю китайскую вазу династии...»

Дальше читать Ревко не стал — не стоило. Послужной список китайской вазы окончился.

— Убери! — сказал Ревко мрачно.— Живи на здоровье! А ведь он сволочь.

— Кто он? — спросил полковник. У него похолодело чуть сердце, он даже оперся руками на стол и глядел согнувшись. Ревко положил фотографию на окно.

— Сам догадаешься,— сказал он, вставая.— Мне надо идти предупредить. Хорошо, что так вышло, а то ты попыхтел бы. На этот счет у нас строго. Свой глаз — алмаз, хотя и не всегда.

— Так это он? — проговорил полковник, задумчиво оседая в кресло.— Так это он донес?

Небо оставалось не запятнанным никаким подозрением. Поселок оправдывал свое название. Дождемер стоял в низменной компании овощей и заборов и академически скучал. Федосья Родионовна презирала его. Гурий подолгу смотрел на него, ожидая чуда. Чуда не было. В тишине огорода скрипели и хорохорились жуки. Серый, как дождемер, Ведерников, подметая двор, думал: «Ведь пойдет когда-нибудь дождь. Пойдет дождь, прибавится хлопот, попрошу прибавки. Скоро можно будет продавать яблоки. Почему из Москвы нет ответа?»

Многие мысли рождались у него, когда он медленно подметал свои владения. Кубилай ходил под проволокой, хватая метлу с остервенением неизжитой молодости.

Недавний разговор с Ревко мучил полковника до сих пор. Это было самое мучительное, что вошло в жизнь на старости лет. Если бы портрет полковника напечатали в журнале где-нибудь, всякий бы сказал, что это изображен путешественник по далеким странам,— такое было у него желтое и сухое лицо, объеденное годами, жарой, пустыней; теперь же он за эти несколько дней похудел и пожелтел еще больше.

Подымаясь вечером на террасу, он услышал, как хлопнула дверь в кухне, где жила Федосья Родионовна. Он хотел пройти в свою комнату, но за дверью в кухне заговорил вдруг Бакланов.

— Федосья Родионовна, выходите за меня, я не молод, вы тоже. Да разве я молод? Что вы говорите? Ну так выходите на время. Я не смеюсь, да вовсе же не смеюсь. Эх, ты сердитая?

Полковник кашлянул. Федосья Родионовна сейчас же закричала громче обыкновенного своего крика:

— Уйдите, ради бога, я вас скалкой вот! Козел какой! Времени не нашел, на ночь глядя. Вас там зовут. Ну-тка отсюда!

Ротмистр появился на пороге. Полковник, не подав ему руки, прошел в спальню. Бакланов шел за ним, как механический истукан, заражая воздух пьяным дыханием. Потом он вынул платок и долго сморкался, перебирая ногами. Полковник сидел лицом к окну и молчал. Ротмистр сел, встал, походил по комнате, потрогал олеографии с девушками, усмехнулся, расстегнул ворот рубашки и засмеялся. Ведерников молчал, лицо его укрылось в темноту.

— Денис,— закричал ротмистр,— Денис, на коленях прошу — уничтожь свою схему, дай я ее сожгу, проклятую. Сниться она мне стала по ночам. Не порти природы, Денис!

Полковник не отвечал.

— Ты гордый! — снова закричал Бакланов.— Ты с большевиками дружишь, ты через свою голову заручку имеешь, а я нет, не терплю их вовсе. И водка у них плохая, Денис, я у тебя в долгу, прошу прощения в таком случае.

Он взял папиросу со стола Ведерникова и сжег три спички, пока раскурил ее. Полковник молчал слишком тягостно. Ротмистр протянул руку, чтобы взять его за плечо, откачнулся и почти весело и молодо сказал:

— Я не про Федосью Родионовну думаю. Больно она нужна мне. Я баб найду. Я про вазу, про вазу, Денис.

Ведерников содрогнулся, он сделал непонятное движение.

— Денис,— продолжал ротмистр,— я про вазу только и говорю. Хотел обратно в пограпохрану, гонят меня, а, гонят. Ротмистра Бакланова гонят из этого пустынного учреждения. Ну, что ты скажешь? Я хотел их подкупить, ах, ты, десятый барс — сорвалось!

Он неожиданно зачихал и полез за платком.

Ведерников встал и торжественно поднял руку.

— С кем я говорю? Это не слова бывшего офицера. Это пьяница, потерявший все святое.

— Верно! — восторженно загрохотал ротмистр.— В самый центр, Денис. Тряхнем стариной. Сейчас это что? Бродяга пришел в приличный дом и напакостил. Друг, тряхнем стариной! Соорудим кукушку. Кукушечку. Я как-никак ветеран этого края. Тебе тридцать очков вперед даю за старость.

Ведерников отступал от него в глубь комнаты, но ротмистр уже ловил его за рукав, за плечо, за грудь, умоляя и заискивая каждым движением.

— Старичок мой, губернатор, ваше превосходительство, кукушечку позвольте. За оскорбленье кровью отвечать, а? Как последний офицер российской его величества пограничной стражи требую удовлетворения,— сказал он мрачно, почти наваливаясь на полковника.

— Таких нет,— сказал Ведерников, оттолкнув ротмистра и выходя на середину комнаты.

— Не признаешь,— забормотал ротмистр,— по схемочке соображаешь? Сорок очков вперед, господин полковник, товарищ Денис.

— Говорю, как с чужим, слышите, сударь,— твердо выговаривая слова, пронзительно произносил Ведерников.— Секундантов нет,— обойдем правила. Я принимаю вызов.

Ротмистр, шатаясь, расшаркался.

— Федосья Родионовна через полчаса подает самовар. Гурия нет дома. Мы идем сейчас в сарай, а где оружие, а чем драться?

Ротмистр оглядывался, держась за спинку стула. Полковник поймал его взгляд и топнул ногой.

— Сударь, можете не искать. Второй донос не спасет вас и не устроит. Оружия огнестрельного я не прячу. Впрочем, у меня есть кинжалы, остаток коллекции.

Он, волнуясь, бросил на стол два туркменских клинка. Они были тупые и декоративные, как будто только что выпали из оперетки. Ротмистр захохотал, разрывая левой рукой ворот рубашки окончательно.

— На таких кинжалах можно скакать в Персию к шаху и к шахской матери,— сказал он, запуская руку в карман. На его ладони закачался истрепанный ветхий браунинг.— Хорошо, Денис,— сказал он, качнув головой на браунинг.— Здесь две пули,— добавил он немного разочарованно.

— Мы стреляем по очереди,— провозгласил полковник и, круто повернувшись, пошел на террасу.

У входа в сарай моталось на веревке белье. Они прошли между прохладных, ободряющих штанов и рубашек и остановились.

— Первый — ты,— сказал ротмистр, отдавая браунинг.— Ты оскорблен до глубины, а я, может, самой черной смерти ищу. Идем. Сто очков вперед.

Они вошли в сарай. Полковник зажег спичку и вытянул руку. В сарае лежало сено, грабли, лопаты, старые седла, дрова, железная кровать и много мелкой рухляди.

Ротмистр пошел сразу в самый конец сарая. Темнота взяла его за плечи. Спичка догорела.

«Сколько шагов здесь,— думал он, производя шум, подобный неумелому джаз-банду, задевая каждый шаг за какой-нибудь по-своему звучащий предмет.— Засыплюсь так, нужно присесть, выждать».

Сарай казался пустым и мирным. Даже мыши перестали возиться. Ротмистру даже показалось, что он в сарае один. И тогда, ужасно втянув голову в плечи, согнувшись и держась левой рукой за обломок какой-то бочки, он крикнул дважды: «Ку-ку», «ку-ку»,— и упал, ударившись головой о стену.

Выстрела не было. Он, не меняя позы, вытянул руку, нащупал пустое место впереди, снова закричал пронзительно: «Ку-ку»,— и лег на живот. В ушах колыхалась самая жирная, черная тишина. Выстрела не последовало.

«Ждет,— подумал он со злостью, трезвея,— ждет, сатана!»

Тут он встал, и кастрюля с полки упала ему на плечо. Он крикнул от боли и присел, потом прополз вбок, вскочил и, прижав руку ко рту, сквозь пальцы прохрипел: «Ку-ку». Только эхо отозвалось слабым шумом. Тогда он стал кружиться, опрокидывая все на дороге, разметывая рука-

ми и ногами вещи, взрывая сено, крича «ку-ку» в самой смертельной темноте все чаще и громче, «Ку-ку» летело, ударяясь, как он, об стены, о вещи.

— Бей, бей! — кричал он, стоя с поднятыми вверх руками. Пояс его лопнул, и брюки были готовы покинуть его.— Я тут,— кричал он в исступлении,— бей прямо! Пли!

Он стал искать полковника. Ведерников распахнул дверь и вышел на двор. Ротмистр, весь в синяках, оставил сарай, придерживая пояс, потный и расслабленный.

— А,— говорил он, прислонясь к сараю,— чего ты, а?

Полковник обернулся к нему, бросил браунинг на землю и положил руки ему на плечи.

— Ты дикий дурак, а я — я тоже старый дурак,— сказал он, чуть не плача.— Подумай, мы-то ведь одни здесь из прежних зажились, двое, как пни. Что же, друг друга жечь будем, а? Есть будем, да?

Ротмистр поднял браунинг и сказал просто:

— Прости, старик, я — сволочь. Давай поцелуемся! Тоже кукушку выдумал.

Его шатало пьяное раскаяние. Они крепко обнялись. Федосья Родионовна закричала в темноту с террасы:

— Да где же это вы запропастились?! Самовар давно ушел, полуночники.

— Мы здесь,— закричал ротмистр,— я не буду пить чай. Я тебе за это,— он сказал в самое ухо Ведерникова,— я тебе за это барса принесу.

Трясти каждое утро пустой дождемер становилось позорным. Еженедельные бюллетени уходили, украшенные маленькими, чуть заметными знаками. Во время войны о таком положении писали глухими словами: «На фронте без перемен». Полковник готов был отдать четверть месячного жалованья за несколько минут самого жидкого, самого легкого дождя. Дождемер требовал, чтобы его опрокидывали ровно в семь часов утра, и не позже. Традиции Ведерникова тоже требовали этого. Жизнь становилась затруднительна и скучна.

Поселок Бирюзовый не замечал полковника вообще, имея быт нетребовательный и неподвижный. Коровы ходили по улицам утром и вечером; тихо разговаривали хозяйки; изредка проходили, выплевывая дынные семечки, пограничники. В чайной сидели аборигены из тех, кому некуда спешить и нечего делать. Проезжал туркмен на высокой холеной лошади; шли похожие на украинцев кре-

стьяне с мотыгами на плечах, в диковинных шароварах с красными кантами, в пыльных высоких сапогах.

Ревко ворвался, еще издали размахивая газетой. Он вбежал, спотыкаясь, на террасу, крича Федосье Родионовне: «Где товарищ Ведерников?» Полковник за домом выколачивал матрац.

— Клопы появились, что ты скажешь? От сухого климата очень яростны. А что в газете? Эй, Ревко, да ты не болен?

Ревко протянул ему газету, грустно гримасничая. Ведерников сразу нашел то место, где разместились особо черные, необыкновенные буквы. Газета сообщала о смерти товарища из центра, приезжавшего в свое время в Бирюзовский поселок.

— Умер,— сказал, теряясь, Ведерников,— не может быть! Умер?! Так вот почему от него ответа не было. Видно, долго болел.

— Мощный герой был,— ответил, кривясь, Ревко.— Сколько фронтов окрылял — и на тебе! Тяжкий урон, ничего не попишешь.

— А как он здесь ходил?! — сказал Ведерников.— Сразу видно — отец командир. Я в свою жизнь нигде не воевал, хотя я живу долго, но с детства военному режиму подвластен. Я сразу вижу человека. Ревко, друг, какая же судьба мою рукопись постигнет? Изорвут ее.

— Такие бумаги не рвут,— сказал твердо Ревко,— она пойдет по линии. Как линия дойдет до Бирюзового поселка,— так и ответ, извольте видеть. А теперь там, конечно, в Москве, не до того. Мы что? Мы глушь, азиатское столпотворение.

— Дай-ка газету,— сказал Ревко. Он пошел на террасу, говоря на ходу: — Сяду в тени, почитаю еще, что-то ноги не носят.

Полковник шел за ним, оставив матрац.

— Не дождусь я, должно быть,— говорил полковник, обозревая с места голую цепь гор, опускавшихся в зеленые волны джунглей,— не дождусь, что здесь моя схема преобразование сделает. Жить мне не сто лет.

— Меланхолия,— сказал Ревко, но в эту минуту резкий свист, шлепанье ног, шум, лай Кубилая взбили тишину, как подушку. Полковник сбежал с террасы, впереди него мчалась в сад Федосья Родионовна , Ревко остался сидеть с газетой. Пять мальчишек, загорелых, тощих, черных, в разноцветных рубашках завладели садом неожидан-

ным штурмом. Двое вцепились в Гурия, который катался с ними по земле, испуская всевозможные вопли. Трое, издали подбадривая сражавшихся товарищей, вовсю набивали карманы яблоками.

Федосья Родионовна схватила метлу и начала выметать грабителей. Мальчишки кинулись врассыпную и, как обезьяны, взлетели на глиняный дувал. Двое из них не избежали хорошего знакомства с метлой. Их разъяренные лица задержались дольше других на выступе дувала, с которого они кричали: «Подожди, ну, подожди»,— и ругались по-туркменски.

Гурий, охваченный пылом схватки, кидал им вслед камни.

— Откуда это? — спросил полковник.— Что за напасть? — Его мысли были так увлечены другим, что происшествие не взволновало его.

Гурий ответил сейчас же:

— Это школа из города переехала. Ну, они и пришли познакомиться.

Федосья Родионовна, ворча, собирала разбросанные яблоки. Полковник вернулся на террасу.

— Так как же, видно, ответа-то не будет?

— Будет,— сказал уверенно Ревко,— лет через десять...

На другой день, когда полковник и Ревко обсуждали газетные новости, в калитку вошел растрепанный и давно пропадавший Махмуд, крича во все горло:

— Иолдаш Ревко, иолдаш Ревко, иди сюда!

— Да,— сказал Ревко, вставая,— чего галдишь? Чего воздух трясешь?

— Меня Бакланов слал, говорил — пускай идет скоро, скоро. Барса есть, барса пришел. Желтый пшик... Большой пшик. Вчера пришел. Очень замечательный барса.

Черный наплыв стволов, листьев, ветвей дожидался луны, чтобы превратиться в светло-зеленый. Весь мир казался загроможденным. Тропинки умерли, лужайки исчезли. Где-то внизу булькала струя ручья. Темнота моталась на каждом уступе, летучие мыши, чуть посвистывая крыльями, предупреждали о неизбежности луны. Кусты растопырили свои ветви, будто проверяли наизусть количество их. Тогда в дебрях этой тяжелой темноты проскользнуло быстро серое пятно, потом оно оказалось дальше, потом оно начало спускаться с горы.

Это шел барс. Вздрагивая от избытка нервности, непре-

рывно морща нос и шевеля круглые ноздри, он то ложился на живот, то выпрямлялся, как громадная резиновая кошка, высовывая сухой шершавый язык. В одном месте он остановился и нюхал воздух, переполненный множеством запахов. Но над всеми господствовал запах дождя.

Барс начал волноваться. Он не любил дождя, он съежился, будто крупные полосы воды уже хлестали его по спине. Он стоял, скребя лапой, и чувствовал, как холодный мелкий песок скользит по подушкам лап и забирается под когти.

Потом он пошел, раскачиваясь, бесшумно расталкивая кусты. Он был одним из немногих повелителей этой зеленой империи, слишком обширной для него. Он мог охотиться, меняя громадные свои угодья на еще большие. На одной прогалине он присел, у него зачесалась спина. Выгнув голову, он водил зубами по коже, потом повалился на бок, вытянул ноги, стал кататься, как комнатный зверь, выпуская и вбирая когти.

Играя, он сбил лапой ветку, обгрыз ее, тонкий запах свежего дерева прошел в его мозг. Он взглянул на передние лапы и не узнал их. Они посветлели, они вышли из темноты. Он понюхал их, лапы были знакомые, его собственные, но посветлело все вокруг. Черная ветка, изорванная барсом, превратилась в коричневую, потом в почти белую. Он огляделся широкими изумленными глазами. Мир изменился торжественно и быстро. Выступили кусты, деревья, голубые обвалы гор готовы были двинуться в полночный путь великанскими шагами одногорбых.

Барс огляделся, вытянулся и пополз. Он дополз до края прогалины и взглянул вниз. В ушах его, как в морских раковинах, прошел далекий шум. Это кричали шакалы в пещерах внизу. Потом он услыхал пыхтение кабана, спотыкавшегося на крутом подъеме, потом он неожиданно поднял голову и увидел луну.

Она была похожа на круглый глаз чужого барса. Черный зрачок недвижно уставился в одно место. Барс присел на задние ноги и зарычал. Он не мог долго смотреть вверх: высота была ему непонятна. Он еще не отошел от легкого испуга, когда начал спускаться; он не смотрел больше, он нюхал следы, распластывался, ворча, по земле. Ему захотелось пить, но воздух, ветви, земля — все говорило, что скоро будет дождь. Он заворчал сильнее; его тело подскакивало, как на пружинах, ощущая собственную силу и тяжесть, двигалось толчками; во рту лежал шерша-

вый, тяжелый язык; черные пятна на шкуре, морща собирались в странные созвездия,— вдруг он увидел впереди сквозь кусты узкую, кипящую, серебряную нитку. Ручей блистал, дразня и раздражая.

Барс тихо вышел и огляделся исподлобья. Никого не было. Вода сверкала у его ног; он подошел, вытянул шею, боясь замочиться, присел и опустил шершавый язык в воду. Ухо его неожиданно передало шорох справа и впереди. Он отскочил от воды, и тут ветерок бросил на него страшный запах, враждебный, возвещающий о смертельной опасности. Он отскочил, круто присел, и соседняя гора в эту минуту обвалилась, потом обвалилась вторая гора напротив, и луну он увидел, как глаз другого барса в воде ручья, куда легла его морда. Косая боль прошла сквозь него, заставив скорчиться, каждая нога вздрагивала отдельно, уже не подчиняясь ему, горлом шла кровь и пена, он не мог закрыть глаз, они превращались в стеклянные. Он хотел пошевелить хвостом — хвост не двигался. Тогда он положил голову набок, рванулся, сдирая песок и кусты, и замер.

Ротмистр стоял с ошалелыми глазами в трех шагах и держал большой нож. Нож был не нужен. Ревко подошел и толкнул зверя в бок прикладом: «Экая контра, не приведи бог!»

Вдруг ротмистр вскрикнул, встал на колени около барса и обнял его за голову. Мертвые глаза заблестели при луне.

— Десятый,— закричал ротмистр,— радость ты моя, десятый! Удостоился.— Он гладил и целовал, захлебываясь, его залитую кровью тяжелую морду и лапы с янтарными когтями. Махмуд привел своего ишака. Ишак дрожал всем телом и не хотел идти. Махмуд вынул спички и наклонился к зверю.

— Не смей палить усов,— закричал, багровея, ротмистр.

Они подняли барса и положили на ишака.

— Пошли? — сказал Ревко.— А я и не стрелял. Испугался. Провалиться на этом месте — испугался. У нас таких нет.

Чаща потемнела снова. Ротмистр вытянул руку ладонью вверх. На ладонь упала тяжелая капля, за ней — другая.

— Дождь! — воскликнул он.— Держись теперь!

Только они вступили в главное ущелье, ударил дождь.

Полковник писал на маленьком листке бумаги о чем-

то необычайно трудном. Он поминутно перечеркивал написанное, прихлебывал холодный чай и хмурился. Он хотел обязательно вместить все на этом узеньком клочке. Глубокая ночь наклонялась над его столом. На дворе неожиданно закачались деревья, точно их окликнули, и прохлада побежала через полуоткрытое окно в комнату.

Затем раздался треск разрываемого шелка, еще и еще. Полковник встал. Он отказывался верить, он подошел к окну, распахнул его, и брызги, сорвавшиеся со ставень, упали ему на лоб. Дождь, самый настоящий, крупный дождь, дымясь, рушился на землю. Полковник с удовольствием слушал воду, прыгающую на крышу, зарывающуюся в листву, скачущую по двору. Кубилай метался на цепи. Его лай становился все короче и страшней, точно он околевал от бессильной злобы, смутно сопровождаемый визгом проволоки. Шум бродил в саду и в огороде. Полковник высунулся из окна и прислушался. Кубилай затих. Ведерников вернулся к столу с мокрой головой и снова выводил строки, которые через минуту зачеркивал. Так он сидел всю ночь.

А на рассвете пришли охотники. Они криком и стуком могли перебудить кладбище.

Впереди шел Ревко с закинутой за спину винтовкой. Дождь недавно перестал, луны уже не было, и серая муть плавала в лужах. За Ревко выступал ишак, вертя ушами. На нем лежал, свисая до земли, барс. На его голове блестели дождевые капли. Они скатывались с его скользких усов, похожих на полковничьи. Оскаленная пасть в кирпичных пятнах крови стукалась о ноги ишака.

Махмуд шел рядом, придерживая тело зверя. За ними выступал ротмистр, но в правой руке он нес такой странный предмет, что полковник замер. Кровь его метнулась, как в дни молодости. Он поскользнулся и всхлипнул. Ротмистр нес его дождемер, его серый пустой дождемер, постыдно качавшийся из стороны в сторону.

— Ждал, ждал дождика, а как дождь пошел, так и швыряться ведрами начал? — сказал весело ротмистр.— Что ж, я подобрал. Вещь под помойное ведро пригодится.

— Как это? Почему? Где ты взял его? — прошептал полковник.

— Да около забора и валялся.

— Это они! — закричал полковник. Его невыразимое отчаяние прорвалось воплем ругательств.— Это грабеж, это голый грабеж! — кричал он.— Товарищ Ревко, Махмуд,

обратите внимание! Мою службу погубить хотят. Висельники, кантонисты проклятые, саранча, сквозь строй гнать мало! Как же это так? Как же это так? Что же я делать буду?!

Кубилай прыгал вокруг барса, рыча и страшась оскаленной пасти.

— Не убивайся, Денис! — закричал ротмистр.— Ты посмотри лучше, какого зверя ухлопал! Взгляни-ка.

— Хулиганье из школы хотело украсть дождемер. Озорство! Примем во внимание,— сказал Ревко.— Ничего, мы протокол напишем, не страдай, товарищ Ведерников. Тут твоей вины нет.

— Зачем мне усы палить не дал? — говорил сердито Махмуд.— Без усов зверь душу терял, а так мучиться будет. Что скажешь?

— Уходи, уходи! — шипел на него ротмистр.— Красота! — кривлялся он, обходя вокруг барса.— Десятый мой, а как писаный. Красота, нечеловеческая красота! Сюда бы художника, увековечить.

Полковник, держа дождемер, вздыхал как человек, потерявший сына. Барс развалился на террасе, как у себя в логовище. Пришел Гурий, завернувшись в одеяло. Разбуженная содомом Федосья Родионовна ворчала на кухне. Гурий побежал ставить самовар. Махмуд увел ишака под навес к сараю.

Полковник увидал на своем плече руку и поднял голову.

— Денис, дорогой,— умоляюще шептал ротмистр,— уступи мне барса. Ну, уступи мне барса.

— Ты же обещал мне его,— сказал полковник, собирая остатки мужества.— Как же так: ни дождемера, ни барса?

— Ну, обещал спьяна. Ну, Денис, уступи. Я знаю, ты уступишь, у тебя сердце хорошее. Следующего обязательно тебе. А этого в город стащу,— сколько монет дадут, неделю пьян буду. Ну, уступи. Уступаешь?

Полковник махнул рукой, и тут Ревко, сосредоточенный, растрепанный и мокрый, сунул ему бумагу.

— Товарищ Ведерников, я написал тебе удостоверение, слушай, так ли?

В областное метеорологическое бюро

По случаю временной кражи дождемера неизвестными лицами, которые выясняются, составлен сей протокол

в том, что дождь, нежданно выпавший в ночь на первое сентября, зарегистрирован не был по вышеуказанной причине, без вины наблюдателя, что подписью и удостоверяется.

— Ну, а как же твое рабкорство,— неожиданно сказал он.— Написал заметку?

— Всю ночь сидел,— отвечал тихо полковник.

— Пока самовара нет, покажи-ка. Да откуда ты сведения достал?

— Гурий принес. Он целый день в школе толокся. Да я постарался покороче, чтобы и поярче вместе с тем.

Полковник достал из кармана тот кусочек бумаги, над которым он страдал долгую ночь. Его гнев упал, он успокоился и тихо прочел написанное.

В газету «Солнце Востока».

На днях к нам в Бирюзовый поселок переведен интернат, преобразуемый в сельскохозяйственную трудовую школу. В эту школу принимаются дети всех национальностей. Пока занятий нет, и некоторые из детей разных национальностей делают набеги на фруктовые сады. Но это с поднятием благоустройства прекратится.

Проектируется на главном участке, размером в две с половиной десятины, засаженном чахлым карагачем и арчой, вырастить образцовый фруктовый сад. Через пять-шесть лет сад будет приносить не менее пяти тысяч рублей ежегодного дохода. Кроме того, учащиеся будут иметь на завтрак и на обед прекрасные фрукты собственного производства. Также будет организовано разведение шелковичных червей и форелей в предполагаемом пруду и постройка научного кино.

Рабкор *Ведерников.*

— Ничего? — спросил он.

— Ничего,— ответил, гладя затылок, Ревко.— Только ты сад с доходом и фрукты на завтрак, рыбу с червями, да и кино вычеркни, пожалуй. Утопия, брат, это. Не поверят.

— Эх, Ревко, не любишь ты красивой жизни! — сказал полковник.

1927

КАБАНЬЯ ИСТОРИЯ

I

Товарища Коркина знали многие степи и пустыни, потому что он только и делал, что с начальником инженерной партии отыскивал для населения воду в безводных местах, рыл для воды каналы, поил землю, и она покрывалась зеленью садов и полей.

Когда он заболел лихорадкой, он уехал в далекое селение возле самых гор, где воздух очень свеж и целителен. Там он отдыхал и набирался сил.

Раз вечером он сидел на пороге своего домика. Жена его стряпала ужин. Из долины подымались теплые испарения. Шакалы начали подвывать кое-где для разнообразия. Из сада пришел хозяин Коркина, узбек Гассан. Гассан приложил руку к груди, поклонился и сказал:

— Бери скорей ружье. Посмотри, весь мой сад перерыл, как будто я его звал...

— Кто тебе испортил сад, приятель? — спросил Коркин. Он знал узбекский язык и говорил очень хорошо на нем.

— Кабан ходил там взад-вперед и все портил, это дело — скажи, пожалуйста? Все лежит на земле, как будто так и нужно. Очень жалко мне сада. Поди застрели его, товарищ...

— Сегодня же сяду в засаду,— сказал Коркин,— мне даже интересно — давно уже на кабанов не охотился. А ты где будешь сам?

— Я иду в поле — там ночевать буду — дело есть,— отвечал Гассан.

Когда совсем стемнело, Коркин пошел в дальний угол сада. Он скоро нашел то место, где забавлялся кабан. Деревья были обточены и обгрызаны. Виноград смят. Объеденные гранатовые кусты стояли как свидетели кабаньего буйства. «Прямо хулиган какой-то»,— подумал Коркин, выбрал себе местечко, откуда видно будет при луне хорошо дорожку в горы, и сел с ружьем. Скоро взошла луна — стало свежо. Он не дремал и ждал. Вдруг на луну набежало облачко. Ночь потемнела, и тут Коркин услышал треск ветвей, большое животное, сопя и пыхтя, шло напролом. Он прицелился в середину темного пятна и выстрелил. Животное зашаталось и мягко шлепнулось на бок.

— Попал,— закричал Коркин; но для верности он выстрелил еще раз... Животное вовсе затихло.

Коркин стал пробираться на место происшествия, как вдруг его окликнули. Он оглянулся. Через сад шел сосед Коркина с лампой и кричал:

— Ну, как! Поздравляю — здоровенного кабана уложили?

— Да он упал что-то подозрительно — больно мягко упал и сразу.

— Это бывает. Хорошему стрелку только как следует приложиться — и готово...

Они вместе осторожно приблизились к животному. Большая туша чернела неподвижно...

— Ого,— сказал сосед,— это экземплярчик. Да вы тигра убили вместо кабана!

Он поднял лампу, и они увидали большую ногу и кусок бедра.

— Что-то не то,— произнес Коркин неуверенно,— светите-ка выше.

Сосед поднял лампу. Из темноты вышла жирная высокая спина и голова, увенчанная рогами...

Перед ними лежал молодой домашний бычок, который дорого поплатился за свою страсть к скитаниям.

— Вот так кабан! — захохотал сосед, рассматривая бычка.— Эге, да я его узнаю. Знаете, чей это бычок?

— А ну его к черту,— с досадой сказал Коркин и даже плюнул.— Пойду спать.

— Это же бычок муллы, попа ихнего...

Коркин простился с приятелем и вернулся домой. Жена встретила его тревожным вопросом:

— Ну как, убил кабана? Очень опасно было?

— Очень,— ответил он.— Такой кабан попался страшный — совсем деваться некуда. С рогами вот такими...

Он рассказал жене все и недовольный лег спать.

II

Проснулся он утром от тихого говора многих людей, стоявших у него под окном.

Он стал прислушиваться. Прислушавшись, он мгновенно вскочил с постели, потому что люди говорили о нем и об убитом бычке. Мулла узнал, что приезжий русский убил его бычка. Он побоялся прийти сам разговаривать — и послал всех своих родственников и соседей. Они толпились под окном Коркина и вежливо напоминали ему о ночном происшествии.

— Ой, какой это бычок был хороший, очень хороший бычок. Рога у него стояли, как у молодого месяца, глаза у него, как бусы, хвост его, как сама прохлада, когда он махал им. Ног у него было четыре, но бегал он, как будто их десять... Ой, какой был бычок и как мне его жалко...— говорил один.

— Ай, как бы он вырос,— подхватил другой,— он бы ходил по лугам, как богатый купец, ел, что хотел. Он бы затмил всех быков в селении своей красотой, и коровы были бы без ума от него. Он был бы утешителем хозяина. Как синяя гора, была его морда, но что нам делать. Он лежит, как ребенок, и не зовет родителей.

— Сердце наше дрожало от радости,— говорил третий,— а теперь мы плачем, и он не узнает нас больше,— он, который был весел, как луна, и жирен, как плов в год урожая,— ой, что нам делать, чтобы исправить беду. Что случилось с ним такое, что он лежит...

— Довольно,— сказал Коркин, выходя к ним,— это я убил быка. Я сейчас иду в Совет и составлю протокол.

— О, мы согласны тебя сопровождать...

Во главе большой пестрой толпы Коркин пришел в Совет.

Председатель выслушал его и, задумчиво вертя в руках конец своей чалмы, спросил:

— Что делать хочешь теперь?

— Бери бумагу,— сказал Коркин,— и пиши протокол, что я по ошибке прошлой ночью убил быка вместо кабана.

Председатель огладил бороду, посмотрел внимательно на Коркина и сказал тихо:

— Зачем тебе протокол? Не надо писать. Зачем это писать? Кому это нужно?

— Как кому нужно,— отвечал Коркин,— он же с меня будет убыток искать — так пиши, чтобы было по закону. Раз случай такой вышел — нужно его записать на бумаге и приложить печать...

— Не надо писать,— уговаривал его председатель. Он был малограмотен и потому очень не любил бумажек. Он думал, что во всякой бумаге скрыт какой-нибудь подвох, который сразу не заметен, а потом возьмет и появится.

— Как же не писать,— я быка убил. Убил — понимаешь. Что же мне делать?

— Иди помирись,— нашел выход председатель.— Миром кончи дело. Поговори с ним...

III

Все охотно согласились принять участие в разговорах. Коркин с толпой зашел в чайхану, и все расселись на коврах. Подали зеленый чай, и начался разговор. Узбеки любят разговаривать, как никто в мире. Они могут часами сидеть, пить чай и очень медленно говорить о больших вещах, а больших вещей в мире много. Они любопытны, как дети, и, как дети, увлекаются.

— Оге,— сказал один,— товарищ убил бычка, синего, красивого бычка,— мулла плачет. Что стоит бычок, спрашиваю вас.

Все поочередно говорили свою цену, а так как их было много, то говорили они о цене долго. Потом они спорили, тихо разводили руками, трогали концы своих чалм, гладили бороды, пили чай, и конца этому спору не предвиделось. Наконец один из них сказал Коркину:

— Товарищ, мы взвесили все и красоту этого бычка, и это стоило пять червонцев. Кто платить будет?

Тогда Коркин допил чашку чая, остатки выплеснул на стену, встал и ответил:

— Я платить не буду. Я не буду платить, и вот почему. Слушайте меня внимательно. Кабан приходил и топтал сад. Так? Я взял ружье и пошел убить кабана, а вместо кабана пришел бык и стал топтать сад, он был хуже кабана, потому что он больше ростом... Зачем быку бродить ночью по чужому саду? Это не порядок. Я тут не виноват. Зачем бык пришел туда, где ружье ждало другого...

Все вокруг подняли головы и заговорили. Они пили чай, никуда не торопясь, и обсуждали положение вещей. Они были рады случаю поговорить, а бычок, стоящий пять червонцев,— это не чепуха.

— Ты прав,— сказали они,— ты не должен платить. Зачем бык пришел вместо кабана? Он виноват. Но бык этот имел ноги, голову, бока и хвост. Все это стоит пять червонцев. Так пусть половину заплатит твой хозяин Гассан, а половину, как убыток, возьмет себе мулла — хозяин быка...

— Почему? — спросил Коркин.— При чем тут Гассан. Его и дома не было.

Но его прервали шумными голосами:

— Э, товарищ, ты не хорошо говоришь. Ты гость. Ты приехал дышать хорошим воздухом, беречь здоровье, а Гассан пустил тебя одного на кабана. Уй, кабан — страшный зверь какой. Он бежит — клыки сверкают, глаза сверкают — ведь ужас прямо, а если б он тебя ударил туда-сюда,— что делать тогда? Гассан должен был тебя хранить и оберегать. Кабан попортить тебя мог,— что было б Гассану? Гассан виноват — бычка убили — Гассан виноват...

— Ну, ну,— сказал Коркин,— я тоже немного виноват. Мое ружье выстрелило не туда. Я беру на себя червонец, и вот получайте...

Он вынул червонец и положил на ковер.

— Огу, хорошо, ты очень честный человек,— сказали вокруг,— а теперь побежим за Гассаном, пусть он придет и положит сюда свои два червонца, чтобы было радостно бычку и хозяину...

Несколько человек встали с места и хотели идти за Гассаном.

— Не ходите,— сказал Коркин.— Он там работает. Зачем человека отрывать от работы? Я заплачу за него.

Он вынул и положил на ковер еще два червонца.

Гул одобрения прошел по собранию. Все заулыбались, заговорили сразу:

— Вот высшая справедливость. Хвала человеку, что имеет сердце, как тарелка, расписанное птицами и цветами. Он убил быка, как кабана, и платит за это...

И они восхваляли его честность и щедрость, но Коркин ушел сердитый домой. Он убил быка, как кабана, который не пришел, когда его ждали.

Вечером пришли люди от муллы и принесли ему поло-

вину шкуры, снятой с быка. Мулла разделил ее пополам, тщательно проверив, чтобы было поровну. Коркин отдал свою часть вернувшемуся с работ Гассану и сел чистить ружье.

Через день Гассан снова пришел и стал на пороге.

— Ой, товарищ,— плакался он,— чего делать — не знаю. Кабан опять приходит и уходит — и опять все грызет и топчет. Возьми, пожалуйста, свое ружье еще раз...

— А у муллы другого бычка нет? — спросил Коркин.

— Ой, нет, это не бык. Бык больше не придет. Это кабан — дикий, большой кабан, старый...

— А куда вы дели мясо быка?

— Мясо быка мы бросили шакалам. По нашему закону есть его нельзя, раз его не вскрыли ножом и крови не было. После пули нельзя есть — как падаль будет мясо...

— Эх, вы,— сказал Коркин.— Выследи мне этого кабана, где он идет к саду. Я убью его наверняка.

— Будет исполнено,— ответил Гассан,— завтра я все выслежу...

IV

Кабан, бегавший веселиться в сад Гассана, был из тех, кого называют кабан-одиночка. Он жил очень свободно и роскошно. Проснувшись, он шел купаться в ручей, валялся и нежился в неглубокой воде, затем с удовольствием бежал рыть землю, точить клыки в рощу, потом шел к тому месту, которое называется «котлом». Там, в большой яме, вырытой ими самими, лежали, сидели и валялись десятки кабанов, кабаних, кабанят. Он ходил между ними и слушал последние новости. Потом, почесавшись о деревья и придя в отличное состояние духа, он шел в сад Гассана и наедался до отказа молодой зеленью.

Потом он возвращался в свою собственную, отдельную яму. Яма у него была выстлана сухими листьями, широкими и мягкими.

Однажды он проснулся раньше обыкновенного и захотел купаться. Он побежал своей обычной тропинкой к ручью. Но на полдороге он почуял человека. Он верил в свою опытность и храбрость и потому не свернул, а побежал прямо.

Человек ждал его с ружьем, стоя у высокого дерева.

Кабан сердито хрюкнул и остановился. Но человек

был еще сердитей кабана, потому что это был Коркин. Он увидел такого большого щетинистого зверя, что испугался, несмотря на свою злость.

Но кабан струсил и, повернув, побежал от него. Тогда Коркин выстрелил и попал в кабана. Зверь повернулся и помчался обратно, разъяренный, забывая о трусости. Тут струсил Коркин окончательно. Он влез на дерево, и кабан, промчавшись мимо него, как ветер, через минуту вернулся к дереву. Он фыркал, и пена висела у него изо рта. Он точил клыки, как бритвы — крест-накрест. Коркин сидел на дереве и не знал, что делать. Он был всегда очень случайным охотником.

Вдруг кабан упал под деревом и издох. Он разбередил свою смертельную рану в ярости, спасения ему не было. Тогда Коркин сполз с дерева. Для уверенности вонзил ему в бок свой нож, но зверь был мертв, как бревно. Так как это был одинокий кабан, никто не оплакивал его смерть.

Коркин вернулся в селение и послал за ним арбу. Его привезли в селение, и все увидели, что это был обыкновенный кабан, каких много, и что Гассан теперь может спать спокойно, как и его сад.

Через три дня вечером Коркин проходил мимо чайханы.

Все селение сидело за чаем. Все сдвинулись в тесный кружок и слушали рассказчика. Коркин прошел бы мимо, если бы случайно не услышал, что его имя повторили несколько раз. Он встал около тонкой стены и стал слушать. Рассказчик говорил про убитого кабана:

— Это был король кабанов и очень жирный. У него было столько жен, как у султана, дети его бегали целыми толпами, внуки паслись на его глазах и хвалили его. Не было ни сильнее, ни мудрее его. Много охотников искали честь убить его и возвращались калеками. Барс уступал ему дорогу, и тигр ругал его издали. И вот он узнал, что приехал большой охотник. Он сказал: «Дай пойду к его хозяину и вытопчу у него сад. Сильнее меня никого нет». И он пришел один и топтал сад, как целое войско. Гассан заплакал и сказал: «Этот зверь разденет и разует меня — убей его». Охотник взял свое чудесное ружье и пошел на кабана. Но кабан был мудр, как инженер. Кабан поговорил с бычком муллы и сказал ему: «Если ты храбр, как говоришь, пойди и потопчи сад у Гассана». Бык отвечал, что он пробовал раз это сделать, а его избили палками. «А ты пойди ночью, и тебе ничего не будет. А если ты

боишься, то я тебе распорю сейчас живот,— потому что я не люблю трусов».— «Я не трус»,— сказал бычок и поклялся потрохами своего отца, что пойдет, и пошел в сад. Так был обманут большой охотник. Но он взял другое ружье, и захохотал, и взял кабана за ноги, и кувырнул его, как бурдюк, и проткнул его, как негодную шкуру, где хотел. Кабан сдох от отчаяния, потому что ни пули, ни кинжал его не брали, а его взял охотник своей дерзостью. Вот какие истории бывают на свете и в какие времена мы живем.

— Ого, все вы видели шкуру этого зверя, и мой рассказ кончен...

1931

ГОРЬКАЯ ЗАСТАВА

Афганцы, смущенно улыбаясь, поднимали ладони к небу. Пунцовое солнце, шедшее на закат, мутно освещало черные, покрытые трещинами, как пересохшая земля, ладони караванщиков.

Люди смотрели в стороны, в землю, с которой поднималась пухлая белая пыль. Они пе смотрели прямо.

Руки Зернина обшаривали белые рубахи, проникая в лабиринты узких и темных складок; вытряхивая пояса, его пальцы, тонкие и ловкие, выкидывали на песок при общем молчании гильзы расстрелянных патронов,— пальцы тогда задерживались. Зернин говорил медленно, спокойно:

— Насобирали в крепости, саранча.

Пальцы задерживались, когда вылезал из тайника в поясе настоящий боевой патрон, потный и тусклый. Зернин оглядывал афганца с ног до головы, потрясая патроном перед его настороженным лицом:

— А это где достал, баранта? Возись с вами!

Афганцы спокойно в очередь разматывали чалмы, вынимали из рубах и поясов таинственные записки, мелкую монетную дрянь, гребенки, огрызки карандашей, куски сахару, амулеты, завернутые в пестрые тряпочки, гвозди, мотки ниток, и только у одного на весь караван нашелся кусок красного, нестерпимо пахнущего мыла.

Зернин рвал записки и письма на мелкие клочки, не удостаивая вниманием жалкую вещевую дребедень. Многих людей каравана он видел не первый раз. Он задумался, обнаружив в узелке примус, поставил примус на землю

и ушел, переваливаясь, в развалину, служившую ему пристанищем.

Афганцы, не двигаясь, как зачарованные слушали его голос, кричавший в телефон непонятные и громкие слова. Он разговаривал с крепостью. Все слушали почтительно и напряженно. Зернин был хранителем границы на этом пустынном перекрестке,— за узкой, шатающейся водой лежала страна афганцев, желтая и облупленная, и оттуда являлись иногда такие тревоги, что Зернин правильно делал, так тщательно осматривая все эти до черта надоевшие ему белые рубахи, белые штаны неожиданных размеров и возможностей.

Зернин вышел из развалины, оставшейся в старых летописях под названием Саары-Тепе — желтая крепость, но все старожилы этих мест прозвали ее Горькой Заставой.

Вокруг него шествовали четыре пса, большого роста, с длинной шерстью, вытаращенными глазами и раскрытой кровавой пастью. Они обходили остановившийся караван, а собаки афганцев стояли, скучившись, на месте. Они не смели шевелиться, не имели голоса здесь, и они это понимали. Они стояли, прижавшись друг к другу, толкаясь и озираясь. Если бы они могли, они подняли бы лапы вверх и так пребывали бы перед свирепыми глазами сторожевых собак поста, которые, чувствуя себя хозяевами, деловито посматривали на них и обнюхивали верблюдов, низко свешивающиеся тюки, становились около людей, разматывавших чалмы, и люди ускоряли движения при виде их.

Они следили за порядком, пробегая вдоль длинного ряда верблюжьих кривых ног, и посматривали с большим самодовольством на четырех лошадей, стоящих поодаль. Верблюды охали и клохтали, как куры. Афганские псы, обметая землю обрубками хвостов, тихо ворчали про себя.

Зернин поднял примус и передал его афганцу.

— Кала имел дело... Кала имел разрешений,— сказал афганец, прижимая руку к сердцу. Из его рукава выпали белые бумажки. Зернин развернул пакетики, понюхал серый порошок, лизнул его, сморщился, отдал хину и перешел к следующему.

Рыбальцев занялся верблюдами. Он подходил к животному, как бывалый караван-баши, останавливался, бил его под колена ладонью, нажимал хозяйственно на плечо, и фыркающий серый зверь не без грации опускался на песок.

Желтая развалина стояла на бугре. Внизу белыми пузырями воды тарахтела речка. Дымная пустыня и бурые, как верблюжьи спины, холмы уходили до края горизонта.

Шершавая белизна рубах и штанов то отталкивала, то веселила Зернина. Развеселясь, он находил под одеждой такие вещи, которые никоим образом не подлежали конфискации. Он шутливо щелкал по ним, как бы ожидая от них звона, как от колокольчика, афганец улыбался уже не так смущенно: он понимал, что это дружеская шутка.

Рыбальцев не потел с тюками. Хозяева предъявляли ему бумаги от таможни, тюки не нуждались в таком тщательном осмотре. Осмотренный верблюд, раздувая ноздри над бурундуком, сопел и вставал, скрипя веревочной подпругой, и подхвостная веревка двигалась, как поплавок. Сморщенное кожаное ведро, висевшее сбоку вьюка, напоминало Рыбальцеву походы в пески, проделанные им неоднократно.

Зернин оканчивал осмотр. Он подошел к последней группе людей. Около них, поводя острыми ушами, сгрудились лошади. Зернин взял одну за ногу. Лошади были туркменской породы, в теле, некованые,— так и должно было быть. Если ковать в песках лошадь, рог быстро высушивается и роговая стрелка выкрашивается,— раскаленная подкова — лучший убийца легких и сильных ног.

Зернин стоял перед бородатым, среднего роста, пожилым азиатом. Он не был афганцем. Может быть, он был джемшид, хезаре, белудж, махманд, туркмен,— черт его знает кем он был, но он первый в караване смотрел прямо в глаза Зернину, и от этого прямого взгляда почему-то становилось невесело. Рядом с бородачом, усмехаясь, съежив черные щеки, заранее расстегивался молодец, фатовато отставивший ногу и уже положивший на песок кинжал, большие железные ножницы для стрижки овец и два цветных платка. На платки он положил выделанную искусно тыковку — наскаяды — для хранения табака.

Зернин протянул руку к бородачу и остановился. Что-то знакомое и забытое, как сон, раскрылось ему в этом скуластом лице, под кожей которого точно катались мелкие камешки и рябь некоторого волнения шла непрерывно. Оба стояли насторожившись и не понимали сами отчего. Бородач шумно выдохнул воздух и слегка поднял руки. Казалось, этот решающий вздох должен был вернуть душевное спокойствие Зернину, но он медлил приступать, и только движение свободных уже от осмотра афганцев, во-

зившихся над тюками вокруг, движение шумное, скрипучее и разнообразное, чуть привело его в равновесие.

Он бросил руки в одежду бородача, как будто он искал ночью в кустах и что-то должно было случиться. Что хорошего в кустах ночью? Веселость его сразу отлетела. Он нашел какую-то книжицу с раскрашенными буквами на мелких страницах. Увидав в его руках эту чудесную, неожиданную и тонкую вещицу, бородач издал легкий вскрик и качнул голову. Зернин вспомнил...

Тогда он был на год моложе и на голове у него не было еще молниевидного кривого шрама. Он ходил по крыше маленькой белой казармы. Предутренний туман покрывал дикие, простые долины, где, он знал, лежит только песок, соль — длинные хрустящие языки соли, горькая вода стремится, как в желтой лихорадке, размыть припадочными плесками тяжелую глину берегов, и вокруг — неподвижные холмы, где расставлены редкие кусты и растет ковыль, гуляют змеи и ящерицы да повсюду ползают черепахи, обиженные, как никто на свете.

Внизу под его ногами, вокруг домика, была колючая проволока, еще раз колючая проволока и еще раз проволока. Легкий окопный ровик лежал внутри. На открытой коновязи спали немногочисленные кони. Убогие доски уборной сиротливо приткнулись в стороне. Несколько кустов, научное название которых он не запомнил. Если бы его спросили, что можно найти на площадке перед домиком, он с закрытыми глазами ответил бы, что на площадке перед домиком лежат несколько пустых ящиков из-под продуктов, пустые банки, расстрелянные опытной рукой жены начпоста, несколько ржавых подков, стоптанный сапог и две палки от ходуль, сделанные каким-то шутником и брошенные без употребления.

Он посмотрел на туман. Туман поднимался такой же, как в северо-западной области Союза, на Ильмене или на Онеге, но в нем бегали белые точки, и кое-где они поблескивали так, как будто под туманом лежало действительно озеро.

Но ведь под туманом лежала расколотая жарой глина, толстый песок, а соль никогда так не блестит, никогда.

— Что же это такое? — спросил он, снимая винтовку с плеча и готовясь к тревоге. Он встал за выступ, и тут туман качнулся, разошелся местами, и в эти щели стало

видно все, что за ним. Зернин сам удивился тому спокойствию, с каким он наблюдал открывшееся ему.

Прижимаясь туго перетянутыми животами к холодной глине, ползли десятки басмачей. Они ползли бесшумно, и восходящее солнце блестело на серебряных струйках винтовочных стволов. Зернин выстрелил. Басмачи залегли. Два пулемета грянули им навстречу. Басмачи кричали и резали воздух выстрелами.

Лошади, кувыркаясь и швыряя в воздух ноги, катались по земле, пробитые многими пулями. Потом они затихли и околели. Позвонили на соседний пост. Басмачи не отыскали провода и не перерезали его,— так они были уверены в победе.

Соседний пост ответил по телефону: «Держитесь, шлем подкрепление».

Басмачи стреляли как одержимые. Им мало убитых лошадей. Они добирались до людей с красными звездами на фуражках.

Зернин увидел в бинокль камень, каких много валялось в долине, из-за камня смотрело единственное в мире лицо. То утро и все с ним связанное остались для Зернина единственными в мире. Спутанная борода, чуть раскосые горящие глаза; человек качнул вперед голову, как бы укрываясь от пули, и то же самое, как по наитию, сделал Зернин. Басмаческая пуля ударила в верхний край бойницы, отскочила, пробила ему фуражку и прошла, козыряя, по его жесткой щетине и не менее жесткой коже.

Зернин обратился к командиру, и, вытирая кровь, повязав голову бинтом, он выпросил у командира странный и рискованный образ мести. Пост стал отвечать так усиленно, что басмачи несколько минут не поднимали голов от земли, а когда они подняли головы, было поздно: с фланга шел такой нестерпимый и близкий пулеметный вихрь, что самые смелые из них запо́лзали, как ящерицы. Они отступали, кляня кяфыров,— потому что все могла перенести их распаленная душа, но пулеметы с фланга она еще не научилась переносить.

Басмачи исчезли, можно было бы сказать — как сон, если бы после этого сна не остались лошади, валявшиеся перед казармой, двое раненых, зигзагообразный шрам на голове Зернина, и несколько тысяч разнообразно рассыпанных гильз, и несколько луж крови, медленно всасываемой песком.

Между камней, каких много валялось в долине, прополз тогда, волоча за собой пулемет, Зернин, чтобы совершенно одиноко и совершенно безумно, выйдя на фланг врагу, обратить его в постыдное бегство. И только лицо, виденное в бинокль, запомнил он как нечто свое, как приз и как символ врага.

Бородач смотрел на Зернина, как тогда из-за камней. Что значит — как тогда? Разве он был тот самый, разве такова память людей и такова судьба, разве начатое утром оканчивается обязательно когда-нибудь вечером? Разве мало их, таких же загорелых, бородатых, непонятных и мрачных, с неизвестной анкетой и еще более неизвестными помыслами, да еще пришедших из-за пустынного рубежа.

Но с такой неожиданной ясностью Зернин вспомнил туман того утра, и то лицо, и убитых лошадей, и раненых товарищей, что он не смог сдержать себя, и, зная, что делает не так, нехорошо делает, он швырнул эту раскрашенную книжицу об камни, о песок, не все ли равно, к черту!

Несколько листиков отлетело в сторону. Бородач бросился к книжице с проворством юноши. Он поднял ее, он прижал к губам пыльную старую бумагу, он целовал красивые, в завитках, буквы, он кричал уже под ропот окружающих: «Яман русский закон. Яман советский закон. Яман...»

Зернин перешел на его соседа и, оттолкнув ногой кинжал и ножницы, атаковал коричневую жилетку того, как будто в ней он мог найти невесть какие тайны. Он нашел за подкладкой кучку бумажек, и в размотанной чалме и в поясе были тоже бумажки, узкие, разноцветные и удивительно знакомые.

Сзади него еще витало визгливое: «Яман русский закон». Но он не обращал внимания. Его тронули за плечо легонько, и он вскипел окончательно. Как, эта борода еще будет с ним валять дурака?! Он оглянулся и стал «смирно».

За ним стоял помкомвзвода Челюсткин. Он подъехал тихо к желтой развалине, спешился, оставил своих сопровождающих верхом и, замешавшись в разноязычную толпу, прошел к Зернину.

— Товарищ Зернин, зачем вы бросили Коран на землю? Вы же знаете, что этим оскорбили их религиозные чувства...

— Оскорбил, товарищ начальник,— начал Зернин.

— Вы перебили меня, товарищ. Я делаю вам замечание, не следует при исполнении ваших обязанностей вести себя вызывающе. Смотрите, что вы наделали.

Афганцы и люди неизвестного племени подняли голоса, жалуясь, размахивая руками, качая чалмами. Бородач кричал, что ноги его больше не будет в проклятой кяфырской стране.

— Товарищ начальник,— вспыхнув, закричал, не помня себя, Зернин.— Я болен малярией, товарищ начальник. А у этого, как с ним мне еще поступить... Я контужен, товарищ начальник. У меня зигзаг на голове... А у них, смотрите, какая петрушка,— у этого вот самого, что, как змеюка, жмурится, чего у него товарищ начальник, промеж одежды напрятано...

Он протянул Челюсткину пачку узких и тонких бумажек.

— Что это? — спросил помкомвзвода.

— Квитанции кооперативные. Ордера на мануфактуру. Говори с ним по-русски, ни черта не понимает, а знал, где брать. Спекулянты. Ему туда-сюда ездить. Саранча.

— Возьми,— сказал спокойно Челюсткин,— отбери ордера, не задерживай, мы его запомним. Я займусь этим потом. И не сильно задерживай караван, а то им засветло не добраться до ночлега.

— Есть, товарищ начальник,— Зернин обиженно тянул слова,— а только я, и при них будь сказано, буду крыть их почем зря.

— Не волнуйтесь, товарищ Зернин. Вы получили замечание и с этим остаетесь. Если вы больны, заявите и идите в госпиталь. Довольно. Проводите меня.

Зернин шел сзади. Караван тронулся. Караван спустился с бугра; медленно вошел он в речку и, разбивая мелкую воду, перетягивался на свою сторону. И когда афганские собаки оказались первыми там, среди кустов и холмов своей стороны, они остановились у самого края пограничной воды и дружно отлаяли долго сдерживаемое молчание свое. Овчарки нашего берега переглянулись, тряхнули головами, понимающе и с гулкой краткостью ответили им.

Бородач не мог успокоиться. Он пыхтел и плевался и, переправившись, погрозил синим кулаком желтой развалине. Челюсткин долго распекал Зернина. Делал он это старательно и на виду у трех красноармейцев, с какими приехал. Уже сидя на лошади, он смягчился и сказал:

— Наша служба, товарищ Зернин, не яблочко, в рот — и сжевал его; ее не сжуешь. Так-то, толково?

— Толково,— отвечал красный от возбуждения Зернин, смотря вслед уходящему каравану.— Чего толковей. А все-таки у меня и малярия и зигзаг на голове. Это тоже не яблочко.

Но Челюсткин уже отъехал.

Ушей овчарок уже нельзя было увидеть, их можно было только нащупать, подозвав псов вплотную. В темноту провалилась и желтая развалина, и тропинка на соседнем такыре, и речка, чье бульканье почти исчезало ночью в темноте, так оно, собственно, было ничтожно,— речка явно пересыхала. Желтая лампа у телефона, жесткие койки и обтирающий полотенцем пот Рыбальцев — все, что осталось видимым. Собаки ушли в темноту, ни шорох, ни зверь, ни ветер не могли обмануть собак. Они шлялись где-то в темноте, подскуливая и покрикивая друг на друга.

Зернин вышел из развалины и, облокотясь на винтовку, стоял. Малярия и жизнь на посту плохо отразились на его самочувствии. Ему необходим был отдых, но уходить на отдых он сам не хотел. Тьма чуть-чуть порыжела, и на небе можно было уже рассмотреть игру далеких зарниц. Зернин думал о севере, о прохладе северных лесов, о белых березах, о весне, когда все шумно — и люди и природа, о том лесопильном заводе, с какого он ушел в армию. До чего пустынны здесь эти ночи настороже, в испарине, среди фаланг, скорпионов, змей. Он убил одну гадину утром, кто знает, как ее зовут; долго она не давалась, уговаривал честью — брось наскакивать, нет — скрутится вся, того и гляди, по ногам ударит; отошел он тогда и прошил ее одним выстрелом — не путайся под ногами. Но как их всех, и малых и великих вредителей — от фаланги до басмача,— показать дома? Разве шраму поверят? Он снял фуражку, потер белый зигзаг.

«Дураки»,— вспомнил он проход вечернего каравана, и тут залаяли собаки откуда-то очень издалека.

— Бородач,— сказал он и понял, что все его тайные мысли вертелись возле этого человека — того ли, кого поймал он в бинокль в бою, или этого, вечернего, так похожего.

— Что же это за чепуха? — закричал он Рыбальцеву.— Эй, послушай!

Рыбальцев вышел на порог, голос его звучал глухо в пересыпаемой бледными зарницами духоте.

— Слышно что?

— Слышно. Собаки брешут. Вот Кучук, его голос, видишь?

— Вижу. Это за чекалкой,— сказал лениво Рыбальцев.— Ты как будто давеча с Челюсткиным поцарапался?

— А, он ретивый больно!..

Зернин отходил все дальше в темноту, и темнота все легчала. Казалось, еще немного, и откуда-то из-за облаков,— была весна, облака шли дружно,— выглянет луна и все станет нестерпимо ясным и нестерпимо печальным. Аспидные бугры и соляные россыпи поднимут опасный тоскливый блеск, а желтая развалина сразу покажется брошенным склепом.

Зарницы продолжали полыхать. Неожиданно налетел легкий теплый ветер.

— Рыбальцев,— закричал Зернин,— стреляют.

— Врешь.

Они стояли на разных концах холма и прислушивались. Собак не было слышно. Люди, ничего не видя, вглядывались в теплый мрак.

— Пойду-ка я возьму на всякий случай запасных патронов,— сказал Рыбальцев и вошел в развалину.

Зернин легко сбежал с холма и шел, взяв винтовку наизготовку. Тень пронеслась впереди него, и сейчас же Зернин услыхал выстрелы.

— Басмачи.

Он позвал собак. Где-то как будто опять блеснули зарницы, опять как будто выстрелы. Он шагнул, что-то чернее ночного мрака шло на него, неслышно и явственно.

— Стой! — закричал он.— Стой, стреляю!

Выстрелы, заглушаемые далеким громом, прошли стороной. Он прицелился и выстрелил. Темная масса рванулась и ушла вбок, где-то около возник резкий крик собак.

— Попал,— закричал Зернин. Он побежал на лай и споткнулся. У него с собой всегда был электрический фонарик, и он тщательно берег его; и фонарик никогда его не обманывал. Он встал на одно колено и направил фонарик. На земле спокойно, как на койке, лежал комкомвзвода Челюсткин, с лицом, залитым кровью. Кровь была и на руках и на гимнастерке, старой, потрепанной. Глаза закрыты. Так крепко полагается спать после хорошей работы. Фонарик погас.

— Я? — сказал вслух Зернин, сам не понимая, что он говорит вслух.— Как — я? Как — я сам? Убил Челюстки-

на? Убил Челюсткина? — Он разипул рот, чтобы крикнуть.

Он шел, шатаясь. Он разипул рот — и сразу песком забило рот, глаза и уши. Он прошел три шага и в наступившей невероятной мгле услышал шум внезапно налетевшей бури.

Песок лежал по-разному. Легчайшей пылью он залег на перегибах барханов, толстым, как слоновая подошва, и жестким слоем одел каменные склоны предгорных долин, несчитанными тьмами тонн усеял равнину за речкой; что касается пустыни, то этот тихий песчаный ад не нуждался в статистике: он не мог быть даже воображаем.

И тогда пришла почь, ядовито разведывавшая путь буре белесыми молочно-розовыми зарницами. Буря шла с юга, вырастая с каждым движением, как тень исполинского завоевателя, встающая из песчаной гробницы, она загремела на минуту ржавыми доспехами и устремилась в пустыню. Перед ней шел теплый, легкий, вкрадчивый ветер, потом пески поднялись и закрыли все.

Пески перепутались. Легчайшие и сухие, сырые и вязкие, тяжелые, красные, желтые — мчались вместе стеной, доходя до неба, закручиваясь в колонны; колонны с грохотом сшибались, то они выравнивались в стену, стена эта обрушивалась горой и пугала стоявшие песчаные горы, то буря сметала все это сооружение, тут же рассыпала его заново и, поднимая снова на воздух, гнала его.

Песок мог покрыть и караван, и колодец, и город, и лес саксауловых призрачных деревьев с ветвями тонкими, как руки паралитиков, он мог рухнуть в речку, мог долететь до моря и смешать свою пену с пенными брызгами прибоя на отмелях Чикишляра — ему было все равно.

Темные шквалы его шли, наполняя пространство, не встречая сопротивления. Дымящиеся тучи его бушевали на всем пространстве пустыни. Если же падала ярость плотного тяжелого песка и он припадал к земле на время, то в воздухе оставалась пелена мелкой песчаной пыли и реяла, как завеса, затем, как бы отлежавшись, снова вставала в воздух тяжелейшая тьма и продолжала мозжить и терзать пространство. И затравленное пространство, наполняясь свистом и стонами, корчилось под этой то взлетающей, то ложащейся дичайшей силой, бесновавшейся так, точно ей не предвиделось конца.

Никто не мог сказать на всем просторе песков, когда будет этот конец — через несколько часов или через несколько дней.

Нелюбопытный гость лежал, истомясь от жары, лениво вытянув ноги на ковре в так называемом саду. Сад ничем не был отгорожен от улицы. Когда гость, отрываясь от записной книжки, зевал и смотрел сквозь кусты, он видел желтый утюг горы, на нем кое-где лепились казармы, поверх казарм стояли ветхие форты, похожие на запыленный макет Порт-Артура. Вдоль по улице проходили нечастые пешеходы, больше по двое, торопясь и стараясь идти в ногу. «Гарнизонная привычка»,— подумал гость. И еще подумал, что дальше этого места ехать ему некуда. Дальше шли пески и холмы. Непонятность и неподвижность. «Никакого чувства истории,— сказал вслух гость.— Тут разве геологу покопаться, да и то до одной малярии докопается человек». Гость был нелогичен и нелюбопытен. Профессия статистика позволяла ему держаться цифр и таблиц, не удаляясь далеко от них.

Днем еще он чувствовал себя веселее, но к вечеру на него нападала хандра. Он не мог видеть домики с окнами, закрытыми глухими серыми ставнями, с громадными пустынными верандами без перил, с высушенным деревом кривых столбов, подпиравших выложенную старой бурой черепицей крышу; пепельные ветви унылых, с опаленной листвой деревьев, ложившиеся на крышу; гулкие, пустые дорожки в так называемом саду. Даже собаки, лежавшие поперек открытых дверей кое-где на верандах, серые большеголовые псы, молчаливые и огромные, удивительно подходили к оловянной безвыходности вечера. В старое время в этом городке люди тихо стрелялись от скуки, ежевечерне звенели рюмками о бутылки, после службы валялись в меланхолии на кроватях весь остальной день, изнывая от жары или в тесных объятиях лихорадки, высасывавшей всю влажность из тела и превращавшей человека в сухой кокон.

Советская власть изгнала много пороков и болезней из жизни маленького городка, но изгнать жару она не могла. Жара осталась, и только редкий человек, даже будь он крайний весельчак, мог относиться к ней, как к незаметной мелочи. Увы, она была заметна, даже слишком.

Гость потянулся особенно, по-кошачьи, и сел на ковре.

— А, товарищ Карташев. Откуда в такое пекло?

Карташев пришел из-за города, с купанья. Он влезал

в холодную бурную мелкую воду горной речонки, он сидел в воде по пояс между старых поломанных столбиков проволочных заграждений с порыжелой порванной проволокой, он сидел, омываемый жидкими пенистыми струями, и, посидев немного, вылезал по намокшей глине на выжженный травянистый берег. Это называлось купаньем. Карташев бесцеремонно сел на плетеный стул, достал толстую великолепную папиросу. В крепости был запас самых отборных папирос, и этим гордились все старожилы-курильщики.

— Ну, как вам наша буря понравилась? — спросил он гостя.— Здоровый трам-тарарам, свист и гром? На постах, знаете, не сладко.

— Видел такую на Аму-Дарье,— отвечал гость лениво.— Мура! Вы завтракали?

— Дважды.— Карташев окликнул проходившего красноармейца, поговорил с ним, перекликаясь через кусты, и обратился к гостю, когда красноармеец удалился: — Видали этого героя?

— Да я его каждый день вижу в столовой. Я согласен тут всех считать героями. Жить в такой печке, да еще дела делать! Это чудно́. Тут и рука не поднимается. Человек что студень, ей-богу. Разморит с утра, какое тут геройство в ум придет.

Карташев засмеялся.

— Опустились бы вы здесь, батенька, как генеральская кухарка, в один год с такими мыслями. Вот тут-то и нужно человека испытывать, как железо. Тут у нас такая работа, что жара в расчет не принимается. Никакой поправки на жару не полагается. Вот этот парнишка, что давеча проходил, поехал прошлый год с заставы в пески веников нарубить для кухни. Нарубил на верхушке холма. Глядит сверху, а внизу четыре басмача сидят. Мы бы с вами наутек пошли, а он осмелился. На такого арапа пошел, что, говорит, и вспотеть не успел. Сел на лошадь, выхватил шашку, веники в сторону, показался басмачам наверху, шашкой размахивает, как закричит: «Эскадрон, шашки!..»

Басмачи внизу ни живы ни мертвы: вот на них обрушится сейчас лавина сверху! Слово-то «эскадрон» им, стало быть, хорошо знакомо. Они руки вверх. Побросали оружие, как сидели, так и сидят. Он ручкой в воздухе какой-то знак сделал и орет назад: «Эскадрон, отставить! Я иду один, чуть что — залп!» Ну, и пошел вниз. И всех перевязал, прикрутил друг к другу и привел в крепость по жаре,— вот по такой жаре, что вы бы вконец запарились.

А басмачам, конечно, прохладно было. А на постах в пустыне как живут: соль лежит, вода горькая, всякие там стервы вокруг ходят, а держать надо границу. Здорово?

— Здорово,— сказал гость.

— А где же хозяин-то? — спросил, помолчав, Карташев.

— В госпиталь вызвали.

— Вызвали? Что-нибудь любопытное?

Гость развел руками.

Приблизилась важной походкой женщина, самоуверенная и высокогрудая. Младенец шел, спотыкаясь, за ней и тянул на веревочке черепашку. Черепашка отказывалась за ним следовать. Малыш энергично ударял ее по крошечному щитку, сердясь и фыркая, садился рядом с ней и старался запихать в нее кусок обслюнявленного запачканного яблока. Женщина оглядывалась и говорила, как большому:

— Петечка, оставь ты ее, да она же с этого места не ест. Ты ей в ротик, в ротик дай.

Черепашка высовывала голову. Наконец малыш стал кататься по траве, швыряя черепашку ногами, как заводную игрушку. Женщина умилялась:

— Вот они все такие интересные в эту пору. А вырастут, так беды не оберешься. А сейчас ишь, как принц какой, катается...

— Василиса Петровна,— сказал Карташев,— принцам сейчас не жизнь, это факт. Вы знаете,— обратился он к гостю,— я настоящую принцессу видел...

Гость оживился.

— Ну-ну, расскажите, какая принцесса. Придумают тоже, принцесса. Кино какое-нибудь?

— Да не кино. Это был подлинник самой жизни, уважаемый. Вызывают меня и говорят: «Юрий Сергеевич, а не хотите ли вы в Герат прогуляться?» — «Я в Герат? Виноват, не понимаю».— «А видите ли, говорят, там принцесса, сестра падишаха, рожать собирается. Она замужем за каким-то турецким или персидским принцем. Ну и собралась к мужу рожать и не доехала, застряла в Герате, и требуется ей помощь. Запросили нас».— «Да что же, говорю, помочь нужно. Только как-то это мне одному несколько неловко».— «Ну, говорят, вы такой специалист, какие разговоры».— «Специалист-то специалист, говорю, а все-таки азиатская страна, женщина на особом положении. Я мужчина, какое случится осложнение, как я там с ней объяс-

нюсь? Разрешите взять с собой Анну Николаевну — акушерка, знающая женщина; вдвоем будет покрепче».

— Ну и что же, разрешили? — спросил гость.

— Разрешили. Приезжаем в Герат. Ну, город системы «Багдадского вора» — стены, минареты, глина; но уже там намек на новое есть: фонари стоят, улицы поливают, мороженое продают; и врачей целых четыре. Английский — морда как сырое мясо...

— И трубка, конечно,— сказал гость.

— Никакой трубки, даже не курит вовсе. Персидский врач — с пехлевикой на голове, в сюртуке, купец какой-то. Афганский врач — это прямо уникум: с Кораном и четки, ногти длиннющие на руках. Но уж последний врач — это какой-то столетний знахарь, старым козлом пахнет. Я бы его на пушечный выстрел ни к одному больному не подпустил, мошенник так из него и брызжет. Собрали мы, значит, такой небезынтересный консилиум, а принцессы нет. Мы даже не знаем, за кем право на ее пользование останется; то, что со мной была женщина-акушерка, и решило все. Надулись мои коллеги, как индюки. Англичанин здороваться перестал. Перс с шарлатаном косятся вполне определенно. Один афганец сказал скороговоркой что-то вроде «бог велик» и исчез. Хотел я освидетельствовать больную, говорят — нельзя. «Вы просто так скажите, что нужно сделать».— «Позвольте, говорю, должен же я видеть принцессу».— «По закону, докладывают, не полагается». Я спорить.

— Вот идолы,— сказал гость.— На чем же вы договорились?

— А вот на чем. Она лежит с закрытым лицом и вся закрытая, а я вхожу с Анной Николаевной и осматриваю руками под простыней, глазом не моргнув и не заглянув никуда. Ну, пошли. Тут у меня после осмотра беспокойство кончилось. Баба оказалась здоровенная, трех может родить. Потом подошел срок, передал я бразды правления Анне Николаевне, и все прошло, как в тысяче и одной ночи. Принц родился, пушки стреляли, какие-то дикари приходили, баранов пригнали, золотые и серебряные монеты перед младенцем сыпали, ковры расстелили всюду, ели три дня каких-то фазанов, плов розовый, черт-те что. Потом мы откланялись, и восвояси. Принцесса счастлива, раболепство вокруг, стены, башни, мороженое продают, подарки,— одним принцем больше. Приехали мы домой, а через три месяца знакомый из Герата приезжает и рассказывает, что там кавардак несусветный. Головы на палках таскают, че-

ловеческие головы. Фонари разбиты, мороженого никакого нет, губернатор в какой-то канаве валяется без носа и без ушей: войска Баче и Сакао, оказывается, власть падишаха в Герате прикончили, новый этот, так называемый Наиб-салар, полководец по-ихнему, Абдурахим-хан, главенствует, а принцесса уже в подвале каком-то со своим детенышем сидит,— сидит и дрожит, как бы ее замуж за какого-нибудь такого пастуха с дубиной не выдали в переполохе в этом. Мальчонка болен, никакого великолепия, розовым пловом и не пахнет. Уехала она наконец в Персию. Вспомнил я, как золотом и серебром осыпали этого младенца, а вот теперь и изнанка. Нет, наши ребята не принцы. Вон, гляди, черепахе в задний проход яблоко пихает, и жара ему нипочем, и почета ему не надо, и жить веселее. А вот и хозяин. Ну, ну, какие новости, Андрей Степанович?

Андрей Степанович вытер потные руки о край форменного кителя.

— Басмачи погуляли немного.

— Басмачи? — сказали собеседники.— Кто же это отличился?

— Установят. Тут Мамед-Клыч и Назар-бек путались неподалеку. Подшибли на посту помкомвзвода Челюсткина. Чуть в бурю человек не погиб. Насилу отыскали, лежал на песке без сознания. Это его, представьте, и спасло. Да он еще и ударился обо что-то при падении с лошади. Пулю вынул. Характерная пулька.— Он порылся в кармане и ничего не нашел.— Один красноармеец без вести пропал, то ли убили, то ли в плен взяли. А Челюсткин здоровяк, не всякий, знаете, такую двойную тяжесть перетащит — и пуля и буря.

— Да,— сказал гость,— а что же вы насчет пули?

— Да вот найти не могу, завалилась за подкладку, что ли. Подождите, я ее, кажется, в кошелек положил. Да, так и есть.

Гость покатал на ладони кусочек белого металла и, зевнув, вернул его доктору.

— Ничего не вижу характерного. Пуля как пуля.

— Батенька,— сказал Карташев,— да пуля-то английская. Вот то-то и оно, винтовки у них английские. А вы говорите, чем характерна. Тем и характерна, что не наша. Ну, пошли обедать, время уже. А где же это было, дело-то?

— Около Горькой Заставы.

— А, Саары-Тепе,— сказал Карташев,— место гиблое, ничего не скажешь.

Человек проснулся, сел, потер глаза, огляделся. Он сидел в ковыле, почти на верхушке холма. Перед ним сотни таких же холмов, похожих на застывшие волны, несли свой окаменевший прибой к подножью Паропамиза. И сам Паропамиз, сверкая мертвой надменностью своих снегов и громоздясь тусклыми ледниками, вставал, как лестница к небу, далекая и, собственно говоря, несколько необязательная.

Поднявшийся неподалеку сокол пронес мимо лица проснувшегося человека ящерицу. Ящерица, захваченная неумолимым клювом, барахталась и выписывала всевозможные фигуры, скребла воздух короткими ножками, но все уже было кончено. Сокол исчез.

Тогда человек встал и увидел, что рядом с ним лежит винтовка, а на поясе у него ручная граната. Он вспомнил все сразу и сел от волнения. Ноги его сами подкосились. Человека этого звали еще вчера стрелком Иваном Зерниным.

Вчера еще он стоял в твердом списке сторожевых постов на границе Советского Союза, он знал свои обязанности, у него были заслуги и товарищи, любовь и дружба. Сегодня он беглец. Что же стало домом беглеца, как он выглядит, этот дом?

Унылые холмы афганских предгорий, пустынные травы, космы ковыля, огромное синее небо и далекие чужие снега. Что делать?

Он расстегнул ворот и шаг за шагом пробовал вспомнить вчерашний день. Осмотр каравана прошел в его памяти как далекий, десятилетней давности сон. Чем же он отрезал себя от жизни? Он убил помкомвзвода Челюсткина. Песчаная буря, сквозь которую он прошел в полном беспамятстве и очнулся в Афганистане, идя без всяких троп вперед. Как это случилось? Сколько ошибок зараз может сделать растерявшийся человек. Надо было взять помкомвзвода на плечи и внести в Саары-Тепе. Надо было позвонить в крепость и все сообщить. Надо было, многое надо было сделать, но теперь уже поздно. Теперь он стоял на границе двух миров, не принадлежа ни к какому из них. Один мир он видел с высоты холма, на котором стоял.

Это была крепость. Она, как макет игрушечного Порт-Артура, лежала в ущелье и лепилась по его стенам. Небольшой вокзал железной дороги, сады, мачты радиостанций, белые домики Красной Армии, красный флаг... Там шел

трудовой день, размеренный, жаркий. Это было видение одного мира.

Другой начинался тут же, на холме. Гривы ковыля захватили холмы. Кое-где кривились уродливые фисташковые деревца, шуршали ящерицы, ни одного человека не было видно; правда, внизу, поодаль, можно было разглядеть жалкое скопление домиков и шалашей и темное пятно, понятное только знатокам этих мест.

Знатоки знали, что это сложены машины для несуществующей гератской фабрики, привезенные из далекой Германии через крепость и сданные в ближайшее афганское местечко. Перевезти их дальше в Герат было невозможно из-за полного отсутствия подходящего транспорта. Верблюды не годились для этой цели, а других способов перевозки не было. И машины стояли годами под дырявым брезентом и ржавели, досаждая начальнику селения своим мрачным и непонятным видом. В селении жили темные, нищие, непонятные люди, и сегодняшний день их походил скорее на день шестнадцатого века.

Пустыня окружала Зернина. Он чувствовал, что погиб. Ящерица, пролетевшая мимо его лица в клюве сокола, представляла как бы образ его собственной судьбы. Жара положила ему на плечи свои тяжелые руки, и так как ни одного пятна тени не было вокруг, он слабел с каждой минутой. Полный упадок духа походил на спуск в жаркий колодец, когда нога ищет дно, а дна нет, и нужно было найти дно, нужно было найти какую-нибудь опору.

«Сижу, сижу,— думал он,— а что сижу? Такого наделал, что уже все равно. Досижусь до басмачей, придут и зарежут. И так и надо. Таких сволочей и нужно резать зазря...»

Зернин как будто коснулся дна колодца, и некоторое успокоение сошло на него, и он, неподвижно созерцал огромную картину одичалого полдня, величавого и страшного в своей раскаленной раскинутости и безнадежности. Потом апатия начала очень незаметно слезать с него, как облупившаяся кожа, кусками. Он рвал траву и жевал ее бессознательно и бросал изжеванные клочья.

Чем больше он думал, тем больше он снова и снова проверял себя, тем больше он приходил к одному выводу: нет никакого оправдания тому, что он по какому-то недоразумению убил командира и бежал, правда заблудившись, в состоянии полной растерянности и испуга. Скажут: как может красноармеец так растеряться?

— Не знаю, не знаю,— говорил Зернин,— как там ни рассуждай, а я вот растерялся и сижу на этом дурацком афганском холме.

По выбитой тропинке далеко внизу пробирались всадники. Привычка бойца заставила Зернина лечь и спрятаться. Он успел только заметить, что всадники не были афганцами. На них были черные туркменские шапки.

День продолжался, поджаривая Зернина на медленном огне. Есть ему не хотелось, пить — об этом он боялся думать, но в горле пересохло, и глаза ввалились. Ящерица перебежала через его колени.

«Уж как по мертвому бегает»,— подумал он.

Басмач Мамед-Клыч с закрытыми глазами сидит на черной кошме, но он не спит. В юрте он один, и великий покой полдня стоит вокруг юрты, и великое смятение качает старое тело песчаного волка. Внезапный ли удар старости так плотно прижал его к старому войлоку и прочертил две новые морщины на лбу и посеребрил бороду? Болезнь ли ударила, как нож в поджилки коня, и лишила всех способностей?

Нет, не старость. Нет, не болезнь. Пословица, узнанная им в юности, прошла перед ним жарким сном: жители Мерва отличаются щедростью, но относительно женщин они слабее малых детей, надо быть очень уверенным в своих силах, чтобы отправиться в Мерв.

Он может отправиться в Мерв, и он знал, что такое женщины Мерва, и он знал, что такое пустыня... Ему захотелось сала, горячего сала. Он видит, как берут курдюки, свежие, пышные курдюки, и вытапливают их медленно и с увлечением. У него слюна липла на языке: мускулы и жилы курдючные превращаются в уголь, остается светлая жирная жидкость, мясо погружается в нее, как солнце в реку; поджаренные лепешки макает он в растопленное сало, и пальцы его испытывают наслаждение, и он больше не может терпеть, и он по праву старшего берет миску и пьет через край горячий жир,— как будто огненное небо опрокидывается в горло, потом он вытирает жирные пальцы о халат, сладостно рыгает, поднимает глаза и видит Гулям-хана, нависшие брови мертвого Гулям-хана, которого он предал.

Слюна высыхает у него во рту. Открываются пески, в которых он провел жизнь. Борозды, проведенные телами

змей, следы волков, ночные костры, тени бархана... Кулху алла ахат дала... Я, Магомет, смиренный раб божий, знайте, что ваше имущество и кровь запрещены друг другу. Именем бога говорю вам, если один из вас пошлет подарок другому, то он должен быть передан по назначению. Пуля, посланная в голову Гулям-хану, не была задержана, и назначение ее была смерть. Бог велел верить в загробную жизнь. Большевики не признают ее. Будут ли они жить вечно, кто сокрушит их?

Джунаид, царь песков,— слабая усмешка появляется на черных губах Мамед-Клыча,— он предал и Джунаида. Он хотел истины, но она — как колодец в песках: до нее, как до воды, нужен долгий канат и верблюжий труд; и никакой воды иногда нет. Истина — как вода: живет не во всех колодцах. Он знает цвет воды, он знает вкус воды от Ташкепри до Андхоя и от Ильял до Саары-Тепе...

Саары-Тепе... человек бросил Коран о землю, безумный большевик, и он не сдержал сердца и в тот же вечер убил кафыра с квадратиком на воротнике. Буря прижимала его к земле, как ветку саксаула, но разве мало он видел бурь.

Он служил большевикам, и он служил ханам, и опять большевикам и Джунаиду, и снова большевикам, и снова Джунаиду и самому себе. Извилист путь в барханах, а пророк уставил жизнь барханами. Кто прав?

Перехватили его письмо, посланное в Зульфагар, и в этом тоже истина. Он открывает глаза и смотрит вперед, в открытый вход юрты; видит он дрожащий знойный воздух, синюю эмаль, и верблюжье седло, и котел у входа. Одеяла сложены в юрте ровными толстыми пачками, и пиалы вложены одна в другую. Он поднимает голову, и широкий поток зноя вливается в верхнее отверстие юрты через решетку.

Куда идти Мамед-Клычу и где склонить голову? В Ашхабаде он видел женщин на фабрике, и это были туркменки в красных платках; и он видел в Мерве туркмен, и они шли в короткой одежде и в фуражках, и дети пели песни, не похожие на песни его юности.

Гулям-хан лежал с разбитым черепом; и много других лежали в барханах с глазами, полными песку, с ушами, полными песку, и по ним бегали толстые ящерицы.

Томление, не имеющее ничего общего со знойным днем, идет по жилам все выше к сердцу и охватывает его,— так пиалой накрывают цыпленка, цыпленок видит только мрак

и стучит крылышками о толстые стенки и ничего не может сделать.

Ухо Мамед-Клыча слышит стук копыт. Он знает, что войдет не женщина с кислым молоком, и не мальчик, утешение глаз, и не русский большевик с одним квадратиком на воротнике. Он сжимает губы, как будто откусывает нитку, и нитка не рвется, и зубы напрасно лязгают по ней. Полог откидывается шире.

Вошли четыре туркмена. Они смотрят на него, как на сундук, который надо погрузить на верблюда, но нужно сначала окинуть глазом, чтобы сообразить, как удобнее взять.

И он смотрит сначала на их пояса, потом на их подбородки, потом на их шапки, потом поднимает глаза к небу, и ему кажется, что в небе уже звезды.

Ближайший к нему туркмен вынимает нож, вонзает нож ему в горло, мясо расступается, шипя, освобождая кровь; туркмен не торопясь водит нож налево и направо, потом валит ударом Мамед-Клыча на землю; смотря, чтобы кровь шла в сторону от его халата, он расширяет влево и вправо широкую черную полосу и наконец говорит: «Эйтдинг» (слушайте),— он больше ничего не говорит, он ударяет ножом за ухом еще и еще, раз — за другим, и голова Мамед-Клыча лежит отдельно от плеч. И тогда туркмен ударяет ножом поперек лица.

Второй туркмен подает мешок, и убийца поднимает голову, держит ее над мешком, смотрит на нее, плюет в полузакрытый правый глаз, говорит: «Э, итли мунаарыг!» — спускает голову, как арбуз, в мешок и вытирает нож о халат убитого.

Зернин идет по щелям, заросшим ковылем, заваленным камнями, и мысли не в ногу с ним и все разные. То он видит себя дома на севере, среди товарищей и друзей в уличной демонстрации, на заводе, потом в казарме, в крепости, где одеяла сложены без единой складки, на наволочках вышиты звезды, на окнах висят прозрачные занавески, прохлада наполняет помещение особой сладостью; потом приносят щи и кашу и чай, горячий, как чайник, в котором его приносят; потом он видит заставы, пески... Он начинает вспоминать чужие ошибки, чужие промахи, неудачи,— не подвиги, не преодоленные трудности, не замечательные случаи находчивости, подмоги вовремя, храбрости, а чужую слабость, чужую растерянность, чужую гибель.

Один командир погиб потому, что слишком неразумно стал целиться в басмача, лежавшего на дне ямы, встав на край ее во весь рост. Оба выстрелили сразу, и оба убили сразу друг друга.

Красноармейца укусила змея, и он засмеялся, проколол ее штыком и не принял никаких мер, а к вечеру умер.

Разъезд заблудился в песках, и вместо одного колодца вышли к другому, потеряв всех лошадей.

Много случаев приходит ему на память, но чем они могут помочь? Один арестованный, подкопав глиняную стену крепости, бежал в эти же холмы, как и он, и сам пришел обратно через неделю, чуть не сойдя с ума от страха за жизнь, от жажды, голода и ужаса пустыни. Солнце идет опять на вечер. Долгий и страшный день прошел. Один день. А на сколько таких дней хватает одинокого человека в пустыне. Он помнит караванную дорогу, усеянную костями людей и животных, и пески назывались — «Конец человеку».

Тоска охватывает окрестности. Она рождается на горизонте, в мутном наплыве зеленовато-радужных теней и идет босыми ногами, хрустя солью долин, царапает ноги о кусты и камни, поднимается по щелям, по ковылю и трогает Зернина за руку; он сидит на пустом склоне и плачет, как последний мальчишка.

Зачем ему умирать? Ну какой смысл ему умирать? Он страдает малярией, и контузия мешает ему жить иногда, и он убил собственного командира. Если бы все это ему почудилось. Если бы припадок неизвестной болезни помутил ему голову — и есть какое-то оправдание его поведению, и ничего вчерашнего не было.

Солнце село. В небе растет ночь. Надо принимать решение тому, кто хочет принимать его. Ночью можно делать большие дела и можно тихо спать. Может ли тихо спать стрелок Иван Зернин, идущий по хребту с винтовкой наизготовку и с гранатой у пояса?

Он клянется в вечной ненависти к басмачам, которые мешают жить, мешают работать, мешают всюду; жизнь в этих песках и без них тяжелей тяжелого. Он видел, как живут пастухи и стада, изнемогая в голоде и лишениях.

Отыскать бы этого вчерашнего с его Кораном, приставить штык к его груди и потребовать ответа. Где отыскать его? Ночная птица насмешливо прошелестела над ним.

Он сел, вглядываясь в темноту. Из-за одной каменной стены шло тихое и мягкое сияние. Искорки взлетели в воз-

дух и растаяли. Он стал на колени и пополз. Если есть костер, то есть и люди. Если есть люди, то...

Он лежал на краю щели, и под ним, как будто на каменной узкой ладони, сидели три человека. Костер потрескивал, разгораясь быстро, и Зернин наблюдал их с проницательностью разведчика.

Скат, отделявший его от них, был не сильно крут. Сбежать вниз не представляло никакой трудности. Костер разгорался все больше. Лица людей, сидевших у костра, становились медными и особо четкими. Рядом с людьми лежали винтовки, и, по-видимому, за скалой были спрятаны лошади. Лежавшие были хозяевами этих мест, они не принимали никаких мер охранения. Они сидели и тихо разговаривали.

— Чему подвергаются люди, пьющие грязную воду? Рано или поздно они выблюют грязь или грязь съест их изнутри. Это говорил человек в Андхое.

— Разве ты бывал в Андхое?

— Я видел лицо человека из Шибергана, которого звали Халиф Саиб Кизыл Али, или же Ишан Халифа, я его видел, как тебя...

— А какие дела завели тебя к Андхою?

— У меня около Пальварта жил брат. У моего брата жена ушла с батраком, они снюхались на нечистом деле. Брат мой ездил с нами, и его застрелили в пустыне. А они прятали его золото. Я пришел вечером в аул и вызвал батрака, положил его в поле и оставил в нем кинжал, чтобы знали, кто это сделал. Я хотел сделать то же с женщиной, но она уехала из аула.

Один из туркмен взял мешок, поставил его на самое светлое место, запустил в него руки и вынул такой странный арбуз, что в глазах Зернина заколебался костер и сама каменная щель, в которой те сидели. Больше они не сказали ничего, потому что Зернин сорвал с пояса гранату, кольцо соскочило ему в руку, граната упала вниз, зловещим веером обметая костер. Затем наступила тишина, и в нее Зернин полез, как в воду, пробуя глубину ногой.

На другое утро в крепость въехал худой, мрачный красноармеец с блуждающими глазами и полуоткрытым от волнения ртом. Он сидел на поджаром карабаире и вел в поводу еще двух коней под туркменскими седлами.

Проезжая мимо госпитального сада, где на лужайке стояли кровати, он, жадно пробежав по лицам больных, круто задержал лошадь, соскочил с седла и бросился с самой дикой поспешностью к кровати, на которой лежал побледневший и забинтованный Челюсткин.

Челюсткин открыл глаза и не сразу понял, кто стоит перед ним. Приехавшего узнал хромой Подгорский. Он закричал:

— Без вести пропавший объявился! В плену был, товарищ Зернин?

Зернин, не отрываясь, смотрел на забинтованное плечо помкомвзвода, потом — в это утро он делал только решительные движения — он бросился к лошадям, отстегнул от седла пыльный мешок и, стараясь не раскачивать его, понес к больным. Уже несколько человек, любопытствуя, смотрели на это происшествие.

Он стал отгибать концы мешка, закатывая их, как рукав, стараясь не смотреть на мешок, за него смотрели другие. Когда его пальцы натолкнулись на твердое, он вздрогнул, сам не заметив этого, и быстро поставил мешок на кровать. Все увидели спутанную бороду, один полузакрытый глаз и сизый череп неправильной формы.

— Кто это? — закричал Подгорский, наклонясь к голове. Продольный легкий порез безобразил и без того страшное лицо.

— Не знаю,— сказал с внезапной вялостью Зернин, не узнав голову того, чей Коран он швырнул оземь на Саары-Тепе.

— Кто это? Кто это? — спрашивали вокруг.

— Колдун, сволочь его душу, басмач,— сказал Зернин и резко вытянул мешок вверх.

— Убери прочь,— закричал Челюсткин, повернулся и застонал.— Вези в комендатуру. С ума сошел.

— Есть, товарищ начальник,— сказал Зернин, взял мешок и с четкостью лунатика сделал поворот и пошел к лошадям, не оглядываясь.

1932

МИРАБ

— Я проспала,— закричала Гуль-Джамаль, отбрасывая одеяло.

Поля из Иолотани стояла на пороге с ворохом плакатов. Она была инструктором по шелководству на контрактации грены; среди синих халатов она проходила из аула в аул, без шляпы, без пальто, как на прогулке. Из аула в аул, день за днем — неделями. Когда случайные люди спрашивали ее, где она научилась так хорошо говорить по-туркменски, она делала удивленные глаза,— среди народа жить да язык не знать, на что это похоже!

— Как ты чулки-то надеваешь, Гулька,— сказала Поля,— шиворот-навыворот...

Гуль-Джамаль пропустила свои быстрые пальцы под легкую кожуру чулка и сбросила его с ноги.

— Тебе хорошо смеяться,— сказала она,— ты родилась в чулках, а я, ты сама знаешь, как давно я стала носить европейское платье. Я тебе скажу: первый раз надела платье, чулки, туфли — иду по улице, все смотрят, все злобятся, все смеются, от стыда деваться некуда. И правда, все непривычно. Платье выдали узкое, грудь, как облитая, наружу, юбка короткая — это после наших длинных штанов до полу, чулки спускаются, без халата, без рубашки нашей громадной. Теперь привыкла. А чулки всегда не той стороной надеваю.

— А я вот туфли на высоких каблуках не обожаю.— Поля сложила в угол плакаты и рассматривала свои загорелые руки.— К чему они — туфли. В наших песках с ними некуда. Нам форсить, Гулька, некогда. И верхом с ними неудобно. Стремя цепляют. Ну, Гуль-Джамаль, скорее оде-

вайся, я тебе помогу помыться да побегу. Я уезжаю в Хотаб.

Солнце сидело на кромке желтых барханов, уходивших в немыслимые шири пустыни.

Люди в халатах и люди в одних рубахах работали кетменями в узких и глубоких коридорах арыков, среди однообразных гулких шлепков выбрасываемой глины. Зеленые ковры люцерны и черные косматые шары знаменитых карагачей селения ощущались как стоящие в другом мире. Техник не раз опускался на самое дно арыка и щупал палкой толщину земли, задавившей воду.

Слово «вода» в этой стране было самым драгоценным словом. Распределителями воды по выбору селения всегда назначались опытнейшие бородатые люди, знатоки законов водяной жизни, хранители бесчисленных порядков арыков, разносивших благословенные воды на сожженные солнцем глины. Их звали, этих почтенных людей, мирабами.

— Где же мираб? — спросил техник.— Черт его знает, как быть с тем ответвлением. Я запутался прямо — налево поворот, налево поворот, направо пошло и опять направо, который настоящий арык, черт его знает...

— Мираб здесь,— закричала Гуль-Джамаль.

Да, Поля из Иолотани могла гордиться подругой. Гуль-Джамаль легко несла тяжелый труд мираба. На хошарных работах, когда Аму-Дарья в одну ночь, срезав головы арыков, заваливала их глиной и песком и нужно было часами расчищать арыки, она всегда наравне с техником руководила работами.

Она родилась с гулом воды в крови. Вода пела в ее ушах особым голосом, ей одной понятным. Она знала наизусть порядок пуска воды по бесконечным жилам арыков, она сейчас угадывала, где нужно перекопать легкий вал, чтобы вода, задавленная глиной, снова, играя, пошла бледной струйкой к селению; все узлы этих голубоватых потоков были в ее тонких руках. До революции ее не подпустили бы и близко к священному труду мираба. Она бы носила тяжелый котел саммока на голове, обвешанный монетами, яшмак зажал бы ее узкие губы, она спотыкалась бы по глине с ведром из верблюжьей кожи, теряя с ног рваные туфли.

Тоскливо, выворачивая душу, скрипели чигири. Верблюды с завязанными глазами, чтобы не сойти с ума от бесконечного кружения, тащили из колодцев одни и те же сосуды с водой. Перед ними сидели старики, тупо уставив

глаза в землю, водя по земле тонкими ивовыми прутиками.

Полдень вывел людей из огромной глиняной пропасти. Положив кетмени на плечи, рабочие шли обратно в селение. У карагача на деревянной шатучей скамейке сидел старик, распахнувший халат и злобно чесавшийся. Увидев Гуль-Джамаль, он сплюнул:

— Что толку, правоверные, если дехканин увидит осенью, что он получил меньше люцерны, хлопка и пшеницы, и спросит: зачем твой колхоз? Ты будешь каяться и бить себя по бесплодным чреслам: зачем твой колхоз?

Гуль-Джамаль подошла так близко, что край юбки коснулся пестрого, как язва, халата.

— Хаджи-кули, почему ты опять пришел? Нечего делать баю в колхозе, бывшему баю...

Старик улыбнулся, как улыбаются больные обезьяны. Он вынул из-за пояса тыкву и вытряс горсть синего порошка на ладонь. Он не проглотил порошок, он скатал его в шарик и спрятал шарик между языком и губами.

— Люди,— зашамкал он, перекатывая во рту шарик,— люди растерялись, женщина, они не знают, живут они или не живут... С твоим колхозом.

— Ты черный человек,— сказала серьезно Гуль-Джамаль.— Ты не понимаешь новых дел. Как сказала Тойдже: «Я потеряла сына-батрака, я прошу успокоить мое сердце — пусть уйдут все, кто не хочет,— я останусь в колхозе». Как сказал Измаил: «Гоните меня из колхоза — я не уйду, я — батрак, а колхоз — это дом батрака».

Старик глядел полными отчаяния глазами на стройные ноги девушки в рыжих новых чулках.

— Женщина без стыда — как пища без соли,— сказал он,— отойди от меня. Я гляжу, милая, чтобы не умереть с тоски. Придет, о, придет Али-Мухамед и, как огонь, пожрет твой колхоз. И ты заплачешь, женщина, и будет поздно.

Тогда Гуль-Джамаль внимательно посмотрела на старика и вспомнила историю милиционера Али-Мухамеда, бежавшего в Афганистан и ставшего басмачом, милиционера, бывшего вором и чилимщиком, человеком безнадежным и опасным.

Старик равнодушно тянул сквозь зубы старую, как он, песню. Гуль-Джамаль прошла между глиняных башен, воскрешавших в памяти древнюю славу Египта, и вступила во двор, обставленный тяжелыми дувалами.

Посреди двора в юрте сидели три человека и молчали. Один держал свою шапку на коленях, и она была такая ог-

ромная, курчавая и неподвижная, что казалось: у него на коленях спит черная овца. У другого молчальника глаз был завязан красным платком с белыми цветами. И это походило на рану, сочащуюся кровью. Третий носил гимнастерку под халатом, и это был председатель колхоза. Он сидел и писал, очки ездили у него на носу, пот смазывал их, как деготь колеса. Пиалы стояли в беспорядке на коврике, и туфли валялись между огромными чашками, и рыльце чайника засматривало в одну из туфель с удивлением, потому что в туфле бегал жук и не мог найти выхода.

— Гуль-Джамаль,— сказал председатель,— можно ли дать бумагу на девочку, которая уверяет, что ей шестнадцать лет, а вот люди говорят: ей нет четырнадцати?

— Про кого ты говоришь, Курт-Мурад? — спросила она и налила себе зеленого чаю.

— Я говорю про Нур-Мамеда и Анту-Нияз.

— Но ведь Нур-Мамед купил ее у родителей.

— Тсс, Гуль-Джамаль, тсс... кто скажет так — нехорошо скажет. У нас нет слова о калыме, а есть слово о том, сколько ей лет...

— Ей нет и четырнадцати лет, и ты это знаешь. Пусть они едут в Керки и там в исполкоме все объяснят... Слушай, Курт-Мурад, Магомет-Оглы пришел снова, и сидит под карагачем, и зовет на нашу голову басмачей. Я думаю: он пришел все высмотреть. Сегодня в кооператив привезли мануфактуру и чай. Дай знать на заставу...

Она встала и споткнулась о хомут, лежавший рядом с ковриком. Председатель смотрел на хомут и жевал губами.

— Хомуты прислали, Гуль-Джамаль,— для лошади узки, для ишака широки, верблюду — никуда не годны, хоть сам носи.

— Это вредительство,— возмущается Гуль-Джамаль,— напиши об этом в Керки и задержи сегодня же Магомета-Оглы.

— Что ты хочешь, женщина? — Председатель откидывает полные влаги стекла на лоб.— Ты хочешь его арестовать?

— Да, я хочу его уничтожить,— просто отвечает Гуль-Джамаль и уходит.

В вечернем сумраке старик у карагача останавливает ее, и его белая иссохшая рука как старая ветка саксаула.

— Гуль-Джамаль, женщина потеряла стыд,— и стала как пища без соли. Ты предаешь дядю своего, ты — дочь брата моего, Гуль-Джамаль...

Ярость потрясает узкое тело девушки. Она стала кочевницей, забывшей европейское платье и привычки города. Она стоит перед стариком, как женщина пустыни, наездница и охотница, мать бесчисленных орд, с перекошенными ястребиными бровями.

— Кто загнал в могилу мою мать — рабыню и батрачку, Магомет-Оглы? — спрашивает она.— Кто стер ее с лица земли? И я сотру тебя, Магомет-Оглы, как глину между ладоней.

Она проходит, и старик смотрит ей вслед глазами сумасшедшего верблюда, облизывая губы толстым, распухшим языком.

На коврах в Госторге едят плов. Приезжий практикант показывает фокусы со спичками. Армянский лев Госторга, уверенный и ловкий, как жонглер, Назарьянц смотрит шкурки баранов и старые ковры, привезенные из пустыни. Гуль-Джамаль идет в темноту двора, где фыркают лошади и бегают огромные псы, сторожа Госторга. У Гуль-Джамаль свои дела, свои тайны. Она ищет назарьянского вестового, чтобы узнать, сообщено ли на заставу о том, что Магомет-Оглы снова пришел.

Большой туркмен-салор, улыбаясь, шепчет ей на ухо: «Еще звенят кокача, а уж звон там записан»,— он показывает в сторону заставы.

Гуль-Джамаль хочет вернуться на террасу. От столба отделяется человек. Это Нур-Мамед.

— Здравствуй, Гуль-Джамаль.

— Здравствуй, Нур-Мамед...

— Это ты сказала, что Анту-Нияз нет четырнадцати лет?

— Я,— отвечает она.— И ты ничего не скажешь другого. А если ты возьмешь ее силой — ты будешь в тюрьме. Это мое слово! А теперь дай мне пить мой чай спокойно. Одна суматоха с вами.

И она идет прямо на него, и Нур-Мамед уходит за столб, как будто он никогда и не появлялся.

Гуль-Джамаль пьет чай, и смотрит привезенные из пустыни серые полосатые шкурки и пыльные старые ковры, и слушает практиканта. Она знает теперь наверняка, что сегодня ночью из пустыни придет безумный милиционер Али-Мухамед. Ну что же, у нее на стене висит винтовка. Маловато патронов, но на заставе уже знают. Комсомолу все равно придется сражаться, не в первый раз.

Жаль, что Поля уехала в Хотаб. Вдвоем было бы веселее.

Назарьянц пьет двенадцатую пиалу зеленого чаю и смотрит на нее львиными глазами.

— Ты придешь сегодня? — спрашивает она, смотря в широкую и душную темноту двора.

— Приду,— говорит одними губами Назарьянц.

— Тогда захвати с собой четыре обоймы. Четырех хватит.

— А, Али-Мухамед? — восклицает Назарьянц и наливает себе тринадцатую пиалу.— Хорошо, захвачу...

1933

ВОСПОМИНАНИЕ

Праздничная демонстрация кончилась. Трибуны опустели. Площадь была забита людьми, двигавшимися уже в разных направлениях, но взволнованность, остающаяся после прохождения вооруженных и невооруженных тысячных колонн, наполняла очевидцев.

Еще как бы висел в воздухе грохот промчавшихся всадников, и блеск клинков остался в памяти, как морозное серебро; еще дымные облака, сопровождавшие боевые машины, струились, напоминая пороховой дым; еще глаз следил мерное движение множества плакатов и стягов, стремившихся по восьми коридорам. Гул приветствий как бы поддерживал качавшиеся в высоте производственные модели, гербы профсоюзов, а также разноцветных веселых кукол летучих инсценировок.

Даже в небе, где висел только неуклюжий сверток привязанного аэростата, дрожал еще хрип могучих крыльев, выраставших звено за звеном из-за стеклянного купола вправо от арки штаба, где бронзовые кони рвались в сторону, испуганные вихрем, пролетавшим над их буйными гривами.

Люди расходились с трибуны, обмениваясь впечатлениями. Каждый вспоминал поразившую его особенность. Кто восхищался первоклассной военной техникой (а главное, все свое, своими руками сделано), кто поражался мощностью зрелища одновременно вступавших на площадь всех районов, кто вспоминал отдельные живописные детали украшений колонн.

— Да,— сказал мой спутник,— я был на этой площади в день пятнадцатилетия Октября. Над площадью висел такой густой туман, такой низкий и тяжелый, что ни один

самолет не мог взлететь, да если бы и взлетел, то его все равно никто бы не увидел. Самое странное было то, что этот туман даже не был заметен снизу, и только тогда, когда оторвались целые связки воздушных шаров, разноцветных и веселых, полетели вверх и вместо легкого колыханья в небесной синеве сразу ухнули куда-то и стали невидимыми, все увидели, что их поглотил ужасный туман. Небо потемнело совсем. Стали стрелять из ракетных пистолетов, и под этот грохот, под клубы ракетных огней площадь заняли красногвардейцы, ветераны Октября, шагавшие впереди колонн в черных кожаных куртках с винтовками, с решимостью семнадцатого незабвенного года на лицах, и сквозь туман, порванный местами ветром, на крыше здания штаба заблистали, как перебрасывающиеся языки пламени, флаги всех огненных оттенков. Вот, доложу вам, было зрелище, достойное описания. Такая мощь и суровость жили на площади, что дрожь прошла по жилам, и чувствовалось тогда со всей силой, что такое масса, народ, что такое пролетарская энергия, пролетарская героика... Где были живописцы, которым сам этот вид приказывал брать кисть и работать...

— Массы в живописи,— сказал второй собеседник,— еще достойно не изображены. Когда я смотрю на суриковские картины, то я вижу народ того времени так, что мне понятен каждый человек и его движения и жизнь в картине. Вспомните «Утро стрелецкой казни» или «Битву Ермака с татарами», возьмите Репина с его большой натурой, «Запорожцев», «Бурлаков». Разве там скомкана хоть одна подробность? Посмотрите хорошенько...

— А почему вы вспомнили Сурикова и Репина?

— Почему? Да потому, что я был на выставке двенадцатилетия советской живописи, искал изображения народа, сделанного, как говорят, кистью мастера. Ну, знаете... Я нарочно выбирал холсты, где были представлены демонстрации. Там такое было понарисовано: то веселенькая толкучка, то этакая серая икра, перепоясанная красными бантами, а то просто черные запятые бежали вместо людей посреди скучнейших кубиков, изображавших, по мнению художника, наш город. Так ходил я, ходил, смотрел, смотрел и ушел, никакого изображения народа не обнаружив.

Тут третий собеседник перевел разговор.

— Меня поразили оркестры,— сказал он,— это зрелище особое, когда до них доходит очередь идти мимо трибуны, и они все соединяются, и всадники-трубачи выезжают с се-

ребряными трубами вперед, и лошади в такт трясут гривами и перебирают ногами, и гремит медь громадного единого оркестра,— это зрелище такой силы и грации, что стоит лучшего балета.

— Ну, уж вы хватили, балета,— возразили ему,— в музыке наши массы тоже отсутствуют, по причине, видно, страшной трудности их изображать...

— Пафос в музыке масс, товарищи, я испытал раз,— сказал один из группы,— и как еще испытал, и от какой еще музыки. На фронте в гражданскую Первого мая сообщили отряду, что приезжает комбриг, будет смотреть отряд. Почистились, приготовились, а музыки — ну, никакой. Что делать? Сообразили, туда-сюда сбегали, достали, что вы думаете? Шарманку, да, обыкновенную шарманку. Поставили ее на правый фланг и под нее, изображавшую какую-то революционную песню, пошли мимо комбрига. Шарманка в красных лентах, люди идут веселые, и эта старая шарманка пафос такого качества дает, что можно сто километров с боем пройти. Вот вам и простая шарманка...

— Ну, а ты читал где-нибудь такой случай, это тоже было на гражданской: за два дня до Первого мая пришел в полк обоз, привез подарки из тыла. А в обозе, между другими подарками от рабочих, сигары, наследство от буржуев, уж не помню, сколько ящиков. Эти сигары роздали, пришлось по две на бойца, и в приказе было отдано: одну курить можешь когда хочешь, а другую до особого распоряжения строжайше курить запрещалось. Потолковали бойцы; в чем дело — никто не понимает. Берегут вторую сигару. Бои шли тогда отчаянные. Понадобилось нам в самое Первое мая тогда контратаку ударить. Тут и вышел приказ: как в цепь рассыпаться, каждому бойцу сигару закурить. Пустяк, кажется, а такой вид у бойца с сигарой в зубах, такое спокойствие, уверенность; пошли в бой, с белыми сблизились, смотрят беляки, что за дьявол. Идут цепями красноармейцы в потрепанных шинелишках и сигары курят, идут в атаку, как на маневрах в старину. Раненые, упав, поудобнее устраиваются, чтобы сигару докурить... Духом не падают. Вот бывало как... И разбили белых наголову в том бою... А в наших книгах иногда бывает так, что мы, то есть люди тех героических лет, тоже чем-то вроде живописных запятых выходим.

— Нет, дорогие товарищи,— заметил третий,— вы не совсем правы. То, что вы рассказывали о случае с сигарами и шарманкой, это, конечно, случаи и по тому времени осо-

бые. Но, в общем, правильно, что подойти с большой изобразительной силой и глубиной к теме гражданской войны не всякому удается. То ли тут играет роль, что смотрим мы на эти в сущности необыкновенные события как на обыкновенные, то ли это инерция искусства, то ли действительно у художников наших некоторая бездумность или, вернее, историческая радость в зрелище победившего народа останавливает глаза искусства... Она так всеобъемна, что к ней добавить искусству нечего...

— Не думаю,— отвечал человек, рассказывающий про сигары,— не думаю, что наши ежегодные торжества не могут нести вечно новых мыслей и ощущений. Следует их поискать средствами искусства, а вдруг и найдутся.

— А вы пробовали искать?

— Да я что, я не человек искусства, я простой смертный. Честно скажу: ни кистью, ни пером, ни нотами не владею. Я больше по экономической части специалист.

— То-то,— сказали ему,— владели бы, так мы бы вас сейчас к стенке и прижали.

— А чего меня прижимать? Я вам лучше один случай расскажу, который со мной однажды на этой площади приключился, во время Октябрьского праздника. До сих пор забыть не могу.

— Что же вы думаете: в вашем случае есть отношение к нашему разговору?

— Есть некоторое отношение, вы только меня не торопите. Видел я раз такого первомайского тибетца.

— Что, тибетца? — хором сказали все.— Это уже экзотика.

— Экзотики, дорогие, у нас нет. У нас, как говорится, всюду жизнь.

— Ну-ну, рассказывайте.

— Стою я и слышу: сзади кто-то тихо вздыхает. Раз вздохнул, два; я оглядываюсь: стоит человек и на демонстрацию смотрит не по-нашему. Так необычно и упрямо смотрит, что я был просто поражен, встал рядом с ним. Он смуглый, глазами чуть косит, скуластый; смотрит и что-то глубоко переживает. Как окончилась демонстрация, я с ним и увязался. Он по-русски говорит. И пошел он мне рассказывать. Сам он был из Тибета. Что я о Тибете знал? Что Тибет — это страна чудес. Далай-лама там, яки там ходят длинношерстые, монахов много. Вот и все, что я знал. Я вам, конечно, все тамошние имена, о которых он говорил, передавать не берусь. Я забыл эти города и горы, а расска-

жу самое существенное. Этот тибетец пришел из Тибета в Индию; он почти ничего не слыхал о нашей Октябрьской революции, и раз Первого мая был он где-то там в Индии. Идет он и видит: движется ему навстречу большая толпа народу. Было это не то в двадцатом, не то в двадцать первом году. Среди народа идут слоны, украшенные пальмовыми ветвями. Он спрашивает: что это такое. А был он не один, с приятелем. Ему отвечают: это праздник, садись с нами. Сели они на слона и поехали. Видит он, что вокруг по всем дорогам идут люди и движутся слоны. Насчитал он слонов до тридцати. Один слон украшен особо, и на спине у него палатка, убранная цветами, листьями, материями. По бокам слона идут люди с большими веерами на палках и машут ими.

В палатке же стоит фигура человека, а по краям палатки сделана надпись индийскими буквами, очень красивая. И никак ему эту надпись не удается прочесть: слон все вперед уходит. Так пришли на огромное поле, все занятое народом. Увидел народ слона, несущего палатку с надписью, стал радостно кричать и петь. В разных концах поля заиграли музыканты. Мальчики стали пускать в небо бумажные змеи. Надписи на них похожи на надпись на палатке.

Он спрашивает, уже с нетерпением, что там написано. Ему отвечают: там написано — это наш отец.

Тут весь народ радостно закричал и обступил слона. А тибетец все не может понять, чье же это изображение стоит в палатке. И вдруг он услышал, как весь народ, все тысячи людей закричали: «Ленин наш отец! Ленин наш отец!» С этого дня у него в памяти остались эти слова, и он стал расспрашивать всех, кто такой Ленин. Когда он узнал все, что мог узнать, он решил во что бы то ни стало добраться до России. После больших трудностей ему удалось приехать в Ленинград. Он прилежно учился русскому языку, выучился читать и говорить. Он научился многому, о чем раньше и не слыхал. На этом празднике Первого мая в Ленинграде он был впервые.

— А отчего же вы вздыхали, вы что-нибудь думали? — спросил я.— Может быть, вы смотрели на наших демонстрантов и вспоминали родину?

— Да,— сказал он,— я вспоминал родину. И думал вот что: у нас на родине и народ еще темный, дикий. Все пастухи да попы. Кто не пастух, тот поп. И попов даже больше. И всем они правят и учат в монастырях, что есть такое

колесо жизни, данное с неба. И по этому колесу все вперед известно, что будет. И в колесе этом нарисованы все грехи и все злоключения, которые есть в жизни этой и загробной. От этих мучений нет спасенья бедному человеку, и он может только работать на попов, изобретших это колесо, чтобы они молились за него богу, и тем единственно его участь облегчали. И вот когда я смотрел на эту площадь, на которой гудел, как море, народ, я понял, что попы наши в одном не солгали: есть колесо жизни на свете, но это совсем не их колесо. И здесь, на площади, я вздыхал потому, что видел всю жизнь заново...

— Интересно,— спросил я,— как же вы в этом колесе на площади видели всю жизнь?

— Видел,— сказал он мне убежденно.— Я видел младенцев на руках матерей. Они смотрели свободными, веселыми глазами на знамена и оружие отцов. Я видел юношей и девушек, несших, как знамена, вещи, которые они, трудясь, дали своему народу, я видел зрелость, вооруженную знаменем мира, и могучее оружие, защищавшее это знамя от врагов. Я видел старость, шедшую в рядах, почтенную старость мастеров своей жизни, учителей молодых поколений, состарившихся в труде среди внуков и сыновей. Я видел, как в колесе жизни все возрасты сразу, в одно время, в одном месте как единое, могучее движение идей, а в тибетском колесе, что нарисовано попами, только одни чудовища щелкают зубами над телом бедного человека. Вот почему и вздыхал. Я вздыхал от радости, от того, что я достиг новой, высшей мудрости и так ясно вижу свою жизнь вперед...

Вот какой это был тибетец.

— Вы узнали, кто он, что он?

— Он был рабфаковец, я не расспрашивал его больше. Для меня он был то, чем он сам хотел быть: человеком народа, человеком из этого самого нового колеса жизни, которое со звоном прокатывается каждое Первое мая и Седьмое ноября по всему миру.

1937

В ДНИ ВАСАНТЫ

Словом «васанта» — весна — называется в Индии время с середины марта до середины мая. Одним весенним апрельским днем мы ехали вдоль большого канала, берега которого уходили, казалось, в бесконечность. Ровно и спокойно струилась вода, сжатая искусственными берегами — вода Нангальского канала. Это было вполне современное сооружение, и глаз регистрировал желто-белую, вымеренную покатость берегов, аккуратность переходных мостиков, стремительно пролетавшую вдоль канала дорогу.

В памяти еще жили впечатления недавних дней, проведенных в Дели на конференции азиатских народов, пестрые заседания, на которых ораторы являли всю живописность Востока, и можно было без конца наслаждаться удивительной выразительностью лиц и великолепной пластикой движений, темпераментностью речей и глубокой правдивостью сказанного.

В памяти жили улицы Дели, всегда полные народом, улицы, на которые струились потоки весеннего солнца, зелень старых тамариндов и смоковниц, платанов и пальм.

Прошлое вставало перед нами в бесчисленных памятниках старины. Так хорошо было поехать вечером подышать прохладой за город. В тени древних башен и гробниц серыми тенями по полям шмыгали обезьяньи стаи. Завидев человека, обезьяны прибегали на дорогу, прямо из рук брали орешки и с самым серьезным видом щелкали их, держась за вашу руку тонкими, сухими пальцами доверчиво и крепко. Птицы садились рядом с вами на балконе в гостинице и не обращали внимания на вас, перебирая свои яркие перья красным или зеленым клювом. Они знали, что

вы не сделаете им больно, не ударите их, не прогоните с балкона. Это была страна, где тысячелетьями берегли и уважали птиц и зверей. Коровы ходили по улицам между автомобилей и троллейбусов, как будто они были одни на свете. Их нельзя было даже пугать звонком или резким окриком.

Голые и полуголые люди работали в садах и на полях. И так было не только сегодня, так было столетьями. Новое встречало вас большими современными зданиями, машинами двадцатого века, дворцами банкиров и магараджей, крытыми галереями современных базаров, где продавались товары со всех концов света, лабораториями институтов и университетов, шумными толпами молодежи, афишами кино с широкими экранами и всепроникающим голосом радио.

Мы ездили в старинную Агру, где можно было подняться в безмолвие мавзолея великого Акбара, чей саркофаг высоко лежал, открытый синему небу, и по стенкам, окаймлявшим гробницу и этот вознесенный к небу прах, были начертаны стихи поэмы, прославлявшей грозного падишаха. Мы не в первый раз смотрели на тающие в синем просторе снежные, тонкие глыбы Таджь-Махала и путались в лабиринте комнат, зал и переходов старой крепости, стоя в молчаливом раздумье на том балконе, с которого шах Джехан смотрел каждый день на могилу своей жены Мумтаз. Ей он воздвиг памятник, подобный которому не имеет ни одна женщина в мире.

Но в этот день, когда наша машина плавно скользила вдоль Нангальского канала, мы увидели другую Индию, которую навсегда запомнили. Целый день мы провели в тех местах, где сооружается грандиозная плотина Бхакра-Нангал Дамм.

Мы увидели индийцев, от простых рабочих до инженеров, занятых огромной созидательной работой. Мы поднялись к тому месту, где сегодня между двух отвесных стен ущелья, стремительно спускающихся к дикому, не покоренному пока Сетледжу, висит пустота. Эта пустота должна исчезнуть. Пространство между ничем не связанными скалами будет навеки связано крепчайшей стеной-плотиной. Даже трудно было представить, что там, где синий воздух прозрачен, как тончайшая кашмирская ткань, повиснет стена с воротцами, в которые будет стремительно падать вниз вода косматыми, пенистыми столбами, потому что высота плотины двести двадцать метров.

Еще более удивительно было смотреть назад, туда, к горам, где над голубой долиной дымки над мирными селами говорили о безмятежной сельской жизни. Когда в этой пустынной высоте встанет стена плотины, там, где сейчас движутся по дорогам люди и животные, машины и экипажи, там будет безмолвно лежать огромное озеро, которое поглотит свыше трехсот пятидесяти деревень. И грохот падающего потока будет похоронным гимном свободному, дикому Сетледжу, который сегодня, предчувствуя свою участь, ревет среди берегов и завивает крутые кольца беснующейся воды.

Мы видели сырые, пахнущие холодным мраком туннели, где помещаются отводные каналы, мы видели много грузовиков и самосвалов, отвозящих выбранный грунт, мы слышали хрип машин, взбирающихся на верхний отвес, видели тружеников, чьими руками изо дня в день сооружается эта невиданная для Индии плотина. Тут говорили по-новому даже цифры, цифры, которых не знало прошлое. Минимальная мощность станции в засушливый сезон выражалась в цифре 400 000 киловатт, максимальная мощность станции в сезон дождей в 900 000 киловатт.

Весь день были мы под впечатлением этого замечательного зрелища, когда люди, вступившие в борьбу с горами и водяным диким потоком, твердо решили добиться своего.

И когда наша машина двигалась вдоль нового канала, мы с удовольствием наблюдали новый пейзаж, свидетельствовавший о воле великого народа, приступившего к преобразованию природы своей страны.

Шофер наш замедлил ход машины, потому что у дороги сидели люди. Одежда этих отдыхавших была самая обычная, выражение их лиц было такое, какое бывает у всех усталых людей, долго несших тяжелый груз и присевших отдохнуть недалеко от воды, чье легкое и прохладное дыхание освежало разгоряченные лица.

Они сидели и полулежали, между ними стоял паланкин. В такой стране, как Индия, этот раскрашенный, легкий паланкин не был чем-то особенным. Но шофер сказал одно слово, которое привлекло к паланкину наше внимание. Он сказал: это невеста!

— Они несут невесту,— сказал шофер, и мы увидели ее. Полулежа в паланкине, она смотрела на воду канала, бежавшую перед ней. Переливающееся разными красками сари, цветы, лежавшие на коленях, белевшие в ее волосах, сверканье, в смутном полумраке паланкина, ее ожерелий,

браслетов и колец делали ее похожей на существо из другого мира. Это был облик древней, потерявшей счет векам Индии, уходившей в бездну времен, образ, виденный на скалах Аджанты и красочно живший на картинах древних мастеров. И, однако, это был лик юности, самой цветущей, победоносной и современной. Это было смуглое юное лицо, как бы освещенное изнутри светом любви, жадного любопытства к миру, который она впервые видит и который с каждым шагом все больше раскрывается перед ней.

То, что простой девушке оказывали такую честь взрослые люди, почтительно и бережно несшие паланкин с ней, было понятно. Они несли собственную любовь к жизни, к молодости, ко всему, что они считали лучшим и значительнейшим в жизни. Они сами были когда-то молоды, может быть, уж и не так давно. И мне показалось, что я вижу сразу и прошлое, и будущее, и настоящее. Девушка смотрела на канал, на сооружение нового века, на то, что не видели ее предки, большими пылающими глазами юности, но в глубине ее души жила женщина древнейшей страны, которая верила в то, что она сейчас выполняет какой-то не совсем ей понятный, но обязательный долг, идет в дом к человеку, с которым она основывает семью, и должна будет родить детей, продолжить племя великих тружеников, и пусть ей будет трудно, но сейчас она молода, и эта весенняя природа, как и этот созданный людьми канал, веет на нее чудесной прохладой, как бы подбодряя в дальний путь.

Ее переносят из прошлого в будущее близкие ей люди, которые сейчас отдыхают, потому что нелегко нести паланкин из селения в селение; и пока машина медленно проезжала вдоль канала, мы не сводили глаз с этой юной девушки со сверкавшим в полумраке паланкина восторженным и задумчивым лицом.

Крестьяне, несшие паланкин, были одеты так же, как те, что сооружали грандиозную плотину. И это роднило их и сближало самые далекие времена.

Вокруг нас жили исторические воспоминания. Это был край сикхов. Вот гора Нана деви, сикхская крепость и храм, где были приняты законы Гуру Гобинд Сингха. Здесь заклял он сикхов носить длинные волосы, большой кинжал, длинный гребень, штаны особого покроя и сикхские браслеты. Сегодня сикхи смелые солдаты и воинственные шоферы, ведущие машины так, как будто они мчатся в битву. Но они остались сикхами, берегущими свой

Золотой храм в Амритсаре. Но изменился старый Амритсар и изменились они.

В синем сумраке вечера наша машина резко затормозила. Тихий свист, исходивший из лопнувшей камеры, говорил о том, что на дороге попадаются гвозди.

Машина остановилась. Дорога, обсаженная деревьями, была пустынна. Недалеко от места остановки был виден маленький колодец. Скрип старого ворота был слышен издали. Над колодцем склонялись девушки и женщины, пришедшие за водой. У нашего шофера оказалась запасная камера. Но он был романтик по природе. Он, имея запасную камеру, не имел ни одного нужного в таком случае инструмента. Нам нечем было развинтить гайки, нечем было приподнять машину. Он вышел на дорогу и встал, подняв руку. Так как на ближайших машинах не оказалось нужного инструмента, то мы не могли ничего предпринять. Крестьяне, возвращавшиеся домой, наталкивались на нашу машину и останавливались из любопытства.

Потом нашелся шофер, который остановил свой грузовик, и с него тоже спрыгнула толпа любопытных, окружившая нас. Одни добровольцы храбро вместе с нашим шофером полезли под машину, помогая ему добрыми советами, другие стали спрашивать, откуда мы, и, узнав, что мы — советские люди, в радостном изумлении всплескивали руками и засыпали нас вопросами. Через пять минут на дороге шла самая оживленная беседа. Мы еще полчаса назад не могли думать, что под старыми деревьями, рядом с древним колодцем мы будем говорить с народом, с самыми обыкновенными людьми, с крестьянами, которые с какой-то особой жадностью хотели все узнать в несколько минут. Они спрашивали, правда ли, мы будем помогать индийскому народу, правда ли, что советские люди будут строить в Индии металлургический завод и научат индийцев, как стать металлургами, правда ли, что мы продадим им станки и машины. Многое было сказано ими в тот час, пока наш шофер сменял камеру. Было вместе с тем что-то трогательное в том добродушном и любовном внимании, с каким люди слушали наши ответы. Как будто мы ехали специально к ним, и эта встреча на дороге не случайность, а где-то давно обговоренная встреча, которой они долго ждали.

Были удивительны их глубокие дружеские речи, их приветы, которые они просили передать советским людям,

их верное и хорошее понимание происходивших событий, их большая вера в советский народ. Было это удивительным потому, что эта любовь к советскому человеку у них родилась не вчера, что доверие, которое жило в их словах, не было внешним выражением вежливости, присущей этому доброму народу. Весь разговор был сознательным и серьезным.

Мне стало жарко, и я пошел к колодцу, чтобы выпить воды. Когда я подошел к каменным ступенькам, залитым водой, там была только одна женщина, которая протянула мне кувшин, и я напился и поблагодарил ее.

Обернувшись, увидел я рядом с колодцем нечто вроде часовни — глиняный домик с решетчатой запертой дверью. Я посмотрел сквозь решетку и увидел две глиняные фигурки, стоявшие рядом на камне вроде алтаря. У ног их лежали скромные букетики полевых цветов. Я узнал этих небожителей, которым принадлежал крошечный храмик. Это были Кришна и Радху. В сумраке вечера огромные духи прошлого превратились в маленькие фигурки из детской сказки. Они были скромны, и добры, и полны изящества, эти фигурки, сделанные рукой местного мастера: Кришна — одно из воплощений бога Вишну и Радху — супруга возницы Адхиратхи, усыновившая и воспитавшая Карну, победоносного сына бога солнца и девы Кунти. Так говорит индийская мифология.

Казалось, они нарочно притворились маленькими, чтобы не смущать людей, приходящих за водой к колодцу или отдыхающих в тени рядом с их крошечным храмом. А может быть, так изменились времена, что люди, толпившиеся сейчас на дороге вокруг нашей машины, были большого роста, а сказочные видения прошлого уступили им дорогу и вернулись в сказку, чтобы не хвастать больше своей божественностью и силой, о которой говорится в древних книгах.

И снова в этот день я ощутил, как прошлое стоит рядом и как будущее выходит, как полная луна из соседней рощи. И, может быть, добрые люди этих мест пожалели этих старых богов и сделали им маленький домик у дороги, чтобы они там спокойно доживали свою старость, уверенные, что большие дети сегодняшней Индии, работники и создатели будущего великой страны, никогда не обидят далеких снов своих предков, воплотившихся в эти маленькие, сказочные фигурки — Радху и Кришна.

Мне понравились эти божественные фигурки, живущие

между людьми, так ясно представляющими свое будущее. Когда наша машина была готова к дальнейшему пути и мы тепло прощались с нашими друзьями-крестьянами, один из них сказал с лукавой улыбкой: «Как хорошо, что ваша машина сломалась. Если бы она не сломалась, мы не имели бы возможности с вами поговорить по душе. Да что поговорить, посмотреть на советских людей. Мы их любим давно, а видим в первый раз. Ну, теперь вы будете приезжать к нам чаще. У нас тоже есть что посмотреть. Хотя бы нашу плотину...»

В нем уже говорила гордость строителя и патриота своей страны. Мы расстались горячо, пожимая до боли друг другу руки. Скоро люди и боги крошечного храмика растаяли в вечерней мгле. Но мы, конечно, еще не раз вернемся в эти места, и этим людям будет что нам показать.

Я вспомнил снова строителей гигантской плотины и этих чудесных друзей, безыменных крестьян, когда читал на днях речь Джавахарлала Неру, произнесенную им в городе Амритсаре, на митинге, где присутствовало триста тысяч человек. Там, конечно, были те же простые люди, которые являются надеждой и опорой страны. Неру сказал: «Мы находимся накануне начала новой главы в истории Индии. Она откроется в будущем году, когда начнется осуществление второго пятилетнего плана. Мы решили осуществить в этот период нашу промышленную революцию и догнать другие страны, которые начали этот процесс 150 лет назад...» Так сказал Неру, и не только триста тысяч человек в Амритсаре, а вся Индия, весь мир слышал это.

Великий индийский народ становится строителем нового мира, новой Индии. Мы можем сказать, что мы были очевидцами и свидетелями начала этого народного подвига, который даст жизнь новым народным эпосам, где не боги, а люди станут прославленными героями будущих поколений, и вечно молодая и древнемудрая Индия с глазами той девушки-невесты, что мы видели на берегу нового канала, благодарно посмотрит на новое свободное поколение великого народа, не знающего ни чужеземного ига, ни никаких преград к счастью, знанию и свободе.

Дни великой васанты — великой индийской весны — пришли, и ничто не сможет помешать их свету, их теплу на благо народа!

1955

МОСТ У АТТОКА

С юности началось мое увлечение Востоком. Я изучал историю, географию, историю войн. Я хотел быть одновременно и военным историком, и археологом, и путешественником. В детских играх я воображал себя идущим в караване Пржевальского где-то в пустынях глубинной Азии, я писал стихи про Индию, где были строки, обращенные к ее знаменитым городам:

Я к вам приду, колодцы между пагод,
Слоны святынь священных Гатских гор,
Я к вам приду, хотя бы только на год,
К вам, Беджапур, Бенарес и Эллор!

Я мог рассказывать про магратские войны, про восстание Нана-саиба, огромное народное движение, про пуштунские битвы с англичанами, про осаду Серингапатама, про Махабхарату и Шивапурану, древнейшие эпосы Индии, про джунгли и Гималаи, про красоты Кашмира и походы Бабура, основателя Могольской династии. Для чего мне нужно было все это держать в памяти?

Я рассказывал, когда был школьником, про Индию своим маленьким друзьям, и, чтобы им не было скучно, я сам рисовал картинки. На них были изображены города, люди, индийские пейзажи. У меня не было настоящего волшебного фонаря. Фонарь, вернее, его подобие, я сделал сам. Я взял коробку, прорезал в ней квадрат, перед этим квадратом я ставил картинку обратной чистой стороной к маленьким зрителям, сзади устанавливал кухонную лампу и гасил остальной свет. Лампа освещала картинку, и перед зрителями являлись густо нарисованные пейзажи и города,

слоны и люди. И все-таки трудно было уговорить моих друзей слушать мои лекции об Индии. Тогда я давал им по две, по три копейки, чтобы они сидели и не разбегались. А мне так много хотелось им рассказать о далекой, чудесной стране.

Я вырос, и выросли мои знания об Индии. Прошло много лет. Уже Индия разделилась на две страны: Индию, или Бхарат, и Пакистан. В состав Пакистана вошла западная часть провинции Пенджаб с древним славным городом Лахором. В этот-то город на конференцию прогрессивных писателей были приглашены советские писатели. Я поехал с этой делегацией. Мы прилетели в Ташкент, зеленый оазис, Париж Средней Азии, город, который я знаю хорошо и который дорог мне по воспоминаниям. Потом мелькнули зимние просторы Зеравшанской долины, черные, со снегом, глыбы Гиссарского хребта, мы опустились в теплом Термезе, чтобы резко взметнуться в небо и перелететь Гиндукуш.

Потом мы проехали долгими дорогами Афганистана. Нас встретил южный, зеленый Джалалабад, потом потянулись каменистые петли Хайберского перевала. Все, что я знал с детства, теперь вставало передо мной, как живая, настоящая, не прикрашенная никакой романтикой жизнь. Я как бы узнавал знакомые места. И они были почти такими, какими я их воображал. Все вокруг было новым, и вместе с тем у меня было ощущение, что я возвращаюсь в места, в которых я уже бывал. Имена рек, гор, долин, городов не были чужими. Я узнавал хребты, потоки, вершины. Я знал историю этих долин.

Мы въехали в вечерний Пешавар. Наши две машины остановились на пустынном дворе гостиницы. Номера в этой гостинице были расположены в одноэтажных флигелях. Был час вечернего чая. Надо было решать: как ехать дальше? Поездом, самолетом, машинами? Нас, делегатов, было пять человек. Машины были посольские, из нашего посольства в Кабуле. Они могли идти и до Лахора, но это далеко. Сомнение решили шоферы. Они сказали: ехать, конечно, можно и ночью, но бензина не хватит. Где бы тут бензин прикупить? А где его прикупить в Пешаваре вечером в воскресенье — мы этого не знали. Нас никто не встретил, да и некому было нас встречать. В то время ни нашего посольства, ни торгпредства в Пакистане не было. К нам подошел молодой пакистанец. Открытое, живое лицо, веселые глаза, быстрые, точные движения. Он вступил в раз-

говор, извинившись, что никем не представлен, но он хочет нам помочь, если мы испытываем, как приезжие, какое-нибудь затруднение.

— Где бы нам купить бензина? — спросили мы у него, когда он узнал, кто мы, и мы узнали, что он местный житель, студент университета и очень хорошо относится к советским людям.

— Купить бензин нельзя, он выдается по карточкам, но зачем вам покупать бензин где-нибудь на рынке. Вы официальные гости. Бензин даст...

Мы его не поняли, то ли какой-то важный чиновник, то ли сам губернатор должен дать; он — студент — все это устроит, но надо, чтобы кто-нибудь на нашей одной машине с ним поехал к этому важному человеку.

Два человека из нашей делегации отправились с ним. Мы, оставшиеся, начали совещаться. Одни были за то, что, если достанут бензин, ехать ночью, другие колебались. Весь день я жил во власти воспоминаний. Все, что было мной прочитано об этих краях, проходило передо мной. Каждое место окрашивалось по-своему. И вдруг из всей этой разноцветной кутерьмы выплыли слова: Аттокский мост. Аттокский мост! Есть такой. Это мост на Инде, там, где полноводный Кабул впадает в Инд. Мост этот двухэтажный — для простого транспорта и для железнодорожного. Важнейший мост, скрепляющий переправу, венчающий стратегическую дорогу. Проехать его просто так ночью рискованно. Места около него нелюдимые, мрачные, пустынные. Стоит ли ехать? Да, я вспомнил отчетливо. Из глубины старых страниц встал Аттокский мост во всей своей черной тяжести. Ехать ночью по этим местам с плохой репутацией — стоит ли? Я подумал — не надо ехать. Я все рассказал товарищам. Они согласились. Мы взяли номера в гостинице, чтобы переночевать и ехать рано утром.

— А если товарищи достанут бензин? — спросил один из нас.

— Объясним товарищам про Аттокский мост,— сказал я.

— А что, если все это ваше воображение? — осторожно заметили мне.

Другой собеседник сказал:

— А можно проехать другим путем.

Тут, улыбнувшись, я твердо заявил, что другого пути нет и что теперь я окончательно вспомнил, что мост вооружен пушками. Не стоит ехать в ночное время. Мало ли

что? Такие времена, такие дороги... Кроме нас, нет советских людей в Пешаваре...

Мы стояли в номере у окна, полуприкрытые полосами цепкого плюща, обвивавшего стены снаружи. Мы видели пустой двор и нашу машину.

Вдруг мы увидели неожиданно появившегося человека, который шел, пересекая двор, по направлению к тому флигелю, где был ресторан. Мы увидели его со спины, этого тяжелого, сильного сложения человека. Он был в куртке защитного цвета, в таких же штанах и в высоких сапогах. Он чем-то напоминал ответственного работника где-нибудь на Сыр-Дарье. Правда, мы не видели его лица. Но он сам обернулся к нам. Собственно, он нас не мог видеть из-за плюща, он повернулся к нашей машине и, оглянувшись во все стороны, направился к ней.

Красный посольский флажок как раз развернулся. Золотая звездочка, серп и молот были отчетливо видны. Человек остановился, как будто его пригвоздили к земле. Он смотрел на машину и не мог сдвинутся с места. Потом он сделал шаг вперед огромным усилием воли, снова остановился и вернулся к машине. Теперь он подошел ближе. Красный флажок с золотой звездочкой гипнотизировал его. Он отходил, снова возвращался, смотрел, пожимал плечами, скорей испуганно, чем удивленно, поправлял, крепко ли сидит на голове небольшая мерлушковая шапочка, что-то бормотал, опять застывал на месте. Он просто не верил своим глазам. Но кто он, этот необычный гость, откуда он взялся?

Слуга-пакистанец засмеялся. Он сказал, показывая на человека на дворе: это генерал Ма, чанкайшистский генерал. Его совсем разбили красные. Он удрал на самолете из Синьцзяна, только сейчас прилетел. И, конечно, испугался. Как, и тут, в Пешаваре уже красные! Вот флаг красный на автомобиле. Испугался, думает, только прибежал — отдохнуть не дадут. Опять бежать дальше! Вот он и пляшет около автомобиля.

Генерал, медленно оглядываясь, точно ожидая, что его окликнут или схватят сзади, побрел по двору. Когда он скрылся в ресторане, появилась наша вторая машина. Наши, кто ездил, нашли нас уже в номерах.

— А,— сказали они,— вы уже решили ночевать. А мы только хотели это предложить...

— Почему? — спросили мы,— вы что, бензин не достали...

— Бензин достали, но Аттокский мост...
— Что Аттокский мост? — спросил я, делая вид, что первый раз слышу это название.
— А вот то. Когда мы пришли к этому важному чиновнику, он спал. Его разбудили. К нам вышел вежливый старичок. Поздоровался, очень был рад, говорит, познакомиться. «Бензина хотите? Бензин дам, но вы хотите ехать ночью? А Аттокский мост?» И смотрит так выжидающе.
Мы говорим: «А что такое Аттокский мост?»
«Аттокский мост.— ласково поясняет старичок,— запирается наглухо на ночь, запирается вечером. Проехать его можно только с пропуском, подписанным мной лично... В противном случае могут быть неприятности. Он охраняется пулеметами и пушками. Очень важный мост, большого военного значения. Так как решаете — если поедете ночью, могу дать пропуск...» И хитро посматривает на нас.
Но тут студент шепчет: «Не поезжайте, не надо ехать ночью. Там нехорошие места. Поезжайте утром...»
Ну, мы за вас и решили — остаемся. А вы почему решили остаться?
— Как почему, а Аттокский мост?
— Вы откуда знали про Аттокский мост? — с удивлением сказали товарищи.
— В то время, как вы говорили и решали, ехать ли ночью, мы говорили и решили то же самое, потому что вспомнили про Аттокский мост, которого не пройдешь, не объедешь. Вот такое совпадение получилось. Ну, пойдем спать. Завтра по холодку увидим, что это за Аттокский мост.
И мы его увидели, увидели стальные ворота, которыми он закрывается на ночь, увидели, что он окружен пулеметными гнездами, и поняли, что это была бы просто авантюра, если бы мы поехали ночью.
И когда машина гудела под тяжелыми конструкциями Аттокского моста, мое воображение рисовало мне драматическую сцену.
Если бы у нас был бензин, мы бы отважились ехать, и нас бы обстреляли из пулеметного гнезда. И мы бы, ничего не поняв, старались бы удрать от невидимых нападающих и попали бы прямо под пулеметы. Хорошая была бы картинка. Делегаты на конференцию прогрессивных писателей ночью атакуют знаменитый, стратегически особо важный Аттокский мост.

И когда мы были уже на другом берегу Инда, я оглянулся на Аттокский мост. Он был совершенно такой же, каким я видел его первый раз на картинке, только с того дня прошло более тридцати лет. Я его узнал с первого взгляда, но он узнать меня никак не мог. Когда я увидел его на картинке, мне было двадцать лет. Теперь я был седым и ехал в Лахор, в котором не однажды бывал в детских своих фантазиях.

1956

ВЕЛИКАЯ ВОДА

I

Все это было весной тридцатого года. Человек стоял на песчаном холме. Был он в мятом легком коломянковом пиджаке, в полотняной рубашке с расстегнутым воротом, в белой, пыльной фуражке. Усы с проседью, густой загар, резкие морщины у губ, шрам на подбородке делали его лицо почти воинственным.

Он смотрел в ночную пустыню. В лилово-зеленом небе, среди белых и острых зеленоватых звезд висела широкая, тяжелая луна. Отчетливо видны были совсем белые, точно посыпанные солью ближние песчаные увалы; за ними открывалась потонувшая в сером сумраке неизвестность, которой, казалось, нет конца. Оттуда, из глубины этого неизведанного, мрачного, нелюдимого края, ветер приносил приторные, горько-соленые, ни на что не похожие запахи.

Тревожно и грустно дышалось на этой границе песков, где кончалась зеленая весенняя земля с ее цветущими деревьями и начиналось за скучной полосой безжизненных холмов то удручающе безотрадное, угрожающее, самодовольное в своей первозданной мощи пространство, перед которым был бессилен человек в белой фуражке и все, кто был с ним в этот глухой полночный час.

Там лежала пустыня с ее суровыми законами, с пронизывающим до костей жаром, с ночным, почти морозным холодом, с адской тишиной и грохотом песчаных бурь, с мучительными, изнуряющими миражами, с безводьем, которое было ее защитой от людей, вторгавшихся в ее раскаленные владения.

Пески, хрустящие под ногой, пески, легкие, как пыль, вздымавшиеся тонкими облачками, пески тяжелые, отполированные ветром и зноем, потрескавшиеся, сверкавшие белой, ослепляющей полосой соли, горячие пески, чей жар был ощутим даже через кожаную подошву, мертвые, голые, струившиеся, как вода, пески, внезапно подымавшиеся барханами и уходившие в трещины бывших, высохших потоков, слежавшиеся в пустынных оврагах пески...

У ног человека, стоявшего на песчаном холме, светилась вода. Она шла по небольшому каналу, и сверканье ее струй, непрерывно уходившее в ночную мглу, напоминало армию древних времен, закованную в латы и совершающую ночное походное движение, чтобы напасть на вражескую силу. Человек, как полководец этой армии, следил за тем, как новые тысячи струй уходили в ночь.

Человек говорил нам, показывая сухой маленькой рукой в необъятную пустынную ширь: «Этим сбросовым каналом я пустил лишнюю воду Аму-Дарьи туда, в пески. Она двинулась так бодро, так быстро, точно бежала по давно знакомому руслу. Это вода Келифского узбоя, это вода, которая победит пустыню. Она прошла на десятки километров, ее жадно впитывали пустынные земли. Я пошел по весне проверить. Там, где она остановилась озерцами, уже был камыш, селин, тамариск. Птицы носились над берегами. Это вода великого будущего. Не колодцы, поверьте мне, решат проблему. Я, может быть, не доживу, не увижу своими глазами, но я твердо верю, что отсюда эта аму-дарьинская вода придет в Мургабу. Вы молоды, вы еще сможете из Керков поехать в Мары на моторной лодке или на пароходе.

Я стар, меня считают полусумасшедшим потому, что я говорю только о воде Келифского узбоя. А я гляжу туда, куда тянет душу этой воды. Вода — мудрая и живая стихия. Она знает, что там лежит ее древний путь, она стремится той же дорогой, какой шли реки в незапамятные времена. Мне снится этот серебряный блеск, который я веду в пески, и они отступают передо мной, потому что я человек и они чувствуют мою власть...»

Он замолчал и долго стоял в молчании, как будто слушал тихий голос мутной, тускло светившейся на изломах струй, воды.

Пустыня временами вспыхивала далекими зарницами; из нее шли затаенные, глухие шорохи, ветер шелестел мертвой саранчой, громоздившейся высокими кучами у

жестких кустов на том берегу канала. Он шевелил эти пожухлые, в рассыпающихся зеленых панцирях, с поджатыми длинными хищными лапками, остатки саранчи, остатки воинов страшных крылатых полчищ, летевших и шедших строем истребить цветущие поля и сады. Они лежали как память прошлогоднего сражения — мертвые союзники пустыни.

Я вспомнил недавно виденный кишлак, где песок неслышно пересыпался через пороги и лежал мягкими пухлыми грядками в пустых, брошенных комнатах, сыпался с прохудившегося земляного потолка. Люди отступили. Через несколько лет на месте кишлака встанут высокие барханы, вершины которых будут дымиться в горячем, дрожащем воздухе.

Человек стоял на песчаном холме, как будто он заклинал пустыню и ночь, как будто в его протянутой во мглу руке была особая чудодейственная сила. Я тоже начинал видеть, как в этих мертвых краях оживает земля, как растут деревья, как летают птицы, как по чистой широкой воде плывут корабли.

И тут же мне захотелось спуститься с холма к каналу, наклониться к воде и убедиться, что она не вызвана, как сновидение, что она не мираж пустыни, где можно пески принять за текущую речку. Я спустился по крутому откосу, сел на корточки и зачерпнул густую, холодящую руку, воду, пришедшую с высочайших гор, клубившуюся в тесных черных ущельях, кипевшую в водоворотах, мчавшуюся через отмели и теперь с плавной быстротой уходившую в ночную пустыню. Она действительно шла в бой — сокрушать пески...

II

Куда ни бросить глаз — вода. Она то ласково плещется у высоких бортов нашего каика, то стремительно несет его во всю свою исполинскую силу, силу потока, мчавшегося со скоростью десяти километров в час, то ставит нас на отмель и начинает, шипя, смеяться над нашими усилиями слезть с предательски намытой ею песчаной площадки, то начинает поворачивать каик, как бы играя, подталкивать его к противоположному берегу, то, рассердившись, крутить на неожиданных подводных песчаных столбах.

Мы плывем по Аму-Дарье день за днем. Нет ничего прекраснее этого плаванья. Берегов почти не видно. В голу-

бом облаке зноя где-то на краю горизонта виднеется чуть зеленеющая полоса не то леска, не то камышей. А то лениво всплывет над этой зеленой полоской желтая горка пустынного песка и сейчас же растает, как марево.

Скользят плоские островки, где шевелится в зарослях, взлетает и плавает у бережков целое птичье государство. Видны только бесчисленные всплески и сиянье крыльев и слышно непрерывное перекрикиванье, кряканье, птичий гомон, как будто они находятся одни на реке и весь речной мир существует только для них.

На воде солнечные лучи не имеют той убийственной силы, как в пустыне. Можно лежать, наслаждаясь покоем реки, тишиной, которая качает вас, и смотреть на вещи совсем другими глазами.

Старый, как эта река, молчаливый, худой, с глазами ястреба, в зеленом с красными нитками халате туркмен стоит на корме и с врожденным изяществом поворачивает большое тяжелое кормовое весло. Он наш дарга-капитан. Его помощники с длинными шестами стоят по бортам и не торопясь отталкиваются от илистого, мягкого дна. Мы не торопимся. Торопится река. И то и дело сажает нас на мель.

Нам нравится все: и огромное пространство воды, дышащее спокойствием и величием, и вдруг приблизившееся видение берега, упершегося зеленой щетиной камышей в воду, белые простыни гусиных стай, расстелившихся по воде на такое пространство, что вы сначала не поймете, что это за явление; нравятся нам наши речные друзья, туркмены-моряки, независимые, простые, черные от зноя люди, но больше всего нам нравится, что у нас свой каик. И этот каик имеет направление и задачу.

Мы можем чувствовать себя, как те купцы, которые в древние времена плыли из блистательного Термеза с товарами в недалекую Бухару или до самого моря, в богатые хивинские пределы. Правда, наш груз проще и обычней. Мы везем множество консервных банок, ящики со спичками, мешки риса, везем соль и мыло, тщательно упакованные ящики со стеклами,— все, что нужно кооперации в Ходжамбасе, в Бешире и по дороге к ним.

Мы взяли на себя заботу доставить этот груз колхозным кооперативам, и это дает нам возможность останавливаться и говорить с людьми о самом главном, что волнует их, и развозить по реке новости, и рассказывать о том, что делается на белом свете.

Вода и пустыня. И мы благословляем Аму-Дарью, которая баюкает и качает нас. Не будь ее, мы тащились бы в страшных волнах зноя, выпаривающего из вас последнюю каплю влаги, сидели бы у иссохших колодцев с воспаленными глазами и пересохшим горлом, а теперь мы скользим под заплатанным серым парусом и в его прохладной тени наблюдаем, как проносятся пустынные берега, и говорим о том, сколько видела эта река, сколько народов плыли по ней. Если бы их флоты воскресли, река стала бы тесной от множества кораблей, с палуб которых с удивлением смотрели бы друг на друга китайцы и индийцы, древние греки и таджики, монголы и скифы, иранцы и арабы, узбеки и люди из Москвы, из Рима и Мадрида.

Тимур с гневным испугом смотрел бы на первые пароходы под русским флагом, а гул моторных катеров обратил бы в бегство моряков Александра Македонского.

Но сейчас река пустынна. И, плывя на маленьком каике, который как бы отдается воле волн, вы всем существом ощущаете, какая первозданная сила, неодолимая, непонятная в своем упорстве, какая непрекращающаяся энергия в этой массе воды непрерывно несется на запад, стремится по пути, который не имеет равных между Аральским и Аравийским морями.

Мертвое молчание песков нарушается извечным шумом мерно проносящейся великой воды. И, когда вы вспоминаете древнюю цивилизацию, исчезнувшую с берегов этой причудливой, фантастической реки, вам начинает казаться, что вечны только верблюды, идущие, как и тысячи лет назад, по буграм и впадинам пустыни, и кривые, неширокие паруса каиков, скользящие с такой же неторопливостью и наивностью, как и во времена великого македонца, пришедшего сюда с просторов синего Эгейского моря.

Странно это сочетание воды и песков. И оно особенно ощущается с каика, когда вы, облокотившись на борт, думаете о том, что есть тут кишлаки, которые прижаты пустыней к берегу, а берег рубит река, и от него отваливаются с грохотом большие куски, и человеку приходится обороняться на два фронта. И если он уйдет, отступит, песок доползет до тяжелой мутной воды и обрушится в нее песчаной, дымной рекой.

День кончается. Мы правим к берегу, и он подходит к нам полосой, сначала желтопесчаной, потом кое-где показываются куски камышовых зарослей, потом каик ударяется носом в высокий берег, туркмены закрепляют его

канатом. Мы видим, что местность похожа на степь, есть трава, растет песчаиая осока, стелются клочья селина, верблюжья колючка. Перед нами иеведомая нам земля. Она сурова, но вдали на горизонте видиы деревья. Там кишлак, там кооператив, которому мы привезли товары.

III

Каик подтянут к берегу, который обрывается в воду небольшой террасой, за ней берег повышается. Преодолев глиняно-песчаный склон, мы входим иа равниу. Наши моряки положили мачту на берег и прикрепили к ней веревками корабль, стоящий на мелкой воде. Около мачты бродят наши курицы, привязанные бечевкой, чтобы ие ушли в степь.

Запасную мачту с парусом туркмены несут с собой, чтобы поставить иечто вроде шатра, в ием мы будем ночевать. Один из мореходов, превратившись в нашего вестника, уже идет в кишлак, и мы видим, как пыль завивается вокруг его ног, когда он удаляется от нас по узкой, иеразличимой сразу тропе между низкой зарослью кандыма, бледного и щетииистого.

Мы строим подобие шатра, иастолько примитивного, что шатры времеи Авраама показались бы выдающимся архитектурным сооружением по сравиению с ним.

На песке мы расстилаем кошмы, одеяла и перед шатром разводим большой костер. Вечер опускается тихий и такой приятный, что хочется долго сидеть у огия, который радостио охватил кривые, серые куски саксаула и бросает вверх длииные языки, смотреть на покрытую червлено-коричневой пленкой вечернюю реку, на дали, потоиувшие в шафранном сумраке, иа суету туркмен, разгружающих каик, в ожидании прихода своих земляков из кишлака,— и находить внутри себя спокойствие и легкую усталость путников, для которых кончается длинный, полный больших переживаний день.

Мы лежим и сидим у костра и следим за происходящим. Шум реки стал как будто тише, зато к нам приближаются человеческие голоса, слышны колокольчики,— идут верблюды, идут колхозиики забрать от нас грузы.

Туркмены громко говорят между собой, и, по-видимому, люди из кишлака торопятся вернуться побыстрей домой, потому что сразу же начинается яростная работа: качают-

ся высокие мохнатые шапки-тельпеки, взлетают сильные руки кочевников, привыкших к навьючиванию самых разных товаров на своих молчаливых, гордых, степенно поводящих серыми головами великанов верблюдов, мелькают ящики с консервами и спичками, мешки с рисом; по тому, как легко и осторожно берут иные плоские ящики, мы догадываемся, что там стекла.

Поодаль от работающих людей, на узкой кромке чистого песка, у самого обрыва над рекой, стоит верблюдица. Ее лиловые глаза стали почти черными. Вечер сильно посмуглел, огонь нашего костра уже взлетает красными космами на аспидно-графитном фоне умирающего дня. Около верблюдицы ходит маленький верблюжонок, похожий на игрушечного, небывалого зверя. Он светлый, длинноногий, с удивительно большой головой на мягкой, слабой шее, у него разъезжающиеся ноги и такой смешной горбик, точно он его нарочно выгнул.

Верблюжонок начинает тихо танцевать вокруг своей строгой задумавшейся мамаши. Он сначала перебирает ногами на месте, потом делает уморительные прыжки в сторону костра и, как бы испугавшись огня, спотыкается, достает до земли большой своей головой и, круто повернувшись, ударяет всеми четырьмя ногами о землю, подпрыгивает, делает круг и второй и, остановившись, крутится на месте, точно что-то ищет на земле, по которой стелются наши тени. Он снова делает прыжок и второй, потом поворачивается и тихо идет, как будто на цыпочках. Он так хорош и так занимательны его движения, что даже луна, неожиданно появившаяся над пустыней, сегодня какая-то золотистая, нежная, неподвижно смотрит на него. И он, точно до него дошла ее магнетическая сила, начинает тихо кружиться вокруг своей притаившейся верблюдицы, как будто просит защитить его от чар небесной кочевницы. Луну закрыли облака. Все вокруг потемнело. Костер стал ярким, как цветок. Сочное пламя его рассыпается золотыми пчелами. Из темноты доносятся храп верблюдов и неясные возгласы туркмен, привязывающих последние ящики и тюки.

Теперь верблюжонок танцует почти сонно, и верблюдица стоит задумчиво, жуя свою верблюжью колючку, сощурив глаза, смотрит на огонь.

Так тепло и так тихо, что не хочется спать, не хочется говорить. Верблюды уходят один за другим, пропадают в ставших черными зарослях кандыма; последней уходит

верблюдица, и, почти прислонившись к ней, идет верблюжонок. Его тонкие, длинные, неуверенные ноги разъезжаются на каждом шагу, и он испуганно подпрыгивает.

В полной тишине слышно, как изредка с громким плеском что-то рушится в воду под обрывом. Это падают подмытые куски берега — и потом снова наступает еще более крепкая тишина.

На зелено-лиловом небе, подрумяненном золотистым жаром луны, разлита такая нежность и благость, что невольно вспоминаются тенистые туркменские сады, где дышат всеми ароматами раскрывшиеся ночные цветы и тонкими голосами поют невидимые струйки крохотных арыков.

Вокруг нас нет садов, суровая земля пахнет какими-то острыми, чуть горьковатыми, похожими на дым костра, смутными неизвестными запахами, наш костер догорел, на нем лежит пленка белого пепла, тихо похрустывает расколовшийся уголек — пора спать.

Мы располагаемся в нашем подобии шатра, кто как хочет. Наступает час сна. Где-то далеко плачут шакалы тонкими, отрывистыми, почти детскими голосами... Только у погасшего костра стоит высокий молодой туркмен, ставший черным, как столб во мраке. Он и неподвижен по-настоящему. То ли он задумался, то ли сторожит наш сон... не понять... Я просыпаюсь оттого, что какой-то могучий шелест проносится надо мной, раздается горохот, и что-то вроде сухого водопада обрушивается со всех сторон. Я вскакиваю и в странном освещении дождя искр, летящего мне навстречу, вижу, что мачта, на которой держался наш шатер, упала, парус, служивший нам стенами, упал тоже и накрыл моих товарищей. Они копошатся под ним, как раки в корзине. Я открыл рот, чтобы позвать их, и рот мне забил мокрый песок. Песок ударил мне в лицо, в уши, в голову. Что-то свистело, выло, кипело в кромешной тьме, прорезаемой вдали молниями, а вблизи дождем длинных искр, летевших на нас.

Туркмен, нагнувшись и помогая выбраться товарищам из-под паруса, крикнул: «Афганец!» — и его крик был заглушен ревом бури, уже бушевавшей на всем видимом просторе.

Искры извергал, как маленький вулкан, наш давно потухший костер. Ураган выдул из посиневших, померкших углей снова огонь, и костер скакал по степи, как будто взрывался фонтанами летевших во все стороны искр.

Это пришел афганец, ветер с юга, жаркий и сырой, подобие самума, вихрь истребляющий и беспощадный. Как только мы все поднялись, пригнувшись, защищая головы от бьющего песчаного вихря, мы вспомнили сразу, что надо бежать к каику. Если его унесло, то это бедствие, мы отрезаны от всех, и неизвестно, что будем делать. Оставив лежать двух слегка ушибленных мачтой, мы помчались среди пригибавших нас к земле ударов бури к берегу. Реки не было. Перед нами было разъяренное, кипевшее, взмыленное до неба пространство. Мачта, прикрытая песчаным выступом, держала черный силуэт каика, который плясал среди белого неистовства воды, забиваемой песком и вздуваемой ветром. Мы подтянули каик ближе и привязали его еще крепче. Под ногами нашими что-то фырчало и стонало, летело в воздух и шлепалось обратно о мачту. Это были наши курицы, оглушенные, обалделые, носимые порывами ветра вокруг мачты, к которой они были привязаны.

Мы решили перебраться сюда в относительную безопасность, где были сложены тюки и ящики, где наши грузы могли защитить нас от бури. Ползком, на четвереньках мы добрались снова до места нашего бивуака, буря вдруг чуть утихла, и на наши головы рухнул ливень, вольный, широкий, холодный, перемешанный с песком, прорезаемый огромными зелеными молниями, бившими прямо в реку, в степь, в берега. Всюду освещали местность фиолетово-зеленые изгибы. Никакой луны на мутном, тяжелом, низко наклонившемся небе больше не было.

Разнузданное громоизвержение, торжество зеленых искрящихся, падающих на притихшую землю гигантских электрических бумерангов, ликующее, наполняющее весь берег и падающее в пену реки буйство ливня, заливающего мир широкими шумящими потоками, окружало нас. Мы были мокры до нитки, мы уже не двигались, а плавали в первобытной жиже, не находя почвы под ногами. Но все-таки мы натянули парус над стеной ящиков и тюков, закрепили его и забрались под этот последний кров, сели, прижавшись к песчаному скату. Зуб у нас не попадал на зуб. Мокрые одежды хлюпали вокруг. Мы прижались друг к другу и так решили ждать, чем кончится это столпотворение.

Ливень шумел не утихая, и река бешено вздымала пенные волны прямо перед нами. Молнии освещали ночь в просветы между ящиками. И все-таки мы затихли и даже заснули, но по прошествии нескольких часов кто-то решил

посмотреть, как на дворе, потому что буря как будто пошла на убыль. Этот смельчак приподнял край паруса, и вся скопившаяся за ночь вода вылилась на спящих с таким ехидным шумом, что все вскочили, получив за шиворот струю ледяного душа.

Мы все, как по команде, вылезли на свет. Рассветало. Мир имел довольно потрепанный вид. Аму-Дарья все не могла успокоиться после ночной встряски, и большие волны с грязными гребнями сталкивались друг с другом и бросали свои косматые гривы на берег; лужи тускло блестели повсюду; прибитые бурей кустики кандыма имели очень жалкий вид; груда грязи была на месте нашего костра; мокрые вещи валялись по всему берегу.

Мы начали переодеваться в сухое. Каждый надевал то, что было под руками. Процессия людей, закутанных в одеяла, в простыни, в дождевики, пыльники, куски кошмы двигалась между каиком и местом ночлега.

В главе Корана семьдесят четвертой, под названием «Завернувшиеся в плащи», есть такие строки: «Да, клянусь луной, и ночью уходящей, и зарей занимающейся, что ад является одною из самых тяжелых вещей». Вокруг нас был песчаный ад, лежала пустыня,— это была тяжелая вещь.

Завернувшись в плащи, мы начали грузить наш корабль. Мы выливали воду из него, развешивали сушить наши вещи, в ожидании спасительного светила, прилаживали мачту и парус, чтобы, двигаясь и работая, согреться. От реки шел нестерпимый холод. Мы пили водку и не чувствовали ее вкуса. Мы снова разожгли костер, и, когда он начал потрескивать первым обещающим хороший огонь треском, тучи раздвинулись, мокрые, тяжелые, низкие, осветились могучим заревом восхода, и появилось потное, красное, расталкивавшее тучи солнце.

Красные блики заплясали на тяжелых гребнях амударьинских волн, пробежали по песчаным холмам вдали, и мы простерли свои замерзшие руки, как древние путники, приветствующие солнечного бога — подателя жизни. Мы плясали на песчаных холмах, чувствуя, как тепло проникает в наши жилы.

IV

И снова несет нас великий поток под бледно-синим горячим небом, между безмолвными обрывами пустыни. Они так высоки, что, закинув голову, трудно разглядеть, что

там за этими обрывами наверху. Оттуда бесшумно скользят в реку широкие пескопады; песок, сорвавшийся с края обрыва, падает на нижний уступ, срывает новый слой, и вот уже дальше течет и падает в реку пескопад, падает долго, и все новые и новые песчаные струйки текут и текут в его основную широкую струю.

И вдруг на фоне яркого снизу неба мы видим фигуру зверя. Вот он подходит ближе. Теперь его можно хорошо рассмотреть. Это волк, старый хищник пустыни. Он идет, тяжело ступая, глубоко погружая свои лапы в горячий песок. Видна его спина, покрытая старой, вылинявшей шерстью, всклокоченные бока. Он идет, высунув большой кирпичного цвета язык, и тяжело дышит. Его глаза не смотрят на реку. Он не торопится. Со стороны реки он не ждет никакой опасности. Мы кричим, он не оборачивается. Кто-то, не выдержав, стреляет. Пуля пролетает мимо, но на звук выстрела волк, не останавливаясь, поворачивает голову, мгновенье смотрит на нас недоумевающим взглядом и продолжает идти, тяжело передвигая темно-серые в черных отметинах ноги.

Мы плывем мимо шакальих берлог. Вот где живут эти тонкоголосые бродяги, хрипло плачущие у селений по вечерам. У самой воды в песчаных стенах круглые дыры. Это входы в их норы. В тени песчаных уступов спят, положив лапу на лапу, измотанные ночными поисками шакалы. Шакалихи у самой воды ссорятся друг с другом, напоминая иных сварливых хозяек на коммунальной кухне. Мы хохочем над их ужимками и прыжками, над их короткими, злобными стычками. Они не обращают на нас никакого внимания. Маленькие шакалята возятся с костями, катают их, играют, кувыркаясь через голову.

Дикий, далеко слышный крик раздается с высокого неба. Сначала нельзя разобрать, что происходит. Длинная стая ворон, построившаяся черной пирамидой, вершиной вниз, проделывает удивительные эволюции. Она находится в непрерывном движении, причем каждую секунду ворона снизу стаи взлетает на всю высоту пирамиды и пристраивается вверху. Мы смотрим с удивлением на это зрелище в пустыне и вдруг видим, что вороны преследуют врага. Перед нами кипит настоящий воздушный бой. Вороны гонят большого ястреба. Они построены в такой боевой порядок, при котором они падают клином на преследуемого и каждая ближайшая к нему должна сверху клюнуть его.

Если она клюнула или промахнулась, она все равно выходит из боя, взмахивает по внешней стороне построенной стаи вверх и снова пристраивается, ожидая своей очереди. Ястреб, закрыв голову крылом, правит куда-то в сторону, и он явно тянет стаю за собой, но он не может уйти из-под ударов. Только изредка он отводит крыло от глаз и прикидывает, куда лететь. Воронье карканье, шум крыльев нан полняют все пространство. Кажется, что ястреб хочет перетянуть ворон на другую сторону реки.

Но у самой реки из-за бугра резко, издав короткий крик, прокричав вроде: держись, иду! — взлетает ястребиха. Она не суется в стаю. Она забирает высоко в небо и уходит в сторону. Взлетев намного выше стаи ворон, она издает новый отрывистый крик и бросается наискось, так что ее крылья врезаются где-то ближе к концу черного вытянутого треугольника. Она разбивает стаю на две половины. Как только она ударяет в стаю, ястреб, снизу вырвавшись на простор, тоже взмывает высоко вверх и оттуда врезается во вторую половину вороньего полчища, которая не успела еще сосредоточиться после удара ястребихи.

Теперь начинается избиение ворон. Воздух покрыт пухом и черными перьями. В этом черно-сером облаке носятся, как два рыжих кинжала, ястребы, бьют ворон, которые, потеряв боевой порядок, летят во все стороны и кричат так отчаянно, точно их разрывают на части.

От стаи остаются маленькие группки, спасающиеся бегством. Ястребы бросаются на них то снизу, то сверху, и эти черные комья опять распадаются и опять кричат, наполняя воздух мелким черным пером, которое крутится и падает на жаркий песок.

Мы подплываем к берегу, взбираемся на крутой песчаный обрыв. Перед нами весенняя пустыня, полная жизни, шелестящих кустов, зеленых трав, цветущих тюльпанов и незабудок. Мимо нас вкось по обрыву мчится заяц, положив длинные фиолетовые уши на бок, выпучив глаза. За ним летит второй, подпрыгивая на бегу. Бегают ящерицы; черепахи ползут куда-то все в одном направлении. Их много; пустыня полна их черных, тисненых, с загадочным рисунком щитков.

Все эти цветы, все эти травы сгорят через несколько недель. Но сейчас мы стоим на обрыве, и нам открывается непередаваемая ширь и сладость пустыни, которая полна поэзии и которая так привлекает сердца кочевников, как

не привлечет их никогда зеленая лесная чаща или покрытая полями и рощами долина.

А внизу раскинулась ширь Аму-Дарьи, чья коричневая волна кипит, как живая, солнечные иголки пронизывают ее; мои друзья не выдерживают, сбегают с уступа к реке, и из царства песка бросаются с размаху в водяное, летящее царство, и выныривают, и снова бросаются в желтую воду, наслаждаясь, как рыбы, и прохладой воды, и жаром полудня, висящего над ними...

V

Обычно к ночи мы приставали к берегу и ночевали на берегу. Когда же наступила ночь полнолуния, у нас в каике открылся настоящий дискуссионный клуб. Одни из нас обязательно хотели спать на твердой земле; другие предпочитали спать в каике. Долго шел наш спор. Корабль продолжал плыть. Наши друзья туркмены терпеливо ждали, чем кончится наш затянувшийся спор, и не прекращали подгребать и отталкиваться шестами, а наш дарга-капитан, ворочая тяжелым рулевым веслом, ни одним словом не вмешивался в бурные разговоры.

Победили в конце концов те, которые хотели спать на воде. Они приводили самое главное доказательство в пользу своего предложения: на воде не только хороший, здоровый сон, но можно плыть всю ночь. Сколько проделаем километров за ночь и как сократится наш путь до Чарджоу!

Одним словом, решено плыть всю ночь, не приставая к берегу. Как только дарга-капитан узнал наше решение, он что-то сказал своей команде, и тут произошло нечто неожиданное. Туркмены оставили свои весла и шесты, сложили их, потом свернулись калачиком, прижались друг к другу и заснули крепким, здоровым сном людей, весь долгий день занимавшихся веслами и шестами. Их примеру последовал и дарга-капитан, только он выбрал себе место у мачты, на которой тряпкой повис наш залатанный парус, хорошо закутался в старую овчинную шубу и погрузился в сон.

Мы смотрели, не совсем понимая, что из всего этого получится. Каик, никем не управляемый, с закрепленным накрепко рулевым веслом, шел по течению, и вода тихо журчала, разрезаемая его черным носом.

Луна вышла на свой облачный холм, и все вокруг нас запылало зеленым огнем. Казалось, свет луны мощно за-

ряжал волны реки бледно-изумрудным свечением, струясь такими лунными потоками хризолитового огня, отсвечивающего синими вспышками, что глазу было больно смотреть в воду и еще больней на раскаленную огромную луну, как будто притягивавшую наш кораблик.

Он храбро стремился по тяжелой, горящей расплавленным изумрудом воде. Он был посередине реки, и берега ее были скрыты от нас радужным туманом. Тишина вокруг стояла необыкновенная. Откуда-то приносились душные, сладковатые запахи, как будто где-то поблизости цвела джидда.

Никто после бурных споров не имел желания нарушать тишину этого полночного часа. Все разбрелись по кораблику и пристроились поудобнее. Иные сразу последовали примеру наших морячков.

Я не мог спать. Я сидел, облокотясь на борт, и смотрел, как темная под бортом вода вспыхивает зеленым огнем, как душащее меня дыхание цветущей джидды опьяняет мой мозг и он лихорадочно работает и хочет проникнуть во все уголки, во все движения этой ночи, хочет проследить рождение каждого звука, уловить все изменения освещения, все переходы красок в густой и пушистой, как ковер, тишине.

Наш каик, медленно стремившийся вперед, вдруг, точно от поворота руля, менял направление и резко шел направо. Он шел уверенно и бесшумно. Пересекая реку, он держал ход прямо на начинавшую расти, заметную даже сквозь тонкий радужный туман темную полосу земли.

Навстречу ему вставали стенки тугайного барьера. Над однообразной темнотой высокого камыша виднелись в ясном свете ночи, засыпанной остро сверкавшими белыми звездами, верхушки тугайных тополей и ясеней. Во мраке перепутавшихся непроходимо растений нельзя было ничего разглядеть. Вода у берега была темной, тень камышей падала на наш каик, который стремительно шел прямо к берегу. Казалось, что он остановится среди тугайной чащи и останется стоять. Но его нос тяжело ударялся о высокий берег, потом каик отходил назад и, резко изменив направление, шел снова на середину реки, но на середине не стремился плыть вперед, а пересекал середину и так же уверенно, как ранее, он держал курс направо, так теперь шел к левому берегу.

Сила течения управляла им, взяв на себя обязанности дарга-капитана. Было во всем этом плавании что-то от первобытных дней дикой свободы. Наш каик, как живое

существо, приближался к тугайным зарослям. Затаив дыхание, он входил в камыши, на равных правах с теми живыми существами, что тоже не спали этой ночью, чей шорох в камышах и легкий вздох мы слышали в черной тени среди тамариска и чия.

Где-то сонно хлопали крыльями птицы; иногда тихий свист проносился над рекой; иногда мы слышали тяжелый шаг какого-то сильного зверя, ломавшего на ходу камыш.

И, так же оттолкнувшись от левого берега, наш каик начинал свой путь к правому. Течение не отбрасывало его назад, не давало ему прямого направления.

Я смотрел широко раскрытыми глазами в новую чащу, в которой происходило какое-то движение, слышался фырк и шорох. Нос нашего каика, с тихим шелестом раздвигая камыш, врезался в берег среди большого кабаньего стада, пришедшего на водопой. В неясном свете луны, в полосатом полумраке зарослей виднелись мокрые шершавые спины, слышалось приглушенное дыханье множества теснившихся друг к другу зверей, хрюканье, шлепанье толстых ног, погружавшихся в мягкий ил, сверкал клык, как большая белая искра.

Появление нашего каика среди кабанов не произвело на них никакого впечатления. Они продолжали тесниться и жадно пить воду. Они стояли в камышах по живот в воде и наслаждались водопоем. Наш каик показался им мирным, незнакомым зверем, чей запах не раздражал их. Он пах мокрым деревом, и все вокруг них было полно тем же запахом.

Я мог протянуть руку и достать палкой до ближайшего животного, которое, подняв голову, принюхивалось к нашему кораблю.

Толчок о берег снова отбросил каик, и он начал удаляться от зарослей, и скоро кабаны исчезли в темноте тугайных зарослей, как будто это был сон из серии добрых снов этой зеленой ночи.

Так плыли мы час за часом в переливах лунного света, уносимые могучей волей великой реки, которая тоже как будто задремала и полусонной рукой подталкивала наш кораблик, развлекаясь с ним, как с забавной игрушкой.

Но вдруг наш каик, выбравшись на середину, не пересек ее, как делал это уже много раз, а понесся вперед по прямой, и в тот же миг все вздрогнуло от внезапно родившегося гула, заполнившего постепенно весь воздух, точно мы приближались к кратеру действующего вулкана. Это

походило на сцену из арабских сказок, где путники попадали в жилище джиннов. От этого гула, все усиливавшегося до такой степени, что нельзя уже было говорить, а надо было громко кричать друг другу, проснулись все, даже наши храбрые моряки, которые посмотрели на реку, послушали гул и легли на другой бок. Но мы уже не могли спать.

Мы смотрели на реку, ожидая, что каждую минуту откроется что-то вроде Ниагарского водопада и мы рухнем в исполинскую пучину гремящего, страшного провала.

Теперь все грохотало вокруг нас. Гремел воздух, раздирая наш слух; гремели берега, посылая этот грохот из своего далекого оранжевого тумана; казалось, что этот грохот под нами идет с самого дна реки.

Наш каик больше не плыл прямо. Его заносило в сторону, и он плясал в невидимом водовороте; его заносило кормой вперед, поворачивало, как хотело; он вставал почти на дыбы, как водяной конь, и снова принимал прежнее положение. От каждого его поворота что-то рушилось в глубинах, точно падали огромные колонны со страшным грохотом, который глухо, но грозно доносился до нас.

Мы были в самом заколдованном месте реки. Над нами сияла сладостная прелесть ночи, с муаровыми облаками, перевитыми зелеными и голубыми туманами, луна светила так же спокойно, и запахи, волнующие и томительные, долетавшие с неведомых берегов, так же окружали нас.

Вся поверхность реки бурлила, лопающаяся пузырями кипящая крупная рябь вздымалась вокруг, но она не издавала никакого звука, а воздух был разорван таким гулом и громом, что тягостное чувство понемногу завладело нами. Мы крутились в водоворотах, и этим водоворотам не видно было конца. Понемногу мы поняли, что под нами действительно рушаться какие-то холмы и что движение нашего каика вызывает эти песчаные катастрофы на дне реки.

Мы сидели, затаив дыхание, с немым удивлением смотря на разъяренное закручивание сумасшедшей воды. Невозможно было сосчитать, сколько раз оборачивало наш корабль вокруг себя, сколько раз бросало в стороны, ставило носом вверх. Если бы по дороге попалась мель, нас разбило бы в полчаса на куски.

Но так же неожиданно, как мы влетели в это громовое место, оно кончилось, и светлые лунные полосы побежали по спокойно бурлящей воде впереди нас. Демонский грохот затихал за нами и постепенно исчез совсем. Мы снова бы-

ли среди молчаливого простора, который показался нам таким близким и родным, таким прекрасным, как эта зеленая, душная ночь, как снова приближающиеся тугайные леса, кивавшие нам над камышами тонкими вершинками разнолистного тополя.

Я взглянул на нос нашего каика. Что-то темное возвышалось на нем. Сложив отливавшие сталью темно-серые крылья, на носу нашего корабля сидел и спал огромный широкоплечий степной орел. Он летел и устал и решил отдохнуть, доверившись реке и нашему темному, тихому каику. Это был тоже наш ночной товарищ, которому было с нами по пути.

И мы плыли, увлекаемые живой, дружеской силой реки, плыли в весеннюю синюю мглу, в даль дней, где нам казалось, что все будет хорошо, где нам будет дышаться так же вольно, как здесь, в этом зеленом, опьяняющем мире, который все бросает на наш путь новые щедроты своих красок, запахов, ощущений и нет конца его баснословным богатствам, нет конца его дружеским, чудесным подаркам...

Мы плыли и плыли, и нам хотелось петь громко и как кто умеет. Но лучшей песней, если бы мы даже их спели много и хорошо, была бы сама Аму-Дарья. Ах, Аму-Дарья, Аму-Дарья, наша любовь и очарование...

...Поедем снова на берега Аму, возьмем стройный, узкобокий каик, сядем на него хорошей компанией и уйдем в зеленую ночь по весенней полной великой воде...

Поедем, друзья!

1957

«НЕ БУДЕМ МЕШАТЬ ЕМУ...»

— Не будем мешать ему,— сказал доктор Балига. Но до рассказа о памятном бомбейском вечере, когда это сказал доктор Балига, существует другой рассказ. Это рассказ обо мне. С самой ранней юности началось мое увлечение Индией.

Я сидел в маленькой темной комнате старого петербургского дома на Гороховой улице, обложенный книгами, картами, рисунками, жадно погружался в историю и природу далекой сказочной страны. Я записывал свои мальчишеские мысли в тетради, делал выписки, писал целые романы об изгнании англичан из Индии и, наконец, даже решился выступить с лекциями об Индии перед такими же школьниками, как я, но думавшими только о забавах, свойственных их возрасту.

И я мог со временем рассказывать многое об Индии. Так как я увлекался вообще историей войн, к тому же я знал англо-французские войны из-за Индии, маграттские войны, восстание тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года, я мог рассказать про патанов и их борьбу с англичанами, и даже про походы Бабура, и про Александра Македонского на Инде.

Кроме того, я хорошо изучил географию Индии, имел понятие о Гималаях и Кашмире на севере, о тамилах и сингалезах — на юге. Я ознакомился и с древними эпосами — Махабхаратой и Сивапураной. Словом, я был маленьким знатоком Индии, чьи знания выходили далеко за пределы школьной программы.

А все, кто видел маленького школьника, склоненного над картами и книгами, считали, что это пройдет, когда я стану постарше.

Но это не проходило. Прибавлялось только больше сведений и росло непреодолимое желание своими глазами увидеть то, о чем подробно рассказали мне книги.

И вот наступил год, когда моя нога ступила на индийскую землю. Еще подлетая к индейским берегам, я увидел множество брошенных на воду косо обрезанных бумажек. Но это были не бумажки, а паруса бессчисленных рыбачьих лодок, и они говорили о близости земли. Потом внизу появились какие-то рощи гигантских спичек с хвостиками. С большой высоты так выглядел пальмовый лес. А когда самолет приземлился, открылась дверь, в лицо ударила горячая волна, смешанная с каким-то пряным настоем, я понял, что действительно вдыхаю воздух Индии.

Первым городом на моем пути был Бомбей, западные ворота Индии. Я любовался в Бомбее удивительным подбором опалово-молочных и жемчужно-голубых фонарей на бесконечной дуге прославленной набережной. С восхищением смотрел на зеленые скульптуры знаменитого «Висячего сада», где хитро подрезанные деревья и кустарники были искусством садоводов-волшебников превращены в самых разных животных и птиц, слонов, павлинов, буйволов, даже в пахаря, идущего за плугом.

На острове, омываемом зеленоватыми, тяжелыми волнами залива, я обходил пещерные храмы, где трехликий Шива являлся во всем великолепии языческой Индии.

И, как ни странно, живая мозаика улиц, белоснежный поток человеческих тел, строгие здания банков, контор, отелей, живописные нагромождения базаров, хижины и шалаши, где ютились бедные люди, спящие на лужайках в парках и прямо на улице тысячи людей, не имеющие крова,— все это казалось мне давно знакомым, как и разные исторические места гигантского города. Все это я уже знал, и все это было близко мне, моему воображению, и всем этим людям-беднякам я сочувствовал, и они казались мне знакомыми, хотя и были отделены от меня всеми особенностями своего быта и существования.

Доктор Балига был необыкновенно талантливый, добрый и отзывчивый человек, справедливый и мудрый. Выдающийся врач, самый лучший хирург Индии, друг Советского Союза, борец за мир и дружбу между народами, он

опекал нас с истинно дружеской заботой. Стройный, спокойный, с проницательными глазами человека, привыкшего смотреть серьезно на своих пациентов, с красивыми маленькими крепкими руками, похожий на быструю неутомимую морскую птицу, доктор Балига показывал нам не только тот Бомбей, который существует для всемирного туризма.

Мы видели ученых, деловых людей, видных промышленников, которые потом участвовали в Московском экономическом совещании, мы встречались с писателями, художниками, артистами кино, и все они жаждали получить как можно больше сведений о жизни нашей страны. Это был тысяча девятьсот пятьдесят второй год, и в Бомбее только что прошла большая выставка, где впервые был павильон Советского Союза и некоторых социалистических стран. Интерес к Советскому Союзу был очень велик.

Но доктор Балига показывал нам и жизнь простых тружеников. Мы видели рабочих-строителей, рабочих хлопчатобумажных фабрик, кожевенников и грузчиков.

Он привел нас в большой, недавно построенный дом, куда переселились рабочие, жившие ранее в таких странных сооружениях, что было бы даже трудно назвать их жилищем.

— Конечно,— сказал он,— они еще не могут иметь квартир современного европейского типа. Хотя комнаты есть комнаты, но вы видите, им еще очень тесно, у них большие семьи, много детей, и, кроме того, у них еще домашнее хозяйство не приспособлено для такого рода домов...

Да, мы видели, что в комнатах, где было тесно, душно и полутемно,— примитивные очаги для изготовления пищи, полное отсутствие мебели, заменяемой циновками и кошмами; правда, кое-где были кровати. Мало посуды. Но все-таки над головами была крыша, защита от дождя и ветра.

— Это первые дома, это первые в жизни рабочих комнаты,— сказал доктор Балига.— Индия вступила на новый путь, и она не сойдет с него. Это ее первые шаги... Пойдемте, я еще покажу вам кое-что...

Он привел нас в помещение, отведенное под клуб. Конечно, это тоже были первые шаги. Светлое помещение было еще пустовато. Мало мебели. Полки с книгами, шкаф. Газеты и журналы. На стене — карта Индии. Кое-какие

фотографии. За одним из столов играли в нарды. За другим — беседовали несколько человек. Еще двое читали газеты. Но я увидел в стороне нечто, меня сразу поразившее своей неожиданностью.

За столом, спиной ко мне, сидел мальчик. Перед ним лежали книги, брошюры, карта. Я невольно шагнул вперед, чтобы увидеть его лицо.

Мальчик сидел над раскрытым журналом и тетрадью, глубоко о чем-то задумавшись, прижав к губам толстый карандаш. Он был в чистенькой простой полосатой рубашке с короткими рукавами и казался школьником, решающим интересный, но не простой урок.

Перед ним лежала карта со знакомыми очертаниями моей Родины. Журнал, на который я бросил беглый взгляд, был «Советский Союз», и на его раскрытой странице можно было видеть фотографию Ленина, какие-то горы и здания.

Я хотел подойти ближе, но доктор Балига осторожно и твердо взял меня за руку и отвел в сторону. Мальчик не обратил на нас никакого внимания — так он был погружен в свои мысли.

Когда мы прошли в дальний угол комнаты, доктор Балига сказал тихо:

— Я хорошо знаю этого мальчика; он дал себе слово узнать все, что только можно, о Советском Союзе и потом поехать туда. Он иногда приходит ко мне, и я даю ему журналы и брошюры, в которых описывается жизнь вашей страны. Он очень упорный и умный, но замкнутый и углубленный в себя. У него негде заниматься дома, там большая семья и никаких условий. Я устроил его в этот клуб. Здесь, вы видите, он на полной свободе. Он записывает все, что его поразило и навело на размышления. Но он не любит об этом говорить. Вы видите, как он задумался. Не надо обращать на него внимания. Не будем мешать ему...

Он повторил эту фразу: «Да, не будем мешать ему...»

Я бросил еще один быстрый взгляд на этого странного двойника моих юных лет. У него были тонкие черты лица, черные взъерошенные волосы, в которые он запустил длинные пальцы левой руки, высокие брови. Конец карандаша упирался в хорошего рисунка губы. Задумчивость придавала всему лицу какую-то мягкость, и глаза точно видели что-то, что было для нас недосягаемо.

Не будем мешать ему...

Доктор Балига лучше нас знал своего маленького друга. Мы не нарушили задумчивости этого мечтателя и ушли молча...

Мы уехали из Бомбея. Перед нами открывались все новые и новые картины жизни великой страны, но и после всех моих неоднократных поездок в Индию среди самых сильных впечатлений остался в памяти неожиданный двойник моего детства, этот задумчивый мечтатель, школьник, с самых юных лет давший слово изучить и увидеть полюбившийся ему Советский Союз, родину Ленина, великого друга его родной страны.

1970



КАВКАЗ

КАМУФЛЯЖ

Глава первая

Бритый череп техника Терентьева лоснился, как свежевымытый боб. Старое тутовое дерево кидало извилистые тени на террасу. Тутовое дерево мешало жить технику Терентьеву.

— Уходи! — сказал он, перегибаясь через перила.

Сквозь зеленый дождь листьев, громоздясь, леденела голова Арарата. От нее не было спасения: она сияла над садами, она занимала провал окна, она заполняла глаза.

От непрерывного Арарата исходило смутное беспокойство.

— Уходи! — сказал Терентьев.

Арарат и тутовое дерево были лишними в жизни техника. Он не понимал их и боялся, особенно ночью, когда он лежал в постели, задыхаясь от жары, а Ганьки не было. Ганька ушла с обидой, и, может быть, он никогда ее больше не увидит. Молчаливая белизна луны входила во двор, и все становилось каменным, все умирало, даже тутовое дерево; впрочем, это играли остатки малярии, бродившие по телу.

— Уходи! — третий раз с безнадежностью закричал Терентьев и ударил кулаком по перилам.

Сурхаян потянулся в плетеном кресле, и его широко расставленные глаза засмеялись приказу техника. Терентьев взглянул на Сурхаяна и сказал сухими, как бумага, губами:

— Мне не нравится, как ты живешь, Сурхаян.

Сурхаян поднял руку и осмотрел свои отполированные ногти.

— Как я живу? Я слушаю по вечерам сазандарей, я читаю романы французских писателей, товарища Франса и товарища Эренбурга, играю в покер и ухаживаю за соб-

ственной женой, пишу в газете о развитии армянского хозяйства. Для одного человека это не мало. Иногда я прихожу искушать глупого техника любопытством.

— Как мало человеку нужно,— шагая по террасе, говорил Терентьев.— Одежда, дом, пища, жена, книги, освещение, отопление, характер. Важно не это. Это вздор, теплый суп,— важно только движение вперед. Понимаешь, Сурхаян,— движение. Даже самые ленивые животные переползают с места на место, чтобы не сдохнуть от скуки. Движение — работа.

— Эта сила называется любопытством,— сказал равнодушно Сурхаян.— Каждый живет двумя вопросами: что будет, если я рискну, и другим: а что дальше?

— Камуфляж,— закричал техник,— пятнистая маскировка. Я не верю тебе. Река сломала мне руку, она оторвала меня от работы, а без работы я не чувствую себя человеком. Смотри, я выстругал палку, чтобы только не сидеть сложа руки..

Он не кончил фразы, потому что снова вспомнил о Ганьке: она еще не вернулась в город, она треплется где-то в горах, на изысканиях, и скоро будет ночь, снова жара, мглистый Арарат, входящий в комнату через окно, и нарочно умирающее тутовое дерево. Это называется еще одиночеством.

— Ты вечно лжешь, ты лежебока, Сурхаян. Ты ни на что не способен, тебя ушиб Восток, ты носишь шелковые носки и модные туфли. Никакого характера! И нет никакого профессора Хачатура. Ты его выдумал. Ты обещал, что мы уйдем сегодня из города,— теперь вечер, твои сазандари уже начали потеть на бульваре. Отчаливай!

— Турки...— сказал Сурхаян, остановился, поправил складку на брюках и скинул пушинку с фиолетовых носков.— Турки пришли в Карс с красными знаменами, и мы отворили им ворота. Я прошел пешком путь в Эрзерум. Там я нашел брошенный киноаппарат. Я пришел к Нурипаше и показал его. Был издан приказ, где под страхом смерти жители обязывались вернуть растащенные по кускам киноленты. Целую неделю несли эти злосчастные обрывки, матери отнимали их от детей, крестьяне привозили их даже из окрестностей. Взвод албанских солдат сидел и склеивал ленты, руководствуясь только здоровым инстинктом военных людей. Когда я повесил полотно, пришла вся знать города. Албанский ветеран отдал мне честь, немного испугавшись вспыхнувшей красной лампоч-

ки. Собрав свое мужество, он подошел прикурить от нее. Он хотел посрамить ее. Прикурить от лампочки не удалось. Тогда он плюнул мне на сапог. Сеанс начался: едва Макс Линдер подымал ногу, из-под нее раскланивался французский президент, за ним вылезал вид Нила с крокодилом, бежавшим вверх ногами. Это была работа албанцев, и я тут ни при чем. Зрители веселились. Я поставил на аппарат смышленого земляка, вышел на свежий воздух, сел на лошадь албанского ветерана и уехал из плена. В то время не с кем было играть в покер. А теперь мы строим каналы, и Таманов перепланировал Эривань.

На дворе заворчала собака и стихла. Терентьев плохо видел лицо Сурхаяна, сидевшего в тени, но по голосу этого самодовольного человека было ясно, что он, Сурхаян, живет в мире, прекрасно омеблированном и уютном. Уверенность его сшибала техника с ног, как неожиданная хлесткая волна. Мир техника был прост и груб; пожалуй, даже слишком прост.

Терентьев резко плюнул на пол.

— А все-таки экспедиция сегодня не состоится,— воскликнул он.— Сейчас девять часов, а ишаков или верблюда из кармана не вынешь по заказу.

— Какое тебе дело,— сказал Сурхаян,— шеничериме, твоя болезнь — моя болезнь, как говорят грузины...

Тут со двора вошел узкоплечий невысокий человек; белая борода его кипела, как намыленная губка.

— Вот тебе и привет от профессора. Ничего не будет.

— Будет все,— сказал человек, медленно подымаясь на террасу.— Я — Хачатур. Не возражайте.

— А экспедиция? — почти насмешливо спросил Терентьев.

— Экспедиция — это я,— ответил старик.— Собирайтесь, мы будем идти всю ночь.

Его настоящая фамилия была Мадатьянов, но все звали его просто по имени Хачатур, и он не обижался.

Глава вторая

Над горным селением вставали блестящие зеленовато-белые тополя. Хачатур обезьяньим движением снял свою мягкую шляпу и поклонился им, как старым уважаемым знакомым. Жизнь была переполнена вещами, требовавшими уважения.

Терентьев засмеялся, и виноград, пожираемый им, кисло захрустел на зубах.

Хачатур плеснул своей бородой в его сторону.

— Молодой человек, крайне необходимо есть, чтобы жить, но очень опасно жить, чтобы есть.

Терентьев дожевал виноград молча. Римские развалины столпились по концам горы, угрожая львиными мордами. Профессор тыкал палкой в барельефы, и его старческая спина молодела, пригретая полуденным солнцем. Впереди лежала полупустыня. Полупустыня оставалась за ними. Ночлеги в домах, лежащих ниже уровня земли, в дымных стенах или на коврах под ночным круглым небом, необычайно высоким, не были верхом роскоши. Сапоги Терентьева треснули уже в двух местах, но его упрямство не считалось с этим.

Он шел, чтобы доказать, что Хачатур слабый, старый человек, а Сурхаян слишком легкомыслен и изнежен для стоверстных прогулок. Он шел доказать, что не они хозяева жизни, а он, простой и крепкий техник. Конечно, здесь играли роль малярия и Ганька, которая ушла, не попрощавшись.

— Товарищ Хачатур,— начал он издалека,— что я вам скажу. Мой дядя был толстовцем и жил на Михайловском перевале. Там их жила целая куча; они питались, видите ли, корешками и детей своих воспитывали на корешках, а потом дети стали зелеными, белыми, красными и ушли вниз на Кубань, а отцы били кабанов и питались за милую душу. Что вы скажете на это? Вы должны что-нибудь сказать, потому что мы идем второй день по жаре и нет ничего замечательного. Это же камуфляж.

Сурхаян отвел его в сторону.

— Ты невежа! Ему шестьдесят пять лет, и ты можешь не верить слуху, что он идет только потому, чтобы похвастать своей молодой жене выносливостью.

Профессор кончил осмотр львиной головы. Он сам тряс бородой, как лев, когда говорил:

— Молодой человек, лучшая картина в мире, которую я пережил, это — караванная дорога из Решта в Энзели ночью, когда под луной идут караваны. Они звенят и поют. Лучше этого я ничего не пережил. Они звенят, потому что увешаны тысячами колокольчиков, и кажется, что колокольчики сошли с ума. Они бесконечны.

Профессор забегал между каменных обломков.

— Чувство истории должно жить в каждом. Не возра-

жайте! Я знаю, что было время, когда армяне вставали во фронт перед казаками, думая, что это генералы. Теперь, если захотим, мы все можем носить красные лампасы. Не возражайте! Если погрузиться в историю, то армянский царь Трдат воспитывался в Риме. Когда он один отразил толпу пролетариев, ворвавшихся на форум, сенат дал ему легион, и он завоевал Армению у персов, отсюда римское влияние, но, может быть, это и не так.

— Сегодня Рим — это фашизм,— возразил Терентьев.— Может быть, вы — дашнак, товарищ Хачатур?

— Они поссорятся,— воскликнул Сурхаян, но тут листва раздвинулась, и показалась голова Ованеса, проводника, известного своей глупостью.

— Все готово! — сказал он.— Вы будете есть сегодня или завтра?

Хозяин развалин, толстый заспанный армянин, пришел снимать белье, развешанное между поверженных колонн. В винограднике торчали ловушки для лисиц и любителей винограда.

— Молодой человек, что вы скажете на это? — Хачатур указал на гробницу, сложенную из остатков храмовой стены.

Хозяин оставил белье, и глаза его замаслились. Он любил поговорить.

— Тут лежит большой человек. Он очень много любил жить. Большие враги не любили его. Вон на той скале произошел великий бой. Там он сидел пять дней и сосал собственные пальцы от злости и пять дней сражался. Потом он немного разбежался и прыгнул вниз. Вот он лежит здесь со всеми потрохами...

— Древняя чепуха,— сказал Терентьев.— Мало ли у нас сказаний о разных богатырях. Всех не перепомнишь. Это ничего не доказывает. Проверить, так их и не было.

— Это мой брат,— убежденно сказал хозяин.

— Как брат, когда была легенда?

Тут вступился Сурхаян:

— Никакой легенды нет. Его брат занимался бандитизмом. Неудачно. Его настигли товарищи из Чека, а этот так рассказывает, что не разберешь, в какие времена это было. Так образуется эпос. Однако надо есть.

Дыни издавали райские запахи. Арбузы трех сортов катались вдоль ковра. Ованес принес чудовищную яичницу, где в распущенном кило масла плавали пятнадцать яиц. Глупость его была беспримерна, но здесь он выдал ее за

национальное блюдо. Хотя все знали, что он просто не сумел приготовить яичницу как следует. В ветвях по-армянски кричали птицы. Хозяин стал жаловаться, что в селении был чудный мед, но война съела все ульи, и теперь надо обзаводиться заново.

Терентьев и Сурхаян стали спорить, можно ли опьянеть, если много съесть нагревшегося на солнце винограда...

— Мы шли по остаткам римской военной дороги,— сказал Хачатур.— Завтра вы узнаете, что я ищу. Мои взгляды не должны никого смущать. Я люблю свою страну, и мне тяжело узнать, что в Эгварте град побил поля, а в Аштараке яблоневая моль попортила сады. Родина — моя мать, наука — моя любовница. Бойтесь, молодой человек, чтобы через пятьсот лет не назвали бы канал, который вы строите, древней чепухой. Не возражайте!

Глава третья

Около дороги стоял человек во френче, старом, как воспоминания детства. Синие и красные заплаты лежали на зеленых просторах френча, как заросли мака в полях. Человек расчищал ручей. За ним открывались в горе пещеры, убогий склон горы мучил своей бесплодной раскаленностью. От солнца не было спасения. Хачатур вступил с человеком в стремительный разговор.

Потом он отступил, по-обезьяньи схватил свою шляпу и сорвал ее с головы с неожиданной почтительностью.

— Этот человек,— сказал он,— достоин уважения. Он четыре раза начинал сначала свою жизнь. Четыре раза его хозяйство разрушала война, и он терял все — от жены и детей до коровы. И теперь он пришел в этот голый угол и встал с лопатой перед пещерами, означающими вход в его широкое будущее. Не возражайте! Вот какова Армения, которая не сдается.

Человек во френче заговорил:

— Нужна воловья шкура, чтобы записать мою историю. Но я не буду ее рассказывать. Я уже сбиваюсь: так много раз я ее рассказывал, а вы устали. Зайдите в эти пещеры, я принесу вам воды и лепешек.

— Где же твой скот? — спросил Сурхаян.

— У меня нет даже самой маленькой курицы. У всего

нашего поселка нет ничего, кроме лопат. Но жить ведь надо,— он виновато улыбнулся.

— Нам помогают соседи, и за это мы отдаем им половину урожая.

Хачатур, показывая на желтые вымершие горы на горизонте, долго расспрашивал человека во френче.

— Да, да, вот вам Армения,— говорил Хачатур, волнуясь.— На крестьянина приходится треть десятины, и какой десятины,— на которой дьявол играл каменными орехами...

Они ночевали в пещере, среди неприхотливого хозяйства. Ящерицы бегали по ногам. Терентьев снимал сгоревшую кожу со своего лба и мазал вазелином.

— У правительства Армении нет денег на большие археологические работы. Правда, у него нет денег и на малые археологические работы,— сказал Хачатур, стоя в дверях пещеры, освещенной луной и подозрительно веселый.— Но завтра вы увидите лучший день профессора Хачатура и то, на что он способен. Завтра вы увидите настоящую римскую колесницу — такую, какой она есть. За этими лиловыми холмами лежит она и ждет меня прекрасная, как дорога из Решта в Энзели...

— У вас часто бывают припадки? — спросил техник, кончая возню с вазелином.

— Наука бесстрастна,— ответил Хачатур,— она непоколебима. Что для нее отдельные человеческие личности! Она вся предметна. Завтра вы увидите предмет древнего Рима. Не возражайте!

— Пролетариату колесница не так экстренно нужна,— сказал Терентьев. Он засыпал и видел во сне Ганьку, и у него чесались пятки, чтобы бежать в Эривань.

— Ну, не завтра,— примиряюще согласился Хачатур,— сразу, конечно, невозможно будет вытащить это сокровище. Я скрывал это место годы, у меня не было денег, и я не хотел, чтобы послали какого-нибудь техника вроде вас или франта, принимающего свет Марса за огонь в ближайшем селении.

Сурхаян молча курил, Терентьев не отвечал; он уже погружался по каким-то боковым дорожкам в неизмеримые пространства сна.

Тогда Сурхаян толкнул его плечом.

— Закройтесь поплотнее, здесь ночью бывает холодок.

Терентьев спал. Профессор сидел и смотрел на белую дугу луны, похожую на сассанидскую монету.

Под сдвинутым камнем лежал мертвый скорпион, рыжий, со светлыми ногами. Жесткая, пыльная, похожая на проволоку трава выросла среди землянок. И скорпион и трава выражали запустение.

Конечно, это была глушь с большой буквы. И здесь, в глуши, немного ниже этого заброшенного и совершенно пустого летом селения, в пещере с заваленным входом покоилась настоящая римская колесница.

Бесполезно было спрашивать ее, катившуюся некогда за победительными римскими легионами, как она попала в пещеру, во мрак и одиночество. Было ли то желание безумного вождя, военная хитрость, трагический случай, просто погребение — ничего не могло рассказать про себя раскрашенное дерево. Несколько дней вокруг пещеры шла работа, точно громадные кроты врывались в мягкий песок и разбрасывали камни. Потом настал миг, подобный мигу падения покрывала с памятника. Хачатур снял свою шляпу и кланялся, не решаясь приблизиться. Потом он ринулся и остановился, прижимая руки к сердцу.

Профессор Хачатур сдержал свое старое слово. Да, это была она. Римская колесница на двух колесах со щитообразным передком, с вензелями и барельефами стояла перед ним. Она была старушкой. Все краски сошли с ее некогда победоносного лица. Две тысячи лет ожидания профессора иссушили, истрепали ее, дерево стало трухлявым, мягким, но Хачатур гладил ее колеса и стенки, как спину любовницы. После обеда он начал разбирать ее на части. Поодаль стоял председатель глухой деревушки Кочерьян, и в его синем от загара кулаке трепетал, как большая бабочка, мандат Хачатура. Из мандата Кочерьян видел, какой большой и важный человек Хачатур и какое нужно ему оказывать содействие во всем, чего бы он ни захотел.

Кочерьян вернул бумагу, внутренне содрогаясь. По черствой душе его пробегал холодок зависти.

Он сказал, что завтра три осла будут переданы профессору, но что больше он не может ничего. Все ушли на кочевья к стадам, и в деревне он сам оказался случайно. Кроме него, здесь несколько стариков, умирающих от лени в холодке и одиночестве.

Хачатур не слушал. Перед ним плясала и пела его колесница. Он не слыхал своих спутников. Римские соловьи

пели в его ушах. Колесница подмигивала ему, как куртизанка.

Он разнимал ее на части с таким уменьем и удовольствием, точно всю жизнь занимался этим. Отдельные части колесницы нумеровались и находили себе приют в бесконечных мешках, которые тащил с самой Эривани осел Ованеса. Конечно, предоставлять колесницу ослам для поездки — самой последней и самой славной — было рискованнее, чем нанять буйволов или лошадей. Но так как ни тех, ни других нельзя было достать в этом глухом месте, выбранном колесницей для своего успокоения, то оставалось, окончив часть разборки, пойти обедать.

Когда они обедали, к ним подошел, вынырнув из травы, как легкий пух, оборванный мальчик. Сначала Сурхаян принял его за немого нищего, но мальчик вынул из-под лохмотьев какую-то первобытную флейту и заиграл на ней очень уверенно.

Он, по-видимому, набирался храбрости, чтобы перейти совсем к другому, и его песенка была только маскировкой. Его глаза бегали по обедавшим с птичьей быстротой. Хачатур протянул ему кусок дыни, и он сел, взяв дыню обеими руками, длинно поблагодарил, потом он съел дыню, чавкая, как лошадь, потом он дважды раскрывал рот, как бы в раздумье, и снова закрывал его. Какое-то сомнение жило в этой курчавой голове. Наконец, по-видимому, он решился. Он снова приложил свою дудку к губам и полузакрыл глаза.

— Ну, теперь ты услышишь старые армянские песни,— сказал Сурхаян, улыбаясь.

— Мура! — ответил Терентьев, выбрасывая зерна арбуза себе на колени.

Три старика, помогавшие разбирать и запаковывать колесницу, хозяева ослов, сидели поодаль и шептались. Мальчик оглядел их, тряхнул головой и визгливо запел. На взгляд техника, это была обычная визготня, никак не действовавшая на его суровое сердце.

— Ничего не понимаю,— сказал Терентьев,— смеется он или плачет. Да девочка он, наконец, или мальчик? — тут тоже не разберешь.

Но Хачатур и Сурхаян слушали, переглядываясь. Они перестали есть, и казалось, искали кого-то. Они хмурились, им было не по себе. Мальчик пел высоким, срывающимся голосом:

— Вот-вот живет большой Кочерьян, хорошо живет

большой Кочерьян — в его толстых кулаках вся власть. Кто ему что скажет?

Вот он взял налог, когда нигде его не брали второй раз,— взял его себе, это все знают. Кто ему что скажет?

Вот пошел он и выбрал себе вторую жену, девочку молодую, как коза,— отнял от старого Вано. Кто ему что скажет? Вот обвесил он старуху Анным сеном и зерном. Кто ему что скажет?

Вот избил он пастуха так, что клочья кожи его ели собаки. Кто ему что скажет?

Вот обманул он правительство, дав немощную лошадь, а свою взял и утаил.

Вот провел он чужих людей с товарами мимо стражи, и пронесли они товар в Персию, и много серебра положил он в свой сундук. Кто ему что скажет?

Вот-вот держит он страх на привязи, и все страшатся его, и кто ступит без его слова? Кто ему что скажет? Нам плохо, нам плохо, очень, очень...

Он внезапно вскочил и бросился бежать, не оглядываясь. Из-за дерева вышел Кочерьян. Он заискивающе поспешно поклонился.

— Нечего его слушать. Таким большим господам не надо слушать сумасшедшего. Он ходит здесь вокруг по местам и без ума поет песни. А что такое песня безумного? От нее прока, как от засухи... Если вы добрые люди, вы не примете к сердцу, что он здесь пел. Разве это называется правдой? Тьфу, и трижды тьфу!

Он обвел всех черными своими глазами почти угрожающе, повернулся и пошел к вьюкам.

Сурхаян перевел песню Терентьеву. Техник оживился.

— Вот как?! — закричал он.— Выходит, этот франт негодяй? Вот камуфляж. Как бы нам еще раздобыть этого мальчугана?

— Это меня не касается,— сухо сказал профессор.— У меня есть колесница, больше мне ничего не надо. Кроме того, мы должны окончить всю работу завтра днем. Не возражайте!

Глава пятая

Утром Сурхаян и Терентьев увидали маленького певца. Он пробирался в густой траве ниже пустого селения. Он объяснялся с ними, размахивая руками и приседая от страха, готовый каждый миг провалиться сквозь землю.

Он жужжал, как узкий серый жук. Из его жужжащего рассказа стало ясно, что зовут его Егише, он неграмотен, да вокруг и нет ни одной газеты; все, что он пел,— правда, он поет затем, чтобы весь народ знал, какой злой человек Кочерьян. Младший брат мальчика пасет скот вон на той горе, отца у них убили на войне, мать умерла. Он пел им вчера, потому что, судя по одежде, они пришли из города и вернутся в город и скажут, чтобы сменили Кочерьяна, и теперь ему все равно, потому что ему, Егише, осталось жить немного.

— Почему? — спросил Сурхаян, оглядываясь.

— Потому что Кочерьян слышал вчера песню и сказал моему брату: передай Егише, что я его убью, и если эти люди будут длинно говорить, я их тоже убью.

Тут мальчик тихо свистнул и заскользил по траве, как уж.

Кочерьян спорил с Хачатуром. Профессор махал в воздухе прекрасным рисунком, изображавшим колесницу. Рисовал Хачатур мастерски.

— Посмотрите,— кричал он, размахивая рисунком.

— Ну что же, рисунок хорош,— сказал техник,— да дайте-ка приглядеться.

— Да вы на него посмотрите, молодой человек, на него.— Хачатур указывал на Кочерьяна.— Он дает мне ослов только до Яныха, а там мне придется снова все перекладывать.

— Люди не идут дальше. В Эривань, ой, ой, ой, очень далеко. Люди не идут так далеко.

— Извольте рассуждать с этими типами. Придется идти до Яныха.

— Он боится, что они все разболтают,— сказал техник.

Кочерьян дружески коснулся руки Сурхаяна.

— Скажи, пожалуйста, кого это вешали недавно в Эривани, а? — спросил он.

— Вешали? Не слыхал,— недоумевающе протянул Сурхаян.— Ты, Терентьев, не слыхал такого случая, кого это могли вешать в Эривани?

— Публично, знаешь, вешали там одного попа и шесть генералов,— угрюмо продолжал Кочерьян.

— Подожди,— сказал Терентьев,— это в годовщину войны вешали чучела. Скажи ему, что это вешали таких мерзавцев, как он.

Кочерьян соображал, не смеются ли над ним эти люди. Зачем вешать чучела, когда живых людей вешать гораздо

важнее? Потом Кочерьян ушел, отмахиваясь от беспорядочных криков своих односельчан. Ованес, зеленый от страха и волнения, трясясь, приблизился к друзьям, не смея размахивать руками, точно его пришибли.

— Что слышал Ованес сейчас, ай, что слышал Ованес сейчас! Лучше бы ему не слушать.

— Ну, несомненно,— сказал Терентьев.— Крой дальше, балда!

— Ой, Кочерьян сказал стражнику: когда эти господа уйдут, возьми ружье и застрели Егише, а всем скажем, что он взбесился.

— Ованес, отойди! — сказал профессор.— Нам нельзя терять время, его и так немного, а эти бездельники идут с нами только до Яныха. Помогите мне проверить вьюки.

Погонщики шли только до Яныха. Ни предложения профессора, ни угрозы Сурхаяна, ни русская брань Терентьева не действовали на их застоявшееся воображение.

Глава шестая

— Товарищ Хачатур, вьюки пойдут до Яныха без нас.

Впервые чистый желтый лоб профессора пересекли морщины.

— Как?

— И без вас, дорогой товарищ Хачатур.

— Молодой человек! Вы портили мне настроение во все время пути, и теперь ваши шутки вам решительно не удаются. Мне не смешно.

— И нам не смешно.

Тут техник рассказал все, что он видел, слышал и сам придумал о мальчике.

Сурхаян пожал плечами, как посторонний свидетель. Хачатур закипел. Кипение началось со щек. Щеки побурели, точно под ними взорвались склады томатов; потом шея стала похожа на фаршированный кабачок. Он вскочил, как зеленщик, гоняющийся за покупательницей, и окинул глазами землю, похожую на запущенный огород.

Это была священная земля, земля, на которой стояла его колесница,— земля, по которой проходила сама история. Травы и какие-то кривые деревья прикрывали, казалось, серые, скучные опасности, желтые горы, вдалеке и рядом совершенно пустые, вступали в заговор с ущельем. Казалось, и тишина этой земли нарушится, разлетится че-

рез минуту в непонятной грозе. Хачатур прислушался к биению собственного сердца. Он всегда думал, что так просто нельзя человеку завоевать свое счастье.

— Знаете ли вы, что вы вроде дьяволов? — сказал он, шумно дыша.— Вы искушаете меня. Вы ставите поперек дороги в часы моей высшей радости человека чужого, мне ненужного,— ребенка; вы думаете, у меня нет сердца, а вы... хотите, чтобы я сам...

— Вы запутались, Хачатур,— сказал Терентьев.— Дело проще. Колесница пойдет одна. Жила же она сотни лет так, без цезаря, а мы не цезари. Оставить ее с нами, поймите, это заговор. Если она уйдет с Ованесом...

— С Ованесом, бог мой! — закричал Хачатур.— С дураком, у которого в голове тухлое яйцо?! Он сегодня тыкал пальцем в какую-то яму и рассказывал: вот, говорят, бога нет, а это что — не бог? В чем дело?

— Если она уйдет с Ованесом, она спасена; если же в ближайшие часы Кочерьян догадается, что мы остались ради него, он отзовет своих односельчан, он приведет на нас какую-нибудь шайку. Ваша эта вещь с колесами будет в опасности.

— Зачем я вам нужен? — закричал профессор, тщетно пробуя успокоиться. Он смотрел теперь только в сторону колесницы, боясь, что она исчезнет, как видение.

— Сурхаян, скажите ему...

— Дорогой мой, вы нам не нужны. Нужен ваш мандат. Ваш мандат — единственная сила в этой глуши. Что мы без вас здесь, и что вы без мандата? Это значит — ни колесницы, ни нас, может быть. Мы суем руку за пазуху разбойнику, чтобы вытащить нож. Конечно, мы можем очень спокойно порезать себе пальцы.

— Зачем я связался с вами, несчастнейшие люди? Они выкапывают все затруднения, чтобы осложнить жизнь! Ну, а если с ней что-нибудь случится?

— Пускай пропадет этот хлам! — горячо воскликнул техник.

— Молодой человек! — закричал, вспыхнув, профессор.

— Они сейчас поссорятся,— сказал Сурхаян и поправил свои фиолетовые носки.

— Зачем мы останемся? — негодовал профессор.— Я знаю эту страну. Жизнь человека здесь не стоит боба. Мы никого не спасем. На что вам нужен дикий мальчик, вероятно, больной?

— Я живу тоже по свободному принципу, дорогой Хачатур,— сказал Сурхаян.— Как вам сказать? В данную минуту меня интересует этот заморыш. Может быть, не надо так спешить.

— Спешить?! — хрипло закричал Хачатур, оплывая теперь, как громадный огарок красного воска.— Если мы не уйдем через час, они сбросят вьюки. Так сказали эти люди.

— Тогда будем решать,— мрачно откашлявшись, сказал техник.

— Решать,— прошептал, поснев, Хачатур.— Вы — демоны. Один из вас простой грубый человек, другой — искатель приключений, отравленный любопытством. Что я скажу вам, я, человек мысли и предметов неумирающих?

— Не знаю,— сказал Сурхаян,— я голосую за простого и грубого человека.

Он взял небольшой белый камень и начал подбрасывать его на правой ладони. Затем уронил его и предложил профессору черный плоский, расколотый чертов палец. Хачатур презрительно отбросил чертов палец, встал, вынул часы и пошел бродить по пыльной, похожей на проволоку траве. Ему почему-то пришло в голову, что под каждым камнем лежит рыжий мертвый скорпион, что солнце через четыре часа пойдет за ту гору, и туман закроет путь в Яных, и он не увидит больше колесницы. Он убрал часы. Синекожие, похожие на баклажаны люди будут хозяевами драгоценнейших вьюков, что снились ему годами; о них он мечтал и боялся признаться в этом даже жене. Судорога исказила его лицо.

— Неужели нет другого выхода? — закричал он, подбегая к стоящему на коленях технику, пришивавшему пуговицу к штанам. Он требовал ответа у гор, замкнувших долину, у того горного хлама и трав, что жили здесь и сберегали его сокровище. И вдруг он почувствовал, что речь не о колеснице, а о том умном, суетливом и ученом человеке, которого зовут Хачатур. Это слово летело перед ним, выпрямляясь до самого неба, изгибаясь и пропадая в каких-то загогулинах внизу ущельных дыр. «Хачатур»! Может быть, оно означало молодость, «Хачатур». Он почему-то представил себя лежащим на спине, в самой беспомощной позе. Птицы прыгали у него на руках, и он не мог пошевелиться.

— Есть выход,— сказал Сурхаян,— бежать отсюда и все забыть.

Молчание вошло в круг озабоченных людей. Профессор подошел к технику и положил руку ему на плечо,— сейчас техник отвернется, он отойдет, он не сможет, он не смеет лишать Хача... Хачатур увидел темный, почти черный зрачок, похожий цветом на тот камень, что он отбросил.

Сурхаян с детства дышал одним с ним воздухом, воздухом Армении. Сурхаян сжал руку Хачатура, как пожимают ее люди, давшие определенное слово и уверенные в нем. Тогда он забыл, что делала его рука. Он не сразу понял, что правая рука его вынула часы, поднесла их к глазам Хачатура, и он сказал:

— Прошу не говорить со мной, пока я не заговорю сам.

Ованес стоял перед ним, переминаясь с ноги на ногу. Он боялся, что у него будут спрашивать перочинный нож Хачатура; его он засунул неведомо куда, и сам не помнил этого. Но профессор посмотрел на него такими глазами, точно у него умирал отец от черной оспы.

— Ованес, ты поведешь караван в Яных. Слушай меня! Вот деньги. В Яныхе расплатись с ними — найди новых ослов и дожи... Нет, нет, слышишь,— в Яныхе; нет, не слушай,— перевьючь и иди на Джигин. Что бы ни случилось, ты идешь на Джигин. Мы тебя догоним. Ну, старина, не возражайте!

Ованес отошел, потея от недоумения. Ослы двинулись, прибивая пыль почти женскими ногами. Профессор пошел вверх по высохшему ручью, кивая головой, точно ежеминутно раскланиваясь со знакомыми.

Глава седьмая

Сурхаян проснулся первым. В окне на уровне земли ползали жуки. Можно было ясно рассмотреть царапины на глине и пыльные щитки насекомых. Сурхаян огляделся. Терентьев спал с открытым ртом, раскидавшись, голова профессора утонула в пледе.

Сурхаян вышел на двор, вернее, в травы, потому что все вокруг утонуло в высоких, жестких, непривлекательных травах. Солнце давно гуляло в небе. Он обошел вокруг землянки, вернулся в нее и шутя закричал:

— Вставайте, стреляют!

Растрепанные головы встрепенулись сразу.

— А,— пробормотал профессор,— вы нервничаете?

— Мне всю ночь снилась лягушка,— зевая, сказал техник.— Она лезла целоваться.

— Это к счастью, дорогой! — воскликнул Сурхаян.— А вот и Егише; значит, все в порядке.

Вбежавший мальчик, однако, только немного походил на Егише. Это был никому не известный пастушонок, такого же роста и такого же типа, как и Егише, в таких же геройских лохмотьях, кусавший губы не то от страха, не то от злости.

— Егише убили! — вскричал он, захлебываясь и сжимая кулаки.— Идем рыть ему могилу, а то его съедят дикие звери.

Слезы бежали двумя грязными потоками по его лицу.

— Где убили?

— Кочерьян пришел со стражником, сказал — убей его. Я все видел. Я спрятался и все видел. Стражник стрелял, и Егише упал, и они убежали. Я овец пас на горе, а Егише умер, а! Идем к нему!

Тогда горы увидели дикое состязание в скорости. Впереди бежал Вано, брат Егише, за ним, прыгая, как джейраны, мчалась экспедиция. Профессор запнулся о камень, великолепно перелетел через голову, упал и покатился под гору. Остальные, не смущаясь, догнав его, перепрыгнули через него.

Егише лежал в траве, как раздавленный муравей, маленький и очень серьезный. Они тащили его на гору, стараясь не смотреть друг на друга. В землянке они раздели его. Хачатур засучил рукава, распаковал свою аптечку, как бывалый фельдшер, и сделал первую перевязку. Егише лежал смирно. Ему казалось, что он уже умер и больше в этом мире ему делать нечего. От испуга он пожелтел, как будто упал в жидкую серу.

Мужчины стояли у дверей. Они задыхались от усилий, от неожиданной ответственности за наступающий день, не предвещающий ничего хорошего. Они мылись и завтракали, почти не разговаривая.

Кочерьян пришел с бородатым, тощим и свирепым человеком. Когда они подходили, раздвигая травы, они были похожи на волков, оглядывающих окрестность, или на скупщиков краденого, ищущих меняльную лавку.

Кочерьян очень церемонно поклонился и заговорил быстро-быстро, точно боясь, что его прервут:

— Мне сейчас сказал стражник, что разбойники застрелили Егише. Я пришел, чтобы узнать, так ли это.

— Это так,— сказал Сурхаян, разглядывая председателя.— Это так. Он умирает.

— Я должен осмотреть его и составить акт. Вот он, лекарь милостью божьей, пусть осмотрит его.

Свирепый его спутник выступил вперед.

— Мы сами понимаем толк,— твердо сказал Хачатур.— Ты видел мой мандат. Доктор, у которого лечился сам Совнарком, не хочет помощника.

— Твой мандат, о, это бумага очень большая. Что я такое перед этой бумагой? Возьми сажай меня, как собаку, на цепь. Что я сказал? Э?

— Я главный и старший лекарь, и ты уходи отсюда,— настаивал Хачатур.— Поди и напиши акт, я его подпишу, и позови еще свидетелей.

Кочерьян прищелкнул языком не то от досады, не то от нетерпенья.

— Це! В селении никого нет. Я только и задержался, что вы остались здесь. Почему вы не ушли с отрядом в Яных?

— Ветер дул не в нашу сторону, старшина,— сказал грубо Сурхаян, рассердив Кочерьяна.

— Ну, умер, и умер, что разговаривать! — воскликнул техник.

— Ну, что помирает — пусть помирает,— по-армянски сказал стражник и тихо пошел прочь.

— А он что говорит? — спросил Кочерьян.— Может он говорить, что он помнит разбойников в лицо?

Тут Хачатур взял его за плечо и, тихо толкая перед собой, сказал:

— Приходи после, дорогой!

Кочерьян догнал стражника и стал ему доказывать, что они сделали глупость, так поспешно убив мальчика, что теперь им придется убивать и всех остальных, если он не хочет висеть на виселице в Эривани, как те шесть генералов подряд (и ветер трепал их эполеты). Так это были генералы, а с ними будет совсем плохо. Если же они убьют всех, то придется им бежать или в Турцию, или в Хой, а там совсем не жирно живут. Проклятый нищий не мог умереть спокойно. Нет, ему надо было умереть, загородив дорогу, точно он был знатный буйвол, чтобы все соседи смотрели, как их арестуют.

Они не видели, что за ними крались двое. Вано и техник шли по следам убийц, как кошки, приседая и принюхиваясь. Так они обошли деревню. Кочерьян не лгал. Все жилища были пусты, в них валялась рухлядь, козий помет, старая разломанная посуда.

Один бесноватый старик, кривляясь и ничего не замечая, сидел на пороге и ел муку горстями, косил белые, как у ворона, глаза и смеялся, подымая голову.

Когда они прошли мимо него, он бросил муку и вынул из-под груды старой соломы узкий нож. Нож был грязный, с серебряной почернелой ручкой, но острый, как нитка.

Глава восьмая

Вечер наступал самый безвыходный. Мягкие и глухие горы пылали закатом по всем направлениям. Едва заметная прохлада накапливалась в ямах по сторонам деревни. Пустынные землянки и разрушенные шалаши имели малоутешительный вид.

— Дорогие,— сказал печально Хачатур,— ни слова о колеснице...

Она катилась прямо на него, сверкая во мраке своим вековым великолепием. Она пропадала в безымянной дали, за буграми, идущими к Яныху.

— Ну, я спрашиваю вас, что мы будем делать, если он не умрет? Что тогда? Я спрашиваю,— что тогда?

— Тогда нам нельзя завидовать,— ответил Сурхаин, чистивший щеткой свои запыленные штаны.— Потому что, если мы завтра не покажем Кочерьяну недвижного мальчика, я думаю — ни один из нас больше не прогуляется по Астафьевской улице.

— Пятнистая маскировка,— сказал Терентьев.— Кочерьян боится мандата; он трус. Мандат всесилен. Я предлагаю пойти и отыскать его как ни в чем не бывало и потребовать, чтобы он достал ослов или арбу с буйволом. Увидите, он испугается и даст.

— Ну.— Хачатур стал перетряхивать карманы один за другим. Он хватался даже за подкладку, шаря рукой с такой быстротой, точно ему за рукав забежала мышь. Наконец, потрясенный и красный, он внезапно потер переносицу.

— Я потерял мандат. Должно быть, когда я упал, утром я потерял мандат.

Да, это было так.

Солнце село. Небо стало желтым, потом стеклянным, зеленым. Холодный ветер пробежал сразу над долиной.

Сурхаин ощупывал свои руки и ноги с любопытством спортсмена перед началом состязания. Чайник шипел на

маленьком костеришке, и в углу лежал неподвижный Егише, и нельзя было понять, дышит он еще или его душа уже догоняет колесницу по дороге в Яиых.

Сурхаян кончил осмотр и встал, разглядывая Хачатура и Терентьева.

— Мне пришло в голову, что единственное место, где можно раздобыть помощь,— это Гар-Гарт. Отсюда до него километров двадцать. Путь мне знаком, хотя ночью я здесь не ходил. С экспедицией Аштара я крутился долго в этих местах, но днем,— ночью я спал или играл в покер. К утру, самое позднее, я буду там. Там пост, есть у меня знакомые. Как вы думаете?

Друзья пожали плечами.

— Но там такие тропы. Мне жалко вас,— сказал Хачатур.— Давайте пойду я. Я старый человек, и мои кости весят два фунта. Не возражайте!

— Камуфляж! — закричал техник.— Хотя у меня не зажила еще как следует рука, но руки тут ни при чем. Расскажите, куда идти, и я смотаюсь моментально.

Сурхаян засмеялся, но смех его не имел никакого успеха.

— Идти туда, не зная дороги,— все равно что не идти.

Сурхаян провел еще раз щеткой по штанам, как будто шел на бал к знакомым, пожал руки и вышел, прямой, как всегда, и, как всегда, спокойный.

На самом деле вялость шла по его телу, пока он искал тропинку в горы. Перед тем как вступить на нее, он оглянулся. Ущелье было тихо и мрачно, достаточно мрачно. Тогда он пошел, не оглядываясь.

— Что мне этот мальчик,— сказал профессор, садясь прямо на пол перед ложем Егише.— Ованес такой дурак, он ничего не умеет толком.

Хачатур вычеркнул спичку, зажег свечу и долго смотрел на потное желтое лицо раненого. Вдруг он почувствовал, как грудь его наполняется странной теплотой. Мальчик лежал с закрытыми глазами. Хачатуру почему-то показалось, что он, Хачатур, сидит на громадном темном блюде и шевелит усами, как таракан, а мальчик бел, как кусок сахару. Он задремал. Какая чушь! Мысли его вернулись к мальчику. Он, вероятно, отойдет к утру. Хачатур встал, поднял свечу и обвел комнату. Потом он медленно снял свою шляпу. Он стоял, тихо вздыхая и морщась.

Техник, подойдя сзади, пожал ему руку, сказав:

— Это правильно. Ведь мальчишка-то не выживет. А ваша колесница, по-моему, тоже затрещит. Там такие дороги, да Ованес-дурак поможет, так что вы, значит, геройствуйте. От славы отказались ради этого мальчишки. Камуфляж, черт побери! Прошу прощенья, что всю дорогу свинячил вам. Прошу по-товарищески.

Егише застонал.

— Дайте ему пить,— сказал профессор таким медным голосом, точно кто-то стукнул кувшин о кувшин.

Прежде чем техник, которому стало стыдно своего балагурства и своей грубости, пошевельнулся, Вано выскочил откуда-то с кружкой, стараясь стать так, чтобы не закрывать свечи.

Глава девятая

Заложив руки в карманы, легко покачиваясь и насвистывая, шел Сурхаян. Сначала он смотрел по сторонам — ночь текла, как большая молочно-черная река, разнообразная мгла камней обступила его. Порой он проходил какие-то блестящие травы, и тропа снова возносила его на кручи. Порой он шел в абсолютной тьме, глубокой и бесконечной,— во тьме неожиданной чащи, где все тени двигались зараз и тропа снова заворачивала на кручи. Белые и желтые звезды висели, словно мухи на громадной занавеске.

Ночные жуки проносились около лица, холодный ветерок тянул из расщелин. Временами горы казались ему кусками пепла. Левая нога стала от колена наливаться кровью и деревенеть. Он начал на ходу растирать ее, тогда правая заныла от старого ушиба. Он сел, снял сапоги и ослабил резинки у носков, чтобы они не стягивали ноги слишком тесно. Он шел по тропинке шириной полшага, и она наклонилась так предупредительно, что достаточно было споткнуться, чтобы превратиться в птицу. Но его усталое сонное тело удивительно ощущало все опасные места.

Неожиданно он спустился в лес и тут впервые подумал, что все напрасно. Лес был весь черен, журчали какие-то невидимые потоки. Камни возвышались всюду. Он заблудился. Здесь стояла такая свежесть, что она пробирала до костей. Он блуждал, и досада теснила его. По его расчету, он не сбился с дороги, но в этом лесу можно бродить часами без выхода. Он решил идти по звуку текуще-

го ручья. Несомненно, ручей сбегал вперед, к выходу из ущелья. Он ускорил шаги, чтобы согреться. Колючие кусты с размаху прервали его ход, он исцарапался и, весь в поту, должен был начать новый подъем. В лесу он потерял очень много времени. Тропа снова шла перед ним, то подымаясь и изгибаясь, как седло, то обрываясь, как стена. Взобравшись еще раз на очередную гору, он увидел, что обрызган грязью и песком. Штаны его разорвались на колене.

Во рту его пересохло, несмотря на то что ночь становилась все холоднее. Ручей выбежал перед ним, изгибая свои серебряные перекаты и растекаясь в пенистые лужи поперек дороги. Сурхаян разулся, закатал брюки выше колен, взял сапоги в руку и вступил в воду. Вода была морозная, под ногами она вскипала белыми зубцами, плотная, как кисель. Перейдя ручей, он почувствовал странное освежение, перешедшее скоро в холод, подымавшийся к сердцу. Он испугался и, вскрикивая, побежал, чтобы согреться. Через несколько минут второй ручей перешел дорогу. Он снова разделся, и снова ледяной кисель сжигал его ноги. Тропа завернула на кручу и опять спустилась, и ему стало неприятно сознание, что он все более становится смешным.

Третий ручей он перешел, не снимая сапог. И сразу же после перехода у него заболели зубы. Боль родилась где-то около уха, прошла по всем деснам, как будто кто-то пустил гулять маленькую тупую иглу и она шла, неровно подпрыгивая. Он стал ругаться и подбадривать себя вслух разными нежными словами. Он замедлил шаги, шел, почти спотыкаясь, зажав щеку рукой, растирая ее и грея. Где-то закричал непонятный ночной зверь.

Сурхаян шел, сжав зубы, сплевывая слюну, шел, наклонив голову, не разбирая пути. Правда, сбиться было трудно. Одна и та же тропа, взбегая на гору, сползала с нее, и она была так убита следами и впадинами, что ошибиться было нельзя. Сурхаян вспотел. Тогда он лег на землю и минуту лежал неподвижно. Теплота вместе с усталостью начала качать его. Он вскочил, присел, выкинул руки в воздух, высморкался и пошел снова.

Его глаза смутно регистрировали пересыпь лунных пятен и однообразный тихий блеск камней. Он упал со всего размаха в яму; он явно дремал на ходу. Он упал на мелкие камни и кусты, сломав их. Когда он выбрался снова на дорогу и взглянул на себя, он мог спросить себя, как по-

стороннего человека, кто он такой. Это не был больше щегольской Сурхаян — краса Астафьевской улицы. Грязный нищий шел вперед с уверенностью старого бродяги.

Ночь не кончилась. Большая ящерица, перебегая дорогу, остановилась, раздув горло. Он, сам не зная почему, бросил в нее камень и остановился. Ящерица убежала. Вдруг он вспомнил, что у него есть папиросы. Он сел и жадно начал курить. Он выкурил три папиросы, зажигая новую об окурок старой, и спрашивал себя:

— Сурхаян, почему ты не спишь? Куда ты идешь, Сурхаян? Что нужно тебе здесь, в этой дыре, ночью? Сурхаян, Сурхаян,— он произносил свое имя, вдумываясь и вглядываясь в него.

Он вспомнил, как он в Кехарте, в древнем монастыре, увидел единственную девочку-монахиню, с лицом Чингисхана, и подарил ей пустую бутылку из-под коньяку и как та обрадовалась, что будет в чем носить воду. Он вспомнил и Хачатура и Терентьева в темной землянке, сидящих над армянским мальчиком, который умрет к утру. «А! армянский мальчик. Стоит ли, Сурхаян, идти всю ночь, превращаться в грязное животное все для того, чтобы знать, что умер один армянский мальчик, умер за простую маленькую песенку в пустыне?»

Тут он увидел, что перед ним лежит черная тень, будто высокий человек остановился по ту сторону дороги. Он поднял голову. Он сидел против вишапа — каменного изображения громадной змеи, стоящей на хвосте, наследие невесть какой Ассиро-Вавилонии. Змея выставила тупую голову, и в ее плоских глазах отражалась луна.

Сурхаян не переносил змей. Он брезгливо плюнул, встал и зашагал дальше. Он боялся, что сделал громадный круг или вообще заблудился, но тропинка повела его на скалу, усеянную развалинами. Он взглянул с облегчением, узнав одну из стоянок лагеря Аштара.

Теперь ночь не теснила его, она расступалась перед ним, оборванным, иззябшим, грязным человеком; у него подгибались ноги, он курил на ходу безостановочно. Сто раз ему шептали в ухо горы: «Ляг и спи. В чем дело? Ты устал. Ты все равно потерял Гар-Гарт. Мальчику ничего больше не поможет. Спи до утра, утром ты дойдешь. Дело справедливости всегда делается при свете дня».

Он задыхался, он сплевывал и говорил: «Нет. Главное в жизни — любопытство». «Что будет именно теперь, именно теперь?» Он шел, как олень, идущий с горы и не могу-

щий сдержать шага. Перед ним стояли большие пастушеские псы. Каждый из них ходил в одиночку на волка. Они даже не лаяли. Они стояли, ворча, по обе стороны дороги. Они могли разорвать его в две минуты, даже не заметив этого. Он же, не прибавляя шага, шел прямо на них. Они расступились, толкая друг друга и недоумевая; их белые клыки лязгали; их глаза наливались кровью. Он прошел, равнодушный как дерево, среди псов, и они разошлись. В нем не было ничего враждебного, а недоуменного в горах так много, что не стоит на все обращать внимания.

Когда небо стало зеленеть на востоке и вспыхивать, он ворвался в Гар-Гарт подобно сорвавшейся с коновязи лошади, и через час милиционеры Гар-Гарта набивали карманы патронами с преувеличенным воодушевлением восточных энтузиастов.

Глава десятая

Свеча принадлежала вообще к случайно захваченным Хачатуром предметам, и теперь она догорала. Терентьев, прислушиваясь, каждую минуту ждал выстрела. Защищаться ему было бы затруднительно, потому что его еще мучила боль в руке, поврежденной на постройке канала; значит, он умрет один в пустыне, как барабан, пробитый пулей, и его тело утром будет валяться в обрыве. Он жил на востоке второй год, но удаляться в пустынные места ему не приходилось, он не знал нравов и характера горных людей. Ему стало досадно, что, такой молодой, он погибнет, даже Ганька только из газет потом узнает об его исчезновении. Хачатур дотронулся до его плеча.

— Молодой человек, луна вышла, идемте наверх. Что сидеть здесь, в могиле?

— А он? — сказал техник, качнув головой в угол.

— Он спит, но нам это безразлично. Мне жаль Сурхаяна. Идти одному ночью нехорошо. Я помню один случай, когда я шел сплошным обрывом в полную темь и освещал дорогу только спичками. У меня было шесть коробков, и я насчитывал за плечами восемнадцать лет. Да. Не возражайте!

— Идемте! — согласился техник.

Они вылезли осторожно наружу. Ничего не изменилось. Лунная тяжелая ночь заполняла селение. Казалось, из травы, из отверстий землянок появятся люди, но никто

не появлялся. Трава таила врагов. Техник явно ощутил тревогу.

— Скажите,— спросил он шепотом, чтобы не молчать,— они могут напасть на нас? Вы, черт возьми, знаете их нравы. Могут они нас убить?

Профессор развел руками.

— Конечно, могут. Они знают, что у нас нет оружия, а объяснят наше исчезновение как угодно... О, они объяснят. Мои земляки — мастера в таких вещах.

— Мне жалко вас, профессор. Все-таки вы с этой колесницей хотели быть счастливым. И так умрете. Человек талантливый и нужный, несомненно, да.

— Грубоватые молодые люди тоже имеют кое-какое значение. Вы по-своему честный человек, вы, как земляной пласт, тоже нужны. Конечно, вас легко заменить, но все-таки мне жаль.

Так они обменялись любезными словами, потом техник совсем тихо спросил:

— Как они, то есть, вернее, чем они будут действовать.

— Ну почем я знаю? Я думаю, перестреляют,— самое верное. Постойте!

Они прислушались. Терентьеву показалось, что трава шевелится так подозрительно, что, несомненно, скрывает неожиданность. Тут он испытал неприятнейшее ощущение. Ему так захотелось вскочить и побежать со всех ног, не оглядываясь, что Хачатур схватил его за руку; такое же чувство передалось и ему.

— Вы видите что-нибудь?

Хачатур не верил в то, что он храбрый человек. Он предпочел бы отступление всему на свете. Травы качались все так же подозрительно.

— Они отложили нападение,— сказал шепотом Терентьев.— Давайте хоть запишем подробности происшествия, чтобы после нас нашли письменное свидетельство о нашем убийстве.

Он вынул химический карандаш и, поглядывая на траву и на горы, начал поспешно писать. Хачатур встал. Он хотел пройтись, чтобы размять ноги, и вместе с тем неясный страх угнетал его. Был короткий момент уверенности, и если бы подлые убийцы явились открыто, они встретили бы героев, которые, может быть, поразили бы их своей храбростью. Но ждать ночью в ловушке тайного выстрела в спину, часами, это, конечно, совсем другое.

Хачатур вернулся очень быстро к технику. Терентьев спросил его:

— Как вы, что-нибудь слышали?

Профессор покачал головой.

— Они всегда нападают перед утром.

— Когда самый крепкий сон,— добавил техник,— я слыхал об этом, и потом они предпочитают резать, а не стрелять.

На воздухе было холодно, но забираться во мглу землянки им не хотелось. Они сели рядом, оглядываясь и боясь сознаться, что они, во-первых, заснут, а во-вторых, им страшно в самом деле.

В этот самый час в низу той горы, на которой расположилось селение, горел костер, потрескивавший вполне мирно. Вокруг костра лежали три человека.

— Напрасно ты, Кочерьян, возбудил гнев этих людей,— сказал стражник, подсовывая под себя кусок одеяла, служивший ему и поясом и постелью.— Теперь они подымут закон, и тебя посадят в тюрьму.

— Я думаю, не бежать ли мне в Персию, и только боюсь, что уже поздно. Говорят, эти люди умеют сноситься по воздуху без всяких видимостей. И они, наверное, уже сообщили всюду обо мне. Разве пошли бы они одни без оружия сюда? Я никогда не поверю. Они сейчас лежат и насмехаются над нами.

— Они уже искали тебя, Кочерьян,— сказал старик,— мне стало немного лучше сегодня, и я выполз на свет подышать, но я плохо вижу, заметил только — идут два человека, и не наших. Я окликнул их, и они не отозвались. Я думаю, что они нападут на нас сегодня ночью.

— Не пугай нас, зачем ты говоришь такие вещи?

— Почему ты дрожишь, Кочерьян? — спросил стражник.

— Я давно простудился, напившись, потный, воды из старого ручья, около ямы, а там теперь нехорошая вода.

— Что это? — спросил старик.— Я ничего не вижу, но слышу шум.

— Может, это бежит волк? — сказал Кочерьян. Он подбросил в костер травы.

Вниз по горе кто-то, несомненно, шел, шорох приближался.

— Зверь не идет так шумно,— пробормотал Кочерьян.— Мы погибли, это они.

— Не говори так, дядя,— сказал стражник, выкатывая испуганно глаза.— Я буду стрелять, все-таки убью кого-нибудь.

Кочерьян задержал его берданку.

— Тогда мы не получим пощады. Неужели, несчастный, ты не знаешь, что они идут вооруженные?

— Спасайтесь! — закричал старик.— Мне изменяют глаза, но я чую, идет что-то страшное...

Кусты раздвинулись с разнообразным шумом. Несколько камней упало вниз. Фигура, появившаяся на выступе, могла испугать, как ночной выходец из могилы. В разорванном рубище, с голой грудью, на которой застыли темные пятна крови, с закрытыми глазами, страшно вытянутыми вперед искривленными руками, мчался прямо на костер синий, страшный мальчик.

— Это он! Это мертвый Егише! Он встал из могилы,— закричал Кочерьян и, перепрыгнув через костер, пропал в кустах.

Стражник вскочил, завывая, зацепился за берданку и покатился вниз с горы. Слышно было, как мял он кусты и шумел по откосу, пока его неудачное изодранное тело не нашло себе тихого пристанища. Старик упал навзничь и закрыл лицо руками. Призрак добежал до костра и стал дико кружиться, разбрасывая уголья во все стороны. Старик лежал на земле и бормотал все заклинания, какие он знал...

...Хачатур толкнул задремавшего техника.

— Что? — спросил техник.— Где мы?

— Они идут,— уверенно сказал профессор.

Кто-то, несомненно, крался между развалин. Потом траву раздвинул узкий блестящий ствол.

— Прощайте, профессор,— сказал техник, вставая.

— Подождите,— с дрожью в голосе, но отлично владея собой, начал Хачатур.— Эй, вы там, погодите стрелять! Мы сдаемся! Слышите, мы сдаемся. Уберите ружье! Не возражайте!

Вместо ответа берданка вылезла совсем вперед без выстрела; за ней появилось размалеванное, узкое, худое голое тело Вано, который, искажаясь и хохоча, стал рассказывать о своей ночной выдумке. Он отомстил. Теперь он может вернуться к своим овцам, потому что большего ему не надо.

Тутовое дерево мешало жить технику Терентьеву.

Бритый череп его не так лоснился, как две недели тому назад. Он покрылся черными точками, предвестниками новой нивы волос. Техник поглядел вперед. Сквозь растопыренные мускулистые ветви тута виднелся неизбежный Арарат. Над ним стояло облачко: новые обвалы сотрясали старика.

Техник Терентьев не ругал тутовое дерево. Правда, с Ганькой ничего не вышло. Она не приехала в город и, по последним сведениям, выходила замуж за статистика из Ленинакана, но зато техник уезжал на свой канал, где его ждали с нетерпением бурава и молотилки, пыль работы, понятной и в полной мере безопасной.

— Это не то, что шляться по осиным гнездам, где рискуешь получить от шипящих тварей во все места...— Последние слова он обратил дружески к тутовому приятелю.

— Неужели? — сказал за его спиной Сурхаян, выходя из комнаты и потирая руки.— А я только что немного перекинулся в карты. Если бы ты знал, какой хохот охватывает меня, когда я смотрю на свой костюмчик, что остался на память потомству, на память о той ночи...

— Камуфляж,— сказал Терентьев.— Мальчишка выздоровел, как железный. Ну, а что за новости? Слышно, где Кочерьян?

Сурхаян смахнул пушинку со своих фиолетовых носков.

— Как же, разбойничает около Джульфы! Идем на улицу. Что ему сделается? Проводи меня до дому. Жена накормит обедом. Потом она собиралась пойти в сады...

Астафьевская улица сияла, как именинница. На Астафьевской улице только что прошли манифестации в честь Международного дня юношества. Еще попадались оркестры, исполнявшие бодрый, ясный, какой-то старый, немного металлический гимн.

— В звуках ничего плохого нет, а слова мы напишем новые,— сказал Терентьев, когда Сурхаян с улыбкой слушал оркестр.

Проходили комсомольцы и красноармейцы в одних трусиках, смуглые, твердоногие.

— Чем тебе не римляне, а?! Вспомнишь тут Хачатура,— сказал Терентьев.— Правда, ему ничем не помочь.

— Ну что ж, дорогой, стихийное бедствие.

С ними раскланивались знакомые. Из лавок подымался аромат дынь и груш. Виноград зелеными грудами возвышался по сторонам. Мальчишки бежали по улице и неистово кричали:

— Сарры дчур, сарры дчур!..

На бульваре сидели безработные и праздничные ремесленники. Армяне Турецкой Армении, недавно вернувшиеся из Турции, сидели до большого фонтана, посередине бульвара, армяне Советской Армении сидели после фонтана и читали газеты, ели виноград и разговаривали посемейному.

Толпа теснилась на улице по самой середине, потому что по этой улице извозчики имели право ездить только до бульвара. Узкие ручейки воды бежали сбоку тротуаров, журча по-столичному.

Вдруг Сурхаян указал Терентьеву на человека в фетровой шляпе, громко говорившего:

— Да, вот вы — Фома неверный, а рай будет при конце мира обязательно. И, знаете, где будет? На Сардарабадском поле, но не все войдут в него, не все, брат, не все. Мы, конечно, в первую голову, а во вторую — мусульмане, татары, да-с.

Собеседник его, протестуя, взмахнул руками и повернулся. Техник узнал голову Хачатура.

— Кто это сказал вам? — насмешливо спросил профессор.

— Это сказано, брат, еще святым Гимгейль-ханом в книгах...

— Госиздат, что ли, издает такие книги?

— Почему Госиздат? — сверкнув рыжими волосами, отвечал сектант.— Не издат ваш, а в американском городе Лос-Анжелосе издаются все эти священные документы. Вот оно как, а не иначе, от нечистых рук вдали, а рай будет обязательно.

— Обойти его, что ли, он еще зол на нас, поди,— тихо спросил техник.

— Не сказал бы. Наоборот. Когда выходили мальчишку, он, по-моему, даже гордился немного. Он теперь с прыгунами спорит. Привлекают предания...

Хачатур обернулся на голос и вдруг, оставив своего спутника, махнув ему рукой, поднялся на крыльцо двухэтажного каменного дома и поманил за собой друзей.

— Ни слова! — сказал Сурхаян технику и поздоровался с Хачатуром.

— Видали? — спросил, мигая и качаясь, Хачатур.

— Только слышал,— быстро ответил техник. Сурхаян хотел толкнуть его, но было поздно. Профессор открыл дверь, и они вошли. Конечно, музей не был полон в такой теплый осенний день. Народ предпочитал толпиться на улицах, а не наклоняться над витринами и рассматривать чучела, от которых пахло ядами и специями. Посреди залы стоял желтый ящик, солидный и крепкий, не лишенный изящества. На крышке его техник увидал прекрасный рисунок римской колесницы. Профессор Хачатур умел мастерски рисовать. Потом Хачатур, исказив лицо и сделав морщины каменными, поднял крышку...

Техник и Сурхаян, открыв рот, смотрели на груду деревянных рыжих, белых и серых макарон, точно вся колесница была пропущена сквозь мясорубку, точно ее после этого топтали и били сто человек.

— Что с ней случилось? — спросил техник.

— Ее растрясли во вьюках,— в самое ухо ему ответил Сурхаян.— Ованес нигде не переменял вьюков. Ослы постарались. Там такие дороги...

Хачатур оставил крышку открытой и медленно пошел к выходу.

— Камуфляж! — сказал Терентьев и неожиданно для себя протянул руку к фуражке и обнажил голову, словно стоял перед свежей могилой.

1927

КЛЯТВА В ТУМАНЕ

> Так вот! Клянусь изредка бывающим у меня уважением к истине...
>
> *А. Лондр*

Рассказ первый

Ее прозвали Иоржи — зеленая, потому что первое слово, которое она произнесла, когда начала говорить, было «иоржи» — зеленая. Она же не могла не сказать этого слова первым в своей жизни. Однажды мать показала ей на висящий далеко в небе, сияющий раскаленной белизной треугольник, недосягаемо господствовавший над провалом, в котором лежало селение. Но маленькая дочь ее смотрела не на этот смущающий неправдоподобием призрак, а на ту тусклую нежную прозелень неба, что обтягивала искристые его ребра, и эта нежность, переходившая и на снег и его делавшая прозрачным и ласковым, конечно, называлась «иоржи», и девочка закричала: «Зеленая, зеленая!»

На всю жизнь она осталась Иоржи. И ей нравилось это прозвище.

Откуда-то сверху, из-под самого свода, падал робкий и тонкий, как тесьма, луч света в каменное жилище, где она родилась. На черной, задымленной цепи висел над очагом котел, из углов смотрели живые коровьи глаза и живые рога, со стен свешивались мертвые рога горных козлов. С восьми лет Иоржи была просватана за Кацию из соседней долины; и Кация знал с десяти лет, что Иоржи со временем достанется ему, и никому другому. Он знал еще, что если он откажется от нее, то его убьют из-за уг-

ла, потому что такое оскорбление смывается только кровью.

Так как вещей в окружающем мире было очень немного и они должны были во что бы то ни стало заполнить все пространство жизни, то они волей-неволей дробились, становились невесомыми и меняли очертания и жили как вымысел, иначе жизнь была бы чересчур бедной и суровой.

Цепь, связанная с очертаниями огромного котла, и огонь, пылавший под ними и охватывавший их, не были осознаны раз и навсегда. Огонь мог быть зимним и мог быть летним, веселым, ночным, праздничным или мог стлаться по земле, как бы ворча и притворяясь псом с короткой шерстью; котел был как всадник, пробиравшийся в бурных порывах дыма через огненную пустыню к сидящим и ожидающим ужина хозяевам, а цепь временами была той лестницей, по которой можно, если захочешь, влезть на небо, в соседство с той зеленой нежностью, что лежала на склонах Тетнульда,— так называлась слезившая взор пирамида, висевшая над селением.

На мысу, над бурными арканами воды, ловившей стада прыгающих камней, стояла низкая церковка с красными всадниками, нарисованными на стене неизвестно когда, держащими копья для удара, но она не имела никакой власти над Иоржи. Церковка была всегда заперта и была такая маленькая, что в ней могли собираться полевые мыши, но не рослые люди горного селения. Поп же давно снял волосы и рясу и косил и пахал вместе со всеми на полях, дыбом стоявших по горе. Демоны не имели власти над Иоржи. Они жили или на льду Тетнульда, или в лесах ниже его, но ни там, ни там Иоржи не бывала и поэтому никогда не видала демонов.

Около их дома, как полагается, стояла старая башня, ослепшая и глухая. Шаги в ней звучали, как воспоминание. Она была некрасива, как столетняя старуха, но вызывала удивление, как столетняя старуха, стоящая без костылей и смотрящая, не жмурясь, на солнце. Иоржи знала все ее переходы и этажи. Когда она была маленькой, она лезла храбро по бревну с зарубками, заменяющему лестницу, из этажа в этаж, до самого верхнего этажа, где лежали только кости,— кости убитых на охоте и съеденных животных. Эти кости нельзя было выбрасывать, потому что тогда исчезли бы горные козлы и медведи и не было бы никакой охоты. Она всегда испытыва-

ла один и тот же трепет: ей казалось, что сейчас все эти кости оденутся мясом и огромное стадо, ринувшись на нее, собьет ее с ног, ворвется вниз и обязательно опрокинет котел и раздавит собаку, спящую у входа во двор. Она бежала из этой последней комнаты, не хлопая дверьми, потому что никаких дверей в башне не было.

Смуглое самодовольство, утвердившееся с годами на ее лице, не привлекало к ней никого. Предпочтение, отдаваемое другим девушкам, она не относила к числу обязательных в жизни неудач. Она сама не знала, какая она,— красивы ли у нее плечи или нет, какие у нее ноги и руки; она не думала об этом ни тогда, когда собирала камни, очищая поля от валунов и каменных осыпей, ни тогда, когда, разгорячившись у очага, с красными щеками, выбегала во двор колоть дрова тяжелым колуном.

Ни церковь, ни демоны не влияли на нее. Оставались люди. Люди жили размеренной и сложной жизнью земледельцев-горцев, удрученных мелкими заботами первобытного хозяйства. И Иоржи не любила их. Она только никак не могла понять, почему вся земля такая однообразная и невещественная. Там, где она бывала в соседних селениях, все жили одинаково, все имели одни и те же очаги, и такие же цепи висели с потолка, и такие же котлы ехали сквозь огонь и дым, торопясь навстречу людям, такие же кости съеденных животных лежали в верхних этажах башен. И над всем стояла в небе белая пирамида Тетнульда, увенчивая непроходимую стену снегов.

Иоржи не была злобной или глуповатой. Она была обыкновенной. Когда умерла ее мать, она вместе с сестрами и родственницами из других селений сделала густой фасольный суп на всю округу, испекла груды лепешек и потом прошла сквозь толпу разодетых женщин с опухшими глазами и взглянула на тусклые лбы завывающих плакальщиц с тем удивлением и отчуждением, с каким смотрит стыдливый человек на предлагаемое неестественно и вычурно для обозрения настоящее простое горе.

Она посмотрела на мужчин,— некоторые плакали,— и ей стало стыдно, что, увлекшись мрачными и живописными голосами плакальщиц, войдя в их почти праздничную торжественность, она не могла сама плакать, и только дыхания ей временами не хватало и дрожали руки.

Потом пришел поп без длинных волос и с ключом от запертой церкви. Его уговорили сказать что-нибудь божественное, так как покойница была старухой. Поп прочи-

тал что-то недлинное и свое, чего никто не понял, и гроб унесли на кладбище, а всем роздали черные платки на память.

Приехал Кация. Он был молод, и револьвер оттягивал его узкий кутаисский пояс, и он выпил у входа в селение два деревенных стаканчика араки, перецеловался со всеми мужчинами и женщинами, но он не поцеловал Иоржи. Он протянул ей руку, и она только вложила свою руку в его, не согнув ладони, потому что Кация ей не нравился ни за что на свете.

Все сидели и пели, пили араку, съели гору лепешек, убили барана, собаки бегали по двору, волоча багровую требуху. Кация курил папиросы и говорил о предстоящей зиме. И все соглашались, что зима будет суровая и снегу будет, наверное, поверх крыши.

Иоржи стало так грустно и плохо, что она ушла на крышу, а сделать это было очень легко, потому что из комнаты, где пили, дверь была прямо на крышу, и оттуда была видна гора Лагильда, отделявшая Иоржи от долины, в которой жил Кация, и был виден Тетнульд, но на нем жили демоны на льду так же скучно, как овцы живут на лугах летом. Иоржи заплакала, потому что из ее страны никуда не было выхода, а мир состоял из котла на цепи и коровьих глаз, смотрящих из темноты на яркий огонь с тупым сладострастием скотской сытости. Иоржи не захотела возвращаться вниз к пьющим и ушла спать на сеновал.

Летом она очень волновалась и переживала разные воображаемые события, но к зиме она стала спокойней и сильней. Когда с сестрой они перебирали картофель, чтобы спрятать его на зиму, она споткнулась о бревно, и сестра поддержала ее, задев ее грудь. Задев ее грудь, сестра засмеялась и стала с ней возиться. Они забыли про картофель, пока отец не крикнул, чтобы они не портили погоду, потому что и так ждут долгую и суровую зиму.

Она солила мясо, искала в горах между камней шелковую траву — запас для зимы, чтобы набивать ею бандули и лапти. Когда выпал первый снег, она выбежала во двор и вымылась им; зима скоро надоела ей, потому что зимой жуткая бедность мира представлялась ей еще беззащитней, чем летом, и люди жили, ничем не отличаясь от животных, только ели больше, чем животные, и пили араку, которой животные не выносили.

Она пила араку и, пьяная, лежала на кровати, раскинувшись; и, когда ее начали душить кошмары, она вышла на двор и увидела все ту же висящую в воздухе, исходящую серыми молниями пирамиду Тетнульда, как бы шатающуюся слегка; она погрозила ей пальцем, и в следующую минуту ей стало страшно, потому что от горы отделилось черное облачко и побежало по небу; она испугалась, что это облачко, может быть, работы демонов и причинит ей зло. В ту ночь ей снился Кация с накинутой на голое тело буркой, и она ненавидела его всем сердцем.

Через несколько дней была «ночь мертвых» — канун крещения. Все хозяйки мыли жилища, чистили и приводили в порядок вещи. Дым стеной стоял над очагом и ел глаза. Аракой были налиты большие бутылки и деревянные плошки, низенький столик накрыт скатертью.

Иоржи не чувствовала страха перед мертвыми, и, когда их зарывали в землю, они уходили из воспоминаний и не возвращались. Она говорила о них, но только иногда и всегда без сожаления. Что изменилось у них в судьбе? Они на том свете так же зимуют, как и здесь, и только они живут зимою на Тетнульде, где еще холоднее, и, может быть, пьют меньше араки, а потом они приходят в гости каждый год, и их угощают, как никого.

Столик был уставлен и вареным мясом, и хачапури, и простыми лепешками, сыром, курами; и сияние свеч мешалось в легком дыму приглушенного огня. Отец, пробормотав молитву, просил дорогих усопших не обидеть его дом и на этот раз и посетить оставленное ими хозяйство.

И когда он сказал: «Дорогие мои, вечная память! Не будем ссориться, дайте нам то, что вы имели в жизни, не забывайте нас, будем помнить одно добро. Милости прошу, входите, дорогие наши!» — за дверью послышался шорох, дверь стукнула, крещенская ночь вошла в комнату, ветер рванул вниз пламя свеч, и дым упал ничком,— в комнату вошел Гиго, их дальний родственник, белый, как покойник.

Отец затрясся, думая по простоте души, что это оборотень, но Гиго, сделав поклон, перецеловавшись со всеми, сел в угол и рассказал, как он с приятелем два дня не может пройти в Халде по делу и вынужден был свернуть даже ночью — такие заносы и морозы на горах.

Он тер аракой руки и ноги, пил ее так много, что хотел танцевать, но его уложили спать, чтобы не обидеть

покойников, которые к этому времени наполнили жилище. Они должны были, не видимые никому, жить в доме до ближайшего понедельника и уйти обратно, сытые и довольные оказанным им приемом.

Гиго прожил в доме еще три дня. Он пил, ел, спал, рассказывал о Джвари, где он бывал; и это был совсем другой мир, совсем другие вещи, чем здесь, в горах. Он видел много, и он был не чета Кации.

Он вынул тонкую книжку и читал из нее разные удивительные вещи, но налицо был только котел на цепи, и коровьи глаза, и арака, которой было в изобилии. Иоржи взяла книжку, и так как она немного читала, то по складам прочла две строчки, но ничего не поняла, потому что там говорилось об электричестве, паровозах, а она никогда не слыхала про такие вещи.

Когда она, запинаясь, прочла вслух две строчки, все стали смеяться, а Гиго посмотрел на нее, усмехнулся, схватил ее, приподнял от пола и поцеловал. Она вдруг смутилась, ударила его кулаком по плечу и ушла колоть дрова на двор. Мороз был очень сильный, и она колола долго, чтобы согреться.

Гиго, уезжая, поцеловал ее еще раз, уже не при всех, и она, сама не зная почему, облизала губы. После его отъезда зима стала еще суровей и темней. К весне скотине не хватило корма. Одна из коров заболела: она сначала шаталась и икала, потом упала на передние ноги и рыла солому рогами; ее пришлось зарезать, и все очень жалели, что она не дотянула до весны. Иоржи выходила из селения по глубокому снегу и смотрела на дорогу, но Гиго не было.

Иоржи не любила начала весны, потому что это было время мертвых. Они плыли в мутных потоках,— потоки несли трупы тех, кто зимой погиб в заносах и обвалах. Теперь снега растаяли и возвращали свои жертвы вниз, в те долины, из которых поднялись в горы несчастные. Селения обменивались теми, что пошли в гости зимой, загостились у соседей в сугробах, заболели и умерли или погибли на пути и до весны лежали в гостях, а теперь их нужно было положить в землю родной деревни; и вот носилки с покойниками качались по всем тропинкам, и унылая торжественность плакальщиц клубилась в легком и зеленовато-голубом воздухе.

Вечером, отбившись от стада, вниз к потоку убежал баран, и за ним с горстью муки побежала Иоржи. Она

подманивала барана на муку. Баран пил воду с камня и, увидев ее, начал играть с ней, бегая с камня на камень. Тут же стояли мельницы, и вода гулкими потоками проходила под маленькими бревенчатыми домиками.

Иоржи поймала барана и вела его за рога, большие, изогнутые, и когда она проходила у самой мельницы, кто-то оттолкнул барана и, схватив ее за плечи, втащил в мельницу, в гул и холод маленького домика. Сердце ее прыгнуло к горлу, и она ударила бы и свалила с ног любого, потому что она была сильная и темное самодовольство ее характера не позволяло грубо шутить с ней кому вздумается,— но здесь вся сила ее была ни при чем, потому что она сразу узнала в полумраке мельницы Гиго. Он говорил ей в самое ухо:

— Когда у мингрельца шалаш горит, то и мингрелец немного согревается.

Она вдруг поцеловала его руку и охватила руками колючую шею под страшный грохот бешеного весеннего ручья, мчавшегося через мельницу. Он бросил свою бурку на холодный пол, они упали, превратились в такой гулкий ручей, что Иоржи показалось — мельница падает им на головы. Но мельница не упала, и, когда она подняла голову и сняла с себя руки Гиго, не выпуская их из своих горячих, потных пальцев, она засмеялась и сказала:

— Бедный Кация! Бедный Кация!

— Не говори мне о нем,— мрачно сказал Гиго, вскочив и поднимая бурку. И она засмеялась вторично, потому что в дверь мельницы смотрел баран смеющимися глазами и блеял, как человек, желающий подразнить другого.

Праздник в Мужале переливается всеми красками платьев, поясов, юбок, туфель, кофточек, и даже старые однообразные женщины с пчелиными талиями и козьими глазами, усталыми и грустными, не портят его; они пьют тихо, как покойники.

Громогласно ревут быки, замедляя свой последний шаг. Глухо стучат обухи по их черепам, шипя, вонзаются ножи, и льется душная струя крови на разноцветную траву,— ничто не может испортить праздника.

Сванские шапки и папахи, газыри, бурки балкарские, бурки имеретинские, домашние пиджаки и куртки из кооператива, бандули, сапоги, туфли, чабуры, револьверы в

кобурах — простых, и вышитых, и выложенных серебром, кинжалы всех оттенков...

Чего-чего только нет на столах! И то, чего не хватало у самих, заняли у соседей и принесли с собой гости и вытащили из ларей, из печей, а главное — всюду стоит арака. Это радость и бедствие. Вино, созданное нищетой, разбавленное горем,— кислая пьяная радость праздничного свана, отдающая аптекой. И все чаще ходят маленькие рога, круглые чашки, кружки, убогие деревянные стаканы с аракой, и уже начались пляски. Хороводы женские, хороводы мужские и хороводы смешанные ударяют по земле веселой ногой, и каждый сегодня может показать себя во всем великолепии однообразного своего веселья, от которого завтра еще не опомнятся участники пиршества.

Возвращаясь по домам, еще по дороге будут они останавливаться, пританцовывать, пить, обниматься и возглашать тосты и по-грузински чествовать тамаду — председателя пира, забыв, что они уже не на празднике в селении, а среди голых скал, в дикой лесной чаще, на узкой тропинке, где, подпрыгивая, кренятся сани, влекомые быками, смущенно заглядывающими в пропасть загадочными лиловыми своими глазами.

Пляски затягивают, как петли; люди бьются в этой паутипе всеобщего веселья, не жалея ног и глоток; и дым из множества трубок и дым от цхундаров смешивается в одно ликующее облако, в котором кружится песня, коронующая танцоров на веселье топающих ног и летящих глаз, с восхищением провожающих ястребиное кокетство и козлиную выносливость танца.

Иоржи не сводит глаз с Гиго. Но тот нарочно, по уговору, не танцует с ней. Кация может появиться здесь, и выдадут они себя с головой, если они будут танцевать при всех, и он догадается сразу о том, что если здесь они танцуют так, то как же они танцуют, когда сами себе назначают праздник.

Хорошо веселятся в Мужале!

Иоржи смотрит, ударяя — пьяная — рука об руку. В заколдованном хоре живут Гиго и девушка из Жабежа, его двоюродная сестра. Они не знают устали, и искусство их безмерно и равно их неутомимости.

Танцоры, шатаясь и подскакивая, чтобы скрыть усталость, садятся на траву, на бревна, им подносят араку. И тогда к Гиго подходит человек, как все — праздничный

и избитый танцем до потери сознания, и одним выстрелом прохватывает насмерть голову Гиго и исчезает среди дикого плеска криков и вихря еще не оконченной пляски. Лицо мертвого Гиго еще задорней живого, и только струйка крови портит его,— она идет по щеке, как тогда, когда его укусила Иоржи, и губы его, наверное, еще пахнут аракой, и самое страшное — что его нельзя поцеловать. Что его никогда больше нельзя будет поцеловать.

...Значительно позже приходит имя. Это имя звучит так: Семен Гарселиани. Это имя убийцы, ушедшего в горы.

Кто знает запутанные нити кровной мести и подходы ее, таинственные, как чума? Когда отец удовлетворенно встает и говорит вместо защиты сына: «Конечно, это убил мой сын, и никто другой» (и он говорит с гордостью); когда партийный председатель Совета укладывает наповал своего односельчанина и пробивает его еще раз пулей, уже мертвого; когда ночная пуля разбивает лампу судьи накануне суда над кровником — как предупреждение, что осуждение кровника самого судью схватит петлей кровничества; или когда сам убийца приходит и громко говорит, что убил именно он, чтобы не подумали, что убитый просто жертва случайности.

Проходит лето, мрачное, как зима, и наступает зима, мрачная, как это лето.

Иоржи плохо переносит мачуб — зимнее помещение, где скулят овцы, где коровьи бока шатаются от худобы и кости стучат о кости, когда коровы чешутся ночью. Иоржи ежедневно отсеивает крупномолотую муку и печет в золе на шиферной плите лепешки пополам с особой травой, потому что не все есть ее скоту: иногда и человеку нужна трава, когда муки мало. Болтушка из трав шипит в котле. И следующая зима будет, как эта. Откуда ждать перемен, раз в страну нет дорог, а из страны нет выхода?

Скулят опаршивевшие овцы, и коровы кашляют, высовывая худые понурые морды в дым цхундара, и люди сидят, курят маленькие трубки с длинными вишневыми мундштуками,— маленькие, потому что у них очень мало табаку, и мучная болтушка, густо посоленная, ворочается на дне черного котла, фыркающего, как опоенная лошадь. Огонь взвивается и падает, потому что на него с потолка сыплется снег. Надо выйти из дому, но сугробы выше дома, и зачем ходить куда-нибудь, когда все, что можно, запасено и надо только еще подкормить борова и закрыть

соломой покрепче картофель, спасающий от голода: все свободное время прясть, чинить, штопать, мыть посуду, колоть дрова, ходить за скотом и ни о чем не думать.

Приезжает к весне, как первый гость, сообщить, что дороги снова свободны, Кация. У него новый костюм и пояс, оттянутый вороненой тяжестью револьвера. Кация сильно вырос, возмужал. Кация хочет поцеловать Иоржи как жених. Она отступает от него, пока не попадает ногой в болтушку для коров, и он начинает смеяться и хлопать себя по бедрам,— недалекий Кация... Иоржи убегает, заболевшая странным страхом — боязнью мужчин, она сидит среди женщин или одна в темном углу и старательно избегает того места у цхундара, где на длинных низеньких скамейках курят маленькие трубки огромные мужчины зимнего дома.

Иоржи поздно поняла простую правду плакальщиц. Искусство прощания — одно из древнейших искусств на земле, и овладеть им, конечно, не под силу молоденькой девушке. Мраморные щеки плакальщиц, серебряные глаза их и глухое горло, издающее дикие, но размеренные вопли,— все было чуждо ей и не являлось утешением. Но правда их искусного отчаяния заключалась в том, что они сами так много теряли в жизни, что отчаяние выработалось у них в гармонию, своеобразную и страшно простую.

Иоржи ходила с черным платком на голове и смотрела в землю, и только по ночам она кусала себе руки и пугала сестру внезапными порывами печальной нежности.

В селении был дом, куда раньше почти никогда не ходила Иоржи и где она пропадала теперь каждую свободную минуту. В этом новом доме без башни жили два молодых комсомольца и две комсомолки — их жены,— Мария и Тамара.

Когда к ним приходила Иоржи, они разговаривали с ней, они усаживали ее в комнате, украшенной разноцветной бумагой и картинками, в которых Иоржи скоро научилась разбираться.

Она уже знала, что это вещи из того мира, что лежит за горами и называется «Москва». Все, что было нарисовано у них на стене, все, что было рассказано Марией и Тамарой, уложилось в ее голове под одним именем — Москва.

Машина на четырех колесах, мчащая куда-то толпу

с раскрашенными флагами, окруженная домами, громадной высоты, освещенными невидимыми цхундарами, была Москва. И другая машина с трубой, из которой шел дым, но не по земле, а расстилался по небу, и она везла много домиков на колесах,— и эта машина была Москва. Ястреб с громадными крыльями, полными людей, и много дорог, и много людей, и многое множество незнакомых вещей называлось Москвой.

Однажды, задержавшись в доме у Марии и Тамары, она увидела молодого загорелого человека, устало сушившего у цхундара мокрые свои одежды. Он осматривал всех прищуренными глазами через очки и на все вопросы отвечал охотно и много. Он говорил, что он послан правительством искать золото в Сванетии. Сваны, толкая друг друга локтями, таинственно перешептывались, а когда он ушел спать, обыскали его мешок, но не нашли никакого золота. Так вот — этого молодого человека, когда спрашивали, откуда он, то он отвечал одно слово: «Москва». И когда Иоржи сравнила его с людьми на картинках, на нее сошел старый детский трепет, преследовавший ее в верхнем этаже башни, когда ей казалось, что все мертвые кости оживают; так и сейчас ей показалось, что все люди, нарисованные на картинках, сойдут со своих мест, станут большими, похожими на сидевшего у цхундара человека. Ей стало страшно, и она убежала.

Похудевшая, забывавшая умываться, забывавшая есть и пить, сидела иногда часами Иоржи в комсомольском доме перед картинками, и каждая картинка была больше ее маленькой жизни, а у самого потолка висела перегоревшая лампочка, и ее любопытно трогала Иоржи, веря теперь окончательно, что вещи, нарисованные на картинках, существуют в действительности, но до них нужно добраться.

Про Кацию рассказывали, что он уехал в Кутаис и не скоро будет в их краях, что он хочет жениться на другой и не хочет брать за себя Иоржи и боится ее мести; но она слушала и мрачно улыбалась, потому что ей было все равно. Затем умер ребенок у соседки, и она сама попросилась оплакать его. И когда она встала в комнате, где стоял звон от глухих и мерных воев, издаваемых седыми женщинами, и откинула черный платок, все приятно удивились той тени настоящей печали, которая лежала на ее лице. И в тот день она победила лучших плакальщиц, потому что она оплакивала свою собственную жизнь, не жа-

лея слов и воплей, гораздо более свежих и мрачных, по контрасту с молодыми чертами ее лица, чем все искусство плакальщиц, громкое и холодное. После этой жестокой церемонии, когда ее вынесли на руках на воздух и она очнулась на траве перед домом, поддерживаемая благодарными родственниками покойного, она вздохнула, как после болезни.

Потом она собирала свои вещи, пересматривала их и чинила. Она отобрала две пары бандуль, свои праздничные туфли — те, в которых она плясала на празднике в Мужале,— она сидела и усердно зашивала рваные платья, скромные, как поля ее родины. Она достала толстые чулки и много шелковистой травы для бандуль, потом она вырезала хорошую палку и наточила нож, с которым не расставалась в последнее время.

Ночью она проснулась от странных всхлипываний. Сестра сидела над ней в темноте и, услышав, что она проснулась, нагнулась к ней и спросила ее, обжигая лоб жарким дыханием:

— Иоржи, Иоржи, что ты задумала?

Иоржи села, обняла сестру, и они молча плакали, потом Иоржи, вытирая руками слезы, шепотом рассказала ей все о Гиго и о его смерти, но ничего не сказала о Москве и заклинала ее страшным проклятьем никому не говорить ничего и не беспокоиться о ней.

В щель крыши смотрела луна, дряхлая совсем, белая, как будто ее слепили демоны на Тетнульде из прошлогоднего снега и пустили ее катиться по ребру страшной пирамиды, и она прокатилась по ребру и пошла по воздуху дальше и дальше и теперь проходила над селением.

Иоржи сидела в темноте на постели полуголая, царапала грудь и щипала руки, закусив губы, чтобы не закричать, затем она встала, прошла к потухшему цхундару, отыскала в горячем пепле уголек, раздула его и прижала к руке. Она держала уголек, пока он не насытился болью, и тогда она бросила его обратно в пепел, полная самых смутных чувств, повторяя про себя: «Гиго, Гиго!»

Она вернулась на постель. Сестра приняла ее в свои объятия, и тишина нарушалась только хлопаньем крыльев проснувшихся внезапно кур.

Через три дня, перед рассветом, Иоржи ушла из селения, и никто не видел, по какой дороге и куда ушла она.

Борис Никитич Швецов, высунув голову за край черного уступа, опасливо огляделся.

Несколько в стороне от себя увидел он башню. Башня была прозрачная, бледно-голубые стены ее дрожали, взмыленная вода каскадами бросалась на ее подножие, подтачивая его непрерывно. Голубое великолепие трещало по всем направлениям. Вода уже хлестала широкой струей из трещины сбоку, смертельно разъедая узкую ледяную перемычку. Две небольшие льдины покатились и, пролязгав по отвесу, упали в поток. Голубая башня лопнула с оглушительным гулом.

Борис Никитич в испуге втянул голову во впадину уступа. Глыбы летели впереди него, грохоча, разбиваясь, выбрасывая облака мелкой ледяной пыли; эхо швыряло глухие свои раскаты в мертвое аспидное небо. В нем, как бы гудя, громоздились стены, окованные сизым льдом, исполненные непревосходимой энергии пики, очерченные точнейшим резцом вершины, видные в мельчайших подробностях. Ледяные кулуары, сжатые черными и желто-красными скатами, отпугивали глаз синевато-мертвенной своей неприступностью, черные трубы каменных каминов уходили в недосягаемые изгибы горы, и под ними, за хаосом аспидного цвета, бессмертной неразберихой морены, как будто вырубленные исполинской саблей, лежали бледно-зеленые и бирюзовые поперечные трещины. Каждый кусок этого могучего и неповторимого пейзажа отрицал человека, отметал его за ненадобностью. Слабость и сила человека равно бледнели перед грохотом этой сброшенной и обращенной в гремящие куски ледяной башни, многотрубно гремевшей о своей гибели.

Борис Никитич выглянул снова. Там, где недавно красовалась алмазная прозрачность, многоэтажно задуманная и укрепленная волей случая, теперь зияла темно-синяя пасть широкой пропасти. И только в одном месте через нее остался висеть мостик, прихотливо изогнутый и нерадостно легкий. За мостиком вздымалась ледяная стена, очень крутая, бугристая и темная, как бутылочное грязное стекло. Борис Никитич заколебался.

— Идите, идите,— сказал Франк Иванович твердо.— Там будем рубить ступени кверху, к площадке. Идите, идите. Ну, скорей!

Борис Никитич все еще не мог оторвать глаз от остат-

ков башни, захлебывавшихся в мутной битве потока. На предложение Мольца он слабо помахал рукой, нахлобучил балкарскую свою шляпу поглубже, поправил дымчатые очки и стоял, опершись на низкий ледоруб, как бы в раздумье.

— Нет уж, вы идите. Нет уж, вам тут и путь,— ответил наконец он.— Вы это придумали — и извольте идти вперед. А уж мы с Семеном за вами. Правда, Семен? Правильно так будет, Семен?

Семен Гарселиани, бесцветно усмехнувшись, вытер потное лицо рукавом, сказал по-свански что-то длинное и непонятное и по-русски добавил:

— Я тут не ходил. Иваныч ведет. Я тут хода не знаю. Тут человек не идет.

Франк Иванович легко перешел мостик, ощупывая его ледорубом, и начал вырубать в твердом грязном льду редкие и маленькие ступени, быстро приходившие в негодность от воды, катившейся ручейком сверху.

Борис Никитич, скрывая под желтизной очков тяжелый блеск утомленных глаз, поднимался медленно, задыхаясь, широко разевая рот, на ледяную крутизну.

Гарселиани, изнывая под тяжестью ноши, плотно стоял на туроподобных ногах, готовясь поддержать Бориса Никитича в непрочном его равновесии. Едва передвигая ноги, они карабкались, упираясь коленями и локтями в лед, пока не открыли скалистый склон, гладкие, наклонные и скользкие камни которого никак нельзя было назвать утешением.

Камни эти — узкие и отвесные — висели над причудливо изорванной трещиной, и один неправильный шаг грозил последствиями самыми ужасными. Не глядя вниз, Борис Никитич, прижавшись плечом к выемке, долго переводил дыхание; потом, сопя и кряхтя, неуклюже, как медведь, осыпанный снегом с ног до головы, он лез по обрыву, и далекий плеск сорвавшихся из-под ног камешков, бесконечно ударявшихся на лету о зеленые бока ледяного зева, наводил его на грустные размышления.

Когда они, обойдя ледопад, вышли на ровные ледяные поля, пошел снег. Пушистые хлопья его сначала падали не торопясь, равнодушно, равномерно, потом их подхватил пронзительный ветер, и метелица, густая и тяжелая, разыгралась не на шутку. Утопая в снегу по пояс, они брели, движимые самосохранением и злостью. Скоро снежные хлопья перешли в крупный сухой град, но уже

белым панцирем лежал снег на груди и на спине, залепляя глаза; руки заледенели и не держали ледорубов; усталость клонила головы; шея болела от тяжести мешков; очки приходилось поминутно протирать, и сквозь их мутную слюду все казалось еще мрачнее, чем на самом деле.

Снежные облака, разрываемые железными взмахами ветра, наконец остались позади. Снова начался великий барьер морены — шатающиеся, неровные, узколобые, широкоплечие глыбы, неукрепленные, похожие на гигантские увеличенные предметы из окаменевшей детской игры «гусек». Потом был молчаливый отдых на площадке, сухой, но холодной и такой узкой, что ноги почти свешивались в пропасть.

Гарселиани меланхолично вынул запасный ком шелковистой травы для своих бандулей. Трава в бандулях быстро перетирается, и нужно ее часто менять. Он снял бандулю, размял ее, потом положил в нее свежей травы и начал натягивать сначала на пальцы, точно тонкую перчатку, держа пятку до отказа отогнутой, потом набил в бандулю еще травы, натянул пятку и крепко завязал мокрым ремнем. Ту же операцию он проделал не спеша и со второй бандулей, потом он вынул, так же молча, кусок сыра и съел его, без удивления оглядываясь по сторонам. Борис Никитич, прислонившись к мокрому камню, лежал, не замечая в возбуждении мокроты его, и старался как можно глубже дышать, и только Франк Иванович Мольц, расширив огромные голубые глаза, полные тихого восторга и уверенности, с удовольствием ел сырые сухари и бросал крошки в пасть леднику, не обращая внимания на мрачное состояние своих спутников.

От зари до зари шли они, и от зари до зари вокруг них клубились льды, скалы, туманы, которыми нужно было во что бы то ни стало любоваться, чтобы оправдать мученичество двухдневного опасного пути.

— Пошли! — сказал Франк Иванович.

Они поднялись по отвесным уступам, обошли новый ледопад. Швецову было все равно. Он шел, подняв очки на лоб, почти не опираясь на ледоруб, пренебрегая опасностью. Темное утомление, раскачивавшее его существо, сменилось тупой покорностью, и он только не мог забыть той чудной голубой башни, которая лопнула на его глазах так внезапно и так шумно.

Он шел, как телевокс, и, только налетев на спину

Франка Ивановича, на его двадцатикилограммовый мешок, остановился.

Они стояли на высоком карнизе, и под ними, где-то внизу, в разорванных тучах, мелькало что-то зеленоватое, серое, неясное, как земля с парохода в промежутке между двумя волнами.

Борис Никитич посмотрел и ничего не понял. Он спросил чугунным голосом:

— Куда ж теперь?

— Дайте сообразить.

Франк Иванович спокойно посмотрел на часы, на компас. Сзади них вверху гулял гром и сыпался град, ветер гнал серые и черные завесы, ударяя ими о холодные ребра вершин, изображая зиму, и только там, внизу, в разорванные облака,— как вдруг догадался Швецов — смотрел самый настоящий теплый летний благоухающий день.

— Сюда! — сказал Франк Иванович и с неумолимостью конвоира повлек за собой изнемогшего Швецова к новому ряду препятствий. На этот раз это была осыпь. Нога входила в черный, мокрый, холодный каменный мусор сначала по щиколотку, потом почти по колено, когда тонула, скользила, подвертывалась; потом человек, цепляясь ледорубом, кое-как перескакивал дальше и снова тонул, спотыкался, сползал, и казалось, что осыпь никогда не кончится.

За осыпью опять стояли гладкие скалы с таким карнизом, что сначала умещались на нем две ноги свободно, потом уже не так свободно, потом умещались не целиком, потом нужно было обнимать круглый, висевший над пропастью камень и, обняв его, переносить ноги на другую его сторону.

Швецов, задыхаясь и не имея мужества отказаться от столь любопытного и рискованного перехода, быстро перебросил одну ногу и повис на руках. Вторую ногу он перетягивал медленно, с ясным ужасом, ощущая, как сползают его руки, вцепившиеся до судорог в ледяные желобы камня. И когда его руки пошли вниз с самой страшной поспешностью, ноги уже стояли по ту сторону камня, и это уже было хорошо.

Он подул на посиневшие пальцы и пошел дальше по карнизу; так идет человек, измученный многолетними болезнями, не чувствуя тела, и только какая-то геометрическая стойкость костяка напоминает еще о том, что он не совсем призрак.

И вдруг пошел спуск — быстрый, скачущий спуск,— можно было улыбаться и перескакивать через три камня сразу. Облака внизу расходились, и все ближе открывался благоухающий теплый летний день, и в этом дне стояли зелено-бурые леса, и далеко, где-то в другом мире, виднелись башни — не голубые, прозрачные, ненадежные, а черные, каменные, без трещин, без гула, башни какой-то удивительной страны.

— Жабеж,— сказал Гарселиани, садясь на камень.— Сейчас Сванетия. Дай тютюн покурить, Борис.

И они остановились покурить. Франк Иванович смотрел с удовлетворением на тонкие зерна снега, набившие складки его шаровар, на ледяные сосульки, свисавшие с отворотов его альпийских чулков, потом поднял глаза на испепеленное лицо Швецова.

— Скажите,— голосом тихим и хриплым спросил Швецов,— сознайтесь, что вы вели нас по такому пути, по какому можно было и не идти?

Немец отрывисто засмеялся и ответил, подумав:

— Разве вы не испытываете в ногах дрожь победы?

— Дрожь-то я испытываю. Это действительно вы верно сказали. Дрожь испытываю,— сказал смущенный Швецов.— А уж какая она, эта дрожь, потом увидим.

Немец пожал плечами.

— Эта страна,— он показал вниз,— с трудным входом. Больше ничего. А наш путь — обыкновеннейший путь альпиниста, я бы сказал — даже легкий.

— За хороший скот, хозяин! За хороший урожай, хозяйка!

Семен Гарселиани пьет. И он знает, как пить с почетом в компании, с уважением, после такого перехода; он показывает сванам на сидящих поодаль Мольца и Швецова.

— Он ведет. Я веду. Никакой дороги нет; такой дорогой — другой раз давай деньги, не иду больше. Налей,— говорит он русскому, почтительно слушающему его.

Этот человек с подобострастием прислуживает сванам. Он в рваных штанах, синее тело глядит сквозь дыру штанов; у него нет белья, у рубашки один рукав закатан, один оборван. Он всем видом выражает последнюю степень унижения и пресмыкания: бегает за дровами на двор, точит поспешно нож о точильный камень, наливает

араку, разносит почтительно стаканчики, подает лепешки. Сваны пьют, не приглашая его садиться. Они не замечают его. Смотря дымными глазами в огонь, в котором качается котел с широкими зелеными бобами, они пьют, заедая араку сыром и лепешками.

Он, махая оторванным рукавом, вытирая им губы после проглоченного стаканчика араки, косится на Швецова и Мольца, сидящих отдельно. Сван хлопает его по плечу, что-то говорит ему шутливо и предлагает араку. Он наклоняется и целует свана в плечо и в руку.

— Вы видели? Какой позор! Европеец — не господин, а слуга,— говорит Мольц, растягивая слова.— Такой позор! Вы понимаете, в чем дело?

— Бросьте! — говорит Швецов.— Это просто какой-то бродяга.

Человек поймал их настороженные взгляды; он, незаметно отодвинувшись от компании, подходит, придерживая оборванный рукав. Он говорит, кося один глаз на сванов:

— Товарищи, простите, великодушно простите. Я,— он оглядывается на сванов,— не могу иначе здесь. Убьют. Вот те крест! Видели, ручку поцеловать пришлось. Нельзя иначе, поверьте,— убьют. Такой народ, убьют ни за что.

Немец поднимает глаза к потолку, будто разглядывает там паутину на балках. Швецов досадно морщится.

— Нам-то какое дело? Как вы попали в Сванетию? Что вы тут делаете?

— Я нутром заболел,— говорит он.— Я рабочий, не сомневайтесь. Вон — рукава болтаются. Я из Баку ушел. Сезонником был. Там легкие у меня схватило от ветров бакинских. Доктора говорят — легким и легкий воздух нужен, иди в горы. Я в горы и ударился, сюда еле-еле добрался, а уж жрать — извините. Воздух легкий, а уж жрать — извините. И они, эти сванеты самые, араку еще дают туда-сюда, а уж жрать — извините...

Он икнул и смутился.

— Честное слово, не подумайте худого, я извиняюсь, что такое увидели. Неудобно, сам сознаю, но они народ дикий, убьют, если что. Ну, я пойду, простите.

Он отошел к сванам и начал, мешая уголья, раскладывать заново дрова на очаге.

— Это просто бродяга,— сказал облегченно Швецов.— Вы говорите европеец, это мне ничего не говорит. А вот

что не рабочий он — так это сразу видно. Это раскулаченный какой-нибудь скрывается. Рабочий устроен у нас: заболел — на курорт отправят. А это так, люмпен-пролетариат.

— Его надо убить,— сказал немец просто, намазывая масло на хлеб.— Его надо убить, чтобы он не портил такой прекрасной страны, как Сванетия.

— Я что-то вас не понимаю.

— Сванетия,— сказал немец,— это горы. О, не для России я совершил сюда такой большой путь из Германии. Я хорошо знаю «матушку-Русь». Я три года в ней сидел, как на цепи собака; я был пленным и так хорошо учил русский язык и русский народ, что стал даже немного знатоком того и другого.

Он засмеялся и, кончив мазать масло, щелкнул перочинным ножом.

— Да, да, я пришел именно в Сванетию, именно сюда, именно в горы. Я живу тем комком фосфорного белка, который есть у меня здесь.— Он показал на лоб.— И когда я стою на вершине горы, я стою над всем человеком. Понятно вам? И в том комке фосфорного белка, что у меня здесь,— он вторично коснулся лба,— понимаете, все, что я хочу. Я хочу, чтобы такую прекрасную страну, как Сванетия, не трогала никакая культура. Пусть она живет, как райская долина для немногих. Я нарочно вел вас такой дорогой, где ваши ноги, ваше сердце, ваша душа радовались работе; и когда мы с вами будем идти на вершины, вы скажете, как я: пусть будет так всегда здесь. Не надо железных дорог, не надо гостиниц, не надо цивилизации; пусть там, внизу, остается все: пролетарий, буржуй, военный, фабрикант, революционер, но не здесь, наверху. Скажите, кому принадлежат вершины? Можете вы сказать?

— Смотря какие,— отвечал Швецов, внимательно слушая немца.— Сванетские принадлежат СССР.

— Вершины принадлежат тому, кто их завоевал, кто взошел на них собственными ногами, кто приветствовал солнце с единственного независимого места.

— Какой-то у вас альпинизм подозрительный.

— Это высшее очищение человечества. Сейчас, когда люди испытали сплошные годы убийства, войн, революций, их бросает к первоисточникам. Одни жаждут моря, воды — просто воды; другие идут в лес — им нужны прос-

то деревья; третьи ищут гор. Это и есть искание первоисточника.

— М-да,— сказал Швецов.— А вот мне, признаться, советскому человеку, прямо фантастично слушать такие вещи. По-нашему, по-моему то есть, альпинизм — это дорога ученых и дорога ученым. За альпинистом идет геолог, скажем, топограф, метеоролог, кооператор и так далее. К тому же это воспитание молодежи, хорошая закалка, скажу я вам.

— Хо! — воскликнул немец.— Я вас поймал. По-вашему, мы идем с вами на вершины, за нами идет геолог, за ним топограф, за топографом инженер, за инженером идет дорога. Так?

— Так,— сказал, пожимая плечами, Борис Никитич.— Ничего не вижу здесь странного в этой ситуации. Тем более...

— Тем более что Сванетия бездорожна. Так идет дорога, и за дорогой — все остальное. Эти горцы, эти сваны, которыми мы сейчас любуемся, свободные охотники, простые земледельцы, через год-два будут чистильщиками сапог и лакеями в гостиницах. Они будут пить водку и коньяк вместо араки, и всюду в горах будут лежать жирные английские, американские туристы, которые с удовольствием покинут Швейцарию ради этих гор, которые прекраснее Альп и Гималаев, и будут бродить повсюду эти ваши,— как это говорит Максим Горький? — да, да, ваши мещане. Как же вы, альпинист сами, можете этого хотеть? Разве вы, идя смело на вершину...

Борис Никитич слабо, но протестующе помахал рукой.

— Идя к вершине, разве вы глядите в глубину?

— Остерегался смотреть,— сказал тихо Швецов.— У меня голова кружится иногда.

Немец, не слушая его, продолжал:

— Вы работаете ледорубом в забвении, вы боретесь с горой, как с живым врагом, как в бою, и вокруг — стены, лед, снег, вода, буря. Гора бросает в вас камнями. Она швыряет лавины, но вы, сохраняя гордое одиночество, свободный от всех покушений всевозможной морали, вы достигаете вершины. Польза ученых? Какая польза от того, что на Тетнульде лежат миллионы тонн снега и он имеет четыре тысячи восемсот метров высоты? Но на вершине ничего нельзя купить, а в долине покупается все...

— Ну, тут и в долине ни черта не купишь,— сказал Швецов, явно превратно поняв смысл последней фразы.

Сваны начали есть бобы. Швецов снова прервал немца:

— Извините, но мы хотели купить курицу. У нас нет никакого ужина, и мы еще не обедали. Сейчас как раз котел свободен. Я поговорю со сванами. Семен, эй, Семен! Поди-ка сюда.

Гарселиани подошел, веселый и румяный, с расстегнутым воротом, со «сванкой» — серой маленькой шляпой, закинутой на резинке за спину.

— Хочешь курицу, Борис, да? Каттеле хочешь? — сказал он со всем добродушием, на какое был способен.— Сейчас, подожди.— Он вышел из комнаты и, через минуту вернувшись, сказал: — Можно брать курицу. Не курица, петух только; и хозяйка говорит: «Только сами пусть режут, я не буду».

Оборванный бродяга, закрывая ладонью новую дыру на колене, подошел тоже.

— Прикажете петушка зарезать? — сказал он.— Они куриц-то не продают, берегутся. Я вмиг, вмиг зарежу. Разрешите топориком воспользоваться? Я и общиплю его, и общиплю вмиг. Не сомневайтесь. Которого петуха?

Немец молчал. Борис Никитич кивнул головой в знак согласия. Оборванец, взяв топорик, направился в угол пиршественной залы и поднял петуха с зелено-рыжими перьями под неистовый вопль откуда-то взявшегося маленького мальчишки, схватившегося за петушиный хвост,— петух был его любимцем.

— Ах ты, воробей! — закричал бродяга, махая топориком и петухом.— Уйди с дороги, уйди сейчас!

Мальчишка наступал на него с кулачками. Сваны захохотали. Жирные бобы висели на их усах и лежали на коленях. Новая кадушка с аракой стояла перед ними. Мальчишка раздирал уши рыданиями. Швецов наклонился с табурета, запустил руку в свой походный мешок и достал горсть сухого компота. Мальчишка недоверчиво взял черносливину в рот, облизал ее, вынул, посмотрел на нее удивленно, облизал снова, снова вынул и замер в диком восторге. Он лишился языка. Он только сладко охал и сосал, боясь проглотить неведомое и никогда ему не попадавшееся лакомство. Оборванец унес петуха.

— Ну вот,— сказал немец,— спросим самих сванов. Семен, ты хочешь паровоз?

— Что такое паровоз? — недоверчиво спросил Гарселиани.— Ты хочешь паровоз? Зачем паровоз? Я пешком хожу.

— Вот и нашему разговору конец.— Мольц ударил себя по колену.— Зачем ему паровоз? Правда ведь — незачем?

— Ему незачем, потому что он не знает, что такое паровоз. А подождите, трех лет не пройдет, как он узнает, и очень ему паровоз понравится.

— Это ужасно! — сказал Мольц.— Не буду спорить. Ну, я не мелкий человек. Мы с вами не будем говорить, как глухонемые. Я скажу вам одну легенду; она мне очень понравилась, и в ней есть наше примирение. Слушайте! Я уже раз был на Кавказе, в Осетии. Там, в горах, мне показали развалины старинной крепости, которая называлась «Клятва в тумане». Я спросил, что это за название. Мне объяснили, что в этой крепости однажды, давно, очень давно, собрались для одного важного дела осетины, втайне от всех, и дали клятву, что об их деле никто не будет знать. И, когда они клялись в этом самом главном, поднялся туман, густой туман, и отделил их, как занавеской, от земли, так что никто не мог помешать их клятве, потому и назвали крепость «Клятва в тумане». На этом мы с вами и помиримся. Каждый из нас когда-нибудь в жизни дает такую клятву, не известную никому, не правда ли? Я дал свою клятву, которую вы не знаете, вы дали в своей крепости свою клятву, но эта клятва живет с вами, отделенная от других высотой и туманом. Так выпьем немного коньяку за нашу общую и разную «клятву в тумане»...

Он налил в походные стаканчики коньяку, и они чокнулись.

— При таком расположении фактов выпить можно,— сказал Швецов.— Вы ведь смущаете меня не духом этим вашим заграничным. Дух я, как человек советский, чувствую и от него застрахован, а вот техника у вас, это да...

Мольц довольно засмеялся и потрепал маленькую острую бородку.

— От техники, как от женщины, никуда не уйти,— ответил он медленно.

— Как вы сказали? От техники, как от женщины, никуда не уйти? Знатно сказано! — пробормотал Швецов.

— Послушайте, вы советский человек, а ходите один по горам. Это ж не коллективно, это же одиночное блуждание, Alleingänger — совершенное одиночество.

— Я никак не один, никак не один,— запротестовал Борис Никитич. Он даже взмахнул рукой на Мольца, как

будто отказывался от знакомства с ним.— Я с товарищами шел из Нальчика. Большая группа, десять человек. Вот из них будут в самый раз альпинисты, но у них темпы к моим годам не под стать. Я их и покинул скоро и ушел, но с ними совместно кое-что исполнил, а не так просто ушел. Я в одиночестве не нуждаюсь, извините.

— Вы нуждаетесь в технике,— сказал жестко немец.— Как вы ставите ногу? Я заметил, как вы ставите на льду ногу. Как это можно! И вы шли без кошек. Почему вы их не надевали? Что это за русская неряшливость. Вы же не кровный горец, чтобы идти, как Семен, в бандулях. Почему вы не надевали кошек?

— Черт побери! Сказать стыдно.

— Говорите, говорите.

— Сомневался в них, потому и не надевал. Черт их знает! — смущенно заговорил Швецов.— Сомневался. У меня ледоруб начал давеча гнуться: дерьмо такое делают. Ну, я и в кошках усомнился. Думаю, надену — да как ухну со всех катушек!

— Покажите ваши кошки.

Борис Никитич открепил от рюкзака кошки и отдал Мольцу.

Мольц рассматривал их со всех сторон. Швецов продолжал:

— Вы интересуетесь ими, а я на вас смотрю: сказали вы здорово — «от техники, как от женщины...». «Ну, а возьми вас? Ваши сапоги эти красные, поди, воды не пропускают?

— Нет, не пропускают.

— Вот видите. А мне чуть резиновые подошвы не всучили. У вас чулок, посмотреть, что на выставку. Загибчик с рисуночком, с узором. А у меня запросто — лыжные, самые семейные.

Тут приблизился бакинский бродяга с ощипанным и вычищенным петухом.

— Как вашей милости разрешение будет — варить или жарить птицу? Я и так и так умею. Нужда научит. Не сомневайтесь, как прикажете.

— Вари! — крикнул Швецов.— И не мешай нам, провались!

— Я никак не беспокою, никак. Вот поспеет уха из петушка, вот уж побеспокою тогда. А до тех пор только вот сольцы у вас попрошу, потревожу. Соли-то у меня нет.

— Поди спроси у Семена, Семен даст... Да, так вот, те-

перь возьмем брюки ваши: плисовые они, темно-коричневого цвета, английский бридж. Куртка...

— Она называется Windjacke...

— Ну, это все равно, как она называется. Она из очень крепкого, но легкого брезента. Воротник наглухо застегивается, а у меня этого ни черта нет. По недостатку в этом альпийском деле у меня и куртка и штаны сооружены домашним порядком. Ледоруб мой — мерзость, а у вас это какой системы?

— Это «Академикер», полтора кило веса весь.

— Знатный ледоруб! Спальный мешок ваш на гагачьем пуху, а у меня — вата из двух одеял. Тяжесть — что трехдюймовку на плечах несешь. Но это пустяки, Франк Иванович, это пустяки. Мы еще молоды в этом деле. Мы еще и не такого гагачьего пуха добьемся. Я вам политически не завидую с вашим гагачьим пухом.

Мольц вернул ему кошки.

— Кошки выдержат.

— А где мы ночевать-спать будем сегодня?

— Олиси! — закричал Семен Гарселиани, услыхав слова о ночлеге.

Маленький сван, серый, как белка, тихий и быстрый, явился на этот зов.

— Олиси,— сказал Семен,— товарищи будут спать на воздухе. Дай им постели туда.

Олиси взял из угла две тонкие постели, но Мольц остановил его.

— Нам не надо постелей, Семен. Это буржуазный предрассудок,— засмеялся он.— Мы спим в наших спальных мешках. Я бы и дома спал на полу в мешке, для тренировки, если бы мне позволила семья.

— Вы, кажется, говорили, что вы инженер? — спросил Швецов.

— Да, я инженер, но мой завод все равно сейчас временно стоит. Ну, жена получила немного наследства, и я поехал отдыхать. А вы?

— Я работаю в рабоче-крестьянской инспекции. Нахожусь в законном отпуску.

— Это же безразлично,— сказал немец,— горы всех равняют. Я видел в Швейцарии министра и сапожника, и горца и профессора, они спали на одной соломе в одной хижине и ели один гороховый суп.

Бродяга извлек дымящегося петуха из котла. Швецов и Мольц вынули ножи и ложки.

— Уж прикажите мне остаточки, после араки бульончиком опохмелиться. Страсть хорошо! — сказал бродяга, делая жалостное лицо.

— Его надо отравить,— прошептал Мольц.— Европеец, унижающийся так среди дикарей, достоин только уничтожения.

Борис Никитич не ответил. Кости сванского ветерана затрещали на зубах альпинистов.

— Мир еще вернется к одиночному человеку,— сказал немец и вдруг в упор посмотрел на Швецова.— Борис Никитич, мы завтра выходим в пять часов утра.

— Как, куда? — спросил с набитым ртом Швецов.— Опять выходим?

— Как мы уговорились, время дорого.

— Франк Иванович, я не иду. Я не иду, Франк Иванович! Я не должен идти.

Мольц качнул головой, как будто он хотел забодать Швецова. Глаза его гневно вспыхнули.

— В таком случае вы трус. Но я не могу допустить, что вы трус. Я воспитаю в вас человека вершин. Вам не хватает техники. Вы ее получите только таким путем.

Борис Никитич помрачнел, но ничего не сказал.

Жабеж! Когда на Ингуре будут царить автомобильные гудки, черный холод туннеля пройдет под окаменевшими страстями великого хребта и теплое зарево гидростанций пленит изумрудное ночное небо Местии, ты тоже изменишься, маленький Жабеж; но сейчас сторожевая одинокая башня у входа на Твиберскую тропинку и малахитовая волна курчавого потока неотделимы от твоего спокойного и простого лица. И уходя к благоухающим полям Сгималука и к медовому роднику под широким камнем на тонкой лужайке Угыра и поднявшись по исполинским ступеням Цаннера,— отовсюду я вижу тебя, маленький Жабеж, стоящий на темной зелени луга, где синие генцианы, белые и голубые колокольчики, и чудовищные ромашки похожи на твои синие и желтые дни и ночи, чудовищный маленький Жабеж!

В это утро Семен Гарселиани наотрез отказался вести Швецова и Мольца к подножию Тетнульда.

— Но почему? — спрашивал Швецов.— Мы тебе заплатим хорошо. Ты недоволен чем-нибудь?

Гарселиани, теребя край сванки, подмигивал и подманивал к себе Швецова вплотную, и, когда тот приблизил свои распаренные, обожженные, с висящими в стороны кусками восковой кожи щеки к черному спокойствию гарселиановского носа, Семен сказал:

— Такое дело одно есть у меня... Такое одно дело. Не могу идти в Адиши, никак не могу.

— Ну хорошо, ты дойдешь только до Адиши и сложишь вещи. Ты дальше не пойдешь. Там же сейчас убирают хлеб, никого дома, одни женщины.

— Нет, не пойду. Видишь, в Адиши и женщины стрелять умеют.

Швецов понял, что Семен боится за свою шкуру, и боится неспроста. Он переговорил с Мольцем. Немец, оставив упаковку вещей, очень просто вышел из затруднения.

— Есть беспроводниковый туризм,— сказал он.— Это даже модно на Западе. Мы понесем вещи сами, и деньги у нас будут лежать в кармане. Дорога очень ясна, заблудится на ней только мальчик.

Гарселиани снова отозвал Швецова.

— Ну что, ты согласен?

— Борис,— сван показал украдкой на Мольца.— Я не согласен. Я уже сказал тебе, я своих слов не кушаю. Борис, не ходи с ним. Он как пьяный ходит. Без разбора ходит. Помнишь, как мы сюда шли?

— Ну, ты это зря,— примирительно начал Швецов.— Ты мало людей видел, Семен.

Гарселиани ударил с силой себя в грудь.

— Я мало людей видал?! Американцев видал. Англичан видал. Вот я в Балкарию ходил, в самом Пятигорском был, сено косил, убирал. Мало людей видал! Как Иваныч, таких мало видал, правда твоя. Он больной от высоты, понимаешь? Беда с ним идти. Ну, зачем он тебе? Иди один. Я тебе хороший человек дам.

— Ну, ну,— сказал Швецов,— ничего со мной не будет.

Тогда Гарселиани пожал ему руку и ушел. Они взвалили на себя рюкзаки, спальные мешки, взяли ледорубы и тронулись по верхней тропе. Нет ничего превосходней этой верхней тропы, идущей через Сгималук на Адиши. Высоко над головой, прибитые к синим просторам, висят крылья ястребов; лиловые снега Лайлы холодными пальцами стараются достать зеленые потоки лесов, стремительно убегающих вниз к Ингуру. Нога идет по травам, переполненным непонятными цветами, и, конечно, у этих цве-

тов есть названия, но не хочется знать их: так великолепны они, и стройны, и простодушны. Над ними же стоит белая пирамида Тетнульда, неповторимая в могуществе белизны.

Мольц вонзил ледоруб в землю, остановился и показал на Тетнульд. Легкое облако курилось около его вершины.

— Как прекрасна смерть альпиниста! — сказал он голосом проповедника.— Звери умирают темно, в грязной норе. Больной умирает в постели, согретой жаром болезни. Но альпинисты, как и моряки, умирают в море — в ледяном море вершин. Так умер Донкин с товарищами на Коштан-Тау, так умерли Фишер на Алечгорне и Винклер на Вейсгорне, так умер Сигмонди на Менж и Меллори и Ирвин на Эвересте; и волны ледяного моря сомкнулись над ними. Никакой вздох не потревожит их праха, и никакая слеза не оскорбит могильного камня, потому что его нет. Разве вы не хотели бы погибнуть такой славной смертью.

Эта прекрасная речь произвела на испуганного Бориса Никитича очень тягостное впечатление. Он вспомнил слова Гарселиани и с опаской посматривал теперь на задумчивое лицо своего спутника. Он взглянул на Тетнульд и, увидев облако, как траурной мантией закрывшее вершину горы, почувствовал, что ему необходимо ответить.

— Так вот я говорю, что есть коммунисты, которые борются и безвозвратно погибают в какой-нибудь далекой стране; их смерть так же прекрасна, по-моему, как смерть вашего Сиг... Зиг... Как вы сказали?

— Сигмонди...

— Вот именно.

Немец ничего не ответил. Он вырвал ледоруб из земли и пошел дальше, сгибаясь под тяжестью мешка.

Швецов не отставал от него. Некоторое время шли молча. Внизу показался Адиши — его крыши, переложенные камнями, и башни, относившие его к сирийским замкам времен крестовых походов, замкам разбойничьим и очень прозаическим.

Они шли и мирно беседовали о системе сельского хозяйства, о совхозах и колхозах, о сортах пшеницы, о разведении винограда в горах, и вдруг немец спросил:

— А вы заметили, как в этой стране мало женщин?

— У меня в путеводителе сказано: это оттого, что они убивали долгие годы маленьких девочек — засыпали им рот горячей золой или просто не давали есть...

— И что же, больше не засыпают? — спросил насме-

шливо Мольц.— Ну, так если придет культура в эту страну, девочки вырастут и научатся делать аборт.

В эту минуту он проходил через ручей, прыгая по камням, но на иных камнях приходилось задумываться, куда прыгать дальше. И у Мольца от вида кружащейся воды закружилась голова.

Перейдя ручей, он вынужден был снять мешок и сидел, опустив голову, смутный и красный, недоумевая:

— Я глядел в пропасти без всякого волнения и вдруг не мог посмотреть на эту мыльную пену. У меня закружилась голова. Странно! Давайте есть. Может быть, желудок соскучился по горячему.

Они давно прошли Адиши, не заходя в него, так как они очень торопились.

Теперь они сели у ручья.

Немец достал первым долгом из мешка походную масленку — алюминиевую коробку с завинчивающейся крышкой, в которую плотно входил стеклянный стакан, низкий и широкий; сверху, чтобы он не ерзал, его придерживал резиновый кружок. Немец опустил масленку в воду, чтобы остудить растопившееся за дорогу масло; затем он достал сухой спирт и развинтил свинченные вместе две алюминиевые кастрюльки. Швецов достал спички, но все спички отсырели и не горели. Тогда просто, как он все делал, Мольц вынул коробку спичек, на которую Швецов уставился с непонятной веселостью: маленькая коробка была залита растопленным парафином, завернута в вощаную бумажку, и швы ее были проклеены резиновым клеем.

— Ох, вы и осторожны и предусмотрительны, товарищ дорогой! — сказал он с детским восхищением.

— Я просто опытный человек,— отвечал Мольц.— А сейчас я буду немного успокаивать себя. Я буду купаться в этой холодной ванне.

Он разжег огонь, поставил воду на сухой спирт, разделся и начал бросать на себя пригоршнями мохнатые хлопья пены горного потока. Швецов сидел в стороне совершенно изморенный, и плечи его ныли от дороги, от тяжести, и он не мог смотреть без зависти на механические движения Мольца, мывшего себя, как будто он мыл железную куклу, а не свои загорелые и широкие плечи.

Стеклянный блеск льдов, утесы, выточенные из полированной стали, мутные лунные цирки, усеянные голубыми клыками, меловая тишина и полное безлюдье высокой

альпийской ночи были причиной бессонницы Бориса Никитича. Он лежал, скорчившись, в своем неуклюжем спальном мешке с вещевым мешком под головой, надев на себя все теплые вещи, какие были при нем.

Впрочем, Мольц тоже не спал. Он, облокотясь о стенку пещеры, смотрел глазами фанатика на вереницы блестящих иголок, бегавших в сизом тумане ледниковых пропастей, на темно-синие дымные завесы, восходившие на скалы у него на глазах, на небо, изображавшее в августе декабрьскую ночь, морозную и нестерпимо глубокую.

— Вы не спите? — наконец спросил он, и голос его свернулся какой-то ледяной трубочкой.

— Нет, я не сплю,— отвечал Борис Никитич.— Такой ночью спать не хочется. Скажите-ка еще раз, как это мы пойдем завтра.

— Мы пойдем на вершину Тетнульда по маршруту, каким никто не ходил. Я два года назад уже делал разведку.

— А такого маршрута, быть может, и вовсе нет.

— Такого маршрута нет,— отвечал тихо немец.— Мы взойдем вот на тот снежник и оттуда на скалы под самым карнизом по ледяной стене и потом, держась гребня, перевалим через вершину.

Оба замолчали. Темный, далекий гул лавины прошел где-то сбоку.

— Человек изобрел могучую музыку, архитектуру, скульптуру. Согласитесь, что ни Бруклинский мост, ни Вагнер, ни Сикстинская капелла не дадут такого напряжения и такой колоссальной простоты,— почти молитвенно произнес Мольц.

— Я не видал ничего этого. Я вам верю,— также тихо сказал Швецов,— хотя думаю,— мне так кажется,— что Днепрострой тоже не хуже... Как вы все это соединяете? Я вот так не умею. У меня все отдельно. И музыка отдельно, ну и прочее,— все отдельно.

Ледники и скалы точно пробовали страшные свои мускулы, вытягивались и вздымали синие жилы под луной, потом дрожь неистовства оставляла их, и они лежали, дымясь, как будто в головах у них потухали факелы.

— Культура,— сказал Мольц,— это призрак, сон, галлюцинации. Вот это, что вокруг, это — Вечность. Вы рады, что я вас привел сюда?

Борис Никитич беспокойно заворочался.

— «Клятва в тумане» здесь не фраза, вы правы. И странно как-то: тут людей не хочется видеть и небо не-

живое, но соблазн какой-то есть. Только согласиться с тем, что это явление безобразных форм, удручающих в общем и целом форм, упадочное явление, храинт радость для человека, я не могу, тут надо пожить, привыкнуть, что ли...

— Подождите,— Мольц поднял руку,— послушайте ночь!

Несколько минут они молчали. Хрустальная, сквозная, холодная, бесследная тишина окружала их. Невесомые громады были беззвучны. Полярной безысходностью веяло в лицо. Грозное одиночество простертых и забытых в пространстве камней было непонятно, будто какой-то исполин распоряжался здесь, обуреваемый гигантскими замыслами, набросился на эти камни и начал извлекать из них самую совершенную и самую неистовую форму, и бросил, истощив свои силы, и не привел плана в исполнение,— и потому одни уступы поражали точностью фигур и поворотов, а другие уступы носили вид дикий, как материал, приготовленный для работы и неиспользованный.

Борис Никитич задремал. В сонном его сознании так ясно видна была его семья, поджидавшая его в Пятигорске, сидевшая сейчас в теплой комнате за чайным столом, так неуютно было лежать в холодной, угрюмой тишине полюсной ночи.

Зачем ему, человеку пожилому и уважаемому, оставив семью и культурный отдых со всеми развлечениями, прилагаемыми к оному, зачем ему нужно было заняться этим почти страшным делом, бывшим едва ли под силу его годам и его возможностям?

И если Мольц бесспорно наслаждался суровой этой непритязательностью, то он, Швецов, лежал при нем наподобие полярной собаки, переносящей холод и лишения ледяного путешествия, но никакого удовольствия не испытывающей.

Он с испуганной жадностью смотрел и не мог насмотреться на кривые карнизы Тетнульда, загнутые по концам ледяными бараньими рогами. И вдруг он решительно толкнул Мольца и уставился на него такими голубыми лунными глазами, так резко очерченный луной, что Мольц увидел его черный силуэт, как бы висящий в голубом стекле, дрожащий и точно посыпанный синей пудрой.

— Что с вами? — спросил он, сразу проснувшись.— Вы больны?

— Я должен был вам сказать давно... Как это называется, сказать одну вещь,— бормотал Швецов.— Я, види-

те ли, как это сказать... Вы это поймете... Я не боюсь, я нисколько не боюсь, но вы поймите только правильно...

— Вам страшно? — просто спросил немец.

— Нет, я вам скажу вот что,— торопясь говорил Швецов.— У вас создалось впечатление, что я бывалый старый альпинист, а я — нет, я ведь первый раз в жизни в горах, первый раз за всю жизнь. У меня было умственное стремление, и я приобрел всю эту сбрую,— он хлопнул по спальному мешку,— сдружился с молодыми и пошел; и поначалу ничего шло, но я умирал каждый день от страха и от усталости, а вот такую гору... я вот смотрю на нее, глаз не спускаю,— вот такую гору... я уж не знаю, как... Как я на нее заберусь?

Немец взял руку Швецова и пощупал пульс.

— Сердце здоровое, ноги здоровые?

— Ничего,— поспешно сказал Швецов,— но срамиться я не хочу.

— Спите! Я разбужу вас перед рассветом. Мы должны победить какой угодно ценой.

Кошки, снятые во время карабкания по скалам, были надеты снова. Еще на скалах Швецов вынул карту, и ветер сейчас же вырвал ее из его рук, и она полетела, ударяясь о камни, и снег поглотил ее.

Теперь везде светился зеленоватый лед, гладкий, как полированная доска. Глухо звенел вверху ледоруб Мольца, и куски зеленого льда то проносились мимо со зловещим шипеньем, то ударяли Бориса Никитича по голове и по ужасному мешку, который он тащил на себе.

Задыхаясь, фыркая, стоял он, зажмурив глаза, и под ним тускнела туманная глубина пропасти. Над собой видел он ноги Мольца, тяжелые красные сапоги, исцарапанные ледяными осколками и камнями, и сапоги эти, сопровождаемые железным визгом и скрежетом, восходили все выше.

Мольц работал, как каменотес, и лед действительно был подобен камню. Вся тевтонская мужественность Мольца уходила в широкий размах и короткий удар, и лед откалывался не сразу ровно, а отлетал пластинами, неровными и острыми.

Борис Никитич знал всем существом, что, продлись эта пытка еще несколько часов,— и он умрет от разрыва сердца. Он вздыхал, он начал отставать, ноги дрожали, кошки начинали скользить по льду. Его ледоруб не входил в лед, он только оставлял на льду узкие порезы.

И вдруг сразу пахнуло сыростью, и серое облако окута-

ло их. Мокрый от пота, стекавшего ручьем, стоял Швецов и наконец закричал. Туман заглушил его крик. Ледяные осколки перестали падать. По-видимому, Мольц остановился и прислушался. Облако разорвалось, понизу шла еще большая стена тумана. С бледными щеками, трясущимися губами, Швецов застрял. Он не мог ни за какие блага двинуться дальше. Он стоял, почти не владея собой и не чувствуя ничего, кроме стыдного, узкого, страшного голоса, шептавшего ему из синего тумана: «Ни шагу дальше, ни шагу дальше. Смерть».

— Где же вы? — донесся до него сверху туманный голос Мольца.

Он закричал в ответ, и через несколько минут туман донес еще глуше крик Мольца:

— Unmöglich, да?

Но это был голос чужой и не принадлежащий человеку. Швецов не ответил. Тогда где-то наверху разразился целый ураган. Обломки льда полетели вниз, свистя, рокоча, шумя, и один осколок ударил в лоб Швецову и разрезал кожу до крови. Швецов сполз на ступеньку ниже. Он погибал. Ничто не могло остановить бегства, и, однако, бежать было так жутко, как будто опоры не существовало, ему приходилось шагать прямо в туман, как в загробный мир. Тут он начал бормотать ужасные слова, за которые он цеплялся, как за ледяные ступени. Потом он испытал припадок бессильной злобы. Он кричал и харкал, окутанный туманом, он исходил всеми стонами, какие полагаются человеку, стоящему на дрожащих ногах над неизмеримой глубиной, он был как канатный плясун, чувствующий, что ноги сейчас оставят натянутый канат.

Затем он раздвоился. Кто-то чрезвычайно властный сжимал ему кости и передвигал почти окоченевшие ноги со ступеньки на ступеньку, все ниже и ниже. Второй человек, внутри Бориса Никитича, мог только стонать и плакать. Да, Швецов плакал, и слезы стыли, мешаясь с потом, и совершенно непонятно — по какому закону он еще держался, а не летел, широко раскрыв рот, помахивая ледорубом. Он держал ледоруб в руках и спускался, темный, как лед, гулко отсвечивающий вокруг. Временами туман расходился и обнажал всю безысходность его положения.

— Никогда... никогда... я... никогда, никогда я...— барабанили его побелевшие губы, и он остановился снова, потому что нога не могла найти ступеньки дальше. Ступенька исчезла, точно ее никогда не было.

— Стоять, стоять,— сказал он себе, но он не мог даже переменить позу и вслепую искал шипами углубления в зеленом ледяном щите. Наконец он нащупал ступеньку, и лед хрустнул, когда шипы вонзились. Так спускался он неизвестно сколько времени, когда сверху, в белой мгле тумана, прошумело что-то недалеко от него, как легкая лавина или чересчур большой кусок льда. Он прислушался. В полной тишине тумана сердце билось уже не так сильно. Он спускался спокойно, вспоминая все советы, когда-либо полученные им ранее. И вдруг его ноги попали в снег. Тогда он сел и сидел, помня только одно: что лед кончился и ему осталось одолеть свежий склон, чтобы его отступление имело какой-либо смысл.

Туман не хотел рассеиваться, начался колкий дождь; он встал и встряхнулся. Мокрый снег был на рукавах, набился за пояс, за ворот, в карманы. Кругом из тумана над снегом начали торчать черные камни. Несколько больших темных предметов летели по воздуху слева от Швецова, прямо на него — и вдруг удалились, снова возникли и снова повторили странный полет. Когда они приближались, Борис Никитич наклонял голову. Он прошел по снегу двадцать шагов и нашел на снегу летавшие предметы. Это были камни. Они сейчас спокойно торчали из-под снега и не думали выходить больше из этого спокойного состояния. Тут он поскользнулся, потому что кошка выскочила из-под ноги — то ли лопнула неправильно повязанная тесьма, то ли он плохо завязал ее и она развязалась, но он упал и помчался вниз по снежному склону, пересекая полосу тумана и теряя сознание.

Никогда после он не умел рассказать и не мог вспомнить, что именно спасло его от гибели. Когда он очнулся, он лежал на снегу, в снежной воронке. Ноги его упирались в камни, и над ним сияло голубое небо, и только сзади него, на той высоте, где началось его бедствие, стояла черная туча, и изредка удары грома отлетали оттуда, как удары каменного молота по ледяной наковальне.

Тут он увидел, что он один. Весь мучительный бред подъема и спуска предстал перед ним в таком обнаженном виде, что клятву, данную на вершине бедствия, на месте остановки, среди тумана и хаоса, он подтвердил не слышными никому и выразительными словами.

Что же стало с его безумным проводником? Спасло ли его необыкновенное искусство горовосходителя, или его безмолвное тело промчалось тогда в тумане мимо Бориса

Никитича с таким незаметным шумом? Ждать его в снежной яме было и глупо и опасно, потому что, пока он сидел, притулившись и раскаиваясь, он увидел две лавины, взлетевшие пыльной тяжестью перед уступами внизу, устлав свежим снегом место, и без того пересыпанное глыбами обвалов.

Он встал, ощущая неловкость в ногах и разбитость во всем теле. Оглядев себя, он обнаружил новый позор, не менее тяжкий, чем весь зловещий позор этого дня: он потерял кошку и ледоруб во время своего стремительного падения.

Поискав их поблизости и не обнаружив, он медленно пошел, ища дорогу к пещере, где они ночевали. Пещеру он отыскал, лег сразу и заснул. Проснувшись, достал из мешка теплое белье, переоделся, выпил коньяку, закусил рыбными консервами и вдруг закричал от радости. Так ведь он жив! Вот здорово — жив!

Тут он вышел из пещеры и устремил взгляд на вершину. На вершине носилась буря. Туман спустился уже и на тот снег, с которого турманом летел Швецов, и даже достиг той воронки, что остановила гибельный полет Бориса Никитича.

Швецов ахнул, и дрожь прошла по его телу. Он выпил весь коньяк и, сидя перед пещерой, не сомкнул глаз в эту ночь. Он ждал, что вот-вот из темноты выйдет знакомая высокая фигура с острой бородкой и скажет что-нибудь такое фигуральное,— и никто не вышел.

Мольц не вернулся и утром. Буря бушевала всю ночь. Утром свежий выпавший снег лежал на всех черных уступах, злорадно сверкая.

Борис Никитич смотрел на девушку не без удовольствия,— хотя шел он, сгибаясь под тяжестью тяжеленного мешка, дав себе слово в первом селении нанять носильщика, но, встретив девушку-сванку, он не преминул остановиться и поговорить.

Его удивило, что девушка идет как раз в сторону тех гор, откуда он так счастливо бежал. Разочаровало его то обстоятельство, что девушка не знала ни слова по-русски.

Она подняла руку и сказала:

— Москва.

— А! Да, конечно, Москва,— ответил он, думая, что она его спрашивает о его постоянном местожительстве; но, по-видимому, девушка вкладывала иной смысл в это слово, потому что, проведя кривую линию от его истоптанных

сапог к высотам, где горели снеговые щиты, она повторила, как заклинание, несколько раз слово «Москва».

— Эге! — сказал Борис Никитич.— Да не собралась ли ты, матушка, в Москву?

Он представил ее себе на Тверской или на Кузнецком мосту в разгар московского делового дня, среди трамваев, автомобилей, пешеходов, в этом черном платке, теплой кофте, в бандулях и с палкой, окованной железом.

— Эге! — повторил он.— Так ты думаешь, за этим холодным дерьмом тут так сразу и Москва? Здорово!

— Москва,— твердо проговорила девушка, и слезы заблистали у нее на глазах от злости, что он не понимает ее.

Он вспомнил исчезнувшего немца, не желавшего пускать никакой культуры в эту страну ради спасения населения от соблазнов, и он провел такую же линию обратно — от снегов к ее бандулям, от них вверх по долине, к Жабежу.

— Вот так — Москва, а так,— он показал назад на хребет,— нет тебе никакой Москвы.

А так как она не понимала, он взял ее за плечи. Девушка, подозрительно следя за его руками, позволила ему это движение, и он, повернув ее спиной к Тетнульду, показал ей вверх по долине. Девушка пошла по указанному направлению.

— Стой! — закричал он, догоняя ее.— Стой!

Девушка остановилась на крик.

— Не надо Москва,— сказал он.— Не надо тебе Москва. Сиди себе спокойно. Москва сама придет к тебе.

Но она опять ничего не поняла, протянула ему руку и пошла скорым шагом.

В Лалхоре, куда Швецов пришел после обеда, молодой грузин, стороживший школу, тренькал на гитаре и пел одну и ту же строчку по-русски:

Стояла на дикой скале...
Стояла на дикой скале...

Он пристал к Борису Никитичу, чтобы тот написал ему все стихотворение. Сгоряча Швецов стал вспоминать, вспомнить не мог и, вспылив, сказал, что он голоден и хочет купить хотя бы лепешек...

Грузин ушел, тоже разобидевшись, и Швецов сидел один на камешке, пока не начал накрапывать дождь. Обла-

ка спустились очень низко, и погода испортилась на целый вечер.

Когда совсем стемнело, грузин пришел в сопровождении неопрятного старика с клоками седой пакли и с таким носом, точно его когда-то основательно прищемили дверью. Грузин сказал, что этот человек продаст ему нéсколько лепешек, если он пойдет за ним,— лепешки лежат в его селении, вон там на горе.

Швецову хотелось спать, но он все-таки пошел за стариком. Тропинка сразу повела их в гору и скоро, сузившись, примостилась на мглистом, скользком обрыве. Она потянулась невесть куда. Старик бодро шагал, бормоча себе под нос что-то подходящее, дождь начался снова, и мокрый Швецов шагал, уже раскаиваясь в своей опрометчивости.

Совсем стемнело, внизу ревела река, обрыв неизвестной глубины начинался под тропой, старик не отвечал на окрики Бориса Никитича и все шел и шел, согнувшись, непонятный и темный. Теперь они шли полями, мокрая трава была выше пояса и вымочила ноги.

— Это надо кончить! — сказал Швецов.

Но когда он подумал, что ушел уже далеко от Лалхора и зря, то ничего не оставалось, как следовать за стариком. За мокрыми полями пошли какие-то изгороди, они перелезали их бесконечное число раз, старик молча, Швецов, вслух ругаясь, накалываясь на острые сучья; потом какое-то строение, похожее на часовню, встало слева, и они зашагали по крутым уличкам. Вокруг были пустые мокрые стены, не светилось ни одного огонька, не встретилось ни одного человека.

Башня загородила дорогу, и старик, отыскав дверь, пропустил Швецова внутрь помещения. Помещение поразило Бориса Никитича вопиющей бедностью. На земляном полу стояла длинная скамья и кресло, деревянное, резное, с тяжелыми короткими ногами. Из темноты выходил ларь, и больше никаких вещей глаз Швецова обнаружить не мог. Жалкая светильня плавала в плошке, наполненной неизвестной маслянистой жидкостью. Мрак стоял во всех углах. Очаг был пуст и холоден. Связка сучьев валялась в стороне. От коптящей светильни шло не больше света, чем от гнилушки. Тьма около него сгустилась и приняла вид старухи. Шмыгая носом и крутя пальцами, старик что-то рассказал ей, и она подвинула Швецову кресло.

— А лепешки где? — спросил он.

Тут старик лег на пол и раздул очаг. Потом он подкинул дров. Огонь, повизгивая, начал пожирать сухие ветви. Ветер где-то под крышей замычал коровой. Старуха при свете внезапно воспрянувшего очага стала не спеша раскатывать тесто на доске. Тут понял Борис Никитич, что он дал ошибку,— лепешки существовали еще только в задуманном виде.

Он сел поглубже в кресло и стал смотреть на старуху, катавшую тесто; потом она приготовила несколько лепешек и, подув на шиферную доску, около огня положила лепешки. Глядя на этот как бы отгороженный кусок света, в котором двигалась старуха, наклоняясь и переворачивая то одной, то другой стороной тонкие лепешки, он с ужасом подумал, что она была когда-то молода.

Она плясала в хороводах и кружила голову этому инвалиду с пучками седых волос, воткнутыми в каменные трещины его щек. И всю свою долгую жизнь оба они провели возле этой коптилки и шиферной доски, в уединении старой башни, стоящей на горе за облаками!

Он вздрогнул. Казалось, в клубах дыма, долетевших до него, он видел всю нехитрую повесть этой страшной и простой жизни.

Она народила детей, их дочь где-нибудь также в башне этим августовским вечером дует на огонь; и ему надо было проехать тысячи километров и пройти еще сотни километров, чтобы сесть в это древнее кресло, пережившее много поколений, и увидеть таинство повседневной жизни людей заброшенной страны этой.

Что-то вроде жалости шевельнулось в его сердце.

— Ведь была же революция? — сказал он себе.— Неужели они так и останутся, как сейчас?

Старуха встала и протянула ему четыре лепешки. Он взял их из ее морщинистой и горбатой, как совок, руки и чуть не закричал от боли: он обжег руки,— лепешки были прямо из огня. Но старуха, удивленная, не поняв его крика, смотрела на него. Он вынул два рубля сорок копеек и отдал старику. Старик отошел к огню, и глаза старухи уставились на деньги. Швецов стоял и раздумывал, каким образом он понесет лепешки,— они жгли ему руки. Но тут старуха ринулась к нему и с криком, похожим на плач, начала вырывать у него из рук лепешки.

Чутьем понял Борис Никитич, что он дал мало. Он, не выпуская лепешек, держа их правой рукой, левой полез в карман, наловил немного серебряной мелочи и подал ста-

рухе. Она отпустила лепешки и ушла в глубь помещения, забыв о существовании гостя. Швецов рад был покинуть этот замок нищих, но когда он выбрался на пустую и совершенно темную уличку, он попал под сильнейший дождь и остановился в совершенном недоумении.

Стоило ему пройти десять шагов, чтобы убедиться в том, что он навсегда заблудился. И в эту минуту появились собаки. Они рычали и лаяли оглушительно и злобно, наскакивая на него, стараясь вырвать лепешки из его мокрых и горячих рук. От лепешек шел пар, дождь мочил их. Он спрятал лепешки за пазуху, и пар шел теперь под рубашку, грел его и выходил наружу где-то около уха. Собаки прыгали, оставаясь невидимыми, только пасти их белели клыками у самого носа Бориса Никитича. Он стоял в этом маленьком каменном аду, прижавшись к холодной стенке, и будущее его было темнее закоулков этого заколдованного и забытого местечка.

Собаки удвоили усилия, и нежелание быть растерзанным навело его на мысль бросить лепешки собакам и бежать в холодной темноте по скользкой тропинке над обрывом, под которым ревела река, но тут он нечаянно прижался к стенке посильнее, стенка подалась, и он чуть не упал на руки какого-то человека, поспешно отступившего в сторону. Стенка оказалась дверью, и он теперь стоял в комнате, на земляном полу которой пылал большой огонь, и на огромной цепи висел обычный котел, в коем — он узнал позже — варились кости барана и картофель. Дым ел глаза. Протирая их, Швецов сделал пируэт, чтобы удержать равновесие, и очутился нос к носу с человеком в прекрасном европейском костюме, невероятном для такого дымного и ночного места.

Человек в костюме приветствовал его легким кивком головы.

— Турист?

— Нет,— решительно сказал Борис Никитич и сел на скамейку, услужливо подставленную ему.

— Экспедиция? — спросил человек, несомненный сван, и, заметив слишком удивленный взгляд гостя, добавил:— Я свой человек.— Он показал на стены.— Мой родственный дом. Зачем вы в Сванетии? Хотя сколько ходит разный народ; посмотришь, иной — в чем дух держится — идет. И зачем идет,— сам не знает, зачем идет. Я понимаю, надо ходить, смотреть, дышать, учиться, но надо нам помогать. Разве так живут люди? Как темно, а?

— Отчего у вас столько воды и нет гидростанции? — сказал Швецов.

— Отчего у нас такие горы и нет дороги? — ответил сван.— А все ходят, ходят издалека смотреть, что мы так живем. Что мы — музей? Кладбище? Чучела? Мы живые люди, товарищ! Мы сильные, очень красивые люди.

Он поднялся и пошел к огню закурить.

— Иностранцы идут через нас,— сказал он, помолчав,— и все говорят: «Такой второй страны в мире нет». Я уложил одного спать на камне здесь, у цхундара, он сказал утром: «Второго такого ночлега в мире нет». Вы смотрите на мой костюм? Я делал его в Тифлисе. Я в Москве был, учился.

В дверь постучали. Вошел сван, отряхивая мокрую бурку.

— Виссарион,— сказал он человеку в европейском платье,— пойдем!

Виссарион заговорил с ним по-свански, потом пошел в угол, достал бурку и сванку, взял винтовку и сказал Швецову:

— Пейте араку, ешьте барана, я скоро вернусь.

— Вы на охоту, что ли?

Сваны засмеялись и ушли под дождь. Швецов не стал ни пить араки, ни есть бараньего супа. Ему дали постель, и он упал на нее, как человек, выброшенный во время кораблекрушения благодетельной волной, падает на камень; но предварительно он с жадностью горца съел все четыре лепешки, запив их чашкой холодного голубого мацони.

Он проснулся среди ночи.

Сваны пили араку и пели длинную, скачущую, как тяжело вооруженный человек, песню. Дирижировал сван в европейском платье. Увидев, что Швецов проснулся, он подошел к нему и, присев на край постели, сказал задушевным голосом:

— Какие бывают дела, дорогой! Одного кровника надо было доставлять в Кутаис, так он не идет, говорит: убьют по дороге те, что родные убитого. Мы обманывали их сейчас. Они пошли сторожить Мушур, а мы через Латпар его сейчас отправим.

— Такой ночью! Дождь! — сказал с испугом Швецов.

— Жизнь дороже такой ночи, дорогой! А теперь мы возились и озябли. Будем греться. Вставай, если хочешь.

Он уже говорил «ты» Швецову, и Швецову было все

равно. Вдруг он так ясно вспомнил встреченную им девушку. «В Москву хотела, а? Тут от такой жизни обязательно побежишь! Первопричина! — Он вспомнил немца.— Вот тебе и первопричина».

Пропустив огромные сани с оранжевыми быками, тащившими одно бревно, Швецов поднялся по холму, прошел между рядами тесно стоявших палаток Местийской туристской базы и зашел в крайнюю — зарегистрироваться.

В палатке на кровати сидел молодой человек, обложенный ледорубами, матрацами, подушками, одеялами, талонными книжками, папками и прочим инвентарем центрального пункта. Он ел руками мятую малину и запивал ее прямо из чайника нарзаном из близлежащего источника.

Борис Никитич сел и предъявил свои документы.

— Один? — спросил молодой человек, отправляя новую горсть малины в переполненный рот.

— Что один? — спросил Швецов.

— Я спрашиваю, вы один отстали от группы и один шли через Цаннер и сюда?

Швецов заколебался и вдруг покраснел. Было смешно краснеть в его годы, и молодой человек удивленно уставился на него.

«Сказать про немца? — подумал Швецов.— А в чем дело? Чужой человек, случайная встреча, у него какой-нибудь особый учет... Не стоит. Заявлю в Москве. Все равно не спасти».

— Один, конечно, один; тут же видно из бумаг.

— Да мне все равно,— сказал регистратор.— У нас, что один, что двадцать,— места есть, пожалуйста. Мест нет — на тот берег посылаем ночевать. А едят все там, внизу. Сколько дней пробудете? На одного, значит, обеды, завтраки и ужины?

— Я же сказал, на одного,— уже с раздражением отвечал Швецов и поднял голову. У входа в палатку стоял тот самый русский, что пресмыкался перед сванами в Жабеже. Он стоял и смотрел подобострастными своими глазами в упор на Бориса Никитича, и тут Борис Никитич покраснел вторично, сам уже не зная почему. Регистратор оторвал ему талоны, и он поднялся идти. Жабежский подхалим пропустил его и, улыбаясь, сказал:

— С благополучным приходом вас! Один сегодня вы?

Швецов, ничего не ответив, быстро прошел в столовую, потому что было уже время ужинать.

«И почему я не сказал про немца? — морщась, думал он, поглощая макаронный суп.— Теперь он, вроде пиковой дамы, начнет меня преследовать по ночам».

После ужина он выбрал пустую палатку и лег спать. Разбужен он был ночью, потому что три молодца, загорелых, с облупленными носами и подбородками, складывали на свободные койки свои похожие на тюки заплечные мешки.

— Откуда? — спросил он спросонья.

— Мы с Эльбруса.

— Взяли Эльбрус?

— Взяли, да не все. Трое не дошли, двое были на вершине. Снег по пояс. Из ста человек десять дошли только в этом году,— сказали они.— Ну что ты копаешься, Володька? Доставай скорей!

«Они опоздали к ужину, разведут тут в палатке ночью хозяйство. Вот не повезло! — подумал Швецов.— Надо кончать с этой цыганской жизнью. Отпуск проходит, и семья в Пятигорске заждалась. Сейчас они будут вонять сухим спиртом и жарить яичницу...»

Он задремал, но громкие голоса разбудили его уже через десять минут. Сразу он даже не понял, что происходит. Свеча, воткнутая в бутылку, освещала палатку. На сдвинутых койках лежали три молодца и с быстротой сумасшедших швыряли карты. Дикие полосатые их физиономии были сосредоточены до ужаса. Руки, привыкшие к ледорубу, хлопали по карте, как по рукавице. Глаза горели огнем одержимых.

— Во что это вы? На деньги? — полюбопытствовал он.

— Какое на деньги! В подкидного дурака всю дорогу режемся. Прямо страсть обуяла. На «Приюте одиннадцати» — мороз, бутылки с водой рвет пополам, руки сводит — играем. На «Кругозоре» — играем, на Бечо — играем. В дороге, чуть привал,— играем!

И они далеко за полночь швыряли мохнатые, измызганные, дырявые карты, обмениваясь почти бессмысленными восклицаниями.

На другой день Швецов познакомился со всей пестрой ярмаркой базы. Люди приходили и уходили каждый день. Каждый день, как на фронте, где-то в горах возникали боевые стычки, и донесения с ответственных участков поступали каждый день: те прошли Местийский перевал, эти завалили на Бечо лошадь со всеми одеялами и палаткой в трещину; там человек упал на Чалаате со скал и требуется

помощь, лавина замела кого-то около Шхельды; собираются желающие на Лайлу, одни поднялись и не нашли Лайлы среди других вершин. Прославленный советский альпинист взошел на Миссис-тау. Ишаки, известные по знаменитым перевалам, трубили на всю Местию; собака, перешедшая Твибер, в столовой нагло требовала подачки и пила только нарзан, отказываясь от простой воды. Серьезные альпинисты проверяли снаряжение.

Геологи сдавали на хранение ящики с образцами пород; врачи проявляли снимки с изумительными зобами Нижней Сванетии и хвастались, у кого зарегистрированы зобы побольше и позатейливей; начинающие альпинисты мазали сапоги охотничьей мазью; радисты рассказывали, как они испугали одну сванскую девушку и она убежала, не оглядываясь, от их громкоговорителя; у женщины-метеоролога все спрашивали погоду на неделю вперед, и она не знала, что отвечать; пришедшие ночью туристы требовали вчерашний ужин. Ссорились проводники. Плановая группа выбирала в двенадцатый раз нового старосту. Какой-то безумный фотограф, довольный собой, вылезал из-под груды одеял, где он перезаряжал пластинки, вопя на всю Местию стих собственного сочинения:

И вся моя аппаратура —
Для ваших опытов натура...

Это была настоящая ярмарка темпераментов. Отдельно от деловой суматохи сидели хвастуны.

Один рассказывал:

— Вы знаете «Греческую лестницу» в Чегеме? Вы идете, смотря по вашей храбрости, один, два, четыре карниза. Узость невероятная. Нога не помещается, вы идете без сапог, держась только большими пальцами. Сто двадцать саженей обрыв. Я шел почти до конца. Балкарцы смотрели на меня снизу и падали в обморок от страха...

Поднимался хохот.

— И вы не упали?

— Как видите.

— Мы прыгали через трещины,— говорил другой,— с разбегу. Воткнешь альпеншток — и сажени три летишь по воздуху.

— Мы жили три дня на одном сухаре...

— Мы съели своего ишака.

— Мы траверсировали двух жандармов. Это было ужасно!

— Что такое «жандармы»?

— Вы не знаете, что такое жандармы? Какой же вы альпинист? Это же особые башни, скалы, требующие специального обхода.

— Где же вы траверсировали?

— Мы заблудились на Дангусорунском перевале.

— Ах, на Дангусорунском, который ишаки без проводника переходят!

— Я предлагаю издать все альпинистские рассказы под названием «Вечера на хуторе близ Местийки».

Карты всевозможных масштабов шелестели, переходя из рук в руки. Хозяевам «двухверсток» все завидовали.

Швецов уходил, не смеясь и не присоединяясь ни к хвастунам, ни к серьезным высокогорникам.

— Пора кончать цыганскую жизнь,— твердил он себе.

Вечером была смычка туристов со сванами. Из двух бревен и горы стружек был сооружен такой пышный костер, как будто собирались жарить быка. Местные жители составили культурный хор, исполнявший народные песни сванов. Швецов сел тоже вместе со всеми у костра. Его тихонько толкнули. Он увидел рядом с собой русского из Жабежа. Ему захотелось сказать подхалиму что-нибудь обидное, но он сдержался. Бродяга сказал тихо:

— Извиняюсь, я спросить хотел, почему это вы один пришли? А где же ваш товарищ?

— А какое вам дело? — сказал с пеной у рта Швецов.— Идите вы!..

— А зачем же зто вы смущаетесь, гражданин? Уж если вы смущаетесь, значит, тем интересней выходит. Да вы не сомневайтесь...

— Послушайте, если вы приставать будете, то я вас выкину отсюда. Вы лечиться прибыли? — Он так и сказал: «Прибыли».— Ну и лечитесь, а то я вас так уморю...

— Да неужели же вы немца уморили? — сказал бродяга.— Я вас и толкнул тихонечко, что в Жабеже разное говорят.

Швецов не знал, встать и уйти или вступить с бродягой в открытые пререкания.

— Да вы не сомневайтесь,— шептал бродяга,— ничего, я вам не помешаю существовать. Только как я лечусь, лечусь...

Швецов молчал.

— Гражданин,— он тихо тронул за рукав Швецова,— гражданин...

— Не мешайте мне слушать,— яростно сказал Швецов.

— Гражданин,— не унимался бродяга,— в кооператив нынче вино привезли.

— Я не пью,— сказал Борис Никитич. «Ну зачем я с ним разговариваю? Черт знает что!»

— Я для лечения нуждаюсь хоть в литре, больше ничего, ничего больше, не сомневайтесь, гражданин. Живите один, мне что. Я прошу, если будет милость ваша, для лечения мне, хоть пол-литра. Не могу больше араки, душа не принимает...

Швецов дал ему три рубля, встал и ушел, не дослушав песен и не посмотрев пляски. А пляски действительно были хорошие.

Напротив шумного бивуака туристов стоит небольшой холмик — скромное возвышение, на котором любопытный может найти — даже несколько неожиданно для себя — две могилы. Около одной есть могильный камень, стоящий отдельно, с каменным медальоном, не имеющим портрета. Могила огорожена заборчиком, слишком высоким для могилы.

Накануне своего ухода из Местии Швецов увидел, как с этого могильного возвышения спускалась несколько необычная группа. Старый почтенный человек с большим достоинством и не спеша вел под руку немолодую женщину во вдовьей черной одежде. Женщина шла легко и печально. Несколько пожилых сванов сопровождали ее, идя немного поодаль, а сзади шагали юноши со значками КИМа, в свежих юнгштурмовках; около них шли еще сваны, и среди них Швецов узнал того самого ночного свана — человека достопамятной ночи путешествия под дождем за лепешками.

Швецов поздоровался с ним, и сван сейчас же оставил группу и остановился. Он был в том же европейском костюме, так же изящно небрежен, и белая сванка сидела на его голове слишком кокетливо.

Он сразу сказал, что его вызвали в Местию, чтобы сделать ему выговор, так как той ночью никого обмануть не удалось и беднягу, направленного в Кутаис, все-таки убили на дороге, потому что засады были и на Мушурском и на Латпарском перевалах.

— Ничего,— добавил он,— за него убьют еще когонибудь.

Швецов ужаснулся дешевизне человеческой жизни в стране и спросил, что это здесь была за процессия.

— Это на могиле Пимена,— отвечал сван.— Пойдемте, я вам покажу. Разве вы не были?

Они поднялись на холм и остановились у надгробного камня.

— Сегодня годовщина смерти Пимена Двали — двадцать седьмое августа. Он погиб на Тетнульде.

— На Тетнульде? — переспросил Борис Никитич. Что-то екнуло у него в сердце.— Как же он погиб?

— Сядемте здесь, в сторонке, я вам коротко расскажу, как было. Он погиб в двадцать девятом году. Они шли втроем: он, Джапаридзе Симон, Николадзе. Там есть такой лед, в котором даже трудно рубить ступени. Ну, они поднимались, поднимались. Симон, говорят, рубил очень маленькие ступени и очень высоко одна от другой. Пимен был маленький ростом и не мог так широко шагать. Пимен поскользнулся, хотел падать, Симон схватил его за плечи, и оба они упали и разбились насмерть. Их очень долго искали, их не сразу нашли; лучшие охотники — Зарабиани, Авалиани, Курашвили и другие — искали их. Симон завяз по грудь в песке и в снегу,— почти голый стоял так. Ну, Симона увезли в Грузию, а Пимена Сванетия очень любила, он был предисполкома, его положили здесь. Ну, каждый год вдова идет на могилу... Приходите ко мне, если вас интересует. У меня сам Курашвили, расскажет вам все. Ну, прощайте пока...

Весь день Швецов ходил, посматривая на могильный холм, и, когда солнце начало свою закатную игру, он снова поднялся к могилам и сел у камня.

Прямо впереди могил, по ту сторону долины, над зелеными горами, над снежным барьером висела дымчато-белая пирамида Тетнульда. Точно внезапный стыд поколебал равновесие его ледников — они залились багрянцем, и багрянец прошел тончайшими потоками в самые отдаленные трещины, обволок ребра, растекся по исполинским контурам фирновых полей и начал трепетать. Оттрепетав, этот багрянец уступил место легкому румянцу, который исчез, как бы сдунутый порывом внезапного ветра, и сменился гневом. Зеленая мгла пронизала каждый уступ, и вся ледяная махина, переходя от изумруда к неясной нежности слабого аквамарина, начала новый трепет, как бы звуча в неимоверном просторе всеми оттенками, предательскими и нежными до того, что можно было заплакать

от непереносимой сладости этого предательства. Но солнце уходило на запад все ниже, аквамарин схлынул, и Тетнульд предстал таким свежим исполинским мертвецом, как будто у него только что вынули сердце. Бездыханная синева, сковывавшая ледники и снега, как судорога проходила по могучему торсу, и вершина его стала дышать сизым туманом, а ребра втянулись и почернели. Тени на нем стали до того холодными, что казалось — холод их долетает через всю долину до Местии, и на гору глядеть уже больно и страшно. Лучшего символа вечности нельзя было бы и придумать.

«И там лежит он,— подумал о Франке Ивановиче Швецов.— Один! Где-нибудь в снегу, голый по пояс, как Джапаридзе, и никто никогда не узнает, где он погиб. Так нельзя оставить, нельзя!»

Тетнульд вспыхнул последним смешанным взрывом красок и потух. Тучи начали наползать на него.

— Ишь ты, убийца! — сказал Борис Никитич и пошел скорым шагом прямо в палатку регистратора, но в палатке регистратор был не один.

Там сидела женщина-врач, специалистка по зобам, а Борису Никитичу лишних свидетелей не требовалось.

Поэтому он изложил вперед случай с летающими предметами на Тетнульде, оказавшимися после камнями, и просил научного объяснения. Мнения разделились. Регистратор говорил, что это признак усталости и, несомненно, признак начала расстройства нервной системы, а женщина-врач уверяла, что быстрое движение камней в воздухе было лишь оптическим обманом, вызванным неоднородностью изменений преломления и видимости. Регистратор продолжал спорить со всем задором молодости. Врачихе стало скучно, и она ушла.

Тогда, набравшись духу, Борис Никитич сказал, слегка волнуясь:

— Тут я отложил одно дело до более высоких авторитетов...

Он подчеркнул, что он настаивает именно на этих словах: «отложил до авторитетов», но так как все же надо внести ясность в это дело, то он просил записать следующее: он был не один на Цаниере и позже.

— Ага! — сказал глупо молодой человек.

— Почему — ага? Я попрасил бы не шутить в таком, собственно, серьезном деле.

— Я не шучу,— отвечал бойкий молодой человек.— Но тут один человек говорил, что вы были с немцем.

— Да, я был с немецким альпинистом Франком Ивановичем Мольцем, инженером из Германии; откуда — точно не знаю. Мы совершили с ним переход через Цаннер и неудачное восхождение на Тетнульд, причем я благополучно вернулся, а он погиб на вершине.

— Погиб? — молодой человек широко раскрыл глаза.

— Да, погиб,— сухо сказал Швецов.— Вы не открывайте рот, а слушайте. Он погиб славной смертью, как гибнут все альпинисты, как этот... ну, вы должны знать, как этот... Сиг... Зиг... опять забыл.

— Как Симон Джапаридзе? — подсказал молодой человек.

— Ну да, и как погиб Джапаридзе.

Молодой человек растерялся.

— Почему же вы раньше не сказали? Почему вы молчали?

— Я вам повторяю, что я вам сообщаю все вкратце, а история эта будет разбираться не здесь, понимаете? И потом — я был нервно потрясен.

— Но спасательный отряд теперь поздно...

— Какой там спасательный отряд! Вы слушайте.

И он рассказал, как погиб Мольц, не упоминая ничего о себе и о своем поведении. И когда рассказал о буре и о смерти бравого немца, он почувствовал громадное облегчение.

Рассказ третий

Путешествие Бориса Никитича приходило к концу. Он устал, стал привередлив, в природе не находил ничего потрясающего; идя по болотистым дебрям Накры, он ругал себя за потерянное время, за лишние, ненужные ему переживания и, отмесив несколько километров снега, перевалил Донгус-Орун и наконец оказался в Тегенекли, где все ему не понравилось.

В бараках текло; хлеба ни к обеду, ни к ужину не было, не было подвоза из Нальчика, гулять было негде, правда он и не пошел бы гулять: компании подходящей не было, да он и не искал ее; автобусы не ходили из-за дождей,— словом, он допустил тут одну ошибку, какую допускает или очень неопытный, или слишком уверенный путешественник. Он пошел пешком в Верхний Баксан, сам не зная

точно, как он очутится в Пятигорске, ибо из Верхнего Баксана расстояние сравнительно с Тегенекли уменьшается только на двенадцать километров, а вопрос дальнейшего передвижения осложняется раз в сто.

Вот почему в вечер, сильно похожий на осенний, когда по стеклам сбегал почти московский дождь и потолок казался еще ниже, а люди еще скучнее, он сидел в комнате дома, похожего на странноприимный, вернее — в бывшей кунацкой бывшего баксанского князя, и нехотя пил чай.

Узкий мельхиоровый самовар, окутанный жидким паром, плоское блюдо с мокрой малиной, яичница с сыроватым картофелем не могли развеселить его.

Его единственным собеседником являлся застрявший по делам в Верхнем Баксане работник кооперации Ибрагим Гурджиев, человек словоохотливый и, по его словам, истосковавшийся по свежим людям.

Он снял кубанку, расстегнул шинель и сидел, весь жилистый, худой, жестковолосый, похожий на африканского ворона, и, тонкими, почти женскими пальцами крутя ложку в мутном стакане, повествовал о себе.

— Я, признаюсь, даже ловлю прохожих, и когда они задерживаются здесь — очень рад. Редко здесь бывают люди. А чего им здесь делать? Ну эту грязь смотреть? — Он презрительно махнул в окно.— Ну, уж если сюда попал человек, он как в беде сидит. Тут я его и устраиваю. Я всех люблю устраивать. Я и вас устрою. Вам куда нужно? Вы из Сванетии или с Эльбруса?

— Из Сванетии,— сказал довольно вяло Швецов.— Мне надо в Пятигорск. Я хочу идти пешком. Тут дня четыре ходу, не больше, через Гунделен.

— Через Гунделен? Пешком? — почти испуганно сказал Гурджиев и даже повернулся на стуле.— А зачем вам пешком? Вам пешком не надо.

И при этих словах Борис Никитич ощутил род неловкого волнения, точно он дал обещание совершенно ненужное.

— Почему пешком? Вам нужно сидеть здесь со мной и ждать машину, машин будет две. Я же все знаю, я же всех устраиваю. Одна с поломанным колесом, она сейчас чинится и будет из Тегенекли завтра утром,— та вас не возьмет.

— А почему вы знаете, что она меня не возьмет? — обидчиво спросил Швецов.

Гарджиев сделал хитрое лицо.

— Я же горский еврей. Вы думали — я кабардинец или я балкарец, а я — нет. Я горский еврей. Есть такие особые евреи. Они самые особые евреи. Особей всех евреев. Даже джигитовку могут. Они все знают. Я же горец. Я же здесь родился. Почему вы не поедете? А потому, что вы не иностранец. Та машина только иностранных туристов возьмет и рабочих со стройки из санатория... А вот попозже будет ваша машина; она сейчас в Зеюкове застряла в грязи, ее трактором вытаскивают; так всегда там вытаскивают. Вот она вытащится и к вечеру будет здесь, но у шофера масла не будет, и он пойдет за маслом в санаторий. А в санатории масла не дадут, тогда он пойдет из санатория в базу, а в базе будут спорить, ну и он будет спорить: как же без масла ехать? Ну, а потом он достанет масла, но у него не будет бензина, и он будет просить хоть керосина в кооперации. А кооперация — это я. Вы понимаете, почему вы поедете на этой машине? Вы будете в тот же день вечером или утром на другой день в Баксане-городе, если грязь у Зеюкова поотлежится, потяжелеет, или на другой день к вечеру, если грязь не потяжелеет, не отлежится, а наоборот; а из Баксана-города, если будет почтовый автобус, то вы будете в Пятигорске через четыре часа чай пить — с вашей семьей, кажется?

— Кажется,— ответил, помрачнев, Швецов.— Это вы от скуки так порядки выучили?

— Я решил, знаете, людям пользу оказывать всякую. Вот, скажем, он.— Гурджиев живо обернулся и указал на молчаливо стоявшего у двери смотрителя бывшей кунацкой, человека толстого и темнощекого, точно выкрашенного охрой, со странным именем Бабаш, что за все чаепитие не присел ни разу и не сказал ни единого слова,— вот, скажем, он; завтра вы спросите, сколько стоила эта яичница, эта малина...

— Я малины не ел,— перебил его Швецов.

— Ну, все равно как если вы ели, вы спросите, сколько стоит этот самовар и ночлег, и он, положим, скажет, двенадцать рублей, а я подойду и скажу: «Не платите, с ума вы сошли — платить! Довольно четыре рубля, дайте ему четыре рубля!» Верно, Бабаш? Вы и заплатите четыре рубля, и ни копейки больше. Верно, Бабаш?

Бабаш кивнул головой, скрестив руки на животе.

— Почему это так? — осведомился Швецов.

— Натура такая, с запросом,— сказал словоохотливый

Гурджиев и начал жадно пить чай с блюдечка.— Я много тут пользы оказывал. Давеча, дня четыре назад, идут себе две дамочки — к Бабашу, конечно. Переночевали и, слышу я, собираются через Кыртык идти,— такой перевал есть на Кисловодск. Я думаю: «Дамочки милые, не пойдете. Я вас не пущу». Завожу разговор, как с вами: «Почему это так одни вы идете?» — «Да был, говорят, у нас мужчина, вчера отстал и до сих пор нет».— «Где же он отстал?» — «Не знаю, говорят, пришла ему надобность, и отстал».— «А вы что же не беспокоитесь?» — «А что же нам беспокоиться, он не чужой, а свой. Был бы чужой — беспокоились бы, а свой догонит нас, и все тут. Хотим идти без него через Кыртык».— «Нет,— говорю я,— вы на Кыртык сейчас не ходите».— «Почему это так?» — говорят. «Бандиты, опасно на Кыртыке». А я нарочно говорю, чтобы испугать их. Ну куда им двум по горам идти? «Ждите, говорю, вашего близкого». И приходит так через два дня в сумерки близкий мужчина с палочкой. А оказывается, он шел и захотелось ему купаться в Баксане. Прыгнул в реку, где мелко, и сразу камнем порезал ногу. И два дня у балкарцев лежал. Ну, я собрал их троих вместе, и они уехали. Так вот никакого «пешком» и не вышло. И вы не пойдете пешком. Я против, чтобы пешком.

И вдруг этот человек начал нравиться Швецову, и кубанка его стала очень милой, и расстегнутая шинель располагающей к себе. Борис Никитич опрокинул стакан вверх дном в знак окончания чаепития, отодвинул его на самый край стола, чтобы не мешал, и — жаркий, обветренный, сутулый — сел поглубже на доски, прикрытые кошмой.

— Я сам дал себе клятву пешком не ходить больше... по опасным местам,— поправился он.— Я шучу, конечно, что клятву, но все-таки, пожалуй, клятву. Никогда больше по снежным горам ни на какие вершины не лазать. К черту!

— Многие этим занимаются с увлечением, многие; мне пока это мало понятно немножко. Я вам расскажу, какие бывают...— начал было Гурджиев, но Борис Никитич решительно остановил его и продолжал:

— А почему? На моих глазах погиб человек. Какой человек и как погиб? Знаменитый альпинист, немецкий альпинист! Мы с ним на пáру ходили. Мы лезли с ним два дня по таким ледяным стенам, что руки начинают дрожать, когда вспоминаешь; и наконец уже лезть некуда, некуда —

стена! Я говорю ему: «Уже держаться не за что, назад»,— говорю, а он все лезет. В чем дело? Тут туман поднимается, все принимает зловещий вид, холодно, Северный полюс!.. Стоять не на чем.— Борис Никитич вытянул ногу.— Видите, сапог? Полсапога помещалось на скале, остальное — в воздухе. Ей-богу! Я догоняю его и спрашиваю: «Сейчас же назад?» Но он глядит, у него в глазах я вижу явное безумие...— Борис Никитич сказал с особым удовольствием, как бы любуясь словами: — Явное безумие! И тут нас закрывают облака. Я зову его, я плачу...да, да, слезы, как у бабы, замерзают на щеках... И нет выхода. Голая смерть! И в этом облаке я отступал, не помню как; а когда облако ушло и буря окончилась, немца больше нет.— Он перевел дыхание.— И никогда не будет. С того числа я не охотник пешком лезть на небо. Спасибо! Я работник инспекции, тут мне никакие джунгли не страшны, никакие кошки не надобны, а вы — работник кооперации. Понятное всем дело. А этой непонятной фантастической профессией, неопределенной по существу, определенно смертельной, я больше не занимаюсь. Я нервно потрясен.

Гурджиев почесал свою смолистую бородку.

— Ужасная история! — сказал он, помолчав. Еще помолчал из уважения к мрачности рассказанного, тихо свернул папиросу, взяв табак прямо из кармана, где он лежал у него вперемешку с огрызками карандашей, клочьями бумаги и кусками сахара.— Да, ужасная история. И вот я вам расскажу. Пришла из Сванетии сюда одна девушка сванка...

— Пришла?! — вдруг воскликнул Швецов.— Неужели та самая?! Я же встретил одну, она мне еще говорила: «Москва, Москва»,— но я думал — это шутка. Позвольте, но как же она пришла? А перевал как же, снег, лед?

— Один старый охотник ее провел через перевал. Я ее в Нальчик отправляю. Я по-сванки говорю (я же всюду жил здесь. Ну, расспросил ее: «Москва, Москва». Думаю, пусть едет, почему не ехать? Хорошая девушка! Пусть едет в Москву, пусть едет. Я всем помогаю, почему ей не помочь? Дал ей письма к знакомым партийцам в Нальчик.

— А где же она сейчас?

— Она в соседней комнате, где и вы спать будете. Она с немцем своим сидит.

— С каким немцем? — спросил подозрительно почему-то Борис Никитич, точно его немец был единственным на свете.

— Так ведь я вам не досказал. Она даже научилась его по имени звать. Все имя не выговорить: Франк Иванович, так она...

По странной неловкости Швецов так переставил ноги, что стол качнулся, стакан упал и разбился.

Не спуская с него внимательных глаз, Гурджиев подобрал осколки и положил на стол.

— Вот за это Бабаш скидки не даст! В дополнение к вашему немцу этот Франк Иванович отделался дешевле: он тоже лазил много, и на Тетнульд лазил, и на Шхельды, и где он только не был, и все — один. И около нас уже, здесь в горах, там, на льдах, лавина бросила его в трещину, и он сам говорит,— по-русски очень хорошо говорит: в России в плену был,— что никакие бури не страшны были, как эта лавина. Он два дня прожил в трещине; чуть ноги поморозил и расшибся, конечно. Ну, вылез из трещины, пошел по ледникам — идти не может, упал. Тут как раз девушка с охотником и подобрали его. Если вам интересно, вы с ним поговорите, если хотите. Вам, наверное, очень интересно. Может быть, он вашего немца даже знал.

Борис Никитич промычал что-то невнятное.

— Как его фамилия? — спросил он.

— Фамилия? Мольц, Мольц его фамилия. Наверное, какой-нибудь фон дер Мольц, но скрывает.

— Как вы сказали? Мольц или Гольц фамилия? — выдавил Швецов с таким усилием, что Гурджиев раскрыл глаза, как настоящий африканский ворон.

— Мольц его фамилия, эм, эм...

— А! — пробормотал Швецов.

— Нелюдимый он очень,— продолжал рассказывать Гурджиев.— Лежит и со сванкой все знаками объясняется.

— Так, так,— сказал, смотря в сторону, Борис Никитич.— Чего же это она из Сванетии убежала? Хорошая страна, красоты неописанной! Но скучная, скучная,— он начал сбиваться.— Вы, кажется, в кооперации работаете здешних мест?

— Я много здесь работаю,— уклончиво сказал Гурджиев.

Борис Никитич наконец преодолел досадное волнение.

— Я вот интересные наблюдения сделал по дороге. Вот в долине Накры, здесь, за перевалом,— леса замечательные! Еловый лес, орешник — сколько угодно, хмель, плющ, виноград; мрамор лежит глыбами — неиспользованный. Буковый лес — неиспользованный. Три человека

одно дерево обнять не могут. Этакие стволы, больше, чем в тайге.

— И мышей много там,— сказал Гурджиев.— Мыши по вас бегали? Мыши, когда вы спали?

— Не замечал, но, кажется, бегали... кажется, бегали.

— Вот! Где мыши, там и буковый орех. А где буковый орех, там и медведь. Мы этот год какие деньги платили за буковые орехи, знаете? Что? Вы спросите, куда они идут? Они на масло идут, на экспорт.

— Так ведь надо нам туда забраться! — воскликнул Борис Никитич, увлекаясь новой темой. — Надо туда залезть, в эти чащи. Там же все безхозное. Ведь это какие доходы! Вот давайте прикинем, подсчитаем. Это же, в общем и целом, чертовски рентабельно!

И, с преувеличенной быстротой достав блокнот, Борис Никитич начал его исчерчивать выкладками и цифрами будущих доходов накрских лесов, если туда провести дорогу и организовать правильный сбор буковых орехов. Он вернулся в эту минуту к своей основной профессии, и здесь его уже трудно было выбить из седла.

Они так засиделись, что, когда пришло время идти спать (Бабаш уже давно ушел), Гурджиев на цыпочках пошел впереди него, делая знаки и говоря шепотом:

— Все спят уже. Я в лампе приспустил фитиль, вы раздевайтесь и ложитесь. Как ляжете — погасите.

Вторая кунацкая бывшего балкарского владыки была огромных размеров комната с пятью ложами самого странного вида: тут были и скамьи, покрытые постелями, и диваны, и даже двуспальная кровать. Борису Никитичу достался узкий диван у входа. Он быстро разделся и, не рассматривая спящих соседей, погасил лампу, натянул одеяло на голову и заснул.

Проснулся поздно. В комнате никого не было. Солнце играло на стеклянных графинах изумительной формы, изображавших стебли каких-то стилизованных лилий,— остатки былой роскоши феодальных времен. Никто не рассказал ему, что рано утром, когда за немцем пришли, чтобы проводить его к автомобилю, Гурджиев остановил Франка Ивановича и, указывая ему через комнату на безмятежно спящего Швецова, сказал:

— Этот гражданин вчера спрашивал про вас. Мне кажется, что вы знакомы. Посмотрите, пожалуйста. Что?

Мольц поспешно оглянулся на спящего, на ходу сказал равнодушно:

— Нет, вы ошиблись,— и вышел.

Гурджиев пошел в кооператив, Франк Иванович прощался со сванской девушкой, немцы-туристы приветствовали его из автомобиля. Он вдруг спросил:

— Что это на дороге? Еще машина?

— Вы разве не видите, что это лошадь? — удивленно возразили ему.

— Я не вижу почти ничего,— сказал он холодно.— Я ослеп на ледниках. Лавина разбила мне очки. Я буду видеть только через две недели. Помогите мне сесть.

Все дружно кинулись ему помогать.

Гурджиев не солгал. У маленькой терраски кооператива стоял грузовик, полосатый от трудной жизни, и шофер снимал грязь с колес дырявой лопатой. Грузовик был окружен такой тесной толпой, точно все население Баксана хотело уехать на этом грузовике и только не знало, с чего начать.

Все ближайшие окна были полны любопытных глаз. Любопытные прибывали с каждой минутой. Они уже сидели на мосту, на крышах, они стояли на всех уступах аула, они появились даже на тропинках над селением. По всему было видно, что население Баксана, не имея представления о театре, жаждет зрелища.

— Вы поедете! Я вам говорю — вы поедете! — Гурджиев проталкивал Швецова в самый первый ряд.— Вы и девушка обеспечены.

— А где она?

— Она боится еще, когда много людей. Что я поделаю? Она едет в Москву. Ха! Как будто там мало людей. Но пусть едет. Я приведу ее, когда будут все садиться.

Совещание сельских и кооперативных вождей было окончено, они появились на балконе кооперации, и началась посадка. Первым взошел на грузовик балкарец с винтовкой. Он сел прямо на борт, и рядом с пим сели еще два балкарца, перед которыми сейчас же заволновалась кучка женщин, очень удрученных и озабоченных. Три старика смотрели на двух балкарцев пепельными глазами. Рядом с этими балкарцами сел, легко вскочив в машину, сван, судя по одежде и по лицу.

— Семен! — закричал Швецов, узнавая в нем своего спутника по Цаннеру.— Как ты попал сюда?

Он протиснулся к свану и взял его за руку. Да, это был Семен Гарселиани, но без его беззаботного самодовольства. Как подбитая птица, сидел он, согнувшись, и ничего не ответил Швецову, вынул мятую папиросу и закурил так меланхолично, точно он сидел не посреди множества людей, а на камне, на леднике, в полном одиночестве.

— Ты что же это, говорить разучился? — закричал Швецов.— Семен!

Человек с винтовкой величественно сказал Швецову:

— Не беспокой его. Пожалуйста, прошу, не надо.

— Почему это, кто же он такой?

— Они арестованы,— сказал гордо балкарец, играя винтовкой.

Гурджиев уже объяснял вполголоса:

— Два балкарца едут в Нальчик за конокрадство, а сван за то, что перегонял бычков, бычков из Балкарии в Сванетию. А это запрещено: тут же мясозаготовки.

На грузовик набросились женщины. Они молча лезли, срывались, подсаживали друг друга, толкаясь и смяв свежие свои юбки и содрав весь блеск с начищенных туфель и ботинок; они уселись и враз заговорили, нарочито весело и громко.

— Куда, куда? — вскричал шофер.— Думаете, залезли, так и оставлю вас? Как же, ждите!

Женщины продолжали тараторить и не хотели слушать его угроз.

— Почему они такие веселые? — сказал Швецов.— На свадьбу, что ли, едут?

— Они едут на похороны,— сказал Гурджиев.— Все равно, веселиться же им надо? Шофер зря кричит, он их, конечно, подвезет. Тут недалеко, через три селения. Он так просто кричит, за свой престиж кричит...

Потом пришли учителя, ехавшие на районную конференцию. Они вошли на грузовик, как на трибуну. Разноцветные кафтаны и щегольские френчи их как будто сошли с плаката. Учителя уселись с почти напыщенной серьезностью, но оказались веселыми балагурами.

— Ну, садитесь и вы,— сказал Гурджиев.— Я побегу девушку сажать; вы уж за ней посмотрите.

Борис Никитич влез в тесную толпу пассажиров и сел на свой мешок так, чтобы видеть приход сванской девушки.

Внимание его, однако, невольно перешло на другое. Женщины, молча оплакивавшие конокрадов, засуетились,

шепот пошел по их рядам, и затем девочки, примчавшиеся из глубины селения, принесли арестованным бурки и новые рубашки. Арестованные с большим самообладанием, принимая, как должное, эти вещи, сели на бурки и сложили рубашки на коленях. Девочки побежали снова в аул и появились, таща на плечах подушки и одеяла. Девочки убежали снова в аул и принесли новые сапоги, блестящие, как куски антрацита. Арестованные сидели молча, переглядываясь со своими родственниками. Потом девочки принесли им новые шляпы и новые кафтаны. Тогда они стали переодеваться, тут же на грузовике, во все принесенное. Постепенно они переодевались, как актеры, на глазах толпы превращаясь в фигуры скорее свадебные, чем подсудные.

Борис Никитич подумал о том, как мало мы, в сущности, уделяем места какому бы то ни было ритуалу в быту.

Он вспомнил, как он лихорадочно натягивает штаны, швыряет через голову рубаху, завязывает криво шнурки ботинок; он представил себе, что его семья несет ему утром так же торжественно, как здесь, принадлежности туалета.

Теперь люди на грузовике имели вид толпы обычных путешественников. Как только прекратились передачи, арестованные, ничем не выдавая своего волнения, начали пожимать руки плачущих женщин. Подошли старики, подошли знакомые. Образовалась прощальная очередь. Наконец им принесли напоследок пачку денег и четыре пачки папирос.

И тут Швецов увидал долгожданную сванскую девушку. Он сразу узнал ее. Конечно, это была та самая, что он встретил около Адиша. Она только почернела и похудела, но красивей не стала. Гурджиев осторожно подводил ее к грузовику, по дороге объясняя сложное чудо впервые явившейся ей телеги, едущей без быков и имеющей столько толстых колес. Но девушка, слушая его, смотрела — как с удивлением заметил Борис Никитич — только на Гарселиани. «Свой своего узнает»,— подумал он. Девушка всматривалась в свана, однако не совсем равнодушно. Казалось, она в чем-то сомневается.

— Гарселиани! Гарселиани Семен! — закричал балкарец с винтовкой.— Папирос нету? На папиросу, кури!

Гарселиани повернулся к говорившему. Девушка побледнела, оглянулась по сторонам, и рука ее схватилась за винтовку стоявшего рядом с ней милиционера. Тотчас же она отпустила винтовку, опустила глаза и, уже не

смотря ни на кого, подошла к грузовику. Гурджиев помог ей влезть, и она сохранила спокойствие до самого отъезда. Когда грузовик тронулся, она закрыла глаза.

— От техники, как от женщины, никуда не уйдешь,— с облегчением сказал Борис Никитич, когда грузовик тронулся, и тотчас же вспомнил своего немца.

Странное сочетание чувств прошло внутри его. Ему было досадно, что он дал такую торжественную клятву себе — не вступать больше в горы ни ногой; ему, наконец, было обидно, что все в грузовике занимались анекдотами, шутками, рассказами, обменивались впечатлениями, и только он да сванская девушка сидели безмолвные, как тюки. Он взглянул искоса на девушку.

Иоржи смотрела такими нехорошими глазами на Гарселиани, такими холодными, полными стеклянной злобы, что Швецову стало неуютно.

Грузовик мотало над пенистым Баксаном, но девушка не замечала этих толчков. Она смотрела только на свана, точно мало было человека с винтовкой для его конвоя и ей поручили не сводить с него глаз всю дорогу. Она ни слова не сказала ему. Он же не обращал на нее внимания, то ли занятый обдумыванием своего печального положения, то ли не подозревая, что она сванка, и принимал ее за балкарскую учительницу, спешащую на конференцию, или за балкарку, едущую на похороны.

Грузовик часто портился и останавливался то на лужайке, где все валялись по траве, не исключая и арестованных, то среди скал, и тогда все лазали по камням, собирая цветы или отыскивая горный хрусталь, которого не было; и арестованные уходили за кусты одни, лазали на скалы и вообще никак не выделялись из общей толпы пассажиров. Человек с винтовкой смотрел за ними вполглаза.

Иоржи уходила в сторону и сидела одна, издали рассматривая людей, с которыми ей придется жить; изредка она хватала за руку Бориса Никитича, если машина на сокрушительном толчке слишком кренилась, но она тотчас же находила мужество никак не отразить: ни криком, ни смущенной улыбкой — свое беспокойство и свой страх.

Изредка попадались арбы, и с них кричали разные приветы; встретились всадники. Один всадник долго состязался с грузовиком, посрамляя его как угодно. Он подъезжал, ехал сбоку, разговаривал со знакомыми, потом прощался,

и грузовик уходил далеко вперед. Тогда он гнал коня, и конь с растрепанной гривой, клокоча всей собранной в одно движение силой, легко догонял грузовик, опять шел рядом с ним, опять отставал, делался игрушечным, превращался снова в вихревой столбик и снова догонял. Все развлекались этой благородной игрой, прекрасным конем и прекрасным наездником.

Горы становились все меньше, все больше теряли в грозной своей красоте, и только река бурлила еще попрежнему вызывающе.

Неистовые думы одолевали Бориса Никитича. Мысленно переносился он к сияющему зловещему румянцу фирновых полей Тетнульда, так странно вошедших в его жизнь, к немцу, едущему среди своих соплеменников и рассказывающему о нем, Борисе Никитиче, сухим и железным альпинистам с их странной, нечеловеческой страстью к холоду, одиночеству и опасности, то вспоминал он добрых наших ребят, взявших Эльбрус и ночи вместо отдыха проводивших за дурацкой игрой в подкидного дурака, то вставала жуткая фигура сванского старика, ползающего со старухой по земляному полу, раздувая ночной огонь тоскливой башни,— как бы замурованного навеки,— и некая грусть нисходила на него и осеняла его, как вечернее сияние, устало пробегавшее по сторонам дороги и меркнувшее с каждой минутой. Так, суровым ехал он посреди веселого гама дорожных разговоров.

И только тень улыбки изобразили его губы один раз, когда после краткой остановки у колхозной лавочки грузовик, отъехав уже несколько десятков саженей, был остановлен громкими криками догонявшего его человека. Человек спотыкался и бежал, крича неистово и не прерывая бега.

Уже крикнули шоферу, чтобы он не обращал внимания на эти вопли и ехал спокойно, что брать больше некуда новых пассажиров, как оказалось, что это бежит забытый в лавочке балкарец-конокрад. Общий смех встретил беглеца в грузовике, а он сам, стыдливо улыбаясь, вытирал пот.

К ночи грузовик въехал в тяжелые волны грязи и забуксовал. Это были места, прославленные авариями, проклятые шоферами и омытые слезами несчастливцев, попавших сюда после дождей.

Единственный фонарь отказался светить. Море грязи бушевало у самого грузовика. Слезать можно было только

в грязь. Ночевать приходилось в грузовике или выбирать другие способы. Начались летучие сговоры.

Обнаружилось, что недалеко от грузовика есть небольшое селение, но к нему могли попасть только знающие дорогу туда. Луна медленно выходила, и мертвое пространство грязи становилось зеленым и фиолетово-свинцовым. Балкарцы-учителя соскакивали один за другим.

Сванская девушка сидела, закрыв лицо руками, на дне грузовика.

Арестованные балкарцы стелили себе княжеские ложа на бурках и кошмах. Они даже хотели положить ноги на ноги сванской девушки, и Борис Никитич самолично сбросил их тяжелые сапоги, на что они заворчали, а их страж обеспокоенно сказал:

— Что ты? Они же арестованы. Они должны спать.

— Какого же черта они хотят спать, как князья, если они арестованные? — ответил раздраженно Борис Никитич, завернулся в одеяло и впал в сонное настороженное оцепенение, прерванное только раз за всю ночь, когда его толкнули, и он увидел, открыв глаза, как сван перелезает через борт, и услыхал, как человек с винтовкой говорит: «Там бревно на речке, мост плохой, осторожней, Семен». На что тот ответил, прыгая в грязь: «Я те места знаю. Был здесь уже...» Ему стало холодно, он начал подвертывать под себя одеяло и заметил, к своему удивлению, что сванской девушки в грузовике нет.

«Наверное, она с кем-нибудь ушла ночевать в селение»,— подумал он и заснул.

Проснувшись перед рассветом, он увидел в голубом сумраке широкой долины, что девушка спит рядом с ним крепчайшим сном.

Рано утром пассажиры, невыспавшиеся, хмурые, начали собираться со всех сторон к грузовику. Подсохшая грязь все еще была грозной; она держала машину, как магнит. Когда собрались все, произошла своеобразная поверка. Не хватало одного свана. Все остальные были налицо. Начались поиски. Конвоир, растерянно моргая глазами, махал винтовкой. Все говорили разом. Конокрады давали советы. Потом составили группу, которая отправилась на хутор за рекой, где ночевал сван.

Не сильно заинтересованный всей этой суматохой, Швецов спокойно сидел на своем мешке, не вступая ни в какие споры по поводу беглеца.

Через полчаса ходившие на хутор вернулись ни с чем.

Гарселиани не ночевал на хуторе, но если он бежал, то бежал без сванки, без своей неразлучной войлочной серой шляпы с обрезанными короткими полями, потому что она плавала около берега в тихом затоне, и ее выловили и принесли как доказательство — чего?

Всласть поговорив и поспорив, вручили шляпу конвоиру, и грузовик тронулся. Борис Никитич взглянул на сванскую девушку.

Она приобрела тот характерный оттенок черствости, какой свойствен женщинам после бессонной ночи, но сквозь эту мирную черствость сквозила такая воинственная тень торжествующей ненависти, что Борис Никитич как зачарованный долгую минуту не мог оторваться от ее лица.

1932

СИМОН-БОЛЬШЕВИК

Слыхал я от людей разные истории, большие дела, которые были. А какой такой герой есть, я не знаю. Я сейчас тоже немного расскажу.

Я осетин. Такая страна наша Осетия: день идешь — стоит гора, и второй идешь и неделю идешь — каменная гора кругом стоит. Когда лес на ней растет, когда лед лежит, когда снег лежит, вода льется, беспрерывно льется, реки большие и маленькие, разные реки бурлят, бурлят, прямо как сумасшедшие, голоса не слыхать. В гости ходить — через гору надо, и в лавку идти — через гору надо, покойника тащить — через гору надо, плясать идти — через гору надо. Затруднительно жить в Осетии.

Земля очень большая у крестьянина была,— бурку бросил, поля не видно уже: бурка закрыла. А поле под самым небом лежит. Ну конечно, и нищета кругом. Каменная сакля холодная. Костер посередине — руки греть, обед варить; столик, трехногая скамеечка — такая азиатская роскошь, деваться некуда, прямо хлев.

Ну, я горец, конечно. Был совсем молодой человек, необразованный. Очень много думал, как это жить надо. Революция наступила, гражданская война наступила,— я брал винтовку, коня, пошел за народ сражаться. Очень трудно было нам воевать. Соглашатели, шовинисты, белогвардейцы на каждой горе сидели, в степи сидели. Владикавказ генерал Шкуро взял, а генерал Ляхов спьяна назначил править Осетией Бету Хабаева. Негодной души человек был этот Бета Хабаев. Селения палил, соломой обкладывал,

как свиней палил, доносы читал — радовался. А мы рассыпались тогда,— как волки, ходим вокруг, белых в тревоге держим. Зима наступила, снег громадный насыпался, тропы закрыл, сакли закрыл, леса закрыл — совсем плохо, сообщаться нельзя, ходить опасно. Скажешь слово — лавина идет, не пробраться сквозь снег, кони встают; а воевать надо. Бета Хабаев в ладоши хлопает, коньяк пьет, радуется: сдохнут большевики в горах, до весны никак не доживут.

Стою я на переправе с товарищем, вестей жду. А уже вечер, с гор пахнуло, вот-вот туман сойдет, снег закружит. Река же не замерзала никак, гремит под ухом, как в чайнике. Вода пузырями ходит через камни взад-вперед. Непонятно, чего хочет, точно на месте бунтует без толку.

Жду я с того берега человека, в воду гляжу за камнем. Удивляет меня, какая это сила в этой воде — ворочает большой камень, стучит о другой, бросает деревья с камнями, рвет их бока, ущелье стонет. Очень тоскливо стало у меня на душе. Такие мысли пошли, что не выдержу я до весны. Бету Хабаева обрадую — сдохну.

Вижу, плывет коряга, и тонуть не хочет, и так правильно путь держит — на волну набежит, как на крышу, оглядится, и нырнет между камней, и снова плывет; а река ее за голову вниз тянет, за ноги тянет и утянуть не может. Жива коряга и путь дальше держит. Подумал я: «Эй, Симон,— Симоном меня зовут,— ты, как коряга, умей плавать, имей большое сердце дышать глубоко, не выпускай винтовку из рук! Что ты пойдешь домой, как медведь лапу сосать, а тут надо борьбу выносить!» И как подумал я, так сразу тепло мне стало. Думаю теперь только: что это товарищей с того берега нет? Вижу: темнеет уже в ущелье и спускаются на другом берегу к воде шесть человек.

Спустились, глядят в воду. Понял я, что брод плохо знают или коням не доверяют. Кони устали, вода ледяная, боятся идти в воду кони. Присматриваюсь я: что за гости? Думаю: пусть как знают переправляются. Не буду им голоса подавать. Если враги — не жалко, пусть тонут, а если друзья — должны голос подать, знак подать.

Ступили кони в воду, и пошла играть ими вода. Правильно ступили в воду, да не все враз. Некоторые идут хорошо, двое поотстали, а одному плохо — относит его не туда, к камням несет; гибель коню будет, не справляется конь. Пар идет от коней, а всадники голоса не подают. Взял я винтовку, нацелился в первого,— показалось мне, что

погоны у него на плечах, в какой-то куртке теплой. А товарищ мой берет за винтовку, говорит:

— Симон, а это разве не Дебола, вон тот с краю, у него лошадь мучится!

Стал я глядеть, глядеть — узнал Деболу.

— Наши, значит,— говорю.— Кричи им, Уасил, что это мы, кричи!

— Дебола, это ты? — закричал он им.

И я закричал:

— Дебола, это ты?

А он лошадь не может направить, хоть и подобрался к берегу,— отбивает лошадь вода. Обернулся он на крик, кричит тоже:

— Это ты, Симон? Это ты, Уасил?

Мы вышли из-за камней, сели на лошадей, кричим:

— Это мы, Дебола! Это я, Симон, это я, Уасил!

Всадники из реки выбрались по камням, а Дебола с конем вот сейчас опрокинется. Одну минуту осталось ему держаться. Прыгнули мы в реку с лошадьми. Я и еще молодой какой-то простой человек. Он только что из воды вышел и опять в реку. Река как грянет в уши — дышать нечем. Схватили мы за повод его коня с двух сторон, а он шатается, сейчас упадет. Зажали между двух коней своих и на берег тащим его изо всех сил, а Дебола побледнел, головой мотает, говорит только: «Прощай, дом мой родной».

Пошли мы греться в селенье на гору, сели у огня. Я гляжу, кто такой со мной в реку прыгал, не боялся,— молодой такой человек, усов нет, бороды нет, бодрый такой, глаза горят, смеется, говорит:

— Не знаешь, Симон? Я Цаголов, зови меня Георгий.

— Хорошо,— говорю,— ешь, пей, Георгий, ты хорошо поступил, что в реку бросался. А скажи мне, кто ты есть такой?

— Я керменист,— говорит,— и борюсь за свободу, революционер,— говорит,— а родился я в селе Христианском.

Тут подходит Дебола и за спасение жизни много говорит слов, очень больших и приятных, и руку жмет. Георгию на меня показывает:

— Это Симон, дигорец, наш человек.

— Ну что ж,— говорит Георгий,— братья-большевики, отдохнем да за дело возьмемся.

Стал я присматриваться с того дня к Цаголову. Хочу знать, что такое: я молодой, он молодой, а мы с ним раз-

ные. Огонь в нем какой-то есть, нет у меня такого. Это правда — ученый он, а я в грамоте очень плох тогда был. Глаза его шире смотрели, а я, как ястреб, прищурясь оглядывался. Но я думаю, что в реку ему трудней было прыгать, чем мне. Привычек у него горских не было. Городской он был человек. Для гор — не свой. Рассуждал он зато как мудрец какой, а я тогда думать совсем не мог, просто коня хлестал и бежал не оглядываясь.

Раз строили мы засаду белым. Пришел к нам старик, поглядел и сразу идет к Цаголову,— угадал, что начальник,— говорит ему:

— Воевать будешь, с белыми воевать будешь?

— Буду,— говорит Цаголов,— а ты что?

А старик — старый, мохнатый, сто лет на плечах, трясется:

— И я буду воевать, дай мне ружье, стрелять буду.

— Иди спать,— говорит Цаголов.— Дед, послушай, спать иди. Куда тебе воевать.

А дед подошел, и взял его за руку, и дрожит сам, как огонь.

— Не хочу спать, не иду спать. Меня и Такоев спать посылал, а я и тогда воевал, и Такоев мне ружья не дал, а я и тогда воевал.

— Как же ты воевал?

— Да я шел вверх и со скалы камни бросал им на голову. Вот как воевал.

Тогда Цаголов взял деда за руку.

— Дед, иди спать! Мы тебе отвоюем старость, будешь помирать в тепле, да еще до смерти белую кашу есть будешь.

Замотал дед головой, говорит:

— Не дашь ружья? Не хочу каши, не хочу белой каши,— буду камни бросать на них. Я большевик, а ты меня гонишь. Не наш ты после этого, какой ты наш после этого!

Засмеялся Цаголов, обнял его, поцеловал. А рассказал я этот случай потому, что, знаешь, про большевиков тогда слухи нарочно пускали. Приходит ко мне другой старик, в чем душа, хватается за палку, чтоб не падать, спрашивает:

— Где здесь Симон-большевик живет? Покажи мне Симона-большевика!

— Это я,— говорю,— дед. Не хочешь ли ты в нашу партию записаться? Помолодеешь сразу.

А он отшатнулся от меня, замахал руками и палкой, смотрит на меня, говорит:

— Сними шапку, сними шапку!

Снял я шапку, он голову мне погладил, полазил в волосах, рассердился.

— Зачем обманываешь ты меня? Стыдно тебе, молодому, над стариком смеяться. Какой же ты большевик? — говорит.

— Настоящий, дед, большевик,— говорю,— весь с головы до ног большевик, и конь у меня и ружье у меня большевистские.

— А где же рога твои? — спрашивает он и все оглядывается, оглядывается.

— Какие рога, дед? Рога у коров, у быков бывают, а мы с тобой люди.

— Да мне говорили, что все большевики рогатые и на людей не похожи,— говорит дед.— А ты как будто человек, и рог нет.

Вот какие старики были. Разные были у нас старики, и молодые разные. Но много удивлялся я Цаголову. Сидели мы у реки в сакле, и такая ярость была в реке — словами не рассказать. Не могли мы говорить и слушать друг друга. Перекричала река голоса. И говорю я Цаголову:

— Умен ты, Георгий, а скажи, зачем это такая сила реке дана? Такая сила, Георгий! Смотри, мост рухнет, все в реку пойдет — арба пойдет, лошадь пойдет, бурка пойдет, кинжал пойдет, женщина пойдет. Зачем такое сделано, чтоб зря такую силу пустить и день и ночь, и даже лед ее не схватит никак, и лед ломает она?

Он посмотрел на меня и говорит:

— Сила реки, Симон, служит людям.

— Какие слова ты сказал, Георгий? Дурным людям служит она. Какие разбойники или белые кого убьют — в реку бросают, и она,— как русские товарищи говорят,— концы в воду. А как будет в ней сила большая от дождя или от снега — выходит из камней, сакли зальет, скот душит, людей душит. Не такие слова сказал ты, Георгий.

Он посмотрел на меня еще и говорит:

— Если взять и поставить плотину, и задержать эту воду, и направить ее в особые машины — всю Осетию можно электричеством осветить. Не доживу я до этого, Симон, не увижу, а ты пойми мои слова, и я тебя не обману. Увидишь ты, как укрощают эту реку, будто свирепую лошадь. И она, как лошадь, станет первой работницей.

Замолчали мы все, и я испугался. Какие же люди должны с такой водой бороться, если и лошади и буйволу не справиться с самым мелким местом, а где глубже — туда, как в могилу, и глядеть никому не хочется?

Еще раз улыбнулся Георгий.

— Ты сам, Симон, будешь с ней бороться. Не с этой именно, с другой, а поработать придется. И ты поработаешь не жалея рук.

Я посмотрел в воду, и голова у меня закружилась.

— Воевать я буду,— сказал я от всего сердца,— с белыми до конца, а с водой остерегусь.

Засмеялись все надо мной, и первый Георгий.

— Не то будет,— сказал он,— обе Осетии вместе будут — и та, что за хребтом, и эта. Из Христианского в Цхинвали будешь по шоссе через туннель зимой ездить, Симон, в гости.

— Не будем, Георгий, сказки рассказывать, не те времена сейчас,— сказал я.— Конечно, книги многое могут описать, но не все книги в один час перескажешь.

— Погоди сердиться,— сказал Георгий,— осетинам, тем, за горами, знаешь, хлеба хватает с трудом на пять месяцев, а потом они сидят и глядят в огонь, а печь им нечего. По тропинкам на себе, через снег, вокруг, в такую зиму носят хлеб. А что это стоит! Люди гибнут в дороге, лошади гибнут. И это не книги, Симон, это правда; и любой человек скажет, что это правда. И сказкой большевики не питаются. Мы хотим дать Осетии свободу и хлеб, а не одну бумагу, где написано о свободе и хлебе. И ты не за бумагу воюешь и себя тратишь, Симон, жизни своей не жалея. Правда, Симон?

Я замолчал и думаю: «Нет, не придет такой день, что я буду с такой сильной рекой бороться. Да как бороться, я не знаю,— я только стрелять и умею, а в воду стрелять ни к чему».

Уехал от нас Цаголов в другое место, а я все не переставал думать о нем. А я был очень маленький человек, прямо камешек, а кругом такие горы стояли — солнца не видать, зима к тому же. Но я, знаешь, если сказать другими словами, не унывал. Радовался очень за Цаголова, что он такой молодой ум носит. А печалился я за него, что он так горько говорил мне: «Ты увидишь, ты доживешь; я не увижу, я не доживу». Почему так он это говорил? Я спрашивал товарищей, и они удивлялись такому разговору и ничего сказать не могли. Так жили мы, воюя день и ночь, и, как

волки, сторожили белых. Где у них слабое место, там сразу кусали, чтобы помнили, что мы к весне не подохнем, мы еще живы, и зубы у нас на месте.

Поймали мы шпиона, кулака. Спрашиваю я:

— Ну, как Бета Хабаев, тепло ему, хорошо спит, не беспокоится ни о чем?

Шпион говорит:

— Спасибо, ничего, хорошо спит. Ты ему снишься на виселице, и тепло ему, конечно. Это ты дрожишь и сдохнешь от холода.

— Ты раньше сдохнешь,— говорю я ему,— а нам живется тоже тепло, даже жарко.

— Живется, да не всем,— говорит шпион,— махадзар,— говорит,— многим очень плохо из ваших, хуже, чем мне у тебя.

— Кому же,— говорю,— так живется? Скажи перед смертью и умри спокойно.

— Спокойно я умру,— он говорит,— потому что Цаголов ваш и другие со мной помрут.

От этих слов было со мной, знаешь, как на горе, когда обвал всю ее потрясет и такой пустит дым и огонь: где деревья были — пусто, и где камни были — пусто.

И сказал шпион, что предали Цаголова осетины-контрреволюционеры и держат его в плену, в таком далеком месте в горах, откуда к белым не добраться и к большевикам далеко.

Стал я болен такой мыслью, что сейчас говорю другу одному: «Едем; так или не так — узнаем». И он сказал мне: «Едем». И уехали мы в такую глушь, где я бывал, правда, но так редко, что меня там и не знали. Взяли мы все на дорогу и поехали. Знаешь, страна моя Осетия такая большая и гористая, что если бы ты эти скалы видел, плакал бы и говорил: зачем я сюда пришел? И слезы бы у тебя выступили на глазах и замерзли бы на ресницах, потому что была зима. И мы были как охотники. И ехали, веселясь, чтобы внимание отвлечь, а сами дрожали, как скрипки во время праздника, но только не весело, а как на могиле.

А скалы там — родных забудешь, дом забудешь, все забудешь,— как чугун черные, как чугун тяжелые, как утюги гладкие, снег не лежит. И люди там нехорошие, больше, чем в другом месте, нехорошие.

— Зачем,— спрашивают,— едете?

А мы отвечаем:

— На свадьбу едем.

— Почему не везете вина с собой?

— Кто же на свадьбу вино возит?

— Смотрите, чтоб на ту свадьбу ружье звать не пришлось.

Мы молчим и едем. Спрашивают другие: не охотники ли мы?

— Охотники,— говорим.

— Так вам нужно помнить, не забывать пословицу: на медведя идешь — песни поешь, на кнура (кабана, значит) идешь — попа зовешь. Вам поп не понадобится ли?

Мы молчим и едем дальше.

Приехали мы в то место, какое указал шпион, и стали на отдых к одному знакомому человеку. И сказал он:

— Все так и есть. Видеть Цаголова и других можно, только обдумать надо.

И сели мы думать. И сказал знакомый так:

— Идем и будем пировать здесь со всеми, и говорить об охоте и тяжелых временах, и ругать большевиков, а там, за саклей, есть ход в гору, и там пещера, и в этой пещере у башни держат их... и нельзя ли их выкупить.

Были с нами деньги, и мы пошли. И мы познакомились с людьми того места — истинными злодеями; и руки мои дрожали от бешенства к этим предателям.

И я мигал товарищу, и мы купили им араку, и сидели у огня, и ели хабизджин — пироги с сыром, и ели дзика — молодой, мягкий, жирный, подогретый в котле, с пшеничной мукой, сыр, и ругали тяжелые времена, и говорили об охоте, и я мигал товарищу.

И вот затянули мы песни, и стал я говорить с ними вполголоса, и, пьяные, они стали хвастаться, говорили: «Больших людей продавать будем и разбогатеем к весне».

Я сказал тоже, как пьяный, что я охотно куплю их, если меня пустят посмотреть. И мне сказали: пустят на другой день.

И на другой день с утра пили они нашу араку, а я пошел, как пьяный, за сакли и товарища оставил с ними, чтобы они в мое отсутствие не подозревали. Взял я одного из них, шатался он, и я его держал и чуть не душил, и бросил его в сугроб, и вошел в башню, где пещера.

И встал, смотрю: лежат они в лохмотьях на соломе, не шевелятся, хрипят все, кашляют, больные, и молчат. Думают, я из бандитов какой есть. Я подошел и не мог смотреть,

слезы пошли, понимаешь, от горла назад; не мог я плакать в таком месте. Я смотрел: Цаголов спит и болен, и я потолкал его в плечо, и он очнулся, и сел, и шатался. Я вспомнил, что он говорил мне, и какой он был бодрый и веселый, а теперь лицо его как стена — не могу забыть его никак. Я стою, и язык мой, как у пьяного, ходит во рту. Я слова потерял. Он посмотрел на меня так, будто умирает, и сказал:

— Вот опять бред. Симон говорит со мной, откуда прийти Симону?

Тут схватил я его за руку, держу руку, говорю:

— Это не бред, это помощь.

И что дальше говорить — не знаю, что дальше говорить. И как помочь? И товарищи его — какие лежат, как мертвые, какие храпят. Холод большой стоит в башне — овца и та смерзнет, бык и тот смерзнет. Не знаю я, что тут делать, но входит пьяный, тот, кого я в сугроб кинул, и говорит:

— Большая болезнь у них, и они сдохнут. Давай деньги, пока живы.

Лежала там чеури — доска с осколками камней для молотьбы,— и хотел я разбить ему голову о ту доску, но он замахал рукой и ушел. И я ушел, и ушел, сам как мертвый. И меня спросили, что со мной, там, куда я вернулся. Я сказал:

— Много пил, и мне нехорошо.

И отошел с товарищем и говорю:

— Что будем делать?

И он сказал, что вел разговор, и они пленных не продают, не соглашаются. И я хотел еще ночевать, но мой знакомый пришел, говорит:

— Уезжай, Симон, сейчас же, иначе будешь сам в той башне. И арака вся, и они уже трезвеют, и дурное может для твоей жизни выйти.

И уехали мы, как с кладбища,— и ехать нельзя и не ехать нельзя. Я вспотел от злобы, и холод меня не берет. И думаю я: что такое делать? И смотрю: журчит ручеек; гляжу — снег тает понемножку; гляжу в небо — и небо улыбается, весна скоро. Вот вспомнил я Бету Хабаева: «Сдохнут большевики к весне»,— и проклял его, и погнал коня, и уже знал, куда еду я и что делать. Приехал я к другу; моему Гастыеву, другу моего сердца. Увидел мое серьезное лицо Гастыев, велел женщинам выйти, и женщины вышли. У нас тогда с женщинами не советовались, это

теперь они место получили, а тогда они стояли в тени, и доверия им не было, хотя были среди них и замечательные.

Гастыев говорит:

— Что с тобой? Вижу — далеко ездил, что привез?

Я сел, и молчал, и смотрел на него. Я так долго смотрел, что он спросил:

— Что смотришь?

Я сказал:

— Люди, Гастыев, погибают, большие люди погибают, надо им помощь дать. Или пусть погибают?

Он оглянулся, как бы не доверяя ушам и словам, и сказал:

— Надо давать помощь.

— Тогда скажи мне, кто такой Цаголов?

Гастыев посмотрел мне в глаза и нашел, что глаза мои тверды.

— Ты есть большевик?

— Да, я есть большевик.

— Ну, так и Цаголов большевик.

— Что делал он, я хочу знать. Я вижу, что он большой человек.

— Он родился у попа, но поп сбросил бога и рясу и стал керменист, а сын обошел всю Осетию, голосуя за список большевиков, и он собрал много голосов.

— А что он делал потом? — спросил я, как бы пропуская слышанное мимо. На самом деле я хотел все знать сначала и говорил, как говорят о подарках невесте, таким голосом.

— Потом он ехал в Тифлис, и товарищ Шаумян, чрезвычайный комиссар... ты знаешь, что значит комиссар?

Я кивнул головой.

— Он делал его председателем Реввоенсовета; ты знаешь, что значит председатель Реввоенсовета?

Я кивнул головой.

— Он должен был закончить турецкий фронт и пустить домой трудящихся.

— И он всех отпустил и все исполнил? — спросил я.

Тут Гастыев кивнул головой и продолжал:

— И потом Шаумян взял его в Баку, и они работали вместе.

И он сказал еще:

— И ты знаешь, что потом Цаголов стал председателем Дигорского реввоенсовета. Это большая голова и светлая, как снег на заре.

Тут я встал и сел,— это выдало мое волнение. Гастыев сказал:

— Ты думаешь, мы не знаем всего? Ты думаешь, мы забыли товарища, который так боролся и так отдавал все на борьбу? А, ты плохой большевик, если так думаешь. Скажи мне, ты ехал сказать, что осетины, самые черные из осетин, предали его, и взяли его в плен, и держат его в башне, в пещере и на морозе?..

Тут я не мог больше терпеть.

— Он болен,— закричал я,— и он говорит, как с того света!

— Ты устал, Симон,— сказал мне Гастыев.— Возьми бурку и ляг в теплое место. У Георгия тиф, и он бредит, он не узнал тебя?

— Дело разве такое? — закричал я опять.— Дело не такое! Что узнал, что не узнал? Его надо брать оттуда. Я ехал к тебе, чтобы говорить о таком деле, где кровь кипит в моих жилах. Зачем я спрашивал? Папа-мама мне его интересны? Да, очень мне интересны его папа-мама! Зачем ты меня мучишь? Говори до конца.

Гастыев сказал:

— Ты не знал до конца, кто такой Цаголов, и я тебе сказал — теперь ты знаешь.

— Ты понимаешь,— кричал я (я сам как заболел и говорил в бреду),— он хотел не дожить, не увидеть, как река будет работать на людей; и мы должны сделать так, чтобы он дожил, чтобы он увидел,— вот о чем я говорю.

— Погоди, Симон,— сказал мне Гастыев,— осетины просят за него десять тысяч рублей. И мы дадим их, и они привезут его. И товарищ Хусина Уртаев, и Миша Калагов поедут за ним и за товарищами — вот какова истина дела, и ты теперь знаешь все.

— Гастыев,— сказал я,— большие деньги просят за него, и он стоит — ма-хадзар! — таких толстых денег. Но нам, большевикам, нужны такие деньги. Я беру людей, и когда они поедут обратно с деньгами, я буду пить их кровь, я отниму у них все до гроша и все верну тебе.

И, несмотря на крики Гастыева, я бежал из сакли, и за мной гнался народ, и я забыл дисциплину партии и пошел один, потому что любил этого человека. И я поехал собирать людей, делать отряд — напасть и отбить деньги. Ехал, и люди шли на мой зов, и я ездил один с ружьем и никого не боялся. Ехал я вечером, и уже был март. И я ехал, и горы

шли по сторонам, как лиловые облака, и я любовался и не увидел, как надо мной подымаются по узкой тропе. Конь стал вдруг, и сверху закричали мне. Я взглянул и узнал, что кричит мне Цыца,— а Цыца был мой родовой враг, но я забыл про него и никогда бы не трогал, как стал большевиком. Но он сам кричал сверху:

— Готов ли ты к смерти, Симон?

Тут я стал стыдить его и ругать всеми словами и не отстегивал винтовки, а он кричал:

— Вы перебрали три года назад, на двоих перебрали убитых в моем роду, и я тебя сочту за двоих. Готов ли ты к смерти, Симон?

— Цыца,— кричал я,— когда Осетии нужен каждый человек, ты дурак, если убьешь меня! Вспомни, как забыли сейчас кровничество! Как сражались с белыми Такоев и Уруймагов и убиты вместе, а они были кровники; как сражались вместе Галиев и Дзарогов, а они были кровники.

Но он ругался и кричал только свое:

— Вы перебрали двух убитых, вы перебрали двух убитых!

Тогда я покраснел до корня волос и закричал ему:

— Убивай скорей, дурак!

Он выстрелил и попал мне в плечо. Я упал с лошади и разбил лицо и зубы. Я встал, залепил снегом плечо и освежил лицо. Влез на лошадь и с трудом доехал, проклиная Бету Хабаева и всех его слуг. И по причине этой моей горести я не мог отнять у разбойников десять тысяч, и осетины привезли Цаголова и других на берег Фиагдона и уехали, забрав грязными руками эти деньги. А сам я валялся и кричал, потому что на ране стала гнилая боль. И я спрашивал: как, будет рука у меня или не будет рука? И мне говорили: будет. И я спал, а когда просыпался, очень досадовал, что не убил Цыцу и не перебрал третьего в его роду.

Вылечился я, когда уже солнце грело, как печка, и я ходил и шевелил рукой; я радовался, что могу шевелить. Тут я узнал, что Бета Хабаев вызвал белых, и они идут на Христианское, и что надо идти в горы и скрываться. Я взял лошадь и одной рукой владел хорошо, а другой плохо. Сел и поехал в Христианское, а не в горы, потому что там лежал Цаголов, и я хотел увезти его — и не успел в том.

Меня догнал один человек, молодой, чужой мне человек, и сказал:

— Пойдем пешком в Христианское. Идут казаки, и если мы будем верхом — лошадь отнимут, а нас убьют.

Я сказал, что знаю, где можно прятать лошадей, и мы спрятали их рядом и хотели пойти, но уже все было окружено, и генерал Вадбольский ездил по полю, и восемь тысяч казаков ездили и ставили сто пушек, а генерал усмехался, и к нему звали делегацию, а он ругал делегацию, и велел все население выгнать из домов, и усмехался. Тогда я сказал студенту (он мне сказал, что он студент), чтобы он стерег лошадей и что я пойду в селение за Цаголовым. Студент признался, что ему велено вывести Цаголова из селения, и он попробует это сделать, а я пусть караулю. И я караулил, и сердце мое билось, как будто я переезжал реку, и лошадь падала в воду и тонула, и я тонул вместе с ней. Я слышал выстрелы, и заболело мое раненое плечо, и несчастная рука заныла так, что я не знал, что делать. Не дождавшись студента, я пошел сам, оставив лошадей,— и никого не нашел. И едва ушел от казаков и вернулся к лошадям; у лошадей лежал студент и плакал в траву. И я поднял его, и он плохо стоял на ногах и от страха ничего не мог говорить. Тогда я поставил его на ноги. Боль у меня сразу прошла. Я приступил к нему, и он сквозь слезы рассказал:

— Цаголов скрылся в сарай, и сарай указали казакам предатели, и казаки стреляли по сараю и пробили его пулями, а Цаголов был невредим, потому что он лежал на полу. И когда пули пробили сарай, он встал и поднялся на крышу и увидел казаков. И они перестали стрелять, и он соскочил с крыши и стал перед ними. Ему было двадцать один год и девять месяцев, а казаки верили, что большевики — чудовища с рогами, и не хотели его слушать, но он им сказал:

— Да, я большевик, я Георгий Цаголов. Да, я — свободный осетин. Что вы идете с оружием против трудящихся? Я сам жил как барин, я сам рос на жирных цыплятах, я рос на сливках, а теперь погибаю за равенство народов и за вас в том числе, трудовые казаки. Зачем же вы боретесь, слепые люди? Вы ослеплены мироедами, капиталистами и вашими офицерами-белопогонниками, и они хотят поработить вас, быков сделать из вас, лошадей сделать из вас, рабов сделать!

Тогда казаки стреляли в него, но он не упал и сказал:

— На моей крови, на крови других борцов будет, хоти-

те вы или не хотите, создан коммунизм! — и спокойно умер.

И студент все больше плакал, а я сказал:

— Ударим на них вдвоем и убьем столько, сколько сможем.

Он стал белый, как зима, и затрясся. Я вынул винтовку из чехла, и несчастная моя рука упала, как плеть, и боль была такая, что я кусал язык; и я ехал прочь, проклиная Бету Хабаева и всю контрреволюцию. Всю ночь была боль, и еще другую, и третью.

Потом мы хоронили Цаголова в селе Христианском и ставили памятник. Я помню только, как говорил он. А что он сказал мне о реке — я больше всего запомнил. Ни один человек не говорил мне, дикому горцу, что такое может быть, чтоб от реки был свет. И я уже совсем потерял сон от безумной мысли, и мне казалось, что я стану как сумасшедший, что я брошусь в реку.

И тут пришел конец белым, и рука моя стала как здоровая, и плечо мое вернулось ко мне тоже. И вот был праздник, и люди скакали на красивых лошадях, и много ели, и много говорили речей, и пели песни, и танцевали в хороводе — танцевали чепена́, танцевали симгу и танцевали касгонкавд,— потому что война давно кончилась и было начало строительства.

Дебола мне говорит:

— Слыхал ты, Симон, что строят станцию на Куре у Зем-Авчал? И от этих работ на пол-Кавказа светло будет. Будет свет гореть до самого Коби и до самого Тифлиса.

И рассказал он, как на Куре давно уже работают и воюют с рекой; и так хорошо изобразил он, как покойный Цаголов, но словами такими, что вся душа моя пошла хороводом,— и я плясал, как помешанный, чепен, и симгу, и касгонкавд и все приговаривал:

— Белых воевали, пойдем воевать реку, белых воевали, пойдем воевать реку!

И я собрал свои вещи и пошел на Загэс. И стал там работать чернорабочим сначала, потому что ничего в жизни, кроме горя, не знал и ничего не умел. И такое я увидел там, на Куре, что никакой университет не покажет, ни в какой книге так не описано. И потому я немного скажу вам об этом, что я такое увидел.

Две реки там сливаются вместе, и в одной вода голубая-голубая, как бирюза, и зовут реку Арагва, и в другой вода желтая, как будто чистят песком большой котел. И строят

на второй реке — Куре — большую плотину, одну плотину, другую плотину, и день и ночь роют, и такое множество народу, что можно заблудиться, как в лесу, между людей. И все кричат: «Хабарда, хабарда!» — что значит: берегись,— и кладут динамит, и рвут скалы так, что грохот больше, чем в реке. И смотрю — река присмирела, и как будто ей все равно, что с ней делают, но это не так.

Я работал в низу плотины, где убирали камни, и там стучали пневматические молотки. Я теперь техник на Гизельдонстрое и знаю все такие вещи, а тогда ходил, нюхал и лизал, как коза соль, и все казалось вкусно и все непонятно, как во сне. И там мы работали, как быки и как буйволы, потому что не жалели сил на такое строительство. Одни раскалывали большие камни на куски, другие увозили их, третьи сверлили сверлами гору, и сверла дрожали, и люди дрожали, как зимой на ветру,— а, между прочим, была такая жара,— и маленькие паровозики пыхтели, и маленькие вагончики бежали вверх и вниз, и камни падали, и река ревела вдруг, что ее обижают, и блоки скрипели.

Мы все работали в лохмотьях: от камней и от осколков одежда вся горела, как на пожаре, и никто не жалел одежду, и все стирали пот другой стороной руки; и было так шумно и так весело, как ни на одном празднике. Тогда еще не знали ударных бригад, товарищи, но все мы были как ударная бригада; и бараки себе, чтобы жить, мы ставили в четыре дня, и здесь я научился работать плотником.

И когда я стал смотреть, какое множество народа вокруг, то увидел, что все разный народ, и дивился, что вот как мы живем хорошо, а раньше все, как собаки над костью, грызлись. Работали здесь осетины, грузины, абхазцы, русские, шведы, армяне и татары и много других. Я понял, что это и есть интернационал, потому что за эту мысль давно бились в гражданскую войну. Мы сражались за кабардинцев под Пятигорском, за грузин трудящихся — в Раче, и теперь все строили мирную жизнь.

Так много языков было вокруг, что я стал со всеми иметь большое желание говорить и понимать каждого. И по-русски я говорил хорошо, потому что много слов у нас было общих. Я говорил «мад», а по-русски это значит — мать, и я говорил «мит» и «мазг», а по-русски это было — мед и мозг, и по-нашему «сердсе» — по-русски значило:

сердце и «зима» по-русски — по-осетински будет — зимег. Так что объясняться я стал очень скоро и удивился, что у грузин мать говорится «деда», а отец — «мама»; и по-грузински я уже говорил утром на работе: «Гамарджоба, амханнаго», или: «Хогасахард, кацо?» — что значило: «Здравствуйте, товарищи», или «Как здоровье, человеки?» И, уходя, говорил «до свиданья» по-грузински — «мшвидоб». И так нравилось мне, что я понимаю многих трудящихся. С каждым хотелось мне говорить о наших делах и о нашей работе.

Если же я не понимал товарища, который пришел только что или был тюрк или абхазец, то я говорил одно слово: «Ленин», и он говорил: «Ленин», и мы объяснялись знаками или находили переводчика, но я уже знал, что это — наш человек.

И раз говорил я с человеком, и он был мрачный и в крови, потому что камень повредил ему руку. Я показал ему, где фельдшер и как идти. И он не отвечал мне, а кивал головой, и когда я сказал: «Ленин, товарищ», он поднял глаза, большие, как у кошки, и сказал: «Магомет». Он не сказал: «Ленин». Я думал, что это есть закоренелый мусульманин, и сказал:

— Нет Магомета, но ничего, ты проживешь без него.

Но он заговорил по-грузински — он был аджарец — и все повторял: «Магомет, Магомет». Тогда я сказал:

— Зачем ты не отвечаешь мне, раз ты понимаешь язык? А если ты долбишь все: «Магомет, Магомет», то, значит, ты дурной человек, и тебя обвели муллы и попы, и ты должен быть с нами, а не с ними, раз мы вместе боремся с рекой за строительство.

И он погрозил мне кулаком, а я ему ничего худого не сделал. Но я запомнил этого человека, и он был до конца плохой человек, и как стали у нас болеть рабочие,— пили они нездоровую воду по своей неосторожности и получили разные болезни живота,— то он ходил в бараки, говорил тайком, что все от болезни умрут, так как против бога и Магомета дело делают. И я поймал его за углом, когда он говорил отсталым элементам, что тиф нарочно разводят — народ извести, и столько согнали в одно место.

Он говорил, как делают тиф: берут гнилое мясо от шеи, мочат его три дня и три ночи, выжимают, варят, потом три столовые ложки дают мышам, и мыши едят и разносят тиф.

— Какой ты большой дурак, и дураки, кто тебя слу-

шает! Мы, большевики, плевали на мышей и на таких, как ты,— сказал я.

И он испугался моих слов, и больше не работал, и ушел, откуда пришел.

А рассказал я это потому, что стал думать опять над собой, и учиться, и все смотреть — и труд какой, и машины какие, и уменье какое нужно пролетариату. И вспомнил дорогого товарища Георгия, как это он верно говорил, а я ему не верил, что вот я действительно буду с рекой бороться, такой, как наша, и будем строить, чтобы был свет от Коби до Тифлиса. И такое большое хозяйство развелось у нас в этом месте. Тут и овраг Пациа-хеви надо было взять в трубу, и канал строить тридцать метров ширины, восемь глубины, и плотины класть, и мосты ставить, и дно бурить, и камни убирать; и шла работа в три смены — днем и ночью. Я работал и смотрел, какие разные случаи мешают нам еще и какая еще контрреволюция где притаилась. И первая контрреволюция была, скажу тебе, река. Она то так тихо кипела, как будто ее нет, вся вышла, то вдруг бросалась хватать, как кошка мясо, все, что попадет. И вторая контрреволюция была — дикость нас самих, жителей, что не все ходили с разумением, а носили арбузы на плечах, а не головы. Гулял я в соседний городок Мцхет — такой маленький городок, старый, ничего себе городок. Там сидели иногда с приятелями в духане, вспоминали разные времена и очень хорошо говорили. Я люблю танцевать и человек был совсем молодой, но я тебе скажу: когда это красиво выходит, я стою за такой танец.

Прихожу в Мцхет, у духана остановились два воза с хворостом. Буйволы поворачивают головы, нюхают и хлюпают ноздрями. Грузины соскочили с возов и пошли в духан. Они выпили по кварте вина, и больше ничего. И один стал сразу вытанцовывать, и совсем не оттого, что пил, а так, от души: просто живости в нем много и уходит она в ноги. Очень хорошо! Сначала танцевала одна нога, потом другая пошла рядом, потом танцевали обе ноги уже вместе. Потом так ловко стал он вертеть поясом, что приятно смотреть. И вижу — плечи не выдержали, пляшут, и только голова смеется, не пляшет; ну, потом сейчас и голова особенным образом качнулась и поплыла.

Второй грузин, маленький, смотрел, смотрел. Хозяин вышел из-за прилавка и стал подталкивать его слегка к старшему товарищу, а тот летал в воздухе, уже уставать стал.

Вдруг маленький подбоченился, согнулся, как ящерица, ударил в ладоши, подмигнул мне и пошел тоже. И летали они, как змеи, не касаясь пола, так что было весело смотреть на них, потом разом крикнули, и вскочили на возы, и стегнули буйволов, и буйволы хлюпнули ноздрями и скрылись, как появились. Вот так это даже очень занимательно веселились, трудовой процесс не нарушая при этом. А то прихожу я в духан другой раз, сидят сплавщики и хотят плясать, с самоваром чтобы на голове. Хозяин самовара им не дает и правильно рассуждает: зачем пьяный будет горячую воду на себя лить, жизни лишаться. Они пьют, как лошади, ржут и копытами бьют,— нехорошо очень.

Вдруг один говорит:

— Кацо, кацо, хорошо ли ты плоты увязал?

— Кому твои бревна надобны,— говорит другой,— пей на здоровье и сиди!

— Плохо привяжешь — река унесет,— говорит первый.— Кура подымается, ночью что будет, в горах дождь шел.

Я думаю: «Вот дурные головы, лишаются заработка такого утомительного, и все нипочем». А они сидят пьют; один ушел — пришел, едва идет, говорит — едва говорит:

— Кацо! Нехорошо выходит, бревна вниз идут сами.

Тут стали люди смеяться, думали — шутка. И я смеялся и пошел со всеми посмотреть. И вдруг мне так холодно стало, как бревну в воде.

Оторвала река плоты, била об камни и разорвала веревки, все бревна пошли вниз и гремели, как пушки. И бежал я из Мцхета как есть, шапка в руках, и другой рабочий народ бежал, потому что у нас переходный легкий мостик был у городка; и вот видим: мчатся бревна и ударяют в мост, и мост наш кое-где обвалился и утонул, доски упали и поскакали за бревнами вниз.

А мы бежали вдоль берега и кричали, потому что там дальше, на реке, стояла на плоту забойная машина для свай, и бревна несло прямо на нее, и если бы они ударили прямо на нее — хоронили б мы забойную машину, и не видели б ее никогда больше. Но, к счастью, обнесло ее бревнами; и они шли все вперед; и мы опять кричали, потому что впереди стояли на мелкой воде буравные плоты и бурава были загнаны в дно — и конец им грозил от бревен.

И я хотел уже достать свое оружие и стрелять этих дураков: так я рассердился. Но бревна были умней этих

людей, и они нырнули под плоты и кряхтели, кряхтели, вытащили на своей спине бурава, загнанные в дно, и не повредили их, а ушли себе вперед. И плоты только качались, ничего им больше не сделалось.

Вот люди какие разные бывают!..

Мы бежали, и кричали, и боялись за машины, за наши работы. А сплавщики посмотрели — бревен нет, пошли себе в духан, и плясали с самоваром на голове, и облили горячей водой головы, и пошли спать тут же на полу, и это были очень безобразные люди, смотреть на них не хотелось.

И тут стал я понимать, какое есть новое обстоятельство и какое старое. Новое было — наша работа с утра до утра, а старое — стояло, смотрело и сложило руки, и это был наш враг. Вот почему надо было бороться и жить по-новому, а не как сплавщики или как человек, что говорил: «Магомет, Магомет». А что такое Магомет, когда есть много выдающихся товарищей, партийных? Что сделал трудовому народу Магомет?

Вот еще один раз говорят мне:

— Товарищ Симон! Почему это товарищ Серго ходит в монастырь почти каждый вечер и как это так выглядит?

Я сказал:

— Нехорошо это выглядит, и я сам пойду смотреть, что нравится ему в монастыре, товарищу Серго, который так хорошо работает для социализма.

Монастырь один был там у нас, на верху горы; туда в старое время лазили богу молиться; а другой — пониже, там и сейчас еще живут разные несознательные элементы. Я пошел, конечно, вечером, как услыхал колокол, в этот монастырь. Я пришел и начал всматриваться, что там за люди, и увидел такое, очень любопытное.

Вот, понимаешь, зазвонил колокол, и по лестницам пошли монахини. Старушки, старушки такие сморщенные, как лимон, и хохолки, как у куриц, и молодые — без кровинки, восковые,— тащат аналой такой и ставят; и выходит баба, главная монахиня, и читает, читает, точно спешит на тот свет, жует старыми зубами и глядит на всех. Как взглянет недовольно, так все петь начинают.

Ну, я тебе скажу, что мы, осетины, так себе считались верующие, никто не шел креститься к попу. В старое время два рубля платили и платье давали, как придешь креститься. Мой дед четыре раза ходил, лез в воду, и в пятый пошел, но его поп стыдить начал.

Прежде мы к поповскому богу очень плохо относились, и сейчас я не мог смотреть больше, как они поют.

У нас в кооперативе продают спички, папиросы, булавки, и там лежала утром большая рыба, «чинари» называется, «усач» — по-русски. И она лежала на прилавке, трепыхала жабрами, мухи по глазам бегали, и она открывала рот быстро-быстро, черная такая чинари, усач из Куры.

И вот — смотрю — монахиня совсем как рыба: черная, и раскрывает, раскрывает рот, и дышать не может. Я стал смеяться про себя, искать, что делает Серго тут. И вижу: он стоит у колонны и усмехается скрытно. Я делал ему знак, чтобы он вышел; и он вышел, и мы сели на кладбище, и я говорю ему:

— Товарищ Серго! Кинематограф бывает у нас свой на Загэсе. Зачем ходить такие картины смотреть? Вредно такие картины долго смотреть, дураком станешь. У нас чистая работа — руками, а здесь, как говорят русские товарищи, вола вертят.

Серго усмехнулся и тронул меня, говорит:

— Я смотрю не на них, я смотрю на одну девицу.

— Какую девицу?

— Я хочу урон им причинить.

— Какой такой урон?

— Хочу одну монашенку в комсомол переманить.

Вот я стал смеяться, чуть с могилы не упал, вот я придумать бы не придумал! Удалось ему вытащить ее оттуда, она на Загэсе у нас работала, белье стирала, и очень неплохо стирала.

Смеялись мы с Серго потом, как я его за монашескую жизнь укорять хотел, как думал, что он хочет в святые пролезть на народные деньги.

Такие разные случаи бывают в жизни, а теперь особенно, потому что собирается большой народ для большой работы, и тут происходят геройские дела и обратные случаи.

Не спится мне вдруг почему-то, и удивительно тревожное смущение у меня, и плечо начинает ныть. Сижу я на берегу, передо мной Кура ходит серыми гребешками; и вспомнил я: наши реки как похлебка с камнями, и не верю Куре, никак не верю.

Сижу и смотрю на эту воду, и как будто в ней голоса ходят — и хотят меня поддразнить и проговориться боятся. А я сижу уже совсем другой человек, чем сидел тогда у переправы, когда Дебола тонул. Я уж и политграмоту

знаю, и рабочие навыки показал, и уже думаю — иду на курсы, как работа кончится, и уже сознательно дальше двигаюсь по дороге. Но почему у меня настроение — как будто бревно поперек дороги лежит? Что такое?

А ночь была теплая, и я стал вспоминать работы, что сделали. Выдолбили мы двадцать метров в скале, уже дно реки проступило, и надо заливать его бетоном. Очень хорошо.

Думы эти хорошие взяли верх, и я иду спать, оглядываясь на реку. Иду в барак — и спать не хочется. Однако встретил Серго, и стали мы курить папиросы, и говорить, и дремать стали, и так дремали, что сон прямо сразу одолел, и все стали спать, только ночная смена пошла работать.

Вот тут, понимаешь, рассказ наступает самый страшный. Сначала идет сон. Нехороший сон. Иду я по тропинке — и навстречу Цыца. И Цыца говорит: «Я стрелял в тебя, стреляй теперь ты в меня».— «Не хочу стрелять»,— говорю я. «Стреляй, говорит, или я тебя утоплю». Смотрю — на тропинке вода, по колено вода. Цыца меня толкает в воду, и я стою уже по колено в воде. Открываю глаза — меня Серго толкает, кричит:

— По колено в воде!

— Что, Серго, кто по колено в воде?

Серго трясется.

— Все по колено в воде!

— Что такое, что такое?

— Кура пришла, Симон, все бегут туда. Кура пришла!

Шум стоял, как будто паровоз шумел. Сколько людей жили в бараках и сколько работали, все бежали и говорили разными голосами. И все бежали к одному дому, где жил строитель наш главный, Баграт Михалыч. Все кричали на ста языках: «Выручай, Баграт Михалыч! Вставай, Баграт Михалыч, выручай!» И я так ясно представлял Цаголова, как он говорит: «Повоюешь с рекой, товарищ Симон», и я кричу: «Выручай, Цаголов!» И вот Баграт Михалыч вышел, в одной рубашке, в одних штанах, и побежал с нами вниз.

И тут я увидел Куру и понял, что такое предательство. Никаких тебе серых гребешков, никаких тебе таких голосков — вся светится прямо от злобы, и зубы скалит, и шумит, и шумит; и товарищи уже все в воде, и машины все в воде, реке конца не видать в темноте, и только гул идет, как ветер из пещеры.

— Вот,— говорю,— пришла контрреволюция!

Я хватаю лопату и прыгаю вниз — и прямо в воду по пояс. Вода хватает людей, инструменты, и надо класть плотину тут же в воде.

Баграт Михалыч командовал, командовал — голос потерял. Весь народ как будто купаться пошел — сразу все, сколько было, бросились в воду, и женщины прибежали, и все чернело от народа, и все шло в воду. Стали кидать камни, и песок, и землю, и фашины,— и вода свистела между камней, как змей, и казалось — этой ночи не будет конца, не выдержим мы. И стену разрывало раз за разом, раз за разом, и мы толпились, безумные, в поту и в воде, и руками и ногами катали камни, и крепили плотину, как могли. Все сказали, как один: «Не пустим реку!» И никто не ушел, все дрожали и страдали тут, в общей толпе.

— Симон,— сказал я,— тебя не убили пули, не убьет и река. Делай, Симон! Цаголов на тебя смотрит, Ленин на тебя смотрит, весь пролетариат на тебя смотрит.

И я уже забыл, где плечо больное, где сон, где усталость,— так мы работали всю ночь напролет, до рассвета. Я вошел в ужасное безумие и не помнил ничего. И так в забвении таком диком все передавал камни, передавал камни. И вдруг Серго говорит: «Смотри, брат Симон». А я смотрю и не вижу. И Серго опять говорит: «Смотри». А я смотрю и не вижу. И тогда он взял меня за руку и приложил ее к моим ногам, и своей рукой я увидел, что вода только до колен и еще ниже,— и это была победа.

Я посмотрел вокруг — светло уже было.

Все спали, знаешь, как птицы на перелете, две тысячи людей спали; и Кура была синяя и вздулась, как жила на руке,— ничего не сделала.

Потом мы кончали Загэс. Кончали станцию, пускали воду, ставили большого Ленина лицом к горам, давали свет в Тифлис. И люди в Тифлисе видели всю ночь, как днем. Это была наша работа.

Ехал я в отпуск домой и в гости, вижу — рабочие работают, значит, и тут строительство. И я спрашиваю:

— Что такое делаете?

И люди говорят:

— Шоссе будет в Цхинвали, товарищ.

Подумал я: «Будут юго-осетины тоже получше жить».

Душа у меня прыгнула, как у лошади глаз, когда она видит вдруг огонь. Подскочил я на седле и спрашиваю:

— Туннель будете делать?

— А ты откуда знаешь? — говорят.

— А вот знаю,— говорю,— мне один человек сказал.

— Ну, так,— говорят,— этот человек большое место занимает.

Я говорю:

— Очень большое в моем сердце, прямо трудно сказать, какое место.

— А кто ж он такой?

Я говорю:

— Наш брат — большевик.

— А,— говорят,— тогда все в порядке.

— И я так думаю,— говорю,— что все в порядке.

1933

КАВАЛЬКАДА

Я ездил изучать эйлаги — летние пастбища: меня очень интересовала жизнь чабанов. Вдосталь наговорившись с пастухами, наглядевшись на бесчисленные отары, до одури нанюхавшись дыма кочевых костров, искусанный блохами, которые неистребимо живут во всех кошмах пастушеских юрт, нагонявшись по пастбищам, я направился через высокогорные луга на север, чтобы отдохнуть после всех странствий в гостеприимной долине Самура.

Сначала я ехал в сопровождении только одного чабана, который вызвался проводить меня до ближайшего аула. Потом мы нагнали двух всадников и на следующий день ехали уже все вместе.

Один из всадников был плотный пожилой человек в очень вытертой шерстяной куртке, похожей на охотничью, с большими карманами. Фуражка его была надвинута на лоб. Вид он имел очень серьезный. Загорелый до черноты, с жесткими подстриженными усами, немногоречивый, он сидел в седле, как заправский горец.

Звали его Терентьев. Он работал ирригатором. Кавказ он изъездил вдоль и поперек. С таким спутником путешествовать не скучно.

Он может объяснить вам любое природное или бытовое явление, да еще с обязательным воспоминанием из собственного опыта. Правда, мы часто переходили на рысь, и рассказ невольно прерывался.

Рядом с ним скакал насмешливый молодой человек, которого он называл просто Сафар. Этот горец, отказавшийся от горской одежды и променявший ее на пиджак и брюки, заправленные в высокие сапоги, за исключением случая, когда он заговорил о том, что ему не удалось стать металлургом, а пришлось стать зоотехником,— и тут лицо его потемнело и глаза сделались печальными,— повторяю, за исключением этого случая, был вполне жизнерадостный и очень хвастал своим белым в серых яблоках конем.

На одной стоянке к нам присоединился пятый спутник — усталый милиционер, обросший рыжей бородой. Он возвращался из командировки в зимние коши, куда ездил по делу о похищении лошади у одного колхозника. Дело с лошадью запуталось, к тому же он простудился, чувствовал себя неважно и, громко кашляя, изредка разражался проклятьями по адресу хитрого конокрада. В остальное время он курил папиросы и молча отгонял нагайкой слепней от громадной головы ужасно худого мерина, на котором ехал, погрузившись в свои милицейские раздумья.

Луга в этих местах, можно сказать, вознесены прямо к небу: так высоко они расположены. Трава на них разной величины. То она достигала всего нескольких вершков высоты; то она доходила до колен лошади; то вставала выше головы всадника, и, вытянув руку, вы не доставали до ее верха. Пахли эти луга необъяснимо хорошо, и жар горного солнца умерялся внезапными порывами ветерка со снежных вершин, стоявших неподалеку.

Через несколько часов пути мы перешли на хорошо убитую тропу, которая привела нас в долину, полную прелести. Мы пустили коней шагом среди зеленых ковров, разостланных до самого подножия каменных осыпей. Над ними поднимались желтые и красноватые скалы. Эти скалы были так изрезаны выступами самой необыкновенной формы, что смотреть на них доставляло какое-то мучительное удовольствие. Игра света и тени в их изломах каждую минуту создавала профили небывалых красавиц или уродов, неведомых зверей и великанов или просто ваших хороших знакомых. Все ваши мысли вы могли найти осуществленными в этой каменной комедии масок, передразнивающей ваше воображение самым насмешливым образом.

Можно было часами длить эту игру, и глаз не уставал — так разнообразны и естественны были эти смены.

Легко очерченные в голубом небе красноватые камни теплого телесного тона сообщали возникающим призракам тревожную жизненность, будто здесь вы действительно приблизились к новой природе, такой, какую вы никогда не думали увидеть, и она была много сильнее и прекраснее той, к которой вы привыкли и к которой стали давно равнодушны.

Мягкие широкие тени узорно ложились на зеленые ковры трав и сбегали к обрывам лугов, где далеко внизу блестела речка, шум которой не долетал до нас.

Мною овладело какое-то тревожное и необъяснимое ощущение, сходное с тем, которое является в тот час, когда вы хватаете перо и начинаете непонятно зачем писать стихи.

Надо мной сиял голубой жаркий день, с высоким небом, со снежными вершинами, с необъятными далями, и в памяти неожиданно возник стих, не имеющий ко всему этому никакого отношения. Будто кто-то нашептывал мне в уши, как воспоминание, как напоминание о чем-то давнем:

Окончен труд дневных работ...
Окончен труд дневных работ...
Окончен труд дневных работ...

Я повторял как одержимый без конца эту строку, безотчетно и бездумно бормотал этот стих. Лошадь моя шла шагом, помахивая гривой. В общем звоне стремян, скрипе седел и похрапывании коней явился мне еще один стих, никак не связанный с первым:

Вечерним выстрелам внимаю...

Никаких выстрелов слышно не было. Все было тихо в этой дружеской долине, все было мирно, и только эти две строки, как будто прилетевшие из глубины скал или рожденные блеском далекой реки и одуряющим запахом лугов, звучали в моей голове.

Я не мог вспомнить ни того, чьи эти строки, ни того, какая связь между ними. Мне хотелось движения яростного, захватывающего дух. Я ударил коня камчой, и он рванулся из кавалькады, выскочил вперед и, прижав уши, закусывая трензельные кольца, помчался галопом. Не успел я еще хватить хороший глоток воздуха и услышать своеобразный свист в ушах, сопутствующий галопу, как увидел храпящую морду с широко открытыми глазами. Это был конь Сафара.

Сафар мгновенно догнал меня, и теперь мы мчались, далеко оставив позади своих спутников. В такой скачке есть большая прелесть. Это веселое занятие. Надо сказать, что оно небезопасно, так как в траве горных лугов много камней, и неизвестно, что вас ждет за поворотом тропы. Один раз мы сорвались прямо в ручей, и, тяжело дыша, мой конь, ударив в меня столбом воды, перелетел на другой берег, и за ним посыпались камни; другой раз мы чуть не залетели в болото, но прекращать скачку не хотелось...

Я оглянулся. За нами скакали Терентьев и чабан, и даже старый конь милиционера, вспомнив былые времена, догонял нас изо всех сил. Горные лошади не терпят, когда перед ними скачут. Они обязательно бросаются в состязание, даже вопреки воле их наездников, и стоит большого труда их успокоить.

Так мы скакали, опьяняясь быстротой. Бока коней стали мокрыми и храп — тяжелым. Я скакал, слегка пригнувшись к шее коня и плотно прижав ноги к его жарким бокам, и передо мной как нарисованные летели строки, которые я шептал сухими губами: «Окончен труд дневных работ... вечерним выстрелам внимаю».

Они сливались с ритмом галопа и как будто даже ускоряли его. Причудливые скалы мелькали с правой стороны, то приближаясь к нам, то отдаляясь.

Наконец мы перевели лошадей на рысь, потом на шаг и несколько минут ехали молча. Кавалькада соединилась снова. Тревога, невесть откуда явившаяся, была как бы разогнана скачкой.

Терентьев, вытирая лоб большим синим платком, сказал с упреком:

— Зачем, скажите, такая скачка? Лошадей гоните зря... Было бы дело. А все ты, Сафар,— добавил он, по-видимому из вежливости, так как не мог не видеть, что я первый затеял эту гонку.

Сафар плюнул, почесал камчой бок и засмеялся:

— Ты же старый, ты не азартный человек, что ты понимаешь?.. Зачем тебе скакать — ты практический человек...

— А ты — азиат,— сказал строго Терентьев.

— Знаешь, по-нашему, по-лезгински, что значит слово «азиат»? Азиат значит: трудно, а мы хотим легко жить. Эх, ударил, пошел,— и он шутя взмахнул камчой.

— В галопе,— сказал я примирительно,— есть сущая необходимость. И по-военному обязательно полагается на походе изредка переходить на галоп. Коням нужно встряхнуться, освежиться...

— Да, если бы так,— отвечал уклончиво Терентьев,— в армии кони другие.

Он заставил своего коня идти со мной рядом. И вдруг лукаво улыбнулся и показал мне куда-то в сторону, на срез одной горушки.

Тут луга спускались к речке террасами, и множество тонких тропинок пересекало их. Это были тропы, по которым стада спускались на водопой.

— Посмотрите вон туда, влево от большого камня, видите собаку?..

Я сложил щитком ладонь и огляделся. Действительно, я увидел собаку — типичную горскую овчарку, которая то подымалась свободно вверх по откосу, то ложилась на землю и ползла вдоль тропы, ниже ее, то снова бежала стремительно вверх и снова ложилась на землю и лежала неподвижно.

— Почему это так? — спросил я.

— А теперь посмотрите выше и правей от камня,— сказал Терентьев. И там, куда он указывал, я увидел длинное серое пятно. Я разобрал, что это движется стадо. Впереди его шел, как полагается, козел, за ним семенили козы, за ними, тесня друг друга, катились серые клубки отары.

Посох пастуха раскачивался над нею. Псы бежали по сторонам, выше и ниже стада, отгоняя от обрыва овец; иные псы шли впереди, останавливались и нюхали воздух, пропускали мимо себя стадо и снова бежали вперед.

Теперь одинокая собака, оказавшаяся на пути отары, предпринимала очень сложные ходы для того, чтобы не попасться на глаза чужим псам.

Она заворачивала против ветра, отлеживалась за камнями и, высунув голову, следила за приближением врагов. Наконец, решив, что ее расчеты правильны до конца, она одним прыжком пересекла тропу перед носом у остановившихся в удивлении псов и взобралась на следующий пригорок раньше, чем они успели броситься ей наперерез.

Они подняли отчаянный лай, вой и визг, но собака уже шла, потряхивая хвостом, и даже не оглядывалась.

— Видели? — сказал Терентьев.— Она ходила пить в одиночку. Попадись она этим собакам чужого стада — клочьев бы от нее не осталось. А занимательно, как она шла, правда? Иные из этих псов один на один на волка ходят. Раз меня чуть с лошади не стащили, насилу отбился.— Он помолчал и без всякого перехода сказал: — Здесь, в горах, многое еще во власти инстинкта. Меняют горцы одежду на городскую, кинжал перестают носить,— уж очень глуп при пиджаке кинжал, а у них врожденное чувство вкуса,— так они к пиджаку финский ножик приобретают...

Я слушал его очень рассеянно, припоминая, чьи же это строчки: «Вечерним выстрелам внимаю... окончен труд дневных работ...» Всадники говорили по-лезгински. Чабан хохотал, откидываясь в седле. Сафар самодовольно усмехался, и даже на лице милиционера мелькнула тень оживления.

Я слышал какое-то имя, повторявшееся чабаном, после которого все смеялись. Мне послышалось, как будто говорили: «Айше, Айше»,— но я не был уверен.

— Возьмите Сафара,— говорил Терентьев, затягиваясь махоркой из глиняной трубочки с вишневым мундштуком,— порывистый молодой человек, в два счета шею сломает, недосмотри за ним, я его с юности знаю... Я ведь тут все горы облазил...

Но я перебил его, спросив: кто это Айше, о ком они говорят? Он посмотрел на меня несколько удивленно и, прислушавшись к общему разговору, сказал:

— Чабан издевается над Сафаром, что в ауле, куда мы едем, есть девица одна, Айше,— сохнет по Сафару, за других не идет, ни с кем не гуляет; а ему мать какую-то косоглазую невесту подсватала в Мискинджи, а он гуляет, как дикий козел, где вздумается. Так они про него рассказывают анекдоты, самые, извиняюсь, непереводимые...

День уже склонялся к вечеру, когда мы подъехали к большому аулу, где должны были ночевать. Но погода, вообще капризная в горах, испортилась так неожиданно, что вместо аула мы увидели огромное серое облако, закрывшее все дома плотной серой завесой. Ничего нельзя было разобрать, и мы двигались, как в молоке.

Из облака то там, то тут выступали столбы, поддерживавшие галереи у дома, кусок крыши, каменная ограда и снова растворялись бесследно.

— Я тут заеду к одному человеку,— сказал Терентьев,— а встретимся мы в школе; там, вероятно, и переночуем.

Мы разъехались. Я остался с Сафаром, а Терентьев, чабан и милиционер отправились в гору другой уличкой.

Лошади наши шли опустив морды, обнюхивая землю, прежде чем поставить ногу. Временами туман разносило, и я раз увидел ниже нас, на площадке, у сваленных бревен, странное существо. На голове его был платок, падавший лохматым концом ниже пояса, на плечах — что-то вроде жилетки, на ногах — суживавшиеся книзу штаны, вроде зимних красноармейских, ватных. Существо затягивалось из тонкого и длинного чубука, чуть не касавшегося земли.

— Что это такое? — спросил я Сафара, показывая ему на это зрелище.

Сафар повернул голову и сказал:

— Это баба. Все бабы здесь так ходят. Удобнее, знаешь. Тут всегда холодно, климат такой неподходящий...

Туман нашел на нас новой волной. Он был холодный, липкий и очень противный. Лошади подымались все выше в гору. Мы двигались по узким уличкам, и надо было держаться настороже, опасаясь выступов, арок и низких балконов, чтобы не разбить себе невзначай голову.

Наконец мы вышли на какую-то широкую площадку, и тут порыв ветра раздернул, как занавес, туман перед нами, и я невольно остановил своего коня, набрав повод на себя. То же сделал и Сафар.

Передо мной, опираясь на перила галереи, обходившей дом, стояла девушка. И если бы действие происходило но в горах, я ничуть не удивился бы. Но здесь, среди тумана, в ауле, лежащем далеко в стороне от городских мест, у самых ледников, за облаками, стояла на балконе и смотрела на нас в упор очень тонкая девушка и такой странной прелести, что я невольно засмотрелся. Она стояла так близко от меня, что я мог, протянув камчу, достать до ее ноги.

У девушки было бледное, прозрачное, совсем не загоревшее лицо, легкие, слегка нахмуренные брови, тонкие губы, глаза с каким-то небрежным и вместе с тем повелительным выражением. Она представляла такой контраст с окружающим, что вместо всяких слов я глупо пробормотал что-то невнятное.

На ней было серое простенькое платье, пуховый платок на плечах. Неширокий коричневый пояс. Дешевые туфли на низком каблуке.

Наконец я справился со своей растерянностью.

— Вот так красавица! — сказал я.— Откуда вы сюда попали?

Девушка без всякой теплоты в голосе насмешливо сказала:

— Взяла и приехала.

— Откуда же вы приехали?

— Отсюда не видно.

— А как вас зовут?

— Зачем вам знать, как меня зовут? Вам знать мое имя не надо...

— И вы поселились тут жить?

— А что в этом такого? Тут холодно, а я холод люблю, я сама холодная.

— А вы знаете, какие здесь зимы? Все уходят вниз в Азербайджан, а здесь все снег заваливает, только старики да дети сидят под снегом, да женщины ковры ткут. Никуда до весны не выйти...

Она вдруг улыбнулась, отчего румянец пошел по лицу, глаза ее засмеялись, и она сказала:

— А мне все равно. Люди живут, и мы жить будем...

— А что вы тут делаете?

Лицо ее помрачнело, и она ответила почти сердито:

— Ничего. С мужем сплю.

— Ну, я вижу, у вас и язычок!

— С каким родилась, такой и есть. Чего вы остановились? Не вас встречать вышла. Проезжайте на здоровье...

— А как нам проехать к школе?

— К школе как проехать? — Она повернулась, и я, следуя движению ее руки, тоже повернул коня и взглянул на Сафара. Насупившись, не отрываясь, смотрел он на нашу незнакомку, как будто ничего не осталось в нем больше от веселого и самодовольного Сафара. Она, не удостаивая его взглядом, показала вверх по улице: — Туда поезжайте, там каменный забор будет, потом выше, направо, там и школа...

Я стегнул камчой Сафарова коня, и тот, вздрогнув, шагнул вперед. Девушка громко засмеялась, и Сафар точно проснулся. Он поправил фуражку, нахлобучил ее на голову и дал такой удар нагайкой, что его белый в яблоках конь взвился на дыбы. В тумане поехали мы дальше, и я только

запомнил отчетливо дом девушки и галерею с резными столбиками.

В школе было пусто и холодно. В одном классе, где парты были сложены грудой, на полу сидели, поджав ноги, закутавшись в тонкие фланелевые одеяла, две девушки и какой-то худощавый юноша в ковбойке разжигал примус, пускавший струйки синего дыма.

Перед ним стояла молча высокая худая горянка в таком точно костюме, какой я уже видел на странном существе при въезде в аул. Теперь я рассмотрел этот костюм внимательно, и он мне даже понравился. Да, это были зеленые ватные стеганые красноармейские штаны, на ногах мужские тяжелые черные ботинки, белая рубашка была покрыта синей бархатной жилеткой, которую украшал целый клад крупных старых серебряных монет, среди которых я увидел даже монету с профилем Стефана Батория. Был и платок, перехваченный поясом, с лохматым концом. Только она не держала чубука в руках и ничего не говорила, так как все равно мы бы ее не поняли.

Она равнодушно смотрела на девушек, ежившихся от холода под тонкими одеялами, на юношу, тщетно пытавшегося вызвать к жизни примус. Мне она показалась бронзовой статуей молчания, которую ничто не может оживить.

Не тут-то было. Едва она увидела Сафара, как ее бронзовое лицо вспыхнуло, глаза раскрылись, она взмахнула руками и побежала к нему. Она взяла его за руку, говоря много слов зараз и, по-видимому, самых трогательных. Но он строго отвел ее руку, почти оттолкнул ее небрежным и обидным движением.

Увидя его нахмуренный лоб и угрюмые глаза, она сказала что-то жалобное, вздрогнула и отошла к окну. Она отвернулась от нас и стояла так, вздрагивая плечами, лицом к туману, который уже совершенно обволок весь аул.

— Вы альпинисты? — спросил я у юноши, бросившего примус и вытиравшего руки о тряпку.

Девушки, щелкая зубами от холода, засмеялись:

— Мы все, что хотите. Мы же геологи. Сегодня нам на леднике досталось — до сих пор согреться не можем. В снег попали...

— Вы все здесь?

— Нет, Мишка с Юрой остались на другом участке. Если до ночи не придут, пойдем их отыскивать.

— Тут очень трудно искать? — спросил я.

— Да нет, просто очень холодно, прямо как-то беспросветно холодно. И примус, паршивый, испортился. Мы спрашивали у нее,— они показали на спину горянки,— где бы нам хоть бурку достать, да она ни слова по-русски не понимает.

Тут в школу с шумом ввалился Терентьев, чабан и какой-то неизвестный мне горец. Терентьев называл его Ахметом.

— Слушайте,— обратился я к Терентьеву,— вы тут свой человек. Что же молодым людям мерзнуть зря. Схлопочите им кошму или бурку...

Терентьев сказал что-то Ахмету по-лезгински, и тот позвал:

— Айше!

Айше повернулась от окна, сложив руки на груди, выслушала Ахмета и, ни слова не говоря, ни на кого не взглянув, вышла из комнаты.

Терентьев мне перевел, что Ахмет велел ей принести что-нибудь для геологов. Потом он подсел к примусу, поковырял в нем иголкой, пошатал, и вдруг примус загудел и заработал, как новый.

— Я все умею,— сказал он весело,— меня эти штуки боятся. Сколько примусов я на ноги поставил — не сосчитать...

Появилась Айше, волоча две бурки и серую кошму. Девчонки издали крик победы и бросились к буркам.

Когда они встали, они оказались невысокими, стройными и быстрыми. На примусе уже стоял чайник с черным носиком, в комнате стало чуть уютнее, хотя это только казалось.

На самом деле у меня было такое ощущение, что сейчас повалит снег: такой холод и белая тьма стояли за окном.

— Ну, мы пойдем к Ахмету,— сказал Терентьев.— Вы, ребята, если что надо, меня там разыщете. Айше, обрадовалась, что Сафар приехал? — спросил он неожиданно бронзовую девушку, снова вставшую, как часовой, у окна.

Он повторил свой вопрос по-лезгински. Айше сжала губы, взглянула на него длинным и печальным взглядом и ушла на улицу.

— Вот тебе и раз,— сказал Терентьев, разведя руками,— мы-то ей гостя привезли, а она и поворот от во-

рот. Что ты такое наделал, Сафар, чем провинился? Батюшки, да он и в самом деле мрачен! Он не в духе, и она не в духе. Вот тебе горе луковое... Ничего, пройдет... Это бывает.

Сафар отрывисто ответил что-то по-лезгински, и все трое засмеялись. Я понял, что он отшутился, как всегда, грубой и соленой шуткой.

Мы вышли из школы. Мальчишки вели за нами наших коней в поводу. Мы поднялись по каким-то уличкам, еще почти не видя ничего в бурой мгле. Терентьев все время говорил мне:

— Смотрите под ноги, тут черт-те чего нет...

— Товарищ Терентьев, кто это тут девушка русская в ауле? Мы встретили ее при въезде.

— Русская,— сказал он,— да это же геологички. Вы про них, что ли, спрашиваете?

— Да нет, на балконе стояла, в платье в сером, в платке, приезжая.

— А! Это приехал бухгалтер недавно в ковровую артель сюда. За длинным рублем погнался. Ну, трудновато ему тут будет. Это, наверно, его женка. Других не знаю. А что, смазлива?

— Да как вам сказать? По-моему, удивительно хороша.

— Ого-о! — сказал он протяжно.— Ну, если так, то горя хлебнет, а то просто смоется в Ахты. Тут не так далеко... А что такое с Сафаром? — спросил он, но тут я некстати споткнулся и сильно ушиб ногу.— Осторожней, пожалуйста, а то еще себя покалечите. Пожалуйста, смотрите под ноги. Ишь какая тьма кромешная. Так вот иногда по целой неделе такая дрянь стоит. Местечко, надо вам сказать, зловредное, да зато луга у него благословенные. Десятки тысяч овец у колхоза. Так чего это Сафар присмирел?

— Не знаю,— ответил я,— о невесте, наверно, задумался...

— О невесте? — сказал Терентьев.— К невесте его, наверно, на аркане будут тащить... Он хоть мать и слушается, тут у них матриархат еще действует, но уже не настолько. Девки у него на уме, это верно.

Стало совсем темно, когда мы добрались до ахметовского дома. Сказать, большой ли это дом, я бы ни за что не смог, так как совершенно ничего не видел из-за тумана, кроме ступенек лестницы, ведущей в галерею. Мы поднялись со всяческими предосторожностями и прошли в ком-

нату, по размерам которой можно уже было судить о том, что дом велик. Тут я, сознаюсь, лег на кошму и уснул. Спал я недолго. Меня вежливо разбудил Терентьев.

— Для сна ночь будет,— сказал он,— а сейчас мы будем великий хинкал вкушать. Вставайте...

Я уже знал по опыту это блюдо и только спросил:

— Кукурузные бомбы с кулак величиной или больше?

— А вот сейчас увидите,— отвечал Терентьев, и мы прошли в комнату еще больше той, в которой я спал кратким сном.

Это была типичная кунацкая. По стенам висели старинные блюда и тарелки, кое-какое оружие, два плаката по молочному хозяйству, олеография, изображающая Сусанну и старцев, и в углу, под стеклом, громадный набор открыток с раскрашенными картинками и портретами, на которые я сначала не обратил внимания.

В почетном углу отдельно висели небольшие портреты вождей. Я подошел к окну, выходившему на галерею, довольно высокую, но за окном был все тот же бесконечный, удручающий сумрак, уже переходящий во мрак ночи.

Я перешел через комнату и стал рассматривать открытки. Горцы очень любят вешать в кунацкой такие открытки, семейные фотографии, плакаты, снимки с картин, олеографии, лубочные картинки.

Тут было множество видов города, моря, гор. Были женские головки дореволюционного оформления, много портретов неизвестных лиц, среди них попадались знакомые писатели, композиторы, военные. Я не мог понять, что объединило их под этим стеклом, но Ахмет, говоривший немного по-русски, сказал, тронув меня за плечо:

— Это все красивый человек.

Я понял, что «это все красивый человек» есть определение, по которому все эти открытки отобраны, что это личный вкус хозяина. И тут я увидел открытку с портретом Лермонтова. Почему-то, как только Ахмет сказал «красивый человек», мне сразу бросился в глаза Лермонтов, и тут же дрожь пробежала по моей спине. Да ведь строки, жившие во мне целый день: «Вечерним выстрелам внимаю... окончен труд дневных работ»,— это же из стихотворения Лермонтова. Ну конечно же. И я стал вспоминать все стихотворение, но тут внесли еду и попросили сесть на ковер.

Мы расположились на ковре посреди комнаты, в которой еще оставалось достаточно места. Тут сидели Терентьев, в расстегнутой куртке, похожий на старого военного времен кавказской войны, Сафар, все еще хмурый и какой-то потерянный, родственники хозяина — горцы средних лет, мой проводник-чабан и еще один русский, веспушчатый человек неопределенных лет, вялый в движениях и небритый.

Его горцы называли просто Степаном и относились к нему безразлично.

— Кто это? — спросил я тихо Терентьева.

— Это и есть тот бухгалтер, что в ковровую артель капитал сколачивать приехал. Глядишь, уже обжился. На хинкал-то как уставился, а может, на водку,— добавил он добродушно.

Мы взялись за хинкал. Кто не знает, что такое хинкал, объяснить нетрудно, но всякое объяснение не будет точным, потому что вид этого кушанья меняется от того, где вы его едите. В Хевсуретии он одного вида, в Аварии — другого, в Лезгии — третьего. То, что мы ели, была чесночная густая похлебка, вернее — соус, в который мы окунали мелко нарезанные куски баранины, запивая бараньим бульоном и закусывая небольшими бомбочками из кукурузной муки. Величина этих бомбочек в разных местностях меняется от величины грецкого ореха до величины доброго кулака, и если вы можете еще есть их в горячем виде, то в холодном их не одолеет и самый неприхотливый европейский желудок.

Чесночная похлебка густа, горяча и остра. Водка была подана в большом количестве, и ее пили стаканами за неимением другой посуды.

Но горцы очень крепкие люди, и водка не производит большого впечатления на их железные натуры. Женщины дома только принесли все и скромно удалились, чтобы не мешать мужскому ужину.

Обряд поглощения хинкала протекал вполне торжественно. Все чавкали и вытирали руки о полотенце, положенное на ковер. Ели руками. Говорили медленно, по-русски и по-лезгински. Час был такой, что никому никуда не надо было торопиться.

Искусство тостов, там, за хребтом, достигшее у грузин высоты непостижимой, здесь не принято, и тосты были серьезные и краткие, шутливые и грубые, но все простые и несложные.

Потом водка возымела некоторое действие на сердца собеседников, и они начали рассказывать и вспоминать друг про друга самые смешные истории.

Я же потихоньку вспоминал лермонтовские стихи, и водка как будто прояснила мою память, забитую впечатлениями от пастбищ и пастухов. Через час я вспомнил одну строфу, но, хоть убей, не мог припомнить остального.

Мужчины уже галдели и грохотали какие-то народные анекдоты, как дверь на галерею распахнулась и вошла та самая женщина в платке, которая ошеломила нас с Сафаром.

К этому времени на крючок в кунацкой повесили керосиновую лампу, и в ее свете женщина стояла в дверях, как видение из другого мира. Вместе с ней в комнату проникли клочья густого облака, и казалось — она явилась окруженная светящимися парами, так как эти клочья поблескивали красноватыми иголочками, попадая в свет лампы.

Она остановилась, сверху вниз оглядывая присутствующих. Теперь на ней была вязаная синяя кофточка и белая юбка. Ахмет сказал:

— Здравствуй, Наташ.

«Так ее зовут Наташей, вот что». Я ей крикнул тоже:

— Наташа, садитесь, мы уже знакомы, идите к нам, посидите...

Но она смотрела на мужа, сидевшего с растрепанными жидкими волосами, без пиджака; по рукам его текли струйки жира; он держал стакан с водкой и прихлебывал из него водку, как чай.

Наташа сказала раздраженным голосом:

— Иди домой, загостишься тут до утра. Заснешь потом в канаве.

Степан посмотрел на нее хладнокровно, отхлебнул из стакана, взял кукурузную бомбочку, размял ее и, медленно жуя, сказал:

— Что мне делать дома? Надоело мне там по горло.

Она ничего не ответила и повернулась к двери, но тут Ахмет, легкий и быстрый, несмотря на суровую и тяжелую фигуру, вскочил с ковра, взял ее самым любезным образом за руку и сказал от всего сердца:

— Наташ, не сердись, садись с нами. Пей на здоровье, садись, пожалуйста.

И она села на край ковра, подогнув ноги, как сидят горянки. Она взяла стакан, налила в него водки наполовину, взяла бутылку вишневого сока, которым мы не пользовались, и подкрасила водку. Потом одним духом выпила, и глаза ее встретились с неподвижными, как у лунатика, глазами Сафара. Что-то вроде улыбки пробежало по ее губам, она взяла кукурузную бомбу, храбро обмакнула ее в чесночную похлебку.

Тут горцы запели старую лезгинскую песню. Они пели, раскачиваясь, как в седлах, и я, ничего не понимая в словах, в ритме этой песни, тягучей, печальной и топкозвонкой, живо представил себе эти ущелья, где вихрятся реки, где летят обвалы, где пробирались всадники в набег, где они сражались и умирали.

Песня была прекрасная. Терентьев пересказал ее мне своими словами. Я почти угадал все, кроме смерти в бою. Горец, о котором пелось, не мог найти смерти, как ни искал. Он был кем-то заворожен.

За этой песней пелись другие, шуточные, потом снова пили и нескладно разговаривали.

— Наташа,— сказал я,— спойте вы что-нибудь наше, русское.

— Я не пою,— сказала она просто и тихо,— правда, правда, я не умею ломаться. У меня голос неудачливый. Вот вы, может, споете...

И она так улыбнулась, что я совершил необыкновенное. Я сказал:

— Хорошо, только я спою стихи.

Горцы дружно выразили удовольствие, и я спел им ту строфу лермонтовского стихотворения, что терзала меня весь день мучительной тревогой.

Я спел ее страшным, отчаянным голосом, охрипшим от ночлегов среди дыма кошей и водки. Я не спел — это неверно, я прохрипел эту строфу, и мне казалось, что все содержание этого сумбурного и замечательного горного дня входит в эти строки, совершенно не соответствовавшие ни месту, ни времени. Я пел, как романс, повторяя каждые третью и четвертую строку по два раза:

Окончен труд дневных работ,
Я часто о тебе мечтаю,
Бродя вблизи пустынных вод,
Вечерним выстрелам внимаю.

И между тем как чередой
Глушит волнами их седыми,
Я плачу, я томим тоской,
Я умереть желаю с ними.

Я кончил, закрыв глаза. Вероятно, я был дико смешон. Я ждал взрыва хохота. Никто не смеялся.

— Тоже хорошая песня,— сказал Ахмет вежливо, и горцы выпили мое здоровье.

Наташа смотрела на ковер, как будто шла глазами по его прихотливым узорам. Тогда с места сорвался Сафар и пошел какой-то, как мне показалось, пьяной походкой в дальний угол комнаты.

Но эти колеблющиеся шаги были вступлением в лезгинку, крадущимися, гибкими движениями вступающего в танец. Он вдруг выпрямился, как подброшенный пружиной, и пошел по кругу таким, каким я никогда не мог бы его вообразить, так не похож был этот красивый сильный человек на будничного и ограниченного юношу, каким он казался мне весь день.

Он танцевал так, как будто никто до него никогда не танцевал лезгинки, и он танцевал так, как будто это были его тайные мысли. Это не были движения человека, пляшущего для того, чтобы позабавить окружающих, это не были движения искушенного танцора, поражающего своим искусством, это была пляска древнего горца, который говорит танцем то, чего не может сказать никакими словами.

Горцы причмокивали от волнения и удовольствия, их ладони отбивали такт, взлетая, как медные блюдечки.

Сафар проносился так легко и осторожно, что даже лампа не дрожала, когда он перебирал под ней ногами. Может быть, я выпил лишнее, но этот танец захватил меня всего. Пока Сафар разговаривал ногами, никто не сводил с него глаз. Так мы и не видели, когда встала Наташа — в начале ли танца или уже когда он неистовствовал в конечных поворотах. Но когда Сафар резко остановился, переводя дыхание, и протянул руку к двери, мы увидели, что Наташа уже взялась за ручку.

В наступившей тишине она тихо сказала:

— Здесь душно очень.

Но она не ушла. Она стояла против Сафара, и пальцы ее сжимали ручку, как будто она хотела сломать ее.

— Наташ,— сказал Сафар, делая к ней шаг,— танцуй со мной. Всю жизнь буду помнить...

Наташа взглянула почему-то в окно и сказала резко:

— Не умею. Лучше уж я тебя нашему обучу.

— Давай,— закричал Сафар.

— Не сейчас же. Ты шальной какой-то. Как в реку прыгаешь — смотри, захлебнешься...

В комнату вошло облако и закрыло Наташу. Сафар бросился в туман, но по стуку двери мы поняли, что Наташа ушла.

Куски облака медленно расплывались по комнате. Горцы снова запели что-то унылое, такое, что у меня мороз пошел по коже. Сафар налил стакан водки и выпил ее, как воду.

Не знаю, сколько времени прошло; я курил трубку и смотрел, как менялись лица в освещении лампы. Вдруг все мне стали казаться тихими, добрыми и комната — страшно уютной, теплой и дружеской.

Сафар встал и вышел на галерею. И следом за ним быстрыми шагами вышел Терентьев.

«Тут-то и начинается самое интересное»,— подумал я. Горцы курили папиросы, и Степан сидел, прислонившись к стене. Лоб его белел, как бумага, на фоне красно-черной кошмы. Капельки пота блестели на висках. Я подошел к окну рядом с дверью. Терентьев и Сафар громко, как будто они были одни во всем ауле, говорили, перебивая друг друга.

Они говорили, прохаживаясь по галерее. Слова их то удалялись, то приближались, и я не слышал всего разговора. До меня долетали отдельные фразы.

— Ты сейчас уедешь,— говорил Терентьев,— я твоему покойному отцу обещал смотреть за тобой...— Потом было несколько неясно слышимых фраз, и я скоро услышал:

— Ты все такой же... А мать, а невеста в Мискинджи?..— и он перешел на лезгинский.

Сафар горячо возражал, и потом поток его гортанных слов сменился русской бранью, и он сказал:

— Плевал я на невесту...

Они остановились у люка лестницы, и Терентьев упрямо повторил скучным, тяжелым голосом:

— Ты уедешь сейчас же, я тебе поседлаю сам. Конь тут, во дворе. Ты уедешь...

Тогда, после ледяной паузы, Сафар сказал так умоляюще, что мне стало страшно:

— Валлаги. Я не могу уехать от этой женщины. Я умру — я не могу уехать от этой женщины.

И он перешел опять на лезгинский.

Терентьев помолчал и потом заговорил, и голос его звучал глухо и удаляясь. Возможно, что он говорил Сафару, уже спускаясь сзади него по лестнице. Больше ничего я уже разобрать не мог.

Я посмотрел в окно. Не понимая почему, я теперь ясно видел двор в каком-то зеленом свете, как будто действие происходило на морском дне. Слышался звон уздечек и стремян. Они седлали лошадь вдвоем.

Потом по камням раздался лязг, тень всадника пересекла двор, и стук стал далеким. «Неужели они уехали оба?» — подумал я, но тут дверь открылась, и в комнату, по которой кружились завитки дыма, вошел Терентьев.

Он подошел ко мне, не обращая внимания на горцев. Один из них дремал, другой что-то шепотом рассказывал Ахмету. Чабан пробовал прочесть какую-то бумажку, которую он то и дело подымал над головой, чтобы разглядеть написанное при свете коптившей нестерпимо лампы.

От Терентьева пахло водкой и махоркой. Его голубые глаза смотрели умно и пренебрежительно, как будто он хотел внушить мне, что он все в жизни знает, все видел и ничему больше не удивляется.

— Вот *дюшюш!* — сказал он и, видя мое недоумевающее лицо, поспешил прибавить: — Да, я забыл, что вы не знаете здешнего языка. Я говорю: вот так приключение...— Он помолчал.— Ну, я от греха подальше его отправил. Пусть поскачет, тропы там плохие — авось охладится. А вы что думаете? — Он начал говорить, как бы убеждая меня, хотя я ему никак не возражал.— Он хороший, я его очень люблю, неудачник только,— хотел быть металлургом, получился средний зоотехник. Пить ему не надо. А та, вы правы,— она чертовка. Были когда-то и мы рысаками. Молодость, я вам скажу... В такую ночь я...

Он махнул рукой и пошел от меня, перешагнул через ноги спящего чабана и стал поправлять фитиль у лампы.

Я осмотрел остатки пира. На скатерти, разостланной на ковре, валялись полуразрушенные кукурузные катыши, куски мяса, лежали на боку стаканы. Я прошел к стене, где под стеклом был тускло виден красный доломан гусарского поручика.

Я посмотрел на эти шнуры и на резко раскрашенные черты лица. «Красивый человек»,— сказал о нем горец. Мне стало не по себе в этой комнате. Тревога, вспыхивавшая во мне весь день, как незатухающие угли пастушес-

кого костра, разразилась припадком одиночества. Я не хотел никого видеть. Я решительно открыл дверь и вышел на галерею.

Никакого тумана не было и в помине. Аул был залит зеленым лунным потоком. Прямо передо мной, точно опускаясь в соседний двор, висел гигантский ледник. Аул уходил вверх и вниз от меня множеством построек, как небольшой Вавилон. Каждый камешек на дворе можно было рассмотреть. В углу двора, под навесом, сонно вздыхали лошади.

Белые звезды усеяли бездонное небо. Розовые днем стены необъятной пирамиды, стоявшей с другой стороны над аулом, сейчас излучали слабое зеленое сияние. Фирн на вершине горел поражающей белизной.

Я весь подпал очарованию этой ночи. Медленно спустился по старой скрипучей лестнице во двор и вышел за ворота.

Я тихо шел узкими пустынными уличками, под безмолвными галереями, мимо старых каменных оград и полуразрушенных стен. Где-то начали тявкать собаки, и, перерезая мне дорогу, ниже меня прошла группа людей, сгибавшихся под тяжестью мешков. Я догадался: это были геологи, которые нашли своих товарищей и возвращались все вместе в аул. Я слышал их усталые голоса и тяжелые шаги. Я подождал, пока они не скрылись, и снова наступила тишина.

В этой тишине холодной ночи я брел, как путник, который хочет остаться наедине с ночью и ничего другого ему не надо. Жизнь была где-то внизу, далеко, ниже этого селения, заброшенного к самой луне, к вечному льду и звездам. Я сел на камень и задумался, удивляясь простой строгости этого дикого уголка.

Мне начало казаться, что я живу сразу в нескольких эпохах. Вокруг меня лежали дома, похожие на вавилонские; там, в кунацкой, на старом лезгинском ковре сидят горцы в одеждах времен Шамиля и тихо разговаривают; внизу, в школе, укладываются спать молодые, крепкие юноши и девушки, которым нет дела до этих древних стен; по глухим тропам скачет Сафар, разгоняя свою тоску бешеным ночным галопом; дома сидит Наташа, заброшенная из далекого русского городка на самый край гор, и ждет своего пьянчугу-мужа, а он дохлебывает мокрыми губами невесть какой стакан водки,— и не от стыда ли за него спряталась она сюда, в эту глушь?

То, о чем я пишу сейчас, было лет десять назад, и я думал тогда, сидя на камне, что я вряд ли приду второй раз на этот камень в такую же беспощадную лунную ночь, чтобы снова пережить все, что дал мне смутный и тревожный день...

Окончен труд дневных работ...
Окончен труд дневных работ...

Там, на эйлагах, сторожевые собаки спят, положив голову повыше, на земляные бугорки, чтобы все слышать, что делается в ночи. И только бараны могут безнаказанно перебегать от одной отары к другой. И спят пастухи, завернувшись в кусок кошмы, и тлеют уголья в их посиневших кострах.

Мне стало холодно, и я встал с камня. Я пошел снова кружить по уличкам, по каменным лестницам, повторяя одно из знакомых мне лезгинских слов: *иер* — хорошо. Короткое, легкое звучание этого слова совпадало с холодной легкостью этой неповторимой ночи, иер.

Я взглянул на дом перед собой и узнал колонки галереи, покрытые резьбой, оставшейся у меня в памяти.

Это был дом Наташи. Галерея была пуста, я мог разглядеть все трещины на колонках; я вызвал в памяти снова ее такую, какая ошеломила нас с Сафаром.

Я стоял, как дурак, и рассматривал дом. Он был небольшой, старый, бедный. Все окна были закрыты ставнями. Почти черная тень лежала под галереей. Что-то звякнуло там. Я прислушался. Слабый звук повторился. Я подошел ближе и, всматриваясь в темноту, увидел привязанного к столбу коня.

Он показался мне знакомым. Я подошел вплотную. Это был конь Сафара. Белый в яблоках. И хурджины были его — те пестрые ахтинские хурджины, на которые я смотрел с такой завистью. Недалеко же уехал Сафар.

Мертвая тишина стояла вокруг. В этой тишине лунный свет, казалось, звучал слабым желтым звоном.

Я погладил коня по гриве, он покосился на меня и начал шумно нюхать руки — видимо, Сафар прикармливал его. Я пошел с площадки вверх, к себе домой. Внезапно я увидел женщину, сидевшую в полном оцепенении на камне и смотревшую куда-то на горы, на высокую пирамиду, на ее далекий светящийся ледничок.

Бронзовое лицо ее было неподвижно. Губы сжаты. Руки лежали на коленях, будто она прислушивалась

к только ей слышному далекому шуму. Это была Айше. Она не пошевелилась при моем приближении. По ее бронзовым щекам катились слезы. Но она сидела неподвижно.

Я миновал ее, оглянулся еще раз на маленький дом, на коня и пошел быстрыми шагами. Я пришел, когда все горцы уже спали. Громко храпел Степан, даже ничем не закрывшись, заснув, как сидел, прислонившись к стене. Мне не хотелось будить Терентьева, спавшего богатырским сном. Я отыскал в углу свою короткую аварскую бурку, завернулся в нее и сразу уснул.

Май — июнь, 1941

РАССКАЗЫ О БЕТАЛЕ КАЛМЫКОВЕ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Мы шли горами. Была весна. Гремели веселые ливни. Нам они казались голубыми, потому что после них все начинало светиться голубым светом. Грозы непрерывно сопровождали нас. Раскаты грома слышались всюду. Если мы проходили по высотам, то даже под нами могли играть длинные молнии и слышаться пушечные раскаты, за которыми следовали грохоты обвалов, и эхо без конца повторяло их.

Тропы превращались в ручьи, ручьи сбрасывали камни в речки, на которых поперек, наискось висели еще не сорванные мосты. По таким мостам, смотря в пенистую, густую, тяжелую и летящую с неслыханной скоростью воду, мы проходили в день не раз, и горцы говорили про такие мосты: идешь пополам со смертью. Но о смерти здесь, даже в узком ущелье, зажатом высокими, отшлифованными ветром скалами, ничто не напоминало. Наоборот, вокруг нас буйствовала, сходила с ума весенняя горная жизнь.

Широкий ветер качал на обрывах сосны, ели, лиственницы, дубы. Эти старые жители гор протягивали ветру свои длинные, большие мозолистые ветви, как бы обнимая простор. Море молодой листвы шумело по всем оврагам и склонам.

Мы взбирались по отвесным каменным уступам; мы шли по колено в густой ржавой грязи, среди мокрых трав, переполненных всеми запахами лугов; переходили по длинным карнизам, цепляясь за выступы, трудные места; спускались к реке или подымались на кручи по каменным лестницам, таким узким, что двое не могли бы там стоять рядом.

Мы шли пешком, мы садились на горных лошадей, привычных ко всему. В цирке можно было бы делать с ними не простой номер: соорудив высокую пирамиду, уходящую под купол цирка, с чуть заметными выступами, величиной с копыто лошади, пустить этих горных скакунов взбираться на вершину пирамиды и с узкой площадки наверху спускаться вниз без остановки. Такие трюки они могут проделывать на каждом шагу.

Под ногами наших лошадей, далеко внизу, парили орлы, и что-то орлиное, с клекотом и взмахом орлиных крыльев, присутствовало в природе вокруг нас. Мы погружались с каждым днем все глубже не только в тайны весеннего горного Кавказа, но, казалось, ветер истории дует нам навстречу и мы погружаемся в далекие героические времена гражданской войны.

Мы сидели у очагов в селениях, чьи сакли походили на разрушенные землетрясением дома: они были сложены из обломков самых разных камней, неровных, почернелых от копоти костров. Старая ингушка с лицом сивиллы говорила хриплым шепотом: «Здесь спал Серго, когда жил у нас». На обрыве над бешеной Ассой наш друг и проводник, участник боев тех давних дней, показывал на зеленую лужайку: «Здесь Серго любил отдыхать». Как из древней саги, выходили имена, любимые в этих краях. Их запомнили поколения, потому что эти имена были рождены горскими народами и принадлежали их сыновьям.

То в дыму очага, то на открытом воздухе мы слушали песни и рассказы партизан про геройские дела красных джигитов, про начало великой дружбы народов, про братство, завоеванное и закалившееся в огне гражданской войны.

Чем глубже заходили мы в горы, тем шире распахивалась перед нами эпопея гражданской войны. Прекрасные образы могучих большевиков — Серго Орджоникидзе и Сергея Мироновича Кирова — снова и снова вставали перед нами в этих простых, безыскусственных рассказах.

Мы как бы жили в тех временах. Мы слышали имена тех, что были соратниками, друзьями, боевыми братьями. Из Дагестана приходили к нам рассказы о славных героях: Махаче Дахадаеве и Уллубии Буйнакском. В Ингушетии все знали имена Хизыра Орцханова и Асланбека Шерипова. В горах Дигории, ущельях Иронии и Туалетии, в Осетии нам рассказывали о Георгии Цаголове, двадцатитрехлетнем вожде осетинских революционеров, о Симоне Такоеве. Мы узнали о неистовом, огненном Буачидзе, упор-

ном, смелом Бутырине. Тогда же мы в глубине ингушского ущелья много услышали и о кабардинском народном герое Бетале Калмыкове.

Его хорошо помнили люди этих мест, потому что в страшную зиму девятнадцатого года он был среди тех, кто в глубине этих ущелий боролся за советскую власть, его знали как борца за свободу горцев, с самой молодости посвятившего себя борьбе с силами реакции и контрреволюции.

Я и мой спутник — режиссер Лев Оскарович Арнштам — собирали материалы для того, чтобы написать сценарий о дружбе народов Кавказа и о том, как происходило становление советской власти на Северном Кавказе.

Мы не жалели усилий и не заботились об удобствах путешествия. Мы сидели в пещерах, где были когда-то партизанские штабы; мы ночевали в самых глухих селениях, где многое напоминало еще о старых временах, мы мерзли под ледяными ветрами и жарились на горячем весеннем солнце в солнечных долинах; мы вброд одолевали обезумевшие от таяния снегов ручьи и потоки; мы дышали воздухом высот и диких старых лесов.

Нас окружали друзья, которые делили с нами кров и еду. Наш путь лежал сначала по плоскости от Пятигорска до Орджоникидзе (Владикавказа), потом по ингушским селениям, по Ассинской долине со всеми ее боковыми ущельями до Хевсуретии, потом по Джераховскому ущелью, на Военно-Грузинскую дорогу, дальше в Осетию, в Дигорию по Ардону и по Уруху, по Цейдону и Фиагдону; потом мы возвратились в Орджоникидзе и после некоторого отдыха направились в Кабардино-Балкарию, в Нальчик.

Мы ехали в Нальчик, чтобы встретиться с Беталом Калмыковым, имя которого было уже широко известно советским людям. Что мы знали о нем? Мы знали, что Бетал Калмыков с юности был в рядах народных повстанцев в горах под Эльбрусом, что он прошел долгий революционный путь и был соратником Кирова и Орджоникидзе, принимал участие в гражданской войне и ныне состоял секретарем областного комитета Кабардино-Балкарии.

Мы знали, что про него ходят легенды как про талантливого, яркого, живописного человека, удивительного по разносторонности своих талантов «мудрого кабардинца», как называл его Максим Горький.

Мы слышали, что он руководил преобразованием бедного края мазанок и деревянных сох, жалких троп и нищих

горцев и что теперь никто не может узнать в богатой, красивой Кабардино-Балкарии ту страну, где люди были обречены на вымирание.

Мы знали, что он печется и об образовании, и о том, чтобы вся современная культура была поставлена на службу горцам, что он требователен и даже суров, что он честный большевик, скромный в собственных желаниях и вместе с тем человек огромного размаха в отношении будущего своего маленького горного края.

Когда мы переехали пыльную длинную плоскость, отделяющую сады цветущего Орджоникидзе от зеленых рощ Кабардино-Балкарии, на окрестности уже спускался очаровательный вечер. Наша машина мчалась среди прекрасно возделанных полей, среди фруктовых садов, великолепных рощ, перебегала по новым мостам многочисленные потоки, проходила по новым большим селениям. Мы воочию видели, что это действительно культурные края, где на всем лежит рука большого, хорошего хозяина. Даже дорога была в отличном состоянии.

По пути мы много говорили о Бетале Калмыкове и о том, как он нас примет. При его постоянной занятости у него может не найтись времени, а при его скромности от него мало чего можно будет добиться, тем более что мы неизбежно должны будем говорить о нем самом.

Мы приехали в Нальчик. Машина прошла по улицам чистенького городка. На улицах росли розы, было много гуляющих, чистота городка бросалась в глаза. Оставив наши вещи в номере гостиницы, мы поспешно направились в обком. Мы думали, что нас будут очень расспрашивать и заставят долго ждать. В большой приемной сидели всего два человека. Секретарь поговорил с нами и сказал, что сейчас доложит о нас. Он ушел и, вернувшись, сказал, что через десять минут Бетал Калмыков нас примет.

В большом волнении мы ждали свидания с героем гражданской войны, с человеком, который своими глазами видел всю историю возникновения советской власти на Северном Кавказе, знал лично Орджоникидзе и Кирова, побывал в стольких боях. Секретарь попросил нас пройти в кабинет Бетала.

Мы вошли. Это была небольшая комната. Стоял письменный стол, диван, несколько стульев у стены. На стене большая панорама Кавказского хребта. В комнате никого не было.

— Он сейчас придет,— сказал секретарь.

Я стал рассматривать панораму. Не успел я как следует погрузиться в рассмотрение гор и перевалов, как за моей спиной раздался спокойный, уверенный, чуть глухой голос:

— Вас интересуют горы? Вы скоро их увидите по-настоящему, вблизи увидите...

Я обернулся и увидел Бетала. Он был не очень высок, но хорошего, атлетического сложения, с широкими, могучими плечами, большими сильными руками. Он стоял в этом маленьком кабинете, как на каменных скалах, что-то было в нем от горца и охотника, и это сразу бросалось в глаза. Сразу комната стала мала. На меня смотрели большие, чуть с косинкой внимательные глаза, и казалось, что в них может сейчас забегать лукавый огонек, и в то же время легко представить себе, как эти глаза станут гневными и холодно-зеленоватыми, как вода ледяного Баксана.

Большой нос, широкие щеки, чуть-чуть монгольского склада большой властный рот, маленькая черная щеточка усов. Кожа обветренная, выдубленная на солнце, хороший постав головы. Фигура пропорциональна. Да, конечно, охотник, наездник, джигит. Привычка много говорить с разными людьми. Себя в обиду не даст ни за что. И сердить его не стоит.

Бетал стоял, выжидающе смотря на нас. Я ответил на его слова:

— Я уже много раз видел их вблизи, эти горы мне все знакомы.

Огонек удивления пробежал в его глазах. «Ах, сколько я видел в жизни хвастунов»,— казалось, блеснуло в этом огоньке. Он спросил лукаво:

— И в наших горах бывали?

— Да,— сказал я, подходя к панораме. Я стал перечислять все вершины по порядку и перевалы между ними.

Бетал вышел из-за стола, встал рядом и спросил:

— Вы видели Малку?

— Не только видел, но сколько раз ее переходил вброд. Я раз даже прошел из Кисловодска через Харбас и Бечасын в Сванетию, через Шаукам и Донгузорун и обратно через Бечо-Юсенги.

Лукавость сбежала с его губ. Он стал вдруг другой. Сам тепло заговорил о горах, об Эльбрусе, о долине горячих нарзанов, о перевалах.

— Вы много ходили по горам? И на ту сторону — на юг?

— Я прошел на Кавказе тридцать шесть перевалов,— сказал я,— от травяных до ледниковых.

Он вдруг широко улыбнулся и сказал:

— Вы что-нибудь искали?

— Да,— ответил я.— Я искал красоту гор и всюду находил ее. Она очень разная.

Бетал улыбнулся еще шире и пристально уставился на меня. Тогда мы с Арнштамом поняли, что наше свидание не пропадет даром. Мы заговорили разом о цели нашего прихода. Мы рассказывали ему о том, что видели и слышали в Ингушетии и в Осетии и что мы хотели бы от него. Мы не давали ему сказать слова. Если он так охотно слушал мои рассуждения о горах, пусть послушает теперь наши рассуждения о гражданской войне. Бетал слушал внимательно — казалось, он о чем-то сразу начал думать.

— Хорошо,— сказал он, когда мы прервали каскад нашего красноречия.— Где вы остановились?

— Мы остановились в гостинице «Интурист».

— Завтра, в десять часов утра, я заеду за вами. Мы поедем тут недалеко, в Нальчике. Там позавтракаем, и я вам попробую что-нибудь рассказать; может быть, вам это пригодится. Сегодня вечером я, к сожалению, не могу. У меня дела...

Мы распрощались, как старые знакомые. Наши взволнованные речи произвели на него некоторое впечатление. Едва в окна засветились красные вершины Безингийской стены, чьи молочные льды окрасило солнце, как мы уже были на ногах.

Ровно в десять часов к нам в номер постучался человек от Бетала. Сам он уже ходил по кругу перед гостиницей, у круглой клумбы. Мы сели в машину. Ехать пришлось очень недолго. Приехали на небольшую дачу, всю утопавшую в цветах. В прохладной широкой комнате позавтракали и перешли в соседнюю.

— С чего вы хотите, чтобы я начал вспоминать? — спросил Бетал.

— Начните с Сергея Мироновича,— попросили мы и, вытащив блокноты, начали записывать рассказ Бетала.

Бетал не сидел на месте. Ходил большими шагами по комнате. Он был в голубоватом кителе и такого же цвета брюках, заправленных в высокие сапоги. Временами морщины набегали на его широкий лоб. Он вспоминал всерьез, стараясь говорить как можно красочней; так ему легче

представить себе события далекого прошлого. Оказалось, что он очень хорошо помнил прошлое.

Для того чтобы мы не походили на стенографисток, я условился с Арнштамом, что он будет поддерживать разговор, чтобы у Бетала не было представления, что он диктует. Нам важен был непосредственный рассказ, с подробностями и даже с обрывистыми фразами, типичными для беталовской речи.

Бетал говорил спокойно; потом спокойствие изменяло ему: он походил на трибуна, которого разъярил противник; потом он начинал стихать, доходя до лирического полуголоса, снова разражался громовыми раскатами, и, по-видимому, ему было самому интересно и странно вспоминать давно прошедшие времена.

Мы жадно слушали его. Наконец он устал, сказал, что мы прервем немного рассказ, и предложил нам погулять по саду. После обеда он опять продолжал рассказ до сумерек. В следующий перерыв мы гуляли по вечернему саду. Нам подали ужин. Мы поужинали, и он продолжал говорить.

Когда он кончил, на небе были первые нити рассвета.

Этот день пролетел с такой быстротой, что я с удивлением смотрел на свой блокнот, исписанный вдоль и поперек. Он лежал, этот блокнот, двадцать лет без публикации.

Сегодня исторический день Кабардино-Балкарии, ее четырехсотлетний юбилей, и в такой день уместны воспоминания, тем более касающиеся наших дней.

Я начал свои записи с первой фразы Бетала: «Так вот о Кирове...»

Но прежде чем рассказать о своей первой встрече с Сергеем Мироновичем, он сильно и живописно изобразил нам, что произошло в те годы на так называемых Золкинских пастбищах. Перед нами открылись высокогорные луга, общественные пастбищные земли. Из года в год по весне шли сюда бесчисленные стада селений с далеких берегов нижнего Терека, из степей, после зимнего кочевья.

Полковник Клишбиев, начальник округа, собрал съезд коннозаводчиков и помещиков. Он задумал заговор против прав народа на эти пастбища. На съезде было принято решение «от имени кабардинского народа» ходатайствовать о передаче земель коннозаводчикам. Наместник Кавказа Воронцов-Дашков акт утвердил. Петербург утвердил тоже. Земли поделили богачи и поставили заставу, чтобы никого на эти земли не пропускать.

А скот по весне двинулся по знакомым дорогам на старые, привычные пастбища. Ходили темные слухи, что с пастбищами неблагополучно, что земли отобраны. Но никто ничего не знал как следует. Никто не хотел верить такому злому делу.

У границ пастбищных земель застава преградила путь пастухам. Стада, остановленные на узкой дороге, растянулись на протяжении ста километров. Они стояли в ущельях, на мостиках, среди селений, в поле, между садов, на горных тропах. Шестьсот тысяч голов скота не могли сделать ни шагу. Стада давили барашков. Набежавшие волки выхватывали из рядов добычу и уносились в горы. Стада не ели, не пили. Горестное мычание коров и сумасшедшее блеяние овец, дикое ржание лошадей разносились далеко вокруг. Начались ссоры и столкновения из-за невольных потрав. Овцы и козы валились в речки, и жадная горная вода уносила размолотые о камни тела животных.

Тогда послали гонцов во все стороны. Пешком и верхом спешили к заставе кабардинцы. Те, что добрались до стражников, вступили с ними сначала в жаркий спор, потом раздался клич: «Вперед!»

Тринадцать тысяч горцев, полных отчаяния, смели стражников и прорвались на пастбища. Скот хлынул живым потоком на благословенные луга. Но горцы торжествовали свою победу недолго.

Появились войска, и начались бои. Загремели орудия, горцы имели только охотничьи ружья. Борьба была неравной. Но горцы сражались с мужеством людей, положение которых безвыходно.

Их оттеснили с пастбищ. Телами погибших животных были усеяны горные склоны. В селения поставили большую охрану, которую жители должны были содержать на свой счет.

Самые упрямые и храбрые ушли в горы, под Эльбрус. Среди них был и молодой Бетал.

Он рассказывал нам, как в один вечер, когда они спустились к пастушьему кошу, они увидели, что рядом с пастухом сидит русский человек. Проводник, который был с ним, начал плакать и рассказывать о той беде, которую переживает народ. Кабардинец посылал проклятия по адресу начальников, феодалов, мулл. И в самом деле, страдания народа были жестокие. Русский сидел у огня и сушил портянки. Он не обращал никакого внимания на пришедших.

Он ничего у них не спросил, и они у него ничего не спросили, но проводник его сказал, что он ходит как турист. Уже семнадцатый день идет. Хочет на Эльбрус взойти.

«Он удивительный человек,— говорил кабардинец,— нашу пищу ест, как горец, ничего не боится, детей очень любит».

В один из дней пошел дождь. Кабардинцы-партизаны скрывались в пещере. Вдруг вместе с пастухом в пещеру вошел Киров. С этого мгновения, с первых его слов, обращенных к горцам, они поняли, что это не простой человек. Он звал их идти с ним на Эльбрус. Они сидели и долго говорили о жизни и о том гнете, который владеет кабардинским народом. Потом Бетал сидел с Кировым на скале под деревьями и показывал ему, сколько орлов летает над падалью, над погибшим скотом.

Бетал говорил Кирову обо всем, что случилось па Золке, обо всем, что переполняло его сердце. И Киров поселился с горцами. Он ходил за водой, за дровами как равный. Разжигал костры, помогал готовить пищу и говорил такие слова, от которых кровь бросалась горцам в голову, его зажигательные речи они запомнили на всю жизнь.

Так завязалась дружба, большая дружба Бетала с Кировым.

— Я приду еще раз в конце лета сюда,— сказал Киров, и он пришел, как обещал. Он хотел быть сам на Золкинских пастбищах. Они с Беталом отправились на места недавней драмы. Пастбища были усеяны костями погибшего скота.

Бетал сделал паузу. Казалось, перед его глазами проходят давно забытые картины так ярко, что он сказал, как будто сам стоял снова там:

— Трава зеленая, кости белые, люди злые, скот худой!

Время шло. Наступил семнадцатый год. Партизаны за время до Февральской революции стали бельмом на глазу у князей и помещиков, стали любимцами народа. Молодые и старые кабардинки собирали им продукты, обшивали их, встречали, обнимая и плача от радости, как своих защитников. С каждого кабардинца брали тогда клятву на Коране, что, если увидит кого из партизан, чтобы немедленно выдал. А с женщин присяг не брали.

Когда наступил февраль семнадцатого, в двадцать четыре часа поднялась вся Кабарда. Люди верхом и пешком стремились с криком: «На Золку! На Золку!» Исчезли все стражники, бежали феодалы, дома их сожгли и фундамент

разбросали, чтобы помину их не было. Потом феодалы опомнились и бросились на восставших.

Закипели жаркие бои повсюду. Но народ победил. Феодалы отступили. И вот снова Бетал увиделся с Кировым. Было это уже во Владикавказе. Киров был не один. С ним был Буачидзе. Бетал рассказал ему обо всем, что делается в горах. Спрашивал, что делать дальше.

Киров дал ему много советов, сказал: надо организовать побольше отрядов, тех, кому верите, поставить комиссарами, взять власть в свои руки, на съезды выбирать простых людей, победнее.

Дни бежали быстро, но события опережали их. Весь Северный Кавказ клокотал, как кипящий котел.

Мы слушали затаив дыхание, как Бетал погружался в свои воспоминания. Мы видели, как вспыхивает братоубийственная схватка между казаками и ингушами, ингушами и осетинами, между крестьянами и феодалами, между иногородними и казаками.

Всюду гремят выстрелы, зарево горящих селений стоит на горизонте. Киров берет белый флаг парламентера и вместе с Калабековым идет между сражающимися осетинами и ингушами. Калабеков падает, убитый предательской пулей. Киров мирит враждующих.

Бетал организует кабардинцев. Открывается съезд в Пятигорске. Это исторический съезд, на котором была провозглашена власть Советов. Перед тем как выйти на трибуну съезда, Бетал обошел общежитие, где жили делегаты. А жили они по национальным фракциям. Комнаты распределяли сам Киров и Буачидзе. Все было предусмотрено, чтобы ограничить возможность столкновений. Ингушские комнаты были отделены от казачьих кабардинскими. Бетал собрал кабардинцев, поговорил с ними, говорил словами Кирова, говорил горячо о власти, которую надо брать, о Совете Народных Комиссаров. Все, что он говорил, пришлось по сердцу горцам. «Как один человек,— сказали они,— мы должны стоять за мир, за свободу, за Совет Народных Комиссаров».

— Кто со мной,— сказал Бетал,— оставайся в этой комнате, кто против — уходи!

Все встали стеной, все остались. Потом двинулись за Беталом.

Пришли толпой к иногородним.

— Раздвиньте кровати,— сказал Бетал.

Раздвинули, чтобы было больше места. Сели.

— Вот мы, кабардинцы, пришли, хотим с вами союза. Вы, иногородние, как жили? В лишениях жили. Кто хочет с царем и помещиком — уходите. Кто с нами — оставайтесь.

Все были за советскую власть.

Пошли к ингушам. Поговорили с казаками. Потом Бетал пошел к Кирову.

Бетал начал немного волноваться, когда, рассказывая нам о пятигорском съезде, он подошел к тому решающему часу, когда кабардинская делегация вышла на авансцену, подошла к трибуне и потребовала, чтобы проголосовали признание Совета Народных Комиссаров. Весь съезд встал. Буря криков и восклицаний пронеслась по залу. В президиуме возник переполох. Эсеры и меньшевики — Бетал хитро усмехнулся — посходили с ума. Поднялся шум и гам. Кабардинцы стояли как каменные. Киров похаживал в задних рядах. Но потом он появился на трибуне. «Как лев появился»,— сказал Бетал.

— Вы за мир? — спрашивает Киров зал.

— За мир! — кричат.

— Если часть съезда вносит предложение, то надо проголосовать,— говорит Киров.

И признали так советскую власть. И на улицах уже были демонстранты. Выделил съезд Кирова, Такоева, Бетала. Вышли они на балкон и объявили признание советской власти. Ликующие крики демонстрантов на улице ворвались под своды зала.

Бетал говорил час за часом. Мы следовали за Беталом во Владикавказ, куда был перенесен из Пятигорска съезд, видели его в залах бывшего кадетского корпуса, то в селениях ингушей, то на Военно-Грузинской дороге, то в Нальчике, где он разоружал белых офицеров, в лесах Кабарды, на дорогах, на плоскости, в бесчисленных стычках с белыми, в борьбе за Владикавказ, в глубине Ингушетии и снова в предгорьях Кабарды.

Он рассказывал о временах, звучавших сегодня, как легенда, о том, как платили за патрон по пяти рублей, как ночевали в одной комнате с человеком и не знали, враг он или друг, каждый день попадали в смертельную опасность и находили выход при всех обстоятельствах, как держали через беззаветно преданных революции горцев связь гор с Красной Армией, с Кировым в Астрахани и, несмотря на все препятствия, боролись и наносили врагу постоянно удары, которых он не мог не чувствовать.

Бетал рассказывал, и перед нами вставали темные ночи

в ущелье, где по обледенелой тропе двигался измученный отряд отступавших в глубь Ингушетии большевиков. Проводник держал высоко поднятую горящую головню и освещал узкую тропу над бездной, в которой ревела река. Снег лежал большими пластами повсюду. Бетал держал на руке пятимесячного ребенка — закутанную в одеяло дочку терского предчека Цинцадзе. Она была еще завернута в кусок, отрезанный от шубы, перевязанный башлыком. Лошадь Бетала сорвалась с тропы. Падая в глубокий снег, он успел бросить впереди себя на склон спящую девочку. Она даже не проснулась, когда лошадь пролетела мимо нее в пропасть, а Бетал, по пояс закопанный в снег, чудом спасшийся, снова взял ее на руки и выкарабкался из снежной пропасти.

Бетал рассказывал о людях тех славных лет, и они проходили перед нами, гордые, могучие, непреклонные, смелые, уверенные в своей правоте. Мы видели Серго Орджоникидзе и Сергея Мироновича Кирова, известных среди всех народов Северного Кавказа, во главе бесстрашных патриотов, жертвовавших подчас жизнью за победу советской власти. Перед нами проходили русские, ингушские, осетинские, кабардинские, балкарские коммунисты, партизаны, красноармейцы, вооруженные рабочие, железнодорожники.

Бетал рассказывал о Бутырине, Автономове, Цинцадзе, Ное Буачидзе, Филиппе Махарадзе, Дьякове, Андрее Гостиеве, Темболате Гибизове, Николае Дзердзиеве, Асланбеке Шерипове, Хизыре Орцханове и о многих других, чьи жизни могли служить примером для будущих поколений, достойны войти в историю тех неповторимых лет.

Не мог Бетал не сказать нам о той телеграмме, которую послал Орджоникидзе В. И. Ленину 24 января 1919 года, где говорил о том, что Одиннадцатой армии нет, но рабочие и горцы продолжают вести борьбу. «Владимир Ильич,— писал Орджоникидзе,— будьте уверены, что мы все погибнем в неравном бою, но честь своей партии не опозорим бегством».

И они не бежали. Грозная борьба завязалась по всему фронту гор, и казалось, что рассказ Бетала никогда не кончится: так одни битвы сменяли другие, гибли одни герои, на их место вставали другие. И белые чувствовали, что самые горы рождают мстителей и к этим горцам примыкают казаки с Сунжи и с Терека, и все крепнет эта сила, и все меньше становится сила белых.

Одно — читать обо всем этом в книгах, другое — слушать человека, закалившегося в этой борьбе, живого свидетеля, глаза которого видели все то, что мы от него слышали.

Мы потеряли представление о времени, и когда он кончил рассказ, как я уже говорил, алая полоса зари стояла в окне.

...После этого нам неоднократно приходилось встречаться с Беталом и в его доме, в кругу его семьи, и в официальной обстановке, и в горах, и в городе, и в колхозах среди народа.

Бетал Калмыков был настоящим сыном своего народа. Как и народ, он вышел из первобытного мира в мир социализма. Та советская интеллигенция, которая выросла в Кабарде за годы советской власти, была выращена Коммунистической партией, как и передовые колхозники-бедняки, в прошлом даже во сне не видавшие, чтобы их жалкие поля давали им сто центнеров кукурузы и сорок — пшеницы с гектара.

Самый простой кабардинец понял, что знание необходимо для того, чтобы можно было подчинить себе горные жестокие реки, достичь замечательных урожаев, провести в диких ущельях электричество и построить автомобильные широкие дороги.

С внедрением в быт нового менялся самый порядок жизни отсталого горца. Поэтому бывший бедняк, сегодня колхозник, чувствующий рост своего достатка, понимал значение коммунистического преобразования крестьянской жизни, преимущество нового перед всеми пережитками, еще державшимися в сельском быту.

Этот новый кабардинец понимал и любил Бетала Калмыкова не только за то, что он народный герой, участник эпической борьбы за свободу и дружбу народов, а и за то, что видел в нем человека, коммуниста, друга, который знает по-настоящму жизнь маленького кабардинского народа и не является недоступным вольможей, управителем, живущим вдали от народа.

Бетал Калмыков всегда был среди народа, всегда шел в гущу крестьянской массы и того же требовал от всех советских работников. Он не терпел бюрократа или лентяя, отлынивающего от труда.

Он никогда не спрашивал у ответственного работника ответа на такие вопросы, которые могли выставить его на посмешище окружающим, но он строго проверял, чтобы

колхозный работник, спрашивая с колхозников, сам точно знал все, что касается колхозного хозяйства. Он мог устроить экзамен при народе, чтобы проверить, знает ли секретарь райкома сельское хозяйство, знает ли колхозный инвентарь, технику так, чтобы ему не стыдно было говорить с мастерами урожая.

Он мог — это было, может быть, немного по-восточному — потребовать, чтобы иные недостатки исчезли в самый короткий срок.

Рассказывают, что однажды к нему на прием пришли девочка и мальчик с запиской, которую им написал добрый какой-нибудь турист, бывший в их глухом селении. В этой записке они жаловались Беталу, что председатель колхоза преследует нещадно больного их отца и больную мать, загнал их в такую нищету, что они умирают с голоду. Бетал Калмыков вызвал врача, посадил детей в свою машину и поехал в это ущелье. Там он действительно нашел в холодной пустой каменной сакле с пробитым в потолке отверстием для дыма лежащих на старых, затасканных кошмах, прикрытых рваными одеялами двух людей. Он велел врачу обследовать их. Врач признал их очень больными, нуждающимися в медицинском лечении и, кроме того, просто оголодавшими.

В гневе вызвал он председателя колхоза и спросил его, что случилось с этими людьми.

— Они лентяи, не хотят работать,— сказал председатель.

— Они не лентяи, они больные, так сказал врач,— ответил Бетал.— Я не имею времени долго говорить. С этими людьми поступили несправедливо. Советская власть не терпит несправедливости. Я уезжаю сейчас в Нальчик. Через три дня я приеду снова. Прошу, чтобы были приняты меры и чтобы эти люди были поставлены в другие условия.

Через три дня он нашел больных лежащими на новых кроватях в доме, который раньше был заброшен. В этом доме жил когда-то кулак, в свое время высланный. Дом был спешно отремонтирован. Дети ходили в школу. В доме было чисто и тепло. Больных навещал фельдшер.

— Вот видите,— сказал Бетал,— надо было только три дня, чтобы все изменить к лучшему в жизни этих колхозников. Почему вы не могли этого сделать раньше?

Он мог собрать пленум обкома и говорить о красоте зимних дорог.

— Почему летом хороши наши дороги? Потому, что

по их краям растут деревья разных пород, даже фруктовые. А зимой эти деревья стоят голые, и дороги имеют печальный вид. Если мы обсадим их соснами и елями, они и зимой будут красивыми,— говорил Бетал.

Он добился того, что колхозы разделили дорогу на зоны и каждый колхоз в своей зоне поставил у дороги ларек, где проходящий путник, главным образом турист или альпинист, мог выпить холодного айрану, изумительно утоляющего жажду, мог съесть кусок арбуза или дыни, сметану, творог, получить кусок хлеба. За все это не взималось никакой платы. Это был подарок колхозников.

— Колхоз от этого не разорится,— говорил Бетал,— а люди будут помнить наше гостеприимство. В самом деле, жарко, знойно, пыль, долгая дорога. Нет нигде у нас ни гостиниц у дороги, где можно было бы отдохнуть, ни лавочки, где можно было бы купить прохладительное. А здесь один айран — наша гордость — возвращает путнику силу, изгоняет усталость. А потом, мы живем при социализме. У нас дружба народов, и каждый гость нашей страны — наш дорогой друг!

Он любил детей, и всегда, когда он ехал куда-нибудь, он обязательно подвозил на своей машине детей, шедших по дороге, болтал с ними, шутил. Подвозил он также пожилых женщин. С ними он говорил почтительно, и они знали его в лицо. Иногда какая-нибудь из них обнимала его и, прослезившись, вспоминала то время, когда она знала его как скрывающегося в горах борца за свободу. И она тогда носила в горы партизанам еду и белье и его хорошо помнила.

Смеяться он мог, как ребенок. Так, в Нальчикском заповеднике, в зеленой чаще, на поляне, при луне, когда мы тщетно ждали, что кабаны придут на водопой, он, слушая рассказ старого охотника, знатока лесов, валился от хохота на траву. В самом деле, рассказ охотника, который Бетал слышал не раз и даже сам был свидетелем этого случая, был исключителен... Охотник был в облаве на кабанов. Кабан выскочил неожиданно и испугался, сбил с ног и подбросил охотника в воздух, чтобы только удрать.

Охотник, перевернувшись в воздухе, упал на спину кабана и вцепился в него, чтобы не свалиться. Он боялся, что кабан, сбросив его, разорвет клыками на куски. Кабан, испугавшись еще больше, мчал его без разбору по чаще и сильно исколотил его о деревья. Потом сам споткнулся и сбросил охотника. Тот закричал страшным голосом. Ка-

бан, не оглядываясь, помчался дальше. С тех пор этого охотника всегда, как увидят, все просят еще раз рассказать эту историю, и все переживают ее заново.

Бетал не мог сдержать какого-то первобытного смеха, слушая этот рассказ. Охотник, зная, что рассказ производит неотразимое впечатление, всякий раз добавлял новые подробности и вызывал новые взрывы хохота у Бетала. Но так смеялся он редко. Чаще он был сосредоточен и серьезен.

Он любил мирить поссорившихся. И особо строго следил за случаями, когда могла возникнуть кровная месть. Раз группа сванов, перейдя Твиберский перевал, украла с поляны перед Тихтингеном несколько лошадей и хотела перегнать их в Сванетию. Но погода испортилась. Дзинальский ледник за перевалом закрыли снежные тучи. Балкарцы погнались за сванами, и у перевала была перестрелка. Они отбили лошадей и захватили двух не успевших ускользнуть сванов. По старым обычаям, дело это было серьезное. Раненный, хотя и легко, сван становился на тропу кровной мести. Да, кроме того, неизвестно, что сделали бы разъяренные балкарцы с пленными. Сейчас Бетал потребовал, чтобы сванов доставили в Нальчик, а пастухи-балкарцы тоже приехали бы к Беталу.

Бетал сначала рассказал балкарцам, как трудно жить в Сванетии людям. Там тогда не было даже дороги. Только тропы, которые зимой закрываются до весны. Их заваливает такой глубокий снег, что когда приходится идти из селения в селение, то даже запрещается окликать по имени спутника. От звука человеческого голоса падают лавины. Хлеба в Сванетии нет. Живут всегда на полуголодном пайке. Поэтому народ бедный. Купить лошадь негде, заплатить за нее нет денег. Вот они от нужды такой, рискуя жизнью, идут на крайнее дело — похищают лошадей, подвергая свою жизнь опасности.

— Бетал, они плохие люди,— сказал пастух.— Пусть украдут, но ведь они вели их через такой перевал, где лошадь погибнет, не пройдет. Им лошади не жалко, они плохие люди.

Бетал остановил его:

— Ты не прав. Я же сказал, что они не только лошадью рисковали, они сами могли там погибнуть. Значит, такая у них нужда. Они не плохие люди, они бедные люди, но у нас советская власть и дружба народов. Я очень рад, что помогли этому легко раненному свану и перевязали его

руку. Но мы должны и в другом помочь им, как добрые соседи и друзья. Мы, что скрывать, богато живем, не так, как они за перевалом. И лошадей у нас много. Давайте, товарищи, подарим им этих лошадей и поможем им довести их благополучно домой. Мы не обеднеем оттого, что подарим несколько лошадей, а зато у нас будет дружба и покой, не будет ссоры и сердце будет спокойно. Подарим им лошадей.

— Раз ты так сказал, мы с тобой согласны,— ответили горцы.— Это правда, лошади у нас есть. Мы не бедные...

Но тут встал сван и, побледнев от волнения, сказал:

— Мы не бедные. И нам ваших коней не надо. Мы и без них можем прожить. Мы больше к вам за конями не придем. Не надо нам ваших коней.

Беталу понравился этот ответ свана.

— Тоже сказано верно. Они сами могут приобрести коней. И подарков не хотят. Тогда мы расстанемся как друзья, которые не имеют друг против друга никакого зла. Накормите их и проводите через перевал, потому что сейчас весна и перевал трудный. Может быть буря, а гости не должны пострадать, должны благополучно домой вернуться. Их там ждут семьи и беспокоятся. Раз они говорят, что больше так делать не будут,— конец. Мы к ним претензий не имеем, правда?

— Правда,— сказали горцы,— ты хорошо рассудил, Бетал...

Много можно рассказывать разных историй, которые сегодня кажутся сказочными, но это правда, которую мы видели своими глазами. В разных условиях я встречался с Беталом и некоторые встречи записал. Сейчас эти записи, в которых отсутствует вымысел, я хочу присоединить к тем несомненно многочисленным материалам, которые постепенно соберутся в музее Кабардино-Балкарии, потому что жизнь и деятельность Бетала Калмыкова должны быть описаны подробно, чтобы они стали широко известны советским людям.

НА ШИТ-КЕТМАСЕ

Седловина Шит-Кетмаса в обыкновенное время — довольно пустынное, редко посещаемое даже туристами место. От нее расходятся далеко нагорные луга, на которых пасутся стада и еще дальше к востоку ходят табуны кабардинских конных заводов.

Так вот в этой седловине, недалеко от недостроенной гостиницы на вершине Шит-Кетмаса, на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря, мы участвовали в празднике животноводства.

Вокруг нас паслись отличные бараны и овцы, коровы, и быки. Множество больших, просторных, высоких шатров было воздвигнуто колхозниками, приехавшими сюда не только из ближних колхозов. На трибуне, построенной по всем правилам, стояли знатные люди колхозов — кабардинцы и балкарцы. Тут же был и Бетал Калмыков. В широкой бурке, накинутой на плечи, в высокой мерлушковой кабардинской шапке, с кинжалом у пояса, он шел по травам Шит-Кетмаса, как требовательный, всезнающий хозяин, все ему были знакомы, он говорил с каждым, кто его останавливал, и со стороны было видно, как весь он полон радости, что пустынный и скучный Шит-Кетмас, на диком Скалистом хребте, полон всеми красками народного праздника.

День был сероватый. Наползали облака, и их лохматые клочья закрывали подчас шатры, и всадников, и трибуну с флагами и плакатами, но ничто не могло помешать народному празднику. И когда мимо трибуны двинулись награжденные почетными грамотами животноводы, их встретили громкие аплодисменты зрителей.

Девушки в белых передниках, с красными лентами в косах вели огромных баранов с широкими изогнутыми рогами. Глаза баранов походили на томные глаза восточных принцев. В их густую, чисто вымытую шерсть были вплетены конфеты, хлопушки, цветы. Бараны шли, как танцоры, перебирая тонкими сильными ногами и с чувством собственного достоинства оглядывая друг друга. Овцы проходили за ними не торопясь, точно понимали, что они сейчас в центре внимания.

Большие черные быки с кольцами в ноздрях входили в облако, как будто были животными из мифологии, и сопровождавшие их кабардинцы были молодец к молодцу. Коровы — царицы высокогорных лугов — были такие упитанные, сильные, красивые, что им аплодировали, как артисткам.

Окружавшие животных колхозники, молодые и старые, были празднично разодеты, а те, что непосредственно опекали животных, носили, как доктора, белоснежные халаты. Все животные были украшены цветами и лентами.

В раскрытые двери шатров я видел ряды столов с белыми скатертями, уставленные всевозможными мисками, тарелками, блюдами, чашками и рюмками.

Я ходил по этому горному лугу и думал о том, что было тут двадцать лет назад. Разве пришло бы кому в голову украшать скот, собираться вместе? Да разве князья стали бы радоваться тому, что народ свободен и так выросли его богатства?

По этим пустынным просторам ходили стада, принадлежавшие феодалам, охраняемые наемной командой вооруженных сторожей. Пастухи отдыхали на земле в кошах, сложенных из камней, у костров, за которыми толпилось серое облако отары и лежали огромные псы, всегда голодные и злые.

Скотоводы поднялись на седловину Шит-Кетмаса во всем блеске их богатства, поставили большие, вместительные шатры, сели за столы, ели из тарелок, около которых положены хрустящие салфетки, разукрасили животных, как картинки. Горы любовались невиданным зрелищем.

Пока я расхаживал между костров, на которых варили и жарили, между смеющихся дружков, собравшихся в кучки, между спешившихся всадников, кони которых бродили поодаль, я увидел, как появился Бетал Калмыков, в бурке, раскинутой по бокам коня. Он стал на коне громадным, чуть тяжелым, но воинственным, сросшимся с конем. Он надвигался тяжело, как кусок черного облака. За ним следовала целая кавалькада джигитов, один другого живописнее и разнообразнее. Разного возраста и роста, они все были в бурках, в черных шапках. У иных были видны изпод черкески белые шелковые бешметы. Газыри на груди блестели черным и серебряным блеском. Башлыки были закинуты за спину. Кони под ними перебирали ногами, готовясь сорваться в скачку.

Эта сильная, суровая кавалькада, как бы раздвигая по дороге толпы людей и животных, приближалась к скату холма, довольно крутому. Люди при виде всадников, таких знакомых и таких красивых, шли рядом и приветствовали их поименно, так как это были люди их колхозов или хорошо знакомые работники из окрестных мест.

И тут Бетал Калмыков в толпе, окружавшей всадников, увидел меня. Он остановил коня и сказал, подняв руку:

— Почему вы не едете с нами?

Я не знал, куда они едут, зачем они едут, и никто со мной об этом не говорил. Но я знал Бетала и знал, что он

любит, чтобы ему отвечали сразу на его вопрос. Поэтому я просто сказал:

— На чем я поеду? У меня нет коня...

— Нет коня! — закричал он, даже не удивляясь странности моего ответа. Он оглянулся, выбрал глазами одного всадника, ехавшего поодаль, и закричал ему по-кабардински. Я понял, что он просит уступить мне своего коня. Всадник, с темным лицом, низкоплечий кабардинец, что-то прокричал в ответ, сейчас же спрыгнул с коня, и у него взяли коня и подвели мне. Как только я вскочил в седло, я понял, что мне нет отступления. Владелец коня был хромой. Он хромал на левую ногу. Его нога была намного короче моей. Он приспособил свое левое стремя для своей ноги, навсегда укоротив его. Сидеть в таком седле, при укороченном стремени, не очень интересно. Но раздумывать мне не приходилось.

Бетал Калмыков с той минуты, как я вошел в состав его кавалькады, уже считал меня одним из джигитов, по отношению к которому нет исключений. Он поднял камчу над головой, крикнул, и кони, как ожившие птицы, прянули прямо в крутой провал и понеслись, как будто на нас наседала самая яростная погоня.

Мы мчались большой толпой по высоким травам, среди которых были острые, большие и малые камни. Трава эта не походила на исполинские травы долин Зесхо или Накры, где медвежьи дудники, шеламайники и борщевики закрывают всадника вместе с лошадью, но эта трава все же была по колено коням, и они рассекали ее так беззаботно, точно у них даже не было мысли, что они могут неожиданно споткнуться о предательский камень и свернуть всаднику шею.

Так мчались мы довольно долго, пока не увидели в стороне табун. Жеребец — настоящий саулох с блестящей полосой, падавшей через всю сильную спину,— вышел впереди своих кобылиц, столпившихся за ним, и бил землю ногой, фыркая и негодуя, вызывая на бой противника. Я смотрел на Бетала. Он подвел своего коня на такое близкое расстояние, что казалось неминуемым, что дикий жеребец бросится на него. Ему закричали: «Бетал, осторожней! Не надо ближе!»

Бетал смотрел на прекрасное животное, которое в гневе и в ярости не спускало больших огненных глаз с беталовского коня. И когда жеребец, изнемогая от ненависти, готов был совершить решительный прыжок под жалобные

вскрики своих кобылиц, Бетал железной рукой отвернул своего коня и помчался дальше, вкладывая в бешеную скачку весь пыл несостоявшейся схватки. Я мчался среди всадников, ругая про себя хромого наездника. Я не мог держать ногу в левом стремени. Она затекала сразу от неестественности положения. Я не мог ступить на стремя: Я вынимал ногу из стремени и мчался, опираясь только на правое стремя. При скачке по ровной местности это не было бы заметно, но, когда мы то срывались с холмов в провал, то резко бросались вверх по склону, надо было быть настороже, имея в стремени только одну ногу.

Мы мчались от табуна к табуну, и всюду нас встречали вспененные от ярости жеребцы; иные из них бросались сами в атаку, иные отступали и становились на дыбы, но нигде не доходило до настоящего боя. Беталу нравилось все: и эта бешеная скачка, и эти дикие игры со злыми великолепными животными. Ни разу он не взглянул на меня, но у меня было странное ощущение, что он незаметно следит за мной и ждет, что я попрошу пощады, что выбор хромого был не случаен: не мог он не знать этого темнолицего кабардинца, раз он был в его кавалькаде.

Сколько мы объехали табунов и сколько мы промчались по скалистым полям Шит-Кетмаса, я не знаю. Мы возвращались шагом, так как лошади устали. И теперь я понял, что не только инстинкт переносил их легкие тела через камни, так щедро разбросанные в траве нагорья. Они были начеку каждое мгновение, азарт скачки не давал им возможности выбирать, но они всем телом, всем чутьем определяли правильность прыжка, и теперь, уставшие, они приветствовали ржанием костры и палатки нашего лагеря.

Мы соскочили с коней. Моего коня сейчас же увели. Мне же пришлось растирать ногу, которая онемела от согнутого, неудобного положения.

Меня окликнули. Бетал просил зайти с ним вместе в шатер одного колхоза. Я увидел стол, уставленный всеми богатствами кабардинской земли. Мне не надо было особого приглашения. Я видел, что гости и хозяева не теряли времени даром. Добрые лица раскраснелись, глаза выражали высшее довольство, руки наливали новые рюмки. Нас приветствовали дружно и от сердца. Бетал налил себе большой стакан нарзану и выпил его залпом. Я пил водку, закусывая хрустящими свежепросольными огурцами и шашлыком.

Насытившись и подняв несколько рюмок за здоровье хозяев — советских тружеников, мы отбыли в другой шатер, и там повторилось все сначала. Мне налили водки, Бетал сам налил нарзану. Мы посидели, поговорили, нам пропели старую кабардинскую песню, и мы вышли на уже темный простор.

— Где же они будут спать? — спросил я.— Столы на Шит-Кетмасе — это сильное зрелище, я даже две салфетки нашел у своего прибора, а спать на земле будут?

— Почему на земле? — сказал Бетал.— Вот я вам сейчас покажу, где они будут спать.

Он прошел немного в сторону и остановился у темной большой палатки. Какая-то фигура вскочила с земли, когда мы приблизились. Человек подошел вплотную и узнал Бетала. Пробормотав от неожиданности приветствие, он ждал вопроса, но Бетал сказал ему:

— Покажите палатку.

Сторож распахнул вход, и мы вошли. Передо мной, тускло освещенная фонарем, была спальня, такая, как в любом общежитии: стояли ряды высоких кроватей с матрацами, с простынями, с подушками и ночными столиками.

— Вопросов больше не имею,— сказал я, пораженный виденным.

Мы вышли из палатки, простились со сторожем и зашагали через опустевшие пространства к огонькам гостиницы, светившей далеко в тумане.

Воспользовавшись тем, что мы вдвоем, я сказал:

— У меня есть несколько вопросов к вам, Бетал.

— Пожалуйста, я люблю вопросы,— сказал он, постегивая нагайкой по сапогу.

— Вот там, в шатрах, кабардинцы-колхозники пили за ваше здоровье водку, а вы за них пили нарзан. И я заметил, что вы никогда не пьете ни вина, ни водки, ничего... Почему?

Бетал ответил не сразу. Потом он остановился и начал медленно, как будто повторял старый рассказ:

— В юности раз я шел домой, это было еще тогда, когда Нальчик был маленькой слободкой. Домишки были мазаные, унылые. Кругом нищета, скука кругом. И вижу: лежит пьяный, раскинул руки, уткнул лицо в грязную лужу, хлюпает в ней губами; на бороде, на щеках остатки пищи, и эти остатки большущая свинья — вот такая,— он развел руками широко,— вот такая свинища его облизы-

вает. И оба они хрюкают. Он в луже, набрав в рот помоев, а она от удовольствия, его облизывая. Я стоял долго и не мог оторвать глаз. А потом я побежал, как в страхе. Я бежал и давал клятву: «Бетал, ты никогда, никогда не будешь пить. И никогда никто не увидит тебя, как этого человека, чтобы все свиньи радовались». И я никогда не пил ни капли.

— Я вас понимаю,— ответил я,— и благодарю, что вы так глубоко ответили на мой вопрос. Теперь скажите мне: так ли было необходимо, чтобы с такими трудами доставить сюда, в пустыню Шит-Кетмаса, все эти шатры, кровати, столы, тарелки, стулья и скамейки? Ведь это стоило большого труда колхозникам. Не проще ли было им посидеть у костров и спать под бурками на траве?..

— Нет,— решительно и сразу ответил Бетал. Мы были уже почти у гостиницы.— Нет,— еще раз повторил он,— столько веков их предки сидели у костров и ели руками и спали, где ели. Мы сделали революцию, чтобы Кабарда и Балкария были передовыми краями. Вы знаете, что за весь прошлый век, за все время до революции, на Эльбрусе были единицы, главным образом европейцы. И они гордились этим. Они смеялись, что наши кабардинцы и балкарцы — дикари. Живут под горой и горы не видят. Они даже не признавали, что первым взошел на гору кабардинец —Киллар Хаширов. Так, вы знаете, что на этой горе, на Эльбрусе, прошлый год было шестьсот тридцать восемь колхозников со всех селений, простые люди были, любовались с вершины Эльбруса своими достижениями. Вы думаете, им легко было туда подняться? Но теперь им иностранные восходители — не что-то особенное. Это они сами умеют. А то, что они на Шит-Кетмас приехали на грузовиках, на машинах привезли все свое: матрацы, одеяла, простыни, столы, тарелки,— так и нужно. Довольно есть на земле, спать у костра. А если ты уважаешь себя, будь — хоть на вершине, хоть у подножия — достойным того общества, в котором живешь. А мы живем в советском обществе. Надо красиво жить. Вот я вам ответил.

Мы подошли к дому. Гостиница возвышалась перед нами, как пирог, окруженный паром, точно ее только что вынули из духовки. Облако окружало ее, но какое-то рваное, все в кусочках. Открывая дверь и входя, Бетал сказал:

— Идите отдохните.— И через секунду, прищурив глаза, добавил: — Неплохо ездите, неплохо. Я забыл, что он

хромой, потом уже неудобно было ему возвращать коня. Он мог обидеться за коня — подумал бы, бракуем его коня. Вот так было дело.

Он еще раз усмехнулся в кусок своих тигриных усов и ушел в свою комнату.

...Гостиница на вершине Шит-Кетмаса строилась из расчета, что она станет приютом для высокогорных туристов, скорее всего даже для интуристов. В ней должны были быть десять хорошо обставленных номеров, столовая, веранда с неповторимым видом на окрестности, ванная комната и буфет. Никаких туристов мы в ней не застали. Она представляла полное запустение, и ее населяли в эти дни народного праздника главным образом мы с Арнштамом. Никаких особых удобств и никакого вида постоянно действующего отеля этот странный, брошенный на высоту двух тысяч двухсот метров дом пока не имел.

Утро было сырое, прохладное, туманное. Я встал рано, умылся водой, которая жгла руки, и вышел на плоскогорье. Туман закрывал весь горизонт. Но стремительные порывы ветра разгоняли волны тумана, и тогда вдруг с ослепительной ясностью раскрывались пейзажи, из-за которых сюда, на эту вершину Скалистого хребта, приходили люди, чтобы встречать восход солнца.

Внизу, я знал, лежала долина нарзанов, и оттуда очень легко можно было дойти хорошим шагом до Кисловодска. В эту долину я мог спуститься прямо из гостиницы, здесь было не больше восьми — десяти километров. Я начал ходить перед домом, приближаясь к обрыву, который висит над глубоким каньоном. Сейчас в нем плавал молочный туман.

Я думал о Бетале, о нашей вчерашней скачке, о нашем вчерашнем разговоре. Я вспоминал всю его жизнь — от юности горца-мальчика через гражданскую войну к сегодняшнему дню. Какой путь прошел он и сколько положил сил, чтобы сделать из нищего края богатую, замечательную Кабардино-Балкарию! Он так жаждет, чтобы все стало новым в жизни этих людей. Но он не человек городской культуры. Он горец. Ему надо, чтобы вокруг него были горы. Без них он жить не сможет. В любом индустриальном центре он пропадет,— не пропадет, но не станет тем, что он сейчас. Порыв ветра, сильный и резкий, сорвал туман, как огромный занавес, и понес его куда-то за Харбас.

Я увидел Бетала. Он сидел у самого края обрыва и смотрел прямо перед собой. Перед ним лежала вся умы-

тая утренней росой долина Хасаута, над которой подымалась сине-фиолетовая громада Харбаса, и над всем вставал светящийся белым фосфором гигантский конус Эльбруса. Где-то вдали темнела скала Бермамыта. К северу, как темные корабли, плывущие по темно-синему морю, вставали все высоты Пятигорья. Бетал сидел, и взгляд его уходил в глубокие утренние горные просторы. Он сидел и думал. Я отошел. И когда я оглянулся, туман снова закрыл его.

НОЧНЫЕ ДОРОГИ

Сняли большие колхозные шатры на Шит-Кетмасе, на грузовики погрузили кровати и столы, матрацы и стулья, разобрали трибуну, сложили флаги, свернули плакаты — кончился праздник животноводов. И колхозники с песнями, под мелким дождем, тушившим остатки костров, поехали по домам.

Подходил вечер. С гор тянуло холодом. Все ходили в бурках и даже в башлыках. Все ждали сигнала Бетала тоже трогаться в путь. Длинная вереница машин выстраивалась, чтобы последовать за колхозными грузовиками и фургонами. Но Бетал сел в машину и отдал свой приказ. Мы поехали совсем в другую сторону.

— Куда он едет? — спрашивали вокруг.

— Он хочет посмотреть новые комсомольские коши в горах...

Через несколько километров мы уже ехали в темноте. Фары освещали бледным рассеянным светом скопления камней и травы, в которых шуршал ветер. Потом неожиданно вспыхнули большие фонари, и настежь открытые ворота приняли нас. Мы въехали в широкий двор и вылезли из машин. Теперь я увидел, как нас много. Тут были и работники из Нальчика, и товарищи из окрестных селений, и председатели колхозов, и наркомы маленькой республики. Бетал сразу пошел знакомиться с гаражами и складами.

Кто много бродил по горам, тот знает, что значит после утомительного пути по горным кручам набрести на кош. Это будет или пещера, где на связке травы можно прилечь отдохнуть, или каменная постройка и четырехугольный загон с костром посередине, или деревянный сарайчик, в котором вас угостят айраном и куском свежей лепешки. Весь быт пастухов в горах напоминал нечто древнее и не-

изменяемое. Казалось, что пастухи иначе жить не могут и ничто не изменит этого пастушеского быта. Все картины и зарисовки старых и новых художников говорят об этом. И еще одно: пастухи — всегда бедно одетые тихие неграмотные люди, разговаривающие главным образом с собаками и овцами.

Мы же в этом комсомольском коше увидели нечто настолько новое, что наша усталость сразу исчезла. Скот стоял в отличных помещениях, сооруженных по последнему слову техники. Сияли чистотой домики-павильоны, в которых размещались молодые пастухи. В домиках стояли новые кровати, в каждой комнате было радио, лежали книги, домино, шахматные доски. Иные из приехавших сразу стали расставлять шахматы, иные прилегли на кровати, иные стали налаживать радио. Хором восхваляли комсомольский кош и затею Бетала привезти сюда на ночевку всю компанию. Тут было тепло, уютно, обещан был горячий чай. Может быть, могут дать и что-нибудь еще более существенное.

За окнами черная горная ночь. Порывы ветра стучали по новым крышам. Все разоблачились, и по-домашнему начались дружеские беседы и разговоры. В самый разгар этих разговоров, когда уже игроки в шахматы начали ходы, а любители радио поймали Нальчик, дверь распахнулась и вошел Бетал, внося с собой холод со двора. Он прошел по помещению, поглядел на царившие в нем мир и покой, помедлил немного и сказал негромко, но так, как он любил говорить, коротко и ясно:

— Поехали дальше!

Сначала к этим словам отнеслись как к шутке. Кто-то даже засмеялся. Но когда взглянули на Бетала и прочли в его спокойных глазах, что он не шутит, начались возражения, которые шли из всех углов.

— Бетал, надо здесь ночевать. Куда мы поедем? Ничего не видать, такая тьма. Бетал, здесь шоферы ночью не знают дорогу. Надо оставаться. Бетал, здесь так хорошо, чудный кош. Надо вам отдохнуть, надо ночевать, правда. Не стоит ехать ночью. Дождь идет...

Бетал усмехнулся, посмотрел вокруг и, встретив обращенные к нему взоры, сказал:

— Хорошо, делайте, как вам нравится. Я поеду, кто со мной — прошу следовать, кто не хочет — пусть остается.

С этими словами он пошел к двери, и все стали подниматься.

Вся компания высыпала па двор. Дул холодный ветер. Какая-то изморось падала с черного неба. Нас окружала полная темнота. Начался спор о направлении.

— Мы поедем по шоссе к Малке,— сказал Бетал. Он стоял, как бы наслаждаясь внесенным им беспорядком и тревогой. Казалось, ему нравится и тьма, и ветер, и бьющие в лицо холодные брызги.

— Бетал, туда вообще нет дороги...

— Я ездил,— сказал он,— и мой шофер проведет машину...

— Но ведь ничего не видно. Там всюду камни...

— А мы сделаем так,— сказал Бетал и с юношеской легкостью исчез в темноте.

Через несколько минут застучали копыта, и три всадника появились среди машин.

Начался наш удивительный ночной путь по горам, без дороги. Впереди нашей машины, которая шла головной и в ней сидел Бетал, маячил в свете фар всадник. Два всадника скакали по краям машины. Когда путь суживался, всадники приближались к самой машине, когда он расширялся, они уходили вперед и вбок, показывая направление. За нашей машиной, хрипя, спотыкаясь, валясь с боку на бок, шли остальные машины нашего ночного каравана. Так длилось несколько часов. Несмотря на медленность такого рода передвижения, мы все же прошли какое-то количество километров. Иногда происходила остановка, проверяли, все ли машины вместе, и, проверив, продолжали путь, который был, несомненно, вымощен безмолвными проклятиями шоферов.

Бетал, открыв дверь машины и поставив ногу на подножку, чутко прислушивался к каждому ночному звуку, весь уйдя в это занятие, как охотник, ожидающий неожиданного появления зверя. Мы увидели одновременно, как впереди внезапно оказался всадник, так близко, что хвост его лошади обмел радиатор, справа что-то взметнулось рядом с машиной, какая-то коричневая масса в свете соседних фар ринулась вверх. Бетал выскочил из машины, успев крикнуть шоферу: «Стой!» Машина остановилась. Мы тоже выскочили из машины.

Зрелище, которое мы увидели, не принадлежало нашему времени. Но зрелище было сильное. Мы видели в свете фар следующего за нами автомобиля, что Бетал прижал к скале лошадь и, вцепившись своими железными руками ей в ноздри, медленно наклоняет ее голову к земле.

Лошадь, дрожа всем телом и напружинив шею, не хочет ему подчиниться. Пена идет из ее ноздрей, глаза ее стали красновато-фиолетовыми, ошалелыми от ужаса. Она бьется, как громадная рыба, но руки Бетала все сильнее прижимают ее голову к земле, и наконец лошадь, заскрипев зубами, бессильно поникла головой, и только ее тело содрогалось, прижатое к серому скалистому выступу. Люди столпились вокруг и смотрели, не зная, что нужно делать. Но когда первое наше ошеломление прошло, мы увидели, что два всадника что-то шарили около лошади, и наконец один закричал так пронзительно, что лошадь вздрогнула и выпрямилась. Бетал отпустил ее голову, лошадь сейчас же схватили два кабардинца, и она стояла, тяжело дыша, и даже при свете фар можно было видеть, что она вся покрыта липким тяжелым потом.

К Беталу подошел, хромая, высокий горец и сказал хриплым голосом, точно ему перехватило горло:

— Бетал, спасибо, второй раз ты спас мне жизнь...

— Почему второй? — спросил Бетал, стараясь разглядеть человека.

Горец так тихо сказал свое имя, что оно не долетело до нас.

— Помнишь, Бетал, еще в девятнадцатом году около Догужокова меня, а я был совсем маленький парнишка, хотели белые убить, думали, я разведчик. Конечно, я был разведчик, и спасения мне не было. Бетал, ты налетел на них, крикнул мне: «Беги!» Я перескочил через плетень и бежал, и ты даже не знал мое имя, но я помнил всю жизнь этот день. А сейчас лошадь испугалась камня и того, что близко машина, света испугалась, прыгнула и меня сбросила. А нога моя осталась в стремени. Еще бы немного, и лошадь убила бы меня. Спасибо, Бетал, спас меня, второй раз в жизни спас. Спасибо!

Бетал сказал в темноту:

— Возьмите его в машину, надо его показать в больнице. Он ушибся, наверно. И поехали дальше...

Через минуту все происшедшее могло показаться сном. Опять в темноте тащились наши машины, вздрагивая на каждом шагу от камней, попадавших под колеса.

Но мы вновь и вновь переживали то, что видели. «Так рождаются легенды»,— думал я. В самом деле, не каждый день увидишь, как человек, подобно античному герою, прижимает голову взбесившегося коня к земле; не каждый день тебе запросто ночью вылезший из-под копыт коня че-

ловек рассказывает, как на сцене, что его второй раз в жизни спасает Бетал от смерти; не каждый день ты участвуешь в диком пробеге машин в горах, без дороги, кромешной ночью.

Бетал продолжал сидеть так же, как сидел, приоткрыв дверцу и спустив ногу на подножку. Мы решили поговорить с ним.

— Бетал, вы помните этого человека?

— Нет, не помню,— сказал он.— Когда он рассказывал о Догужокове, я что-то начал вспоминать, но таких случаев тогда было много — гражданская война была, драка на каждом шагу, как все упомнить...

— Бетал, как вы увидели, что там несчастье с лошадью?

— Я все время следил за всеми тремя горцами. Я видел, что справа сейчас будут скалы, станет тесно, лошадь пойдет на машину и ее ослепит свет от соседней машины. Она не может не испугаться. Так и случилось, как я думал. Тогда я бросился вперед, потому что ей некуда было идти, она поднялась на дыбы и сбросила всадника. Я видел, что он не мог вынуть ногу из стремени. Я остановил машину, чтобы не дать лошади простора. Если бы машина пропустила ее вперед, лошадь помчалась бы и разбила бы всаднику голову о камни. В таких случаях лучший выход — прижать за ноздри ее голову к скале, к земле. Она от боли и страха потеряет силу. Так вот случилось. У меня бывали такие случаи...

Нашу машину вел закаленный во всех возможных приключениях опытнейший и смелейший шофер Бетала. Вдруг этот шофер подпрыгнул на своем месте, мы покатились куда-то вбок, машина зазвенела, как ящик с жестянками, и встала. Мы вновь повалились друг на друга. Шофер сказал:

— Мы выехали на дорогу.

Приключения этой ночи не кончались. Дорога, на которую мы выехали, была размыта дождями, шедшими несколько дней подряд. Огромные лужи светились при жалкой луне, выглядывавшей между мокрых сизых облаков на холодном зеленом небе.

Колдобины и ямы окружали нас. Машины начали нырять из ямы в яму. Кругом летели тяжелые брызги и шуршали фонтаны грязи, мы тонули в этой грязи, захлебывались, выплывали на сухие бугорки и снова застревали. Кругом стоял грохот, лязг и жалобный вой моторов. Мы

отвоевывали каждый шаг с таким трудом, что стало казаться — мы не доедем ни до какого Нальчика, останемся навсегда в этой холодной ночной грязи, из которой не было выхода. Наконец мы застряли прочно. Тогда стали вылезать из машин, чтобы толкать их руками.

Мы залезли по колено в грязь, толкали сбоку, толкали сзади, мы превратились в бродяг, у которых даже лоб и шея были в грязи, и все-таки машины, хрипя, делали несколько шагов и тяжело брякались обратно в промоину. Бетал, конечно, был среди самых неутомимых, но и его энергия иссякла. Тогда он встал на подножку машины и закричал, как с трибуны:

— Кто ведает этой дорогой? Чья это дорога? Какого района?

Казалось, этот крик в ночи не может получить ответа, но мы плохо знали Бетала. На его крик возник человек, который бежал через колдобины, спеша как только можно. Он добежал до Бетала и сказал, задыхаясь от быстрого и тяжелого бега:

— Дожди, Бетал, все испортили,— хорошая дорога была... Вчера еще можно было проехать...

Бетал махнул рукой.

— Вот что. Дорога в твоем ведении. Значит, ты должен сделать так, чтобы мы проехали твою дорогу. Иди в аул, он рядом, ты знаешь, приведи нам буйволов. Иди и возвращайся скорей.

Наступила пауза. Бетал сидел в машине и отдыхал. Мы рассказывали ему старые анекдоты, чтобы скоротать время. Он вежливо посмеивался. Он был слишком серьезен для анекдотов, но он понимал, что в такую ночь не надо терять чувства юмора. Скоро — скорей, чем мы думали,— раздался шум, храп, сверкнул свет нескольких факелов и появились буйволы. Они шли прямо по грязи, наслаждаясь тем, как мягко уходят их ноги в толстую жидкую кашу. Их глаза светились от огня факелов. Грязный до плеч «хозяин дороги» сам начал запрягать их в нашу машину.

— Подожди,— сказал Бетал, тяжело вылезая из машины,— сначала освободи вон ту, впереди, она нам закрыла проход. Давай мы тебе поможем.

Снова все пассажиры ночного каравана вылезли, и начался новый аврал. Бетал осмотрелся. Луна стояла высоко. Дорога шла по обрыву. На ней, как мухи, попавшие в клей, беспомощно застыли машины; иные из них нырну-

ли в ямы, иные стояли на бугорках перед ямами. Вот он увидел вдалеке машины в странной позиции: их передние колеса едва цеплялись за дорогу, а задние стояли на выступе над обрывом ниже дороги. Вокруг них никого не было, эти машины никуда не собирались двигаться. Они были на нейтральном участке.

— Что там происходит? — спросил Бетал.— Узнайте, что там думают, почему не едут?..

К машинам у обрыва добрался посланный Беталом горец и, вернувшись, сказал, что там все легли спать, чтобы до утра отдохнуть.

— Пойди к ним еще раз,— сказал Бетал, вытаскивая ногу из жидкого грязевого сугроба.— И пригрози, что, если они сейчас не вылезут и не помогут нам в работе, мы скинем их машины в обрыв. Пусть там ночуют. Так пойди и скажи им от моего имени...

Через десять минут мы увидели, как в том тихом месте началось усиленное движение. Буйволы вытаскивали одну за другой машины. Дело пошло веселее, когда луна начала бледнеть и явно повеяло утренним холодком.

Тут стал саботировать один буйвол. Он делал вид, что тащит, напрягался изо всех сил, пыхтел, и, когда его собратья двигались вперед, он только перебирал ногами на месте. Бетал это скоро заметил и сказал:

— Этот буйвол как хитрый человек, но мы хитрее его. Перепрягите его в середину и дайте ему кнутом, чтобы он знал, что тут надо работать, как все...

Мне казалось, что эта ночь никогда не кончится, жидкая грязь никогда не выпустит наши машины. Но вдруг пошли участки слежавшейся, почти крепкой грязи, потом что-то случилось с дорогой, на ней выступили камни, потом земля стала плотной, и машины, к нашему удивлению, покатились без задержки. Это было так неожиданно, что мы не верили нашему счастью. Мимо нас уже проходили на рассвете пустые, спящие еще селения, и вдруг открылась широкая, полноводная река.

— Малка! — сказал шофер.

Мы увидели, что все машины едут не к мосту, а к реке. Из машины вылезали ни на что не похожие фигуры с такими узорами грязи, что удивительно было на них смотреть. Все эти фигуры шли в одежде просто в воду и начинали смывать с себя грязь.

— Пусть привыкают,— говорил Бетал довольным голосом.— Они думали, что нашли хороший приют в ком-

сомольском коше — «давайте спать на мягкой подушке». Они забыли, что у нас есть враги, забыли, что мы должны быть готовы к войне, что надо ничего не бояться. Пробиться, раз нужно, и через огонь, и через мрак, и через холод, и...— Он остановился и, глядя на моющихся в реке, добавил: — И через грязь.

Машины катились по великолепной дороге. Скоро Нальчик. Мы замечаем, что все больше клонится набок голова Бетала. Он засыпает. Он устал. И хотя он не хочет показать нам своей усталости, но мы знаем, что он перенес недавно грипп и прошлая ночь утомила его. Совсем близко Нальчик. И мы знаем другое: он не может показаться в машине утром всем жителям кабардино-балкарской столицы спящим. Они подумают, что он где-то кутил всю ночь за городом. Что делать?

Мы начинаем шуметь в машине, громко смеемся, громко говорим. Наш план удается. Он сначала бормочет что-то недовольным голосом, но, открыв глаза и увидев, что мы въезжаем в Нальчик, сразу сбрасывает с себя сон и начинает намеренно громко говорить с нами о том, что мы будем делать в ближайшие дни. Машина идет по улицам города. Жители узнают Бетала и приветствуют его. Он улыбается и отвечает на приветствия. Он знает, что его любят и уважают.

ОБВАЛ

Мы жили с Арнштамом в маленькой белой гостинице около аула Тегенекли, среди прибаксанских полян, где шумят большие сосны и с горы скатываются по каменным корытцам веселые ручьи, подпрыгивающие на поворотах. Перед нами день и ночь шумел и гудел Баксан, катя свои свирепые воды, принося нам постоянно привет со своих снежных верховьев.

Мы жили совершенно уединенно, посвящая свои дни работе над сценарием о становлении советской власти на Северном Кавказе. Бетала видели редко, так как он не часто приезжал из Нальчика в Тегенекли, а шумные ватаги туристов и альпинистов проплывали мимо нас, как воды Баксана, такие же бесконечные и бурлящие.

Иногда мы проводили вечера в обществе очень дорогих нам людей, известных артистов — Бирман, Гиацинтовой, Берсенева. Тогда мы собирались в их номере, пили сухое виноградное вино и рассказывали другу другу разные

истории или просто беседовали о жизни и об искусстве. Много говорили о горах. Горы нам всем безумно нравились.

За почтой мы по очереди ходили в соседнее селение Эльбрус, где было почтовое отделение. В один из вечеров очередь идти за почтой для всех выпала мне и Гиацинтовой. Мы с удовольствием шли вниз по Баксану, миновали пенистое вторжение в Баксан Адыл-су, прошли мимо живописной щели Ирикского ущелья, в развороте которого в ясный день сверкает сам Эльбрус, похожий здесь чем-то на Фудзияму, и, обгоняя нагруженных дровами ишаков, бодро достигли ворот, за которыми лежал огромный пустырь. На конце его стоял обыкновенный балкарский горный дом, двухэтажный, с лестницей и висячей галереей; в нем помещалась почта. Обычно девушка на почте приветствовала нас и высыпала кучу корреспонденции, адресованной всей нашей компании. Мы с ней обменивались иногда шутками, и вся наша короткая беседа не носила серьезного характера.

Но сегодня девушка была явно встревожена и сразу же сказала, не дожидаясь нашего вопроса:

— А почта-то не была и не будет и неизвестно, когда будет.

— Почему? — разом спросили мы.

— Да как вам сказать? Сначала ничего не знали, а вот к вечеру стало известно. Большой обвал где-то за Верхним Баксаном, за Урусбиевом, знаете, а то даже еще дальше — у Белыма... Но это не может быть, скорее у Урусбиева, по реке вниз...

— Серьезный обвал,— сказала Гиацинтова.— А телеграмму можно послать?

— Да ведь и телеграфные столбы повалены. Наверное, потому-то и связи у меня нет. Боятся наводнения даже. Если обвал Баксан перекрыл, там наводнение.

— А что же будут делать теперь? — спросила Гиацинтова.

— Будут, наверное, завтра обвал разбирать. Людей мобилизуют. А как же? Ведь все сообщение прервалось. А тут сколько на Баксане людей?! И лагеря разные. Надо продукты доставлять. И связь должна действовать. А сегодня ничего не дошло из Нальчика. Где-то застряло...

Нам ничего не оставалось, как тихо идти обратно. Даже торопиться не стоило. Мы ничего не несли — шли с пустыми руками с почты. И мы шагом прогуливающихся людей

начали подыматься к своему Тегенекли. К этому времени тучи в верхней части долины укутали горы, и только в одном месте был странный просвет. И в этом просвете между туч игра последних солнечных лучей создала такой эффект, что мы остановились, и Гиацинтова, человек неравнодушный к театральным потрясениям, воскликнула:

— Но ведь это врубелевский демон, он смотрит на Тамару через гору!

Действительно, если бы у нас был с собой такой фотоаппарат, который мог делать цветные снимки в этой, погруженной уже в синий сумрак долине, он запечатлел бы облако, чрезвычайно напоминавшее гигантскую фигуру, задрапированную в широкий черный плащ или прикрытую сложенными крыльями, облокотившуюся на вершину Тегенекли-баши. Черный кусок облака, изображавший голову, был как бы прожжен в двух местах, и сквозь эти отверстия на нас взирали с высоты два раскаленных глаза, причем огонь этих глаз принимал разные оттенки по мере движения последних солнечных лучей. Было даже немного жутко наблюдать такое подражание человеческой фантазии со стороны бессознательной природы суровых гор, нас окружавших.

— Вы знаете, это действует,— сказала Гиацинтова.— Мне просто кажется, что дьявол облокотился на гору и наблюдает за дорогой.

— Он сделал злое дело,— сказал я,— обвалил гору в Баксан, натворил всяких бедствий и хочет видеть, как это отразится на людях. А может быть, это обыкновенный лермонтовский демон и вы его заинтересовали?

— Бросьте,— сказала моя спутница.— Мне в самом деле как-то тревожно. В горах всегда есть что-то чуть угрожающее.

Я стал разубеждать ее, и мы тихо шли к нашему дому, иногда все-таки бросая взгляд в высоту, и там все еще горели пронзительные глаза горного духа,— правда, уже пламень явно потухал. Одежда уже смешалась с мраком, и сатанинские черты не были отчетливы. Когда мы подошли к гостинице и взглянули в последний раз, демон исчез.

Поужинав, мы собрались в комнате артистов и по порядку рассказали про нашу дорогу, и про обвал, и про демона, вновь появившегося в наших местах, сменив Грузию на Кабардино-Балкарию.

— Он не хочет повторять себя,— сказал Берсенев.

Мы смеялись, и каждый хотел поведать что-нибудь из

мира таинственного и необыкновенного. Я не успел досказать свою историю, как все смешались. Я, сидевший спиной к двери, обернулся и увидел, что подняло с места наших друзей: в дверях стоял Бетал, закрывая своей атлетической фигурой маленькую дверь, и тщетно делал знаки, чтобы не прерывали рассказчика.

Гиацинтова первая после взаимных приветствий сказала:

— А знаете, товарищ Калмыков, какой обвал на Баксане? Даже почта сегодня не пришла и телеграмм не принимают. Вот какой большой обвал где-то, а где — я не помню.

По лицу Бетала я понял, что он ничего не знает об обвале, пока еще не знает. Возможно, что он позвонил в Нальчик, и линия была прервана. Я могу поклясться, что он за минуту до этого не знал про обвал. Но лицо его только секунду хранило непроницаемость. Потом он взглянул на нас, как на людей, которые не могут иметь никаких сомнений в том, что он это давно знал. Легким тоном, каким приглашают к чаю или на прогулку, он сказал:

— Я затем и зашел, чтобы пригласить вас сейчас же поехать посмотреть этот обвал.

Я не могу не отдать должное могучей воле этого человека. Он сделал это так непринужденно и с таким чувством артистичности, что можно было им любоваться.

Наши артисты замялись. Ехать ночью — темно, ничего не видно.

— Как — темно! — воскликнул Бетал.— Сейчас взойдет луна. Все будет видно, как днем.

Мы поняли, что если бы мы все отказались от его приглашения, то ему было бы неудобно поехать одному, а он во что бы то ни стало хотел видеть этот не известный еще ему обвал. Мы с Арнштамом согласились ехать. Мы — любители горных дорог во всякое время ночи и дня. Кроме того, посмотреть необычное — обвал. Мы сейчас же вышли, и я сразу спросил шофера:

— Где обвал?

Шофер посмотрел совершенно растерянно и сказал:

— Я не знаю никакого обвала, я постараюсь замять вопрос.

Я пробормотал что-то о том, что вот тут говорят про обвал.

Появился Бетал с Арнштамом. Машина загудела и вывернулась на дорогу. Действительно, луна появилась, как

только мы подъехали к Верхнему Баксану. Если бы не тревожная весть о неожиданном обвале, можно было бы вдоволь наслаждаться лунной ночью, которая в горах всегда полна разнообразного очарования. Долина Баксана лежала в сонном оцепенении; кое-где светились огоньки, еще больше делавшие ее мирной, отдыхающей, освобожденной от мелких дел каждого дня; атласные тени перекрещивались на дороге; сосны, такие строгие днем, сейчас были украшены мягкими шапками могучей зелени, а каменные выступы гор потеплели, порозовели и потеряли свою суровость.

Мы не разговаривали. Встречный ветер, теплый и мягкий, несся по долине. Я сейчас не помню точно где, но действительно где-то за Верхним Баксаном, чуть ли не у Белыма, шофер затормозил.

Мы вышли на дорогу. Впереди перед нами встала высокая темная стена, которая перегородила и дорогу и реку и уперлась в соседнюю гору на другом берегу. Баксан гудел, как медведь, роющий пещеру. По-видимому, поток не был окончательно прерван и сейчас находил себе путь, пробиваясь сквозь неожиданную преграду.

Мы подошли вплотную. Трудно было определить с того места, где мы стояли, размеры этого оползня. Он, по-видимому, был не высок, но широк. За ним по горе вставал другой гривастый оползень, он уже не имел силы первого. Он только дотащился до дороги и уперся своими камнями и глиной в первый завал.

Бетал походил по пустой дороге, подошел к реке. Мы шли за ним.

— Наводнения не будет,— сказал он.— Баксан уже прорвался. К утру, если не будет дождя в горах, он унесет вниз достаточно. Худо, если будет дождь. Могут упасть новые обвалы.

Мы поехали обратно. Теперь мы ехали с большой быстротой, потому что Бетал хотел, чтобы уже с раннего утра пошли расчищать завал, а потому меры надо было принять уже ночью.

Довезя нас до гостиницы, он сказал, что утром заедет снова за нами.

Утром он был уже совсем другой. Он шутил, ему доставляло удовольствие видеть, как нас обгоняют грузовики с краснощекой молодежью, вооруженной лопатами, ломами, киркомотыгами. Это ехали со всех селений долины к завалу — убирать его. По-видимому, Бетал ночью развил

необыкновенную деятельность, и теперь мы видели ее результаты. Бетал был очень разговорчив.

— Какие голые горы,— сказал я.— Если бы, как в старину, тут были леса, все было бы во сто раз живописнее и горы не ползли бы вниз.

— Леса будут,— сказал Бетал.— Нужно внушить, чтобы никто не смел рубить ни одного дерева, не посадив двадцати. Мы все эти горы сделаем зелеными. Молодежь — она это сделает. И тогда Эльбрус будет стоять в настоящей бурке зеленых лесов.

Мы приехали к завалу. Там уже работали и с той и с этой стороны сотни людей. Когда я недавно читал описание такого же завала, который произошел на глазах академика Щербакова, я поразился точности описания и схожести явления. Щербаков писал: «Это была вязкая масса, состоящая из огромного количества обломков горной породы, связанных между собой темно-серой грязью... По-видимому, эта масса спустилась с гор; своим концом она упиралась в реку Баксан, которая в этом месте бурлила особенно грозно».

Вероятно, за много лет перед нами такой же сель или силь имел место почти там же, где мы наблюдали его в 1936 году. Ночью он выглядел очень мрачно, и отвратительна была эта масса спрессовавшейся грязи, тянувшаяся бурыми складками со склона к реке. А сейчас, при ярком солнечном свете, когда вокруг раздавались веселые молодые голоса и можно было перебираться через толщу обвала взад и вперед, настолько она окрепла, картина не имела никакой мрачности. Понаблюдав за тем, как летят в Баксан большие куски камней и грязи и как понемногу освобождается дорога, мы поехали в Тегенекли.

Горы сияли в это солнечное, теплое утро.

Я не мог не удержаться и сказал Беталу:

— Горы кажутся мне вечно юными. Они всегда напоминают молодость — громкую, смелую, сильную молодость, которой принадлежит все: и лед ледников, и высота, горящая в солнечном огне, и грохот реки, и дороги, ведущие вперед и выше.

Бетал улыбнулся своими большими губами и ответил сразу:

— У меня в молодости были интересные вещи. Вот вы скажите мне, что это было такое...

— Расскажите, Бетал, что с вами приключилось в молодости?..

— Даже в юности,— сказал он.— Я жил в Нальчике, учился в школе — маленький мальчик был, подросток. У меня были школьные друзья. Возились, играли. Раз сидели мы с одним моим дружком на бульваре, на скамейке. Я положил руку вдоль спинки ладонью наружу. А с краю сидела женщина, немолодая, хорошо одетая, незнакомая. Она поглядела раз, другой на мою руку и вдруг говорит: «Мальчик, покажи свою руку...» Я, конечно, отдернул руку, не показываю. «Покажи, мальчик, руку»,— она опять говорит. Я не показываю. Она замолчала, но все на меня смотрит. Мой приятель скоро ушел, а я остался. Она опять ко мне, и так пристает, говорит: «Что ты боишься?» — «Я ничего не боюсь.» — «Ну, так покажи руку.» Я показал. Она взяла руку и долго ее рассматривала. Потом говорит: «Слушай, скажи мне, кто тебе этот мальчик, что с тобой сидел?» — «Это мой дружок»,— говорю. «Так вот слушай, мальчик. Этот дружок твой, запомни, будет в жизни, когда вырастет, самым твоим смертельным врагом. Много у тебя в жизни будет опасностей, много раз ты будешь на краю гибели, много раз будешь среди врагов, но ты не погибнешь. Только вот что еще тебе скажу, запомни. Будет у тебя такой день, когда надо будет выбирать тебе. И если ты выберешь юг — ты спасешься, если ты выберешь север — ты погибнешь. Вот запомни это, мальчик». И ушла. А я с годами все забыл. И про женщину забыл...

Но мы чувствовали, что это не конец рассказа. Помолчав, Бетал продолжал:

— Конечно, вы знаете мою биографию. Как мы в годы гражданской войны самые большие трудности должны были переносить. И раз пришел такой момент. Надо на что-то решаться. Белые со всех сторон наступают. Наша Одиннадцатая армия ослабла, тиф ее косит. Снарядов нет, патронов нет. Что делать? Собрались на совет на станции Прохладной. Я пошел по путям. А там эшелоны из Минеральных. Больные красноармейцы в теплушках. Сыпняк. Я хожу от теплушки к теплушке, открываю — где открою, мертвец на мертвеце. Замерзли в дороге. Тифа не выдержали. В вагоне спорили, спорили — уже ночь кончается, все устали. Все-таки решили: Левандовский уходит в Астрахань с Одиннадцатой армией, Серго, мы все с ним организуем горцев, в горах сопротивление, организуем партизан всюду — останемся в Осетии, в Чечне, Ингушетии, в Кабарде, в Балкарии, будем воевать, бить белых с тыла...

В Беслане стали прощаться. Поезд расцепили. Кто на Астрахань, на Кизляр, кто в горы, во Владикавказ. Обнялись, попрощались, пожелали всего хорошего, расстались. Наши поезда разъехались. Наш вагон прицепили к поезду на Владикавказ. Пошел наш поезд. А в вагоне после такой ночи настоящий кавардак: накурено, дым стоит, дышать нечем. Я вышел в тамбур, открыл дверь, стою дышу утренний, уже холодный, свежий воздух. Колеса стучат: на юг, на юг! От Беслана на юг едем. Как? Да, на юг! И знаешь, вдруг все вспомнил: и юность, и скамейку в Нальчике, и ту женщину, что сказала: «Будет такой у тебя день, если выберешь юг — спасешься, выберешь север — погибнешь». Мы сражались и на юге и на севере тогда. Мы в горах никогда не складывали оружия. И я — человек Кавказа — обязан был драться за советскую власть на Кавказе. Конечно, я мог бы и пойти с отступающими частями Одиннадцатой армии через степи на север, в Астрахань, но я выбрал юг. А почему я вспомнил предсказание, не знаю. И еще вспомнил, что тот школьный дружок против нас сражается, у белых. И я выбрал юг. Что это такое, скажи мне? Да, впрочем, можешь не говорить. Жизнь как этот обвал: какой бы большой ни был, надо его преодолеть, убрать с дороги, правда? Я горец, зачем я пойду в Астрахань? Я горец — я пошел в горы. Ну, а если есть у вас другое объяснение, подумайте, скажите — буду благодарить. Правда, интересный случай из юности?!

Разговор прервался. Мы подъезжали к мосту через Баксан, где Бетала уже ждали. Мы простились на мосту.

1957

ЦХНЕТСКИЕ ВЕЧЕРА

Цхнетские вечера я никогда не забуду. В прохладной пустынности, в глубокой отъединенности этих вечеров лежал тот пояс тишины, который так нужен для всякого творческого сосредоточения. В их тишине не было ничего особо значительного, но это была тишина, в которой хорошо говорилось о стихах и о природе перед лицом самой природы. Весь мир оставался где-то внизу, и там на самом дне полыхали угли золотого костра. Это переливались огни вечернего Тбилиси.

Здесь же, наверху, земля, усеянная золотисто-янтарными листьями, становилась маленькой, как будто вся она кончалась у обрыва, а обрыв был рядом. Над нами же подымалось, жило и заполняло все пространство неохватное небо. Под ним как будто совсем рядом темнел всклокоченной гривкой лес на склонах, а домики, рассеянные между деревьями и кустами, казались игрушечными, расставленными где попало.

Этот размах небесного пространства был заполнен движением бесчисленных облаков, неустанно громоздивших свои ряды, менявших очертания и краски. Вдруг движение этих разноцветных полчищ прекращалось, как будто по невидимому сигналу они останавливались, замирали в последнем нагромождении, и темнота, сначала голубовато-синяя, потом дымчато-черная, начинала поглощать их. Эта темнота подымалась как из кратера, дышавшего совсем близко за деревней черными, тяжелыми парами.

Наступал тот неповторимый час заката, когда формы и краски облаков были такой отчетливости, что тишина как бы начинала звучать и перед ней все другие звуки вечера исчезали. Тишина звенела в ушах. Далекие горы великого хребта засыпали на глазах. Их каменные тела становились невесомыми, а огоньки, зажженные лучами заката на

острых скалах, потухали один за другим, точно закрывались хищные и полные страсти глаза великанов, засыпавших среди вершин.

Не было слышно ни детских криков, ни шума деревни, расположенной ниже, под нами, ни пастушеских голосов, ни смутного шороха стада, ни собачьего лая.

Полосы последних солнечных лучей походили на золотые водопады, узкие, тонкие, косые. Они стекали по плечам облаков, и от этого вспыхивали голубыми сияниями небесные края причудливых облачных громад, и трепетанье этой горячей голубизны обнажало какие-то бездны и ущелья в провалах неба.

В эти часы смутного покоя, ненарушимой тишины мы с Георгием Николаевичем Леонидзе выходили на прогулку. Мы медленно шли по неровной, чуть пыльной тропинке через поляну к обрыву и говорили о стихах, о природе, о жизни. Весь долгий осенний солнечный день, уединившись на двух противоположных концах маленького домика, мы трудились, не замечая часов.

Мы жили, захваченные в плен чудесами осенней природы и стихами. Он писал большую поэму, я занимался переводами. Наши муки творчества одинаково видели маленькая выбеленная простая комнатка, в которой он боролся с трудностями темы, и маленький старый балкон, на котором я работал, ел и спал. Только вечером, гуляя на закате по тихой, полусонной земле, окруженные исполинскими виденьями неба, мы отдыхали, обменивались мыслями, спорили, шутили, вспоминали свои молодые годы, делились планами.

Было великолепно погружаться в волны вечерней тишины, следить за быстро меняющимися эффектами облачного моря, чувствовать великую мощь земли, отдыхающей после трудового дня, в осеннем изнеможении и победоносной усталости.

Мы проходили по тонкой тропинке, как лунатики по краю острой крыши. Нас опьяняла тишина, пряный, прохладный воздух, пропитанный запахами отцветших горных лугов, запахом вянущих листьев, пространство, как будто уносящееся вдаль с такой ясностью, что стоило закрыть глаза, и сразу вы чувствовали, как действительно все это великолепие летит, медленно кружась, навстречу чему-то удивительному.

Я пришел к этим цхнетским вечерам через горы Главного хребта, я увидел их после шума горных бурь, неумо-

лимого шума больших лесов, ущелий, где даже в горные ночи в темноте глухо бормочут свое бессонные потоки, где дальний грохот обвала долго передается из щели в щель, я пришел на этот тихий уголок земли, повисший над обрывом, пришел от берега моря, где в эту пору штормы уже рвали на куски высокие волны, разбивая их о прибрежные скалы.

В цхнетских вечерах было еще одно очарование. Они прекрасно заканчивали день, и, когда усталость давала себя чувствовать, они, как ласковый хозяин, приглашали в необъятные хоромы великого покоя. Перед тем как добраться до этих гостеприимных холмов, я работал над сценарием, посвященным судьбе Карла Либкнехта, трагической и тяжелой жизни, переполненной опасностями, преследованиями, тюрьмами, и сам невольно поддаваясь этой трагичности и тяжести.

Цхнетские вечера уводили меня в другой мир трудового покоя, в мир радостей простой сельской жизни.

Я видел детей, целый день бегавших по цхнетской поляне, кричавших, как птицы, и, как птицы, засыпавших на закате; я видел школьников, которые предавались всевозможным забавам, свойственным их возрасту, гонявшихся друг за другом, возившихся, шумевших изо всех сил, угомонявшихся к вечеру и расходившихся по домикам на отдых.

Я видел рабочих — плотников, каменщиков, штукатуров, работавших на верхней площадке в доме отдыха. Они собирались в кружок, и всегда находились парни, которые хотели попробовать свою силу. Они боролись под задиристые крики окружавших их товарищей, а потом танцевали пляски своей деревни или пели песни, звучные, красивые, мелодичные, и далеко были слышны в сиреневом сумраке их уверенные, молодые голоса.

Днем я писал обычно на маленьком балконе, выходившем в сад, но иногда работал в другой половине этого сада, рядом с широкой белой дорогой, уходившей в горы. Она шла мимо кладбища. Через дорогу из сада были хорошо видны кресты, урны, надмогильные украшения старых и новых лет.

Иногда к вечеру я сидел в саду, в тени больших ореховых деревьев, и смотрел на кладбище, веселое, живописное, легкое кладбище, все утонувшее в зелени. По дорожкам и крестам прыгали птицы и собирали крошки, щедро рассыпанные на могилах.

Деревня лежала значительно ниже по холму, и люди из деревни не часто подымались на кладбище. В этот вечер я увидел, как, медленно, тяжело ступая, несколько человек шли по дороге к кладбищу. Каждый из шедших нес какой-нибудь музыкальный инструмент. Может быть, предстояли чьи-то поминки, или музыканты просто проходили мимо кладбища и решили немного отдохнуть.

Они взошли на кладбище, молчаливые, в черных поношенных одеждах, в запыленных сапогах, и направились в сторону свежих могильных холмиков. Нашли нужную им могилу. Тогда они положили инструменты на зеленую траву, развязали принесенные с собой узелки, вынули оттуда хлеб, зелень, куски арбуза, яблоки, мясо. У одного из них было вино в бурдюке. Он расставил стаканчики на могиле, прямо на утрамбованном песке на верху холмика.

Разложив все свои яства на могиле, как на столе, они налили полные стаканчики и первый вылили на могилу. Держа в руках стаканчики и притронувшись только слегка рукою к руке соседа, они разом выпили и закусили. Так они, что-то говоря, чего я не слышал, выпили несколько раз.

Потом, утерев губы и вытирая руки о цветные платки, тихо отошли от могилы, сели против нее и, настроив инструменты, начали играть. Единственным слушателем и зрителем этого концерта был я, о чем они никак не подозревали. Да они и не оглядывались. Они погрузились в игру так самозабвенно, как будто играли в разгаре праздника в переполненном народом духане.

Они играли без перерыва одну за другой такие чудесные песни, что весь воздух был пронизан звуками этой нежной, глубокой народной поэзии, точно она являлась из деревьев старого кладбища, выходила из травы, из кизиловых кустов, простая, естественная и неотразимая.

Когда песня достигала полной мощи такого веселья, что инструменты вот-вот грозили разлететься на куски от перенасыщения радостью жизни, казалось, на этот могучий призыв веселья откроются могилы и появятся танцоры былых времен, проснувшиеся от волшебной музыки. Потом вдруг песня становилась торжественной и требовавшей полноты чувств от слушавшего. Слезы сами щипали глаза, и что-то внутри закипало непонятное и тревожное, мучительно печальное.

Иная песня плыла над кладбищем, как большая белая птица, медленно шевеля длинные, раскидистые крылья.

Этот удивительный концерт, слушателями которого, кроме меня, были старые ореховые деревья, мшистые надгробия, кусты и травы, продолжался долго, но уже с перерывами.

В перерывах музыканты пили вино, лили его на могилу, закусывали и снова возвращались к музыке. И долго сидели они перед уже потемневшим небом, и долго раздавались удары бубна, как будто разбивавшегося вдребезги, и слышались звонкие взлеты зурны и длинные серебристые плески тари.

Потом музыканты поднялись все разом, выпили по последнему стаканчику, в наступившей тишине убрали в платки остатки еды, завязали бурдюк, поклонились одинокой могиле, ничем не украшенной. Остались на ней арбузные корки, крошки хлеба и полоски красного вина, которые сухая земля жадно впитала.

Музыканты ушли, как пришли, неизвестно откуда и куда, ушли тяжелым, степенным шагом людей, привычных к долгой ходьбе по крутым тропинкам.

В этот вечер мы прогуливались с Георгием Николаевичем по нашей заветной тропе, несколько раз доходя до обрыва и снова возвращаясь к нему.

Тишина вечера была особенно полнозвучной. Даже треск электрического движка у самого края обрыва прервался, движок часто портился. Мы в этот вечер разговаривали о народных преданиях и поверьях, о том, что еще много есть обычаев, оставшихся от старины, и до сих пор их держатся, как бы боясь потерять что-то ценное.

Я рассказал поэту о том, как сегодня музыканты на кладбище играли сами для себя, но почему на кладбище, мне это было непонятно.

— Они играли не сами по себе,— отвечал Леонидзе,— нет, жил, знаешь, там внизу в деревне один человек, одинокий. Он всегда приходил в духан, где играли эти музыканты. Они играли его любимые песни, а он с ними вместе веселился, угощал их и за песни выставлял вино, деньги давал, кутил. Он умер. Ну, его похоронили, а родных нет. Ходить на могилу некому. В поминальный день поминать некому. Они говорят между собой: хороший, слушай, он был человек, песни любил, веселье любил, нас любил. Теперь ему скучно. Один он. Никто не придет, доброго слова не скажет. Пойдем, как родные, сыграем ему те песни, что он любил, пусть его порадуется. За его здоровье — выпьем. Он любил нас слушать — пойдем к нему, ему будет при-

ятно. Он там скажет: вот не забыли меня добрые люди, пришли, попели, покутили со мной, спасибо. Так они и приходят к нему в поминальные дни, играют ему и пьют его здоровье. Это по-грузински, у нас так принято. Хорошо, правда, по-народному...

— Хорошо,— сказал я,— это даже и по-русски хорошо. У нас тоже раньше на могилу поесть-попить носили и только здоровье покойника не пили, это запрещалось, а за свое пей сколько хочешь. Все побаивались при этом, конечно, того света. А вдруг, чем черт не шутит, а вдруг он в самом деле есть. А как туда дорога ведет, тоже никто не знает.

Вдруг Георгий Николаевич засмеялся при этих словах, а когда он смеется своим богатырским смехом, то все его могучее тело содрогается и грохот смеха далеко слышен.

— Вот,— сказал он, указывая на небо,— вот дорога на тот свет. Смотри!

Я посмотрел, куда указывала его десница, и увидел огромное скопление облаков, уже окрашенных в умирающие цвета последних закатных минут.

— Не туда, правее, вон смотри, где, как синий туман извивается между громадных башен. Нашел?

Я наконец нашел то место в небе, на которое он указывал. Это был круглый вход в облачное ущелье. Как будто сжатое скалами со всех сторон, скалами, нависшими в самых умопомрачительных положениях, оттенков самых разных: от перламутрового, жемчужно-голубого до устрашающей синевы в глубине. Да, это действительно походило на вход в тайны неба. На чудовищной высоте висела эта облачная дверь, окруженная непроходимыми стенами. И синяя тьма сгущалась у этого входа в небесное царство. Все вокруг меркло и погружалось в тяжелый сумрак, а эта сиявшая таинственным синим излучением круглая дверь, как будто составленная из синих колец, приглашала в неведомое путешествие.

— Это называется в народе «солнцем мертвых»,— сказал Леонидзе,— этот последний луч солнца показывает вход в небесное царство, и души мертвых уходят в эту дверь, в эти синие кольца...

Я не отрываясь глядел, как постепенно все исчезало в темном море ночи и только странный голубой отблеск еще отмечал место, где жило последним трепетом «солнце мертвых».

Еще немного постояли мы под впечатлением увиденного и пошли домой, повторяя: какая тишина, какой покой на небе и на земле...

У нашего домика стояло несколько человек. До нас долетел тихий смешок и какой-то урезонивающий голос. Потом новый короткий взрыв смеха и сердитый громкий возглас в ответ на смех. Мы подошли ближе. Около домика стояли наш сторож, соседский садовник, две девушки и почтальон. Этот маленький, худой, как гвоздь, человечек, в синей кепке, в старенькой куртке, с тяжелой сумкой через плечо, бежал всегда легкими ногами, как негнущийся синий кузнечик по нашей поляне, с письмами, телеграммами, газетами и журналами. Над ним безобидно потешались, и он так же легко, как бегал, переносил шутки, но иногда все-таки обижался, и тогда он тяжело дышал, снимал кепку, вытирал розовым платком пот на лбу и громко, сердито отвечал обидчику.

Сейчас над ним подтрунивали, и он сердился. Мы захотели узнать, в чем дело.

— Мы говорим ему,— засмеялась одна из девушек,— что он носит газеты сюда наверх с почты, а сам их, наверно, никогда не читает. Вот газету «Коммунисти» носит, а даже не знает, что в ней напечатано...

— Как не знаю, как не знаю,— почти закричал наш синеплечий кузнечик,— все знаю, это вы не знаете...

— Подожди,— сказал, засмеявшись, Леонидзе,— а если ты читал, скажи, что там сегодня интересного?

Надо заметить, что мы давно не получали газет из Тбилиси и порядком отстали от новостей. Но Леонидзе хотелось тоже немного посмеяться над серьезным почтальоном.

— Ничего там нет интересного,— сказал, вытирая пот на лбу, почтальон.

— Э,— закричал сторож,— как так — в газете и ничего интересного... Ты просто не читал, как всегда,— добавил он.

— В самом деле,— Леонидзе слегка тронул за рукав почтальона,— скажи нам, братец, ну, хоть что-нибудь в мире происходит? Мы тут совсем отсталые, редко газету видим. Не может быть, что в мире ничего нет.

— Да он ответить ничего не может,— засмеялся садовник,— он только носит газеты, зачем же ему еще читать их. Он ничего не знает. Вон у него какой вид, ясно, что он не ответит нам сегодня ничего насчет того, что где происходит.

Тут наш почтальон разволновался не на шутку.

— Что интересного,— сказал он громко и чихнул при этом,— война идет, а кому это интересно?

— Какая война, кацо? — воскликнула девушка.— Где война, в Азии где-нибудь?

— Это старые новости,— сказал садовник,— это Чан Кай-ши там воюет, он всегда воюет...

— Не Чан Кай-ши воюет,— закричал почтальон,— все воюют, друг с другом...

Тут смех пронесся над поляной.

— Вот насмешил нас, вот это так. Все воюют... Ну и прочитал он в газете новости...

— Я правду говорю,— отвечал разобиженный почтальон,— все, все воюют, бомбят Варшаву, там Париж бомбят, Берлин, что ли, горит, Лондон, я точно не помню. Все воюют, вот не верите... все воюют. Берлин или Париж, все горит, бомбы бросают...

Дружный смех обратил почтальона в бегство. Он, видя, что его сообщение не вызывает никакого впечатления, кроме смеха, пошел по дорожке вниз, что-то бормоча себе под нос и сердито размахивая руками.

— Он немного выпил сегодня лишнего,— сказал садовник. Девушки продолжали смеяться.

Все разошлись кто куда. Уже давно смолкли шаги старого почтальона, по каменистой тропинке спускавшегося в деревню.

Мы сидели с Георгием Николаевичем дома. В домике было особенно тихо, потому что женщины и дети уехали в город и должны были приехать через несколько дней. Мы были одни. На меня произвело большое впечатление «солнце мертвых». Я закрывал глаза и снова видел этот синий, светящийся вход в небо, куда следовали души умерших. Я вспомнил, что в одном стихотворении осетинского поэта Коста Хетагурова описан этот вход: туда входит богатырь нарт. И потом почему-то из головы не выходили добрые музыканты, игравшие на кладбище своему старому другу любимые его песни.

Леонидзе завел патефон. Он брал наугад пластинки и ставил их. То я слышал модную песенку, то вдруг в скромных стенках маленького домика звучало:

Уйдем мы далеко, далеко от грешной земли...

...Спалив бригантину султана,
И к милой с турецкою раной,
Как с лучшим подарком, приплыл...

— Гогла,— сказал я,— тут нет телефона рядом где-нибудь?

— Нет,— сказал он,— тут телефона нет. Он есть на почте в деревне. А зачем тебе ночью телефон?

— Нет, я так,— ответил я,— а как же ты говоришь с городом?

— Я говорю с Тбилиси очень просто, спускаюсь в деревню, на почту, и звоню...

Зазвучала новая пластинка: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг» пощады никто не желает...»

Было тихо и полутемно, в комнате горела свечка, электричество не действовало. Песня звучала как трагическое начало, как «солнце мертвых», геройское солнце...

— Гогла,— сказал я,— а все-таки, что он читал?

— Кто он? — спросил Гогла, громко перебивая песню.

— Наш малютка-почтальон!

Гогла снял пластинку, которая довертелась до конца, и, перебирая пластинки, сказал:

— Он читал какой-нибудь фантастический роман о будущей войне.

— Подожди заводить дальше.— Я встал и прошелся по комнате. Освещаемая свечой, воткнутой в бутылку, комната стала какой-то декоративной и тревожной.

— А может быть, нам все-таки позвонить и вызвать машину завтра утром, Гогла?

Леонидзе перестал возиться с пластинками. Он вышел из-за стола, и его огромная тень заняла полдомика.

— Тебе нужно что-нибудь в городе? — спросил он.

— Нет, мне особенно ничего не нужно, но вдруг он все-таки прочитал про то, о чем рассказал.

Гогла ничего не ответил, сел напротив меня, и его лицо стало серьезным. Потом он тряхнул головой.

— А, ничего там нет. Это они его раздразнили, и он, чтобы напугать, все выдумал. Ну, посмотри сам: бомбят Варшаву, Париж бомбят, Лондон бомбят, Берлин горит. Кто же с кем воюет, чтобы так все бомбить? Это чепуха!

Мы сидели и молча курили.

Леонидзе сказал:

— Тут есть еще одна бутылка киндзмараули,— хорошее вино, знаешь, одна осталась, про нее мы забыли... Давай выпьем.

Мы пили тончайшее вино большими глотками. Я сказал:

— Поедем в Тбилиси завтра, Гогла...

Он не смеялся. Его тень на стене была неподвижна. Мышка выбежала на свет из-под кровати и остановилась, зажмурив черные, как бусинки, глазки. Казалось, она хочет услышать ответ Леонидзе.

— Я спущусь рано утром на почту,— сказал он спокойно и тут же добавил: — Хорошее вино, правда,— и без паузы продолжал: — А если мы будем дураки...

— Ну и будем дураки,— сказал я, выпивая сразу полстакана,— надо проверить, а то это, как его ты называешь, «солнце мертвых» не даст жить. Оно еще приснится...

Я вышел на балкон. Ночь была прохладная. По небу бежали нелепо белые облака, как будто их подсвечивали снизу.

— Спи в комнате,— сказал Гогла.

— Нет,— отвечал я с порога,— я привык на дворе. Еще совсем тепло. Тут воздух ароматный.

— Ну, как знаешь, я пойду к себе немного поработаю.

Мы расстались. Я лег и накрылся одеялом, но уснуть не мог. Темная, хоть и небольшая, зелень сада скрывала от меня нашу поляну. По небу скатилась звезда, и казалось, что за ней еще трепетал синий след. Странный стук заставил меня приподняться. На другом конце балкона стоял стол, за которым мы обедали. Между моим топчаном и столом дверь вела в комнату, а в сад спускалась лесенка, маленькая и скрипучая. Сейчас на этой лесенке стоял зверь с красными глазами, с черной взъерошенной шерстью и смотрел на меня. Я сел на кровати. Я сначала ничего не понял.

Я пригляделся к неподвижно стоявшему зверю. Это была черная собака, жалкая, худая, но храбрая, готовая схватиться с любым врагом. Я вспомнил, что это за собака. Мы несколько ночей ловили ее, но она исчезала, как тень. На шее у нее болтался кусок толстой веревки. Она походила на черта, особенно странно красными глазами. Я вспомнил, что мне рассказывали про нее. Эта собака принадлежала тому одиночке, который был таким любителем песен и веселья. Собака была взята кем-то и привязана далеко отсюда в горах. Она перегрызла веревку и живет около могилы хозяина, лежит днем на его могиле, ночью обегает соседние дачи и ищет каких-нибудь остатков пищи, роется в навозных кучах, дерется с собаками из-за костей.

Под столом лежала кем-то уроненная за обедом кость. За ней она и пришла. Ей нельзя было уйти без кости. И она смотрела на меня, как на врага, с которым надо сей-

час вступить в схватку из-за кости. Но я старался сохранить полную неподвижность. Собака заворчала, потом так медленно, как только можно, она добралась до стола, юркнула под стол, схватила кость и стремительно слетела с балкона. Она почему-то оглянулась, сбегая с последней ступеньки, и я снова увидел красный огонь ее больших, неестественно расширенных от голода и тоски глаз. Потом она исчезла в черноте поляны.

Утром мы приехали в Тбилиси. По дороге мы говорили с шофером о чем угодно, о последнем футбольном матче, о погоде, о винограде, о его родной деревне в Кахетии за Диди Лило, о Мцхете и о том, что когда-нибудь под Тбилиси будет свое море. Никакого почтальона не было в наших разговорах. Но он жил где-то гораздо глубже в нашем сознании.

На улицах города, как всегда, шли люди по своим делам, магазины были открыты, чистильщики сапог приглашали почистить туфли, мчались машины, гудели солидные автобусы, звенели трамваи.

В Литературном музее все было на месте. Тишина и прохлада осеннего утра. Люди заняты своим делом. Мы прошли в кабинет. Не сразу мы могли спросить то, что мы хотели увидеть. После ряда незначительных вопросов безразличным голосом Георгий Николаевич попросил дать подшивку за последние десять дней.

— Какой газеты? — спросила сотрудница, и по ее обыкновенному голосу можно было судить, что ей совершенно безразлично, какую газету дать нам просматривать.

— Дайте «Правду» и «Известия»,— сказал Леонидзе.

— И дайте «Коммунисти»,— добавил я.

Девушка вернулась и положила солидный сверток на большой стол. Она ушла. Леонидзе запер дверь и подошел к столу. Я следовал за ним, как будто мы должны были сейчас узнать что-то удивительное, чего еще никто не знает.

Мы упали на газеты, как ястреб падает на добычу,— стремительно и яростно. Мы листали газеты горящими руками. Прежде чем погрузиться в чтение, мы безмолвно взглянули друг на друга и, пока читали, не сказали ни слова. То, что летело нам навстречу со страниц газет, было совершенно невероятно, необычайно и потрясающе.

Маленький, синеплечий кузнечик-почтальон был прав. Он действительно читал газеты. Он сказал нам правду. Уже неделю, целых семь дней шла мировая война. Вторая

мировая война. Горела Варшава; германские танки по всем направлениям рубили, как хотели, обманутую, преданную панскими генералами польскую армию; тысячи беженцев устремились по всем дорогам; их расстреливали с воздуха. Правительство бежало первым. За ним вился дымный хвост сжигаемых на ходу государственных архивов. В газетах было написано, как по улицам городов летят лохмотья важных бумаг, недогоревшие листы государственных приказов и законов. Фашистская орда сметала все со своего пути. Лондон и Париж объявили войну гитлеровской Германии. Воздух гудел от тысяч самолетов и содрогался от ударов бомб и снарядов.

«Солнце мертвых» встало над миром. Дочитав последнюю газету, мы сидели молча. С улицы доносился шум большого города, в соседней комнате стучала машинка. Чей-то голос диктовал размеренные строки, как будто диктовалось стихотворение. Я не мог быть дольше в здании. Я хотел на воздух, к людям, к тихим цхнетским холмам, тихим, мирным вечерам. Их больше не было.

Я поднялся на гору Давида, я смотрел на город, лежавший в свете сентябрьского солнца, древний город славы и искусства, труда и мира. Куда бы я ни бросал взгляд в это скопление домов, садов и улиц, всюду я находил уголки, связанные с воспоминаниями, с хорошими, добрыми днями, с хорошими, добрыми людьми. Как древний язычник, я вознес моление к небу, чтобы война не коснулась красоты этого города, не превратила ее в груды развалин.

И небо услышало мое моление. Война не коснулась красоты Тбилиси.

Апрель, 1957

РАССКАЗЫ ГОРНОЙ СТРАНЫ

ЗА РЕКОЙ

Из своего раннего детства Худроут помнит желтый осыпающийся глиняный дувал, большой старый многоветвистый тут, ворота, у которых он играл с мальчишками, дорогу, проходившую мимо дувала, помнит, как он впервые в жизни испугался так сильно, что весь покрылся по́том и в глазах потемнело.

Всадник на такой высокой лошади, что она показалась маленькому Худроуту выше дувала, кричал на его отца, стоявшего у ворот, кричал долго, пронзительно, громко, тряся над ним своей жесткой красной бородой, потом взмахнул толстой плетеной камчой над головой отца, который стоял неподвижно и смотрел в лицо всаднику.

Тогда-то и испугался маленький Худроут. Ему показалось, что одним ударом этой высоко поднятой камчи неизвестный убьет отца, разрубит пополам его голову, выбьет ему глаза. Мальчик закричал, но всадник звонко щелкнул камчой в воздухе, ударил коня, который сделал прыжок, и, повернув коня, еще раз крикнул что-то с ходу и исчез за поворотом стены.

А отец разжал кулак, и на дорогу упал камень, длинный и острый, который он зажал в кулаке, пока кричал на него так внезапно наехавший помещичий приказчик.

Помнит еще Худроут, как чужие люди выносили из отцовского дома, тесного, темного, с земляным полом, кошму, котел, одеяло, какие-то тряпки, и мать умоляла их, кланяясь им, просила о чем-то, но эти молчаливые торопящиеся люди с сонными лицами и остановившимися глазами, казалось, ослепли и оглохли. Они не глядели на бедную, в слезах Сафармо и не слушали ее просящих слов. За

воротами они бросили вещи на арбу, переполненную всяким скарбом, и сами влезли и сели поверх него, молчаливые и непреклонные.

Солнце заходило, и далеко было видно, как пылит в красной пыли темная арба, увозящая нищее крестьянское добро. Но Худроут был еще мал, чтобы понимать, что произошло, и он хотел утешить мать и прижимался к ней. Она, вытирая слезы тыльной стороной левой руки, правой рукой гладила его по голове и шептала непонятные слова.

Потом Худроут помнит слонов. Розовым весенним утром два огромных животных шагали по дороге мимо деревни. Посмотреть на них сбегались люди со всех сторон. Слоны остановились, важно оглядываясь. Вожак одного из них, сидя почти на самой слоновой голове, разговаривал с крестьянами, спустив ноги так, что ступни их были спрятаны за широкими шершавыми слоновьими ушами. Слоны, видимо, были на простой прогулке, потому что на них не было корзин — гауд и они были покрыты только толстой красной попоной с золотистой бахромой. В руках у Худроута было несколько соломенных жгутов, из которых он хотел сделать кукол для игры. Но слон так осторожно, что Худроут не успел даже вскрикнуть, взял кончиком хобота у него из руки соломенный жгут, взглянул на мальчика своими маленькими хитрыми глазами, точно подмигнул ему, высоко поднял в воздух жгут, раскрошил его и соломенной крошкой посыпал себе голову. Он сделал это так быстро и весело, что все вокруг засмеялись, а Худроут протянул другой соломенный жгут второму слону, и тот, похлопав ушами, взял у него жгут так же, как и первый слон, раскрошил его, но прежде чем посыпать себя, вытянул хобот и посыпал сначала голову Худроута соломенной крошкой.

Все развеселились еще больше, но вожаки что-то сказали слонам, и два гиганта, грузно ступая сильными, тяжелыми ногами, раскачиваясь, как бы лениво пошли по дороге. Долго еще смотрел им вслед Худроут, и долго встряхивал головой, и с удивлением рассматривал соломенные крошки, которыми была посыпана его голова.

Худроуту шел уже седьмой год, когда в селении наступили какие-то шумные дни. Взрослым было не до детей. И дети бродили где хотели. Худроут научился лазить на дувал по выбоинам в глиняной стене и смотреть оттуда на дорогу. Раз он увидал, как по дороге шло много людей, и все они шли к зеленой лужайке у тех трех ореховых де-

ревьев, которые были много старше самого старого старожила, много старше самого селения.

Вместе с мальчишками Худроут пробрался к этим ореховым деревьям, и мальчишки помогли ему вскарабкаться на рослый сук, с которого хорошо было видно, что делается на лужайке. Там сидели и стояли, разговаривая, крестьяне. Женщин не было. Были только мужчины. У многих было оружие. То один, то другой выходил на середину и говорил резким гортанным сильным голосом что-то такое, на что все остальные отвечали такими же резкими сильными криками и трясли винтовками в воздухе. Кое-где сверкали обнаженные кинжалы и шашки. Потом тихим, почти вкрадчивым голосом говорил низкоплечий толстый человек в большом тюрбане. Он говорил, временами пел и, ведя свою речь все более тонким и гнусавым голосом, закончил криком, таким пронзительным и долгим, что птицы поднялись с деревьев и заметались над головами в начинавшем угасать вечернем небе. После этого крика старик сел и как бы впал в сон, потому что голова его склонилась набок и вся фигура погрузилась в покой.

Тут вышел, как танцовщик перебирая ногами, дервиш. Его глубокие и скользящие по сторонам глаза горели холодным, каким-то голодным блеском. Вдруг он подскочил на месте и простер руки.

Они устремлялись вперед, душили и сжимали невидимого врага. Они рубили невидимой шашкой, потом в изнеможении падали и снова бились над головой.

Маленький Худроут смотрел, весь дрожа, ничего не понимая и только чувствуя, что все его существо напряглось и насторожилось и если он чуть разожмет пальцы, то упадет с дерева и разобьется о землю, не почувствовав боли.

Остановившись и только слегка покачиваясь, дервиш выхватил из-за пояса нож и ударил себя по голому, почти черному плечу. Все видели, как на белом лезвии ножа свернулась и прыгнула в сторону темная капля, за ней другая, третья. Дервиш, все еще покачиваясь, ударил себя по другому плечу, и снова кровь брызнула на его лохмотья. Тогда он нагнулся и подал нож ближайшему из сидевших, захлопал в ладоши, издал воющий вопль и упал, как мешок, на землю.

Тут все вскочили, всё смешалось в крике и шуме. Худроут не помнил, как его сняли с дерева, кто принес его домой. Он только на всю жизнь запомнил круглую, совер-

шенно круглую лупу, стоявшую над домом, отца, которого окружили вооруженные люди, мать, которая плакала в стороне, закрывшись с головой покрывалом, присмиревших собак и звон и лязг оружия, которого было так много, что казалось, звенит вся земля вокруг. Отец обнял Худроута, поднял его в воздух, прижал к своей колючей щеке его лицо и, опустив на землю, сказал что-то непонятное, что-то о воде, о земле, о нем, Худроуте, и о том, что надо наказать предателей ислама.

Потом вся толпа куда-то двинулась, звеня оружием, и остались только Худроут и мать. Маленькая сестра спала в колыбели, и ее не касались ни дурная бестолочь этой ночи, ни внезапная пустота села и тишина. Издали долетал смутный гул и далекий, приглушенный собачий лай.

Проходили месяцы. Деревня жила тревожно. Приходили разные люди, возвращались крестьяне, ушедшие в ту ночь, но уже не было ни оживления, ни крика. Наоборот, теперь собирались по домам и дворам, говорили тихо и боязливо оглядывались. Мать плакала с утра до вечера. Маленькая Сабзбагор — Цветок весны — кричала в колыбели. Худроут понял своим детским умом, что отец больше не вернется обратно, никогда не вернется.

Раз пришел в селение высокий, худой человек с таким же высоким, худым ослом. Худроут никогда раньше не видел его.

— Я твой дядя Хурам,— сказал он ласково Худроуту, рассматривая пристально мальчика,— я брат твоей матери, и я пришел помочь вам.

Но недолго этот грустный и ласковый человек жил в доме. Не прошло много времени, как снова появились те молчаливые, озабоченные и равнодушные люди, что приходили и раньше, и снова вынесли из дому последние кувшины, чашки и тряпки. Только теперь уже мать не плакала. Она взяла на руки маленькую Сабзбагор и ушла к соседям, а дядя молча стоял на дворе, загородив загон с высоким, худым ослом, как бы готовый защищать его до последней капли крови.

А немного позже Худроут пошел с дядей в поле. Там уже стояли кое-где люди, и нельзя было понять, о чем они думают, так неподвижно стояли они над тесными канавками, глядя в них, точно видели там что-то необыкновенное.

Над такой же канавкой стоял и дядя с Худроутом. Дядя оглядел поле, длинной палкой, с которой никогда не

расставался, потрогал потрескавшуюся, горячую, рассыпающуюся в порошок глину и сказал:

— Вот и все, Худроут...

— Что все, дядя Хурам? — спросил мальчик.

— Отняли у нас воду, мальчик. Не будет больше воды в этих арыках...

— Что же мы будем делать без воды, дядя?

— Без воды здесь нечего делать, дорогой. Ну, пойдем...

И они тихо, как с кладбища, шли по этим печальным полям домой, и земля шуршала у них под ногами, точно жаловалась на свое горе.

А через три дня дядя Хурам сказал Худроуту:

— Надо уходить отсюда, сынок; помоги мне навьючить осла.

— Что же это такое, дядя? — спросил, боясь чего-то ужасного, что должно случиться, мальчик.

Но дядя просто ответил, как будто не случилось ничего особенного:

— Когда вырастешь, Худроут, все узнаешь. А сейчас долго рассказывать. Надо уходить...

— А мама? — сказал упавшим голосом Худроут.

— Маму и Сабзбагор возьмет к себе сестра, а ты будешь со мной.

И они ушли в тот же вечер по каменистой, неровной дороге на восток, когда солнце стало спускаться за выси далеких, сизых, прозрачно-голубых хребтов. Копыта осла гулко и легко стучали по пустынной, тихой дороге. Мальчик шел рядом с ослом, а впереди них шагал коротким шагом опытного пешехода высокий, худой человек с большой бородой, печальными, ласковыми глазами, сжимая крепкими коричневыми пальцами высокую палку, придававшую ему вид пастуха.

Начались годы долгой кочевой жизни среди таких дебрей, куда вели только узкие тропинки, где вставали над головой такие горы, что не видно было неба из темных, сжатых каменными стенами ущелий, где леса охватывали в жаркий день осенним холодом, а в пропасти лучше было не глядеть.

Дядя Хурам нанялся помогать кочующему продавцу, который торговал в этих мрачных краях, не боясь, что его ограбят, или что его товар утонет в одной из здешних бешеных речек, или осел сорвется с кручи в бездонную щель, поскользнувшись на обледенелом камне.

В тюках предприимчивого торгаша были и шукры — черные шерстяные халаты, и дешевые шелка, и шелковые разноцветные ленты, деревянные и металлические гребешки, стеклянные бусы, иголки и нитки, оловянные кольца, медные запястья, красивые коробочки и рукоятки для ножей.

Вместе с дядей странствовал по этой неуютной стране и Худроут, ведя дядиного осла через трепещущие горные мостики и отдыхая в каменных холодных домах высокогорных селений. Иногда дядя оставлял его на попечение своих друзей, оберегая мальчика от слишком утомительного или опасного пути.

Мальчик рос, как растут деревья в этих горах, так же естественно принимая все перемены климата, как и эти питомцы дикой горной флоры, украшающие каменистые склоны.

Сидя в жалкой горной хижине перед огнем, разложенным прямо на полу, слушая рассказы любителей поговорить на языке, который он сначала почти не понимал, он засыпал, прижавшись к мешку с кукурузными початками или к старому, выцветшему чувалу.

В этом горном мире не существовало школ, учителей, книг. Дни были похожи один на другой, и только смена времен года вносила разнообразие в суровую, бедную, темную жизнь ущелий и долин, население которых совсем не представляло себе, что происходит на свете, да это его и не очень интересовало.

Худроут подружился с местными мальчишками, очень ловким, сильным и независимым народцем. Раз дядя, вернувшись из одного из своих головоломных путешествий, нашел его лежащим на старом одеяле, с лихорадочным блеском в глазах. Дядя Хурам перепугался, решив, что он серьезно заболел.

Но мальчик признался, что он попробовал принять участие в игре местных мальчишек и ему не повезло. Он сел на одеяле и, размахивая худыми руками, волнуясь, рассказывал, что не мог не принять участия в забаве, раз его пригласили. И пусть дядя не думает, что он подвел свою партию,— нет, ему просто не повезло.

Игра заключалась в том, что нужно было отстоять от нападающей стороны начертанный на плоской крыше круг. Но защитники и нападавшие не просто толкали друг друга. Нет, каждый должен был схватить правой рукой большой палец левой ноги и прыгать только на одной

ноге и действовать только одной рукой. Если бы дядя знал, как это весело! Нельзя выпустить пальцы ни в каком случае. Можно было только в пылу игры переставлять ногу и перехватывать другой рукой.

Нападение и защита дрались ожесточенно. Можно было хватать противников за волосы, и уж, конечно, получив ссадину или царапину, не показывать вида, что тебе больно. Но так как игра происходила на крыше горного дома, то нужна была немалая ловкость, чтобы не слететь с крыши. И он, решительно отбив атаку противника, поскользнулся, наступив на орех, потерянный кем-то из игроков. А это случилось у самого края крыши, и он полетел вниз и ушел с головой в большой сугроб мягкого снега. Он нырнул в него, как в речку, и все же сам вылез оттуда, без посторонней помощи, и только дома все тело разболелось, и он спал почти сутки. На его лице, руках и ногах было много порезов и ссадин, и дядя решил не оставлять его больше в такой глуши, где даже в игре можно сломать голову, и взял его с собой.

Время шло. Дядя нашел другую работу. Он не отпускал от себя Худроута, и они теперь жили вместе в горных лесах, в тех местах, где срубали большие деревья и пускали их, обрубив ветви, вниз по громко шумевшей реке. В самом конце ее эти бревна вылавливали и, как говорили люди, отправляли их в Кабул и даже в далекую Индию.

Густые сосновые и кедровые леса с их меланхолической величественностью, дубовые леса с подлеском из боярышника и дикого миндаля, простые и гордые люди, которые боролись с огромными деревьями и побеждали их, жизнь на берегах летящей день и ночь реки, крутящейся среди скал,— все это не могло не отразиться на характере юного Худроута.

Он сам охотно принимал участие в битве с гигантским кедром, и когда с треском поверженного лесного владыки сливался грохот падавших в реку камней, Худроут обрубал огромные зеленые ветви, стоя по уши в холодной живой хвое, трепетавшей, как будто что-то желающей рассказать ему перед тем, как она умрет, отделившись от тяжелого, великолепного в своей даже поверженной мощи ствола.

Он не боялся ни отвесных уступов, ни стремительных вод, как бы приглашающих храбрецов испытать их силу, ни горных духов, о которых лесорубы любили поболтать перед сном у лесного костра.

Им часто приходилось, переходя с участка на участок, останавливаться среди пастушьих кочевий, и тогда они ночевали с пастухами в особых домах-загонах, называемых в этой стране пшалами.

Однажды, утомленные длинным подъемом по отвесным скользким тропам, они добрались до большой цветущей поляны, окруженной скалами причудливой формы и с широким видом, который заставил их забыть усталость и остановиться. Большими волнами подымались горы, покрытые лесами и кудрявыми кустарниками с зелеными лужайками и покатыми полянами, за ними вставали голые темноликие скалы, кое-где украшенные соснами, за ними высоко подымали свои головы горы, осыпанные новым снегом, ослепительно блестевшим своими изломами.

Пшал был прислонен к скале с большим каменным навесом и хорошо предохранял от дождей и от катящихся со скалы камней, смытых дождями. Снаружи пшала лежали горки козьего помета, внутри на огне трещали сухие ветки. Перед огнем сидели пастухи. Дядя Хурам нашел знакомых, и они приветствовали его, как полагается по обычаю.

Худроут, напившись молока с горячими пресными лепешками, сначала слушал, как пастухи расспрашивали дядю про сплав леса, про виды на урожай в Боковой долине, мешал сучья на огне своими черными крепкими пальцами, потом стал дремать и незаметно уснул.

Когда он проснулся, огонь уже догорел. Все спали, как кто нашел наиболее удобным. Полумрак стоял в помещении, храп и хрип спящих смешивались с блеянием козлят в загоне, шорохами и вздохами спящих животных, шевелившихся во сне. Худроут ощупью нашел засов, открыл дверь и вышел из помещения.

Он прошел по поляне к ее краю и лег на траву. Луна стояла над дальним хребтом, и снега излучали голубоватый острый свет, который дрожал, как легкий туман, отделившись от снежных стен. Зубцы леса, залитые лунным сиянием, побелели, а нижние ярусы леса падали в разрезы ущелий, сливаясь с их чернотой. Травы пахли резко и крепко, напоминая чем-то запах цветущей джиды. Худроут лежал, вдыхая в себя благодатный, освежающий холод ночи, вбирая в себя этот ошеломляющий широкий простор, это звездное небо, на котором, переливаясь, мерцали холодные, чистые большие звезды. Огромность и тишина горного ночного мира делали Худроута маленьким, раство-

ренным среди спящих громад, великодушно допустивших его в свое общество великанов.

Худроут в то же время испытывал большое, непонятное ему волнение. Восторг перед всем, что он видел, переполнил все его существо. Он чувствовал, как будто стал больше, сильнее, крепче. Он очень вырос за последнее время. Его тонкие железные ноги не боялись ни острых камней, ни ледяной воды, ни колючих кустарников. Ночной ветерок овевал его крепкую грудь, а рукам было приятно сжимать колючую, жесткую траву поляны.

Он не мог бы сказать, сколько он так лежал, не думая ни о чем, весь во власти смутных ощущений, не отводя глаз от тех перемен, которые производила луна в горном мире.

Она передвинулась к западу, и там, где были блески снегов, стояло теперь зеленоватое, блещущее иглами облако, как будто снега дымились. Дальние ущелья осветились, и их отвесные стены забелели, а чернота перекинулась на другую часть хребтов, и там уже все потонуло во мраке.

Худроут перевел глаза на поляну, и ему показалось, что какая-то вихляющаяся тень направляется к скалам, у которых он лежал. Мгновенно рассказы о горных духах пронеслись в его голове, но он только резко вскочил на ноги и прислонился к камню. И как только он встал во весь рост, тень стала определенно приближаться и сгущаться и, присмотревшись внимательно, Худроут увидел дядю Хурама, медленно и неуверенно идущего к нему.

Тогда он сам пошел навстречу и скоро стоял рядом с дядей, смущенным и не опирающимся на свою высокую палку.

— Это ты, Худроут? — спросил дядя, подходя.

— Я, дядя,— ответил Худроут.— Вас тоже выгнала духота? Там, в пшале, очень душно...

— Я плохо сплю, Худроут,— сказал тихо дядя, и тут Худроут первый раз за все годы увидел, как постарел дядя Хурам.

Они сели у тех же скал, где лежал на траве Худроут, и смотрели на горный простор несколько минут молча. Худроут разглядывал дядю Хурама, как будто видел его впервые.

Перед ним сидел старый человек, с глубоко запавшими глазами, с усталым лицом, с бородой, в которой лежали серебряные нити, с худыми руками, на которых выступа-

ли жилы, в поношенной одежде и в полурваном плаще, который носят жители Боковой долины, отправляясь в дорогу. Резкие черты лица под луной еще больше заострились. Большие глаза смотрели печально.

Худроут взглянул на луну, и она вдруг напомнила ему ту ночь, когда отец уходил из дому неизвестно куда.

Никогда Худроут не спрашивал об этом дядю Хурама, и никогда тот не разговаривал с мальчиком о тех давних днях.

Сейчас Худроут заговорил первый:

— Помнишь, дядя Хурам, ты мне раз сказал, давно-давно, что придет время и я все узнаю? Дядя Хурам, время пришло!

— Я сказал не так,— дядя Хурам повернул к нему свое усталое лицо, и на нем мелькнула тень улыбки,— я сказал: когда ты вырастешь, ты все узнаешь. Разве ты уже вырос?

Худроут поглядел в широко открытые глаза, смотревшие на него с каким-то новым выражением.

— Дядя Хурам, потрогай мои колени, потрогай мои руки, плечи и грудь. Я вырос.

Дядя Хурам молча коснулся его руки. Он сидел так тихо, что Худроуту начало казаться, что он засыпает, прислонившись к камню.

С закрытыми глазами сказал дядя Хурам:

— Он отошел к милости аллаха в битве, твой отец. Тогда ты был мал. Народ поднялся против неправды и голода. И твой отец был с народом. Мы выиграли битву, и мы проиграли ее. Нас обманули дважды. Нас обманули сын Водоноса — Бача́и Сака́о — и муллы, шедшие с ним. Они обещали, что у крестьян будет земля и вода, будет жизнь. Но, став эмиром, сын Водоноса стал еще больше угнетать нас. И когда повесили в Кабуле его и его помощников, снова обманули нас, говоря, что теперь будет жизнь. А потом чиновники пришли и отняли воду... Земля высохла, люди ушли кто куда...

— Что же будет дальше, дядя Хурам? Ты все знаешь, скажи.

Старик открыл глаза, и теперь они были почти веселые.

— Ничего я не знаю, сынок. Я брожу как могу. Но я стал уставать, сынок. Ты это, наверное, заметил. Я уже не тот, что был. Раньше, в молодости, я возил оружие в эти горы, а теперь мы с тобой привозим стеклянные бусы, и перочинные ножи, и складные зеркальца. В молодости

я сражался в этих лесах, а теперь мы рубим эти деревья и бросаем в реку их трупы, чтобы потом там, в Индии, из них сделали дорогу, по которой идут большие ящики на колесах, которых ты никогда не видел. Помнишь ты того доброго работника, высокого осла, что вез тебя в горы, когда ты был совсем маленький?

— Помню, дядя... Я очень любил его.

— Помнишь, как раз он лег у дороги и больше не встал? Но он довез порученный ему груз... Так и я. Я не знаю день, когда довезу груз, но я так же лягу у дороги, как он, а ты, сынок, пойдешь дальше...

Худроут встал и сказал со всем пылом юности:

— Дядя Хурам, я вырос, я сильный, я буду еще сильней, и я буду работать, а ты будешь отдыхать.

Дядя Хурам встал тоже и обнял его. Под большим ночным небом на большой поляне стояли две маленькие фигурки так неподвижно, что их можно было принять за камни, которые так ловко ставятся на крышу пшала, что их принимают за людей.

Дядя Хурам отступил от Худроута, осмотрел его тонкую крепкую фигуру и пошел по поляне. Худроут шел рядом с ним.

— Мы уйдем из лесов,— сказал дядя Хурам.— Мы поищем другой жизни, может быть, нам будет лучше, хоть немного лучше...

У самого пшала их остановил пастух в раскрытом тулупе. Он шарил по земле, ища оброненную трубку. Увидев дядю Хурама, он забыл, что делал, и, похлопав его по плечу, сказал:

— Э, старый, звезды смотришь? Гадаешь? А знаешь, что я тебе покажу? — И, задерживая дядю Хурама сильной рукой, он показал другой рукой на небо и сказал: — Видишь эти звезды? — Он показал на Большую Медведицу.— Видишь четыре звезды? Это кровать, а первая звезда в хвосте — это муж, вторая — жена, а третья — любовник. Хо-хо-хо! Так и бывает, запомни, старик,— сказал он и, вспомнив, что потерял трубку, снова начал шарить между камнями.

Дядя же, минова пьяного пастуха, сказал Худроуту:

— Мы уйдем из лесов, сынок!

И они ушли из лесов и некоторое время жили среди людей, занимающихся перегоном скота с высокогорных пастбищ в долины через перевалы, и помогали им в этом трудном деле. Теперь они жили среди быков и овец, коз

и баранов, среди трав и ручьев, низких голых гор и бедных деревень Бадахшана.

Дядя Хурам имел такой открытый характер, умел так просто решить какой-нибудь сложный спор скотоводов, так хорошо знал скот, как только может знать крестьянин, лишенный своего крестьянского хозяйства.

Овечье молоко с растопленным маслом, это любимое кушанье горцев, Худроут пил теперь в гостях у старых пастухов, советовавшихся с дядей Хурамом о состоянии перевалов, через которые приходилось перегонять отары.

После той ночи у горного шалаша дядя Хурам разговаривал теперь с Худроутом как взрослый со взрослым, и тому было приятно, что дядя Хурам внимательно слушает его и серьезно отвечает на его иногда очень наивные вопросы. Он спрашивал у него совета или хотел убедиться, что правильно поступил в том или другом случае.

— Дядя Хурам,— обычно начинал он издалека,— если вы имеете время меня послушать, я хочу вас спросить...

И всегда дядя Хурам говорил:

— Говори, сынок, я тебя слушаю.

— Дядя Хурам, в прошлом году там, в лесах, я шел как-то вечером мимо деревни. И меня окликнули с дерева. Меня не позвали по имени, но позвали, как зовут у них путника. Я не остановился, потому что думал, что это относится не ко мне. Но опять раздался голос с дерева, и я увидел, подойдя ближе, что на тутовом дереве стоит молодая женщина и ест спелые тутовые ягоды. Она улыбалась мне и звала с собой. Когда я сказал ей, что не хочу лезть на дерево, она соскочила и стала приглашать пойти с ней. Она очень волновалась, но я не пошел. Хорошо ли я сделал, что не пошел с ней?

— Женщина! Что ты знаешь о женщине, мальчик! Ты сделал хорошо,— сказал дядя Хурам,— потому что тебе жениться на ней нельзя: жители гор не признают такого брака, а если она замужняя, то тебе пришлось бы платить большой штраф или твоя жизнь была бы в опасности. Сынок, дорогой, вот подожди, мы разбогатеем и тогда найдем тебе такую жену, что нет лучше... У меня есть кое-какой план, и если он удастся, то мы будем с тобой есть на серебре, как сам эмир... Подожди немного, у нас будет и на жизнь и на жену.

Двигаясь с отарой овец, пришли они в такое населенное место, что у Худроута широко раскрылись глаза. Ничего подобного в жизни он еще не видел.

Это был просто большой кишлак, но для Худроута, знавшего бедные и неуютные жилища горцев, здешняя жизнь показалась великолепной.

«Так, наверное, выглядит преддверие Арка, дворца, где живет эмир»,— подумал Худроут.

По улицам ходило много людей в разноцветных халатах. Проезжали всадники, проходили тяжело нагруженные верблюды. Запахи горячего плова, жареного мяса и разных вкусных соусов щекотали нос. Над всем царствовал запах горячего бараньего сала.

В чайхане в облаке пара стоял огромный начищенный самовар. На коврах молча сидели с пиалами чая посетители, а от лавок шел такой гул, как будто дыни, арбузы, абрикосы, гранаты были предметом яростного спора, который никак не мог кончиться.

Оставив дядю Хурама в чайхане, Худроут, как игла, прошивал толпу, наполнявшую базар, и все никак не мог надивиться и всем шумам и всей пестроте, окружавшим его. То он смотрел на красивый палас, выставленный у ковровой лавки, то уличный фокусник привлекал его внимание, то продавец сластей так расхваливал свой товар, что нельзя было не заслушаться,— словом, наконец, чтобы отдохнуть от непривычных впечатлений, он пошел по кишлаку в сторону от базара.

Он шел быстро и скоро оказался в тихих узких улочках, куда уже не долетали крик и шум базара. Тут был небольшой арык с журчавшей светлой водой, и над ним стоял старый карагач с тяжелой, душной папахой темнозеленой листвы.

Худроут присел на корточки, подставил ладони, и холодные струйки вбежали в ладони, как бы резвясь. Он выпил немного этой хорошей прозрачной воды, поднял глаза и увидел, что против него в нескольких шагах стоит женщина, вся закрытая покрывалом, спадающим самыми причудливыми складками по ее тонкой фигуре.

Он смотрел на эту женщину с таким же странным чувством любопытства, с каким он только что смотрел на фокусника там, на базаре. Ему казалось, что и здесь он увидит что-нибудь удивительное.

И он увидел. Из-под покрывала показались тонкие пальцы, такие тонкие и розовые, каких он ни у кого не видел, и эти тонкие пальцы откинули покрывало, и перед ним засияло такое лицо, что появление его можно было отнести к любому колдовству или фокусу.

Правда, все это длилось мгновение. На него с тонкого, продолговатого, с легчайшим налетом волнения, разрумянившегося лица смотрели большие, прямо в сердце идущие глаза, с высокими бровями, как бы в удивлении поднявшимися над неиссякаемо ярким светом двух звезд, которым они служили чудным дополнением. Пунцовые губы сначала были сжаты, потом они раскрылись в такой улыбке, перед которой та горская женщина с тутового дерева могла заплакать от бессильной зависти.

Эти глаза смотрели на него, эти губы улыбались ему, а что же он? Правда, они не приглашали его за собой, и когда он сделал движение перепрыгнуть арык, чудное видение скрылось за стеной с быстротой ускользающей маленькой птички, и только захлопнутая под носом дверца ясно и жестко говорила о том, что именно отсюда это видение только что появилось.

Худроут долго сидел у арыка, не сводя глаз с крепко запертой дверцы в дувале, потом он грустно встал и пошел в шум базара, к чайхане, где ждал его дядя Хурам.

И когда он, полный смятения и трепета, хотел сразу же просить совета у дяди Хурама, тот в полном экстазе, возбужденно и порывисто, чего с ним никогда не случалось, сам схватил его за руку, увлек в сторону и, не дав ему сказать ни слова, заговорил быстро, так быстро, что первых слов его Худроут даже не разобрал. А дядя Хурам говорил о том, что теперь они близки к тому, что будут наконец богаты. Пусть он никому не проговорится, что знакомый и друг Хурама открыл в долине реки Кокчи такое место, где золото чуть не под каждым камнем. Это тайна, этого никто не должен знать. И сначала туда пойдут только тот человек и Хурам, а потом он даст знать о себе Худроуту, и он тоже пойдет туда. Но сейчас он устроил пока Худроута в помощники к тому старому чабану, который его хорошо знает. Они будут недалеко кочевать со стадами и все ближе к реке Кокче, а там они объединятся и купят себе все, что хотят, и жену, конечно. Он же не раздумал, Худроут, жениться...

Он сказал это смеясь, но Худроут уже ничего не мог рассказать о своей встрече в кишлаке. Что-то мешало ему сказать об этом, особенно после последних слов дяди. Он, привыкший слепо слушаться и советов и указаний дяди, не мог ничего возразить против того, что предлагал делать дядя Хурам.

А тот, разгоряченный тем, что его старый план разбогатеть, по-видимому, близок к выполнению, весело говорил:

— Да, сынок. Добрые вести пришли от матушки Сафармо и твоей сестрички Сабзбагор! Они живы и здоровы и шлют тебе приветы. Я встретил тут человека из наших мест... Ну, пойдем теперь к тому другу, но помни, о нашем разговоре ни слова. Это наша тайна. Никто не должен знать...— И он взял слово с Худроута, что тот будет молчать как могила.

В тот год, когда пришло известие о том, что матушка Сафармо отошла к милости аллаха, а маленькую Сабзбагор — Цветок весны — выдали замуж за сельского сапожника и дядя Хурам утонул в реке Кокче, так и не добыв золота, Худроута взяли в солдаты.

Его учили и днем и ночью. Днем он лежал на пыльной горячей земле, и офицер оттаскивал его за ногу, как тюк, если он занимал неправильную позицию при стрельбе лежа. Потом он выполнял ружейные приемы стоя и с колена.

Он учился ходить, выкидывая далеко вперед носок, потом останавливался по команде и сразу, ударив прикладом, резко поворачивался и продолжал маршировать в другую сторону.

Ночью он нес караульную службу. То он охранял старый пустой склад, то конюшню, то стоял у квартиры командира батальона.

Когда он достаточно преуспел в своем деле, его отправили на границу, и он был первое время вестовым при субадоре — помощнике командира роты, так как обнаружилось, что он понимает толк в лошадях.

Жизнь на границе была тоскливая и скучная. Каждый день субадор в сопровождении вестовых, из которых один был Худроут, выезжал на объезд участка.

Узкое ущелье с нагроможденными скалами, до неба поднимавшими свои могучие камни, перерезалось рекой, сжатой так, что клочья пены взлетали над ревущим потоком, тщетно пытавшимся расширить свое русло. Полумрак и водяная пыль стояли над нависшими сводами береговых уступов. Лошади пугливо трясли ушами при грохоте реки, похожем на канонаду.

Бывали места потише, где стены ущелья расступались, точно сговорившись, и раз в таком месте впервые в своей жизни Худроут увидел самолет. Он уверенно шел по

ущелью, и рокот его мотора далеко разносился по сторонам, На его крыльях были красные звезды.

Субадор смотрел вверх, некоторое время следя за полетом, потом плюнул и сказал, внезапно рассердившись: «Гуди, гуди, у нас в Кабуле тоже есть два таких».

Как уже заметил Худроут, субадор часто сердился по самым непонятным причинам. Так, он, расспрашивая както Худроута, откуда он и кто был его отец, страшно вспылил, узнав, что отец погиб в сражении за Кабул при Бачáи Сакáо, и, хлеща стеком по столу, закричал: «Уж эти кугистанцы! Все они собаки и разбойники!» — и выгнал Худроута из комнаты.

Субадор был зол на весь мир: он считал, что начальство отправило его сюда, в эту каменную дыру, по какимто проискам его врагов, и солдат посылает ему нарочно ненадежных или тупых, вроде этого кугистанца, и что булюк-мишр — взводный командир — приставлен к нему, чтобы следить за ним и доносить обо всем начальству.

Вечером он выходил за ворота своего маленького укрепления и снова сердился из-за того, что у него была больная печень, из-за того, что идти было совершенно некуда, так как в чахлой рощице лежал жалкий кишлак, собаки которого всегда бросались на его лошадь, когда он проезжал через него, и это были самые гнусные собаки на свете.

Так стоял субадор и тоскливо оглядывал пустое, унылое поле и дикие склоны, над которыми, как бы грозя, высовывался страшный ледяной кулак какой-то вершины.

И вдруг он услышал песню. Глухие и сильные звуки молодого голоса доносились откуда-то от реки. Что-то воинственное и дико-веселое было в этой непонятной песне, что-то оскорбительное для его начальственного могущества как представителя власти. Гордая, резкая песня как бы оспаривала его владычество над зловещим молчанием этих забытых аллахом мест.

— Кто поет? — рассердившись, закричал он.

Солдат, звякая ружьем, побежал к берегу и через минуту-другую вернулся с Худроутом.

— Опять этот кугистанец! Нет от него покоя!

Солдат доложил субадору, что пел вот он, Худроут.

— Что ты пел? — спросил субадор, чувствуя, что его душит ярость, что он не может видеть без злости этого красивого, статного, крепкого, как горный козел, юношу.

— Это поют горцы Боковой долины,— сказал Худроут,— это боевая песня...

— Эти проклятые кугистанцы будут еще у меня под ухом распевать свои проклятые песни?! Чтоб я больше ее не слышал! И никаких песен чтоб здесь не было! Понял? Давай лошадь!

Тут же выяснилось, что его любимая лошадь захромала.

— Это невозможно! — закричал субадор и с яростными ругательствами пошел в свое жилище.

Там его ждало единственное забвение: он курил анашу. Когда он глотал горьковатый усыпляющий дым, заволакивающий все черные мысли, он чувствовал себя удивительно сильным, храбрым и счастливым: исчезали неуверенность, подозрительность и злоба на мир. Хорошую анашу достали ему в этот раз!

Но едва он протянул руку за маленькой трубочкой и коробочкой с анашей, как вошел ненавистный булюкмишр — взводный командир, его тайный завистник и шпион.

— Вы не можете ехать завтра на вашей лошади.

— Почему? — спросил так резко субадор, что булюкмишр чуть отодвинулся.

— Потому что она расшибла ногу при поездке и ее нужно лечить...

— Кто выводил ее? — спросил уже тише субадор, злясь еще и оттого, что ему помешали погрузиться в состояние чудного опьянения.

— Худроут, этот молодой горец.

— Они мне шею перережут, эти проклятые кугистанцы,— сказал субадор уже спокойно, но в глазах у него бегали злобные, острые огоньки.— Он мне испортит жизнь здесь вконец.

— Он хороший, исполнительный, скромный юноша,— сказал булюк-мишр, знавший все особенности характера своего начальства.— Он не виноват. Лошадь испугалась верблюжонка и бросилась на камни.

— Вы все не виноваты,— сказал субадор,— вы все не виноваты, что я тут пропадаю по неизвестной причине! Они там в Кабуле веселятся...

Тут он замолчал, чтобы не сказать лишнего, и вдруг ему пришло в голову одно решение, которое показалось выходом.

— Отправь этого кугистанца на пост...

— На какой? — спросил булюк-мишр.

— Отправь его на пост Пещера.

— Пещера! Но там мы давно не ставим часовых. Там нехорошее место. Бывают обвалы... Раз там замерз часовой, помните, когда упала лавина...

— Да, да,— сказал субадор,— вот именно, отправь его в Пещеру и не снимай сутки. Пусть он оставит свой дерзкий вид, проклятый кугистанец! Иди!

На другой день к вечеру Худроут в сопровождении солдата и молчаливого аваляндора — отделенного — подымался по узкой, едва умещавшей солдатские сапоги тропке, и только его привычные к горным переходам ноги не дрожали. Еще перед подъемом солдат сказал:

— Пещера — худое место.

— Почему? — спросил Худроут.

— Там нехорошо. Туда раз послал солдата субадор, и его засыпал обвал.

— А еще что там? — спросил Худроут.

Но солдат твердил только одно:

— Там нехорошо человеку...

— А ты сам стоял там?

— Я нет,— сказал солдат.— Там замерз один часовой, его засыпало снегом.

— Эй, вы там, пошли! — сказал аваляндор, и они начали подыматься по козьей каменистой дороге.

После недолгого, но утомительного подъема они вышли на скалу, где был пост, именуемый солдатами Пещера.

Сначала, когда вышли на эту маленькую площадку, Худроут увидел под ногами обрыв. Полный неясных мыслей, ошеломленный всей неожиданностью происшествия, он не огляделся как следует и только следовал за ведшим его аваляндором. Пещера была скорее навесом, но в ней были каменная скамья, каменный стол, на столе лежала ржавая банка из-под каких-то консервов, несколько стреляных гильз и надтреснутая пиала.

— Вот эта Пещера,— сказал аваляндор.— Ты будешь следить за тем и этим берегом,— сказал он, подводя Худроута к обрыву.— Если будет опасность или ты заметишь кого-нибудь, кто хочет переправиться на ту сторону, стреляй: стреляй только при тревоге, помни, что по этому сигналу мы придем к тебе на помощь. Если хочешь пить, тут есть пиала, а тут есть родничок. Он был раньше лучше расчищен, но тут давно не было поста, и ты его можешь

снова расчистить. Ночью тебе особо холодно не будет. Луна еще светит, но ночи темные, будь начеку. И стреляй только по тревоге...

Солдат, до последней минуты боявшийся, что его все же оставят вместе с Худроутом, искренне обрадовался, когда узнал, что он уйдет с аваляндором, и не скрывал своей радости. Поэтому он похлопал добродушно Худроута по плечу и сказал, подмигивая:

— Ты — горец, у тебя, наверное, есть заговоренные камушки.— И они ушли, оставив Худроута одного на скале.

Худроут обошел еще раз маленькую, заваленную камнями площадку. За спиной Худроута висели скалы; там, где в скалах был прорыв, виднелись близкие неприветливые горы, за которыми вдали блестели на вечернем небе снежные глыбы какого-то большого ледника. Все, что было вокруг,— все это скопление каменных глыб, нагроможденных друг на друга, нависших над рекой, разбитых на куски и стекающих каменным потоком в реку, было безотрадно и сурово.

В той стороне, где расположился пост, видны были склоны, у подножия которых лежал маленький нищий кишлак, так ненавидимый субадором. Но отсюда не было его видно, и только куски маленьких полей намечались, как черные заплатки, внизу сиренево-черной горы, уже подернутой вечерней тенью.

Угрюмая и суровая природа, казалось, презирала человека и давила его своим каменным величием. Внизу перед Худроутом, бесконечно шумя, проносились волны той реки, которая день и ночь бросалась на берега, вся в пене и в водоворотах, точно все ее нутро клокотало от нестерпимой обиды и она мстила окружающему миру, изрыгая проклятия и стоны.

Эта река отделяла два государства, два мира, и Худроут теперь смотрел на неизвестный ему мир, так близко лежащий против него на другом берегу пограничной реки.

И этот новый мир был так удивителен, что Худроут больше не смотрел по сторонам. Его глаза впились в открывшееся ему пространство за рекой.

И там, за рекой, стояли горы, дымчато-фиолетовые гребни которых, как бы зовя за собой, уходили на север, где блистали далекие скалы, уже полузакрытые облаками. Но, спускаясь к реке, горы образовывали впадину, в которой, как в зеленой чаше, лежал кишлак. Его светлые дома

подымались по взгорью между бегущих красивых пенистых петель ручья и множества зеленых деревьев, которые то выстраивались аллеями, то соединялись в группы, образуя сады.

Светлая лента дороги проходила по самому берегу, чуть выше реки, и далее поднималась в селение и пересекала его, уходя в горы, и долго еще виднелась среди срезанных углов горы, подымаясь все выше и выше, пока не закрывали ее громады.

В селении и на дороге шла непонятная и неизвестная Худроуту жизнь. По дороге шли большие машины, проезжали люди на велосипедах, шли женщины и дети, в садах и на улицах — всюду, в тени деревьев и в домах, люди делали свое привычное дело, и чем больше всматривался в это живое движение Худроут, тем более ему казалось это чем-то и знакомым, и очень близким.

Этот светлый, так красиво раскинувшийся в тени садов кишлак напоминал далекое селение в долине, никак не похожее на это место, и вместе с тем он казался все тем же селением детства, перенесенным чудесной силой сюда и так преображенным, что сердце сжималось от грусти и боли.

Проходившая по самому берегу женщина несла маленького мальчика. Разве он не узнавал в этой женщине матушку Сафармо, а разве не он был крохотным мальчиком, которого она так нежно прижимала к груди?

Потом взгляд его, переходивший с жадностью с предмета на предмет, останавливался на мальчиках, шедших группой, в полосатых халатах и широких штанах. Они держали в руках книги и тетради.

Худроут, неграмотный и только несколько раз в жизни видевший книги, все же сразу узнал их, и новое волнение охватило его. Ему казалось, что он видит сам себя, но в каком-то другом виде,— мальчиком, который возвращается из школы.

Да, и он мог быть таким... Пока он рассматривал все, что происходило в горном селении над рекой, в небе заметно потемнело, горы как бы надвинулись, верхи их, только что горевшие розовым золотом, стали зеленовато-холодными, и уже трудно было уловить, различить особенности уступов.

Надвигался вечер. Неожиданно в небе показались высокие блестящие звезды, прикрытые полупрозрачным зеленым туманом, и в селении над рекой вспыхнули длин-

ные, рассыпанные по горе огни. Они светились так ярко и тепло, что было видно ясно все, что происходит на улице, особенно на большой площадке, окруженной квадратом огней.

Худроут почувствовал холод. С гор тянуло ветром, пронизывающим до костей. Худроут посмотрел на гору за спиной. От этого тоскливого пространства исходило такое чувство одиночества, сиротливости, заброшенности и даже какой-то скрытой угрозы, что он невольно сжал карабин. Там не было ни одного огонька. Никакой, самый маленький луч света не блестел в этой сырой, холодной сплошной тьме, которая докатилась до реки и погрузила все окрестности в безмолвие ночи, и только река, беснуясь, гремела как-то глухо из своего черного провала.

А в подгорном селении на том берегу началась новая вечерняя жизнь. На площадку, освещенную ярким светом, выехали большие машины, украшенные широкими полосами из красной материи, и с этих машин со смехом и веселыми восклицаниями соскакивали молодые люди.

На юношах были тюбетейки, на девушках — большие белые платки. Серые халаты, черные пиджаки, светлые платья, цветные шаровары, даже узорные джурабы, даже разноцветные шерстяные кисточки в волосах у девушек, скинувших платки, видел он так близко, как будто сам стоял среди них и прислушивался к их быстрому и легкому разговору.

Потом, несмотря на несмолкающий шум реки, он услышал тонкий серебристый звук, который пронесся через реку, как вызов мраку и горам. Девушка играла на инструменте, который был знаком Худроуту. Это был рубоби.

И под звук этого сильного и чистого потока дрогнуло что-то в сердце Худроута. И он как будто впал в странное забытье, при котором он понимал и то, что стоит на посту с оружием на скале перед Пещерой, и то, что перед ним проносятся, как куски снов, картины его собственной жизни.

Темный кишлак там, у заставы, где только худые, страшные псы хрипло кричат во сне, дома в горах, где люди в старых овчинах при свете маленького чирака копошатся над грудой старого тряпья, темные дороги, баранта, голые холодные скалы, дядя Хурам со своим пастушечьим посохом...

Там, на том берегу, пели и танцевали. Оттуда лились звуки рубоби, а вокруг него стояла тьма, которая как бы охватила его голову и плечи и давила его к земле.

Что ему до тех красивых девушек на том берегу! Перед ним прошло спокойное, освещенное каким-то внутренним солнцем лицо молодой горской женщины, стоявшей среди ветвей тута и звавшей его, прошло продолговатое, с ускользающими, чуть скошенными глазами лицо девушки из базарного кишлака. Что они ему? Жениться ему все равно нельзя. Где деньги на калым? Где его молодость, где его жизнь? Он вспомнил отца, и то, что тот убит в битве, сделало воспоминание тяжелым; вспомнил матушку Сафармо, и у него защемило сердце от тоски. Он не вспомнил Сабзбагор — Цветок весны,— свою сестру, потому что так давно не видел ее, что не мог бы узнать ее, даже если бы встретил.

И он снова посмотрел на заколдованный берег, полный голосов и музыки, которая побеждала шум реки. «А кто же там правит? — подумал он.— Если нет там эмира и нет царя, как говорил субадор, как же они живут без эмира и без царя? Да, там живут совсем, совсем по-другому».

И как только он так спросил себя, он впал в тоску, раздиравшую душу. Ему стало так больно, что музыка и пение уже не подымали его куда-то в высоту и не радовали его, а стали непереносимы и болезненны, как будто кололи, как острием кинжала, его грудь.

И он закричал в простор ночи, чтобы там услышали:

— Прошу вас, не пойте, не танцуйте!

И хотя он кричал сильным голосом, но река заглушала его крик. И напрасно он кричал снова:

— Пожалейте меня! Не пойте, не танцуйте, прошу вас!

Никто на том берегу, даже слыша крик, не мог бы разобрать, что кричит человек. И только скалы за его спиной отзывались, повторяя его голос, искажая его, как нарочно, как будто издевались над его отчаянием.

И он понял, что он один среди ночи на скале над дикой рекой и что темнота вокруг пялит на него черные глаза и смеется над его жалким криком. Он видел в этой тьме, там, где висела в воздухе козья тропинка, самые угрюмые лица ночных духов и среди них желтое, злое, перекошенное лицо субадора, пославшего его в эту пещеру демонов. Им овладели страшная ярость, злоба и страх. Ему показалось, что все эти чудовища лезут на скалу за ним и сейчас прыгнут на него.

Тогда он начал стрелять в эту тьму. Посылая выстрел за выстрелом, он приходил в себя все больше. И когда расстрелял всю обойму, ему стало почти спокойно, но он уже не смотрел на другой берег и был так взволнован, что не мог бы сказать, поют ли там еще или уже давно перестали. Он плакал от тоски и злости неизвестно на кого, от обиды за свою потерянную молодость.

Он не знал, сколько прошло времени, когда ему послышался далекий конский топот.

Потом еще шли минуты, он перезарядил карабин и стал у края площадки.

Кто-то, роняя камни, карабкался по тропинке. Но Худроут уже знал, что это не демоны, а люди. Он слышал знакомые голоса, в темноте перекликавшиеся у скалы.

Потом люди появились как-то сразу, и впереди них стоял субадор. Увидев Худроута, он осветил его фонариком с ног до головы и спросил раздраженным и взволнованным голосом:

— Почему ты поднял тревогу? Почему ты стрелял?

И злым и тоже взволнованным голосом Худроут, ненавидя его и не скрывая этого, сказал:

— Не я стрелял, горе мое стреляло!

И, к его удивлению, субадор не ударил его, не набросился с руганью. Он был сам не очень храбр в этой непонятной тьме, в этом диком месте. Он только отступил от края площадки и хрипло сказал:

— Ух, эти мне кугистанцы! Все они разбойники и воры!

1953—1954

В УЩЕЛЬЕ

— Вера Антоновна, все в порядке, начальство разрешило. Собирайтесь, через полчаса выезжаем,— сказал Сивачев Вере Антоновне, сидевшей около старого-престарого чинара на посольском дворе ранним кабульским утром и смотревшей, как две неизвестные ей птицы бегали по его могучим ветвям.

— Я уже давно готова,— отвечала она,— еще с вечера собралась. Могу хоть сейчас.

— Сейчас рано,— засмеялся Сивачев,— мы с Кузьмой Прокофьевичем машину посмотреть должны, как там все уложено. Груз деликатный... побьется еще в дороге.

Груз действительно требовал особого внимания. Тогда не было еще воздушного сообщения Кабул — Индия. А между тем при всех природных богатствах этой замечательной страны иные вещи нужно было доставлять в Дели прямо из Москвы через Кабул, потому что в Индии нельзя достать ни черной, ни красной икры, ни нашей копченой рыбы, ни балыка, ни семги, ни папирос, ни наших вин, ни нашей водки, ни нашего коньяка.

Все эти папиросы, бутылки, коробки с икрой, доставленные самолетом из Москвы, упаковывались в Кабуле и на легковой машине доставлялись через Хайберский проход в Пешавар, оттуда в Лахор и там, в Лахоре, перегружались на самолет, который через полтора-два часа доставлял их в Дели. Другого пути не было. Очередная машина собиралась сейчас из Кабула в далекий пробег по горам и долинам, через перевалы и реки Загиндукушской стороны.

С этой машиной, сопровождая зыбкий и прекрасный груз, ехал служащий посольства по хозяйственной части Илья Петрович Сивачев, опытный человек, хорошо знавший афганскую землю и не раз совершавший долгий путь

от столицы Афганистана до древнего города Лахора. Машину вел старый специалист по замысловатым дорогам Востока, Кузьма Прокофьевич Слепцов, который, принадлежа к отважному племени шоферов, не терялся ни при каких обстоятельствах, и его трудно было удивить и совершенно невозможно было чем-нибудь испугать. Насмотрелся он в своих бесчисленных поездках такого, что мог бы составить целую книжку, если бы записывал свои рассказы о том, что он видел и пережил за свое многолетнее пребывание за рубежом, в чужих и любопытных краях. Сивачев и Слепцов могли считаться людьми, вполне готовыми к случайностям поездки, но этого никак нельзя было сказать про их спутницу, Веру Антоновну.

Если они знали Афганистан, можно сказать практически, то она его никак не знала, так как жила в Кабуле всего несколько дней и ничего как следует не видела. Муж ее служил в посольстве в Дели, и она ехала к нему, чтобы жить и работать в Индии. Самолет, перенесший ее через Гиндукуш, улетел домой, дальше на юг он лететь не мог, и она осталась в Кабуле ждать оказии, так как направляться дальше одной ей не хотелось. И вот теперь со своим чемоданчиком и портпледом она вернулась во двор, чтобы ехать в еще более далекую, таинственную, волновавшую ее даль. Смотря на синевшие где-то на краю неба снега Гиндукуша, как бы спадавшие потоками с легкой белой пирамиды Саланга, торжественно вставшего над тяжелыми дымчатыми каменными нагромождениями, загородившими горизонт, она чувствовала, как далеко уехала от родной земли, от привычной кипучей советской жизни.

Она так живо представила себе шумные московские улицы, гул движения, новые дома, такие знакомые липы, уже пожелтевшие и осыпающиеся под первыми холодными ветрами поздней осени, что, задумавшись, не слышала голоса Кузьмы Прокофьевича, который звал ее к машине. Когда она подошла, он, уложив ее вещи, оглядел ее внимательно и, оставшись доволен ее бодрым видом, сказал:

— А какого-нибудь пыльника у вас не будет?

— Пыльник? — сказала она удивленно.— Да ведь сухо как! И прохладно.

— Это ничего, что сухо. В пыли будете с ног до головы. Ну, нет так нет. Оставайтесь в пальто, а голову все-таки платочком прикройте.

Сивачев усадил Веру Антоновну на переднее сиденье, с шофером, сам сел рядом с уложенными плотно коробками

и легкими ящиками с папиросами на заднее сиденье, и они поехали под дружные пожелания счастливого пути со стороны нескольких посольских женщин, которые оказали гостеприимство Вере Антоновне в эти короткие дни ее пребывания в Кабуле.

Сначала она сидела молча, во все глаза рассматривала улицы, по которым ехала машина. Она была первый раз на Востоке, и все ей казалось таким интересным, таким неповторимым, что обязательно все это нужно было запомнить.

Лошади, которые пили воду из мутной желтой реки рядом с ишаками и собаками; дома с такими плоскими крышами, как будто их не было вовсе, с вылезающими из серых стен длинными деревянными балками; загорелые до черноты люди, одетые очень по-разному; рыжие горы, как безжизненные декорации, стоящие на заднем плане,— все бросалось в глаза своей новизной, мелькающей, как на экране.

Точильщик точил ножи так, что искры летели в глаза ослу, и тот задумчиво следил за их полетом, вздрагивая и чихая, как будто искры залетали ему в ноздри; грузчик тащил такой огромный ковер и мягкий матрац, что сзади были видны только лиловые ноги в жестких, как железные, туфлях с длинными концами.

Встречались стайки неслышно скользящих женщин, упакованных в серые и черные паранджи, из-под которых торчали только ступни, и не разберешь, старухи это спешат на базар или молодые афганки идут в гости.

Одни прохожие были в европейских костюмах, но с мерлушковыми шапками на голове, другие были в неимоверно закрученных тюрбанах, в широчайших, как у запорожца, шальварах, в черных жилетках и белоснежных рубахах, бродяги в невозможных лохмотьях, полуголые люди и люди, закутанные с головой в одеяла, в сопровождении ишаков, лошадей, верблюдов.

Когда машина выехала из безжизненно желтых дувалов, миновала ипподром и покатила по ровной, уходящей на юг дороге, стали попадаться велосипедисты, которые в городе не так бросались в глаза. Теперь было видно, что их много, что этот вид транспорта пользуется особым вниманием населения.

Стало попадаться больше всадников, то в одиночку, то группами, сидевших с гордой уверенностью в высоком седле, как показалось Вере Антоновне, с некоторым презрением смотревших на проходившую мимо машину.

Высунувшись из машины и оглянувшись, она увидела город уже где-то далеко; он еще на какое-то мгновение показался и исчез со всем своим глиняным великолепием. Она вынула из сумочки платок, чтобы чихнуть от пыли, и вдруг засмеялась так весело и заразительно, что Кузьма Прокофьевич даже посмотрел на нее с удивлением, а Сивачев спросил:

— Что такое смешное вспомнили?

— А ведь правда, вспомнила того купца, что мы вчера с вашей женой видели. Мы гуляли и зашли в одну лавку просто так, посмотреть, а купец сейчас же раскланялся, велел своим приказчикам показывать нам и шелк, и полотно, и бархат, и чесучу, и при каждом новом сорте материи он показывал на него пальцами и, делая удивленное лицо, громко спрашивал по-русски: «И что это такое, и что это такое?» И сам себе отвечал сейчас же: «И это очень хорошо, и это очень хорошо!» Как китайский фарфоровый болванчик, правда? Я вспомнила и не могла удержаться от смеха...

— Да мы все его знаем,— сказал, тоже засмеявшись, Сивачев,— он покупателя хочет привлечь всеми способами... А вы, наверное, очень рано встали, Вера Антоновна, так вы подремлите.

— Я хочу смотреть в окно,— сказала она, но он был прав: ее действительно слегка укачивал быстрый и плавный ход машины, и она действительно очень плохо спала эту ночь; от усталости или от чужого места ей снились всякие кошмары, и она заснула немного только под утро. Но она храбро добавила: — Я боюсь что-нибудь красивое пропустить...

— Да вы не пропустите. Красивое еще впереди будет. А здесь, по правде говоря, и смотреть нечего...

Но она все-таки глядела — и видела, как все пустыннее делается местность, какие-то ржавого цвета горушки быстро выстраиваются по сторонам, как будто одни и те же дувалы проносятся друг за другом.

Бледно-зеленые деревья над сухими канавами, маленькие мосты, одинокие пешеходы и всадники, изредка тяжело груженные грузовики, с пыхтением идущие навстречу — все это стало сливаться в одну странную картину, которая то разворачивалась, как ковер, перед нею, то, как ковер, свертывалась, и тогда наступал блаженный миг тишины и отдыха. Потом этот ковер скатали, и он уже больше не развертывался.

Сколько она проспала, она не могла бы сказать. Она проснулась от ощущения, что езда почему-то прекратилась. Так оно и было. Машина стояла.

— С добрым утром! — сказал ей Сивачев.— Вот и правильно сделали, что поспали как следует. Силы сэкономили. Хотите чаю?

— Откуда здесь чай? — спросила она.

— Да вон в том домике дают,— ответил он.— Кузьма Прокофьевич уже пошел туда похлопотать, чтобы чай подали.

И действительно, Слепцова не было у машины.

— Что это за остановка? — Вера Антоновна взглянула на Сивачева.— Это вы все выдумали.

— Ничего я не выдумал. Здесь построена гостиница для проезжающих иностранцев. Мы в такой еще сегодня в Джелалабаде ночевать будем.

Они поднялись по лестнице и вошли в большую комнату. В ней стояли маленькие лакированные столики и низкие мягкие диванчики и табуретки. Молчаливый афганец принес им на подносе чайник и чашки и удалился, приложив руки к груди и кланяясь.

Вошел не спеша, по-хозяйски оглядывая комнату, Кузьма Прокофьевич. Чай все трое пили долго, медленно; он был крепкий, почти черный, горьковатый на вкус. Оставив мужчин разговаривать между собой, Вера Антоновна обошла всю комнату и обнаружила в ней нечто вроде прихожей и в конце ее дверь. Толкнув дверь, она оказалась на широкой площадке и остановилась, пораженная.

Сидя в большой комнате за чаем, она не могла предполагать, что рядом с ней происходит сцена совсем из другого мира.

С той площадки, на которой она стояла, вниз вела широкая лестница на дорогу, по-видимому, обходившую дом; за поворотом дороги начинался склон к реке. Река текла, как на картинке, в резко обозначенных берегах; за рекой, куда ни посмотри, стояли горы. Они как будто пришли к реке и остановились. Из-за плеч передних высот высовывались другие, желтые, пустынные, нелюдимые. Редкие кусты росли вдоль того берега реки. На этом же берегу целая роща подходила к воде.

Из темного горла ущелья, которое было закрыто поворотом горы, выходил караван. Верблюды шли, связанные по четыре. Они были нагружены разными тюками и высоко поднимали головы, как бы удивляясь реке и недо-

умевая: неужели безрассудные хозяева погонят их в эту воду?

И Вера Антоновна смотрела, как школьница, будто ожила картина в учебнике географии: человек, шедший рядом с первым верблюдом, положил его на песок, вскочил на него. Верблюд поднялся и пошел прямо в воду. За ним тронулись и другие верблюды. Они все дальше входили в в реку, и в реке, как в полированной, блестящей доске, отражались и облака и верблюды, идущие длинной цепочкой, которой не видно было конца.

Передовой верблюд уже вступил в глубокую воду, и человек, сидевший на нем, поднял ноги повыше, но вода достигла снова его пяток, и верблюд погрузился еще немного. Вера Антоновна чуть не закричала. Ей казалось, что она присутствует при катастрофе, что сейчас все верблюды один за другим утонут в этой медленной, тяжелой, пустынной реке и она одна будет свидетельницей их гибели. Но верблюды не утонули. Они переходили реку один за другим, и вдруг из ущелья вышли еще верблюды, но они не пошли в реку, а повернули и стали подыматься в гору. И стало так, что одни верблюды полностью перегородили реку, а другие полностью заняли тропу, уходившую вдоль реки вверх, к гребню желто-серой горы, которая вытягивала свои стены прочь от воды.

В эту минуту на площадку вышли Сивачев и Слепцов. Они тоже остановились и смотрели, как рассортировались караваны.

— Почему они так? — спросила Вера Антоновна.— Почему они идут в разные стороны? Как танцуют, правда?

Перешедший реку первый верблюд остановился у ближайшего дерева и лег. Человек сошел с него и стал выжимать мокрый край своего плаща. Выходившие из реки верблюды ложились друг за другом.

Воздух чуть-чуть пригревался зимним солнцем, которое освещало горы и реку ровным неподвижным светом, и от этого весь пейзаж был холодным, и казалось, что воздух имеет какой-то металлический привкус.

Сивачев показал Вере Антоновне на чуть видную башенку на вершине горы за рекою:

— Этому каравану, что переправился, надо в Кабул, а тот идет в Джелалабад и выбрал путь через горы, вон через ту башенку. Там есть для верблюдов пропитание, а тут ничего не найдешь. Этим что! Они сегодня будут в Кабуле. А тем еще надо идти и идти.

Они посмотрели, как исчез за поворотом тропы последний верблюд каравана, сели в машину и поехали дальше.

Некоторое время ехали молча. Потом Вера Антоновна спросила тихим голосом:

— Простите меня за любопытство, Кузьма Прокофьевич, а как же вы объяснились там, в чайном доме, со слугой?

Кузьма Прокофьевич не успел ответить, как Сивачев громко рассмеялся и сказал:

— Да он здесь все языки превзошел. Он же старый азиат... Скажи что-нибудь по-ихнему.

И Слепцов сделал серьезное лицо и ответил:

— Афгани нэ миданем, ама фарси кем-кем мигуэм...

— Что это? На каком языке? — спросила Вера Антоновна.

— Это по-персидски,— сказал Слепцов так же серьезно и перевел:— Это значит: по-афгански не знаю, по-персидски кое-как понимаю.

— Да вы молодец! — закричала Вера Антоновна.— А главное, как красиво звучит! Вот буду в Индии — научусь по-ихнему разговаривать, кое-как понимать, кем-кем мигуэм... А я вот университет окончила, два языка знаю, но Азию как-то не представляла, и не думала о ней, ничего о ней не знаю.

— Я тоже не думал, а вот который год в ней работаю,— сказал Кузьма Прокофьевич.

— Илья Петрович,— сказала Вера Антоновна,— расскажите мне что-нибудь про эту страну...

— Да что рассказывать... Я ведь не ученый специалист, а больше по хозяйственной части. Что вам сказать? Вот вы ехали и смотрели. Земля здесь трудная, работать на ней надо с умением. Камень и камень по всем косогорам. Песок все глушит. Народ бедный, но гордый, замкнутый. Живут уж очень скромно, скромней нельзя. Вечер придет, солнце скроется, ночь упадет, и вы уже ни одного огонька не увидите. И люди все, как солнце ушло, тоже на боковую. Чуть свет — и они на ногах. Народ трудолюбивый, крестьянский, но воды нет, орудий производства нет. И об этом я не в книгах читал, а сам видел. Я же поездил тут дай бог! Заслуженный, можно сказать, азиат. И на севере был, и на юге, и на западе. Вот в эти горы только не ездил.— Он махнул рукой налево, где стали все выше нагромождаться скалы.

У дороги сидел человек в рваном халате, круто обвязанный чалмой, бывшей когда-то белой, а теперь от пыли приобретшей серо-желтый оттенок. Опершись рукой о колено, он положил пальцы на лоб, так согнув руку, точно изпод нее высматривал что-то на дороге. Крепкие лилово-медные морщинистые пальцы были неподвижны, как будто окаменели. Вся его фигура выражала крайнюю задумчивость. Глаза с каким-то тусклым, холодным сосредоточением были направлены в одну точку.

В бороде его, рыжей и всклокоченной, но не очень густой, высыпала, как соль, седина. Ничего не существовало для этого одинокого путника, даже не обратившего внимания на проехавшую мимо рядом с ним машину и на то, что из машины смотрят на него люди.

— Ну о чем он думает? — спросила Вера Антоновна.— Сидит один-одинешенек в этой пустыне. А если волки нападут? Волки тут водятся?

— Откуда я знаю, о чем он думает! — сказал Сивачев.— Овцу потерял, что ли?

— Не овцу,— сказал сурово Слепцов.— Не обратили внимания: за камнем верблюд, но уже без вьюка, лежит на боку. Ну, а верблюда потерять — задумаешься. Караван, поди, перевьючил тюки и ушел вперед, а он остался. Про жизнь думает. Тут задумаешься...

Машина крутила по каким-то извилинам дороги, влезавшей на большую возвышенность. Вере Антоновне начало казаться, что они въехали в какой-то безрадостный, каменный, сухой, желтый мир, и ему уже не будет конца. Одна суше другой выходили за поворотом все новые горы, все безотрадней и угрюмей, без зелени, без тени, и когда машина выбралась на спуск, Вера Антоновна увидела сразу так много людей, что это зрелище заставило ее почти закричать:

— Кто это?

— Это? — сказал равнодушно Кузьма Прокофьевич.— Это кочевники.

И на самом деле это были кочевники, которые и раньше попадались им на дороге, но часть дороги Вера Антоновна проспала и не видела их, а потом не очень обращала внимание, так как они шли разорванными группами и она принимала их за караванщиков или просто путников, идущих из селения в селение.

Теперь перед ней жила вся дорога, куда бы она ни смотрела. Шли верблюды, овцы, лошади, ишаки. Все это было

так необыкновенно, что она даже попросила ехать потише, чтобы посмотреть получше.

Глаза невольно разбегались, наблюдая это живописное движение людей и животных. Машина обгоняла верблюдов, нагруженных самыми разнообразными вещами: тут были среди тяжелых тюков, ковров и палаточных войлоков ведра и сковородки, лопаты, большие медные блюда, корзины. На горбах верблюдов сидели привязанные за ногу куры и раскачивались, чтобы не потерять равновесия.

На больших мышастых ишаках посреди всякого домашнего барахла в устроенной специально корзине сидели дети — девочки с черными, как бусинки, глазами, с толстыми красными щеками, с разноцветными ленточками в волосах и маленькие мальчики в черных и серых куртках, кричавшие что-то собакам, шедшим рядом с ишаками.

Мальчики постарше шли рядом со взрослыми мужчинами. Девочки постарше держались женских групп или шли самостоятельно, одни, следя за передвижением порученных им животных.

Теперь машина обгоняла все время кочевников, и сколько бы она ни ехала, этот поток не оскудевал, только иногда он прерывался или так сгущался, что проезжать было трудно, так как дорога была переполнена кочевниками, и только резкие сигналы заставляли их отводить в сторону животных и давать проезд.

Вера Антоновна не знала, куда смотреть. Все было так занимательно, так удивительно! Девушки шли, взявшись за руки. Их оранжево-красные халаты светились издалека; большие серебряные монеты, прикрепленные к тяжелому металлическому полукругу, полуприкрытому большим красным покрывалом, казалось, звенели мелодичным звоном, а туфли с лихо загнутыми концами молодо ступали по шершавой, точно из наждачной бумаги сделанной дороге.

Они что-то закричали высунувшейся из машины Вере Антоновне, и вдруг ей самой стало весело и как-то вольно. Ей захотелось выпрыгнуть из машины, подождать этих стройных девушек с железными ногами, с энергичными, резкими движениями людей, проводящих всю жизнь среди скал и дорог, с блестящими бронзовыми щеками, благоухающими свежестью горных лугов, со смеющимися зелеными кошачьими глазами, тонким, упрямым ртом и идти с ними, не думая ни о чем, спокойным, легким шагом из долины в долину, от реки к реке, спать на чистом воздухе и

просыпаться от холодного утреннего хрустящего ветерка. Она засмеялась своим мыслям и прослушала, о чем вели разговор ее спутники.

Слепцов говорил:

— Понимаешь, Илья Петрович, все дороги были забиты разными войсками. Пакистанцы тогда с Индией из-за Кашмира повздорили. Машины идут и стоят, регулировщики в трусиках и в беретах им сердито машут: «Давай, давай!»,— а нашей машине все честь отдают, два пальца, по английской манере, к голове прикладывают. А ездил я с Парамоновым. Помнишь, солидный такой, потом уехал по болезни? Он удивляется. Что такое? А я говорю: «Это анекдот настоящий. У них главные командиры, высокие начальники, красный флажок на машине имеют, а вы сидите такой представительный, что вас за начальство принимают. Так уж прошу вас, так и выдерживайте». Он хохочет, а я умоляю: «Не смейтесь, а то их в смятение введете, регулировщиков. Всем дорога закрыта, а нам — пожалуйста!»

— Так это нас могут за англичан и здесь принять,— сказала Вера Антоновна.— Здесь это тоже будет приветствоваться?

— Не сказал бы,— ответил быстро Кузьма Прокофьевич,— тут с англичанами сложная история. Нет, тут лучше пусть нас за англичан не принимают. Так что я вам не советую с этими товарищами,— он кивнул на дорогу,— говорить по-английски...

— Смотрите, смотрите! — закричала Вера Антоновна.

Все взглянули, куда она указывала, и увидели упавшего у дороги верблюда. Его развьючивали. Он лежал, и его большую мохнатую шею обхватила девочка и прижалась к его голове так, что ее волосы смешались с его бурой высокой шерстью. Она плакала, и слезы капали на голову верблюда, который раскрывал и закрывал свои лиловые огромные глаза, как будто понимал своего маленького друга и не знал, как его утешить. Кочевники молча толпились вокруг него и умелыми движениями освобождали его от груза.

Через мгновение эта сцена исчезла за поворотом дороги, и открылось новое: к дороге с соседних гор вели узкие-узкие тропинки. В другое время они показались бы козьими тропами, и только. Но сейчас было видно, что это сократительные тропы, протертые тысячами ног в течение многих лет. По этим тропам спускались к главной дороге старики и старухи в сопровождении мальчишек, которые

стайками лихо сбегали вниз, но их почтенные дедушки и бабушки не отставали от них, и, опираясь на длинные палки, они спускались с завидной скоростью, как люди, с детства привыкшие ходить по горам.

Шли быки, с врожденной важностью и лениво пожевывая толстыми губами.

Лежали раздавленные грузовиками собаки. Собаки так яростно бросались на встречные машины, что отозвать их было невозможно. Они хотели допрыгнуть до высокого кузова, и их прыжки и вой становились все более и более жуткими, пока грузовик не сшибал их, и они летели, кувыркаясь, через голову и оставались лежать неподвижно, как бы говоря: мы выполнили свой долг до конца, мы не знаем, что это были за чудовища, с которыми мы сражались, но мы сражались как могли.

Кое-где на полянах над дорогой уже останавливались на ночевку. Черные войлочные шатры быстро росли под руками женщин, хлопотавших с кольями, веревками и кошмами. Верблюды уже лежали, пощипывали жесткие колючки, дети бегали за курицами; красный тонкий огонек уже бежал по груде хвороста; синий дым подымался узким языком в холодном, ясном воздухе.

Проходили женщины в ярко-красных шальварах, в ярко-красных накидках. Они были нарядные, и что-то хищное было в их мягких упругих шагах, в позвякивании многочисленных браслетов, в резкости красивых ртов, в смелом разрезе глаз, в длинных, удивительно мягких ресницах.

— Вот так они и идут целыми днями,— сказал Сивачев.— Одно слово — кочевники. Это те же афганцы. Но они нездешние. Они не имеют земли здесь и приходят из Пакистана, идут почти к Аму-Дарье со своими стадами, а как повернет на холод, они уходят, как они говорят, кормиться солнцем опять на юг. Так всю жизнь и ходят эти Адамы и Евы.

— Жизнь здоровая,— сказал Кузьма Прокофьевич,— только уж больно дикая. Уж такая дикая! Посмотрите, так первобытные люди жили, никак не лучше.

— А правда, как же они живут? — спросила Вера Антоновна.

— Да как живут?.. Ну, семья есть, знакомые. Вот на дороге и дружат и ненавидят. И что им больше делать, кроме как идти, разговаривать, сидеть у костра. Чуть что — оружие в ход. Все вооружены. Свободу любят — это так. Сто лет, рассказывали, англичане с их племенами по ту

сторону прохода воевали, не могли победить. У них упорство такое, что редко встретишь. Вот и собаки у них такие. Бросятся на машину и до тех пор готовы ее грызть, пока их не раздавят. Народ с характером!

— А как они, не опасны? — спросила Вера Антоновна.

— В каком рассуждении? Вы хотите сказать: могут ли напасть на нас?

— Да!

— Видите, сказать честно, лучше ночью между Лое-Даккой и Латабандом не ездить: в это время, когда они идут, мало ли что ночью бывает! Но, сколько я ни ездил, ни одного серьезного случая не было. Правда, позапрошлый год возвращались мы с товарищем Парамоновым тоже из Пакистана. Вечер застал в Лое-Дакке. Комендант советовал без конвоя не ехать. Ну, мы не послушались. Поехали. Действительно, есть тут глуховатые места. Смотрим — луна немного светила — поперек дороги цепь из людей. Ну, думаю, если они еще камней навалили позади себя, худо нам будет. Разогнал машину, дал сигнал, поревел как следует, расступились, пропустили, только вслед камнями похлопали. Проехали мы, как галопом проскочили. Говорят, это все-таки было покушение, за англичан нас приняли: англичан они не любят. У них даже поговорка есть: «Убить англичанина, как паука,— сорок грехов простится». Это от Столетней войны у них осталось...

Тут и Сивачев начал рассказывать всякие истории о бывших в горах случаях — большей частью смешных,— о неопытности и наивности путешественников и о том, что ушли те времена, когда здесь ущелье называлось ущельем тьмы и смерти, а теперь грузовики идут по этому ущелью, как по улице Горького, ну не совсем, но, в общем, этому средневековью приходит конец, и с кочевниками в конце концов разберутся, закончил он свое философствование.

День между тем как-то посерел, когда они въехали в ущелье, о котором недавно говорил Сивачев. Выглянув из машины, Вера Антоновна увидела, что дорога стала совсем узкой, рядом река, за ней такие стены, что не видно неба, а по другую сторону гора, не такая отвесная, как напротив, но вся как будто сложена из громадных карнизов, выступов, балкончиков.

И как-то так получилось, что спереди, и сзади, и сбоку обнаружились верблюды. Кочевники, сопровождавшие их, хватали животных за веревки, продетые в их ноздри, и прижимали к камням; звери бросались на камни, пытались

уйти с дороги, налезали друг на друга. Кочевники кричали так, точно проклинали кого-то, и наконец, когда один верблюд поскользнулся и упал перед машиной, ударившись боком о крыло, Вера Антоновна, с испугом и волнением наблюдавшая все, что происходит, закричала:

— Кузьма Прокофьевич, остановите машину! Остановите, вы же его задавите!..

Верблюд не мог подняться сам. К нему подбежали афганцы. Машина остановилась. Афганцы выравнивали верблюдов. Теперь шедшие впереди не жались к краю дороги, а смело переходили на противоположный край, наклоненный к реке, и закрывали проезд. Сзади напирали все новые и новые верблюды, их по очереди обводили вокруг машины. Прошло несколько времени, пока в караване все пришло в порядок. Упавшего верблюда подняли и поправили съехавший вьюк, а афганец, поднимавший его, ударил концом веревки по машине, как бы наказывая ее за беспорядок, внесенный ею в ущелье.

Кузьма Прокофьевич приоткрыл дверь машины и крикнул ему:

— Ихтият кун, беист! Это я ему сказал, чтобы он осторожней был и остановился,— пояснил он своим спутникам.

Афганец не понял его слов, подошел к машине и знаками начал просить дать ему закурить. Он так отчетливо указывал на папиросу, которую курил Слепцов, и на свой рот, что не понять было нельзя.

Нехотя Слепцов открыл перед ним коробку. Афганец неловко, засмеявшись своей неловкости, взял две папиросы и потянулся прикурить у Кузьмы Прокофьевича. Тут же он окликнул другого и, когда второй подошел, протянул ему папиросу, и тот долго прикуривал, сплевывая на дорогу. Затем подошли еще двое, и к ним присоединились еще трое, прогнавшие вперед своих верблюдов. Они показывали пальцами на машину, что-то говорили друг другу, потом один из них, с рыжими волосами и грубым лицом, точно вырезанным из цветного мыльного камня, указывая на всех, попросил папирос.

Кузьма Прокофьевич зло посмотрел на него, но Вера Антоновна сказала примиряюще, предчувствуя ссору:

— Да дайте им покурить. Ну что вам, жалко, что ли?

И она взяла коробку и протянула ее горцу. Он взял не папиросу, а коробку, они, разобрав папиросы, сели на камни около машины, а кто не сел, те стали вокруг машины и начали курить и разговаривать.

Они курили не спеша, папирос в коробке было много. Вера Антоновна хорошо рассмотрела их. Больше других ее внимание привлек бородатый афганец, темнолицый, с широким носом, с немного грустными глазами, в белой чалме. Длинные волосы почти достигали плеч. На белую до колен рубаху была надета жилетка из коричневого мохнатого верблюжьего сукна, обшитая золотистым позументом. На поясе у него был патронташ, под который был просунут широкий нож в кожаных ножнах, с роговой рукояткой, из-за пояса свисал длинный ремешок, такой, на каком носят пистолеты. Ружье было закинуто за плечо дулом вниз, и его приклад с двумя кольцами был хорошо виден Вере Антоновне. На плечи он накинул зимний плащ, широкий, без рукавов, какие она видела у многих по дороге.

Он смотрел на машину и на ее пассажиров каким-то отсутствующим взглядом, и этот взгляд очень напугал Веру Антоновну. Другой горец сидел на камне и заглядывал в машину, совершенно явственно осматривая все, что в ней находилось. Но в его лице как раз не было ничего неприятного, скорее дикое любопытство можно было прочесть на нем, и длинный кусок кисеи, свешивающейся с его чалмы, болтался как-то наивно. На нем почему-то была пестрая рубашка в отличие от остальных. Курил он без затяжек, скорее из подражания более старшим, но он, конечно, был готов поддержать их действия.

Третий был красивый молодой горец, тот, который ударил веревкой машину. Он стоял так близко от Веры Антоновны, что она могла дотронуться до его плеча. Он все время поворачивал голову и смотрел на машину и на Веру Антоновну. У него были маленькие, аккуратно подстриженные, черные усы, большие черные с зеленоватым огнем глаза, тонкие черты лица, красивые небольшие руки, стройная, гибкая фигура горца. Та часть кисеи, которая свешивалась у других с чалмы, была у него переброшена через голову и висела, не достигая высокого темно-коричневого лба.

Остальных она уже не рассматривала. Горцы смотрели теперь в машину, не скрывая своего любопытства. По временам они перекидывались какими-то быстрыми фразами: одни смеялись, другие что-то говорили и показывали на машину и на дорогу. Ясно было одно: они не собирались уходить.

— Да,— проговорил посеревший от злости Кузьма Прокофьевич,— как говорит наше начальство: «На ковер ожи-

дания положи подушку терпения». Зря мы вас послушались, Вера Антоновна. Вот теперь и сиди, не зная, до чего досидишься...

— Но вы...— сказала прерывающимся голосом Вера Антоновна, уже испытывавшая угрызения совести, уже видевшая картину нападения, убийства, и все из-за ее необдуманного поступка. Но она не хотела верить, что в этой, в общем, такой не очень страшной теснине, правда, не такой страшной, она кончит свою молодую жизнь.— Но вы,— продолжала она,— вы знаете немного их язык. О чем они говорят? Может быть, они сидят просто так, отдыхают...

— Нет, они не отдыхают,— сказал Слепцов.— Насколько я понимаю, они говорят, что в машине много добра, папирос много. Вот еще курильщики выискались!

— Вы думаете, могут разграбить машину? — спросил доселе молчавший Сивачев.

— Все возможно.

— А если вдруг взять и поехать?

— Так я же их столкну. Ну, тут они стрельбу подымут! Это уже будет — обиду я им причинил.

— А если дать еще немного папирос и откупиться от них? — сказала Вера Антоновна; но едва она произнесла эти слова, как молодой горец с маленькими черными усами что-то сказал бородатому, и тот, потянувшись, ленивым движением вынул наполовину и бросил обратно в ножны свой горский нож.

Молодой засмеялся и начал что-то говорить сидевшим и стоявшим. Все слушали его. Наступила такая тишина, что было слышно, как трется какая-то муха о стекло и не может выбраться из машины.

В этой тишине был слышен только голос молодого горца. Он не успел еще сказать и десяти фраз, как из-за поворота на дорогу, которая давно была свободна, вышла женщина. С того мгновения, когда она вышла, Вера Антоновна уже не спускала с нее глаз.

Женщина шла медленно и смотрела прямо перед собой, как будто ее ничто не интересовало из окружающего. Но, приближаясь к группе горцев и к машине, она взглянула на них только раз, внимательно и долго остановив свой взгляд на сидевших и стоявших кочевниках и на Вере Антоновне. Эта женщина была так хороша собой, что Вера Антоновна при виде ее забыла все свои страхи и невольно любовалась ею — и ее лицом, и ее фигурой, и ее походкой.

«Ведь не с чем сравнить ее,— думала она,— можно только смотреть и смотреть. Глаза ее огромные, руки тонкие, походка... ну, старые сравнения только и можно вспомнить. Лицо светится, губы как цветы. Волосы расчесаны на пробор, какие-то изумительно простые серьги висят в ушах. На руках большие браслеты, красный плащ одевает ее, как в пылающую рамку. Ну пусть она хоть на секунду задержится, хоть на секунду!»

Она смотрела на нее с таким восхищением, забыв все, так любовалась ею и чувствовала, что женщина эта сама знает цену своей красоты. Вера Антоновна заметила еще с чисто женским инстинктом, что эта женщина, увидев ее, еще более приосанилась, подобралась, сделала свою походку еще более гордой.

Не убавляя шага, она поравнялась с машиной и, проходя мимо горцев, что-то сказала быстро и гневно, подняв руку движением, как потом рассказывала Вера Антоновна, неповторимым по быстроте, гибкости и пластике.

Горцы молча вскочили с камней и, не оглядываясь, пошли вперед, и она, тоже не оборачиваясь, как бы наслаждаясь своей властью и прелестью, медленно шла в каменном коридоре, в котором уже медленно потухал день.

Все это случилось так неожиданно, что сидевшие в машине не сразу поняли, что происшествие, грозившее им всяческими осложнениями, позади, что они одни в этой теснине, и только брошенные на дорогу окурки напоминают о том, что действительно тут сидели горцы, и Вера Антоновна почему-то запомнила неуклюжий тяжелый башмак из толстой шероховатой кожи с сильно загнутым кверху носком и задником. Этот башмак только что топтал окурки, и она вздрогнула при мысли, что этот башмак может ей присниться. Нет! Лучше не думать.

Поехали не сразу, как будто чего-то ждали. Потом машина тихо пошла по ущелью, сигналя на поворотах. И вдруг неожиданно для себя они увидели снова всю компанию, которая только что поставила их в безвыходное положение. Горцы шли друг за другом, и никто из них даже не посмотрел на проносившуюся мимо них машину.

Когда они уже остались далеко позади, Вера Антоновна сказала:

— Как все это удивительно! Как удивительно! Прямо как в романе. Мне никто не поверит, когда я буду это рассказывать в Москве, у себя на Арбате.

— Поверят! — мрачно сказал Слепцов.— Все в наш век кое-что видели. Вы только, как будете рассказывать, скажите обязательно, как мы дешево отделались: одной коробкой «Казбека». Деталям поверят — всему поверят.

— Да,— сказал Сивачев,— происшествие черт его знает какое! Как будто в кино видел. А женщина? Да, кстати, что она им такое могла сказать?

— Насколько я понял, а понял я не очень все, как вы догадываетесь,— сказал Кузьма Прокофьевич,— она им сказала: «Это русские. Дайте им дорогу. Уходите сейчас же!»

— Откуда она взяла, что мы русские?..

— Ну, тут они знают больше, чем вы думаете. Газет у них нет, а все известно...

— Я догадалась! — вскричала Вера Антоновна.— Она увидела наш красный флажок на машине.

— И это верно! А потом, англичане или американцы в таком положении не были бы. Или они уже стреляли бы как сумасшедшие, или их машина вон там в реке уже лежала бы. Угощать папиросами кочевников они не будут, будьте покойны,— сказал Кузьма Прокофьевич.— В общем, как бы то ни было, рахи шума эмвар бахейр — или: счастливого пути, милая женщина, которая нас избавила от напасти...

— Ну кто она, кто она, по-вашему? — допытывалась Вера Антоновна.— Что у них королевы, что ли, есть? Может, она какая знатная? Ну кто она? Почему ее послушали?

— Вот этого я уж не знаю,— сказал Кузьма Прокофьевич,— но одно верно: у них женщина пользуется большой властью в семействе. Женщин они не смеют обижать. Да вы видели, как они послушались, как маленькие... Не послушайся, она тебе даст дома, не обрадуешься...

— У них нет дома!

— Ну в шатре в этом черном, какая разница!

Вера Антоновна сказала, как будто думала вслух:

— Какая странная жизнь! На этой неделе Москва, троллейбусы с синими искрами, метро, Большой театр — и вдруг какие-то кочевники, дикие ущелья, а завтра тропики, Индия. Куда же это я заеду? — И сразу, без всякого перехода, она спросила Кузьму Прокофьевича: — Скажите, из чего была ручка ножа у того бородатого, там, когда остановились?

— Какие вы глупости, ей-богу, спрашиваете: из чего ручка от ножа! А я и ножа никакого не видел. Да вы знаете, что я вам скажу: они вовсе и не собирались на нас нападать, так, забавлялись, и все.— И, помолчав, он добавил: — А из этой женщины какого можно человека сделать, золотого человека можно сделать!

Сивачев сказал:

— Хороша, действительно хороша! Естественное воспитание. Вы что думаете? Она и стрелять умеет. Она все умеет: и шатры ставить, и верблюдов вьючить. Может, на таких женщинах и все кочевье стоит. Как она их шуганула!

Но тут Вера Антоновна, непонятно почему обидевшись, сказала:

— Вы говорите, они нас хотели только напугать. Так я вам скажу, если бы не та женщина, я бы их сама, как вы говорите, шуганула...

— Сумели бы? — сказал, смотря на ее порозовевшее лицо, Кузьма Прокофьевич.

— Еще как! Вы меня совсем не знаете...

— Правда,— сказал Слепцов,— я вас не знаю. Точно.

— Ну, не будем ссориться,— примиряюще сказал Сивачев,— все храбрые, все замечательные...

Пока они так разговаривали, все время возвращаясь к происшествию, наступил вечер. С этого времени только фары освещали бледным светом дорогу, пролегавшую в узком ущелье над рекой, голос которой то совершенно затихал, то вдруг гудел и захлебывался. В темноте иногда на повороте вспухали освещенные светом фар белые пузыри пены у черных камней.

То вдруг светлело, и тогда вычерчивались зубья выступов, за которыми в ущелье угадывалось черное небо со звездами, прикрытыми какой-то дымкой. В ущелье пахло сыростью, было холодно и темно. Там, где оно расширялось, отступая от дороги, краснели костры, в воздухе летали искры, виднелись силуэты лежащих верблюдов, ишаков, бродивших вокруг шатров, у которых хлопотали женщины. Иногда пламя костра закрывали подошедшие к огню фигуры мужчин.

Шатры эти стояли так близко, что Вере Антоновне захотелось выйти из машины и подойти к ним, протянуть руки над пляшущим огнем и так стоять долго-долго, вслушиваясь в голоса темноты и ощущая за спиной мирное чавканье ишаков и глубокие вздохи засыпающих верблюдов.

Потом ей казалось, что она оглянется и увидит рядом с собой ту красивую кочевницу, что прошла как тень мимо нее. Она знала, что это невозможно, что та, как пропетая песня, отзвучала и не вернется, но все-таки чувство, овладевшее ею, требовало какой-то разрядки, и, не выдержав этой внутренней борьбы, она начала просить Кузьму Прокофьевича остановить машину.

— Но зачем? — спросил вместо Слепцова Илья Петрович.— Что же тут интересного? Темнота, холод.

— Ну остановитесь,— просила Вера Антоновна,— выйдите, покурите на воздухе. Ну пожалуйста...

И Кузьма Прокофьевич, решив, что ей нехорошо и она хочет подышать воздухом, остановил машину, откатив ее к правому краю дороги, прижав к скале.

Они все трое вышли из машины. Прямо против них горел костер на каменистой поляне и освещал край порыжевшей шатровой кошмы, толстую веревку, выходившую из-под нее, и усеянную мелкими камнями землю, на которой лежали выгнутые верблюжьи седла и скатанные ковры, стояли ведра и котел.

У костра сидели дети, прижавшись друг к другу, точно слушали то, что им говорило пламя. Вся картина как-то странно становилась все ясней и ясней. И тогда Вера Антоновна, сделавшая несколько шагов в сторону костра, увидела сиявшую сквозь голубое облако луну, которая вдруг преобразила погруженное в тьму ущелье. Вера Антоновна хотела обогнуть высокий камень и подняться на небольшой пригорок, чтобы увидеть реку, и чуть не столкнулась с девушкой, шедшей ей навстречу и подымавшейся к дороге от реки.

Эта девушка несла на плече высокий с длинным тонким горлом кувшин и вся блестела, освещенная косым лучом луны. Блестели ее маслянисто-тяжелые косы, блестели нестерпимо большие монеты на шее, ее цветистый халат, и даже рука была как золото, рука, которой она охватила горлышко кувшина. Она стояла перед Верой Антоновной и без всякой растерянности смотрела на нее. Ее большие пунцовые губы полуоткрылись; свет костра заиграл на крыле носа, в которое была вделана маленькая бирюзовая звездочка. Казалось, что девушка ждала, что с ней заговорит эта высокая, хорошо сложенная большая женщина с чуть широким незагорелым, бледным лицом, розовым от бликов пламени, игравших на нем.

Не дождавшись вопроса, девушка тихо и легко, чуть

покачиваясь и плотно ступая всей пяткой, как ходят кочевницы, начала спускаться к полянке, где стоял шатер.

Вера Антоновна смотрела ей вслед и думала, что для нее, проезжего человека, это ущелье, и эта ночь, и все вокруг такое чужое, даже в нем есть что-то тревожное, и что, оставь ее здесь на ночь, на этой лужайке ее спутники, ей было бы неуютно и просто плохо. А для этих людей там, у костра, для этой девушки все это привычно, обыкновенно и даже наскучило. И она будет там среди подруг у шатра рассказывать о смешной встрече с проезжей иностранкой, так непривычно для них одетой, и они будут искренне смеяться над этим рассказом, как будто они сидят на диване, в теплой комнате, у чайного стола, а не на камнях под луной, на холодной ночной земле.

Когда Вера Антоновна вернулась к машине, мужчины бросили свои папиросы, и их красные огоньки горели, не тускнея, еще несколько мгновений среди жесткой низкой травы и потом погасли.

«Погасли, как эти мои встречи»,— подумала Вера Антоновна.

И уже в машине Сивачев сказал ей:

— Ну, как вы себя чувствуете?

— Очень хорошо,— ответила она,— и даже, я скажу, эта страна, такая мрачная, мне чем-то нравится. Она какая-то цельная, и люди в ней цельные, как эти горы...

— Ну хорошо, если так. А мы тут говорили, что, может, вы от всех этих дорожных трудностей так устанете, что вам уже ни до чего дела не будет. А вы крепкая, оказывается.

— Крепкая,— сказала она. И они начали разговаривать о московском быте, о своих привычках, о детстве, о семейной жизни и о многом, что случайно вбегало в беседу.

Кузьма Прокофьевич вставлял свои замечания, порой критического характера, и так они проводили время, несясь по долине, освещенной уже широким, льющимся во все стороны, победно царящим над землей светом луны.

Лунная ночь торжествовала. В ее прозрачной, совершенно дневной ясности, как бы погруженная на дно зеленовато-голубого озера, покоилась земля с домами, деревьями, полями и арычками. Можно было считать песчинки и линии жилок на листьях неподвижных деревьев. Пахло влажными южными неизвестными растениями. Тепло после холодного пути по высотам было каким-то домашним, успокаивающим, покойным, как будто бы сидели у хорошо протопленной днем печки.

В долину выбегала каменная гряда, похожая на дракона, наблюдающего за дорогой. Гребень горы был фиолетово-розовым, и дальний край его уходил в зеленую мглу.

И когда машина поехала по аллее с вычурными деревьями, Вера Антоновна спохватилась, присмотрелась к этим новым для нее стволам, сложенным из толстых дощечек с пропущенной между ними войлочной прокладкой, свешивающейся на сторону, к узорным синим теням, лежавшим на белой, как посыпанной мелом, дороге, и громко спросила:

— Что это? Пальмы! Куда мы приехали?

— Куда мы приехали? — сказал Слепцов, уверенно ведя машину среди города, утонувшего в густой зелени.— Это и есть Джелалабад. Здесь — стоп. Здесь будем ночевать.

1953—1954

МОГИЛА БАБУРА

— Чудный сегодня день! Какой холодный и чистый воздух! И пахнет он не то сухими и пряными травами, не то хорошим белым вином прямо из подвала. А вон они стоят, горы,— не то верблюжьи горбы, не то каменные шатры, заснувшие на зиму. Небо высокое, строгое, просторное,— для такой суровой страны и небо правильное. Без шуток, здесь хороший уголок; хорошо, что я придумал пойти именно сюда...

Так разговаривал сам с собою советский ученый Коробов, медленно поднимаясь по лестнице к гробнице султана Бабура.

Он поднимался не торопясь, часто останавливался, с удовольствием вдыхал горный воздух и оглядывался по сторонам. Спешить ему было некуда.

Он возвращался из Индии с делегацией ученых. Сейчас одни из них поехали в музей, недалеко от города, где предались всестороннему рассматриванию старинных мечей и ружей, вышитых тканей, минеральных коллекций, изделий из слоновой кости, другие отправились знакомиться с городом.

Коробов был в Афганистане не впервые и хорошо был знаком с достопримечательностями Кабула. Поэтому он поехал в место, которое ему нравилось как тихий, уединенный уголок, где хорошо побродить и подумать наедине.

Вот почему он с самой серьезной сосредоточенностью осматривал ограду из белого мрамора, всю изрезанную тончайшими узорами и надписями, и снова постоял над беломраморной плитой, под которой лежал прах основателя

огромной Могольской империи, существовавшей несколько столетий.

Могила эта находилась как раз между старым городом и тем новым Кабулом, который не успел построить Аманулла-хан. К несуществующему городу вели прекрасно разросшиеся большие аллеи пирамидальных тополей и крепких с могучими ветвями карагачей.

С высокого склона, занятого старым парком, над которым господствует могила Бабура, была видна Кабульская долина, погруженная в холодный покой зимнего утра.

Прогуливаясь вдоль ограды, Коробов наслаждался тишиной пустынного места, широкой панорамой окрестностей, и то, что окрестности эти представляли скопление невысоких угрюмых гор, внизу которых темнели бурые кустарники и оголенные деревья, ничуть его не смущало.

Он отдыхал и после утомительной дороги, и после множества людей, которых видел в своей поездке. Конечно, если бы он был первый раз в Кабуле, он тоже отправился бы в музей или на базар. Теперь же он хотел одиночества.

Но с одиночеством у него не вышло. Неожиданно к нему подошел высокий старый афганец в европейской одежде, свободно владевший английским языком, так же как и Коробов. После поклона и нескольких учтивых любезностей, обязательных для восточного человека, он сказал:

— Простите меня великодушно, но мы с вами знакомы. Нас познакомили в советском посольстве на приеме.

— Да, да,— сказал удивленный Коробов, рассматривая темное, шафранного цвета лицо с живыми большими глазами и чуть крючковатым носом.

Афганец погладил седую, аккуратно подстриженную бороду, и на его пальце Коробов увидел толстое серебряное кольцо с геммой. По этому кольцу он вспомнил все. Да, его познакомили с этим человеком, который беседовал с ним об Афганистане, о зеленом драконе мечети Аннау, разрушенной последним землетрясением, о борьбе с пустынной саранчой и о многом другом.

Гемма была настоящая, дорогая, прекрасной работы. Теперь, вспомнив все подробности вечера, Коробов сказал просто, что он узнал почтенного своего собеседника и очень рад, что судьба снова свела их, так как тот разговор в посольстве был интересен для них обоих.

— Я подошел к вам,— сказал старик, не только потому, что видел вас тогда мельком. Я подошел к вам потому, что мне понравилось ваше внимание ученого и философа,

оказанное этому месту, которое я очень люблю и почитаю. Я видел, что вас привело сюда не праздное любопытство, и даже если бы я не знал, что вы ученый, я все равно отдал бы дань уважения тому, что вы выбрали для своего раздумья место, избранное поэтом как пейзаж, который может украшать само бессмертие...

Коробов, скрыв свое удивление, скрыл и истинную причину, приведшую его сюда, пробормотав, что исторические места всегда привлекают и в них есть что-то, что ты уносишь в памяти с благодарностью.

Афганец посмотрел на него внимательно, с мягкой улыбкой и сказал:

— Я хожу сюда часто, я очень люблю Бабура!

— За что вы любите Бабура? — машинально спросил Коробов, совершенно равнодушно услышавший это имя, но его уже интересовал этот странный афганец, его спокойная, уверенная речь, его настойчивость.

— Я люблю Бабура за то, что он любил Кабул. Если у вас есть время, мы можем прогуляться вместе, я не люблю сидеть, а вы?

— Я тоже,— сказал Коробов.— У меня есть время, потому что я условился с моими товарищами, что после осмотра музея они заедут за мной или пришлют машину. Но, простите, вы ученый, историк?

— Нет,— сказал, сделав отрицательный жест, его собеседник,— нет, я не ученый-историк. Я патриот своей страны, я учился и жил много в Европе и даже занимался политикой. Но я ушел от нее. Я живу искусством и философией, я изучаю Бабур-намэ. Я чуть-чуть хромаю, как вы видите, и в шутку зову себя Азис-лэнг — хромой Азис; я хромой старый любитель истории, не больше. Хромой шайтан — есть такой роман французский. Мы сошлись с Бабуром на нашей общей любви к Кабулу. Он любил его, как женщину. Он, повелитель Индии, султан красивейших городов, выбрал его не только для жизни, но и для вечного покоя. Это место, где мы сейчас с вами, он назвал при жизни как место своей гробницы. Он был молод в Кабуле. Пусть его породила ваша Фергана, но он стал настоящим кабульцем. Он воспел его по-разному, помните его стихи:

Пей же вино в замке Кабульском, чашу за чашей пей,
Потому что он город, и река, и степь, и гора над ней.

Нет, это не Мулла Мухаммед, не Таиб Муамман сочинил этот стих. Это он сам. А как он писал прозой: «Климат

Кабула восхитителен, и нет другой страны в мире, которая могла бы сравняться с ним в этом отношении!» Он ездил на лошади, как лучший джигит. Он был замечательный пловец: он переплывал Ганг. А как он понимал стихи!

Заметьте, что он сам слагал стихи только по определенным, важным случаям, когда у него было полно сердце и ум приходил в волнение. Он не писал пустых стихов. Когда злобный Хасан Якуб, задумав ночное предательское нападение, сам был по ошибке поражен стрелой своего же солдата, Бабур написал:

Не думай, сделав это, что спрячет мир безбрежный,
Возмездие — закон природы неизбежный.

Он был широк. Он понял Нанака. Кто в Европе знает Нанака? Гуру Нанака, этого просветителя индийцев и основателя религии сикхов, который имел смелость в то время заявить: нет ни индуса, ни магометанина. Вспомните ужасную судьбу бабидов в Иране и поразитесь тому, что Бабур отпустил Нанака на свободу, разрешив ему проповедовать свою веру всем желающим его слушать. Неповторимый Бекзад изобразил Бабура читающим книгу в весеннем саду. Так и должен был он изобразить его. Кстати, Бабур направил послов из Индии в Москву с предложением быть в дружбе и братстве с Россией. Я прошу простить меня за то, что я рассказываю о Бабуре вам, которого, может, все это совсем не интересует.

— Что вы, что вы! — сказал Коробов, невольно зараженный искренним волнением Азис-хана.— Я слушал вас с большим вниманием, потому что, по правде говоря, первый раз в Афганистане я беседую с таким пламенным поклонником старины.

— Первый раз! — в свою очередь, воскликнул афганец и, остановившись, внезапно спросил: — Вы же бывали у нас неоднократно, вы, верно, уже знакомы с нашими древностями? Вы видели Бамиан, вы посещали Балх?

— Бамиана я не видел, имею о нем слабое представление, в Балх я раз совершил прогулку, свернув с маршрута,— правда, очень давно это было. Видите ли, если бы я был ученым-археологом, то я, может быть, влюбился бы в памятники древности, какими переполнен Афганистан. Но я ученый, можно сказать, прозаического уклона, я специалист по борьбе с пустынной саранчой — этим худшим врагом земледельцев и садоводов. Это совсем другая вещь. В старину в этом было еще что-то от романтизма, саран-

ча — бич божий, наказание аллаха, но теперь мы, повозившись с этими бледно-зелеными ордами, добились того, что если они снова появятся — у вас ли в Афганистане, у нас ли в Средней Азии,— мы встретим их во всемогуществе сегодняшней науки и техники. А когда мы много лет назад начинали борьбу, картина была ужасающая, вспоминались нашествия тех древних завоевателей.

Я помню таким Мервский оазис, в котором не осталось ни бахчей, ни полей, ни деревьев. Ну, потом мы саранчу разгромили по всем правилам науки, но для этого мне и моим товарищам специалистам пришлось долго заниматься изучением ее особенностей, и не только у себя, на советской территории, но и в Афганистане, в Ираке, Иране, Пакистане, Индии, даже на благословенных берегах Аравии. Вот почему я хорошо знаю, как живут афганские крестьяне, кочевники там, на юге, я знаю ваши города и деревни. Да, я бы не сказал, что эта легкая жизнь. Между прочим, я побывал и в Балхе.

Это было в самый жар лета. В какой-то старой книге я прочел о зное: «Если бы тень можно было продавать и удобно свертывать, за нее могли бы брать какую угодно цену. Даже клочок тени под лошадиной подпругой и тот был бы предметом сбыта». Вот такая жара окружала меня на раскаленных песках, когда я обходил стены Балха, осматривал Башню разведчиков. Я унес только хорошее воспоминание о мечети Парса, которая светилась своей голубой мозаикой, побеждавшей голубизну неба. Но тени не хватало. Мы не располагали ни временем, ни возможностью подробно рассматривать эти мертвые стены и курганы, под которыми погребены тысячелетия...

— Я понимаю, что вы человек, которого не может интересовать история пустынного города развалин, как археолога, но вы ученый советской культуры, и я хочу с вами поговорить о другом. Мы подошли к мысли, которая меня одно время очень мучила,— сказал Азис-хан,— и вот какая эта мысль. Вот вы сказали: ужасные груды щебня... А это Балх, где много веков назад был расцвет наук и искусств. Балх, где сменились греки, буддисты, христиане, мусульмане. Арабы назвали город матерью городов. Там, как вы сказали, раскаленный песок. В древние времена можно было проехать от Балха до Мерва дорогой, обсаженной деревьями, тенистой в самую страшную жару. А вы сегодня хотели купить там любой клочок тени за любые деньги. Жаль, что вы не видели Бамиана. Там до сих пор стоят одни из самых

удивительных статуй в мире, по высоте и величию не имеющие себе равных. Стали бы воздвигать статуи, подобных которым не знает просвещенное человечество, люди-пастухи, люди-невежды? Бамиан! В этом месте встречалась греко-бактрийская культура с культурой буддийской, индийской. Греция там подавала руку Индии и Китаю. Волна эллинизма была так сильна, что доплеснула до глубин индийского искусства. Где все это? Все исчезло. Когда Европа видела ребяческие сны человечества, здесь создавались великие государства, великие культуры. Вы знаете, что Тимурлэнг назвал несколько селений у Самарканда именами европейских столиц и, между прочим, там были селения Мадрид и Париж. Он считал, что надо назвать эти селения именами столиц известных маленьких государств, расположенных так далеко от его необъятной империи. Теперь Балх и Бамиан — пустыня.

Афганистан не мог развиваться. Его торговое значение рухнуло в этот день, когда португальцы бросили якорь у берегов Индии. А потом пришли англичане в Индию, и с этого времени больше не ищите роста культуры или искусства. Восток был унижен, раздавлен, ограблен. Я думаю сейчас о времени и о народе. И вот, когда я так думаю, мне кажется, что только коммунисты в Средней Азии положили начало удивительному расцвету жизни с бесконечными возможностями в будущем. Вы впервые после упадка Средней Азии, который становился все глубже и безнадежней, сделали все для развития в ней настоящего прогресса.

— Видите,— сказал несколько смущенный таким поворотом разговора Коробов,— если взять Среднюю Азию последних лет царизма и сегодняшнюю, то можно подумать, что вы находитесь в совершенно другой стране. Между ними нет ничего общего. Если тридцать пять лет назад азиатские долины погружались в темноту с наступлением вечера, то теперь всюду сияет электрический свет. Там, где люди задыхались от безводья, вы увидите большие волны Узбекского моря. Каналы пересекли Голодную степь, и перед первой водой, пущенной в эти каналы, танцевали лучшие артистки, каких ранее не знала Азия. Автомобили идут по дорогам Памира, проходящим через перевалы на высоте вершин Гиндукуша, чтобы доставить грузы туда, где столетиями вилась жалкая ишачья тропа. Там, где люди умирали с голоду, стоят колхозы-миллионеры. Это значит, что у этих колхозов миллионные доходы от урожаев. Хлопок, о котором редко кто знал в горных краях, залез в такие

места, где шлялись только волки да тигры. И урожайность этого хлопка в семь с половиной раз выше индийского, а Индия — родина хлопка. Арбы скрипели по всем дорогам, а теперь знаменитый поэт пишет поэму о последнем арбакеше своей республики. Нет старого Ташкента, есть грандиозный город, полный садов, театров, школ, парков, магазинов, в нем много фабрик и заводов. Вы увидите всеобщую грамотность. Училища имеются в самом маленьком кишлаке. Из деревни идут учиться в Ташкент, в Сталинабад, в Алма-Ату, Ашхабад, Фрунзе, в Москву наконец! Куда хотите! Пустыня! В любом ее уголке — ученые и пастухи, инженеры и ирригаторы, и люди в пустыне живут, не замечая, что она мрачная и ужасная. Они ее хозяева, и она боится их, а не они ее. Вся прошлая жизнь этих мест сгинула бесследно, и с трудом вы набредете на ее слабые следы. Из Термеза в Кабул самолет летит полтора — два часа, через Гиндукуш. Это ведь не расстояние. Право, стоит прилететь посмотреть страну, которая никогда так не жила, как сейчас; я еще не умею рассказывать, да всего и не расскажешь. Я только по мере сил ответил на ваш вопрос...

— Да, это так и есть,— сказал Азис-хан,— вы хорошо ответили мне.

Азис-хан замолчал, и несколько времени они прохаживались молча. Потом он начал говорить, как показалось Коробову, несколько иным голосом, ровным и более уверенным. То ли он постеснялся своего волнения, то ли устал от длинных речей, но он заговорил сначала очень тихо, потом снова голос его приобрел силу:

— Я много думал и думаю о своей родине. Я прихожу сюда, на могилу Бабура, и здесь мне думается легче и глубже. Был большой эмир, отошедший в свое время к милости аллаха. Я назову имя Абдуррахмана. Он думал о будущем страны. Он рассуждал так: если у нас нет больше силы расширить свои владения, если слишком могущественны наши соседи, мы будем развиваться мирно, жить тихо и процветать, став Швейцарией Азии. Но так как мы больше Франции и некоторых других стран, то мы привлечем к себе туристов тем, чем не обладает Швейцария, маленькая, скучная, всем надоевшая. Я ее видел.

У нас горы выше, и вершины их не видели альпинистов. У нас есть такие развалины, такие раскопки, каких нигде не найдете. У нас можно ловить форель в быстрых речках и охотиться на медведей, леопардов, тигров, на фазанов, на уток, на кого угодно. Приезжайте, и мы разве-

дем для вас молочное хозяйство на таких лугах, каких вы не увидите в вашей карманной Европе. Вот и решен вопрос, как и чем жить. Столько отелей и охотничьих хижин, столько лавок с древностями, столько альпийских лагерей и стадионов для конькобежцев и дорожек для лыжников!.. Хорошо, правда?

Да, сказал он, вдруг засмеявшись отрывистым смехом, все хорошо, одно плохо: Афганистан не Швейцария, афганский народ не захочет так жить. И не будет. Меня спрашивал один приезжий путешественник, почему так много кладбищ в долине Кабула в пустынных местах. Он думал, что это древние какие-то кладбища остались после живших давно людей. «Нет,— сказал я,— это кладбища героев, защищавших Афганистан от чужеземных нашествий. Это могилы воинов, которые не пустили иноземцев в страну. Зачем их потомкам становиться слугами этих иноземцев? Афганский народ — другой народ, суровый, бедный народ».

Вы ехали по стране, вы видели ее и ее людей не раз. Вы видели, как крестьянин обмолачивает собранные в мешок уже после уборки колосья, подобранные в поле, колотя деревянным молотком по мешку, положенному на камень. Вы видели, как тяжело живется простому человеку. И все-таки наши мужчины свободолюбивы, а женщины у нас такие, что недаром говорят еще со старых времен: поезжай обогащаться в Индию, веселиться в Кашмир, а жену бери себе у афганцев. Я вас не утомил своей беседой?

— Я слушаю вас с большим интересом,— сказал Коробов,— но мне кажется, своеобразие страны мешает вам добиться того, что облегчило бы положение народа, особенно бедных, простых людей.

— И на это я отвечу вам небольшим рассказом, который я слышал от серьезного человека и действие которого происходило в наш век. Еще совсем не так давно в старой славной Бухаре правил эмир, и этот эмир был жестокий и мрачный повелитель. Его боялись как огня беки, сидевшие в своих бекствах далеко от Бухары, они знали, что рука эмирского гнева достанет до них в их глубоких горных норах.

И вот, чтобы задобрить эмира, бек, живший на земле около Пянджа, послал ему в подарок замечательного барана, такого большого, такого красивого, такого жирного. Двум крестьянам-беднякам велели отвести его эмиру в Бухару. «Но,— сказали им,— смотрите за бараном так, чтобы

он был всем доволен. Если он не дойдет живым до Бухары, помрет по дороге, будете сами в Бухаре повешены. Вы отвечаете за барана головой».

Крестьяне-бедняки повели барана. Им дали на дорогу гребень — расчесывать его шерсть, и золотой песок — посыпать ему рога, чтобы все видели, что это баран, предназначенный самому эмиру.

Каждый день они ухаживали за бараном, как за родными детьми не ухаживают: расчесывали шерсть, мыли его, рога посыпали золотым песком, пасли на отборной траве, пить давали только родниковую воду. Можете представить себе ужас крестьян, когда баран вдруг отказывался пить и есть: ему не нравилась трава или вода была не по вкусу. Они спали рядом с ним, чтобы его не украли. И так они шли, все дальше удаляясь от родных мест и все ближе подходя к Бухаре, которая снилась им то милостивой, то гневной.

Наконец настал вечер, когда они вошли в кишлак, очень близкий к городу Бухаре. Их поразило то, что несмотря на вечер, народ так шумел, столько было вооруженных людей, и бедняки со страху подумали, что кишлак захвачен разбойниками. Сначала на них не обращали внимания, потому что все слушали речи и веселились, кричали, стреляли в воздух из ружей. Но когда они с бараном подошли поближе, чтобы узнать, что это за *тамаша*, то их барана схватили несколько человек.

— Стойте, стойте, дорогие! — закричали в испуге бедняки.— Что вы делаете? Не хватайте нашего барана — беда будет большая всем.

— Какая беда? Да кто вы такие? Откуда вы пришли? Сами нищие, а баран с позолоченными рогами.

— Мы ведем этого барана эмиру от нашего бека...

— Вот это хорошо,— закричали все вокруг,— теперь баран пойдет нам на ужин! Плов будет на весь кишлак.

И они потащили барана, несмотря на крики бедняков.

— Нельзя трогать барана,— кричали они,— эмир нас повесит за него!

— Эмира нет,— закричал народ,— эмир убежал из Бухары! Бухара наша. А раз Бухара наша, и баран наш...

— А бек нас убьет за барана! — плакали бедняки.

— А бек сбежит, как эмир, пока вы домой доберетесь. Помогайте лучше нам приготовить барана.

И крестьяне-бедняки пошли с народом, таща барана на лужайку, где уже разводили большой костер.

Это рассказал мне бывший здесь один ваш советский ученый, таджик. Рассказ подлинный, так как один из этих двух бедняков был его отец.

— Что вы хотите сказать этим рассказом? — спросил Коробов.— Это почти восточная притча...

— Это правда наших лет. Я хотел бы, чтобы у нас, скажем, через тридцать лет, у тех крестьян, что вы видели молотящими зерна в мешках, сыновья стали учеными.

— Что я могу вам сказать на это? — отвечал Коробов.— Конечно, будет замечательно, когда придет такое время, что сын крестьянина-бедняка сможет стать ученым. У нас в Советском Союзе это уже не вопрос. Вы сами в этом убедились...

Азис-хан сказал:

— Я не буду утомлять вас рассказами о своей семье. Это слишком сложно и для вас не представляет интереса. Поэтому я скажу вам только о моем племяннике Амире, которого я воспитываю в своем доме, как родного сына. Я думаю, чтобы он стал настоящим афганцем, он должен проникнуться нашими народными традициями и быть верным духу любви к нашей истории.

Воспитание молодого, горячего человека, имеющего деньги, самостоятельного и красивого,— нелегкое дело. Как говорит народная мудрость: «Человек, жадно хватающийся за богатство и удовольствия или жаждущий их, похож на ребенка, который лижет мед с острия ножа. Не успеет он почувствовать вкус сладости, как уже ощущает боль от раны на языке».

Я учу его скромности, гордости, храбрости и, главное, честности. Он не смеет лгать мне. И он, уверяю вас, никогда не лжет. Я могу гордиться Амиром. Он не похож на современных молодых людей, которые кутят с англичанами или американцами и далеки от своего народа. Но я сумел внушить Амиру любовь к истории нашей родины и к ее великим людям. Это так. Он любит меня, и жаль, что вы не увидите его. Он сопровождает меня охотно на могилу Бабура, но он уехал в Джелалабад навестить одного своего больного приятеля...

Азис-хан взглянул на могилу Бабура, мимо которой они уже не раз проходили.

В это время они услышали доносившийся снизу шум, гудок машины, молодые голоса. По лестнице подымалась к могиле группа молодых людей.

— Отойдемте в сторону,— сказал брезгливо Азис-хан,— есть сорт туристов, которых я не переношу. Мне противны даже их голоса, в которых вы слышите только самодовольную пошлость. Я бы запретил таким людям посещать места исторического значения.

Они отошли и стали, скрытые старыми деревьями с холодными коричневыми стволами. Одним глазом Коробов увидел, что в группе две американские девушки и два молодых афганца в европейских костюмах, очень модных. Пестро одетые девушки широко, по-мужски шагали впереди, за ними следовали два красивых молодых человека. Оживленно и громко разговаривая, поминутно смеясь, они прошли к могиле Бабура. Коробов услышал, как защелкали фотоаппараты, потом раздался голос одной из молодых туристок:

— Это и все? О, я уже видела много таких могил в Индии и в Персии! Кто же это здесь теперь? Как он называется?

— Это Бабур,— ответил ей молодой человек.— Я предупреждал, Бетти, что тут будет скучно. Конечно, могила есть могила.

— В общем, они все одинаковы,— сказала другая девушка,— ничего нового. Разница в деталях. Вы согласны, Амир?

— Мне тоже кажется,— ответил Амир,— что все могилы одинаковы, как одинакова смерть. И все старые и скучные...

— Я устала, Амир, и хочу пить. Тут нет бара поблизости? Ну, что я спрашиваю? Какой тут может быть бар?! Почему это у вас все так еще не устроено? Дикая все-таки у вас страна, дружок. Тут-то и надо, чтобы все было под рукой. Такой прелестный холм и старинный памятник! Ну, становитесь, Амир, я вас сниму, так и быть, на фоне этой доски. Это, кажется, мрамор. Вот так. Благодарю вас, но больше не возите нас на могилы.

Другая девушка почти закричала:

— Хватит, поехали в город! Мы, кажется, сегодня заслужили, чтобы вы нас повеселили как следует.— И, сделав шутливый полупоклон могиле, она сказала.— До свиданья, дядюшка Бабур! Покойной ночи!

Так же шумно, как и появилась, компания сбежала по лестнице, и скоро гудок возвестил об ее отбытии в город.

Коробов, наблюдавший за всей происшедшей сценой сквозь сплетения голых ветвей, не глядел на Азис-хана и

только сейчас, взглянув, увидел потемневшее лицо и сверкавшие глаза, блеск которых выдержанный афганец тщетно хотел потушить.

И вдруг Коробов понял, что племянник Амир, который должен был быть сейчас в Джелалабаде, покорный, влюбленный в старину, только что был здесь с двумя разбитными американками, для которых ничего не значил осмотр одной лишней могильной плиты.

Так они стояли молча, точно Бабур только что закопан и им хочется побыть у его могилы. Но снизу снова загудела машина, и Коробов, узнав гудок, сказал, несколько даже растерявшись:

— Это за мной. Разрешите мне с вами попрощаться...

Азис-хан, углубленный в свои мрачные мысли, не сразу понял его, потом пожал ему руку, прижал обе руки к груди, сказал: «Счастлив день, когда встречаешь друга по сердцу»,— и отступил на шаг назад, все еще кланяясь, но было видно, что спокойствие стоило ему дорого и давалось с трудом.

И если бы, дойдя до лестницы, Коробов оглянулся, он бы увидел, что старый афганец стоит неподвижно и смотрит в сторону печальных сизых зимних гор, рассматривая их так пристально, точно видит их в первый раз.

Но Коробов не оглянулся. Он спустился с лестницы большими шагами и пошел к автомобилю, откуда его уже приветствовали товарищи по делегации.

1953—1954

ЛОЕ-ДАККА

Тот, кто едет в Пакистан через Хайберский проход или возвращается из него на север, не может миновать Лое-Дакки. Не думайте, что это город, где на тенистом бульваре под цветным тентом в кафе вы получите завтрак, аперитив и в добавление чашку крепкого кофе.

В Лое-Дакке нет ни одного кафе, очень немного домов и жителей, но зато она имеет новый форт, таможню, солдат и чиновников, которые пропускают торговые караваны и следят, чтобы не было вооруженных конфликтов на границе.

Лое-Дакка в недалеком прошлом была местом ожесточенных сражений, но сегодня вы не услышите в ней ни одного выстрела. Окрестности ее пустынны, летом над ними стоит марево зноя, зимой прохладный ветер с гор шевелит сухие травы, которые чуть слышно шуршат, и острая холодная пыль летит вам в глаза.

Когда мы приехали в Лое-Дакку, мы, к своему удивлению, увидели, что весь берег реки кишит людьми. Чиновник, который угостил нас чаем, объяснил, что некоторые сложные обстоятельства, ему не очень хорошо известные, задержали здесь этих кочевников, которые иначе бы давно перешли границу и исчезли в ущельях своих родных Сулеймановых гор.

Тогда мы вышли из таможни и отправились бродить среди кочевников. Один из нас хорошо владел персидским языком, и его понимали некоторые из номадов, что давало нам возможность перекидываться короткими фразами об их житье-бытье.

Странное чувство овладело нами, когда мы очутились в самой гуще этого неописуемого табора. Мы точно провалились в какой-то далекий век. Можно было вообразить себя во времена Бабура или снимать сцены из сикско-афганских войн.

Одни из кочевников чинили хотабы — большие верблюжьи вьючные седла, меняли рамки, стягивали деревянные стойки, держа в зубах ножички для резки кожи, другие разбирались в цветной груде вещей, только что снятых с ишаков, третьи чистили оружие, и этого оружия было много, так как они не ходят невооруженными. Юноши открыто носили на груди перекрещенные пулеметные ленты. Старик завернул полу халата. Под ним блеснула матовая синева маузера. Кочевники отдыхали под пологами своих раскидистых шатров, стояли у реки, наблюдая быстрое пестрое мелькание струй, разговаривали о чем-то жарко группами, спорили или просто молча сидели на камнях у дороги, впав в полусонное созерцание нахмуренных шершавых голых склонов, ограничивающих долину.

Повсюду бродили лошади, покрытые серыми с красными полосами толстыми попонами, ишаки без вьюков, собаки, большие, как волки, с взлохмаченной шерстью, кровавой пастью и глазами восточных деспотов.

Лежали верблюды, меланхолически закатив большие и лиловые, как сливы, глаза, уставившись в одну точку. Женщины гремели тазами и котлами, разжигали костры, кормили грудью младенцев, наклонив лицо и спустив платок так, что он позволял видеть только низ смуглого лица; дети бегали с криком у костров, гоняясь за курицей; хрипло и отрывисто лаяли собаки, кричали петухи и ржали лошади.

Одни из кочевников были закутаны в плащи и одеяла, другие ходили в белых рубашках и черных жилетках, со спускающимися концами тюрбанов. Они имели выразительные лица людей, не знающих комнатной жизни, проводящих свои дни под открытым небом, овеваемых всеми ветрами, обжигаемых зноем длинных горных дорог. Запах кунжутного масла, горячих лепешек, риса и подгорелого молока смешивался с запахом старой седельной кожи, пота и кислой шерсти. Веселые огоньки костров, как бы подмигивая, появлялись из камней и снова прятались в камни.

Сбросив тяжелые, грубые чапли — туфли, подбитые

гвоздями, имеющие такие острые края, что они выведут из строя неопытного ходока через час,— афганцы сидели, поджав голые ноги и охватив руками колени.

Во всем этом пестром и шумном таборе не было никакого беспорядка. Какая-то спокойная хозяйственность и домовитость чувствовалась в каждом движении. Если присмотреться внимательно, то тут было не больше беспорядка, чем в любом многолюдном месте большого города.

Каждый занимался своим делом, каждый знал распорядок своего дня, и это знали не только люди, но и животные, которые лежали, отдыхая, бродили, или ели, или шли к реке напиться светлой, прозрачной, ледяной воды.

Мы вышли на дорогу и поравнялись с группой людей, сидевшей на камнях и состоявшей из афганцев самого разного возраста. Среди них был пожилой человек с хитрым выражением лица, и даже глаза его были какие-то лукавые.

Нам захотелось поговорить с этими людьми.

Когда они узнали, что мы из Москвы, они дружелюбно закивали головами, шумно обменялись какими-то словами, и между нами завязался разговор.

— Как же вы тут живете, в пустом месте — ни лавок, ни базара, купить нечего, достать нечего?

— У нас все есть,— отвечал тот, что с хитрыми глазами.

— А что у вас есть?

— У нас есть мука, соль есть, лук есть, больше ничего нам не надо!

— А что же вы пьете?

— Что мы пьем? Воду. Вон она там, в реке. Пей сколько хочешь.

— А чай разве не пьете?

— Чай! — сказал лукавый афганец.— Чай не надо пить здоровым людям. Это больные люди пьют чай. Вот,— он показал на худого афганца с завязанной тряпкой шеей,— он пьет чай, потому что больной человек. А другие не пьют чай, потому что они здоровые, не такие хилые, им не надо пить чай...

Этот содержательный разговор не мог продолжаться, так как афганцы, оживясь, начали показывать на тропу, спускавшуюся с горы. Тут склон был недалеко, и, взглянув туда, я сначала подумал, что с горы спускается большой горный баран. Присмотревшись, я разобрал, что спускается с горы горец, несущий на плечах большие, круто изогнутые рога архара.

Афганцы начали шумно обсуждать приход этого охотника, и мы поняли, что это выдающийся охотник и силач, который такие тяжелые рога тащил по горам, а спускаться с ними не легче, чем подыматься.

Охотник спустя немного времени приблизился к нам, снял рога с плеч и обтер лоб тыльной стороной ладони. Вблизи рога производили еще более сильное впечатление. Узнав, кто мы и откуда, охотник пожал нам руки и сел на камень, предложив купить у него рога.

Рога были замечательные, но мы с великим сожалением объяснили ему, что купить не можем: очень далеко нам еще ехать до дому, и нам не увезти их. Но мы сели рядом, разглядывая знаменитого, как нам сказали, охотника. Он сидел, сухощавый, подвижный, с сильными, тонкими, как у юноши, ногами. Был он среднего роста, но с такими широкими плечами, как будто они специально созданы природой для переноски особых тяжестей. Обветренное до черноты лицо, перерезанное морщинами, не старило охотника, потому что эти морщины были так энергичны и красивы, что только подчеркивали его мужественность. Острые глаза смотрели прямо на говорившего и были глубоко спрятаны, как в костяные пещеры, и лобная кость выступала над ними, как свод. Вольностью веяло от этого старого горного охотника, который гонялся по самым высоким кручам за этим архаром, что долго не подпускал к себе и потом упал, сраженный метким выстрелом, а охотник мучился с его рогами, тащил их столько времени по скользким, головокружительным подобиям тропинок, и когда принес, оказалось, что эти рога никому не нужны и неизвестно, за какие гроши он отдаст их, чтобы снова уйти в родной простор снегов и скал, где снова он будет мучиться в поисках и в погоне за новым архаром.

Оставив охотника отдыхать у дороги, я пошел посмотреть на верблюдов, которые мне очень нравятся. Верблюды Афганистана не похожи на верблюдов других стран. Не забудьте, что в Афганистане нет ни метра железнодорожного пути и вся масса торговых грузов перевозится верблюдами.

В Северном Афганистане верблюдов так много, что, кажется иногда, что Северный Афганистан в основном населен ими, что их больше, чем людей. Идут шесть верблюдов, с ними один человек, идут восемь верблюдов, десять — опять с ними один человек. И верблюд здесь не забитое, напуганное животное, а гордый, самостоятель-

ный зверь, который понимает, что он значит в жизни афганца.

Вы можете видеть верблюдов не только за исполнением их тяжелой работы — в пути, но вы увидите, как на зеленой лужайке шутя борются два молодых верблюда, схватив друг друга за шею, стараясь повалить соперника на траву, вы увидите вечером идущих куда-то двух-трех верблюдов без людей, без груза; вы увидите пляшущих верблюдов, верблюдов, украшенных лентами, колокольчиками, разноцветными султанами и серебряными подвесками.

Верблюд очень привязывается к людям. Он слушается даже ребенка, если чувствует, что этот ребенок любит его и не даст в обиду. В общем, это замечательные животные, связанные, как братья, общей жизнью с кочевниками и не представляющие иной жизни.

Словом, я пошел смотреть верблюдов. Я толкался между лежащими зверями. Их спины по цвету и очертаниям походили на окружающие горы. Это сходство всегда меня поражало и в нашей Средней Азии. Верблюды лежали, положив шею на землю, в позе полного покоя, закрыв глаза и нюхая траву и камешки.

Когда я вернулся к дороге, мои друзья-кочевники обступили каких-то людей в европейских костюмах. Мои товарищи были здесь же и сбоку наблюдали происходившее. Знакомый уже нам старик охотник что-то говорил, указывая на человека в дорожном костюме, в широких зеленых в клетку гольфах и в синих квадратных очках от пыли и солнца.

Приезжий тоже что-то объяснял своему переводчику, судя по всему, пакистанцу, говорившему и по-английски и на пушту.

— Сагиб говорит, что он не будет покупать этих рогов. Они ему не нужны,— сказал переводчик по-английски.

Старик, казалось, не слышал того, что он говорил. Тогда переводчик повторил это на пушту. Афганцы в толпе быстро заговорили, но старик охотник не смотрел на рога, лежавшие у ног проезжего, он смотрел прямо на него, смотрел в упор, и этот взгляд становился все ожесточеннее.

Человек в клетчатых зеленых гольфах начал сердиться. Он уже сделал шаг к своей машине, стоявшей недалеко, но старик повелительным жестом остановил его. Его лицо

выражало крайнюю настороженность, а рука нетерпеливо сжимала и разжимала кулак.

Афганцы еще теснее сомкнулись вокруг иностранца и его переводчика. Переводчик был очень молодой человек, он умоляюще сказал что-то хозяину и сразу заговорил с афганцем.

Со стороны трудно было понять, что происходит. Но кочевники лезли вперед, отталкивая один другого, чтобы получше видеть и слышать. Иные из них задавали какие-то вопросы старику, и он очень серьезно отвечал на них.

Он стоял так близко от приезжего, что мог, вытянув руку, достать до него. Иностранец сказал наконец с раздражением:

— Мне надоели эти люди! Чего хочет этот старик? Спросите у него. Может, он хочет, чтобы я дал ему денег? Скажите ему еще раз, что мне не нужны его рога. Я сам охотник.

Переводчик, делая от волнения совсем ребяческое лицо, сказал, поговорив со старым афганцем:

— Он не хочет денег. Он хочет, чтобы вы посмотрели на него, сняв очки...

Приезжий с тяжелым, мягким, глиняным от загара лицом повернулся к переводчику, как будто хотел его схватить за руку.

— Я правильно понял вас,— спросил он,— старик хочет, чтобы я посмотрел ему в лицо?

— Да! Без очков!

— Зачем? Это какая-нибудь религиозная церемония?

— Нет, без всяких церемоний... Простите, я тут немного не понимаю сам. Сейчас я все окончательно выясню...

Но, обменявшись со стариком охотником несколькими фразами, он в недоумении сказал:

— Нет, он хочет видеть ваше лицо.

— Оно ему так понравилось? — ядовито сказал приезжий.

— Нет,— наконец с усилием выговорил переводчик,— он, видите ли, ищет того, кто убил его сына...

— Он сумасшедший? — с оттенком испуга сказал приезжий.

— Нет, сагиб, они все здесь такие...

— Но вы понимаете, что вы говорите?! — воскликнул приезжий.

Он взглянул на мрачные лица кочевников, окружавших его, на их грубые черные руки с большими ногтями, увидел, что они все вооружены, и ему стало неуютно.

— Да, сагиб,— как заученные слова повторял теперь переводчик,— и я ничего не могу сделать... Они все хотят, чтобы вы сняли очки...

— Я не хочу на него смотреть,— со злобой сказал приезжий.

Переводчик перевел взгляд с начинавшего наливаться яростью лица своего хозяина на окаменевшее лицо охотника, и ему стало страшно. Почти плача, он произнес:

— Я вас очень прошу посмотреть, или, они говорят, вы их обидите...

— Вы сошли с ума! — закричал иностранец.— Вы все сошли с ума! Что за страна безумия? Но я не убивал его сына... Это бред!

— Это бред,— повторил переводчик,— но я вас умоляю снять очки и посмотреть, или могут быть большие неприятности...

Кочевники стояли насупившись, и было не совсем ясно, волнует ли их по-настоящему эта странная сцена или они, любящие приключения и разного рода происшествия, с удовольствием включались в происходящее со всем пафосом зрителей, переживающих все вместе с основными лицами.

Приезжий чувствовал, что его нервы сдают.

«Чертовы эти азиатские нелепости, чертовы места, чертовы люди, но что будешь делать!» — такие были мысли у него в голове, но он испугался неподвижного взгляда этого горца и сказал вдруг спокойно:

— Но ведь я не убивал его сына, чего он ко мне пристал? Я, кажется, понимаю его чувство дикаря, но не до конца. Скажите ему, что я сниму очки...

И он, как на сцене, чуть отвел голову вбок, быстро сдернул синие громадные квадратные очки и повернулся к охотнику.

Общий вздох пронесся в толпе кочевников. Охотник смотрел в лицо проезжего так внимательно, точно хотел, как по следам в горах, прочесть историю его жизни по бесцветным глазам, мясистым, большим губам, глиняно-красноватой рыхлости щек, по врезанным в широкий лоб морщинам, по нездоровому оттенку кожи на висках, где набухали, как нарисованные пастелью, синие жилки.

Так долго длилась эта минута, что кочевники затаив дыхание схватились за свои пояса и вцепились в них пальцами.

Наконец охотник, не сказав ни слова, отвернулся от приезжего и отошел на несколько шагов. Он стоял и смотрел, точно перед ним рисовалось что-то, чего никто, кроме него, не мог увидеть.

Тогда приезжий с кривой усмешкой снова нацепил свои очки и, толкнув толстым носком своего башмака рога архара, сказал переводчику:

— А все-таки спросите их: кто же убил его сына, когда теперь, как видно, выяснилось, что не я.

Переводчик спросил кочевников и перевел:

— Они говорят, что его сына убил англичанин...

— Как англичанин? — воскликнул, останавливаясь и вынимая большой синий платок, приезжий.— Но ведь я американец! Почему же они остановили меня?

— Для них все говорящие по-английски — англичане.

— Когда же убили его сына?

— Десять лет назад.

— Что? Десять лет назад? Нет, это поистине страна безумия,— сказал, вытирая пот, американец.

Он не чувствовал раньше, в пылу переживаний, что пот выступил у него на шее и на лбу, и он пошел к машине, вытирая шею и лоб большим синим платком.

Старого охотника обступили кочевники, но он, ни на кого не посмотрев, наклонился к рогам архара и, легко взвалив их на плечи, пошел от дороги. Скоро он скрылся за стеной караван-сарая, там, где начиналась тропинка в гору.

Кочевники, так долго молчавшие, заговорили теперь, перебивая друг друга. Наконец они уселись снова на камнях у дороги, и тут в относительной тишине (я говорю относительной, потому что со стороны табора доносились самые различные шумы и крики) наш товарищ, говоривший по-персидски, попросил, чтобы кто-нибудь складно рассказал эту давнюю историю.

Кочевники посовещались. Наш знакомец, который прежде уже объяснял нам, как они пьют воду, то есть не пьют чаю, вызвался говорить. И вот что он рассказал.

— Десять лет тому назад около Лое-Данки на границе было какое-то темное ночное дело. Толком никто не помнит, что за история произошла в этом ущелье, но в стычке был убит англичанином сын старого охотника. Это бесспорно. Этому есть свидетели. Старый охотник поклялся, что он

разыщет убийцу. С тех пор он, когда спускается с гор у Лое-Дакки, всегда смотрит в лица всех проезжающих англичан. Теперь здесь стало проезжать больше американцев, чем англичан. Ну что же, он тоже заставляет их снимать темные очки и смотреть ему в глаза...

— Но ведь он же не может узнать убийцу просто так, без всяких доказательств? — спросил кто-то из молодых кочевников.

— Он говорит,— пояснил рассказчик,— что его сердце безошибочно укажет ему убийцу, так же безошибочно, как он знает, что нынче убьет архара.

— Но ведь англичанин изменился. Он за десять лет сам стал старым?! — сказал один из моих товарищей.

— Он говорит, что узнает, даже если тому будет сто лет... Видите,— сказал кочевник,— если на глазах у верблюдицы убьют верблюжонка и уведут ее из этих мест и приведут через год, то она сразу придет и будет плакать в том точно месте, где была пролита кровь ее верблюжонка. Но если ее приведут еще через год в те же самые места, она уже не найдет места, где убили ее первого верблюжонка, потому что у нее уже будет новый верблюжонок, и она забудет первого. А у человека это не проходит с годами.

— А почему он сразу не отомстил тому англичанину? — спросили снова рассказчика.

— Как только совершилось убийство, он перешел границу и пошел в Пешавар — искать того англичанина. Он решил его убить, по сколько пи приходил в Пешавар, он не заставал того человека на месте, потому что этот англичанин все время разъезжал в горах... А потом совсем уехал из этих мест...

— Но, может быть, этот англичанин давно умер? — сказал самый скептический из моих товарищей.

Афганцы зашумели, когда перевели этот вопрос. Но рассказчик был на высоте. Он знал эту историю со всеми подробностями. Он сказал:

— Охотник говорит, что этот англичанин жив. Охотник ходил в Камдеш, он далеко ходил в горы, за Кунар, и там ему гадали. Там сильные колдуны, в Камдеше, и они гадали ему, покачивая лук с натянутой тетивой, и, убив черного козла, они сказали охотнику, что убийца жив и он его встретит лицом к лицу...

Рассказчик замолчал. Один из кочевников показал на гору. Мы все увидели, как старик, неся на плечах изогну-

тые рога архара, легко и безостановочно подымается все выше в гору, не оглядываясь и с каждым шагом становясь все меньше и меньше.

Нас отыскал человек из таможни и сказал, что машина готова и что надо немедленно ехать, если мы хотим засветло добраться до Джелалабада.

Мы пошли за проводником к таможне и, сделав несколько шагов, не могли не оглянуться на гору. И мы еще раз увидели старика, который шел и шел, все выше и выше, и рога блестели на солнце. Он шел, как будто хотел вернуть их тому красивому горному зверю, у которого он их отнял.

1953—1954

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Последнее, что я видел на фоне багрового смолистого заката, был афганский офицер, молившийся на вершине высокого бархана. Он стоял на коленях на маленьком молитвенном коврике, расстеленном на уже холодном песке. Равномерные взмахи его протянутых рук и все движения его сильного, гибкого тела напоминали несложные гимнастические упражнения. В трех шагах позади него стоял солдат. Перекинув через руку шинель своего начальника, он держал в поводу двух лошадей. Лошади переминались с ноги на ногу, точно им не нравилась эта неожиданная остановка.

Офицер все быстрее отдавал поклоны, и казалось со стороны, что он кланяется наступающей ночи и пустыне, окружающей нас, точно хочет задобрить какие-то дикие силы, которые угрожают нам из ее глубины.

Багровое небо, покрытое смолистыми тяжелыми полосами, темнело так быстро, что скоро офицер стал силуэтом, и этот черный силуэт, когда он поднялся с коврика и пошел к лошади, вдруг растаял в набежавшем, как волна, густом сумраке.

Может быть, комендант маленькой крепостицы Аскер-хана был прав, торопя нас сократить время остановки и отдыха у колодцев; он хотел, чтобы мы прошли барханы пустыни еще засветло. Мы не успели это сделать, и теперь наши небольшие, крепко сбитые тяжелые тележки, называемые гади, ехали, подпрыгивая и кренясь с боку на бок, по темной ночной пустыне, пересекая огромные барханные холмы, встававшие перед нами со всех сторон.

Если вглядываться в густой сумрак, что висел перед глазами, то можно было с трудом различить впадины между барханами и темные волнистые линии надутых ветром песчаных полос на скатах.

Сначала наши проводники искали прохода между барханами, но потом они отказались от дальнейших бесполезных поисков, и мы одолевали с ходу один песчаный холм за другим.

Мы уже не тряслись на тележках, а шли рядом с ними, помогая возницам. Они при виде нового бархана разгоняли тележку, неистово крича на лошадей, и лошади, уходя глубоко в песок невидимыми ногами, взметывали наши гади по песчаной стене и наверху останавливались, чтобы отдышаться и ринуться вниз под печальный и гортанный крик афганцев, а спустившись, снова взлететь на следующий бархан.

Откуда-то из пасти пустыни тянуло промозглым холодом. Издалека доносились какие-то приглушенные песками и пространством стоны, взвизгиванья, крики отчаяния или крики о помощи, точно там, в глубине этих ночных песков, грызлись стаи непонятных зверей — смесь волков и шакалов.

Мы слышали вой, очень похожий на волчий, захлебывающийся хохот и истерический плач, похожий на плач шакалов. Иногда голос какой-то птицы резко прорезал это скопление самых разных звуков, вселявших беспокойство в наших лошадей и заставлявших нас настораживаться.

Однообразие этого пути начинало утомлять нас. Песок доходил до колен. Не успев вынуть ногу, ты уже проваливался снова. Песок как будто хватал коней за ноги, держал колеса, а холодная тьма облепляла нас, водила своей холодной лапой по лицу, ложилась на плечи.

Тележки скрежетали всеми болтами и колесами, гремели и тоже стонали так, что готовы были развалиться на куски каждую минуту. Скрип ремней, самодельной сбруи, скрип колес и тяжелый храп лошадей, обливающихся потом, далеко был слышен в неподвижном холодном воздухе.

Час за часом мы кувыркались среди барханов, и казалось, что пустыня не имеет границ, что так будет продолжаться, пока мы, измученные, высунув язык, не сядем на песок рядом с упавшими от усталости лошадьми.

Какая-то безвыходность окружала нас. Мы передвигали ноги автоматически, вползали на бархан и спускались с него, и только в ушах было шуршание сползавшего с нами песка.

Наступил полный мрак, тот мрак, в котором человек подобен жалкой тени, не имеющей никакого значения, мрак угнетающий и угрожающий ловушками. Только перекли-

кавшиеся голоса наших возниц да возникавшие иногда рядом афганцы-верховые, казавшиеся чернее мрака, вселяли в нас уверенность, что мы не разбрелись и идем друг за другом.

Трудно было представить себе, что кто-то в этой кромешной тьме знает дорогу. Ничего не было видно в двух шагах. Я слышал прерывистое, трудное дыхание моего возницы, который, как и я, шагал рядом с тележкой, придерживаясь за нее левой рукой.

В правой афганец держал поводья. Я смутно различал тележку и еще хуже — афганца. Если бы я отнял руку и протянул ее снова, я уже не нашел бы тележки и вообще больше никого бы не нашел. И меня бы не нашли. Меня бы растолок в пыль, в песчаную пыль этот черный, гнетущий мрак.

Мы точно провалились в мир прошлого, где нет воспоминаний и нет ничего живого. Автомобиль казался фантастическим видением, а самолет — невозможным дьявольским наваждением, явившимся после хорошей трубки опия или анаши. Мы были в эпохе, когда лошади служили главным средством сообщения. Так передвигались в этих краях и при Александре Македонском. Вот так он пробирался в Балх. Вряд ли! Он ночью предпочитал отдыхать в шатре, а не кувыркаться на барханах. Так рассуждал я, держась упорно за тележку и слушая крики арбакеша, понукающего лошадей перед новым подъемом. Грузно утопая в песке, лошади в который раз вынесли наш измученный экипаж на вершину бархана и тут, на узкой кромке над невидимым обрывом, остановились, потом рванулись вперед, и я услыхал тонкий свист и сначала не понял, что случилось. Но экипаж начал крениться, и, если бы мы не поддержали его руками и плечами, он немедленно увлек бы нас куда-то в песчаную пропасть.

Афганец закричал неистовым голосом и остановил рвавшихся вперед лошадей. Как потом оказалось, лопнули ремни, привязывавшие лошадей к дышлу. Афганец, ругаясь, палег на колесо. Я тоже, и мы остановили падение. Одно мгновение мне казалось, что песок не выдержит и мы с тележкой и с лошадьми все-таки слетим в холодную тьму. Тележка дрожала, и лошади дрожали от страха, стараясь найти точку опоры на узком песчаном гребне. Но вот они перестали дрожать, тележка крепко сидела в песке над обрывом.

Афганец начал шарить у себя за поясом, не переставая издавать дикие крики, и я удивлялся, как выдерживает его собственное горло этот крик, призывающий на помощь.

Он достал нож, достал запасной ремень и начал снова связывать порванные крепления. Тут над нами возникла чудовищная тень, но она оказалась фигурой пришедшего откуда-то сверху старосты нашего маленького каравана.

Староста обнаружил наше отсутствие и, остановив всех остальных, пошел на сигнальные крики моего возницы, которому не повезло. Они вместе наклонились над креплениями и, что-то крича друг другу, видя, как кошки, в темноте, сверкая ножами и орудуя быстрыми пальцами, работали так споро, что можно было только удивляться спокойной ловкости профессионалов пустыни.

Повреждение было исправлено. Староста исчез впереди. Мы потащились снова по холмам песчаного ада. Спотыкаясь и проваливаясь в песок, мы двигались с терпением муравьев, переносящих муравьиное бревно, и вдруг все вокруг посветлело, как будто мы вышли из царства мрака. Мы остановились, еще не понимая, что перед нами и что произошло в природе за эту ночь.

Мы не видели до сих пор никакого горизонта. Впереди нас и вокруг лежал непроницаемый мрак.

Теперь ясно простиралась перед нами барханная пустыня и далеко впереди светлая полоса, делившая небо и землю, и чуть выше этой полосы сверкал, переливаясь всеми жемчужными и золотыми оттенками, длинный пояс огней, над которым выгнулось небо, полное крупных острых звезд, разбросанных повсюду.

Теперь я увидел впереди еще одну нашу тележку и всадника, который выпырнул из-за бархана. Он подъехал к нашей гади. Я узнал Мирзо Турсуна-заде, нашего певца с берегов Пянджа. Он наклонился с седла и сказал, указывая рукой на колдовской пояс, явившийся в пустыне:

— Термез!

— Термез! — закричал он, и мы стояли затаив дыхание и смотрели и не могли насмотреться. Это явление живых, трепещущих огней ошеломило нас и наполнило радостью. Эти огни означали, что наш долгий путь близок к концу. Нам хотелось как можно скорей дойти до этих огней, таких близких, таких манящих.

В это время все вокруг нас еще раз изменилось, потому что из-за туч вышла большая, какая-то померанцевая, какая-то ненастоящая луна. Барханы стали совсем белыми,

как будто их покрыл свежий снег, и там, где они понижались, протянулась полоса такого чистого серебряного блеска, точно этот блеск хотел соперничать с поясом огней. Этот блеск не имел ни конца ни края, и он лежал между нами и Термезом.

Аму-Дарья! Мы узнали ее, и даже афганец, равнодушный к нашему восторгу, проверявший при свете луны крепления своей упряжи, как-то повеселел.

Он пробормотал что-то вроде двустишия и указал своей камчой на экипаж, предлагая садиться. Я, сбив прилипший к брюкам песок, взобрался на свое место, и афганец закричал на лошадей совсем другим голосом, я бы сказал домашним и даже дружеским.

Лошади взяли рысью, но сам возница не сел в тележку, а побежал опять рядом с ней, погоняя лошадей. Экипаж помчался вниз, и мы выехали через полчаса на твердые холмы, покрытые искривленным коричневым кустарником.

Мирзо ускакал вперед. Теперь пошли похожие на занесенную песком дорогу проходы в холмах. На повороте, где эти проходы кончались, в тени холма нас ждали остальные гади и все сопровождавшие нас конные афганцы. Офицер показал камчой направление возницам, и мы углубились в лабиринт кустарников и колючих высоких трав.

Луну закрыли атласные тучи, и наша дорога снова потемнела. Пояс огней Термеза и полоса реки исчезли. Наши крепкие тележки, жутко подскакивая на тяжелых поворотах, продолжали путь.

Глаза уже привыкли к серому сумраку, и по некоторым признакам можно было сообразить, что мы уже где-то в так называемой культурной полосе. По сторонам вставали деревья на холмах, меж которыми вилась прихотливо изгибавшаяся дорога, пыльная даже в это время года, и по которой привычно передвигаться караванам, а не экипажам даже такой грубой конструкции, как наши гади. Иногда мы улавливали в тенях среди кустов даже стены — дувалы, похожие на наши; они проходили мимо, и снова мы мчались, и только шум гади нарушал безмолвие ночи.

Кусты сменились камышами, высокими, как деревья, зарослями чия, туранги, тамариска. Тут уже не было той кромешной тьмы, что измучила нас в пустыне.

Луна снова вышла из-за туч, и в ее ровном, равнодушном свете мы чуть не столкнулись с караваном. Верблюды шли связками, равномерно раскачиваясь на ходу, и по бо-

кам их висели длинные ящики, тюки, крепко скрепленные проволокой.

При виде нас верблюды отшатнулись, первая связка спуталась, бубенцы зазвенели, как по тревоге, большие волосатые головы высоко вскинулись, ноздри раздулись, глаза стали почти черными. Надменно, свысока взирали косматые животные, прижавшись друг к другу, на наши измызганные тележки, пропуская нас.

Почти сейчас же за местом, где мы встретили караван, у ручья, на боку лежал большой старый верблюд. Долго, по-видимому, превозмогал он боль, все еще думал, что преодолеет ее и пойдет в дальний путь с караваном, но уже не мог больше терпеть и упал на берегу на мелкие острые камни, не чувствуя ни боли, ни усталости; его голова с раскрытым ртом, обнажавшим почти лошадиные зубы, была высоко поднята, но он не смотрел на людей. Лиловые, расширенные неестественно глаза были направлены на небо. И если у верблюдов есть рай, то он был несомненно обеспечен этому неутомимому труженику пустыни, который всю жизнь неисчислимое число раз ходил по караванным дорогам от Аму-Дарьи до Кабула, отмеряя свои верблюжьи километры.

Трое афганцев, бросив на нас нелюбопытный взгляд и задержав его на офицере и солдатах, снова занялись разгрузкой упавшего верблюда.

Теперь в воздухе запахло влажной сыростью. Холодный ветер промчался над нами. Аму-Дарья где-то близко, подумал я.

Наши гади завернули в сторону от темного берега, который угадывался где-то справа. По узкой дороге, задевая деревья, катились наши все вынесшие экипажи, пока навстречу не показались всадники. Сопровождавший нас офицер, бросив своего коня вперед, отрапортовал высшему начальнику о том, что мы доехали благополучно и его миссия кончена. Так, по-видимому, и было на самом деле, потому что, выслушав говорившего, высший начальник сказал в ответ что-то очень короткое и приставил два пальца к козырьку своего кепи. Наш спутник встал сбоку, а новый офицер подъехал к нам.

Он хорошо сидел на коне, был смуглый, важный, имел воинственный вид. Он был осведомлен о нашем прибытии и, когда гади остановились у каких-то освещенных луной глинобитных построек, приказал снимать наши вещи и сказал:

— Вы приехали как раз, когда у нас есть нечто вроде гостиницы.

Зная суровую жизнь афганцев, мы не приняли эту фразу за обещание высшего комфорта, но слово «нечто» все-таки обещало приют под крышей.

Наши вещи несли по галерейке, которую поддерживали тонкие деревянные столбы. Мы шли за носильщиками, и ноги наши гудели, как телеграфные столбы. Носильщики занесли вещи в комнату большую, но темную. Следом за нами внесли лампу на высокой подставке с зеленым абажуром.

Мы думали, что здесь положат наши вещи, но это было помещение, которое должно было заменить нам караван-сарай.

Это и было то «нечто», о чем предупредил нас встречавший. Расплатившись с носильщиками и возницами, поговорив несколько минут с офицером и сдав ему наши паспорта, мы остались одни и стали рассматривать, где же мы находимся.

Это была большая комната с глиняным полом и выбеленными стенами. У одной стены стоял старый венский стул и новый некрашеный табурет. К другой стене была приткнута половина стола. Что случилось со второй половиной — неизвестно. Две ножки давали возможность держаться довольно твердо этому сооружению. На нем стояла лампа.

Единственное окно не имело стекла и было заклеено старым номером кабульской газеты. На полу лежал большой железный лист, и около него — тонкий соломенный мат.

Афганец, храня на лице высокую серьезность, принес вязанку хвороста и возложил ее на железный лист на полу, как на жертвенник. Тут мы почувствовали, что в комнате свежо. Афганец занялся очагом.

Скоро запылал самый настоящий костер, мы расселись как могли. Айбек и Турсун-заде сели, как дома, на соломенный мат. Секретарь нашей делегации, Александр Сергеевич, присоединился к ним. Я утвердился на венском стуле, а Софронов на табурете. Все мы соединили наши руки над костром, наполнявшим комнату крепким синим дымом.

— Какой у нас год на дворе? — спросил Айбек, и черные пряди отращенных им кудрей упали ему на плечи. Он закурил от костра.

— Тысяча девятьсот сорок девятый,— ответил без тени усмешки Турсун-заде.

— До христианской эры,— сказал Айбек,— тут останавливались первые огнепоклонники...

Но продолжить он не успел, потому что афганец внес блюдо, на котором возвышалась гора такого белоснежного, пахучего и нежного плова, что Турсун-заде сказал, засмеявшись:

— Нет, ты не прав, Айбек, я вижу, что я где-то рядом со своим домом и на дворе неподдельный сорок девятый год. Огнепоклонники понятия не имели о таком роскошном плове.

И мы погрузили свои только что вымытые руки в горячее рисовое чудо. Наступило торжественное молчание. После длинного пути через пустыню путники насыщались как следует.

Плов таял во рту.

— Такой плов вам не подадут ни в одном самом роскошном отеле,— сказал, наконец оторвавшись от блюда, Айбек, и все с ним согласились.

Насытившись, все стали вспоминать наш путь через Кабул и перевалы Гиндукуша, Хайбер и Пешавар, дороги и города Пакистана, жизнь в Лахоре, в Карачи, обратную дорогу по знакомым местам, через горы, степи и пустыню, и этих воспоминаний было так много, что мы могли говорить до утра, но глаза наши уже слипались, и надо было поспать по-настоящему.

Костер наш дымил, и мы открыли дверь на галерейку, чтобы выгнать дым из комнаты. Мы вышли на свежий воздух немного отдышаться от дыма. Луны не было. Тишина стояла такая звонкая, почти морозная, и в этой тишине слышно было, как где-то рядом кони чуть позвякивают трензельными кольцами. Видимо, какие-то дежурные кони стояли наготове. Ни одного огонька нигде не мог поймать глаз.

Только где-то высоко сверкали звезды.

— Все есть,— сказал наш секретарь,— и кремнистая дорога, и звезда с звездою говорит. Надо спать.

Мы обнаружили, что действительно поздно и надо располагаться на ночлег, расстелили на соломенном мате газеты и легли вповалку, закрывшись своими пальто вместо одеял и положив под голову собственные пиджаки вместо подушек. Мы не уснули, а провалились в сон без сновидений.

Проснулись рано от страшных проклятий на живописном узбекском языке. Айбек, разоспавшись, протянул ногу и положил ее на уголья нашего комнатного костра. Уголья пригрели ногу, и он еще глубже засунул ее в костер. Легкий ветерок, дувший под дверь, снова вернул жизнь угелькам, и жар прожег носок и добрался до пятки Айбека.

Было свежее утро. Помывшись на дворе, позавтракав и напившись чаю вволю, мы огляделись. По-видимому, это был какой-то приречный и очень разбросанный кишлак. Пришол наш знакомый, встретивший нас вечером офицер, и после всех формальностей мы отправились на берег Аму-Дарьи. Сзади нас несли наши чемоданы. На самом берегу, обрывающемся в мутные коричневые воды могучего потока, нам поставили стол и пять стульев. Мы сидели и, как на картине, видели жизнь на советском берегу.

Вокруг нас было ничем не нарушаемое безмолвие и безлюдье, лишь часовой задумчиво шагал взад и вперед вдоль берега.

А там, на советском берегу, бежали хорошо видные грузовики, хлопотливо мчались легковые машины, проезжали велосипедисты и всадники, проходили поезда, гулко посвистывая и выбрасывая белые султаны дыма над полями и камышами. Даже пришедшие пить воду нагруженные хворостом ослы были отчетливо видны.

Мы сидели на высоком берегу, полные желания немедленно одолеть водную преграду и вступить наконец на родную землю. Но часы шли, и река была пустынна, как вчерашние барханы.

Пришел наш хозяин-офицер. За ним шли два солдата и несли дыни и арбузы. Поднеся нам замечательные произведения афганских бахчей, офицер сказал, что нам придется подождать, пока мы сможем переехать Аму-Дарью.

Мы впали в уныние. Пришел к реке караван, и верблюдов стали поить из кожаных ведер. Желтая вода стекала с толстых, выпяченных губ. Они пили и неподвижными, не очень добрыми глазами смотрели на нас, на окружающих их караванщиков, думая какую-то свою глубокую верблюжью думу. Потом их начали грузить. Бидоны с керосином, стекло, посуда в ящиках, тюки с советскими ситцами, сахар — все умещалось на этих спокойных, философских работниках, покорно подставлявших свои бока и спины.

Караван грузился быстро. Мы стали говорить о верблюдах. Но верблюды ушли. Мы съели дыни и арбузы. Аму-Дарья с эпической силой несла свои воды. Мы стали играть

в подкидного дурака. Если негры, как свидетельствует Гончаров в «Фрегате «Паллада», играли на мысе Доброй Надежды в свои козыри, почему нам с горя не играть в подкидного дурака на удивление афганцу-часовому, переставшему ходить по тропинке и уставившемуся на нас, как будто мы колдуны и сейчас из карт сделаем корабль, который перенесет нас через реку.

Я вскоре бросил карты, так как был пятым, а игра идет лучше, когда играют четверо. Река несла свои воды пустынно и величественно, но от этого нам не становилось легче.

Начал пакрапывать дождь. С реки подул порывистый ветер, и карты, как птицы, вспорхнули со стола.

Афганский офицер пришел смущенный и предложил идти обратно в дом, чтобы скрыться от дождя. Но когда солдаты по его команде взяли наши чемоданы, стол и стулья, нежданно начавшийся дождь так же нежданно прекратился. Офицер закричал, показывая на реку.

Мы взглянули, но, обыскав широкий горизонт, ничего не увидели. Потом из-за камышей взлетел вихрь рыжего дыма, и за ним показалось такое диковинное суденышко, какое является только в легенде, и о встрече с ним моряки говорят с сентиментальной улыбкой.

Этот корабль был похож на большую старую добрую черепаху, которой по бокам приделали колеса, тоже взятые из музея речного транспорта. Плицы шлепали с таким жалобным стуком, точно вздыхали о далеких днях невозвратной молодости. На спине черепахи было сооружено что-то вроде навеса и капитанской рубки. Эта легенда амударьинских берегов выглядела вполне романтично, и мы очень обрадовались такому симпатичному кораблю.

Наши чемоданы были погружены под навес, мы распрощались с афганским офицером и афганцами и бодро вступили на палубу.

Команда оттолкнулась шестами от высокого берега, и мы поплыли по капризному фарватеру Аму-Дарьи.

Этот плоскодонный колесный чудак, ветеран речного флота, вероятно, помнил еще времена, когда первые поезда пошли по Чарджоускому мосту, но сейчас он бодро колотил воду своими колесами и, треща и поскрипывая, плыл вниз по реке — в Келиф. Это было недалекое плавание, и нам даже было приятно видеть такую старческую бодрость.

Показались большие пестрые камни. Они покрыли берег, они торчали из воды. На них было написано большими синими буквами, далеко видными: Камни! Камни!

Это была та остановка, на которой нам следовало ступить на родную землю. Мы увидели длинную узкую гряду камней, на камни были положены доски, устроено что-то вроде мостков без перил. Весь этот своеобразный мол и берег над ним были полны народу. Мелькали в толпе зеленые фуражки пограничников. Два солдата, стоя в деревянном ящике, плоскодонном и нешироком, отталкиваясь шестами, подошли к нашему кораблю, стоящему в отдалении. Подойти к берегу ближе он не мог.

Борт его, хотя и невысокий, возвышался над ящиком, в котором стояли пограничники. Ясно, что надо было прыгать. Тут из ящика стали кричать: «Бросай чемоданы!»

Чемоданы полетели в ящик, который течение крутило как хотело, и только ловкость молодых пограничников, мастерски управлявших шестами, держала его на одном и том же от карабля расстоянии.

Я прыгнул, чувствуя, что сейчас желтая холодная железная вода сомкнется над моей головой, но, подпрыгнув в ящике, я должен был подивиться его крепости и устойчивости. Тогда я попытался сесть, но сесть было не на что. Прыгнул второй пассажир. Ящик направился к гряде камней.

Беря в ящик по два человека, пограничники доставляли их к началу цепи камней, таких скользких, как будто их специально намылили. Но и тут, балансируя руками и перебегая с камня на камень, мы достигли мола, и каждый вступивший на его доски попадал в объятия встречавших. И надо сказать, что эти объятия были нам приятны и дороги, потому что мы были наконец среди своих, среди советских людей, вернувшись домой после всяких приключений и треволнений.

Мы помахали нашему кораблю-легенде, продолжавшему свой рейс в Келиф, и сели в машины. Странно было видеть теперь афганский берег, пустой, покрытый камышами. Когда мы ехали и всматривались в него, мы уже не могли увидеть ни офицера, ни солдат, только верхушки высоких тополей говорили о том, что где-то там, среди пустынных тугаев, схоронились редкие кишлаки.

Мы въехали в Термез, и Термез встретил нас чистыми ровными улицами, множеством людей на улицах, садами и домами, в которых еще не зажигали огней. Декабрьское солнце светило, как летом под Москвой. Но главное, мы знали, что дорога наша кончена, что нашу усталость мы можем здесь обменять на бодрость, потому что чувство ро-

дины жило в нас, мы готовы были целоваться с каждым, приветствовавшим наше возвращение.

Мы вошли в гостеприимные светлые комнаты гостиницы, и сели за стол, и увидели телефон и постель. Мы сели за стол, как будто мы дома. Да, мы уже были дома!

Родина наша, Советский Союз! Я только что видел, как среди ночи, непроглядной ночи пустыни, засияли твои огни; не раз я встречал твои поля после равнин Венгрии, возвращаясь с юго-запада; не раз я приходил к твоей границе с севера, где зеленая фуражка пограничника сливалась с вечно-зелеными соснами и елями; я плыл с запада, и жемчужная белая ночь приводила пароход через очарованные воды залива к твоим ленинградским неповторимым морским воротам; я летел с востока, и глядел в бездонные воды Байкала, и видел дымные облака тумана над богатырской Ангарой, ярость которой не могли укротить самые дикие морозы.

И чем дальше я был от Москвы, тем сильнее ощущалась она и ее динамическая сила, цельность ее образа, волны ее конденсированной энергии, ее мировой облик, который полюбили люди всех континентов.

И сейчас, вернувшись из далекого путешествия, мы чувствовали себя переполненными до отказа впечатлениями. Мы должны дома рассказывать о виденном так, как рассказывал бы в свое время Афанасий Никитин, если бы он добрался до дома; но и не добравшись, он все равно рассказал в своей книге об Индии — как человек, проникшийся уважением и любовью к далекому народу, чью жизнь он увидел своими глазами.

В моей записной книжке много записей, которые не могут все же охватить всего, что я хочу сказать. В моей голове обрывки картин, которые я могу вызывать на суд воображения по очереди, и тогда передо мной снова пройдут дни путешествия, вереницы людей, вереницы пейзажей.

Может быть, здесь, в зимнем солнечном маленьком Термезе, дыхание эпохи чувствуется с особенной силой, потому что это — граница миров. Плавная и неистощимая Аму-Дарья может разъединять и может соединять народы. Пусть ее берега не похожи здесь один на другой, но сейчас она течет между двух мирных дружественных стран, никакая угроза не чувствуется в этих тугайных лесах и в этих приграничных барханах.

О стране, лежавшей за Пянджем, за Аму-Дарьей, хотят слышать термезцы, и о той стране, что лежит за далеким

Хайберским перевалом,— тоже. И мы уже идем в клубы, на собрания и рассказываем советским людям обо всем, что мы видели в Афганистане и Пакистане, какие там живут люди, какие у них нравы и обычаи, каковы эти страны сегодня.

Потом мы прощаемся с Мирзо Турсуном-заде, который уезжает к себе в Сталинабад. Это совсем близко, он зовет нас с собой, но мы должны возвращаться в Москву, а Айбек — в Ташкент. На другой день в мой номер в гостинице вошел старый знакомый, которого я знаю с двадцать шестого года, когда впервые странствовал по Средней Азии. Какая это была поучительная пора для меня! Я терялся в узких улицах Шайхантаура, забирался в глухие углы Бухары, бродил по Зеравшану, чуть не погиб в пустыне за Мервом, видел тайники древнего Чарджоу, ходил пешком по Копет-Дагу с его великолепными ущельями, отдыхал в Фирюзе, купался в Аму-Дарье. Много было всяких приключений в этом путешествии, и одним из тех, кто помогал мне понять жизнь нашего пробужденного Востока, был Арсений Иванович Карский, который сейчас стоял снова передо мной.

Я давно не видел его. Он занимался научной работой, был сотрудником Ташкентского музея, знатоком истории Средней Азии, облазил всю ее от Памира до Каспия. Он был все такой же худой, мускулистый, загорелый, высокий. Седина чуть тронула его виски, но вечная молодость этого человека не могла не вызвать чувства зависти. Такими были, наверное, первые научные разведчики, проникавшие в этот изумительный край еще во времена Семенова-Тян-Шанского и Северцева. Обладавшие широтой научных знаний, смотревшие на жителей среднеазиатских долин и гор как на людей, которые уважают людей науки, смелые до самозабвения, упорные в достижении цели,— к таким, несомненно, можно причислить и Арсения Ивановича.

Сейчас он задержался в Термезе, большая часть его экспедиции уже выехала в Ташкент. Он позвал меня вечером к себе, и мы встретились в квартире старого врача, который с семьей был в отпуску где-то у Черного моря. Сын врача Виктор являлся участником экспедиции Карского, почему Арсений Иванович и располагал квартирой доктора в Термезе.

В комнате, куда я вошел, стояло еще несколько неотправленных ящиков с материалами экспедиции. Познако-

мив меня с Виктором, молодым человеком из породы странствующих энтузиастов, что в наше время чрезвычайно распространена, он усадил меня в кресло и, сев напротив, сказал тоном хозяина:

— Сейчас подойдет еще один уникум, и тогда уже все будет в порядке. Уникум этот нам не помешает, Виктор у нас за хозяйку, что-нибудь соорудит, понятно, как на бивуаке, и мы хорошо посидим. Я вас давненько не видел. После доброго путешествия вы выглядите неплохо. Ну как, по горло сыты впечатлениями?

— По горло,— сказал я,— с детства, можно сказать, изучал те края, и, когда дорвался до них, сами понимаете, не спал, не ел, только смотрел, смотрел да записывал.

Дверь открылась, и Виктор пропустил в комнату еще одного гостя. Увидев входившего, я не мог не встать и не броситься ему навстречу, восклицая:

— Ну и времена, надо же всем тут встретиться! Вот уж встреча так встреча!

И, к удивлению Виктора и Арсения Ивановича, мы трижды облобызались с пришедшим. Потом я, как принято в таких случаях, совершенно непроизвольно отодвинулся и окинул гостя критическим взглядом.

— Ничего,— сказал я,— широкоплеч, могуч, чуть раздобрел, не в спортивной, но зато в полной воинской форме...

Гость засмеялся, и даже ямочки на его широких щеках тоже засмеялись, а глаза иронически заблестели. Погоны полковника лежали на его плечах, и орденские ленточки украшали грудь.

— Помилуйте,— воскликнул Арсений Иванович,— да откуда вы его знаете? Это я его знаю, ибо он азиат и я азиат, и мы, два азиата, много тут дел переделали на пользу отечеству и человечеству. А вы откуда знаете?

— Да вот оттуда,— сказал я.— Знаю Геннадия Геннадьевича Ястребова еще с двадцать шестого года, с того года, как и вас знаю. Чтобы старого каракумца не знать — это никуда не годится! Я ведь когда-то, если вы не забыли, тут побродил достаточно и мимо него пройти не мог. Но подожди, Геннадий Геннадьевич, а по-моему, ты тут давненько не был?

— Давненько,— сказал он, усаживаясь на тахту, покрытую старым текинским ковром.— После ранения, с басмачами тогда еще дрался, вернуться не удалось, потом по разным другим границам странствовал, а теперь захотелось

сюда наведаться, да и дела привели некоторые. Смотрю, оглядываюсь, уж как тут все изменилось — не узнать, братцы...

— Конечно, изменилось, а как же,— сказал Виктор.— Еще и не то будет. Мы еще увидим небо в алмазах, как говорит Арсений Иванович...

— Ну, это, впрочем, Антон Павлович Чехов говорил, а я уже за ним следом,— засмеялся Карский.

— Да,— сказал Ястребов.— Что тут, братцы, происходит? Приехал в места молодости, и ничего не узнать: ни людей, ни городов. Вот возьмите Термез. Когда я был здесь молодым, несмышленым, со старожилами пришлось встречаться. Что тебе только не нарасскажут старые царские пограничники про царскую пограничную стражу! Как жили начальники: карты, пьянство, кукушка, друг в друга палили, дуэли из-за женщин. Так перепутали их, что не разберешь, какая чья. Комиссия военная специально приезжала разбирать. Вынесла решение: офицерский состав разослать в другие места, но сказала, что к этим людям надо подходить со снисхождением. Почему? А потому, что в этом месте жить европейскому интеллигентному человеку невозможно, климат страшный, а глушь такая, что единственным развлечением является охота на тигров, каковых здесь множество, но на это не всякий способен. Вот как здесь жили до революции! А теперь Термез — картинка. Никогда за все время своего существования он так не рос. Прямо маленький Париж этих мест! Я уж не говорю о Сталинабаде: из деревушки Душанбе коммунисты сделали чудо: а Ташкент — махина, громада, весь в электричестве...

Тут хозяин вышел с Виктором, и немного спустя они внесли, как сказал Карский, русский дастархан. Графин водки, огурцы, сыр, колбасу, леща в соусе, помидоры и дыню.

Мы налили, выпили и закусили, подняв тост за дружбу народов, за наши достижения на всех поприщах, так как поприща у нас были разные.

— Геннадий Геннадьевич,— сказал я,— вы говорите: Азию не узнать. Конечно, не узнать. Смотрите, за одно поколение как двинулся Китай, как проснулась Индия, а там и другие страны встают. Нам сейчас нужно мосты строить, и настоящие и духовные, что ли, чтобы в гости к разным народам ходить и друг о друге получше знать. Чувство времени — это такое чувство, которое тогда сильнее

живет, когда вы знаете, что было, и что может быть, и что должно быть.

Мы еще не представляем себе всех чудес движущегося времени. Поколения сменяют поколения, и каждое мечтает о будущем, но не о прошлом, немногие стремятся заглянуть в прошлое, оно по-настоящему привлекает только тех, кто занимается науками. Мы еще очень мало знаем историю народов. То мы утверждаем, что мы скифы, а рисуем картины битвы скифов со славянами. До сих пор не знаем, как образовалась Русь и откуда шло к нам главное влияние — с запада или востока. Говорим, что славяне жили на Рейне и на Аму-Дарье. Мало мы знаем, особенно об Азии! Для вас, Геннадий Геннадьевич, Термез — маленький городок, который в царское время был просто человеческим захолустьем, напоминающим стоянку пещерного человека. А для меня Термез в тумане веков — место, где реют великие призраки. Объясните нам, Арсений Иванович, почему и как он рос и чем он стал сегодня?

— Пожалуйста,— сказал Арсений Иванович, и его черные глаза по-молодому усмехнулись,— я вас прокачу на машине времени, не сходя с места.

— Подождите,— сказал я,— а помните, как мы с вами в Шахи Зинда, в Самарканде, были на молении последних дервишей ордена Календарей и нас там чуть не зарезали?

— Был такой случай,— сказал, выпив рюмку водки, Карский,— но только вы преувеличиваете. Немного, но преувеличиваете. Зарезать нас не зарезали бы, но они — эти дервиши — нарочно нагоняли мрак, конечно, и за ножи хватались, но они же комедианты, так что это было безопасно. Но могли другие за них распорядиться — да, это возможно...

— А помните, вы показывали туалетные принадлежности красотки бронзового века: в крохотном горшочке и в коробочках краски для губ и бровей?!

— Женщины всех веков похожи друг на друга в этом отношении,— ответил Карский.— И после нашего времени останется кое-что по этой части для будущих исследователей, только меньше сохранится из-за разных чрезвычайных обстоятельств. Но раз вы заговорили о Термезе, то вот посмотрите...

Он вынул из стола ящичек и из ящичка монету, которую передал нам. Мы по очереди рассматривали ее.

— Это монета, найденная здесь, в развалинах древнего Термеза. Она времени царя Менандра. С одной стороны

изображены греческие боги, а с другой — священная буддийская ступа. Тогда Термез назывался иначе: Деметрия Эвкратидия. Это было уже после развала империи Александра Македонского. Я могу вам показать кое-что, чтобы вы убедились, что мы не так беспомощны и кое-что знаем. Я приготовил для одной своей лекции диапозитивы, засняв собственные реконструкции, которые являются попыткой представить во времени одно и то же место. Это интересно для самых неподготовленных слушателей. Вы спрашивали, куда девались древнейшие цивилизации. Но для этой демонстрации я должен попросить Виктора немного помочь мне.

Они вдвоем повесили на стене простыню, которая прекрасно могла заменить экран. Вытащили из соседней комнаты предмет, который в моем детстве назывался волшебным фонарем, и комната погрузилась в темноту.

— Не разбейте посуду в темноте,— сказал Карский,— она не моя, а... хозяйская.

— Мы будем наливать ощупью.— Геннадий Геннадьевич зазвенел рюмками.— Третий звонок, начинайте, товарищи академики.

Карский завозился с волшебным фонарем, и вдруг на экране мы увидели город. Сразу можно было определить, что это большой город большой страны. И при всем нашем историческом неведении ясно было, что он принадлежит к очень знакомым нам образцам. Храмы с колоннами возвышались над широкими улицами и садами, оросительные каналы пересекали город. Много статуй на мраморных лестницах. Женщины в длинных одеждах, мужчины в широких хитонах. Рабы несли богато украшенные посилки. Видны колесницы.

— Ну, ясно! — воскликнул я.— Это древняя Греция, что-то вроде Фив или Афин.

— Нет,— послышался из мрака голос Карского,— вы ошиблись. Это один из больших городов древней Бактрианы. С вашего разрешения, это — Термез.

— Бросьте,— воскликнул Ястребов,— вы нас дурачите! Это только во сне вам приснилось. Если он был такой, куда же он девался?

— Дальше увидите... Есть такая легенда,— можете верить, можете не верить,— что в Термезе Александр Македонский женился на красавице Роксане, дочери царя Оксиарта.

— Бальзак женился в Бердичеве,— засмеялся Ястре-

бов,— Александр Македонский в Термезе. Запомним. По этому случаю надо выпить. Никогда не думал, что столь прославленный полководец избрал скромный наш Термез местом своей свадьбы. Извиняюсь, это был совсем другой Термез. Прошу прощения. Вам налить, Арсений Иванович, и вашему ассистенту?

— Налейте...

Мы выпили, как будто сидели на свадебном пиру великого македонца.

— Македонский, говорят, славянин был, знай наших! — сказал Ястребов.— Здорово здесь в пустынях воевал.

— Поедем дальше.— Карский переменил пластинку.

Теперь перед нами стоял на широкой реке город, похожий и не похожий на только что показанный. Здания как будто еще увеличились, улицы стали шире, народу прибавилось. Паруса кораблей теснились у набережных. Виднелись дома, похожие на склады. Множество тюков с товарами лежало на берегу. Огромные караваны тянулись к пристани. Богато разодетые граждане шли торжественной процессией. Несли паланкины и на них идолов, разубранных цветами и коврами, украшенных драгоценностями.

— Вы скажете, что это тоже Термез? — осторожно пробормотал Ястребов.

— Это Термез во времена царя Эвкратида, который завоевал Индию, и он же был наследником Диодота, отложившегося от Селевкидов. Термез имел тогда населения свыше миллиона, потому что стал важнейшей переправой па торговом пути из Индии в Европу. Двести лет продолжалась эта жизнь, а потом...

— А потом? — спросили мы с Ястребовым в один голос.

— А потом... сейчас увидите.

Снова щелкнуло в аппарате, стукнула новая пластинка, и мы увидели развалины, такие, какие и сейчас лежат на месте древнего Термеза, рядом с новым городом. Можно было угадать, что это развалины дворцов, храмов, башен. Груды кирпичей, остатки каналов с заболоченной водой и мерно катящая у пустынного берега свои желтые воды Аму-Дарья. Птицы сидели на развалинах, и на первом плане лежали груды битой раскрашенной посуды.

— Вот и все,— сказал Ястребов,— больше вопросов нет...

— Нет, далеко не все! — живо откликнулся Карский.— Витя, будь добр, возьми оттуда, из второго ящика, край-

нюю. Спасибо. Вы правильно догадались: это то, что осталось от Термеза, роскошного и знаменитого... Но не все.

— Кто же его так отделал? — спросил Ястребов.— Кто эти благодетели человечества?

— Это постарались скифы и парфяне, и если называть скифов нашими предками, как восклицал Александр Блок: «Да, скифы мы, да, азиаты мы»,— то получается, это вроде как бы работа наших далеких предков. Поработали они, как видите, серьезно. Ничего не осталось... Я вам никакой лекции не читаю, я просто показываю.

— Почему же вы говорите, что еще не все?

— Минутку терпения, я не готовился, и у меня разбросаны пластинки, идут не в том порядке... Сейчас...

Мы перестали пить и есть и с детским любопытством смотрели на экран. То, что мы увидели при новой перемене на экране, было настолько удивительно, что Ястребов воскликнул с какой-то детской запальчивостью:

— Товарищ академик! Уж показывайте что-нибудь одно, а то вы в другую страну заехали...

— Смотрите, смотрите, замечания потом, я вас не обманываю, и я не ошибся. Это Термез, вставший из развалин, но он уже называется Та-ми, по-китайски.

Город, который появился на экране, имел явно китайский вид. Пагоды с загнутыми концами крыш, большие статуи Будды, монахи на улицах в ярко-оранжевых одеждах, китайские купцы и воины, здания, раскрашенные красными и синими красками.

— Но это же Пекин,— продолжал упорствовавший Ястребов.— Откуда тут взяться китайцам?

— Они пришли в начале второго века до рождества Христова, завоевали Термез и превратили всю страну в буддийскую область. Восстановили город и стали жить и поживать. Средоточие торговых путей — Аму-Дарья. А вы говорите — все. Да это только начало...

— Черт знает что,— сказал потрясенный полковник,— вот так перемены! А почему теперь здесь нет ни одного буддиста?!

— Почему? А вот почему! Витя, дорогой, давай следующую. Прошло ни мало ни много — пятьсот лет. Вот вам Термез!

Надо сказать, я смотрел на экран с настоящим волнением, и не только потому, что так убедительны были картинки. Они были даже драматичны в своей наивной грубости и отчетливости, но не это было главное: за ними

вставало такое, во что нельзя было не верить и что дополнялось нашим воображением.

Другой Термез появился перед нами. Ничего китайского в городе больше не было. Ни одной загнутой крыши, ни одной статуи Будды. Множество церквей стояло в городе, который в своем облике чем-то стал напоминать Византию. Крестный ход или какое-то церковное шествие, сопровождаемое множеством народа, направлялось к реке. Большие базары, дома совершенно иной, чем раньше, постройки.

— Это Термез, где христианство победило и изгнало буддизм. Как видите, без остатка. Несториане, пришедшие с Запада, и местные христиане восстановили разрушенный Термез и лишили его всякого китайского влияния.

— Будет ли конец этим чудесам? — спросил Ястребов.— С ума сойти, что вы показываете...

— Подождите еще немного. Снова прошли века. Теперь смотрите, каков Термез.

Плавучий мост, переброшенный на остров посередине реки и продолженный от острова до другого берега, являлся надежным путем в город, который еще никогда не был таким шумным и оживленным. Но все, кто проходил по его улицам и толпился на его площадях, уже носили тюрбаны. Минареты белели над пышными садами. Кругом виднелись купола зданий. Вереницы верблюдов и лошадей шли за проводниками в строгом порядке. Пестрая толпа переполняла город, остров, другой берег, двинулась по мосту.

— Это арабский, мусульманский Термез. Как видите, христианский Термез исчез, как и буддийский, исчез, как сон.

— Что же дальше? — спросил Ястребов.

— Машина времени работает безостановочно. Вот что будет дальше. Давай, Виктор...

И вслед за сухим стуком пластинки мы увидели картину, которая нам показалась знакомой.

— Тут снова путаница,— сказал я,— по-моему, мы это уже видели...

— Этого вы не видели. Вглядитесь хорошенько!

Исчезло все. Не было ни плавучего моста на реке, ни базаров, ни минаретов, ни города. Термез, как говорится, исчез с лица земли. Труха и пепел, груды руин, поросших жесткой травой. Нищие бродяги на первом плане сидят у костра, как первые кочевники на земле.

— Ну вас к черту! — сказал Ястребов и зазвенел посудой.— Я не могу больше. Я должен сейчас же выпить, или мне будет нехорошо. Это не жизнь человечества, это издевательство над человеком. Какое имя этому?

— Имя этому Чингисхан! — ответил Карский.— Он прикончил Термез, он так и полагал, что город исчез навсегда. Он перебил всех, кого мог, всех мастеров, всех женщин увел в рабство. В развалинах стали жить шакалы и бродяги. Сотни лет в унынии и унижении лежали развалины. И вот пришел век, когда город стали звать Великим Термезом. Вот город, который именовали соперником Багдада...

Мы увидели роскошный город, красивый и богатый. Дворцы лучше прежних, каналы шире, большие мечети, медресе, толпы ученых, спорящих о научных открытиях, изобилие красок, всадники, пешеходы, роскошь воинов и купцов. Таким мы еще не видели Термеза.

— Как он жил тогда? Это были века наивысшего расцвета, когда городом владели Саманиды, Газневиды и Хорезм-шахи. Здесь Макона проповедовал, что он сам бог, являвшийся раньше в виде Авраама, Моисея, Иисуса, Магомета. Он ходил всегда с закрытым лицом, так как уверял, что человеческий глаз не вынесет блеска, который излучает его лик. Сам Халиф идет на него с большим войском. Сам Халиф терпит поражение под стенами Термеза... Так он и живет, Термез, но мельчают с каждым веком его владыки, идут века, и приходят к власти жалкие феодалы катящейся к закату Бухары. Войны все чаще, все мельче, войны с афганцами, с бухарцами — и наконец вот уже Термез в веке, соседнем с нашим. Вот он!

Развалины, громоздящиеся всюду. Куски разбитых изразцовых плит, обломки зданий, отдельные стены накануне падения, выветрившиеся, наклоненные, разбитые башни, стены, лежащие в реке, остатки набережной. В одном только месте белая небольшая гробница, покрытая узорами с арабскими стихами.

— Это могила ученого и писателя, шейха, святого Абу Абдаллаха Мухаммеда, сына Алия, ал Хакима Термезского.— Сказав это торжественно и выпив рюмку водки, Карский снова завозился с аппаратом.

— «Еще одно, последнее сказанье...»

В зелени новых садов увидели мы на простыне домики маленького поселения. Над зеленью молодых деревьев подымался куполок скромной церкви.

— Русское укрепление Термез! — сказал Карский.— Девяностые годы прошлого века, на этом месте стоит сегодняшний Термез, от него в четырех километрах руины древнего Термеза, и вы его сами видели. Вам его нечего показывать. Сеанс окончен. Зажги свет, Витенька.

Вспыхнул свет и осветил Ястребова, задумчиво держащего полную рюмку. Карский и Витя привели все в порядок, убрали со стены простыню, унесли волшебный фонарь и сели к столу.

— Показали, уж спасибо,— сказал Геннадий Геннадьевич и залпом выпил водку.— Ну, мы такого тут настроим, ни в какие века ничего подобного не было. Но я, признаться, не думал, что это такое место. Я понимал, что здесь одна цивилизация уничтожала другую, но думал, что она оставляла что-то в наследство, а так, чтобы начисто все исчезло,— этого я предположить не мог. И все-таки странно, что кочевники, дикари, ничего не принесшие с собой, кроме страшного деспотизма, смели всю цивилизацию, непонятно.

— Ничего не могу поделать,— развел руками Карский,— хорошо еще, что революция добралась сюда быстро и люди сейчас живут здесь по-другому. Как вы сказали, товарищ полковник, у жителей не единственное теперь культурное развлечение — тигров бить. Тигров заметно поубавилось, да и ханы тоже исчезли.

— Да,— протянул полковник,— я здесь молодым был. Выдубили меня пески. Как вспомнишь, что это за годы были! Джунаида сегодня, поди, все забыли, а мы за ним гонялись по пустыне. Что разговора о нем было!

— Позвольте,— сказал Виктор,— я что-то и не слыхал о таком. Это басмач какой, что ли?..

— Что значит басмач? — прогудел Ястребов.— Лев, царь пустыни, владыка Каракумов. Хитрый был старик, сильный, храбрый, черт! Пустыню знал, как свой халат. Высоко метил, Хивинского хана зарезал, как барана. Священную войну объявлял... А ты — басмач!..

— Я про Джунаида роман хотел писать, даже материалы собирать начал,— вставил я свое слово,— а действительно, давно это было. Я, помню, ездил с инженером одним по Зеравшану, так у инженера была бумага, где на двух языках было написано, что он работает по водному хозяйству и что трогать его нельзя. А если тронут, то в том районе, где это случится, воду в арыках закроют. И басмачи держались правила — как встретят водника, сразу:

«Мандат барма»? Ну и читают, и как до ирригации, до воды, дойдут, сразу отпускают с миром. Это время я еще застал...

— А уж мы за Джунаидом погонялись! Мы сначала пустыни не то что боялись, а не привыкнешь к ней никак. Там, если воды нет, и людям и лошадям смерть. И без промедления. Ну, а потом знатоками стали, теперь таких не найти. Теперь и техника другая, и люди другие. Мы же тогда даже воевать в бою учились. Теории-то пустынной войны никакой не было. Своим умом доходили. Я помню, пришли красноармейцы из России, неподготовленные. Обратили мы внимание, что в бою они стреляют дружно, а убитых и раненых у неприятеля мало. Что такое? Давай тут же, в пустыне, учебную стрельбу проводить. Кто всеми пятью пулями в черный круг попадет — примерно в двадцать сантиметров круг,— тот настоящий стрелок. Что скажешь! Из всего полка только один и попал всеми пулями. А потом выучились так стрелять, что пулю в пулю всаживали.

Залезем в пустыню, жратвы для верблюдов и коней мало, воды мало, злости много. Кругом средневековье. Феодалы, ханы, вожди разные, просто бандиты, а мы революцию несем в эти пески. Помню, восемнадцатое марта нас застало на походе. О значении Парижской коммуны беседу проводим. Тут барханы страшенные, колодцы только что от трупов верблюжьих очистили — басмачи их туда набросали,— а политруки читают красноармейцам доклады, беседы проводят о Парижской коммуне. Правильно читают — в пустыне это с особой силой звучало. И джигиты тоже слушают, узбеки, туркмены, киргизы — все слушают про Парижскую коммуну. Так мы революцию Октябрьскую в самые недра пустыни привели. А нравы — жестокие были тут, сударь, нравы! Мы гоним Джунаида от колодца к колодцу, выгнали с Орта-кую, а он на Чарышлы идет. Догоним каких басмачей с их женщинами, так они верблюдов своих постреляют и женщин тоже, чтобы в плен к нашим джигитам-туркменам не попали. Если же совсем их прижало и мороз,— зимой дело было,— так и детей малых в пустыне побросают. Раз, мол, сам кончаюсь, пусть и вам будет конец.

И вот смотрите, женщин раскрепостили, детям теперь живется неплохо. С трудом превеликим мы эту Азию раскачивали, сил не жалели. И воевали, и учили, и дружили, и друг с другом дружить учили — туркмен с киргизами и

узбеками. Крестьяне первыми понимать стали, что такое земля, которая тебе принадлежит. Я про города не говорю. Там тоже борьба была прежестокая. Всех просветили. Ну а за это просвещение тоже заплатили хорошими людьми. Сколько я товарищей оставил навсегда и в песках и в горах!

Иных как-то и с годами не забываешь. Уже и время прошло, и Великая Отечественная война все затмила, а нет, все же помнишь. Хоть историю, что ли, товарищи писатели, написали бы про то, как здесь Красная Армия за отечество и человечество сражалась. Был у нас один человек, любимец командир,— храбрец, ничего не скажешь. Ветцель. Надо было ликвидировать одного сложного человечка, что сначала из кровной мести был с нами против Джунаида, а потом начал другими делами заниматься. Он понимал, что феодалам, к которым и он принадлежал, конец приходит и ему с революцией не ужиться И задумал он восстание против советской власти и начал приводить свой план в исполнение.

Ну, все ясно, поведение его сомнений не оставляет. Вопрос только во времени. А восстание задумано хитро и широко. Прямо вызывать его на объяснения поздно: не пойдет. Надо самим идти к нему в нору. А он жил в маленькой глиняной крепостице в пустыне. Внутри крепостицы стояли у него кибитки, а в них — его джигиты, до зубов вооруженные. И придумали: пусть Ветцель к нему поедет, как будто просто так, тем более что с ним будет только разъезд — тринадцать человек. И раньше, бывало, заезжали,— и он встречал, лиса, с уважением. А до того, как Ветцель сумеет его захватить, подойдет на помощь эскадрон, да не один. Значит, самое главное — продержаться до подхода. Ветцель приехал, встретил его Якши Кельды, ничего как будто не подозревает. А его джигиты дырки в юртах понаделали и наблюдают. И что случилось тут с Ветцелем? Такой опытный был каракумец, а тут дал ошибку: схватил Якши Кельды на дворе. А джигиты, видя это, сразу стрелять, поранили красноармейцев и своему главарю пулю в живот всадили.

Наши вскочили в кибитку, туда же затащили Якши Кельды, и начался бой, типичный каракумский бой: наших четырнадцать, а их свыше ста пятидесяти. Пули, брат, прошивают юрту со всех сторон. Ветцель чем их держал? Только они хотят в кинжалы, а он выскочит да гранатой и глушит, а когда гранаты кончились, связкой толовых

шашек по ним. Он был подрывник, сапер,— знал, как с взрывчаткой обращаться. И пуля ему по левому виску прошла. А бой идет дальше. Мы слышим издали: отчаянная стрельба, взрывы. Ну, битва! Мы в галоп! Ворвались, когда уже басмачи на крышу кибитки лезли, чтобы оттуда в упор стрелять. Вот какая резня была! Почти все наши переранены, а наша взяла. Вот так и погиб храбрый Ветцель. Сам перед смертью с убитого Якши Кельды снял орден Красного Знамени, который тот получил в свое время за помощь против Джунаида.

— Я видел этот орден в Мары. Мне его в восемьдесят третьем кавалерийском туркестанском полку показали в тридцатом году,— сказал я.

— А это было в октябре двадцать пятого,— продолжал Ястребов.— Вот какие были бои, походы. Многие герои революции тут в песках себя прославили. Все жители видели, что боремся мы за правду, за свободу народов. На шее моей лошади висел темно-желтый шнурок с бирюзовым колечком — от дурного глаза, от дурной пули талисман. Приятель один, узбек, повесил, говорит: «Не снимай, цел будешь, клянусь». А меня дурная пуля все же задела, да так, что я едва жив остался. До сих пор помню, как мы враз оба выстрелили — басмач и я. Он наповал, а я почти наповал. Но вот живу, и даже ничего живу. Воспоминаниями даже занялся.

— То, о чем вы рассказывали, Геннадий Геннадьевич, забудется скоро, если уже не забылось,— сказал я.—Нам Якши Кельды помнить не так уж обязательно, а наших, кто за дело революции погиб, забывать стыдно. Но имя Ветцеля в части, где он служил, в тридцатом году помнили, и, думаю, в истории полка его имя осталось. А придет время, историки напишут историю борьбы с басмачеством, они расскажут все, как было. Тем более что это были жертвы необходимые.

— За что подымем тост? — спросил Карский.

— За будущее,— сказал я.— Садитесь, Витя, выпейте тоже. Вы — молодой человек, вам нужно будущее увидеть своими глазами. Но прежде я обосную свой тост. Пусть в ближайшем будущем будет так. Вы садитесь в Москве в самолет, который, скажем, через четыре-пять часов доставит вас в Термез. В Термезе или рядом вы на шикарном пароме переправляетесь на афганскую сторону, а там ночуете в первоклассном отеле, который стоит на том месте, где мы спали на земле. Едете по замечательной дороге и

вечером видите, что две линии огней остаются за нами. Одна — золотой пояс Термеза и окрестностей, другая — электрический свет в афганских городках и селениях на берегу Аму-Дарьи. Верблюдов нет, они стали анахронизмом и пасутся где хотят, как в заповеднике...

— За свои старые заслуги,— сказал Ястребов, смеясь.— А куда их девать? Из них даже колбаса скучная — синяя, безвкусная...

— Все богатства раскрыты. И всюду, куда вы едете, работают заводы и рудники, горные пастбища и свет в ночи. Ведь до революции — если с афганского берега посмотреть — на нашем тоже ни одного огонька или какой-нибудь один, вроде заблудившийся. А теперь посмотришь — сияние до звезд, что твой Париж! И заводы стоят, и фабрики есть. Я пью за здоровье Термеза, будущего миллионного города, лучшего из всех Термезов прошлого на великом пути Москва — Кабул — Дели!

И мы дружно осушили рюмки за город тысячелетней истории и за людей, идущих вперед, имеющих волю и упорство, каких мир еще не знал, и за дружбу народов.

В эту ночь мне снились утомительные сны. Ко мне приходили делегации из всех времен, и они путались у меня перед глазами, перемешивались, и люди в касках с перьями и в тюрбанах чего-то требовали от меня и размахивали бог знает чем перед самым моим носом.

На другой день к вечеру мы поехали всей компанией в пограничный колхоз, куда нас пригласили еще два дня назад. Зима в Термезе не похожа на русскую зиму. В такой декабрьский вечер у нас на севере сугробы; над белыми полями и заваленными снегом лесами проносится, завывая, вьюга, или метет поземка в поле, или валит большой тихий снег, и ватные хлопья мягко ложатся на черные колеи, на красные трубы домов, из которых встают синие столбы дыма и цепляются за черные ветви, относимые ветром к земле.

Здесь же белыми были только редкие ощипки хлопка, торчащие из коробочек кусочки нежной белизны, которые особенно выделялись на пустом и темном хлопковом поле. Эти ощипки забыты не очень старательными сборщиками.

— Их школьники доберут,— сказал узбек Алим, старый садовод, вводя нас в аллеи фруктового сада, широко раскинутого по долине.

Было холодно, и вечерние сумерки напоминали наш октябрь. На дорожках лежали съежившиеся, твердые ли-

стья; черные ветви, однако, не казались мертвыми. Какой тихий и важный покой сошел на этот сад! Дорожки уходили так далеко, что конца не было видно стоящим в легком синем сумраке деревьям.

Алим запахнул свой теплый халат и поправил тюбетейку на голове. Его лицо было красноватого оттенка, загорелое, обветренное. Он носил среднего размера черную жесткую бороду. Худое сильное тело и длинные подвижные руки его хорошо подходили к этому большому строгому саду. Казалось, деревья следят за каждым его шагом,— так они привыкли к нему и так доверяют его все понимающим рукам.

Он сказал, широко обводя рукой окружающее пространство:

— Тут не было ничего. Степь, пустынная степь. Соль лежала. Мы пришли из Ферганы. В двадцать девятом году пришли. Это все наша работа — все, что вокруг. Пусто было, а теперь деревья стоят. Много, еще больше будет. Если б были еще руки, мы сделали бы всю долину цветущим садом. По всей Сурхан-Дарье такая земля. Приходи и работай. Но людей не хватает, рук не хватает. Что я могу? Я стар. Я люблю работать. А тут все растет: персик растет, абрикос, алыча, гранат, инжир; а деревья возьми: карагач хорошо идет, тополь, джида, эйлантус, такое заграничное дерево, тоже идет, и этот привозной — любит воду из земли тянуть — эвкалипт. Кто помнит тех, кто делал старые каналы? Никто не помнит, нет такой памяти у людей. Если бы эти старые каналы восстановить — тут живи, и умирать не надо. Я тебе говорю...

Я спросил:

— Кто их разрушал? Как можно разрушать каналы?

Старик укоризненно покачал головой и сказал тихо:

— Я человек из Ферганы. Мы пришли сюда двадцать лет назад колхоз строить. Всю посмотрели долину, кругом развалины, степь, жизни нет. Давно это было, говорят люди: здесь кошка бежала по крышам от гор до реки. Никто не помнит, кто все уничтожил. Тот, кто жизнь не любил, смерть любил. И все убил: и дома, и людей, и кошку, что бегала по крышам. Пришла степь. А тут растет все, что хочешь. Но вода надо, труд надо, руки надо. А я стар, силы не те, товарищ! Но колхоз вот, сады вот, хлопок вот, арбуз есть, гранат, дыни есть. Все есть. Мы не одни пришли. Пришли сюда не одни узбеки: тут и русские, и киргизы, и туркмены. Разный народ, дело общее. Наш колхоз рядом

с границей. Там, за рекой, не наше, там все уже афганское. Вы, кажется, оттуда приехали?

— Оттуда,— сказал я за всех.

— У них тихо живут,— как бы отвечая на свои мысли, медленно сказал Алим,— машины нет, людей нет, скота нет, силы нет, тоже степь пришла. И колхоза у них нет.— Помолчав, он продолжал: — У них каракуль хороший, чистый, много есть. Много народу на земле, очень много. Сюда бы дать еще. Я в молодости тоже из дому ушел — посмотреть, как где живут. Ташкент был, Хива, Бухара видел. А теперь Ташкент видел, не узнал. И Фергана стала совсем другой. И земли не узнать. Человек другим стал. Раньше майдан-зиндан [1] — и все. А теперь учиться стал человек, умнее стал. Эх, нет рук, всю долину садом сделал бы! Хорошо летом: тень, вода журчит, птицы поют. Мы перепел очень любим, бидана зовем. Мой внук Ашур, внучка Зейнаб тоже птиц любят, деревья любят, помогают мне в саду, а сами вот такие маленькие. Смотрите, что покажу.

Он подвел нас к глубокой траншее в человеческий рост. В ней стояли невысокие растения с плотными листьями щитообразной формы.

— Это лимоны,— пояснил Алим,— это гости. Пока гости. Хозяевами будут, скажу вам. Тут может и чай расти. А голая земля была, как мы пришли. Нам сказали: партия поможет, правительство поможет, все помогут, начинайте. И мы начали. Как живем? Хорошо живем. Не стыдно людям показать. Гостиницу построили для гостей. Чайхану открыли. Попробуйте плова из нашего риса...

Старый садовник сказал правду. Мы обедали в легком домике, построенном в узбекском стиле, скорее даже в большом павильоне. Мы сидели на новых коврах в спокойных и чинных позах, ели вкусные кушанья и вели самую разнообразную беседу.

Молочный суп казался нам щербетом,— так искусно он был приготовлен колхозным поваром. Мы погружали наши пальцы в плов и жалели, что не можем каждый день есть подобное совершенство. Этот плов был царем кушаний, так же как лев считается царем зверей. С нами обедали и хозяева. Тут был и председатель колхоза, который испытывал удовольствие от того, что люди, только что прибывшие из-за рубежа, будут сравнивать его плов с теми пловами, что они ели на чужбине, и отдадут предпочтение его кол-

---

[1] Базар-тюрьма *(узбекск.)*.

хозному плову. Тут сидели бригадиры, степенно разговаривавшие с агрономом; был и наш словоохотливый садовод, который сейчас стал молчаливым и важным, был счетовод и другие работники.

Дыни недаром выбрали эти места своей родиной. Их сладостный, какой-то грешный запах покорял и располагал к приятному времяпрепровождению. Я понимаю, почему эти дыни возили ко двору багдадских халифов, завернув в свинцовую бумагу. Арбузы не могли соперничать с дынями, но они были такие спелые, сладкие и прохладные, что тоже нашли поклонников среди нашей компании.

Но после дынь на втором месте стояли не арбузы и не яблоки, а гранаты. Великанские, с большой кулак величиной, они имели пурпурно-темные зерна, налитые какой-то кровавой сладостью. Их сок стекал на тарелки, как жертвенная кровь садов. Рядом с ними лежали виноград, груши, яблоки, фисташки, орехи, конфеты в бумажках и без бумажек. Но все это собрание сладостей бледнело перед дынями и гранатами и казалось только свитой роскошных владык сурхан-дарьинской долины.

Чай завершил наш дружеский обед. Вечно юный, неизменный спутник всех среднеазиатских бесед и встреч никогда не может надоесть. Трудно нам представить времена, когда люди не пили чая в этих краях.

Я уже сказал, что беседа наша была разбросанной. Говорили сразу все и сразу о многом. Разговор шел то об уборке хлопка, о его возможностях в Сурхан-Дарьинской области, то о жизни вообще, о Москве, о книгах, о театрах, о музыке, то о Ташкенте и достижениях современной науки, то о том, что исчезают старые обычаи, то о том, какое значение имеют ныне хозяйства Средней Азии в общесоюзном масштабе, о будущем Аму-Дарьи и о Туркменском канале. Говорили мои друзья и о том, что видели в Лахоре, в Кабуле, кого встречали; потом вдруг кто-нибудь вспоминал что-нибудь смешное из собственных приключений, и все хохотали до слез; то слушали истории из жизни колхоза. Эти истории с большим мастерством передавали бригадиры.

Я смотрел на старого садовода, который так хорошо рассказывал о деревьях и о земле, и мне показалось, что он человек внутренней, обращенной к себе самому жизни, что в заботах о своем деле, о семье, детях, внуках он совершенно равнодушен к тому, что делается за пределами его личного мирка. Недаром он спросил об афганцах и сам отве-

тил, не дожидаясь моего ответа: «У них тихо живут». И заботы его о садах, которыми можно покрыть всю сурхан-дарьинскую долину, идут от того же желания вернуть земле красоту, которую она заслуживает.

Я вспомнил картинки-реконструкции Карского, такие страшные в сопоставлении веков. Вот такие Алимы сколько раз восстанавливали уже разрушенное, сколько тратили сил, чтобы снова подымались сады на месте истребленных, сколько раз возводили города на руинах их предшественников, из века в век строили вечный Термез, потом изнемогали и исчезали! И снова лежали руины, которые пугали прохожих и ужасали новые поколенья.

Такой Алим в тысячелетней истории верил в каменных идолов и демонов, верил в огонь — верой, которой научил его Зороастр, потом поклонялся греческим богам, человекоподобным и легким, потом был буддистом и жег сладко пахнущие свечи перед статуей Будды, сидящего на лотосе, потом клал поклоны и молился со свечой в руке в несторианских храмах святой троице, проклиная буддистов, потом, распластываясь на молитве в мусульманских мечетях по первому зову муэдзина с минарета, бил себя в грудь, призывая все кары на язычников и христиан, вместе взятых.

И все это происходило с ним тут, в одном и том же месте. То, что он сюда пришел из Ферганы, не имело никакого значения. И в Фергане проходило то же, или почти то же, что в Термезе.

Алим взглянул на меня попристальней, подвинулся поближе и, потрогав свою бороду, улыбнувшись как-то очень вежливо и мягко, точно извиняясь за свои слова, спросил:

— Скажите мне, а как работают сейчас в Венгрии?

Почему ему пришло на ум спрашивать, как работают в Венгрии? Все что угодно я мог от него услышать, только не это. Но он, выдержав паузу, сказал с чувством большого достоинства:

— Да, в Венгрии, как они там работают, хорошо ли они работают?

— Где? — переспросил я.— В Венгрии? Почему вас это интересует?

— Как почему? — сказал он неторопливо, снова потрогав бороду.— Мой сын, мой Нуритдин, освобождал их, венгров. Руку ему там изранили, он за них кровь свою проливал. Там есть река такая... Дона, она маленькая, меньше Аму-Дарьи, Дона... Кажется, такое у нее имя?

— А, это, наверное, Дунай вы хотите сказать?

— Ну, Дона-Дунай. Это так. Значит, такая река есть. Вот он сражался на ней. Он освободил их главный город.— Алим помолчал, снова вспоминая имя города.— Будапешткент,— сказал он твердо.

«Вот что! Старик-то, оказывается, сын нашего времени»,— подумал я.

— Я вам скажу, как сегодня работают в Венгрии.

Я вспомнил, что на другой день по приезде в Термез мы жадно набросились на газеты, которых долго не видели, и в газетах я, между прочим, вычитал и о трудовых успехах венгерского народа. Об этом я с удовольствием сообщил Алиму. Лицо его стало каким-то лукаво-радостным, и он сказал:

— Да я и думал, что они хорошо работают. Не зря мой сын их освободил и кровь там оставил. Вы меня очень порадовали...

— А вы представляете себе, что за страна Венгрия? — спросил я.

— Да. Нуритдин много рассказывал мне, какой они народ, как живут. Они, говорят, тоже из Азии. Вроде как бывшие узбеки, но вера другая, язык другой. Города большие есть, хорошие. Сын много рассказывал.

Тут хозяева поднялись с ковров и сказали, что нас ждут в клубе, где мы обещали рассказать колхозникам о своей поездке. Мы спустились по лестнице в колхозный сад, по которому гуляли с Алимом, и тут старик снова подошел ко мне.

— Я в клуб, простите, не пойду, у меня одно дело есть; вы уж меня простите, старика...

— Что вы, что вы! — воскликнул я.— Я понимаю, что вы устали...

— Я не устал,— сказал он, прикладывая руку к сердцу,— поверьте, дело есть. А вот что я хочу вас просить. Вы всюду ездите. В разных странах бываете. Будете в Венгрии, передайте им привет от старика, от одного старого садовода, узбека Алима из Сурхан-Дарьинской области, из колхоза Пограничного, а то просто скажите: от садовода старого из Термеза. Скажите, что мне было приятно узнать о них. Скажете, не забудете?

— Как можно забыть! — воскликнул я.— Разве такое можно забыть?

— А вы все-таки в книжку запишите, а то забудете,— смеясь, сказал он и, крепко пожав мне руку, пошел тихими

шагами в глубину своего бесконечного, уже совсем темного сада.

А потом мы выступали в колхозном клубе. Клуб был большой, но свет в нем горел плохо, в нем было холодно. Народ в зале собрался молодой и живой. И действительно, там были и киргизы, и узбеки, и русские, и туркмены, и русский парень вел за руку девушку-узбечку, краснощекую, стройную, и ей нравилось, что она идет так открыто рука об руку и никто не может ей ничего сказать.

И мы долго рассказывали о том, как живут люди за Гиндукушем и за Аму-Дарьей, как они хотят жить лучше, и как это не получается сразу, и как идет борьба за новое в жизни и за новое в человеке.

До самой ночи отвечали мы на вопросы, отвечали и снова рассказывали до тех пор, пока за нами не пришла машина из Термеза и надо было уезжать. Только тогда мы расстались...

1950—1956

ПРИМЕЧАНИЯ

ПУТИ ВОСТОКА

В разделе помещеиы рассказы и очерки Н. Тихоиова, иаписанные в разные годы и посвященные прошлому и иастоящему Азии.

КОЧЕВНИКИ

Впервые книга «Кочевники» была опубликоваиа в 1931 году московским издательством «Федерация». Как и вторая половииа цикла стихов «Юрга», она была иаписаиа Тихоиовым после его поездки 1930 года в Туркмению в составе писательской бригады (см. прим. к I т. наст. Собр. соч.).

Книга эта, подобно другим выдающимся произведениям иашей литературы, появившимся иа граии 20—30-х годов — первой книге «Поднятой целины» М. Шолохова, «Соти» Л. Леонова, «Времени, вперед!» В. Катаева, «Гидроцентрали» М. Шагинян, «Большого конвейера» Я. Ильина и др.,— отразила глубину и стремительность преобразований, совершенных советскими людьми в годы первой пятилетки.

В «Кочевииках» Тихонов запечатлел замечательные своей иовизиой важные и характериые события, свидетельствовавшие о радикальных благотворных перемеиах в жизии народов Средней Азии.

Однако ценность киити определялась не только достоверным изображеиием фактов, ио и продуманной смелостью обобщений, выразительностью и четкостью характеристик.

Тихоиов по-деловому говорит о фисташковой роще, о долинах Порхая и ущелье Ай-Дэрэ, о том, что значит колхоз для борьбы с пустыней. Но это ие мешает ему характеризовать людей, которые занимаются упомянутыми делами, переходить к далеко идущим выводам и рассказывать о виденном отточеииой, строго вывереииой и образиой прозой.

Галерея людей Средией Азии, сбрасывающей ярмо иищеты, бескультурья, отсталости — разнообразиа и многолика.

Биографии, приведенные в книге, подлинно поэтические, за ними угадываются характеры людей, не только способных на подвиги, но и совершающих их. Тихонов видел и показал это. Именно поэтому «Кочевники» явились убедительным свидетельством роста нашей литературы, укрепления ее мастерства на путях сближения с жизнью общества и активного участия в общенародном строительстве.

В «Кочевниках» Тихонов выступает не только как искусный художник слова, но и как политик и страстный публицист, поднимающий важные вопросы экономического развития, классовой борьбы и культурного строительства. Так начинается последовательная, все расширяющаяся и охватывающая новые стороны жизни работа Тихонова — общественного деятеля, каким знают его ныне миллионы людей в нашей стране и за ее рубежами.

Общественность высоко оценила книгу. Достоинства «Кочевников» отметил А. М. Горький. В своей статье «О литературе» (журн. «Наши достижения», № 12 за 1930 г.) он писал: «Молодая наша литература выдвинула из своей среды группу талантливых «очеркистов», и они постепенно придают очерку формы «высокого искусства». «Туркменские записи» талантливейшего поэта и прозаика Н. Тихонова — это очерк и это подлинное искусство изображения жизни словом».

ВАМБЕРИ

Рассказ был опубликован в журнале «Новый Робинзон», №№ 3—6 за 1925 год. Это одна из первых прозаических работ Тихонова. В ее основу положены достоверные факты из биографии венгерского языковеда-тюрколога и этнографа Арминия Вамбери (1832—1913), приобретшего широкую известность своими путешествиями в 60-х годах XIX века под видом дервиша в Персию и среднеазиатские страны.

По своим нравственным убеждениям и способам исследования жизни народов, оберегавших свою обособленность и недоверчиво относившихся к чужеземцам, герой, избранный Тихоновым, резко противопоставлен тем путешественникам — разведчикам колониализма, которые в прошлом столетии прокладывали обманом и лукавством путь капиталистам в отдаленные районы Азии и Африки. Вамбери — бескорыстен, он сознательно и увлеченно служит человечеству. Его воодушевляют жажда знания, желание постичь неповторимое своеобразие культуры и быта тех стран, что были веками закрыты для европейцев. И благодаря этому он многократно избегает грозящей ему гибели.

По своей идейной направленности рассказ противостоит буржуазной литературе, с ее лживой экзотикой, с ее откровенными или

завуалированными расистскими представлениями о Востоке. Рассказ этот давал возможность Тихонову обосновать свое отношение к прошлому, настоящему и будущему тех народов Азии, которым социалистическая революция несла избавление от нищеты, невежества, угнетения.

ДРУГ НАРОДА

Отдельным изданием рассказ вышел в ГИЗе, М.— Л., 1926. В его основу положен эпизод из жизни великого китайского революционера Сун Ят-сена. Выдающийся деятель национально-освободительного движения изображен в тот момент, когда уже начинается подготовка к организации революционных вооруженных сил к предстоящим боям с колонизаторами и милитаристами.

ХАЛИФ

После журнальной публикации рассказ напечатан в книге «Рискованный человек», Л., ГИЗ, 1927.

Его главное действующее лицо — крупный политический авантюрист, пытающийся после неудачи, постигшей его на родине, в Турции, осуществить нелепый план создания нового халифата «от Волги до Инда». Рассуждая о временах Чингисхана и Тимура, выступая проповедником возрождения азиатского могущества, Энвер-паша на поверку служит империалистам, пытающимся задержать возрождение народов Востока, помешать их борьбе с угнетателями, расширяющейся под воздействием Октябрьской революции. Логику образного развития рассказа определяет разоблачение писателем демагогической аргументации Энвера-паши, посредством которой он старается скрыть свою политическую несостоятельность и алчность захватчика. О крахе вздорных «паназиатских» притязаний свидетельствуют все звенья повествования — от вводной характеристики «халифа» до заключительной сцены, которая построена как развернутая аллегория и подчеркивает обреченность любых завоевателей, на какие бы мифы они ни опирались, к каким бы теориям и концепциям ни обращались.

ЧАЙХАНА У ЛЯБИ-ХОУЗА

После журнальной публикации рассказ напечатан в книге «Рискованный человек», Л., ГИЗ, 1927.

Персонажи его не имеют имен собственных. Здесь действуют обобщенные образы — «русский», «чайрикер», «джигит». Главный герой по своей социальной природе близок героям «Юрги», отдаю-

щим свои силы борьбе с пережитками феодально-деспотического и колониального уклада. Как и те, кто воспет в стихотворении «Люди Ширама», он готов побороться — за тех, кто с трудом избавляется от косных, темных навыков, прививавшихся старым строем на протяжении столетий.

Писатель рельефно запечатлевает убожество быта архаического и быта нэпманского, их упорного сопротивления новым, подлинно человеческим представлениям о чести, о счастье и благородстве. В ожесточенной схватке противоречивых устремлений утверждается победа советского закона — мудрого и справедливого. Носителем его выступает русский, помогающий распутать драматический узел, который соединил судьбы действующих лиц рассказа. В этом образе тесно слиты деловитость и романтика революции.

Тихонов перенес в прозу те способы обобщенно-эмоциональной обрисовки героев, которые он применял в своей поэзии. В дальнейшем в рассказах и повестях он добивался создания характеров, отчетливо и глубоко индивидуализированных, находя при этом неповторимые краски, вырабатывая своеобычные принципы жизненно-правдивого и впечатляющего повествования.

БИРЮЗОВЫЙ ПОЛКОВНИК

Впервые рассказ опубликован в журнале «Звезда», № 5 за 1927 год.

Героем его Тихонов избрал человека «единственного в своем роде». В сборнике «Как мы пишем», выпущенном Издательством писателей в Ленинграде (1930 г.), писатель рассказал о встрече с тем, кто явился прообразом полковника Ведерникова: «Сухой темнолицый старик, бывший воин российского империализма, тряс пустой дождемер над ведром с делениями. Он ждал дождя, а дождя не полагалось по климату вовсе. Я нашел доступ к его суровой и одинокой душе и услышал чудовищный проект преобразования этой дикой местности в райские сады будущего... я решил: рассказ будет. Молния замысла сразу пронзила записную книжку — в двух местах — джунгли и старик».

В рассказе получила своеобразное истолкование тема, решавшаяся в те годы советскими писателями: К. Фединым в «Городах и годах» и «Братьях», Б. Лавреневым в «Седьмом спутнике», А. Малышкиным в «Людях из захолустья», М. Шагинян в «Гидроцентрали» и др.,— тема прихода интеллигенции к революции.

В «Бирюзовом полковнике» воплощены впечатления, вынесенные Тихоновым из его поездки в Среднюю Азию в 1926 году. Вместе с тем рассказ явился важным этапом на пути поисков героя, которые писатель вел тогда и в своих стихах и в прозе.

КАБАНЬЯ ИСТОРИЯ

Рассказ опубликован во втором издании книги «Кочевники», в Изд-ве писателей в Ленинграде в 1932 году.

В основу его легли впечатления писателя от его поездок по республикам Средней Азии.

ГОРЬКАЯ ЗАСТАВА

Впервые рассказ опубликован в журнале «Знамя», № 7 за 1932 год.

Он принадлежит к тем произведениям, в которых получила отражение работа Тихонова в ЛОКАФе — Литературном Объединении Красной Армии и Флота, созданном в начале 30-х годов и сплотившем в своих рядах многих наших писателей, чье творчество было связано с жизнью вооруженных сил Советской страны.

В «Горькой заставе» Тихонов, по его собственным словам, «придумал тему для того, чтобы поставить красноармейца в труднейшее положение, заставить его найти выход, тем самым показав сообразительность бойца в сложнейшей психологической и военной обстановке».

МИРАБ

Впервые рассказ опубликован в «Вечерней Красной газете» за 1933 год.

В центре его молодая девушка — распределитель воды в родном селении. В «Мирабе» рассказано лишь об одном рабочем дне героини, но за эти несколько часов Гуль-Джамаль успевает решить множество вопросов, связанных с ее основной работой — распределителя воды. Прежде на эту должность назначались «опытнейшие бородатые люди», теперь их место заняла смелая комсомолка, влюбленная в свой «тяжелый труд мираба».

Она поэтична именно оттого, что Тихонов, говоря о ней, не отделяет профессиональное от человеческого. Спокойно готовится Гюль-Джамаль к очередной схватке: «Комсомолу все равно придется сражаться, не в первый раз». Эта фраза — словно завершающий штрих в обрисовке характера, обаятельного своей нравственной цельностью.

ВОСПОМИНАНИЕ

Впервые рассказ опубликован в журнале «Знамя», № 2 за 1943 год.

Он напоминает непринужденную беседу, охватывающую самые различные темы, далеко отстоящие друг от друга ряды фактов. Однако из их обилия выделяется один, отчетливо изображенный. Речь идет об удивительной судьбе тибетца, попавшего в Индию и встретившего там людей, которые с восторгом и благодарностью произносили великое имя — Ленин. Сын далекой горной страны после этого пришел в Россию и начал учиться на рабочем факультете, узнав таким образом на собственном опыте благотворность завоеваний Октябрьской революции.

В ДНИ ВАСАНТЫ

Очерк впервые напечатан в «Литературной газете» от 19 ноября 1955 года.

Наряду с достоверностью изложения, точностью наблюдений и характеристик здесь примечательны свойственные прозе Тихонова живописная пластика слов, широта ассоциаций и сопоставлений. Органично и просто сочетаются в очерке черты старой и новой, развивающейся Индии, великолепие ее могучей природы, очарование бесчисленных памятников искусства, прелесть добрых и чистых человеческих чувств. Способность Тихонова к проницательному и воодушевленному постижению культуры, нравов и быта далеких народов сказывается здесь со всей очевидностью.

МОСТ У АТТОКА

Впервые опубликован в газете «Ленинградская правда» от 12 декабря 1956 года. В рассказе изложен эпизод, связанный с поездкой группы советских писателей, в том числе и Тихонова, в Пакистан и Афганистан в 1949 году. Однако рассказ имеет более широкое, обобщенно-поэтическое звучание. В нем идет речь о теме Востока, о том, какое место занимала и занимает она в творчестве писателя на протяжении более четырех десятилетий, то есть задолго до того, как он воочию увидел героев своих юношеских произведений — борцов и строителей новой Азии, освобожденной от ига колониализма.

Спутники Тихонова — писатели Айбек, Мирзо Турсун-заде, Софронов — рассказывали о том, как он удивлял их своим отличным знанием не только истории, обычаев и культуры страны, но и расположения отдельных зданий, памятников древней архитектуры и т. п. Именно такая «встреча» с сооружением, ранее известным писателю по литературе, и изображена в рассказе «Мост у Аттока».

ВЕЛИКАЯ ВОДА

Впервые рассказ опубликован в литературно-художественном и общеполитическом альманахе «Ашхабад», кн. 1—2, Ашхабад, 1957.

Спустя более четверти века Тихонов вернулся к впечатлениям, полученным во время поездки в Туркмению с писательской бригадой в 1930 году. Встречи, происшествия и наблюдения, о которых идет речь в рассказе, ранее стали основою ряда стихотворений, вошедших в цикл «Юрга».

Так, в первой главе рассказа упоминается замечательный ирригатор, человек, целью жизни которого стало орошение пустыни, превращение ее в цветущую землю. Он был изображен в стихотворении «Искатели воды». Там он, как и в рассказе, говорил о большой воде Келифского Узбоя и мечтал «невероятным водяным тараном пробить пески, пустыню расковать...»

В последующих главах подробно описано путешествие по бурной и капризной реке, запечатленное в стихотворении «Аму-Дарья». Доставка груза колхозным кооперативам была целью поездки, во время которой путникам довелось узнать свирепость «афганца», дующего с юга жестокого вихря, обрушившегося на их лагерь. Все это сжато и энергично изображено в упомянутом стихотворении, имеющем и второе наименование — «Завернувшиеся в плащи». Так названа семьдесят четвертая глава Корана, о чем писатель сообщает в рассказе. Многими нитями соединены эти стихотворное и прозаическое произведения, однако не повторяющие и не заменяющие друг друга. В поэзии господствует романтика напряженной схватки со стихиями — бурею и рекою. Сила рассказа в развернутых и вместе с тем экономно, лаконично написанных картинах путешествия. Возвращение писателя к давно прошедшим событиям позволило с новой остротою воспринять и оценить сделанное и пережитое.

«НЕ БУДЕМ МЕШАТЬ ЕМУ...»

Впервые напечатано в «Литературной газете» от 1 января 1970 года.

Произведение это можно считать и очерком, и страницей воспоминаний, и лирической записью. Его созданию помогло достоверное наблюдение писателя, который встретил бомбейского мальчика, с увлечением читающего русский советский журнал и увлеченно интересующегося жизнью в Советском Союзе. Подросток напомнил писателю его самого — питерского мальчика, с ранних лет увлекавшегося Индией. Много лет прошло, пока настал день,

когда Тихонов увидел страну, известную ему ранее только по книгам, но непреодолимо заманчивую. И среди многих чудес, встреченных там писателем, был «неожиданный двойник», зеркально отразивший его собственный путь,— индийский мальчик, в облике которого отчетливо выразились веяния наших дней.

КАВКАЗ

В настоящий раздел включены написанные в разное время рассказы Тихонова о людях советского Кавказа. Здесь встречаются и точные портретные характеристики современников («Рассказы о Бетале Калмыкове»), и произведения с ясно ощутимой достоверной основой («Цхнетские вечера», «Симон-большевик»), и сложные композиции, несущие в себе глубокое поэтическое обобщение («Камуфляж», «Клятва в тумане», «Кавалькада»). Все эти прозаические работы тесно связаны с поэмами и лирическими циклами, отразившими впечатления, которые получил художник в своих многократных поездках по Закавказью и Северному Кавказу (см. прим. к 1 и 2 томам). В своей прозе Тихонов, как и в поэзии, творчески развивает традиции русской классической литературы, раскрывая не только величие природы и истории прекрасного горного края, но красоту и благородство населяющих его людей, чей, по выражению М. Ю. Лермонтова, «бог — свобода». Писатель социалистической эпохи имеет возможность рассказать о том, как осуществились и мечты великих русских мыслителей и поэтов, и чаяния свободолюбивых народов, как стали достоянием прошлого национальная рознь, нищета, бескультурье.

КАМУФЛЯЖ

Рассказ впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия», № 8 за 1929 год.

Как и в «Бирюзовом полковнике», Тихонов рассказывает о приобщении интеллигентов старшего поколения к социалистическому строительству. В отличие от написанных в те же годы романов К. Федина «Города и годы», «Братья», романа А. Малышкина «Севастополь», повести Б. Лавренева «Седьмой спутник», герои которых совершали выбор политический, герои «Камуфляжа» уже ранее определили свою политическую позицию. Центром рассказа становятся вопросы общественной морали. Его действующие лица — люди умные и просвещенные — подвергаются суровому нравственному испытанию, внезапно оказавшись в обстоятельствах, для них совершенно необычных.

В рассказе получает новое развитие благородная тема, прочно вошедшая в поэзию и прозу Тихонова с того времени, когда он в поэме «Дорога» нарисовал образ маленькой осетинки,— тема человечности социалистической революции. Как и в своих стихах, в рассказах, посвященных Средней Азии, писатель изображает людей, умеющих «позабыть о себе», чтобы сделать счастливыми своих товарищей и соратников. Именно проявляя эти высокие качества, герои «Камуфляжа» преодолевают эгоистические навыки, приобщаются к общенародному созиданию, вырастают как личности.

Изображая людей, переосмысляющих свою жизнь, понимающих величие идей и дел социализма, советские писатели вместе с тем проверяли и уточняли свои представления о современной действительности, освобождались от пережиточных литературных влияний, сковывавших их талант, находили свежие краски, способные передать новизну человеческих отношений и социальных обстоятельств во всей полноте. Так и Тихонов в начале 30-х годов совершенствует свою образность — добивается наибольшей живости и содержательности характеров, естественности коллизий, напряженности и цельности сюжета.

КЛЯТВА В ТУМАНЕ

Впервые рассказ опубликован в журнале «Звезда», №№ 10—11 за 1932 год.

В судьбе героини рассказа, сванской девушки Иоржи, воплощена тема, неоднократно возникавшая в поэзии и прозе Тихонова,— тема женщины Востока, освобожденной социалистической революцией (маленькая пастушка из поэмы «Дорога», рассказ «Мираб», страницы «Кочевников», посвященные горестной и героической судьбе Анны Джамаль, и др.).

Иоржи изображена с тем богатством ее нравственных возможностей, которым социалистическая современность открывает дорогу свободного развития, и в то же время с тем грузом старого, который ей мешает. Характер девушки резок и определенен и одновременно находится в состоянии ломки, внутреннего движения.

Ограниченность и недвижность привычного, застойного быта, окружавшего Иоржи, передана с замечательной точностью и проницательностью. Столь же пластично показан и поворот, происходящий в уме и сердце девушки к тому новому, что входит в неприступные ущелья Сванетии и меняет жизнь местного народа.

Иоржи почти не встречается с другими двумя действующими

лицами повести — нечаянным «альпинистом» Борисом Ивановичем Швецовым и его случайным спутником, немецким туристом Мольцем, по их жизненные позиции, их «клятвы в тумане» крепко связаны и резко противопоставлены. Не робкий Швецов, лишь механически повторяющий умные и верные слова, сказанные другими, а Иоржи, ее судьба, ее мечты и чаяния, ее настоящее и будущее решительно опровергают «теории» Мольца, превозносящего первобытную «простоту нравов» и в то же время презирающего людей, которые живут этой первобытной жизнью. О несостоятельности и ложности подобных воззрений, высказываемых последователем Шпенглера и Ницше, свидетельствует весь облик молодой сванки: ей, как и всему ее народу, как и людям всех национальностей, социализм открывает путь к подлинной культуре.

СИМОН-БОЛЬШЕВИК

Рассказ этот впервые опубликован в альманахе «Костер» за 1932 год. Он представляет достоверно звучащее жизнеописание одного из многих тружеников и воинов социализма — честного и строгого к себе и другим горца. Сугубо индивидуальная биография его оказывается вместе с тем насыщенной многими событиями общественного значения; движение истории отражается в человеческой судьбе, одним из важнейших итогов которой следует признать обретенную Симоном ясность мировоззрения и политическую сознательность, воспитанную партией в рядовом бойце революции.

КАВАЛЬКАДА

Впервые рассказ опубликован в журнале «Звезда», № 9 за 1945 год.

Это первый из задуманного Тихоновым цикла рассказов о Кавказе. Он был написан в 1941 году, перед самой войною, которая помешала писателю осуществить во всем объеме его замысел.

Множество нитей соединяют «Кавалькаду» с другими произведениями писателя. Не только потому, что действие происходит на Кавказе и в числе главных действующих лиц находится Терентьев, один из персонажей рассказа «Камуфляж», но и потому, что сюда перенесены и некоторые мотивы стихотворного цикла «Горы» и конфликты, получившие воплощение в «Чайхане у Ляби-Хоуза» и «Клятве в тумане», и экономная острота словесного рисунка, свойственная всей зрелой прозе Тихонова.

Столкновение сильных характеров, напряженное сплетение различных судеб, противопоставление красоты благородных чело-

вических стремлений, вольной, гордой природы и вдохновенного творчества пошлому мещанству здесь разворачивается с подлинным драматизмом и удивительной естественностью. В рассказе нет главного героя; и современный «Максим Максимыч» — ирригатор Терентьев, и пылкий горец Сафар, и безнадежно любящая молодого человека Айше, и полюбившаяся ему Наташа, и Ахмет, и сам рассказчик занимают важное место в жизненной «кавалькаде», которая предстает в своей цельности и многогранности.

Искусное и вместе с тем органическое соединение лирической напряженности темы, крепкой сюжетной «схватки» характеров и просторного человеческого и пейзажного «фона» определили своеобразие компоновки этого рассказа, его поэтическую и одновременно очень трезвую атмосферу.

Остро ощущая красоту и благородство реальной действительности, писатель далек от безмятежной идилличности. Строгость и возвышенность утверждаемых им критериев подчеркнуты введением мотива, имеющего особое значение для самого рассказчика: постоянным упоминанием им лермонтовской строфы. Она конденсирует, передает настроение, которым проникнуто все произведение. Лирическое переживание путника, от лица которого ведется повествование, ощущение «водоворота времен», упоение богатством и многокрасочностью бытия — вот основа «сквозного действия», спокойно и уверенно раскрывающегося в повествовании.

РАССКАЗЫ О БЕТАЛЕ КАЛМЫКОВЕ

Опубликованы в журнале «Новый мир», № 7 за 1957 год.

В течение ряда лет Тихонов подолгу бывал на Кавказе, поднимался на вершины, проходил перевалы, жил в селениях, расположенных на большой высоте. Он хорошо узнал жизнь горцев, услышал много рассказов о борьбе народов Кавказа за свое освобождение, о подвигах времен гражданской войны. Отдельные героические сюжеты нашли воплощение в рассказах, стихах и поэмах Тихонова, в написанном им вместе с режиссером Л. О. Арнштамом сценарии «Друзья». В эту складывающуюся на протяжении многих лет горную эпопею входят и «Рассказы о Бетале Калмыкове».

«Мудрый кабардинец», как назвал его Максим Горький, был одним из сподвижников Кирова и Орджоникидзе и принадлежал к плеяде тех отважных горских большевиков, которые вели на Кавказе упорную и порой мучительно трудную войну с белогвардейцами, интервентами и буржуазными националистами, отстаивая завоевания Октября.

С юности участвовавший в повстанческом движении и прошедший школу гражданской войны, Бетал Калмыков смело и талантливо руководил хозяйственным и культурным строительством в своем маленьком горном крае.

Бетала Калмыкова, виденного им неоднократно и в работе, и в пути, и за дружеской беседой, Тихонов описывает очень внимательно. Но, воспроизводя события с наибольшей, документальной точностью, он вдохновенно извлекает при этом таящуюся в них поэзию. О своих встречах с Беталом Калмыковым — на празднике животноводства и в бешеной скачке по скалистым полям Шит-Кетмаса, в ночных скитаниях по опасным, размытым дорогам и около огромного оползня, завалившего реку,— писатель говорит без эмоциональных «нажимов» и патетических восклицаний. Однако в обрисовке героя, его нравственного и физического облика, его словах, жестах, манере обращения — безошибочно угадывается искренняя симпатия художника.

Подробности складываются в очень четкую и цельную характеристику. Образ героя вдвинут в оправу горного пейзажа, обрамлен морем молодой листвы, больших «мозолистых» ветвей, отвесных каменных уступов, мокрых трав, орлиных крыльев... Тихонов начинает свой рассказ упоенным описанием весны, с ее гремящими голубыми веселыми ливнями, грохотом обвалов и громовыми раскатами. И эта поэтическая интродукция естественно сливается с достоверным повествованием, дающим ясное представление о талантливом государственном деятеле, воспитанном Коммунистической партией.

ЦХНЕТСКИЕ ВЕЧЕРА

Рассказ был написан в апреле 1957 года и опубликован в первом номере журнала «Литературная Грузия». Ему предпослано следующее письмо Тихонова:

«Дорогие друзья!

Я был чрезвычайно рад узнать, что в Грузии будет выходить новый журнал «Литературная Грузия». Давно следовало ожидать появления этого журнала. Он будет местом встречи грузинских и русских литераторов и даст возможность многим авторам печатать свои рассказы и стихи непосредственно в Тбилиси, что еще более усилит нашу дружескую связь.

Для журнала «Литературная Грузия» я посылаю свой рассказ «Цхнетские вечера».

Приветствую всех друзей от всего сердца.

Николай Тихонов»

Сюжет «Цхнетских вечеров» во многом близок лейтмотиву стихотворения «Цхнети осенью 1939 года», входящего в книгу «Грузинская весна» (см. т. I. Собр. соч.).

Как это часто случается в его творческом обиходе, Тихонов имел возможность, опираясь на реальный случай из своей писательской практики, создать образное повествование, таящее высокий смысл, касающееся сложных исторических свершений.

Подобная многосторонняя и разветвленная связь несхожих и вместе с тем нераздельных гранией бытия постоянно обнаруживается в творчестве Тихонова.

РАССКАЗЫ ГОРНОЙ СТРАНЫ

Впервые опубликованы в журнале «Огонек», №№ 9—12 за 1954 год, затем составили отдельный выпуск Библиотеки «Огонька» № 44 (М., изд-во «Правда», 1954).

Посетив в конце 1949 года вместе с другими советскими писателями Пакистан, проехав от границ Советского Союза через Гиндукуш и Хайберский проход в Лахор и далее, к Карачи, к берегам Аравийского моря, Тихонов побывал и в Афганистане. Впечатления от Афганистана, как известно, воплотились в стихотворном цикле «Два потока». В прозе они отражены на страницах «Рассказов горной страны».

Еще в своей «Афганской балладе», проникнутой глубоким чувством интернационализма (см. прим. к 1 тому) Тихонов воспел борьбу отважного народа против британских захватчиков. Тридцать пять лет спустя писатель впервые посетил независимую страну и написал о ней, о путях ее развития.

Рассказы эти несхожи и по человеческим судьбам, в них воплощенным, и своему построению. Здесь применены различные масштабы — то крупные, предельно приближающие к читателю изображаемых людей, то дающие их как бы с птичьего полета, общим планом. Так, о герое повести «За рекою» — Худроуте — говорится подробно. Смелый взлет повествования позволяет писателю не только обобщить все ранее им рассказанное, обнажить его суть, но и наметить, предсказать поворот в судьбе героя, глубокий переворот в его представлениях о жизни и счастье.

«В ущелье» жители горной страны показаны как бы со стороны, в восприятии главного действующего лица рассказа — советской женщины, направляющейся на работу в Индию. Прием этот позволяет автору нарисовать впечатляющую и непривычную картину из жизни местного народа. Самым удивительным оказывается движение кочевников — поражающее своей живописностью,

необычностью нравов, здесь угадываемых, красочным многолюдством.

В «Могиле Бабура» — непосредственно затрагивается судьба страны, ее прошлое, настоящее, будущее. В рассказе идет речь о высокоразвитой культуре азиатских стран, о том тяжком уроне, который нанесли ей колонизаторы, и о новом ее расцвете в советской Средней Азии, обеспеченном политикой Коммунистической партии.

В «Лое-Дакка» писатель снова сосредоточивает свое внимание на человеческой судьбе — горестной и одинокой судьбе старика-горца, истинного сына своей гордой, свободолюбивой страны.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Впервые рассказ напечатан в журнале «Октябрь», № 1 за 1957 год. Он естественно примыкает к «Рассказам горной страны», воплотившим зарубежные впечатления писателя. Начальные и заключительные страницы «Возвращения» по своему характеру приближаются к путевым очеркам, центральная же его часть раскрывает тему времени и поступательного движения истории. Передавая беседы действующих лиц, писатель словно завершает осмысление большого жизненного круга — прошлого и будущего великих народов Азии.

СОДЕРЖАНИЕ

ПУТИ ВОСТОКА

КАВКАЗ

РАССКАЗЫ ГОРНОЙ СТРАНЫ

Тихонов Н.

Т 46 Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т. 3. Рассказы. Очерки. Примеч. И. Гринберга. М., «Худож. лит.», 1974

592 с.

Настоящий том составляют рассказы и очерки разных лет, объединенные в три тематических цикла.

Первый — «Пути Востока» — содержит живые и увлекательные рассказы и очерки из книги «Кочевники», посвященные изменяющемуся быту Туркмении тридцатых годов, остросюжетный, романтический рассказ — «Вамбери» о приключениях в Средней Азии отважного исследователя и ученого и другие рассказы о советском и зарубежном Востоке.

В разделе «Кавказ» собраны рассказы о свободолюбивых и смелых народах гор в годы становления советской власти на Кавказе.

«Рассказы горной страны» написаны под впечатлением поездки писателя в Афганистан. В них говорится о недавнем прошлом этой удивительно интересной страны, с народом которой нас связывает большая дружба.

Т $\frac{70302\text{-}095}{028(01)\text{-}74}$ подписное

Р 2

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ТИХОНОВ

Собрание сочинений

Том III

Редактор *З. Кондратьева*

Художественный редактор
В. Горячев

Технический редактор
Л. Ковнацкая

Корректор
А. Матюшина

Сдано в набор 18/X 1973 г. Подписано к печати А 02275 от 22/V 1974 г. Бумага типографская № 1. Формат 84×108[1]/32. 18,5 печ. л., 31,08 усл. печ. л., 32,508 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Зак. 544. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Художественная литература». Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Красная, 23